

ЭРНСТ НОЛЬТЕ



ЕВРОПЕЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1917-1945)

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ И БОЛЬШЕВИЗМ

Ernst Nolte

**Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945.
Nationalsozialismus und Bolschewismus**

F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung
München 1997

Эрнст Нольте

Европейская гражданская война (1917-1945).

Национал-социализм и большевизм

ΛΟΓΟΣ

Москва 2003

Издание выпущено при поддержке
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса)
в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека»

This edition is published
with the support of the Open Society Institute
within the framework of «Pushkin Library» megaproject

Редакционный совет серии «Университетская библиотека»:

Н. С. Автономова, Т. А. Алексеева, М. Л. Андреев, В. И. Бахмин,
М. А. Веденяпина, Е. Ю. Гениева, Ю. А. Кимелев, А. Я. Ливергант,
Б. Г. Капустин, Ф. Пинтер, А. В. Полетаев, И. М. Савельева,
Л. П. Репина, А. М. Руткевич, А. Ф. Филлипов

«University Library» Editorial Council:

Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreev,
Vyachaslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva,
Yuri Kimelev, Alexander Livergandt, Boris Kapustin, Frances Pinter,
Andrej Poletayev, Irina Saveliyeva, Lorina Repina,
Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

Перевод с немецкого: А. Антоновский, Б. Скуратов (гл. I, IV: 4-9, Заключение), В. Соколова, М. Сокольская (гл. II: 5-10), Т. Калашникова (гл. II: 1-3, 4^{*}).

Научная редактура, Послесловие – С. Земляной.

Нольте Э.

Н 72 Европейская гражданская война (1917-1945). Национал-социализм и большевизм. Пер с нем. / Послесловие С. Земляного. Москва: Логос, 2003, 528 с.

Ernst Nolte © Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus. 1997 by F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München. 5. überarbeitete und erweiterte Auflage

ISBN 5-8163-0046-6

© Издательство “Логос” (Москва) – перевод, оформление, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение : Перспективы эпохи мировых войн</i>	<i>– 7</i>
<i>I. 1933 год как заключительная точка и прелюдия: Антимарксистский захват власти в Германии</i>	<i>...27</i>
<i>II. Ретроспективный взгляд на 1917-1932 гг.: Коммунисты, национал-социалисты, Советская Россия</i>	
1. Крушение Российской Империи и воля к мировой революции. Февральская революция и захват власти большевиками в 1917 году	...43
2. Возникновение Коммунистической партии Германии из мировой войны и русской революции	...61
3. Победа большевиков и поражение КПГ в 1919-1921 гг.	...74
4. Ранний антибольшевизм и первый взлет Гитлера	...92
5. «Мировая революция» или «национальное правительство» в Германии? 1923-й – год кризиса	...106
6. Советский Союз от смерти Ленина до утверждения единоличного господства Сталина	...115
7. Период стабилизации Веймарской республики (1924-1929)	...122
8. Государственные отношения между Германией и Советским Союзом	...140
9. Гражданская война ограниченного масштаба в Германии	...147
10. Канун захвата власти национал-социалистами	...163
<i>III. Враждебные идеологические государства в период мира 1933-1941 гг.</i>	
1. Национал-социалистская Германия и коммунистический Советский Союз в 1933-1934 гг.	...179
2. «Путч Рема» и убийство Кирова в 1934 году	...189
3. Мировая политика в 1935-1936 гг.	...198
4. Германия и Советский Союз в гражданской войне в Испании	...210
5. «Большая чистка» и пафос великого строительства в СССР	...220
6. Триумф Гитлера и консенсус народной общности	...230
7. Крушение антикоммунистической и антифашистской концепций в большой европейской политике	...243
8. Гитлеровско-сталинский пакт как начало европейского пролога к Второй мировой войне	...253

9.	Хрупкий союз – триумфы, выгоды, противоречия	...263
IV.	<i>Структуры двух однопартийных государств</i>	
1.	Государственные партии и их вожди	...277
2.	Органы государственной безопасности и террор	...297
3.	Союзы молодежи	...307
4.	Самопонимание и понимание других в литературе и пропаганде	...316
5.	Политизированная культура	...338
6.	Право и бесправие	...349
7.	Эмиграция и сопротивление	...357
8.	Тотальная мобилизация	...372
V.	<i>Война между Германией и Советским Союзом 1941-1945 гг.</i>	
1.	Нападение на Советский Союз. Решительный бой? – Освободительная военная кампания? – Война на уничтожение?	...381
2.	Необходимость, случайность и альтернативы в войне между Германией и Советским Союзом	...391
3.	Мировая война идеологий?	...403
4.	Геноцид и «окончательное решение еврейского вопроса»	...414
5.	Обмен характерными чертами и парадоксальная победа Советского Союза	...428
	<i>Заключительные соображения : Большевизм и национал-социализм в европейской гражданской войне эпохи фашизма</i>	...441
	Примечания	...455
	Список сокращений	...504
	Именной указатель	...505
C.	<i>Земляной. «Спор историков» в ФРГ и «Европейская гражданская война» Э. Нольте</i>	...516

Введение:

Перспективы эпохи мировых войн

Ничто не кажется более тривиальным и вместе с тем менее самоочевидным, нежели тезис о том, что самой адекватной перспективой, в которой надо рассматривать большевизм и Советский Союз, национал-социализм и Третий Рейх, является перспектива всевропейской гражданской войны.

Общеизвестно, что партия большевиков сразу после захвата власти в ноябре 1917 года призвала пролетариев и угнетенных всего мира к восстанию против капиталистической системы, которая якобы несет ответственность за войну; не только специалисты знают о том, что в начале 1919 года только что основанная Коммунистическая партия Германии считала, что "участвует в величайшей гражданской войне в мировой истории".¹ Опять-таки несколькими месяцами позже Третий Интернационал даже счел необходимым провозгласить, что 1 мая 1919 года должно стать днем пролетарской революции во всей Европе. Таким образом, начиная с 1917 года налицо было государство, а с 1919 – международная партия, которые повсюду призывали к "вооруженному восстанию" и тем самым к мировой гражданской войне; поскольку речь при этом шла явно не о каких-то фантазиях далеких от власти сектантов, постольку тем самым наличное историческое существование приобрела фундаментально новая реальность. Если сильная группировка выдвигает требование начать гражданскую войну, то уже только этим в любом случае создается ситуация гражданской войны, пусть даже кровавые битвы произойдут не сразу после этого или не станут перманентными. Соответственно, Стефан Поссони описывал данную эпоху как "мятежное столетие"; Ганно Кестинг вернулся назад, в глубины истории духа и взялся за тему "философия истории и мировая гражданская война"; Роман Шнур, в свою очередь, проследил генезис мировой гражданской войны до ее "увертюры" в виде эпохи французской революции.²

Столь широкое понятие "мировой гражданской войны", конечно, должно быть подвергнуто сомнению. На внешний взгляд, в понятие гражданской войны входит вооруженное противостояние двух групп граждан внутри одного государства; это может быть борьбой повстанцев с правительством, или ситуацией, когда каждая из групп располагает собственной территорией, так что имеет место ясная аналогия с войной между государствами. Наиболее подходящим примером тут является гражданская война в Америке 1861-1865 годов, которая с самого начала складывалась из военных действий организованных армий. Но, с другой стороны, говорят об эпохе гражданской войны в Англии с 1640 по 1660 год, хотя далеко не каждый год из этих двадцати происходили вооруженные

столкновения и хотя партия, одержавшая в конце концов победу, еще в начале 1660 года не имела собственных вооруженных сил. И даже эта островная гражданская война не была в чистом виде внутригосударственной, ибо как пуритане, так и роялисты находили симпатию и поддержку по ту сторону Ла-Манша. В эпоху французской революции и Наполеона гражданская война и война между государствами были едва ли отличимы друг от друга. Ведь государство, написавшее на своих знаменах девиз "Мир хижинам, война дворцам", само является партией гражданской войны, поскольку во враждующих государствах, помимо нескольких дворцов и миллионов хижин, было еще немало домов. Все это, стало быть, наводит на мысль, что наиболее узкое понятие гражданской войны, по всей видимости, не вполне отвечает существу дела.

А поэтому правомерно ли вести речь о европейской гражданской войне с 1917 по 1945 год? Была гражданская война в России с 1918 по 1920, была гражданская война в Испании с 1936 по 1939, были попытки совершить революции и были восстания в Германии, Эстонии, Болгарии и в других странах. Но январское восстание 1919 года, мартовское выступление 1921 года, Ревельский путч конца 1924 года – все они были подавлены правительствами с помощью полиции и армии. И хотя нельзя недооценивать жесткость внутриполитических столкновений во Франции и в Англии, но даже самое широкое понятие гражданской войны не позволяет зафиксировать в этих странах нечто большее, нежели яростную борьбу партий, спорадические беспорядки и отдельные политические забастовки. Хотя в обеих странах существовала коммунистическая, то есть нацеленная на вооруженное восстание, партия, но ей противостояло правительство и настолько подавляющее большинство населения, что имела место только одна партия гражданской войны, которая как бы запутывалась в огромной сети. И пусть даже нужно, отринув сомнения, говорить о "Европе, находящейся в кризисе"³, но, если рассматривать равным образом все страны Европы и прежде всего под углом зрения их взаимоотношений, то не может быть и речи о европейской гражданской войне.

Но даже в совершенно конвенциональной и сугубо нарративной истории Европы в век мировых войн следует между тем констатировать опять-таки новый и совершенно неожиданный феномен, а именно то, что в Италии впервые образовалась партия, которая не просто, в более или менее тесном союзе с правительством, выступала бы, подобно давно существовавшим партиям, против партии революционного социализма или коммунизма, чтобы после отражения этой реальной или по крайней мере спроектированной попытки захвата власти предоставить таковую её собственному дальнейшему развитию, а понимала себя в качестве второй – диаметрально противоположной первой – партии гражданской войны. Поэтому захват власти фашистской партией в октябре 1922 года был равносильным политическому уничтожению – хотя и не сразу, но все же в логи-

ческой последовательности — коммунистической партии и в конечном счете даже уничтожению всех остальных партий.

Тем не менее это еще отнюдь не доказывает, что позволительно говорить даже о гражданской войне в Италии. Это понятие было бы бесспорным и законным только в том случае, если бы в итоге именно фашистская партия подавила общенациональное восстание коммунистов. Между тем такого восстания не произошло, а поползновения к нему были задушены в зародыше правительством или партийной системой. Поэтому часто утверждалось, что фашистская партия попросту пришла на готовое и должна рассматриваться как некий паразит, который понапрасну пинает уже побежденную революцию, а затем оттирает от политического стола собственного кормильца, систему.

Однако такая концепция отнюдь не повсеместно считалась правильной; ведь, во всяком случае, уже с 1922 года существовали две партии, которые были настроены на гражданскую войну и идеологически обосновывали такой свой настрой. Каждая из них получила в свое владение по государству, и каждая располагала во многих странах сочувствующими и приверженцами. Вследствие этого Европа находилась в совершенно иной ситуации, чем перед Первой мировой войной. Тем не менее в конце двадцатых годов было широко распространено мнение, будто обе идеологические страны суть периферийные государства, которые далеко отстают от великих центральных держав Европы, от Англии, Франции и Германии по способности к достижениям и природному динамизму, а также будто их сторонники по всему миру представлены лишь незначительными сектами. И в самом деле, во Франции Коммунистическая партия, образованная в 1920 году из большинства Социалистической партии, начала в прямо-таки пугающих масштабах терять сторонников, а итальянским фашистам симпатизировали лишь небольшие группы вроде *Action Française*. Советский Союз, в свою очередь, согласно распространенному мнению, утратил свой революционный характер и приступил к построению социализма в одной стране. Путешествуя по Европе в 1929 году, мы нигде не столкнулись бы с чем-то, напоминающим гражданскую войну, и только в России и в Италии мы увидели бы однопартийные режимы, которые — хотя и совсем по-разному — уничтожили всех своих противников посредством чего-то вроде гражданской войны.

Но после того, как по странам Европы прокатился мировой экономический кризис, иностранному посетителю предстала бы другая картина. По крайней мере, в Германии ему пришлось бы спросить себя, не воскресла ли революционная ситуация 1919-1920 годов. Примерно пятая часть немецких избирателей, по-видимому, отождествляла себя с Советским Союзом, что в особенной выразительной форме в 1920 году сделала Клара Цеткин, когда она известную поэтическую строчку Генриха Лерша переиначила в удивительную формулу: "Советская Россия должна жить,

✓ даже если нам придется погибнуть".⁴ Больше трети населения высказывалось за партию, которая устами своего фюрера часто выражала восхищение итальянским фашизмом и его дуче. Беспорядки на улицах городов были такими крупными, что вновь и вновь речь заходила о грозящей или уже разгорающейся гражданской войне. Захват власти НСДАП – это был процесс, в ходе которого государственная власть и огромная партия раздвинулись в стиле гражданской войны со своим главным врагом, а других противников принудили к капитуляции. Сомнительно, чтобы здесь, как в Италии, уже одержанная победа была воспроизведена преувеличенным образом. Во всяком случае, начиная с этого момента, становится вероятным, что Европа окончательно вступила в новую эпоху, которая по самому необычному и отныне самому характерному своему явлению должна быть названа эпохой фашизма и которая именно поэтому была эпохой европейской гражданской войны. Мировая гражданская война, правда, еще не могла начаться, поскольку Соединенные Штаты Америки, хотя и пережили краткий момент сильной паники, так называемой *red scare*⁵, и до 1933 года отказывали Советскому Союзу в дипломатическом признании, все же в действительности не вступали в конфликт. Поэтому, если мы хотим охарактеризовать этот период, нам недостаточно рассматривать лишь "фашизм в его эпоху", а необходимо в той же мере учитывать и самую элементарную его предпосылку, а именно большевизм, или советский коммунизм. Если взаимная враждебность этих двух государственных партий, которые так или иначе понимали себя в качестве партий гражданской войны, была серьезной, а не выступала лишь неким реликтом полузабытых, давно сменившихся мирным строительством начальных времен, то она должна была однажды перейти в межгосударственную войну, которая приобрела бы при этом сущностные признаки международной гражданской войны.

Но для того, чтобы разглядеть этот характер эпохи, необходимо подвергнуть факты чрезвычайно решительному и именно поэтому спорному отбору. Кто пишет историю Европы периода мировых войн, тот имеет дело с таким множеством межгосударственных связей и внутренних отношений в отдельных государствах, что Советский Союз и Германия становятся в его изложении ведущей темой лишь в 1941 и уж, во всяком случае, не раньше 1939 года. Кто проследживает развитие фашистских движений, тот хотя и воспринимает специфически новое и в силу этого своеобразное в характере эпохи, но не имеет возможности наглядно изобразить его важнейшую предпосылку – сам объект, на который направлен антибольшевизм этих движений.⁶ В свою очередь, история Советского Союза либо занимается по преимуществу его внутренним развитием, либо превращается в перечисление неудач революции, которым, конечно, могут приписывать порой и глубокий позитивный смысл. Эпоха может предстать в виде гражданской войны в Европе только в том случае, если в

центр картины ставятся оба главных антагониста: большевизм, уже с 1917 года ставший государством, и фашизм, который стал государством в 1933 году.

Конечно, нельзя исключить возможности, что эта перспектива как раз и является ошибочной, и совершенно не случайно то, что никто до сих пор ее не избрал. Современные коммунистические авторы будут протестовать против того, что недолговечное и реакционное явление ставится на одну доску со столетним мировым движением, которое хотя и претерпело временную деформацию, но все же никогда не теряло своего прогрессивного характера. Либералы будут задаваться вопросом, не отступают ли при такой постановке вопроса слишком далеко на задний план демократические и либеральные государства и тенденции. Антикоммунистам будет очень неприятно видеть, что сопротивление западного мира коммунизму в эру холодной войны и в настоящее время окажется, по-видимому, на одной линии с антикоммунизмом Третьего Рейха, с которым оно, по их убеждению, не имеет ничего общего. И отнюдь не только те, кто уцелел при окончательном решении еврейского вопроса, и граждане Израиля будут беспокоиться, не умалется ли при таком подходе до уровня случайного сопутствующего обстоятельства антисемитизм национал-социалистов.

Все эти вопросы могут быть прояснены только в ходе самого изложения, и поэтому ответы на них можно дать только после того, как изложение будет завершено; хотя оно включает в себе некоторые методологические рассуждения, оно должно как можно скорее перейти к наглядному изложению и существенным деталям. При этом национал-социализм может притязать на приоритет среди предметов исследовательского интереса.

Конечно, большевизм тоже стал уже в 1917-1918 годах спорным и сбивающим современников с толку явлением. Не только приверженцам социализма казалось вероятным, что после Первой мировой войны рабочее движение захватит власть по крайней мере в той или иной стране Западной или Средней Европы. Но что означал тот факт, что произошло это, как нарочно, в отсталой России, чье население состояло в подавляющем большинстве из крестьян? Дегradировала ли социалистическая партия, которая, вопреки другим социалистическим партиям, захватила здесь власть, превратившись в конце концов всего лишь в орудие самоутверждения многонационального русского государства? Или Россия просто послужила материалом для волевого устремления марксистских интеллектуалов к мировой революции для интеллигенции, которая хотя и переоценила в первом порыве свои возможности в Европе и в мире, но все же непоколебимо придерживалась своей цели: революционного преобразования всей планеты в человеческую общность без классов и государств? Во врагах из числа прежних друзей не было недостатка с самого начала, и

даже горячих приверженцев мировой революции достаточно скоро стали обуревать тяжкие сомнения.

Однако во всей истории современного мира не найдется феномена, которое бы осуждалось со столь разных сторон так долго и так интенсивно, как немецкий национал-социализм и Третий Рейх; но также нет и режима, который бы характеризовался столь противоречивым образом и давал бы критикам столько поводов косвенным образом нападать друг на друга, констатируя близкое родство между национал-социализмом и какой-либо из сил или течений мысли, принадлежавших, как им казалось, к единодушному фронту их противников. Спорят о том, был ли национал-социализм схож с капитализмом или с коммунизмом, о том, следует ли считать его немецким или антинемецким явлением, был ли он ретроградным или модернизационным, революционным или контрреволюционным, подавлял он инстинкты или развязывал их, были у него заказчики или нет, привел ли он к монолитной системе или к поликратии, была ли его массовой базой мелкая буржуазия или также и значительная часть рабочих, находился он в русле всемирно-исторических тенденций или же был последним восстанием против хода истории.

Для науки это положение вещей — фундаментальная данность и в то же время вызов. Научный способ рассмотрения требует прежде всего определенной дистанции по отношению ко всем интерпретациям, достаточно разработанным до сих пор; поэтому главной заботой ученого должно стать адекватное отражение внутренней комплексности феномена, вызывающего столь разноречивые оценки. Но, держа в поле зрения комплексность и противоречивость этого феномена, нельзя терять из виду и единодушие, которое является не менее фундаментальным фактом. Если даже научное рассмотрение задается целью ревизии принятых взглядов в результате тщательного взвешивания противоположных точек зрения или новых постановок вопроса, то оно все же не может просто пренебречь тем консенсусом, который перекрывает столь многие противоположности. Коль скоро научное рассмотрение занимается апологетикой, оно само становится партийным. Но партийные мнения довольно часто объявляют апологетикой то, что является весомым для противоположных мнений. Когда такие американские ученые, как Гарри Элмер Барнс и Чарльз К. Танзилл во второй половине 20-х годов подвергли сомнению до тех пор никем не оспаривавшийся тезис, что немецкий рейх был единственным виновником войны, им ставили в упрек, что они принимают сторону военного противника; на самом же деле они прокладывали путь к более широкому способу рассмотрения, который интегрирует противоположные утверждения военной пропаганды обеих сторон в совокупную картину в единую картину, из чего в итоге не вытекает равноудаленность от обоих исходных пунктов.

"Перспектива" означает "видение насквозь", и без такого сквозного видения, которое охватывает больше, чем свой непосредственный предмет, невозможна никакая историография просто. Даже историк, который пожелает описать события на отдаленном острове, не сумеет обойтись без понятия "не-островного", на фоне которого легче понять своеобразное, собственно "островное" в происходящих там процессах. Но куда чаще встречаются явления, которые имеют прямо-таки своим экзистенциальным основанием свою связь с другими феноменами. Контрреформация предполагает Реформацию, и нельзя представить себе историю Контрреформации, сквозь которую бы по меньшей мере не проглядывала также история Реформации. Перспективы, позволяющие поставить национал-социализм в связь с более изначальной или более подчиненной реальностью, являются многочисленными, но обозримыми. Важнейшие из них основаны не на ученых теориях, а на конкретном опыте многих сотен тысяч людей.⁷

1. Самая старая и ближайшая перспектива – это рассмотрение господства национал-социалистов как одной из стадий немецкой истории. Почти все государства планеты вели Первую мировую войну именно против немецкого рейха, и имело место почти всеобщее убеждение в том, что это государство в центре Европы своим милитаризмом и стремлением к экспансии разожгло мировой пожар.⁸ При этом считалось, – в особенности это мнение было распространено во Франции, – что национал-социалистическая партия представляет собой острие немецкого ревизионизма и реваншизма, относительно которых были согласны почти все немцы. После захвата власти Гитлером национал-социалистическая партия по-настоящему отождествлялась с Германией; и казалось, что основные линии немецкой истории, начиная с Лютера, а может быть, и с херуска Германна, вели прямоком к национал-социализму. Противоположность этой национал-социалистической Германии представляла собой остальная Европа с ее культурой, впитавшей античные, в особенности римские традиции. Эта концепция нашла, казалось, свое окончательное подтверждение с началом Второй мировой войны, которая снова, как в 1914 году, началась с нападения концентрированных немецких сил на ведущие державы Европы – Францию и Англию. На этот раз Франция даже потерпела тяжкое поражение, и понадобилась помощь всего мира, чтобы разгромить сильнейшее из всех военизированных государств. Гитлер и его партия, таким образом, оказывались лишь новым проявлением того древнегерманского стремления к мировому господству, которое еще до 1914 года соединилось с представлениями социального дарвинизма о неумолимой борьбе биологических сил и стало подлинной противоположностью мирных и демократических тенденций в Европе. Единственным решением представлялся разгром этой концентрированной силы и интеграция перевоспитанных немцев в союз государств Европы или мира. Немцы

тоже готовы были принять эту перспективу, она облегчала им расставание с могущественным, более того, с национальным государством, хотя — или именно потому, что — она оставалась перевернутой тевтоцентристской перспективой.⁹

2. Однако такой угол зрения предполагал наличие в Германии внутренней сплоченности, не присущей современному обществу, которое на взгляд социолога повсюду выступает как многообразно расчлененное и фрагментированное. Если немецкое общество точно так же состоит из предпринимателей и рабочих, из образованных бюргеров и мелких торговцев, из служащих и людей свободных профессий, подобно французскому и английскому, то отдельные модификации не являются решающими, важен его основной характер. И тогда оказывается, что экономическая система во всех европейских странах, за исключением Советского Союза, была одной и той же, а именно капиталистической, что Англия и Франция были не менее империалистическими державами, чем Германия, что они были подвержены тем же потрясениям, что они очень похожим образом искали выходов, и что повсюду возникали движения и партии, которые пытались противостоять великому кризису примерно так же, как национал-социалистическая партия в Германии. Таким образом, социологическая перспектива является интернациональной, и там, где она появлялась в марксистском обличье, ее приверженцы выказывали убеждение, что оказать помощь могли бы только интернациональные меры, а именно замена анархической и порождающей кризисы экономической системы капитализма социалистическим плановым хозяйством, которое охватывало бы по меньшей мере Европу, а по возможности и весь мир. Однако лишь часть марксистов видела в советском плановом хозяйстве пример для подражания, а социал-демократы вообще отказывали ему в социалистическом качестве. Но и они отмечали опасные тенденции среди предпринимателей и в особенности в среде мелкой буржуазии, которые сводились к насильственной защите исторически отжившей системы и которые уже привели итальянский фашизм к власти в большом государстве. Таким образом, национал-социализм надлежало рассматривать как форму проявления международного движения фашизма.

3. Однако о теории, понимающей национал-социализм как частный случай фашизма, следовало бы говорить лишь в том случае, если это движение трактуется не просто как орудие в руках известных сил, например, тяжелой промышленности или финансового капитала. Стало быть, его нужно постичь как нечто новое, вызванное к жизни новыми историческими обстоятельствами или реакцией на них: это и крушение срединных держав, и русская революция, и социалистическая волна в большинстве государств Европы в 1919-1920 годах. Но, вне зависимости от того, что марксисты с осуждением подчеркивали страх среднего класса или же мелкой буржуазии за свое существование, а немарксисты воздерживались

от отрицательных суждений о целых социальных слоях, те и другие считали основополагающей противоположность фашистского движения по отношению к коммунизму и к социализму.

4. Однако уже в начале 20-х годов возникает между тем концепция, согласно которой эта противоположность – мнимая, что, встав на правильную точку зрения, можно увидеть единство фашизма и коммунизма. С позиции демократии, которая как раз достигла наконец в Европе и во всем мире больших успехов, и фашистские, и коммунистические партии рассматриваются как реакционные, поскольку они стремятся к диктатуре и угрожают своими претензиями на исключительность всякому цивилизованному сосуществованию различных слоев, партий и классов, которое является предпосылкой и следствием свободы личности и отличительным признаком современного типа общества. О тотализме русских большевиков говорилось в негативном смысле уже в 1918 году¹⁰, и достаточно было произнести излюбленное Муссолини слово с противоположной интонацией, чтобы противопоставить тоталитаризм диктаторских режимов свободным и демократическим государствам. Пакт Гитлера-Сталина очень способствовал научной разработке этого противопоставления; за ней, несомненно, стояла мощная интеллектуальная традиция, с начала Нового времени отвергавшая тиранию, диктатуру и деспотизм и противопоставлявшая им учение о разделении властей как гарантии свободы. После перерыва, вызванного военной коалицией демократических государств с Советским Союзом, теория тоталитаризма стала с конца сороковых годов чем-то вроде официального самопонимания Запада; эта теория, по крайней мере в своих популярных вариантах, имела тенденцию приравнивать друг к другу основанные на терроре и угнетении режимы Гитлера и Сталина. Однако с начала шестидесятых годов она стала утрачивать свое влияние, поскольку устойчивость соотношения сил, а также десталинизация Советского Союза, повлекли за собой фазу разрядки.

Именно тогда на Западе вновь стала возможной самокритика, казавшаяся почти забытой в десятилетие острых столкновений, а молодое поколение связало новые вопросы со старыми тезисами. Разве руководящие слои в Германии не сотрудничали всячески с национал-социалистами и не взвалили на себя тем самым бремя большой вины? ¹¹ Разве США со своим империализмом не сыграли зловещую роль в третьем мире, поддерживая во многих странах диктатуры и противостоя стремлению простых людей к эмансипации? Не было ли американское вторжение во Вьетнам близким к настоящему геноциду? Молодое поколение в Израиле также задавало весьма критические вопросы: разве не способствовало поведение обеспеченных слоев еврейства тому, что миллионы жертв дали отвести себя, "как овец, на бойню"? ¹²

Тем самым традиционное самосознание западного мира выглядело основательно поколебленным; в новой перспективе мира без политиче-

ской и сексуальной репрессии, опиравшейся в особенности на "фрейдомарксизм" Вильгельма Рейха и Герберта Маркузе, оказывались в одном ряду национал-социалисты и буржуазные борцы сопротивления, американские капиталисты и итальянские фашисты, сталинисты, а иногда и ленинисты как представители репрессивного общества. В ФРГ эта анархическая тенденция, соединившись с тевтоноцентризмом, сводившемся к обвинению тогдашних и нынешних правящих слоев, создала господствующую легенду, поборники которой хотя и отвергают отождествление своей идеи с государственным мифом ГДР, очень чувствительны ко всякого рода антикоммунизму, так как он, по их мнению, мешает наконец-то достигнутому мирному сосуществованию.¹³ Тем не менее в собственно научной области исследование и постановка вопросов продолжались, и можно было, ссылаясь на все увеличивающуюся временную дистанцию, требовать историзации также применительно к национал-социализму, подчеркивать в нем революционные черты в большей степени, чем было принято до сих пор, и даже приписывать ему позитивную роль в процессе модернизации немецкого общества.¹⁴ Всё более трудной становилась консервация предостережений о возможном возрождении национал-социализма или утверждать, что необходимо постоянное педагогическое просвещение народа, чтобы предотвратить возможность повторения страшных событий. Тем временем глубокие изменения в мировой политике стимулировали постановку все новых вопросов.

Развитие в направлении *permissive society*, чрезвычайно сложного и дифференцированного государства благоденствия продолжалось на Западе, почти нигде не вызывая серьезных реакций. Сдача позиций союзниками в Южном Вьетнаме в 1975 году и боязливая сдержанность США, когда марксистские освободительные движения увлекли крупные государства Африки на борьбу против западных освободительных движений, сделали слабость империализма очевидной как никогда, а волна консерватизма, закинувшая Рональда Рейгана на президентский пост, имела целью лишь предупредить угрозу нарушения баланса в мировой политике. Но теперь, когда в свою очередь, Советский Союз защищал затяжными военными действиями слабый и зависимый режим в Афганистане, коммунистический режим в ответ на грозящую изнутри опасность утверждал себя путем захвата власти партийными военными с присущими им большой решительностью и изначальной жестокостью. В Иране произошла, к удивлению всего мира, совершенно своеобразная, но по форме просто классическая революция, которая, будучи освобождением от американского влияния, согласно распространенным представлениям, была прогрессивной, но которую, в силу установления власти первосвященника, следовало назвать совершенно реакционной. Затем эта революционная страна была целиком превращена соседним государством в театр военных действий, причем эта война уже в 1985 году сравнялась по длительности

со Второй мировой, а якобы всемогущий Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и мировое общественное мнение смогли проявить только полнейшую беспомощность. Общественное мнение играло роль скорее во время молниеносной войны Израиля с Ливаном, точнее, с сильным укрепленным пунктом врага Израиля в Ливане; тогда в мировой прессе нередко звучали слова о "геноциде", а иногда и о сходстве между сионистами и национал-социалистами. Между тем вновь объединившийся Вьетнам захватил Камбоджу и сам стал объектом карательной экспедиции со стороны Китайской народной республики. В ФРГ чуть позже распалась коалиция социалистов и либералов, но постулированный "поворот" выразился главным образом во все большем выдвигании и росте влияния новой партии, весьма критически настроенной к техническому прогрессу и обнаруживающей некое – не только формальное – сходство с национал-социализмом, однако резко противопоставляющей себя этому последнему в главных пунктах. В Советском Союзе опять-таки началась волна реформ, которая, возможно, означает нечто большее, чем наступление очередной оттепели и которая во всяком случае весьма знаменательно дала простор для критики Сталина и отдельных черт советского прошлого.

Ситуация в мире тем самым изменилась настолько, что предположение о сущностной однородности условий, которое одно только и способно оправдать страх перед повторением определенных событий, утратило под собой всякую почву. Идея, будто в Германии новый Гитлер однажды сумеет увлечь за собой массы на опасный путь и в конце концов устроить новую версию Освенцима, всегда была безосновательной, а сейчас звучит просто глупо.

И коль скоро страх перед повторениями беспредметен, а педагогические заботы о народе излишни, то нужно, наконец, сделать еще один шаг и тематизировать национал-социалистическое прошлое в его центральном пункте, каковым нельзя считать ни его преступные наклонности, ни его антисемитскую одержимость. Самое существенное в национал-социализме – это его отношение к марксизму и в особенности коммунизму в том виде, который он приобрел вследствие победы большевиков в русской революции. Этот взгляд отнюдь не нов, но его значение ступает на два предпосылками, получившими не в меру широкое распространение. Сами коммунисты выдвигают тезис, что национал-социализм означал лишь безнадежную и потому преступную попытку сопротивления воле истории, то есть социалистической революции. Либеральные противники коммунизма, напротив, по большей части придерживаются мнения, что Гитлер и его люди использовали безосновательный страх перед коммунизмом как пугалом и ужасным призраком с целью захвата власти и именно потому установили режим, чрезвычайно сходный со сталинским.

Данная книга исходит из предположения, что проникнутое страхом и ненавистью отношение к коммунизму в самом деле было центральной движущей силой эмоций Гитлера и его идеологии, что он при этом лишь с особой интенсивностью артикулировал то, что испытывали многие его немецкие и не немецкие современники, и что все эти эмоции и страхи не только возможно понять, но что они в большой своей части были понятны и в некоторых пунктах даже оправданны. В наше время, когда коммунистические партии многих стран стремятся к участию в правительстве или стремились к нему, когда все они, по крайней мере, в Европе, весьма цивилизованным образом стараются сотрудничать с движением в защиту мира и с не террористическими левыми силами, требуется умственное усилие, чтобы вспомнить, что "те же самые" коммунистические партии между 1919 и 1935 годом повсюду были партиями "вооруженного восстания", что Ленин полагал, что буржуазия во всем мире ожесточена до безумия, "прилагает все усилия, чтобы нас свергнуть"¹⁵, что еще в 1930 году Европа *дрожала от страха*, и что заместитель наркомвоенмора Фрунзе писал в 1924 году: "Уже самым фактом своего существования мы подрываем его (старого, буржуазного мира) основы, разрушаем его стабильность и тем самым внушаем его представителям чувство злобной ненависти, бессмысленного страха и закоренелой вражды ко всему советскому".¹⁶ Удивительно на самом деле то, что далеко не все буржуа и мелкие буржуа Европы и Америки были преисполнены этими чувствами страха и ненависти, а многие, напротив, относились к великому социальному эксперименту в России с сочувственным интересом. Но если высказывания Ленина и Фрунзе в столь общей форме и не соответствуют действительности, то все же исключительно глупо было бы предполагать, будто только Гитлер и небольшой кружок близких к нему людей мучались воображаемыми кошмарами. Кто полагает, что Гитлер был прежде всего представителем пангерманизма, использовавшим призрак коммунизма лишь как прикрытие для своих захватнических целей, тот пусть прочитает сперва вышедшую в 1911 году книгу Отто Рихарда Танненберга "Великогермания. Предстоящая работа в ходе XX века" с ее наивным и высокопарным оптимизмом, а затем "Mein Kampf" Гитлера, и обязательно спросит себя, в чем состоит глубокое различие между ними, ведь как раз пангерманские цели в обеих книгах совпадают.

Поскольку в конце 80-х гг. XX века не приходится отрицать, что ожидания Ленина и Фрунзе не сбылись, невозможно и непозволительно исключать заранее вероятность того, что антикоммунистическая истерия национал-социалистов была непротиворечивой, и что она не противоречила тому руслу развития, по которому в самом деле пошла история. Тогда решающую важность приобретает вопрос о том, почему предвидимая и, по сути дела, оправданная дальнейшим историческим процессом реакция приняла настолько избыточный характер, что привела не только к вели-

чайшей войне за всю мировую историю, но и к единственным в своем роде массовым преступлениям. Предварительно и вкратце можно так ответить на указанный вопрос: избыточность есть основная черта всех идеологий, и что она является неизбежной там и тогда, где и когда одна идеология вызывает к жизни другую, противоположную себе. А что эта контр-идеология одержала победу в большой стране, хотя ее имевшая самые серьезные последствия избыточность, а именно антисемитская интерпретация антикоммунистического опыта, была очевидной и зажигательной лишь для небольшой части нации, — это можно сделать понятным, только предположив, что Гитлер сумел убедительным образом связать с данным идеологическим лейтмотивом другие, более простые и намного более популярные мотивы, как, например, мотив ревизии Версальского договора или мотив сплочения всех немцев. Однако такие тезисы могут быть лишь предвосхищающими и предваряющими развернутое изложение, которое они не способны заменить.

Задача данной книги — поставить отношения между коммунистами и национал-социалистами, а затем и отношения между Советским Союзом и Третьим Рейхом, в центр рассмотрения как самые значимые для Германии, для Советского Союза и для всего мира. При этом мы остаемся на почве феноменологической теории фашизма в той мере, в какой мы исходим из представления о сущностной вражде между коммунистами и национал-социалистами и считаем, что приравнивание их друг к другу не оправдано ни для какого временного отрезка. В то же время мы не выходим за рамки концепции тоталитаризма, поскольку ориентируемся на понятие и реальность либеральной системы, которая со своими гарантиями экономической и духовной свободы индивидуума не определяется господством какой-либо идеологии и все же является истоком как коммунистической, так и национал-социалистической идеологии. Но, поскольку мы последовательно исходим из теории фашизма, одной из двух идеологий приписывается приоритет, и тем самым теория тоталитаризма получает историко-генетическое измерение, которого ей до сей поры недоставало. Между тем понятие исторического движения предполагает и то, что как исходная, так и ответная идеология не остаются просто комплексами идей, что они как таковые уже укоренены в реальных условиях, что они принимают облик движений, а в конце концов и режимов, что они вступают во взаимодействие друг с другом, а значит, претерпевают изменения. Поэтому, если мы здесь и пишем историю идеологий, то она весьма далека от простой истории идей. Это также история взаимоотношений двух крупных государств, но в не меньшей степени она относится и к жанру сравнительной историографии.

В этой книге мы лишь в небольшой мере можем опереться на предшественников. Исследования по теории тоталитаризма, в частности, классические труды Ханны Арендт и Фридриха Бжезинского, относятся к срав-

нительной политологии и не являются историческими в собственном смысле слова; в историографии до сей поры был тематизирован всегда только один из двух этих феноменов, но никогда ее предметом не становилась их внутренняя и внешняя связь. Детальных исследований о борьбе коммунистов и национал-социалистов в период Веймарской республики мало.¹⁷ Только историки, занимавшиеся международными отношениями и, следовательно, немецко-советской войной, о которой, разумеется, много писали как в целом, так и в частностях, часто поднимали такие темы как "Германия и Советский Союз" или "Сталин и Гитлер".¹⁸ Однако такая постановка вопроса слишком ограничена, чтобы с ее помощью удалось хотя бы только в тенденции показать то целое, которое, по моему убеждению, становится понятнее через акцентирование вопроса о национал-социализме и коммунизме, воплощенном в Советском Союзе и Третьем Интернационале, чем через описание многообразных событий мировой истории Нового времени или хотя бы только XX века.

Тем самым мы вовсе не отрицаем, что в литературе можно найти немало важных и примечательных высказываний об этих взаимоотношениях. В научных исследованиях о национал-социализме захват власти Гитлером часто называют мнимой или неподлинной революцией, и при этом обычно явно или неявно подразумевается, что захват власти большевиками был, напротив, подлинной революцией по образцу Великой Французской революции. Но нередко также от сравнения категорически отказываются на том основании, что обстоятельства были слишком различны. Как известно, очень распространено мнение, будто ссылки на Советский Союз или сталинизм ведут к апологетике или мешают оценить уникальность преступлений национал-социализма. Гораздо более частыми и непредвзятыми такие сопоставления бывают в литературе, посвященной большевизму или Советскому Союзу. Так, Луи Фишер, сам бывший коммунист, хорошо знакомый с обстановкой в Советском Союзе, пишет, что у сталинских чисток есть только один исторический соперник — а именно, гитлеровские газовые камеры.¹⁹ Недавно эмигрировавшие советские историки Михаил Геллер и Александр Некрич называют сталинскую систему "самой бесчеловечной" из когда-либо существовавших на земле.²⁰ По мнению Милована Джиласа, никогда не существовало деспота "более жестокого и циничного, чем Сталин".²¹ А Николай Толстой раскрывает важнейший вывод из этих высказываний, отмечая, что Гитлер в сравнении со Сталиным был чуть ли не законопослушным человеком.²² Леонард Шапиро, в свою очередь, находит сходство между Лениным и Гитлером, выдвигая тезис, что единственным постоянным элементом ленинского мышления была одержимость властью, и что ею объясняется волевое начало его извечной бескомпромиссности.²³ Напротив, Адам Улам ограничивает свое утверждение довольно узкими временными рамками, утверждая, что сталинский режим с 1936 по 1939 гг. был самым тираническим

на земле.²⁴ Но такие сравнения подсказаны потомкам ранними высказываниями самих большевистских вождей. Например, Троцкий в 1924 году писал, что революция использует "методы жесточайшей хирургии".²⁵ Или взять Сталина, который абсолютно хладнокровно констатировал, что помещики, кулаки, капиталисты и купечество должны быть в Советском Союзе "устранены".²⁶ Самые жесткие высказывания исходят как раз от бывших коммунистов, а значит, являются результатом пересмотра собственных мнений, а не вытекают наперед данного буржуазного антикоммунизма. Леопольд Треппер, бывший "большой шеф" "Красной капеллы", оглядываясь назад, равным образом называет сталинизм и фашизм "ужасом"²⁷; а в архиве Ганса Йегера, который еще в 1932 году писал статьи для "Инперкора" [Internationale Presse-Korrespondenz], сохранилась такая заметка: "В гибели шести миллионов евреев косвенно виноват марксизм. Он первым стал проповедовать ненависть, он первый предпринял уничтожение целого класса".²⁸

Но другие бывшие коммунисты и после 1945 года явно не испытывали никакого морального отвращения к истребительным мерам Сталина, считая их исторически неизбежными и оправданными: Сталин, несмотря на свою бесчеловечность, был великим революционным вождем, писал Исаак Дейчер, а Гитлер, напротив, лишь бесплодным контрреволюционером.²⁹ Из некоммунистических авторов Вальтер Лакёр устанавливает и моральное различие, высказываясь против сравнения национал-социалистских лагерей уничтожения и сталинских лагерей принудительного труда.³⁰ А Адам Улам видит разницу, прежде всего, в том, что Сталин был умнее, поскольку всегда вел чрезвычайно осторожную внешнюю политику.³¹ Довольно многие среди участников событий и пишущих о них историков полагают, что именно Сталин уничтожил первоначальное различие между коммунизмом и фашизмом: Вальтер Кривицкий, Владимир Антонов-Овсеенко и Франц Боркенау высказывали мнение, что большевизм благодаря Сталину принял образ своего врага, то есть фашизма.³²

Я думаю, что эти высказывания, как бы они ни были разнородны, не являются решительно несовместимыми, и что те из них, где отрицательную оценку получает уже и Ленин, продиктованы не только незнанием, непониманием или простой враждебностью. В дальнейшем я исхожу из простой основной предпосылки, что большевистской революцией 1917 года была создана совершенно новая для мировой истории ситуация, так как впервые в современной истории идеологическая партия в крупном государстве захватила единоличную власть и убедительно продемонстрировала намерение произвести во всем мире, путем развязывания гражданских войн, радикальный переворот, который должен был знаменовать собой исполнение надежд прежнего рабочего движения и осуществление предсказаний марксизма. Для самих большевиков было совершенно ясно,

что столь гигантское предприятие должно было вызвать крайне ожесточенное сопротивление, тем более что практика показала, что после насильственного захвата власть с величайшей решительностью побивала, более того, уничтожала в беспрецедентной классовой войне своих многочисленных врагов как на фронтах гражданской войны, так и в тылу.

Самым своеобразным и поначалу самым успешным из этих движений сопротивления была Фашистская партия Италии, во главе которой стоял один из прежних руководителей революционного крыла Социалистической партии этой страны Бенито Муссолини. Уже одно это показывало, что хотя противоположность [между большевиками и фашистами] была более резкой, но в то же время между ними налицо было гораздо более близкое внутреннее родство, чем с буржуазными партиями, которые надеялись, что смогут по обычным правилам парламентской системы ответить на первый и даже на второй вызов. Для Гитлера Муссолини с самого начала был образцом, и его партия тоже заранее воспринимала себя как ответ на коммунистический вызов, хотя она, конечно, не сводилась без остатка к реакции на него, а имела и собственные исторические корни, как, например, доктрину пангерманизма. Но ответ с самого начала имел и черты копии, например, заимствование у коммунистов с некоторыми модификациями красного знамени. С захватом власти эта подражательность стала заметнее, и уже в 1933 году враги и друзья национал-социализма обозначали словом Чека его манеру борьбы с противником. Тем не менее Гитлер был, несомненно, убежден в том, что нашел лучший и более перспективный ответ на коммунистический вызов, чем западные демократии. Но уже так называемое дело Рёма было не ответом на коммунизм, и даже не его эквивалентом, а сверхэквивалентом. Во время войны становилось все заметнее, что большевизм во многих важных областях является для Гитлера образцом, а в области карательных мероприятий он достиг сверхэквивалентности.

История взаимоотношений обоих движений или режимов будет описана ниже с помощью этих понятий: вызов и ответ, оригинал и копия, эквивалент и сверхэквивалент. В порядке первого, предварительного резюме можно сказать: большевизм был для национал-социализма одновременно пугалом и образцом. Однако гражданская война, которую эти две партии вели между собой, разительно отличалась от обычной гражданской войны.

"Пугало" – не то же самое, что "ужасный призрак". "Ужасный призрак" может быть нереальным, простой фантазией. Зато пугало прочно занимает место в реальности, хотя в нем заранее заложена тенденция к преувеличению, которая является также главным признаком всякой идеологии. О призраках и фантазиях можно было бы говорить только в том случае, если бы было доказано, что ранняя антибольшевистская литература, которая в виде брошюр и газетных статей проникала в каждую де-

ревню, была всего лишь пропагандой, основанной на чьих-то личных интересах, и не имела в себе никакого реального содержания.³³ Далее будет показано, что в действительности все обстояло обратным образом. Кому казалось тогда, что с большевистской революцией произошел переход в новое измерение мировой истории, в измерение социального уничтожения больших масс людей и, конечно, в измерение индустриальной революции нового типа, тот был недалек от истины. Кто считал, что все это происходит в полуазиатской стране и не может иметь сколько-нибудь заметного влияния в рамках европейской цивилизации, тот не обязательно был прав. Что за социальным уничтожением последовало в конце концов биологическое и трансцендентальное уничтожение, что копия во многих областях превосходила по интенсивности свой образец, — к описанию всего этого вряд ли применимы такие обыденные понятия, как преступление. По иным причинам сомнения вызывает применимость здесь понятия "трагического", предложенного Джорджем Кеннаном.³⁴ Но, несомненно, столь же неправильным было бы видеть повсюду в эту эпоху между 1917 и 1945 гг. только борьбу интересов. Психология интересов, которую развивали сперва французские аристократы XVIII века, а потом английские утилитаристы, очень полезна во всех тех случаях, когда речь идет о калькуляции, измерении и взвешивании. Однако человек по своей сути не есть калькулирующее существо. Он опасается за свое существование, боится будущего, ощущает ненависть к врагам, он готов пожертвовать жизнью ради великого дела. Когда мощные эмоции такого рода определяют поведение крупных групп людей, следует говорить об основных эмоциях. Такой основной эмоцией было возмущение многочисленных рабочих и безработных, вызываемое несправедливостями и неравенством в капиталистической системе. Но основной эмоцией был и страстный гнев множества французов против бошей, которые отобрали у их родины в 1871 году две ее красивейшие провинции. Повседневная политика может строиться на калькуляции интересов и балансе интересов; но как только речь заходит о необычном и угрожающем, для очень многих людей эмоции перевешивают интересы; другое дело, что эти эмоции лишь в редчайших случаях прямо противоположны представляемым или воображаемым интересам. Имеются в виду такие эмоции, как возмущение, гнев, скорбь, ненависть, презрение, страх, но также энтузиазм, надежда, вера в великую задачу.

Таковыми основными эмоциями были движимы массы русских солдат в 1917 году, которые боялись, что им придется бессмысленно пожертвовать жизнью в уже проигранной войне; но такие же основные эмоции определяли и поведение офицеров, поборников "Фрайкорпа" [Добровольческого корпуса] и представителей буржуазии в Италии и Германии, которым было прекрасно известно, как обошлись с им подобными в России. Позже основными эмоциями было движимо активное ядро как коммунистиче-

9. 8 Feb 1918
в ф. д. 1918
не 8 мая 18

ской, так и фашистской партии, хотя, конечно, к ним присоединялась аморфная масса оппортунистов, людей, преследующих собственные интересы, а также обычных преступников. Историю двух важнейших партий, возглавлявших два мировых движения, одна из которых была более изначальной и, следовательно, служила пугалом для второго, но которые тем не менее все больше становились друг для друга как пугалом, так и образцом, — эту историю мы хотим написать как историю основных эмоций и их идеологических оформлений. Поэтому захват власти национал-социалистами 30 января 1933 года послужит лишь предварительной отправной точкой нашего изложения, и истории Советского Союза уделено в нем не меньше места, чем рассказу о борьбе между коммунистами и национал-социалистами в Веймарской республике и истории национал-социалистской Германии.

Если рассматривать коммунизм и национал-социализм в первую очередь как идеологии, а их вождей — прежде всего как идеологов, то будет равно неправильно трактовать Гитлера как немецкого политика и Ленина как русского государственного деятеля. Это не означает, что первый не был также и немецким политиком, а второй — также русским государственным деятелем. Но вопрос всегда заключается в первую очередь в преизбытке, в новом, в хиатусе, в которых состоит самая суть идеологии, из которых проистекают самые значительные действия. Идеологии могут быть очень разными, но в каждой из них есть этот преизбыток, а также здоровое зерно, что правомерно и соответствует духу времени; возможно, лишь идеологическое преувеличение может дать зерну прорасти, но это же преувеличение способно его и погубить. В "Сионистском дневнике" Теодора Герцля можно наблюдать возникновение понятия, которое позже приобрело мировое значение, но в какие чрезмерные надежды и фантастические идеи оно там облечено!³⁵ И все же Герцль, вероятно, очень быстро отказался бы от всей затеи, если бы мыслил только прагматически и рационально. Лишь новые поколения, глядя из новой ситуации, могут различить действительное зерно и фантастическое преувеличение. Современники, напротив, страстно принимают или отвергают все вместе, и только в ходе последующей борьбы постепенно становится ясно, где — рациональное зерно, а где — преувеличение. Гитлер воображал себя не наследником Штреземанна или Папена, а анти-Лениным, и сходил³⁶ в этом с Троцким, называвшим его "Обер-Врангелем мировой буржуазии".

Для Троцкого, конечно, Ленин был целиком и полностью прав, а поэтому Гитлер был целиком и полностью не прав. Но всякий, кто не разделяет убеждения в абсолютной истинности той или иной идеологии, неизбежно приходит к мнению, что Гитлер не мог быть не прав во всех отношениях, что в его воззрениях и действиях также можно распознать рациональное зерно, нечто такое, что соответствовало духу времени, что было по крайней мере очевидно для множества людей и волновало их.

Требую объединения всех немцев в единое государство, он хотел, в принципе, того же самого, чего Мадзини успешно добивался для всех итальянцев, и так же мыслил категориями национального государства, как большинство его современников. Что это объединение само по себе неизбежно сталкивалось с гораздо более сильным сопротивлением, нежели объединение всех итальянцев, было связано с особым положением немцев в Европе, и ответственность за это нельзя возлагать на Гитлера. А что пангерманское объединение было для него не самоцелью, а лишь этапом на пути к более важной цели, и что сопротивлению, с которым ему приходилось сталкиваться, он давал вполне определенное универсальное толкование, — во всем этом и заключался собственно идеологический момент, это и создавало новое измерение.

Задача историка, и особенно историка идеологий — проследить все эти взаимосвязи. Он должен смириться с тем, что его будут критиковать те, кто, оглядываясь назад, хочет видеть там абсолютное зло и считает, что служит абсолютному добру. На картине, которую ему предстоит написать, уместны лишь различные оттенки серого, использование белой краски запрещено ему так же строго, как и черной.³⁷ Только своим изложением, а не предпосланными ему исповеданиями веры и заверениями, может он убедить своих читателей, что в этих оттенках серого присутствует определенная градация. Он сознает, конечно, что между историческим мышлением и идеологиями нет принципиальной разницы постольку, поскольку и историк, и идеолог вынуждены абстрагировать и обобщать, не будучи способными охватить все богатство многоликой действительности. Коль скоро человек — существо мыслящее, он вынужден создавать себе идеологии и быть поэтому несправедливым. Теологи учат, что справедлив один Бог, потому что он создает единичные вещи тем, что их мыслит, так что ему не приходится искажать их с помощью понятий. Но историческое мышление может, исходя из новой эпохальной ситуации, сравнить содержание различных идеологий, проследить их последствия; при этом оно должно быть преисполнено решимости не склоняться перед волей к достижению целей, ведь именно эта исконная воля характерна для любой идеологии. Поэтому, хотя постановка вопроса требует от историка определенного отбора материала, в пределах этого отбора у него не должно быть более высокой цели, чем создать максимально полный и верный образ трактуемого предмета. Гитлер был не первым, кого называли врагом человечества, воплощением зла, разрушителем цивилизации; историк знает, а значит, обязан сказать, что все эти выражения применялись серьезными свидетелями к большевизму, когда о Гитлере еще никто и не слышал. Не Гитлер был первым, кто с позиций силы публично заявил, что он и его партия не могут жить на одной планете с группой людей, насчитывающей миллионы, и что поэтому эта группа должна быть истреблена.³⁸ Эти констатации правильны. Кто знает об этом и молчит,

тот поступает вопреки науке и вопреки нравственности, потому что среди бесчисленных жертв он обращает внимание лишь на отдельные группы. Кроме того, он поступает непоследовательно, если объявляет людей настолько не равными между собой, что исключает возможность для себя и себе подобных в аналогичной ситуации оказаться столь же виновным, как и те, кого он обвиняет. Что нельзя отрицать различий, тоже разумеется само собой, поскольку различия составляют существо реальности. Но историческое мышление должно противиться тенденции идеологического и эмоционального мышления фиксировать различия и вуалировать сходство, а также не принимать в расчет "другую сторону", сторону противника.

Беспристрастность, к которой стремится историческое мышление, не может быть божественной и потому безошибочной. Она не может избежать опасности перейти на одну из сторон, пусть даже особенно скрытным и subtilным образом. Но, если использовать юридическую метафору, она представляет собой стремление поставить на место военно-полевых судов и показательных процессов регулярное судопроизводство, то есть такое судопроизводство, в котором серьезно выслушивают и свидетелей защиты, а судьи не только сугубо формально отличны от прокуроров. Отдельные приговоры будут тем не менее очень разными, но, в отличие от приговоров военно-полевых судов, в них будут наличествовать и промежуточные ступени между смертным приговором и оправданием. Несмотря на это, они не безошибочны, и не исключается возможность пересмотра приговоров.

Историческое мышление должно быть также готово пересматривать и самое себя, коль скоро для этого есть веские причины, а не только возмущенные выкрики тех, кто не желает признавать, что всё, по возможности, должно получать объяснение, но не всё, что объяснено, тем самым понятно, и не все понятое оправдано. Однако нельзя стремиться к отказу от собственного существования, и лишь отсюда проистекает непосредственная и конкретная пристрастность. Если бы Гитлер победил³⁹, то в покоренной немцами Европе и, вероятно, во многих частях остального мира историография на века превратилась бы в восхваление деяний фюрера. Дегитлеризация оказалась бы, по всем человеческим меркам, невозможной. Наверное, люди, — за исключением жертв, о которых никто бы не упоминал, — были бы счастливее, поскольку были бы избавлены от необходимости обдумывать и сравнивать. Многие сегодняшние антифашисты из послевоенных поколений были бы, несомненно, убежденными и ценными поборниками режима. Только для исторического мышления и пересмотра не нашлось бы места, и потому люди, мыслящие исторически, воспринимались бы в этой системе как отрицательные типы и не имели бы никакого права на существование. Но даже понимание этого не должно толкать их к тому, чтобы задним числом вступать в ряды сражающихся современников.

1. 1933 год как заключительная точка и прелюдия:

Антимарксистский захват власти в Германии

Историю взятия власти национал-социалистам можно написать как историю интриг и преступлений: тогда получится, что Адольф Гитлер, вождь ослабленной и перешедшей в неудержимое отступление партии, был “приведен к власти” благодаря вероломству бывшего канцлера фон Папена, ради выгоды аграриев, которым грозил скандал с продовольственной помощью Восточной Пруссии, посредством угроз в отношении сына рейхспрезидента Гинденбурга или из-за вмешательства магнатов тяжелой промышленности; а власть эту он укрепил тем, что приказал арестовать своих политических противников, а в конце концов – и поджечь рейхстаг, чтобы добиться для себя и партнеров по коалиции большинства на выборах в рейхстаг 5 марта. В этой связи большая роль будет отведена переговорам, проходившим в доме кельнского банкира Шредера, на далемской вилле четы Риббентропов, – и таким фигурам, как Вернер фон Альвенслебен, в то время как имя Эрнста Тельмана, как в большинстве мемуаров причастных к этим событиям современников, в таком историческом изложении не всплывет вообще.

Если же историк от этой чрезмерной близости к событиям перейдет к максимально возможной дальней дистанции, то получится иная картина. После парламентских выборов, состоявшихся 31 июля 1932 г., НСНРП с ее 230 мандатами пережила беспрецедентный во всей истории партий в Германии подъем и, набрав почти 38% голосов, превратилась в самую сильную партию. Если при парламентской системе одна партия становится значительно сильнее других, то против нее может образоваться коалиция всех или почти всех остальных партий. Хотя это и не соответствует сути системы, и подобная ситуация едва ли долговечна, именно такой метод можно рекомендовать, когда речь идет об антиконституционной партии. И тогда важнейшая задача должна состоять в том, чтобы защитить большинство народа от массового меньшинства, вероятно, отличающегося особенно крепкими убеждениями и располагающего особо высокой энергией. Если же большинство не в состоянии образовать такую коалицию, то у государственного руководства как группы доверенных лиц народного большинства остается лишь две возможности: открытая борьба с этой крупной партией или же попытка решающим образом ослабить, а возможно, и расколоть ее. Открытая борьба неизбежно начинается в том случае, если эта партия выходит на улицы и призывает к свержению правительства. Такова была ситуация в конце 1918 – начале 1919 гг., когда Совету народных уполномоченных пришлось применить военную силу в столице против едва ли не преобладавшего массового меньшинства,

стремившегося помешать проведению выборов в Конституционное Национальное Собрание. И всё же, хотя национал-социалисты нередко угрожали насильственным захватом власти, они не приводили эту угрозу в исполнение и упорствовали в проведении легальной тактики. Так, 13 августа 1932 г. рейхспрезидент Гинденбург не передал бы лидеру сильнейшей партии руководство правительством, на которое тот, несомненно, мог бы претендовать, если бы последний, по официальному сообщению, не потребовал полноты власти. Хотя сам Гитлер и отрицал, что он выдвигал подобное притязание, но разве еще 1 июня Альфред Розенберг в газете "Фёлькише Beobachter" не выдвинул настойчивого требования "Вся власть Адольфу Гитлеру!" и разве все партийные прокламации не были наполнены крайне резкими нападками на систему? Итак, борьба могла проходить лишь в форме апелляции к народу, и на выборах в рейхстаг в ноябре 1932 г. национал-социалисты фактически потеряли не менее двух миллионов голосов. Однако и со 196 мандатами они всё еще и дальше оставались сильнейшей партией. Теперь рейхсканцлер фон Папен настаивал на повторном роспуске рейхстага и создании надпартийного правительства национальной диктатуры, хотя эта идея находила лишь незначительную поддержку со стороны избирателей. Тем не менее Гинденбург отказался пойти по этому пути, так как опасался начала гражданской войны. Поэтому возглавить правительство он доверил бывшему министру обороны Шляйхеру, который, казалось, знал, как прийти к мирному исходу: необходимо было расколоть НСНРП с помощью второго человека в этой партии, Грегора Штрассера, и образовать новую коалицию при поддержке профсоюзов. Но уже спустя несколько недель этот план потерпел крах из-за противодействия Гитлера и социал-демократической партии, и тогда уже не осталось возможности третьего решения; Гитлер должен был получить мандат на формирование правительства, поскольку он предоставил доказательство, что не стремится к полноте власти, а, значит, удовлетворится тем, что станет канцлером кабинета министров. Но в этом кабинете его сторонники составляли лишь меньшинство, а сам он был поставлен прямо-таки под опеку в силу необычного условия, а именно пункта, согласно которому он имел право выступать с докладом перед рейхспрезидентом лишь в присутствии вице-канцлера фон Папена. Если при образовании этого правительства и случилось что-то незаконное, то речь шла о незаконности или о некорректности, направленной против Гитлера: обузданный или поставленный в определенные рамки Гитлер означал вынужденное разрешение беспрецедентного кризиса.

Следует предположить, что первая точка зрения слишком уж зависит от поверхностной видимости и моралистического импульса к осуждению отдельных личностей или групп. И, несомненно, другая интерпретация носит чересчур детерминистский и дистанцированный характер. Но бросается в глаза, что ситуация в Германии была в высшей степени тяжелой.

Даже по официальной статистике в ней насчитывалось более шести миллионов безработных, и немалой их части приходилось жить за счет мизерного пособия, пользуясь социальным обеспечением. И хотя США были еще больше затронуты мировым экономическим кризисом, там не существовало антиконституционных партий, хотя критика капиталистической системы непрерывно набирала силу, особенно – у интеллектуалов Восточного Побережья. В Германии же проводила агитацию не только антиконституционная партия национал-социалистов, направлявшая свою пропаганду, в первую очередь, против веймарского парламентаризма и Версальской системы, но наряду с ней и еще до ее возникновения действовала коммунистическая партия, которая стремилась вообще низвергнуть капитализм и, будучи секцией Коммунистического Интернационала, – установить диктатуру пролетариата путем вооруженного восстания, а именно по образцу русской революции. Эта партия оказалась единственной, сумевшей на выборах в рейхстаг, начиная с 1928 года, четыре раза записать на свой счет непрерывный прирост голосов, так что количество ее мандатов возросло с 54 в мае 1928 г. до 100 в ноябре 1932 г. Впрочем, высказывались мнения, согласно которым КППГ представляла собой исключительно протестную партию безработных, а ее каждодневные угрозы являлись не более чем революционной риторикой, проистекавшей именно из ощущения бессилия. Но тогда почему вплоть до 30 января нельзя было воспринимать как пропагандистские лозунги и подстрекательскую риторику и заявления Гитлера о том, что он уничтожит марксизм и даже все прочие партии?

Как бы то ни было, Гугенберг и Папен не без оснований могли считать, что Гитлер быстро образумится и перейдет к будничной работе в кабинете, где кроме него находились всего два национал-социалиста, а важнейшие посты министра иностранных дел и обороны занимал непосредственно рейхспрезидент. Но они вряд ли рассчитывали на ликование и радостное возбуждение, воцарившееся во всей Германии после получения известия о назначении Гитлера. Никогда широкие народные массы не приветствовали и не встречали таким ликованием ни одно правительство Веймарской эпохи. На этот раз, однако, они устраивали факельные шествия даже в небольших городках отдаленнейших провинций, на их пути стояли бесчисленные воодушевленные зрители; в Берлин по улицам стекались гигантские колонны, не нуждаясь в полицейской защите и, окруженные симпатией наблюдателей, с факелами, в военной форме и военном строю, они проходили через Бранденбургские ворота мимо резиденций рейхспрезидента и нового рейхсканцлера. Это факельное шествие быстро стало легендой и излюбленной темой литературы и кино, но насколько в литературе и кино оно было организованным, а впоследствии и стилизованным, настолько в описаниях современников – членов НСДАП акцентируется в качестве доминирующего момент спонтанности, те на-

строения и истолкования, которые также определили облик вечера 30 января:

“Они не говорили, что Гитлер стал рейхсканцлером; они говорили просто: Гитлер. Люди говорили это друг другу на улицах, у магазинов, у прилавков, кричали об этом друг другу в метро и автобусах. Словно электрическая искра, эта новость летела от человека к человеку, воспламеняла весь громадный город, зажигала миллионы сердец <...> Это было как в четырнадцатом, когда удары пульса целого народа слились воедино <...> Тревога! Искры сыплются с одной улицы на другую. Отряды СА и СС устремляются на просторы улиц. “Стальной шлем” дает сигнал к торжественному построению: факельное шествие <...> Оно продолжалось четыре часа. Новые когорты, всё новые и новые <...> А вот и первый стальной шлем в обмундировании защитного цвета: лицо с германского фронта <...> Они не говорили этого, но все об этом знали: то, что пережили они сегодня, в эту пылающую ночь, было контрреволюцией, было расплатой за 9 ноября”.¹

Именно так в действительности и прежде всего воспринимали 30 января – как день национального подъема, как ответ на позорную катастрофу 1918 года – ни в коем случае не все немцы, но националистическая Германия, считавшая августовские дни 1914 года спасительным прорывом к правде нации и верившая только в победы, которые последовали за этими днями, а не в поражения, не в постепенно распространившуюся в народе усталость от войны и уж никак не в “четырнадцать пунктов” американца Вильсона. Но эта националистическая Германия потенциально жила в сердцах большинства немцев, ибо воодушевление августовских дней фактически было едва ли не общим, и если социал-демократы рано начали стремиться к миру посредством переговоров, то ведь в 1919 году как раз социал-демократический премьер-министр Шейдеман готов был скорее дать руку на отсечение, нежели подписать несправедливый Версальский договор. 30 января победил в первую очередь не столько Гитлер, сколько взгляд на историю и историческая легенда, характерные для националистической Германии, обладающие всей силой убеждения, присущей всему самому простому и эмоциональному. В этом тоне было выдержано первое воззвание нового правительства рейха от 1 февраля, и нет никаких поводов полагать, будто Гитлер лишь притворялся, расставляя эти совершенно консервативные и общепринятые националистические акценты, а сам их не ощущал.

И всё же из этой националистической Германии уже давно была исключена большая часть того, что в августе 1914 года составляло с ней единство – не только социал-демократы, но также католики и либералы, которые в 1917 г. повлияли на принятие рейхстагом мирной резолюции, т. е. все партии системы, составлявшие основу Веймарской республики. Даже в уже необычных условиях выборов в рейхстаг 5 марта 1933 г. эти

партии получили ненамного меньше голосов, чем НСДАП, а если бы можно добавить к ним еще и коммунистов, то речь могла бы идти примерно о половине народа. Так почему же эта половина оставалась столь пассивной и ее едва замечали? Один лишь энтузиазм националистической Германии вряд ли вызвал бы такие паралич и неподвижность; но Германия конца 1932 – начала 1933 гг. оказалась потрясена последствиями мирового экономического кризиса больше, чем любая другая нация. В таком положении любое событие, выходящее за рамки повседневной рутины, приветствовалось надеждами или, по меньшей мере, готовностью предоставить Германии шанс. Несметные толпы безработных, из протеста и отчаяния отдавшие в ноябре свои голоса КППГ, теперь могли предположить, что Гитлер, вероятно, знает выход. Крестьяне, которым грозила продажа недвижимого имущества с молотка; ремесленники, чей портфель заказов становился всё тоньше; мелкие торговцы, не знавшие, как они будут отвечать по платежным обязательствам – все они уже не верили в мероприятия по стимуляции экономики или в налоговые чеки Папена и Шлейхера, но и не позволяли себя убедить радикальным предложениям Тельмана, согласно которым Германии суждено было быть связанной с Советским Союзом на вечные времена. Поэтому указанные группы населения доверяли тому, кто был полон решимости и всё-таки отвергал радикальные меры, чьи последствия невозможно было предвидеть, – и даже если они попросту оставались пассивными, они, тем не менее, препятствовали деятельности тех, кто призывал к сопротивлению, неизбежно приведшему бы к полному перевороту.

Страх перед тем, что такой переворот возможен, что к нему стремятся могущественные силы, по-видимому, представлял собой наиболее серьезную движущую силу национального подъема, столь стремительно перешедшего в “национал-социалистскую революцию”. Еще существеннее, нежели воодушевление националистической Германии и надежды населения, потрясенного кризисом, оказался страх бюргерской Германии перед грядущей коммунистической революцией. Ведь фактически КППГ была сильнейшей партией в столице рейха, и весь февраль в воздухе носились слухи о том, что коммунисты готовятся к гражданской войне, о тайных поставках оружия и даже о планах поджогов немецких церквей и музеев. Едва ли можно сомневаться, что Гитлер разделял широко распространенные заботы и опасения. Хотя правление социал-демократической партии еще 30 января отклонило предложение коммунистов о совместном призыве к всеобщей забастовке, что не было удивительно, если учитывать обоюдную враждебность, – по всей территории рейха всё же произошло некоторое количество острых стычек, причем национал-социалисты не всегда были нападавшей стороной. Во время обратного марша факельного шествия 30 января был застрелен командующий “ославленной” коммунистами эсэсовской роты убийц-33 Эберхард Майковский, а некоторое

время спустя, по сообщению газеты “Роте Фане”, вооруженные рабочие в Любеке провели 24-часовую забастовку, в продолжение которой контролировали целую улицу. С самого начала не могло быть никаких сомнений в решимости Гитлера и Геринга, тогда располагавшего властью над прусской полицией, одержать победу любыми средствами. Поджог рейхстага 27 февраля ускорил развитие событий, но никоим образом не вызвал их. Списки, благодаря которым почти все депутаты рейхстага и ландтагов от коммунистов, равно как и многочисленные прочие чиновники, оказались арестованы, были заготовлены полицией еще в последние годы Веймарской республики, а указ Геринга о расстрелах датируется 17 февраля. Удобный повод объявить чрезвычайное положение, несомненно, был бы найден, если бы внепарламентское чрезвычайное постановление рейхспрезидента о защите народа и государства не вышло еще 28 февраля. Вероятно, правительство Гитлера без поджога рейхстага не добилось бы на выборах 5 марта абсолютного большинства, но и без большинства мандатов оно могло бы подвергнуть новоизбранный рейхстаг такому давлению, что последний большинством в две трети принял бы закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий, тем самым решившись на отказ от собственных полномочий, как впоследствии сделали некоторые депутаты под впечатлением торжественного марша отрядов СА, а еще больше – ввиду ожиданий публичных разбирательств 23 марта. Всё еще не проясненный вопрос относительно человека, совершившего поджог рейхстага, важен лишь в связи с иной проблемой: шла ли речь со стороны правящей национал-социалистской партии о подлинные эмоции, или же циничные люди, дорвавшиеся до власти, не чурались даже в высшей степени рискованного преступления, лишь бы обеспечить себе безраздельное господство, которого они не могли иначе добиться. Всё говорит в пользу того, что даже в среде ведущих национал-социалистов царили эмоции и убеждения, в силу которых такое преступление не считалось необходимым, как бы ни сложился ход конкретных событий. Наиболее сильные из этих эмоций и убеждений, как правило, были связаны с капитуляцией Германии в ноябре 1918 г. и революцией в России; речь шла об антибольшевистских эмоциях, и, само собой разумеется, они настолько сочетались между собой как антимарксистские, что хотя они, очевидно, и были укоренены в гражданских (бюргерских) чувствах, но всё же выходили за их пределы.

10 февраля Гитлер выступил в берлинском Дворце Спорта. На кафедре можно было прочесть выведенную большими буквами фразу: “Марксизм должен умереть”. И вокруг этого лозунга вращалась вся речь, центральными тезисами которой были следующие: “Марксизм означает увековечение раскола нации... во внешней политике с помощью пацифизма, во внутренней посредством террора – так и только так могло ут-

верждать это мировоззрение разрушения и вечного отрицания... Победит либо марксизм, либо немецкий народ, а победит всё-таки Германия".²

2 марта Гитлер произносил вторую речь во Дворце Спорта, и на сей раз его совершенно не сдерживала осторожность государственного деятеля; он устремил взгляд за пределы Германии: "Устранил ли этот марксизм нищету там, где он одержал стопроцентную победу, там, где он царит реально и безраздельно, в России? Действительность говорит здесь прямо-таки потрясающим языком. Миллионы людей умерли от голода в стране, которая могла бы стать житницей для всего мира... Они говорят "братство". Знаем мы это братство. Сотни тысяч, и даже миллионы людей были убиты во имя этого братства и вследствие великого счастья <...> Еще они говорят, будто превзошли тем самым капитализм... Капиталистический мир должен давать им кредиты, поставлять машины и оснащать фабрики, предоставлять в их распоряжение инженеров и десятников – всё это должен делать этот другой мир. Они не в силах это оспаривать. А систему труда на лесозаготовках в Сибири я мог бы рекомендовать хотя бы на недельку тем, кто грезит об осуществлении этого строя в Германии <...> Если слабое бюргерство капитулировало перед этим безумием, то борьбу с этим безумием, вот что поведем мы".³

В том же номере газеты "Фёлькише Беобахтер" можно было прочесть большую статью, в которой 22 вернувшихся из России рабочих призывали голосовать за Адольфа Гитлера, причем с тем обоснованием, что Советская Россия представляет собой ад для рабочих и крестьян, поскольку тем при тяжелейшем труде приходится владеть жалкое и голодное существование.

Снова и снова в продолжение этих месяцев в речах Гитлера всплывает основное требование – уничтожить марксизм, последовательно и беспощадно искоренить его. Но это требование нередко бывало связано с воспоминаниями о "спартаковцах с вещевыми мешками" 1918 года, и если Герман Геринг 3 марта объявил, что здесь его задача – лишь уничтожить и выкорчевывать, то несколько дней спустя он обратился к своим противникам со страстным обвинением: "Когда 14 лет назад мы вернулись с фронта, наши погоны и ордена, как и нас самих, бросили в дерьмо, а знамена, дававшие победоносный отпор всему миру, сожгли. Вы надругались тогда над самым сокровенным для нас, вы растоптали наши сердца, как попрали вы и Германию".⁴ На самом деле, теперь его вопрос к коммунистам был обоснованным: "Что бы вы сделали на нашем месте, если бы захватили власть? Недолго думая, свернули бы нам шею".⁵ В том же духе в 1929 году высказывался социал-демократический президент рейхстага Пауль Лёбе, но тот заслугу предотвращения взаимного уничтожения обеих радикальных партий приписывал именно своей партии.⁶ Также и Гитлер в речи от 2 марта обличал убожество отставных и беспокоящихся лишь о собственной пенсии полицейспрезидентов и с такой силой выска-

звался о решительности и кровожадности коммунистов, что казалось почти непостижимым, каким образом два столь разнородных явления могут объединяться под одним и тем же понятием марксизма. Но как раз этот антимарксизм и был основной характерной чертой национал-социалистской идеологии, и потому-то национал-социализм обратился и против буржуазии, чьи эмоции он разделял в столь широкой степени, и именно поэтому он снова сделал далеко идущие выводы в отношении всей истории Нового Времени, когда, например, Рудольф Гесс в июле выступил против бесчинств отрядов СА со следующим обоснованием: "Еврейско-либеральная французская революция купалась в крови гильотины. Еврейско-большевистская русская революция отзывается эхом миллионов криков из кровавых подвалов ЧК. Ни одна революция в мире не протекала столь дисциплинированно, как национал-социалистская <...> Каждый должен знать, что мы далеки от того, чтобы мягко обращаться с неприятелем. Он должен знать, что на каждое убийство коммунистом или марксистом национал-социалиста мы отплатим сторицей <...> Однако каждый национал-социалист должен знать, что издевательство над противниками отвечает еврейско-большевистскому умонстроению и недостойно национал-социализма".⁷

Таким образом, из высказываний ведущих национал-социалистов вновь и вновь становится очевидным то, что в основе их чувств и поступков лежит прежний опыт, прежнее беспокойство, прежняя ненависть: опыт офицеров и унтер-офицеров, приобретенный в революцию 1918 года, когда они внезапно утратили свой авторитет, когда боеспособные воинские соединения за один день превращались в рассуждающую толпу, когда с них срывали погоны, когда им плевали в лицо, когда их называли "военными преступниками" и "свиньями". И этот опыт, по-видимому, наделяется подобающей весомостью лишь с учетом русской революции, когда подобные события разыгрывались с гораздо более тяжкими последствиями, что явствует из воспоминаний воинов-балтийцев, из рассказов многих русских эмигрантов и русско-немецких беженцев, но также и из обширной литературы о русской революции, независимо от того, создавалась ли она монархистами или же социал-демократами. И офицеры эти не были изолированными, а могли считать себя элитой буржуазии, из которой они, за редким исключением, происходили. Многие буржуа по меньшей мере некоторое время ощущали себя почти так же, но сторонниками радикального антимарксизма долго были из них далеко не все, поскольку социал-демократов они привыкли считать порою неудобными, но всё же уживчивыми партнерами. А вот те, будь то бывшие офицеры или простые бюргеры, кому была показана идеологическую последовательность, должны были доискиваться до причин болезни общества и ее возбудителей, и тогда они уже не могли по-прежнему останавливаться на коммунизме или марксизме, но должны были обвинять в слабости либе-

рализм, а в конце концов наверное, — отыскать последнюю и решающую причину в евреях.

Что же было положительного, за что можно было уцепиться, если кругом было так много отрицательного? Прежде всего, — гарантированные от всех опасностей единство и здоровье народа, к которым, конечно, вел долгий путь. Далеко не все бывшие офицеры, и едва ли также большинство буржуа с немецкой национальностью, и даже не все ветераны национал-социализма желали идти по этому пути, но не так-то легко было сопротивляться последовательности, с которой шаг за шагом к июлю все партии оказались распушенными или были принуждены к самороспуску, — последовательности, с которой проводился арийский принцип и соблюдался закон против зачатия потомства, страдающего наследственными болезнями. Если национальный подъем стремился стать последовательно антимарксистским, то ему предстояло превратиться в национал-социалистскую революцию, а национал-социалистскую революцию Адольф Гитлер объявил завершенной еще летом 1933 года, поскольку она должна была стать лишь политическим переворотом, сосредоточившим всю власть в руках одной партии и ее фюрера, но никак не экономическим переворотом по русскому образцу, который отнюдь не только на взгляд Гитлера пагубно повлиял даже на страну, где он произошел, а в странах индустриального мира повлек бы за собой еще худшие последствия. Для Гитлера и всех поборников национального подъема Советский Союз в 1933 году представлял собой картину сплошного ужаса. Но разве, тем не менее, он не служил в какой-то мере и образцом для национал-социалистской революции?

В беседе с одним из немецких дипломатов министр иностранных дел Литвинов сказал, что Советский Союз понимает, что Германия обращается со своими коммунистами так, как Советский Союз вел себя в отношении врагов своего государства.⁸ Как бы там ни было, суровые меры против коммунистов и коммунистической прессы с первых же дней стали характернейшей чертой национал-социалистского режима, и именно против коммунистов были направлены указ Геринга о расстрелах от 17 февраля и учреждение вспомогательной полиции из отрядов СА и СС 22 февраля. Уже тогда последовало распоряжение “беспощадно применять оружие”, и уже тогда узников “убивали при попытке к бегству”. Но о терроре всё же стало возможным вести речь лишь после поджога рейхстага, и тотчас же он распространился далеко за пределы коммунистических рядов, хотя постановление о защите народа и государства должно было служить исключительно “обороне от антигосударственных коммунистических актов насилия”. Кроме того, социал-демократы и некоторые буржуазные политики были взяты под охранный арест и доставлены в словно из-под земли выросшие концентрационные лагеря, которые лишь в незначительной части носили государственный характер, а в большинстве

случаев строились и эксплуатировались отрядами СА и СС за их собственный счет. Особенно известными стали – наряду с все же номинально государственным лагерем Дахау под Мюнхеном – дикие лагеря, такие, как Колумбияхаус в Берлине, Ораниенбург, Кемна в Вуппертале и другие. Их основными характерными чертами были импровизация и зачастую личная, но во всяком случае конкретная ненависть, проявлявшаяся в поведении караульных по отношению к узникам. Так, лагерь Ораниенбург был устроен на фабрике, где первоначально размещалась пивоварня, и спальные помещения для узников размещались в бывших погребках для охлаждения бутылок пива, где поначалу можно было спать лишь на мешках с соломой. Кемна также представляла собой пустующую фабрику, и прошло немало времени до тех пор, пока не были созданы самые необходимые предварительные условия для проживания на ней большого числа узников. Однако повсюду дело доходило до столь же резкой, сколь и односторонней конфронтации политических противников, которые именно в небольших лагерях знали друг друга слишком уж близко, а всего лишь несколько недель или месяцев тому назад противостояли друг другу в ожесточенных уличных схватках. Так массовым образом сводились политические и личные счеты, и в первые же годы от побоев, а иногда и от садистских пыток умерли многие тысячи узников. Вскоре начались публичные разбирательства злоупотреблений властью, и была обещана помощь, но поначалу юстиции удавалось освобождать жертв или привлекать виновных к ответственности лишь в редких случаях. Количество находящихся под охранным арестом в 1933 году достигло примерно 30 000 человек, и каждый освобожденный из лагеря обязан был дать расписку о неразглашении происходившего с ним. Тем не менее слухи распространялись очень быстро, и в 1934 году появились первые подлинные сообщения беглых узников, например депутата от КПП с многолетним стажем Герхарта Зегера об Ораниенбурге. В них весьма достоверно, тщательно избегая преувеличений и бранных слов, он сообщал о камере пыток при помещении для допросов, где задержанных избивали столь жестоко, что многие из них умерли от последствий, об унижениях, которым как раз и подверглись столь видные узники, как бывшие депутаты от КПП Эберт и Хейльман, – и о темных карцерах, куда узников, если те нарушали лагерный распорядок, запирали на несколько дней и ночей, словно в стоячие каменные гробы. Однако Зегер смог также поведать и о непрерывной вражде между заключенными-коммунистами и социал-демократами, из-за которой коммунисты выражали бурное одобрение, когда комендант сообщал о предстоящей доставке в лагерь “социал-демократических бонз”, и он “исправил” старую антипатию, заявив, что штрафные батальоны прусской военщины являются “гуманным учреждением” по сравнению с “мерзостью соответствующих заведений СА”.⁹ И так, эти концентрационные лагеря стали, так сказать, конечной стаци-

ей гражданской войны, где победившая партия проявляла чрезвычайную жестокость и подло зверствовала как раз потому, что у нее сложилось впечатление, что она чуть-чуть не стала побежденной стороной. Нельзя счесть непонятым и то, что узникам, когда они отправлялись в Дахау еще под надзором полиции, и часть из них пела "Интернационал" и кричала "ура" в честь КПГ, в лагере объявляли, что теперь с ними будут обращаться по их собственному рецепту, – но всё же речь шла о симптоматичной чрезмерности, когда первый комендант Дахау, Хильмар Веккерле, отчетливо потребовал от своих эсэсовцев, чтобы они стали для Германии тем же, чем для России является ЧК.¹⁰ И жестокости нередко принимали такой характер, что они даже при самых великодушных описаниях потрясали фундамент, на котором всё-таки должен основываться даже самый зверский и ожесточенный террор гражданской войны: базис сохранения самоидентичности. Не спасшийся бегством враг, а министр юстиции рейха доктор Гюртнер в 1935 году писал о том, что происходило в диких концлагерях перед их ликвидацией в начале 1934 года: "В концентрационном лагере Хонштейн в Саксонии заключенным приходилось стоять под сконструированным специально для этой цели капельным душем до тех пор, пока на коже их головы от падающих на равном расстоянии водяных капель не появлялись тяжелые гнойные раны. В одном из концентрационных лагерей в Гамбурге четверо заключенных целыми днями – один раз непрерывно три дня и три ночи, а другой – пять дней и ночей, – были прикованы к решетке, крестообразно расставив руки, и при этом их так скудно кормили черствым хлебом, что они едва не умерли от голода. Эти немногочисленные примеры свидетельствуют о жестокости, говорящей о глумлении над чувствительностью любого немца в такой степени, что тут невозможно принимать в расчет какие бы то ни было основания для смягчения кары".¹¹

И еще один факт не позволяет считать террор СА в 1933 году попросту чрезмерной заключительной фазой пресеченной в самом начале гражданской войны, которая спустя несколько месяцев была остановлена государственными властями или хотя бы взята под контроль. Несмотря на то, что первый шеф основанного в конце апреля 1933 года управления государственной тайной полиции Рудольф Дильс впоследствии с гордостью докладывал о том, что во взаимодействии с другими властными структурами ему удалось уменьшить количество заключенных под охраненный арест до 2800 человек и заменить около 50 диких концлагерей немногочисленными государственными исправительными учреждениями.¹² Самый крупный из лагерей, Дахау, оставался в подчинении СС, которое благодаря умелой тактике своего рейхсфюрера и вследствие того, что Гиммлер был командующим политической полицией в Баварии, во всё возрастающей мере принимало на себя полицейские функции. Так что хотя в количественном отношении террор удалось уменьшить, он оказал-

ся систематизирован и в дальнейшем лишен эффективного контроля со стороны юстиции. Кроме того, в некоторых лагерях были образованы так называемые еврейские роты¹³, где был особо строгий режим. Несмотря на то, что речь здесь также шла о политических противниках, о коммунистах и социал-демократах, и, по всей вероятности, ни один еврей не попадал в лагеря как еврей, всё же после взятия под стражу евреев выделяли и подвергали дискриминации. При этом осуществлялся переход к наказаниям “за само бытие”, а не за содеянное, и процесс этот проходил в то же время и в других формах, которые не были наказаниями или террором в узком смысле, однако должны рассматриваться как акты преследования или подавления. В первую очередь, здесь необходимо упомянуть “Закон об оздоровлении профессионального чиновничества” от 7 апреля 1933 года, в котором параграф 3 гласил: “Служащих неарийского происхождения следует отправлять в отставку. Если же речь идет о почетных служащих, их следует исключать из учреждений.” При этом в закон, который согласно своему названию был направлен против чиновничества с партийными билетами, оказался внесен принцип совсем иного рода, принцип принадлежности к группе или расе, который в крайнем случае можно было оправдать как требование пропорционального представительства, но при необходимости можно было представить и как меру религиозного преследования. Ведь иного критерия, кроме принадлежности к иудейской религии, тут не существовало.

Поэтому не было удивительно, что в сообщениях иностранной прессы немедленно и с большой силой на первый план вышли преследования евреев, и, по всей видимости, здесь не требовалось особых протоколов о происшествиях, ибо впервые в мировой истории в большом государстве пришла к власти партия, уже в своей программе отчетливо провозгласившая себя антисемитской. Большая часть сообщений, опубликованных в зарубежной прессе, была, несомненно, сильно преувеличенной, например, когда “Геральд Трибюн” уже 3 марта писала о “массовых убийствах немецких евреев”, или же когда в конце апреля “Дейли Геральд” опубликовала статью о “стране палачей, убивающих евреев”.¹⁴ Столь же сомнительным было слияние антифашистской и проеврейской пропаганды, благодаря которому стало возможным таскать на демонстрациях болтавшиеся на виселицах чучела Гитлера. От этого не слишком отличалось движение за бойкот немецких товаров, начавшееся уже несколько недель спустя после захвата власти национал-социалистами.¹⁵ Но во всем этом, хотя и в преувеличенной форме либо преждевременно, отразился лишь тот факт, что в Германии началось нечто, не имеющее прецедента в мировой истории: подавление и поражение в правах евреев как евреев в современном государстве, где их эмансипация, т. е. правовое и фактическое уравнивание в правах с остальными гражданами, завершилась уже давно.

Насколько при этом дело состояло в противоположности между поднимающейся национал-социалистской революцией и национальным подъемом, стало известно благодаря книге, опубликованной 15 мая 1933 года в издательстве Якова Трахтенберга, получившем известность публикациями антибольшевистской литературы.¹⁶ В ней содержится подборка высказываний еврейских организаций и отдельных евреев, направленных против зарубежной “пропаганды о зверствах”. Большинство их сформулировано с осторожностью, поскольку в условиях давления, оказываемого с национал-социалистской стороны, невозможно было ожидать ничего иного; в них упоминаются “нанесение телесных повреждений”, “бесчинства” и “эксцессы”, однако свидетельствам о настоящих зверствах дается отвод. Впрочем, в разных местах этой книги всё же невозможно не заметить, насколько силен был национально-германский и бюргерский настрой именно у крупнейших организаций и некоторых из значительных деятелей. Так, Союз еврейских фронтовиков рейха с большой резкостью обрушивается на “безответственную травлю”, каковую “устраивают против Германии так называемые еврейские интеллектуалы за границей”; почетный председатель Союза национально-германских евреев доктор Макс Науман усматривает в пропаганде о зверствах “не что иное, как новое издание разжигания войны против Германии и ее бывших союзников”, а председатель Союза немецких раввинов Лео Бек заявляет, что основные программные пункты национальной немецкой революции, а именно, преодоление большевизма и обновление Германии, представляют собой и цели немецких евреев, которые ни с одной страной Европы не породнились так глубоко и живо, как с Германией.¹⁷ Сам Трахтенберг в предисловии утверждает, что газетная травля по поводу мнимых зверств в Германии может, в конце концов, привести к фактическим зверствам, поскольку бессовестные заправила кампании лжи стремятся, “очевидно, развязать новую войну”. Если бы национал-социалисты были не более чем немецкими националистами или всего лишь антикоммунистами, то, по-видимому, они легко бы нашли взаимопонимание со значительной частью немецких евреев.

Однако же взятие власти Гитлером интерпретировалось как триумф нового немецкого национализма большинством иностранных газет и тогда, когда много места отводилось сообщениям о преследованиях евреев. Так, авторы из “Манчестер Гардиан” боялись и ненавидели прежде всего “юнkerов и реакционеров”, а вот в Гитлере усматривали попросту орудие этих людей; автор же “Таймс” не верил, что Гитлер переиграет своих союзников на манер Муссолини, ибо у него якобы не было “из ряда вон выходящих способностей” итальянского диктатора.¹⁸ Французы также опасались рейхсвера или кронпринца гораздо больше, нежели Гитлера, которого нередко пренебрежительно сравнивали с генералом Буланже.¹⁹ Итак, в Англии и Франции левые и правые соглашались между собой в

том, что в Гитлере они не видят по существу ничего нового, но считали, что им предстоит конфронтация с реакционером или милитаристом вроде тех, с которыми столь жестоко пришлось сражаться в мировую войну. Лишь “Дейли Мейл” лорда Ротермира воспринимала Гитлера, в первую очередь, как антикоммуниста, а в октябре она отвела в высшей степени выдающемуся автору, а именно – премьеру военных лет Ллойд Джорджу, место для тезиса о том, что если Гитлер потерпит фиаско, неизбежно придет коммунизм.²⁰ Сравнения с русской революцией были достаточно редки, однако при обсуждении “Коричневой книги о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре” газета “Берлингске тиденде” 8 сентября высказала замечание, что там, где коммунисты захватили власть, творится намного больше ужасного.²¹ Еще более редкими были замечания о том, что Гитлер не является настоящим антикоммунистом и в столь же малой степени – консерватором. Итак, хотя тревога была значительной и высказывались разнообразнейшие мнения, всё же ни одна из зарубежных газет не интерпретировала захват власти Гитлером как событие, которому предстояло возыметь всемирно-исторические последствия.

С Гитлером и национал-социализмом весьма поверхностно обходились не только современники. Самая имманентная тенденция науки спустя более чем полвека может привести к столь же поверхностному результату. Чем тщательнее исследовались отдельные процессы, непосредственно предшествовавшие захвату власти или следовавшие за ним, тем неотчетливее или условнее становился их задний план и тем большее место отводилось абсолютно субъективным оценкам авторов. Тот, кто стремится рассматривать политические процессы в их повседневном протекании и во всей их сложности, с легкостью склоняется к тому, чтобы считать несущественными идеологические высказывания, с которыми он сталкивается лишь от случая к случаю, – а тот, кто изучал Германа Геринга прежде всего с точки зрения его наркомании, вероятно, отделялся от его утверждения, что революционеры 1918 года “растоптали сердце” ему и ему подобным, как от сентиментальной фразы. Знаток парламентской политики может объявить коммунистов смутьянами, которые лишь иногда обращали на себя внимание шумными сценами и нереалистическими предложениями. Поставивший в центр своих интересов пакт между Гитлером и Сталиным, возможно, усмотрит в речи Гитлера от 2 марта неискренние и демагогические подстрекательства. Но время от времени научно мыслящие умы должны начинать борьбу против этой имманентной тенденции науки, тенденции к непрерывно прогрессирующей специализации, сколь бы велик ни был риск. Если разнообразные высказывания Гитлера в период захвата им власти и различные тенденции национал-социалистского движения выстроить в иерархическом порядке: центральное и попросту маргинальное, подлинные импульсы и вспомогательные тактические средства, более глубокие и менее глубоки мотивы, если такие

затасканные понятия, как буржуазный (bürgerlich) должны обрести выветрившийся из них смысл, то требуется долгий ретроспективный взгляд, и взгляд этот должен достигать не только мировой войны и ноябрьской революции в Германии, но определенно и с характерными деталями – русской революции, на которую так часто ссылались и Гитлер, и “Фёлькише Беобахтер”, и многочисленные партийные вожди. Лишь тогда можно будет с наглядностью понять, в какой степени захват власти национал-социалистами стал заключительной точкой, заключительной точкой Веймарского периода, к которому в 1933 году едва ли кто-нибудь хотел возвращаться, и насколько он мог быть также и прелюдией к бурным переворотам в мировой истории, хотя даже умнейшие из современников считали его всего лишь эпизодом.

II. Ретроспективный взгляд на 1917-1932 годы:

коммунисты, национал-социалисты, Советская Россия

1. Крушение Российской Империи и воля к мировой революции: Февральская революция и захват власти большевиками в 1917 году

Революция военного поражения, к которой, как на словах, так и в действиях, постоянно обращались национал-социалисты, произошла в России на полтора года раньше, чем в Германии, в марте 1917 года, но это был более продолжительный и болезненный процесс, поскольку она не исходила, как из предпосылки, из окончательного поражения, а, скорее всего, напрямую препятствовала ему. Захват власти большевиками в ноябре начал, с одной стороны, продолжение и завершение этого процесса, но он был также началом контрдвижения, направленного на разложение власти и целостности огромной империи, которое должно было проявиться в ближайшей перспективе. Большевики, однако, понимали "Октябрьскую революцию"¹ как исполнение и осуществление чаяний, которыми руководствовались, правда, не политики, а скорее широкие массы солдат и народа еще во время Февральской революции, а именно тоски по миру, социальной справедливости и свободе. Таким образом, отношение захвата власти к народной революции было амбивалентным, в то время как приход к власти национал-социалистов в Германии не мог иметь никакого отношения к значительно далее отстоящей по времени революции военного поражения, кроме негативного.

8 марта 1917 года в Петрограде, где к тому времени уже несколько дней бастовали важнейшие заводы, вследствие недостатка продовольствия развернулись демонстрации протеста, к которым стремительно присоединялись новые массы народа, и каковые с каждым днем становились все мощнее. Еще с начала первых выступлений председатель Государственной думы умолял царя, осуществлявшего с некоторых пор функции Верховного главнокомандующего и находящегося в своей ставке близ Могилева, как можно скорее сформировать Кабинет всеобщего доверия, поскольку в резервных батальонах гвардейских полков уже были случаи убийства офицерских чинов, а, с другой стороны, многие прапорщики присоединялись к демонстрантам. Однако Николай II оказался не готов к этому шагу, и через несколько дней большинство воинских частей в столице перешло на сторону демонстрантов, почти все полицейские участки Петербурга были сожжены дотла, везде развевались красные флаги, в том числе и над Зимним дворцом, династия Романовых была свергнута, гигантские толпы пьяных от радости народных масс заполнили централь-

ные улицы, а наряду со слабым "Временным правительством", сформированным из членов "Прогрессивного блока" Государственной думы, заседал "Совет рабочих и солдатских депутатов". Отданный им "Приказ № 1" предписывал сформировать в каждом военном подразделении солдатский Совет, к которому и переходило руководство по всем политическим вопросам. И хотя солдатам при несении воинской службы предписывалось соблюдение "строжайшей военной дисциплины", авторитет офицерского корпуса этим приказом все же был повсеместно поколеблен; участились сообщения о случаях отказа выполнять приказы, дезертирства и убийств вышестоящих начальников; структура колоссальной российской армии пошатнулась. Уже в марте командованию армии поступило сообщение о положении дел в Крондштадте: 90% офицеров арестованы и содержатся под охраной; офицеры, избежавшие ареста, лишены возможности носить погоны, поскольку их немедленно срывают "с наихудших элементов команды".² В апреле собранием матросских и солдатских Советов в Гельсингфорсе была принята резолюция, содержащая протест "против всех военных лозунгов, распространяемых буржуазией", и заявление о недостаточном снабжении боеприпасами по "вине предпринимателей".³ В солдатских письмах с фронта, задержанных цензурой, все чаще говорилось о приближающемся заключении мира и предстоящем разделе помещичьих земель, и наряду с трогательными свидетельствами возросшего самосознания цензоры могли прочесть образчики пугающей мудрости: "Старая власть не считала нас за людей <...> Теперь все мы пробудились для жизни". "У нас работают все комитеты и уже разработали проекты того, как передать землю народу безвозмездно, без единой копейки. И если кто-то окажет сопротивление и пойдет против нового закона, того мы уничтожим, и если такой случится, я не пощажу его, будь то даже мой отец или мать".⁴ Таким образом, на самых ранних этапах стало ясно, что речь идет о политической революции уставших от войны солдат и о социальной революции большей части крестьянства, которая стремилась к исполнению своего исконного желания о переходе владений знати в ее собственность. Тогда же в Петрограде и некоторых других промышленных центрах рабочие стали выдвигать первые требования об обобществлении промышленности. Не стоило предполагать, что Совет рабочих и солдатских депутатов стал бы серьезно сопротивляться этим требованиям, поскольку в большинстве своем он состоял из членов эсеровской крестьянской партии и марксистской рабочей партии меньшевиков, в то время как большевики были еще относительно слабы. Но Совет, разумеется, хорошо знал, что вопрос мира по своей актуальности значительно превагирует над всеми остальными вопросами, и обратился с пылкими призывами к "пролетариям всех стран" и в особенности к немецким рабочим и солдатам: приложить все усилия к тому, чтобы вынудить свои правительства к заключению всеобщего мира, после чего самодержавие в России

будет свергнуто, и аргумент в пользу защиты Европы от азиатского деспотизма будет более не актуален.⁵ Этот Совет не предполагал немедленного переворота и не посягал на единовластие. Он, напротив, был убежден, что спасение России в сотрудничестве всех левых партий, включая буржуазную партию "конституционных демократов" (кадетов), поэтому он рассматривал себя, скорее всего, как временный парламент Временного правительства, куда он изначально направил своих представителей. Таким образом, он выбрал путь, о котором часто полемизировали и западно-европейские социалисты до начала войны, путь сотрудничества с классовым врагом, буржуазией; но полагал с серьезными к тому основаниями, что любой другой путь неизбежно приведет к бедам сепаратного мира, так как длинная череда поражений русской армии в боях с немцами была подлинной причиной стремления русских к миру, а армии Германии и Австро-Венгрии проникли вглубь России: они оккупировали всю Польшу, значительную часть прибалтийских провинций и уже стояли на пороге Украины. После стихийного саморасформирования русской армии страна была отдана на произвол германских вооруженных сил, и только немедленное заключение всеобщего мира могло спасти социалистические силы от упрека в том, что они привели страну к поражению. Поэтому даже большевики приняли сторону правительства, стремящегося спасти страну от "упадка и развала", после чего путь к созданию "демократической республики", а также к созыву Учредительного собрания был свободен.⁶

Первый парадокс этой революции тоски по миру состоял в том, что она стала возможной только потому, что общественное мнение требовало побед и все меньше доверия проявляло по отношению к царскому двору, где царица Мария Федоровна, урожденная немецкая принцесса, якобы способствовала заключению сепаратного мира с немецким кайзером и распространяла дух пораженчества через своего фаворита Распутина. Распутин действительно был противником войны, и его убийство в декабре 1916 года означало победу дворцовой партии войны, имевшей многочисленных сторонников также и в парламенте, в Думе. Наконец, война велась в союзничестве с западными демократиями Франции и Англии, и русская интеллигенция так же, как и влиятельная петербургская промышленная буржуазия уже давно ожидали от этого союза конца самодержавия и перехода России на рельсы конституционной монархии. Поэтому имевшая власть часть общественного мнения приветствовала революцию как преобразование, ведущее теперь свободную и, благодаря этой свободе, более сильную Россию плечом к плечу со свободными народами Запада к окончательной победе над прусско-немецким милитаризмом. Такой взгляд на революцию был очень распространен и за пределами России, а некоторые американцы сравнивали нового премьер-министра князя Львова с Джорджем Вашингтоном.⁷ Но далеко не все союзники были столь

оптимистичны в своих воззрениях. Так, секретарь французской миссии граф Луи де Робьен предвидел развязку уже в марте-апреле, когда вынужден был занести в свой дневник запись о том, что его хороший приятель генерал Штакельберг после отказа выполнить требования солдатни был убит на глазах своей жены, а труп его сброшен в Неву. Столь же сильно Робьен был обеспокоен, обнаружив несколько позже спящих среди солдат "плохо выбритых длинногривых студентов в зеленых фуражках <...>, совершенно типичных русских нигилистов".⁸ Наконец он, как и его коллеги, очень хорошо знал, что немцы ожидали от революции сепаратного мира и на протяжении длительного времени пытались оказать влияние на принятие соответствующего решения, используя деньги и агентуру.

Не в последнюю очередь установлению спокойствия среди союзников способствовал тот факт, что новый министр иностранных дел и лидер кадетов Павел Милюков подчеркнул в одном из официальных заявлений русскую волю к победе и напомнил о русских военных целях, в том числе о Константинополе. Именно этим он, против своей воли, способствовал второй и еще большей парадоксальности: тому, что вождь большевиков, Владимир Ильич Ленин, вернувшийся в середине апреля из Цюриха, где он находился в ссылке, в Петербург, где ему был оказан торжественный прием, завоевывал все большее и большее одобрение, развернув свои "Апрельские тезисы". С растерянностью и удивлением меньшевики и многие товарищи по его собственной партии приняли к сведению сначала мнение Ленина о том, что Временное правительство является буржуазным правительством, правительством капиталистов, и о том, что настоящие социалисты должны вести острейшую борьбу с ним, а также с "защитниками Отечества" или "социал-шовинистами" среди "мелкобуржуазных" меньшевиков и эсеров с тем, чтобы организовать "коммуну" — или Советское государство, которое приведет к "упразднению полиции, армии, чиновничества" и будет представлять собой стадию непосредственного перехода к социализму. То, что полемика, направленная против капиталистов и "буржуев", была весьма популярна, явствует уже из того факта, что Милюков после ряда крупных демонстраций был вынужден уйти в отставку, и скоро нельзя уже было не видеть, что Ленин выразил настроение значительной части народа, когда вскрыл непримиримые противоречия внутри *революционной демократии*. Одна сторона была представлена эсерами и меньшевиками, а также рядом мелких социалистических партий, которая — и значительным большинством — под руководством Александра Керенского пыталась сблизить Совет и правительство, вплоть до того, что Временное правительство скоро примерно наполовину состояло из социалистов. Им противостояли большевики и так называемые меньшевики-интернационалисты, сгруппировавшиеся вокруг Юлия Мартова, а также небольшая группа Льва Троцкого, вернувшегося из Америки в Россию. Они все выступали с требованием передачи "всей

власти Советам", поскольку, по их убеждению, только правительство, свободное от капиталистов и *защитников Отечества*, может обратиться с убедительным призывом к народам воюющих стран и тем самым привести к заключению всеобщего мира.

Это было, конечно, не первой пропастью, разверзнутой Владимиром Ульяновым (сыном инспектора народных училищ Симбирской губернии, из пожалованных дворян), между ним самим и другими социалистами. В 1903 году он вызвал размежевание в рядах только созданной Российской Социал-Демократической Рабочей Партии на большевиков и меньшевиков, поскольку хотел осуществить свою концепцию партии как "устойчивой, осуществляющей постоянное руководство организации" и "тесно сплоченной кучки" профессиональных революционеров в противовес Мартову с его более демократичными представлениями, которому стихийность выступлений масс была важнее, чем сознание и притязания на руководящую роль социалистической интеллигенции. Затем Ленин повел непримиримую борьбу с *ликвидаторами*, *фидеистами* и другими политическими уклонами и с началом войны он оказался единственным среди социалистов Европы, кто решительно выдвинул лозунг поражения в войне собственной страны и требование "превратить войну империалистическую в войну гражданскую". И в то же время этот поборник мира с таким сокрушительным презрением отзывался о плаксивой мелкой буржуазии и ее отвращении к крови и применению оружия⁹, что наблюдатель имел бы все основания для того, чтобы предположить, что в голове этого человека рождается совершенно новый вид социализма. Между тем, ни Каутский, ни Роза Люксембург не считали его одним из них, так как его тактика казалась слишком сориентированной на специфику отношений, обусловленных русским самодержавием, и число его сторонников в 1914 году было еще довольно незначительным по сравнению с членами и избирателями немецкой социал-демократии. В начале 1917 года количество членов партии составляло, по приблизительным подсчетам, лишь 50 000 человек. Но ни в какой другой социалистической партии Европы авторитет одного человека не был столь велик и неоспорим.

Что это может означать в экстремальной ситуации, стало ясно и широкой общественности, когда Ленин выступил с речью на I-м Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года, где не только категорически заявил о готовности взять на себя вместе со своей партией " всю полноту власти", но и о своем намерении арестовать всех крупных капиталистов сразу после своей победы, потому что они, как и их французские и английские коллеги, суть не что иное, как разбойники и опасные интриганы.

¹⁰ Шумными аплодисментами приветствовали также выступление Керенского, со всем пафосом гуманного социализма заклеившего предложение об аресте и наказании людей на основании их классовой принадлежности как *сугубо восточное*.¹¹ Не менее резко полемизировал с Лениным

его старый учитель, основатель русского марксизма Георгий Плеханов, когда он заклеил "почти патологическое стремление большевиков к захвату власти" и заявил, что Ленин по своему складу ума не способен понять, что поражение России повлечет за собой также поражение русской свободы.¹²

Между тем жажда масс найти виновных и перейти в атаку становилась все сильнее, и в речах, которые Ленин держал с балкона дворца балерины Кшесинской, его штаб-квартиры, он неприкрыто пропагандировал популярный принцип "Грабь награбленное" и призывал пустить красного петуха под крыши помещиков. Притом подобное происходило по всей России, и в некоторых местах торговля и быт пришли в совершенный упадок, потому что крестьяне просто придерживали для местных нужд лес или зерно, предназначенные для отправки в отдаленные губернии и уже оплаченные покупателем. Но разница между неизбежным или очевидно назревающим социальным напряжением и его сознательным нагнетанием и обострением прослеживается на уровне симптоматики на примере письма, направленного в июне полковником одного из сибирских полков в штаб главного командования своей армии: "Мне и офицерам остается только спасать себя, поскольку из Петрограда прибыл сторонник Ленина, солдат 5-й роты. В 16 часов состоится собрание. Это уже решенное дело, что меня, Морозко и Егорова повесят, офицеров решили взять и поквитаться с ними. Я уезжаю в Лошаны <...> Многие лучшие солдаты и офицеры уже бежали".¹³

Почти невозможно поверить, что находящаяся в такой стадии распада армия еще нашла в себе силы предпринять в начале июля столь масштабную и успешную операцию против врага, как Брусиловский прорыв. Военный министр Керенский не в последнюю очередь потому и отдал приказ о нем, чтобы противостоять растущим сомнениям союзников в верности России союзническим интересам и ее надежности. Несмотря на вступление в войну Америки, настроение среди противников Германии и Австрии не улучшилось, а победа русского оружия в Галиции усилила пошатнувшуюся уверенность в победе и подняла престиж России. Но за наступлением очень скоро последовало отступление и полный разгром, а число дезертиров неудержимо росло. Сколь велика была в этих процессах доля, приходящаяся на большевистскую пропаганду, не поддается точному учету; но то, что она была значительной, не подлежит сомнению.

Тем не менее довольно осторожно поддержанное партией восстание в Петрограде, стоившее жизни сотням людей, похоже, снова свело в июле все успехи к нулю, и когда правительство отдало распоряжение об аресте виднейших большевиков, и многие были брошены в тюрьмы, Ленин, перед тем, как уйти в подполье, сказал: "Теперь они расстреляют нас одного за другим".¹⁴ Но у власти находились гуманные социалисты, и Лев Троцкий писал в тюрьме для многочисленных печатных органов партии одну

статью за другой, в то время как Ленин снимал в Гельсингфорсе квартиру у начальника полиции города, симпатизировавшего большевикам. На деле положение партии было бы, пожалуй, безнадежным, если бы правительство и Совет решились на борьбу с привлечением всех сил, так как большевистская партия проявила слабость, что могло стать для нее фатальным. Ленин совместно со своими основными сподвижниками вернулся на Родину через Германию, и было ясно, что, давая добро на столь необычный транзит, немецкое правительство руководствовалось определенными намерениями. Кроме того, партия располагала необычайно большими средствами. Какое объяснение напрашивалось первым, если не идея сотрудничества Ленина с немцами на условиях скорого вывода России из войны? Уже давно не составляет тайны, что именно эта идея имела решающее значение для немецкого правительства, и не в последнюю очередь, для генерала Людендорфа, и что с 1915 года в Россию на нужды революционной агитации были направлены значительные суммы денег, а именно через посредничество ранее левого социалиста, а с ходом войны *социал-патриота* Александра Парвуса-Гельфанда, сохранявшего, однако, ненависть к русскому царизму в обеих ипостасях. Поэтому у государственного секретаря фон Кюльмана были серьезные основания написать в сентябре, что без постоянной всемерной поддержки большевистского движения немецким правительством оно никогда не сумело бы набрать такой силы и добиться такого влияния, которым оно обладает сегодня.¹⁵ В июле между тем народные и особенно солдатские массы именно в Петербурге были настроены еще очень патриотично, невзирая на усталость от войны, вероятно, не в последнюю очередь, оттого, что правительство заверило петербургский гарнизон в том, что он не будет направлен на фронт, так как он призван защищать революцию в столице. Потому солдат было легче поднять против *немецких агентов*, чем против *богатых капиталистов*. Но социал-революционеры и меньшевики воспользовались этим шансом, пожалуй, лишь наполовину, и не смогли отказаться от союза с большевиками не только из соображений гуманности, но и из страха перед *реакцией*.

Эта реакция состояла между тем, прежде всего в отчаянных усилиях штаба армии контролировать тенденции к разложению армии и флота и восстановить командную власть офицеров как необходимое условие сопротивления *заклятому врагу* — *Германии*. В этой части генералы нашли принципиальную поддержку у правительства, а в конце июля была вновь введена смертная казнь. Очевидно, что Керенский, с июля премьер-министр, находящийся под постоянным давлением посольств союзников, теперь серьезно размышлял над тем, чтобы в этой чрезвычайной ситуации ввести режим диктатуры, и здесь его желания совпадали с желаниями главнокомандующего, казачьего генерала Лавра Корнилова. Но Керенский сам хотел стать диктатором, а среди офицеров по отношению к нему

накапливалось недоверие. Таким образом, случайные и вполне понятные недоразумения привели в сентябре к так называемому *Корниловскому мятежу*, который Керенский, стремясь удержаться у власти, расценил как антиправительственный акт и государственную измену. Все левые партии немедленно объединились против покушения на *революцию*, а большевики взяли на себя ведущую роль, распространив действенный лозунг: "Торжество Корнилова было бы закатом свободы, потерей страны, победой и полновластием помещиков над крестьянами, капиталистов над рабочими, генералов над солдатами".¹⁶ Целая армия агитаторов была брошена ими против находящихся на подступах к городу войск главнокомандующего, чтобы убедить их в том, что они действуют против собственных интересов, способствуют продолжению войны и реставрации царизма, когда подчиняются приказам своих офицеров. На самом деле жертвой убедительных аргументов, приведенных большевиками, которые представляли собой одни лишь их нарочитые, плохо прикрытые собственные желания и опасения, стали не только войска на подступах к Петрограду, но и во многих местах их дислокации в стране. Едва ли кто-либо из офицеров, не избежавших такой ситуации, сможет забыть, как он терял солдат не под огнем противника, а в словесной атаке, и для каждого из них *большевизм* означал, прежде всего, подрыв авторитета, что он и ощущает по отношению к себе с начала революции. Теперь этот процесс стал развиваться неуклонно. С фронта бежало все больше и больше дезертиров; позиции оставляли не просто бесчисленные отдельные бои, как это было раньше, дезертировали целыми военными подразделениями. Речи о предстоящем разделе помещичьей земли захватили умы солдат из крестьян с непреодолимой силой, и они устремились домой, чтобы не лишиться своей доли. Захват немцами в августе Риги и двух островов сыграло на руку большевикам, дав возможность их агитаторам упрекнуть правительство в намерении сдать столицу врагу, чтобы подавить революцию. В начале октября в выборах в Петербургский совет рабочих и солдатских депутатов большевистская партия добилась абсолютного большинства, а Троцкий был выбран его председателем. Влияние меньшевиков быстро шло на убыль, а в эсеровской партии значительно укрепилось левое крыло. В массах распространялось убеждение, что оттягивание конца войны происходит по вине капиталистов и *кадетов*, а восстановление практики смертной казни теперь рассматривалось в пароксизме страха и ненависти как одно из доказательств намерения правительства "истребить солдат, рабочих и крестьян".¹⁷

Теперь осуществлялся третий, начиная с марта, большой парадокс народной революции и его следствия. 2-й Всероссийский съезд Советов намечался на начало ноября, результаты выборов показали значительное преимущество социалистических партий. Повсеместно ожидалось, что съезд расформирует правительство Керенского и сразу подготовит выбо-

ры Учредительного собрания, затем ко всем народам мира будет принято авторитетное воззвание о мире, а раздел помещичьих земель может быть проведен регламентированным образом. Именно в этот момент, когда победа его программы казалась неизбежной, Ленин с все большей настойчивостью, объявив, в конце концов, промедление смерти подобным, требовал от центральных органов своей партии принятия решения о вооруженном восстании, и, таким образом, о захвате власти партией до заседания съезда Советов. 23 октября, на заседании Центрального комитета, в котором принимали участие двенадцать человек и на которое в целях конспирации он прибыл переодетым, Ленин добился принятия этого решения, хотя его ближайшие соратники Зиновьев и Каменев видели в этом злой рок и не скрывали этого от общественности. И снова ему пришел на помощь случай. Правительство объявило об отправке основной части петроградского гарнизона на фронт. Этим оно нарушило свое торжественное обещание, и снова большевики могли открыть широко задуманную агитационную кампанию "Революция в опасности". Центральный исполнительный комитет Совета учредил "Военно-революционный комитет", который теперь, руководствуясь "советской законностью"¹⁸ и, якобы, в целях ее защиты с величайшей энергией готовил вооруженное восстание против правительства под предводительством Троцкого, но не привлекая к участию эсеров и меньшевиков. Скоро выяснилось, что большая часть гарнизона заявила только о своем нейтралитете, но что правительство не располагает почти ни одним верным ему подразделением. Показательно, что охрану Зимнего дворца, резиденции правительства, осуществлял, главным образом, женский батальон. Едва ли когда-нибудь революция менее напоминала народную революцию, когда широкие народные массы ожесточенно сражаются против злоупотреблений властолюбивого правительства: на Невском проспекте наблюдалось оживленное движение публики, ходили трамваи, театры были переполнены. Но отдельные части и подразделения *Красной гвардии*, армии, сформированной большевиками, заняли Петропавловскую крепость, мосты, крейсер "Аврора" дал несколько залпов, не повлекших заметных разрушений, от Зимнего дворца правительственные войска в массе незаметно отступили и оставили занимаемые позиции в руках медленно просачивающихся восставших, арестовавших Временное правительство вместе с министрами-социалистами, хотя и без Керенского, своевременно спасшегося бегством. К началу работы 2-го съезда Советов появились плакаты, провозглашавшие низложение Временного правительства, делегатов встречало сообщение о том, что из числа партии большевиков сформировано новое Временное правительство под руководством Ленина. Делегаты от эсеров и меньшевиков выступили с резким протестом против *предательского захвата власти* одной партией, поставившей съезд перед свершившимся фактом и покинули зал заседаний, сопровождаемые саркастическим вы-

сказыванием Троцкого об их препровождении на свалку всемирной истории. Итак, в действительности *Октябрьская революция* была, прежде всего, путчем одной социалистической партии против других социалистических партий и, не в последнюю очередь, против намерений съезда Советов, которые, несомненно, отвечали желанию подавляющего большинства народных масс, а *советское правительство* было бы сформировано из социалистических партий, исключая *буржуазные*. Ленинским побудительным мотивом могло быть только убеждение, что распространение анархии и распада, начавшееся в марте, могло бы стать необратимым, если бы был сформирован кабинет, куда вместе с ним вошли бы также Юлий Мартов и Виктор Чернов, и что только диктатура большевистской партии может сделать необходимое, а именно спасти Россию и положить начало мировой революции. По сравнению с мартом и летним периодом ситуация не изменилась: ни красные флаги, ни речи о мире и о разделе земли, ни пылкий призыв к народам всего мира; но новой была несгибаемая воля Совета народных комиссаров и его председателя, и новыми были также прокламации и Декреты о земле и мире, с большим энтузиазмом принятые съездом ранним утром 8 ноября. Именно в этом состоит закономерность параллели этого периода в России с периодом прихода к власти национал-социалистов в Германии 30 января 1933 года. В Германии решительность по отношению к сильным, почти пришедшим к власти партнерам по коалиции, с которыми было достигнуто полное единодушие в рамках программы, также была отличительной чертой тактики. А о *большевистской контрреволюции* речь шла значительно раньше, чем о национал-социалистической.¹⁹ Но все-таки не приходится сомневаться в том, что ноябрь сохранил тенденции марта, и что Адольф Гитлер, если бы он, как Альфред Розенберг, был в России, поддержал бы генерала Корнилова.²⁰

И все же события 6 и 7 ноября 1917 года не означали неприкрытого выпада большевиков против своих союзников-социалистов и уж совсем не имели ясно выраженной контрреволюционной направленности. Совершенно очевидно, что по всей России народные комиссары воспринимались огромной массой народа и, прежде всего, солдатами-фронтовиками как достойные доверия представители выдвинутых еще в марте требований, и в течение нескольких дней и недель они добились признания в важнейших губерниях Российской империи. Джон Рид рассказывает, как в завершение 2-го съезда Советов все участники в порыве революционной веры пели Интернационал, а один молодой солдат, стоящий рядом с ним, непрерывно восклицал: "Войне конец, войне конец". В свою очередь, пожилой рабочий, которого он повстречал в окрестностях Петрограда, в период, когда войска, собранные под знамена Керенского, как незадолго до этого войска Корнилова, были разложены ширящейся агитацией, повернулся с выражением восторга на лице к городу, простер

руки и сказал: "Мой Петроград, теперь он весь принадлежит мне".²¹ Эта жажда огромных масс завладеть тем, чего до сей поры они были лишены, — самоуважением, совместной деятельностью, образованием, — принимало самые разнообразные формы, и даже если бы Ленин пожелал, было бы весьма затруднительно воспрепятствовать установлению рабочего контроля над фабриками и распространению речей о *социализме*, путь к которому лежит через национализацию промышленности, и который скоро победным маршем пройдет по всему миру. Быстро распространялось мнение, что в ходе этой революции осуществляется великое восстание всех рабов против всех господ, и что оно распространится на все страны мира; тот же, кто будет противостоять освобождению рабочих и крестьян и их движению на пути к миру и счастью, есть враг человечества и повинен смерти.

Если великая революция, ведущая к миру во всем мире и освобождению масс, не осуществляется в виде свободных выборов Учредительного собрания, сотрудничества всех прогрессивных или только социалистических партий, преобразования крестьянских отношений и вступления страны в период свободного экономического развития, а идентична захвату власти 6 и 7 ноября, то победоносная партия должна предпринять усилия, чтобы покончить с классом помещиков и капиталистов, затем лишить влияния *буржуазную* и вообще *вражескую* прессу, а после этого безжалостно подавить все прочие партии. Все же прочие партии, напротив, видели в большевиках партию гражданской войны, своей программой действий объявившую войну всем остальным политическим и общественным силам. В этом духе высказались в первые дни после переворота представители всех без исключения партий от кадетов до эсеров: Петроградская городская дума высказала сожаление по поводу "начатой большевиками гражданской войны", правые эсеры выступили с заявлением, что большевики делают все от них зависящее, чтобы вызвать кровавую гражданскую войну, а левые эсеры уже через 10 дней после переворота выступили против "роковой системы террора", которая проявилась через запрет на многие газеты и которая неизбежно приведет к гражданской войне.²² Но и внутри большевистской партии назревало сильное сопротивление, и целый ряд народных комиссаров и членов Центрального комитета партии, среди которых были Зиновьев, Каменев, Рыков, Рязанов и Ногин, ушли в отставку, объясняя этот шаг тем, что исключительно большевистское правительство может удержать власть лишь путем политического террора.²³ Ленин оценивал положение вещей совершенно противоположным образом: поскольку те или иные классы и партии противостояли большевикам, они уже осуждены историей, и вердикт должен быть приведен в исполнение. Так, в считанные дни с исключительной жестокостью было подавлено *восстание* юнкеров, которое было продолжением противоборства 7 ноября, причем, Троцким был выдвинут прин-

цип: расстреливать за каждого погибшего большевика пятерых пленных юнкеров. Даже супруга Ленина Крупская, далекая от кровожадности, не подвергая сомнению справедливость происходящего, передает в 1934 году сохранившийся в ее памяти возглас соседки: "Они накололи юнкера на штык, как жучка".²⁴ Не нужно было создавать ЧК, Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюционным саботажем, чтобы развязать террор; он был не чем иным, как разрешением и поощрением, ко всеобщему удовольствию, ярости масс по отношению к *буржуям* и их партиям, санкционированной Советом народных комиссаров. Выборы в Учредительное собрание, состоявшиеся сразу после захвата власти, однако, показали, что не только правые эсеры добились значительного большинства, но что, сверх того, партия *кадетов* могла занести в свой актив ошеломляюще большое число голосов, которые едва ли могли быть поданы только правой буржуазией. 11 декабря члены Учредительного собрания прибыли в Таврический дворец для проведения своего съезда в сопровождении огромной толпы, которая, по некоторым сообщениям, насчитывала не менее 200 000 человек, и охрана не решилась воспрепятствовать их входу во дворец. Открытие, разумеется, не могло состояться ввиду отсутствия кворума, но Ленин в этом явлении со всей очевидностью увидел серьезную угрозу и объявил партию кадетов вне закона как партию врагов народа, заговорщиков и как силу, оказывающую поддержку восставшим казакам. Был арестован целый ряд членов партии, среди которых были также и весьма уважаемые бывшие министры Шингарев и Кокошкин, Несколькими неделями позже оба погибли в тюремной больнице от рук проникших туда матросов, а правительство заявило, что убийцы были анархистами, которые понесут наказание, как только их найдут. Но конец Учредительного собрания объясняется не анархией и проявлениями народного гнева, а решением правительства от 21 января, после принятия которого депутаты заседали под дулами нацеленных на них ружей караула один единственный день и провели выборы президента, которым стал лидер правых эсеров Виктор Чернов.

Несколько позже Советом народных комиссаров было принято решение об аннулировании всех внешних и внутренних долгов, и поскольку он тем самым нанес ощутимый удар по своим союзным державам, то российская буржуазия была полностью разорена, так как ее обязали выплатить работающим заработную плату, заблокировав в то же самое время счета. Не удивительно, что в ряде мест обозначилось противостояние, и усилились тенденции к отделению или, по меньшей мере, автономизации во многих удаленных от центра губерниях, как то: на Дону, на Украине, на Кавказе и в Прибалтийских провинциях. У истоков этих тенденций, однако, стояли сами большевики, и Ленин говорил о том, что Россия готова отказаться от статуса великой державы, так как царизму удалось создать и сохранить великую империю только путем покорения и подав-

ления народов. И всюду, где существовали тенденции к обособлению, имелись приверженцы партии большевиков, а на Дону они собственными силами взяли верх над правительством атамана Каледина. Наступило *время смуты*, России не удалось бы сохранить свою целостность даже при условии победы Учредительного собрания и невозможности для партии удержать в своих руках всю *полноту власти*.

Очень скоро стало ясно, что партия гражданской войны является в то же самое время партией сепаратного мира. Уже 22 ноября Ленин призвал солдат и матросов к самостоятельному ведению переговоров о перемирии с противником, эта прокламация содержала следующий текст: "Солдаты! Дело мира в ваших руках. Не допустите, чтобы контрреволюционно настроенные генералы торпедировали великое дело мира. Возьмите их под стражу, чтобы предотвратить суд Линча, что не пристало революционной армии, и не дайте им уйти от приговора, который будет им вынесен".²⁵ Несколько позднее группа солдат расценила кивок главнокомандующего, генерала Духонина, как едва ли совершенно некорректное приветствие, и зверски убила его, невзирая на присутствие сопровождающего его прапорщика Крыленко. К ужасу одного из немногих генералов, ставших на сторону Советской власти, Михаила Бонч-Бруевича, последующие указы правительства о "демократизации армии" заставили его понять, что правительство вполне намеренно ликвидирует последние остатки прежней армии, еще стоявшие на пути неприятеля.²⁶ Могли ли немцы теперь сомневаться в своей полной победе на Восточном фронте? Хотя они формально приняли предложение Советского правительства об участии в общей конференции по заключению мира, но после отклонения предложения союзниками в Брест-Литовске разворачивались только переговоры о сепаратном мире. Когда советская делегация во главе с Абрамом Иоффе, а затем с новым министром иностранных дел Троцким стала настойчиво апеллировать к "немецкому пролетариату", члены делегации были, очевидно, убеждены и в грядущей германской революции, но эта убежденность должна была служить и оправданием их действиям, повлекшим "предательский кабальный мир".²⁷ Ленину лишь величайшими усилиями удалось добиться одобрения высшими органами [деятельности делегации], приведя тот аргумент, что нет жертвы, которая была бы слишком велика для сохранения единственного в мире социалистического государства до начала революции в Германии и во всей Западной Европе. Но на 7-м съезде партии он взял на себя полномочия разорвать все мирные соглашения и, когда пробьет час, объявить войну всему миру.²⁸

Вот теперь ленинское правительство действительно оказалось в опасном положении. Оно подверглось резкой критике со стороны левой фракции собственной партии, левые эсеры, вошедшие, наконец, в правительство, теперь готовили восстание, офицерство старой армии прибегло к конспиративным мерам, по всей стране формировались оппозиционные

правительства. Решающим фактором была неприкрытая теперь враждебность политических союзников, увидевших в Брест-Литовском мире нарушение международного права, и оказывавших серьезную материальную поддержку любой оппозиции, которую они рассматривали как силу, способную вернуть Россию в состояние войны с Германией. Влиянием союзников, а также опрометчивыми приказами о разоружении, отданными Троцким, ставшим военным наркомом и приступившим к формированию "Красной Армии", объясняются чехословацкое восстание, восстание бывших австрийских военнопленных, пытавшихся через Владивосток попасть на французский фронт и в течение непродолжительного периода захвативших почти всю Сибирь.

Ленину виделась во всем рука *мировой буржуазии*, он был полон решимости уничтожить российскую буржуазию, *главного врага*, находящегося в пределах досягаемости, не только как *класс*, но и немалую часть ее представителей физически. Принцип лишения гражданских прав, даже исключения граждан из жизни общества был закреплен в июле 1918 года конституционно. Вместе с тем, сопротивление этой значительно ущемленной в правах и влачившей жалкое существование буржуазии, даже ее боееспособной элиты, бывших царских офицеров, было поразительно слабым. Клод Анье рассказывает о некоем генерале, который должен был сопровождать делегацию для участия в переговорах по заключению мира в Брест-Литовске и который покончил с собой, сомневаясь в правомерности подготовки сепаратного мира, не помышляя, однако, о том, чтобы повернуть оружие против руководства делегации.²⁹ Когда в июле 1918 года во время лево-эсеровского мятежа судьба правительства повисла на волоске, и лишь немногие полки латышских стрелков еще оставались верными правительству, в Москве находилось не менее 20 000 бывших царских офицеров, но они были столь сильно измотаны условиями жизни, что никакого движения среди них не произошло. Приток новобранцев в *добровольческие армии* генерала Деникина на юге и адмирала Колчака на востоке страны, против ожиданий, сокращался, и немногочисленные войска интервентов, направленные союзниками в Архангельск и другие губернии страны, ограничивались, в основном, сохранением ранее поставленной боевой техники. Но хотя собственно военные действия и действия в части гражданской войны, прежде всего, по объему оставались относительно незначительными, положение продолжало оставаться опасным, и правительство проявляло величайшую решительность до такой степени, что его противники спрашивали себя, проявление ли это воли к победе глубоко убежденных в своей правоте идеологов или отчаяние находящихся у власти жестоких людей, оказавшихся в безвыходном положении.

Когда в июле чешские легионы выдвинулись из Сибири в направлении Екатеринбурга, где находился под стражей царь со своим семейством, Уральским советом было принято решение о казни Николая II; вме-

сте с ним были расстреляны его жена, сын, дочери, лейб-медик, повар, слуги и горничная. Правительством в Москве этот акт был воспринят с несомненным одобрением, хотя убийство царицы с детьми некоторое время пытались скрывать. В европейской истории нет примера такого рода деянию; казнь Карла I и Людовика XVI не может служить аналогом, поскольку английский король с оружием в руках боролся против пуритан Кромвеля, а француз действительно вошел в заговор с границей; при этом, каждый из них предстал перед судом, а ситуация уничтожения семьи отдаленно напоминает лишь о французском *терроре*. Призывов к "массовому террору против буржуазии" становилось все больше, но они были эсерами, Леонид Каннегисер и Фанни Каплан, те, кто 30 августа осуществили покушения на председателя ЧК Урицкого в Петрограде и на Ленина в Москве. Урицкий был убит, а Ленин относительно легко ранен, однако в обеих столицах и по всей стране были немедленно расстреляны сотни пленных офицеров, представителей буржуазии и прочих, несть им числа, потому что каждый, кто сопротивляется, — это есть очевидный агент буржуазии, исконного врага Советской власти. Декретом о "красном терроре" от 5 сентября начался последний этап на пути классового уничтожения, аналог которому так же трудно найти в европейской истории, как и убийству царской семьи, и нет ничего удивительного в том, что сторонним наблюдателям то и дело на ум приходило слово "*азиатский*". Декретом постановлялось, "что укрепление Советской Республики против своих классовых врагов должно осуществляться путем их изоляции в концлагерях, и лица, имеющие отношение к организациям, заговорам и мятежам белогвардейцев, подлежат расстрелу <...>".³⁰ Еще за несколько дней до принятия Декрета была установлена ответственность контрреволюционеров и контрреволюционных подстрекателей перед законом. Формулировка контрреволюционной деятельности была, разумеется, столь неопределенной, что любой мог быть расстрелян ЧК без суда и следствия, и дело было даже не в невесте откуда взявшемся нововведении: уже с начала года караулу, надзиравшему за представителями буржуазии, привлеченными к принудительным работам, вменялось в обязанность применение оружия при оказании сопротивления и даже при прекословии.³¹

Таким образом, было бы неверным утверждать, что большевистский режим, осажженный врагами и вовлеченный в гражданскую войну, проявлял, обороняясь, величайшую суровость, а иногда крайнюю жестокость. Вернее было бы сказать, что с самого начала своего существования режим был некой активной силой, которая, опираясь на мгновенные изменения настроений масс, объявляла войну и декларировала уничтожение всех своих политических противников и всех общественных сил, не относящихся к числу *бедных* и *порабощенных*. Очень скоро выяснилось, что рабочие, если они отказываются подчиняться диктатуре партии, не ис-

ключаются из числа подлежащих подавлению и уничтожению. Когда на следующий день после роспуска Учредительного собрания в знак протеста организовалась манифестация, красногвардейцы открыли огонь по толпе, и почти двадцать трупов осталось лежать на дороге. В официальном сообщении говорилось, что участниками манифестации были *мелкобуржуазные элементы*. Но в ближайшие месяцы, когда стало развиваться независимое рабочее движение, в нелегальных публикациях его печати можно было прочесть следующее: “Рабочий, стоявший у двери, возразил (комиссару), что только рабочие могут принимать участие в собрании. После чего комиссар вытащил револьвер и застрелил рабочего”.³² Рассказ другого рабочего о его пребывании в застенках ЧК (Таганка) заканчивается высказыванием о том, что “кладбища живых”, где день за днем под гул моторов грузовых автомобилей проводятся расстрелы, существуют по всей России.³³

Наиболее волнующим свидетельством воплощения, а затем постепенного угасания импульсов “гуманного социализма” являются “Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре”, опубликованные Максимом Горьким в 1917 и 1918 годах в выпускаемой им газете “Новая жизнь”. Уже 20 ноября 1917 года он утверждает, что Ленин, Троцкий и их соратники отравлены “опасным ядом власти”; несколькими днями позже выступает с обвинением, что “безумные догматики” рассматривают народ как материал для социальных экспериментов, и что не случайно Ленин принадлежит к классу русского дворянства и “явно без сочувствия относится к жизни народных масс”; “исключение партии кадетов из политической жизни” — это “удар по образованнейшим людям нашей страны”. 1 января 1918 года он указывает на роковые последствия постоянных нападков на “буржуазию”: на предприятиях уже убеждают чернорабочих, что слесари и литейщики суть буржуи, а “Правда” натравливает безумные головы: “Бей буржуев, бей калединцев!”. Во всем этом Горький усматривает достойные сожаления следствия старых традиций России, отмеченной “азиатскими” представлениями о ничтожности отдельной личности, страны, где массовое уничтожение инакомыслящих всегда считалось проверенным методом и где сегодня матрос может сказать, что если речь идет о благе русского народа, можно не колеблясь убить миллион человек. Лишь “самому грешному народу на Земле” может быть свойственна та арифметика безумия, которая провозглашает “За каждого из нас падет сотня голов буржуазии”.³⁴

После запрета на выпускаемую Горьким газету он в конце концов все же присоединился к большевикам, зато на основе наблюдений, сделанных на значительном фактическом материале, кажется, что злейшими врагами большевиков, единственными виновниками всех бед вместо *буржуев* все чаще признают *евреев*. Немногочисленные представители зарубежной прессы, находившиеся в Петрограде и Москве, свое отношение к проис-

ходящему в России изменили вплоть до противоположного: от изначальной симпатии до нескрываемого ужаса. Так, Альфонс Паке, корреспондент "*Франкфуртер Цайтунг*", впоследствии выдворенный национал-социалистами из прусской Академии поэтического творчества за склонности к культурбольшевизму, писал в августе 1918 года, что террор сотрясает Москву подобно лихорадке и что настал момент "призвать человечество к действиям против того страшного, что сейчас происходит во всех городах России: планомерного уничтожения целого общественного класса, разрушения бесчисленных человеческих жизней, связанных тысячами культурных и профессиональных уз с другими народами Земли".³⁵ В свою очередь, Ганс Форст, корреспондент "*Берлинер Тагеблатт*", увидел в массовом терроре инсценировку, устраиваемую партией, из желания "вновь разжечь политические страсти в усталом рабочем классе".³⁶ Сообщения, подобные вышеприведенным, находили, невзирая на трудности передачи информации, широкое распространение в Германии и странах-союзниках; каждому читателю периодики в Европе осенью 1918 года было в подробностях известно, что в России происходят вещи, означающие нечто качественно новое, в Европе небывалое. Так, 3 сентября 1918 года "Форвертс" писала: "Возложение ответственности за действия отдельных личностей на целый класс с подобной жесткостью — это новое уголовно-правовое явление, которое, пожалуй, могло бы послужить оправданием тому, что при изменении общественной стратификации ответственность за деяния политических фанатиков может быть возложена на рабочий класс, что в более умеренных формах уже неоднократно происходило".

И, тем не менее, даже Луи де Робьен, вынесший ранее на обсуждение идею создания общего фронта обороны всех европейских государств в противовес разрушению цивилизации, происходящему на Востоке, признался в том, что не может отрешиться от особой симпатии, которую он питает к Ленину и Троцкому³⁷, а бесчисленные рабочие и солдаты в Германии и Франции находили убедительными доводы большевиков, объявивших войну "многомиллионным классовым убийством"³⁸, осуществляемым буржуазией над народными массами, а такие слова как "Победить в России, а затем во всем мире" наполняли их сердца надеждой.³⁹ Если большевики стали *правящей партией*, то, главным образом, потому, что они располагали идеологией, способной, по их убеждению, усовершенствовать погрязший в крови государственной бойни мир: сплочение всех *рабов* против всех *господ*, единственно повинных в страданиях, выпавших на долю многих миллионов людей во всех странах. Прямотаки классически описан новый моральный облик в журнале ЧК: "Наша гуманность абсолютна; она зиждется на идеалах уничтожения любого насилия и любого притеснения. Нам все дозволено, мы впервые в мире поднимаем меч <...> во имя всеобщей свободы и освобождения от рабства".⁴⁰

В этой связи уместно упомянуть некоторое высказывание, которое в силу своей чудовищности сейчас звучит невероятно, а именно тезисы, сформулированные 17 сентября 1918 года Григорием Зиновьевым на партийном собрании в Петрограде: «Из ста миллионов населения Советской России мы должны привлечь на свою сторону девяносто. С прочими нам не надо говорить, их надо уничтожить».⁴¹

Так, в 1917 году в России, как позднее в 1933 году в Германии, речь шла о захвате и удержании власти одной партией, можно сказать, о партийной революции. Но в России все процессы отличались большей необузданностью и грандиозностью. Неизменно провозглашаемой целью большевиков был вечный мир в мире без государственных и классовых границ, поскольку якобы только при соблюдении этих условий вообще возможен прочный мир; официально декларированной целью национал-социалистов было освобождение Германии от оков Версальского договора, а во внутренней политике – гармония *народного единства*. Большевики захватили власть в момент поражения и угрозы распада государства; национал-социалисты пришли на смену предыдущему правительству почти легальными методами, и, несмотря на мировой экономический кризис, в Германии по многим аспектам разворачивалась современная и многообразная общественная жизнь. В России развернулась подлинно гражданская война; в Германии сопротивление противников правящей партии было полностью подавлено, а число жертв, уничтоженных режимом, среди лиц, не участвующих в политической борьбе, было значительно меньшим. Однако за рубежом к Гитлеру относятся с гораздо меньшей симпатией и пониманием, чем к Ленину, и остается предположить, что виной тому не только застарелый страх, испытываемый большинством европейцев перед Германией, но, не в последнюю очередь, антисемитизм, не имеющий непосредственно социальных корней и выделяющийся именно на фоне всемерного соответствия Германии нормальным жизненным установкам особенно неприятно и *средневеково*. И хотя простого параллельного сравнения недостаточно, главное отличие состоит в том, что в Германии в 1933 году Россия периода 1917 года была известна и воспринималась лишь как пугающая страница истории, в то время как большевики в 1917 году воспринимали Германский рейх Вильгельма II и Людендорфа как помощника и противника в собственной стране.

Ситуация коренным образом изменилась, когда эта Германия в 1918 году попросила западных союзников о перемирии и должна была вывести свои войска из глубин российского пространства, захваченного ею вплоть до Ростова и Харькова. Теперь ситуация могла бы выглядеть так, что борьбу за мир и социализм возглавит более крупная, старшая и авторитетная сила, а именно масса промышленных рабочих Германии, консолидировавшаяся перед войной в рядах Социал-демократической партии Германии. Ленин был совершенно убежден, что большевики лишь на ко-

роткий период выдвинулись вперед и что лидерство скоро вновь завоюет немецкое рабочее движение, которое для него вплоть до начала войны было великим примером. В действительности большевики в России до Февральской революции вообще не могли выделиться, а позже их собственный образ действий хотя и был продиктован необходимостью, но кажется необычным. Что за феномен они собой представляли легче определить по партии, первой в Центральной Европе заявившей о своей приверженности марксизму, которому Гитлер противопоставил свой антимакизм.

2. Возникновение Коммунистической партии Германии из мировой войны и русской революции

Марксизм не создал *рабочего движения*, он, в известном смысле, сам был продуктом английского чартизма. Но он означал его важнейшую модификацию даже в той части, где он просто перенял определенные послышки: он придал словам *рабочий* и *рабочий класс* вес, который позволил забыть об их тесной генетической связи с представлениями и образом мыслей ремесленников; он резко противопоставил *рабочих капиталу* и декларировал противоречие между *трудом* и *капиталом* как главный антагонизм эпохи; он предвидел, что рабочие составят “огромное большинство”, которое в скором времени – во всех прогрессивных странах Западной и Центральной Европы одновременно – покончат с немногими еще остающимися “финансовыми магнатами” как таковыми и переведут их в категорию своих “оплачиваемых слуг”. Тем самым он вошел составной частью в объективный исторический процесс, берущий свое начало от промышленного переворота и создающий из крестьян, ремесленников и всех категорий бедных новый класс, рабочих крупной промышленности, которая сначала преобразовала облик Англии, а во второй половине XIX столетия постепенно распространилась по другим странам Европы.¹ Когда к концу восьмидесятых годов XIX века стало очевидно, что в важнейших странах континентальной Европы марксизм взял верх над своими оппонентами – анархизмом Бакунина и синдикализмом Прудона, реформизмом французских POSSИБИЛИСТОВ, государственным социализмом Лассалля, теорией мятежа Бланки, – его с полным на то основанием следовало рассматривать как всемирно-исторический феномен, хотя он не участвовал в деятельности ни одного правительства: если бы была единая рабочая партия, она должна была в большей степени определять будущее, чем любая другая партия, потому что по всей Европе тенденция к всеобщему избирательному праву казалась непреодолимой после того как французы своеобычным образом последовали примеру американцев, а следом за ними – и Германский рейх под руководством Бисмарка. Как только все-

общее избирательное право стало общепризнанным фактом и начало соблюдаться на практике, во всех государствах Европы рабочие партии, по распространенному мнению, должны были добиться большинства или по меньшей мере участвовать в совместном решении вопросов.

Все рабочие партии, включая и немарксистские, как приверженцы мира противостояли агрессивным планам империализма, как то: захвату колоний или насилию по отношению к более слабым государствам и вообще проведению сверхдержавами политики силы. В этой области они также едва ли были одиноки, как и в своей убежденности в том, что рабочие в будущем будут играть значительную роль на политической арене: то положение, что нарастание значения торговли и промышленности постепенно вытеснит традиционные *феодальные слои* с их склонностью к воинственности, было старым догматом веры либерализма, и, ко всеобщему удивлению, русский царь дал первый толчок к созыву тех мирных конференций в нидерландской Гааге, которые должны были наметить путь к ограничению суверенитета государств и тем самым обеспечить мир во всем мире. Но именно марксизм не ограничился только ролью важного местного симптома коренного изменения в мире, идущего от аграрного к индустриальному состоянию, наделившего до сей поры слабые и безгласные массы правом и способностью участвовать в решении любых вопросов, ограничивающего суверенитет государств и способного однажды сделать великую войну технически невозможной. Марксизм, помимо этого, воплотил веру в то, что скоро настанет время, когда рабочие повсеместно возьмут в свои руки *всю полноту власти* и употребят ее на то, чтобы навсегда уничтожить власть человека над человеком так же, как эксплуатацию, нищету, национальную рознь, государства, классы, профессионализацию деятельности, бюрократию и вообще все барьеры между людьми. Надежды такого рода были между тем – в духе ориентации на крупную промышленность или предвосхищения фундаментальных изменений в межгосударственных отношениях – характерным образом, никак не новы, они существовали с незапамятных времен, в известном смысле, со времен существования человечества. И сводились они в конечном счете к картине первобытного состояния, которое специалисты по социальной философии XVII и XVIII веков противопоставляли “гражданскому обществу” (*societas civiles*) как “естественное общество” (*societas naturalis*) и почти всегда – хотя и с целым рядом исключений, такого порядка, как молодой Руссо – рассматривали как безвозвратно канувший исходный пункт. Но лишь обращение к изначальному состоянию (первобытный коммунизм), противопоставленному отчуждению и разобщенности современной жизни и восстановленному *на более высоком уровне*, превратило марксизм в веру, в идеологию, которая смогла решительно отбросить все настоящее *капитализма* и наметить *совершенно Иное* в будущем, которое для всего человечества будет *социалистиче-*

ским. Так марксизмом была учреждена великая партия протеста и надежды, которая неизбежно должна была формироваться повсеместно там, где переломные моменты промышленного переворота разрушили унаследованные формы жизни и поставили значительные массы людей в неприличные условия, — *в той мере, в какой* подобный опыт способен обеспечить возможность самовыражения и свободу действий.

Но Маркс и Энгельс отнюдь не были лишены ощущения того, что этот протест и эта надежда часто теснейшим образом связаны с реакционными или примитивистскими представлениями — как, например, у Бакунина —, и поэтому они стремились к тому, чтобы основным отличительным признаком своего учения утвердить положение о том, что социализм, как разрешение всех диссонансов в определенной гармонии, предполагает интенсивнейшее развитие разделений и конфликтов, которые были характерны до сей поры для современного мира, и что социализм, таким образом, может воспоследовать только полностью сформировавшемуся, неспособному к дальнейшему развитию капитализму. Так, марксизм, с одной стороны, был основой партии протеста и надежды индустриального века, сориентированной на древнюю мечту человечества, а с другой стороны, он оправдывал убеждения восходящего класса квалифицированных рабочих, которые требовали права участвовать в совместном решении вопросов в новой цивилизации, но едва ли всерьез имели в виду свое монопольное господство как первую ступень на пути к обществу без господ. Многие современные наблюдатели, среди них Макс Вебер, всерьез воспринимали этот слой и этот характер, и нередко пренебрежительно говорили о *мещанах*, ясно обозначившихся внутри рабочего движения. Но у этих мещан были свои собственные теоретики, которых их ортодоксальные противники называли *ревизионистами* и даже обвиняли в буржуазном образе мыслей. Эти ревизионисты, со своей стороны, ссылались на время как мощный стимул к ревизии марксизма: в отличие от выкладок Маркса, численность *представителей буржуазии*, т.е. не занятых непосредственно на производстве, и многих разного рода посредников не уменьшается, а растет с поразительной скоростью; противоречие между капиталистами и рабочими не жесткое, а просто негативное, потому что есть труд капитала (т.е. предпринимателей), как равным образом и капитал (квалифицированной и подсобной) труда, и только это противоречие создает подлинные профсоюзы и делает возможным сотрудничество рабочих при определении инвестиционной ставки народного хозяйства; постулированная гомогенность пролетариата не существует даже в промышленно развитых странах, а тем более во всем мире; судьба каждого рабочего тесно связана с судьбой его государства; капитализм никоим образом не стоит перед своей разверстой могилой, ему предстоит еще великое будущее, в ходе которого он, разумеется, будет все более приоб-

ретать черты социального государства и лишь по прошествии долгого переходного периода дозреет до социализма.

Конечно, ревизионисты, такие как Бернштейн, Шиппель, Фольмар и другие были *идеологами*, т. е. людьми, пытающимися объять необъятное целое исторического развития путем селекции и комбинации, но они отделяли рабочее движение от утопического и собственно идеологического импульса, заключающего в себе социально-религиозную веру в неожиданное спасение и в конечное благо, и декларировали в качестве ядра марксизма ту теорию развития, которая в действительности представляла собой лишь его составную часть.

Образ действий рабочего класса всех стран с началом мировой войны, казалось, ознаменовал окончательный триумф ревизионизма. Именно в Германии рабочие, как и все прочие граждане, последовали призыву на военную службу с единодушием, даже энтузиазмом, доказывающим, как мало они рассматривают *мировой пролетариат* как свое отечество, и насколько они более привержены внутригерманским отношениям, невзирая на их *феодалный характер*, а, может быть, даже благодаря ему², чем отношениям свободного капитализма, процветающего в Англии или отношениям при царском абсолютизме. Если бы фракция социал-демократической партии 4 августа 1914 года отказалась проголосовать за военные кредиты, были бы все основания предполагать, что негодование членов партии сметет фракцию с лица земли, а скоро некоторые некогда радикальнейшим образом настроенные представители левого крыла партии стали поборниками воли к войне, основывающейся на определенных, но малоизвестных воззрениях Маркса, представляющих классовую борьбу как *международную классовую борьбу*, где развенчивается устаревший приоритет английского капитализма, как более современной и сильной промышленной державы, перед Германией.³ Таким образом, в ходе военной мировой революции образуется новая международная система государств, где Германия займет место естественного центра внероссийской и внеанглийской Европы исключительно на основе отстаивания своих прав, не предполагающего политического захвата, и именно в силу этого обстоятельства, вероятно, будет рассматриваться другими народами Центральной Европы как оплот федеративного объединения. По мнению таких людей, как Пауль Ленш, такое развитие, разумеется, предполагало, что социал-демократическая партия не только нехотя отказывается от проводимой ею до сей поры оппозиционной политики, а рассматривает себя как ведущую силу современной и будущей Германии, не предъявляя, разумеется, ирреальных претензий на единовластие; это зависело от того, примирятся ли прежние противники, прежде всего, восточно-эльбские юнкеры, с ослаблением своих позиций и станут ли выдвигать территориальные требования, основанные на национальном эгоизме, которые должны были вызвать ненависть соседних с Германией стран. Еще одно

условие для осуществления этого плана состояло в том, чтобы не допустить создания могущественной коалиции против Германии, для оказания сопротивления Германии в ее *претензиях на мировое господство*, которые в своем неукротимом бахвальстве были столь же опасны, сколь и излишни, поскольку непобедимая Германия, становясь одним из штатов "великого центрального народа Европы"⁴, так или иначе, становится одной из сверхдержав. Имел ли этот план завоевания Германией господствующего положения методом оборонительной тактики и далее немарксистского развития социал-демократии шанс на реализацию, — зависело, между тем, также от его противников, противников среди пангерманских правых и противников на *идеологическом* фланге социал-демократии.

Вечером 4 августа все надежды этого крыла партии, казалось, были разбиты вдребезги, и оставалась лишь небольшая кучка делегатов, собравшихся в квартире Розы Люксембург, чтобы обсудить создавшееся положение. В сущности, Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Франц Меринг и тогда еще Пауль Ленш могли не скрывать от себя, что сами массы в части своей международной миссии, приписываемой им ими же, совершили предательство, и что следует вести борьбу против *националистической идеологии*, которая (как говорилось в ранее напечатанной "Союзом Спартака" прокламации) изменяет людей, "включая и наших соратников" самым пугающим образом так, что они совершенно забывают о своих братских узах со своими товарищами по классу, принадлежащими к другим нациям, и видят лишь русского, французского или английского врага.

⁵ Тем не менее небольшая группа никоим образом не отказалась от критики членов президиума и рейхстагской фракции СДПГ в самой резкой и в высшей степени личностной форме как *ренегатов*, отступивших от прежних убеждений всех социалистов и втоптавших в грязь чистоту их теории. На тот момент оппозиция складывалась из тех, кто в скором будущем выпустит первый и единственный номер журнала "*Интернационал*", а затем "*Письма Спартака*", то есть из противников традиционалистов в социал-демократической партии, которые не желали поступиться своими прежними убеждениями под влиянием новых ошеломляющих событий. Так, было что-то глубоко оборонительное в том великолепном пафосе, с которым Карл Либкнехт оправдывал свой отказ от поддержки новых военных кредитов и с которым после его ареста в мае 1916 года в ответ на обвинение в государственной измене он высказался следующим образом: "Понятие *государственной измены* для социалиста-интернационалиста — это совершенная бессмыслица <...> Квинтэссенцией наших стремлений является разрушение во взаимодействии с социалистами других стран всех империалистических держав одновременно".⁶ Но чем дольше длилась война, тем больше отклика находил этот старый, обороннический пафос у людей, чьи отцы, братья и сыновья все большим числом пополняли братские могилы на полях сражений и сами страдали от жестокого

голода, будучи вынужденными выполнять при этом тяжелую изнурительную работу на военных заводах или на селе. И листовки, нелегально печатаемые группой “Интернационал”, читались все более широкими слоями населения, а органы власти испытывали серьезное беспокойство. Это не могло не произвести большого впечатления на публику, когда в номере 11 “*Политических писем*”, опубликованных в конце 1915 года, можно было прочесть: “Мир истекает кровью. Число погибших в кровавой войне на востоке и западе перевалило уже за миллион человек, количество раненых исчисляется тремя миллионами <...> То, что война щадит мирное население, стало забавной фразой и на море, и на суше, под грубым кулаком войны международное право разлетелось на тысячи осколков, а из чада крови и пепла все плотнее собирается туча ненависти, обволакивая сознание человечества, выступавшего за социалистическую солидарность”.⁷

Роза Люксембург и Карл Либкнехт, таким образом, рассматривали войну, как “величайшее из всех преступлений”, а не как *звено в цепи божественного мирового порядка*, как это делали их противники справа, но и не как неизбежную фазу в мощной международной классовой борьбе, которая породит новое продолжительное состояние мира между крупными государствами и союзами государств. С точки зрения второй половины XX столетия они, несомненно, правы, поскольку технические средства ведения этой войны почти достигли того уровня, который в ближайшие десятилетия мог бы привести к самоуничтожению человечества, и уж наверняка их применение повлекло бы за собой непомерные потери и уничтожение того, что называется европейской культурой. В особенности, если подумать о том, что эта война без скорого конца, который не ущемлял бы ни одной нации и ни одной группировки; война, которая спровоцирует возникновение столь продолжительно действующего заряда ненависти, что, по мнению наблюдателей из каждого лагеря⁸, это неизбежно привело бы к новым войнам. “Союз Спартака” и социалисты-интернационалисты, участвовавшие в 1915 и 1916 гг. в конференциях, проведенных в швейцарских селениях Циммервальд и Кинталь, занимали, таким образом, твердые позиции будущего и, вместе с тем, частично уже современного права. Собственно говоря, мы говорим “частично” потому, что полное отвержение войны подразумевало также отказ от личного мужества и готовности защитить женщин и детей, которые еще были возможны в этой двуличной войне, а также потому, что противостояние войне не могло объясняться просто трусостью. Такого понимания права придерживаются и пацифисты всех политических направлений, чье мнение в общих чертах сводится к следующему: основное преступление состоит в поддержании у всех заинтересованных лиц убеждения в неограниченном суверенитете государств, потому что отсюда неизбежно следует вывод, что все крупные конфликты разрешаются только путем войны. Таким

образом, важно по окончании мировой войны отказаться от этого неперемennого суверенитета отдельных государств и учредить союз народов, главной задачей которого станет сохранение мира. Введением всеобщего избирательного права во всех крупных странах будет достигнута гарантия того, что агрессивные планы, которые могут появиться у военных или отдельных фракций правящих слоев населения, не получают поддержки, потому что подавляющее большинство народа повсеместно настроено миролюбиво или, по крайней мере, станет таковым, пережив эту войну, и не допустит, чтобы неизбежно возникающие конфликты разрешались путем войны.

Но право противостояния войне рассматривалось членами "Союза Спартака" и другими социалистами-интернационалистами в тесной связи с определенной интерпретацией современных событий, которая едва ли базируется на положениях "Капитала" Карла Маркса. Листовка, приуроченная к 1 мая 1916 года, гласит: "Второй год Первой омыт морем крови массовой бойни <...> На чью пользу и благо, с какой целью творятся все эти ужасы и зверства? Для того, чтобы восточно-эльбские юнкеры и породнившиеся с ними капиталистические дельцы могли путем порабощения и угнетения новых стран набивать себе карманы. Чтобы поджигатели войны от тяжелой промышленности, поставщики для нужд армии набивали свои амбары урожаем золота с кровавых полей, усеянных трупами. Чтобы биржевые дельцы совершали с военными займами ростовщические сделки. Чтобы спекулянты продуктами питания жирели за счет голодающего народа <...>". Короче говоря, "миллионы мужчин уже растались с жизнью по указке буржуазии".⁹

Эти высказывания, очевидно, справедливы для любой страны. Здесь война предстает как преступление не потому, что она противостоит объективно уже возможному и необходимому миру во всем мире, а потому, что она представляет собой преступления конкретных преступников, руководствующихся в своих поступках эгоистическими целями. Эта банда преступников, в сущности, и есть буржуазия, даже если в других листовках термин распространяется только на так называемых *подстрекателей* в Германии и Австро-Венгрии.

Здесь необходимо попридержаться коней. Несомненно, лица, наживающиеся на военных поставках, спекулянты продуктами питания, биржевые спекулянты, акулы (как любят говорить в Италии) были повсеместно, и везде простые люди относились к ним с огромной ненавистью. Отчасти эти явления были неизбежны, поскольку военная экономика, включая и германскую военную экономику, столь же мало контролирует свободу экономического движения отдельных лиц и фирм и вознаграждение за особенно успешную деятельность, так и систему цен как индикаторов дефицита. Но тезис о том, что эта совсем узкая прослойка развязала войну для удовлетворения своих алчных потребностей, был очень смелым, если

не сказать несостоятельным. Если речь заходила о буржуазии, то, разумеется, вспоминалось хорошо знакомое марксистское положение о *главном противоречии* между трудом и капиталом, между пролетариатом и буржуазией. Но буржуазия не укладывалась в рамки этой небольшой прослойки. Сюда следовало по меньшей мере отнести всех предпринимателей и предположительно всех тех, кто был занят в качестве предпринимателя и служащего капиталистического государства: офицеров, чиновников, учителей и преподавателей всех разделов науки, людей свободных профессий. В состав этой буржуазии тогда следовало зачислить даже ту *рабочую аристократию*, которая неизменно выходила на передний план, когда ученые пытались найти социологическое обоснование *ренегатству*, имевшему место 4 августа. Эта буржуазия, конечно, составляет меньшинство, – но во всех государствах Западной и Центральной Европы сравнительно сильное меньшинство по отношению к простым рабочим и крестьянам, и она – *не* наживалось на войне. Точно так же она отдавала Родине своих сыновей, как и все прочие граждане; почти все офицеры запаса вышли из ее рядов, а потери, которые нес офицерский корпус, в целом вдвое выше, чем рядовой состав.¹⁰ Ничто не было бы более несправедливым, чем утверждение, что этот офицерский корпус, якобы, *жертвовал жизнью* рядового состава, а тем более ради материальной выгоды.

Здесь авторы статей и прокламаций “Союза Спартака” путали истинную причину и просто сопутствующие обстоятельства, подобно тому, как это происходило при *ренегатстве* социал-демократических лидеров. Персонифицированные *виновники* и, соответственно, *преступники* заступали место неподвластных отдельной личности системных свойств, которые эти авторы в лучшем случае пытались сформулировать при помощи понятия “капитализм” и которые все же значительно вернее было обозначить термином *безусловный суверенитет отдельного государства*. Однако, по традиционной марксистской теории, мировая революция пролетариата уничтожит не только эту безусловность, но и государства вообще, а с ними классы, а с классами – устоявшееся разделение труда, так что массы самостоятельно, без посредничества профессионального аппарата, смогут осуществлять свою власть и создадут гармоничный мир без государственных и национальных границ, и даже без различия национальных языков.

Пацифизм социалистов-интернационалистов существенно отличался от пацифизма прочих, *буржуазных* пацифистов: это был неограниченный и воинствующий универсализм, в силу чего он оказался в положении жесткого противоречия с буржуазией, но в другом и более широком смысле, а именно противостояния всем тем, кто не разделял веру в скорое появление мирного неделимого и гармоничного человечества; веру, которая, в действительности, существовала с древнейших времен и нашла свое об-

шеизвестное выражение на страницах некоторых книг Библии. Следовательно, “Союз Спартака” и социалисты-интернационалисты были партией веры, партией божьего воинства, если можно так сказать, используя естественные аналогии, или же партией борцов за справедливость. Но божье воинство издавна хотело истребить безбожников и смести царство несправедливости с лица земли. Итак, великое право на неприятие войны было связано с верой, которая подводила Либкнехта к необходимости замены гражданского мира *гражданской войной*, а Ленина — к необходимости превращения империалистической войны в войну гражданскую. Если эта партия придерживалась мнения, что за изначальные преступления войны ответственны не свойства системы или фаза исторического развития, а персонифицированные виновники, как *преступники*, которым предъявлено обвинение и которые, соответственно, подлежат уничтожению, то она, парадоксальным образом, должна была стать партией войны особого типа, раз ей не удалось добиться скорой, полной и повсеместной победы.

Партия вышла на качественно новый уровень, когда отказалась от абстрактных обвинений и направила свою борьбу, прежде всего, против основных виновников. С самого начала существовала большая опасность того, что не все социалисты в воюющих странах поведут борьбу одинаково энергично и одинаково успешно и что поэтому поражение ожидает именно ту страну, где действует наиболее сильная и активная социалистическая партия. Этим аргументом оперировали все *защитники отечества* или *социал-патриоты* внутри социалистических партий, и он на тот, достаточно продолжительный период оказался значительно более понятным массам немецких рабочих, чем разоблачение лиц, наживающих на войне, милитаристов или буржуазии, как преступников. Но чем дольше длилась война, тем определеннее пропаганда, ведущаяся “Союзом Спартака” обращалась, прежде всего, против Германского рейха, который, как казалось в первой половине 1918 года, располагал значительными шансами на победу. В листовке “Союза Спартака” № 9, датированной июнем 1918 года, Роза Люксембург, которая тогда находилась в тюрьме, но в условиях господства *прусского милитаризма* занималась такой же широкой агитационной деятельностью, как Троцкий, будучи в тюрьме при правлении Керенского, отмежевываясь от позиции Пауля Ленша, оценив сложившуюся ситуацию иначе: “Английский и французский империализм коренятся в колониальной политике прежних времен и в своем развитии подвержены инерции; германский империализм вплоть до начала мировой войны находился в эмбриональном состоянии, вырос до огромных размеров лишь в ходе войны и теперь растет с каждым днем и в кровавом дурмане миллионной бойни наполняется неудержимым стремлением к мировому господству, не знающему традиций, тормозов, учета последствий”.¹¹ Но может ли небольшая прослойка общества из

юнкеров, людей, наживающихся на войне и биржевых спекулянтов совершить столько чудовищных преступлений? Что они смогли бы сделать без *серых шинелей*, без немецких солдат, которыми, как утверждает “Союз Спартака”, были все те же переодетые пролетарии и которых, даже по мнению их военного противника Луи де Робьена, а позднее Черчилля, значительная часть населения Украины и России ожидала с нетерпением, поскольку они несли *порядок*? Никогда ни один юнкер или буржуа не осыпал немецких рабочих такими бранными словами и наихудшими сравнениями, как Роза Люксембург в листовке “Союза Спартака” № 10: “Немецкий пролетариат превзошел, вероятно, хрестоматийный пример раболепной верности: той швейцарской гвардии, которая позволила растерзать себя разъяренной революционной толпе перед дворцом последних Бурбонов <...> Если найдется еще один Торвальдсен, который захочет в мраморе увековечить для потомков картину этой трогательной рабской верности, пронесенной через четыре года мировой войны, он определенно выберет символом не льва, а собаку!”¹²

Но эти жесткие слова были не только выражением обманутого доверия, которое, по мнению Розы Люксембург, когда-нибудь снова будет восстановлено, но были уже продиктованы новыми условиями, связанными с “великой русской революцией”, как “Союзом Спартака” была названа мартовская революция¹³, и высказаны с учетом захвата власти большевиками. Им предшествовали бунт на германском флоте, который Ленин поддержал осенью 1917 года в своих постановлениях, и забастовка 1918 года в Берлине, листовки и брошюры, доставляемые в Германию через Норвегию, и требования такого примерно содержания: “Победоносная революция не потребует столько жертв, сколько требует один день военных действий на поле безумия <...> Убейте монстра войны, уничтожьте своих палачей – и вы спасены, свободны и счастливы совместно с братьями во всем мире”.¹⁴ Им, разумеется, предшествовали сведения о массовых расстрелах, проводимых ЧК, и зверствах, в которых, как говорили, были повинны большевики, и Розой Люксембург действительно набросаны критические заметки об авторитарности диктатуры Ленина и Троцкого. Но и для нее, и для ее соратников было само собой разумеющимся то, что все *варварство* и весь *хаос* возникли, главным образом, из противостояния противников и что русская революция мгновенно приобретет вид *европейской и марксистской*, когда в развитых капиталистических странах наконец начнется революция и вызовет угнетенных русских товарищей из их роковой изоляции. Поэтому после освобождения из тюрьмы она и Карл Либкнехт работали в сотрудничестве с так называемыми революционерами-старшинами и с частью существующих с марта 1917 года “Независимых социал-демократов”, а также с посольством Советской России в Берлине, полные решимости добиться осуществления этой революции, несущей мир и всеобщее освобождение.

Последовало же германское военное поражение, которое пришлось на ноябрь, и никто не мог с уверенностью сказать, насколько провалом наступления во Франции весной и летом 1918 года Германия обязана революционерам, а насколько Людендорфу, желавшему возложить ответственность на новый режим парламентарной монархии. Во всяком случае, Карл Либкнехт и Роза Люксембург были убеждены в том, что германская революция – без сомнения, революция военного поражения, подобно русской мартовской революции 1917 года – теперь под руководством уполномоченных народом правых и независимых социал-демократов вступила в стадию, аналогичную русской революции периода правления Керенского, и теперь наступил решительный момент, чтобы довести ее до стадии социализма как господства без господ самих трудящихся масс. Но если Фридрих Эберт и был немецким Керенским, то мира он добивался иначе, чем его русский прототип, и он неустанно указывал на *русский хаос и большевистские ужасы*, которые разрушат Германию, предадут ее на произвол союзников, если верх возьмет “Группа Спартака”. В ноябрьских и декабрьских беспорядках члены “Союза Спартака” были, по крайней мере, настолько же жертвами, насколько и злодеями, но решающую роль сыграл ужас перед *русскими обстоятельствами*, хотя нельзя не признавать и того, что некоторые люмпен-пролетарии и просто воинствующие элементы, примкнувшие к партии, способствовали усилению ненависти к “Группе Спартака”. Весьма показателен тот факт, что Карл Либкнехт и Роза Люксембург не смогли получить мандат для участия в I-м общегерманском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, состоявшемся в середине декабря в Берлине. Тем не менее съезд делегатов “Союза Спартака”, проводившийся с 30 декабря 1918 года по 1 января 1919 года в Прусской палате депутатов с целью учреждения “Коммунистической партии Германии (Союза Спартака)” вызвал большой интерес общественности.

То, что значение этого явления выходит за рамки съезда одной из германских партий, явствовало из того факта, что с большим докладом выступил выдающийся представитель большевистской партии Карл Радек. Знаменательным было также то, что он прямо назвал немецкий пролетариат *старшим братом* значительно более молодого и в организационном отношении менее опытного пролетариата России, выход которого на всемирно-историческую арену вызвал великую радость у русских рабочих. Фактически имя Карла Либкнехта со времени его публичного протеста против войны, с которым он выступил 1 мая 1916 года, и вплоть до захвата власти большевиками было среди противников войны во всех странах значительно более известным, чем имя Владимира Ильича Ленина. Так что, когда Радек выразил надежду на скорый созыв в Берлине Международного рабочего совета как объединения, знаменующего собой окончательную победу антивоенных сил, это было совершенно закономерно,

поскольку большевизм, по его (Радека) мнению, есть, по сути, не что иное, как “слезы вдов и сирот, боль за погибших и отчаяние вернувшихся”.¹⁵ Но партия отнюдь не намеревалась ограничивать свою деятельность исключительно или главным образом борьбой против войны, как могло бы показаться из-за берущих за сердце слов Радека. Программа, принятая партией и сформулированная Розой Люксембург, включала ряд очень важных требований во всей их полноте.

Она основывается на следующем ударном тезисе о [носителях исторической] вины: буржуазия с ее классовым господством как в Германии, так и во Франции, в России, также как и в Англии, в Европе, как и в Америке – вот кто признается истинным виновником мировой войны. Оно, это классовое господство, а вовсе не феодальное юнкерство в Германии само по себе, посредством развязывания мировой войны воплотило в жизнь свое право на существование. Из зияющей бездны, созданной им, нет другого выхода, кроме социализма, а потому сегодняшний лозунг должен звучать так: “Долой систему заработной платы!”. Но победа социализма могла бы быть достигнута только путем самой большой гражданской войны во всей мировой истории с ожесточенно сопротивляющимся “классом капиталистов-империалистов”, который для сохранения зарплатного рабства будет использовать крестьян и офицеров, и даже “отсталые слои рабочих” натравит на социалистический авангард.¹⁶ Таким образом, выражать готовность делить государственную власть с “прислужниками буржуазии, с Шейдеманами-Эбертами” “Союз Спартака” никоим образом не мог. А потому непосредственные требования среди прочего включали следующее: разоружение всей полиции, всего офицерского корпуса, а также не пролетарски настроенных солдат, создание Красной гвардии, учреждение революционного трибунала, не более, чем шестичасовой рабочий день, аннулирование государственных и других официальных долгов, конфискация всего имущества, достигающего определенных размеров. Всего этого следовало добиваться “с железной решимостью”. Вместе с тем говорилось, что пролетарской революции для осуществления своих целей не нужен террор, она ненавидит человекоубийство. Эти лозунги существенно отличались от аналогичных лозунгов гуманного социализма, выдвинутых, например, Куртом Эйсером, как это явствует из заключительных слов его речи в Баварии: “Вставай, пролетарий! На борьбу! Дело идет о завоевании мира и о борьбе с миром. В этой классовой борьбе за величайшие цели человечества, последней в мировой истории, эти слова произносятся в адрес твоего врага: Хватай его за горло и коленом попирай его грудь!”¹⁷

С принятием этой программы возникла партия совершенно особого типа.

Никакая партия не может предпринять ничего более чрезвычайного и чреватого последствиями, чем “полное переустройство государства и пе-

реворот в экономических и социальных отношениях общества”¹⁸, что означает, в конечном счете, ликвидацию частной собственности на средства производства, государства и классовой структуры общества. Такая программа предоставляет, по меньшей мере, в переходный период всю совокупность национального достояния и все государственные посты в распоряжение одной единственной группы и полагает тем самым цель борьбы, несравнимо более крупную, чем цель каждой из прочих партий; цель, которая, между тем, согласовывается с “идеализмом в своем высшем проявлении”¹⁹, поскольку она ставит целью именно уничтожение частных и групповых интересов. Формально это не что иное, как старая, пред-ревизионистская программа социал-демократии, но в послевоенной ситуации она приобрела некоторый налет новизны. Она разорвала связь с тем развитым сознанием квалифицированных рабочих и практическим реформизмом профсоюзов, так что значительно выдвинулся вперед идейно-утопический элемент. Но эта программа отличалась от программы большевиков, поскольку проистекала из *классической марксистской* ситуации, которую Россия даже и не знала. Эта партия могла поставить себе в заслугу непримиримую борьбу с войной и, как результат, ее окончание, а тем самым добиться одобрения, выходящего далеко за пределы пролетарских масс. Она могла привлечь к себе тех, кто выступал с резким протестом против бедственного положения и кризисов современной жизни под флагом *антикапитализма*. Она могла выдвинуть такие требования, как требование шестичасового рабочего дня, которые все остальные партии не могли не называть ирреальными и демагогическими. Она была не только великой партией протеста и надежды, но и партией древней и уже поэтому подозрительной веры, партией великой справедливости, грозящей превратиться в несправедливость вследствие персонализации ею причин войны, и партией национальной и международной гражданской войны. Именно поэтому она неизбежно вызывала ожесточенную враждебность всех тех, кто обладал какой-либо собственностью или надеялся завладеть ею, а это были *бюргеры* в самом широком смысле этого слова; особенно жгучую ненависть она должна была навлечь на себя со стороны почти всех офицеров, которые могли ставить себе в заслугу то, что на алтарь Отечества ими принесено больше кровавых жертв, чем любой другой группой, и которые все вместе достаточно внимательно отслеживали новости из России, чтобы знать, что для них означает требование “Хватать за горло и попирает коленом грудь”. Эта партия должна была хотя бы держать на безопасном расстоянии тех, кто не верил, что в результате разрушения порядка в государстве с комплексно развитой промышленностью каким-то образом неизбежно сформируется лучший порядок. Тенденция была такова, что на один манер на стороне этой партии оказывались почти все немцы, на другой — почти все немцы были против нее.

В отличие от СДПГ в предвоенное время, это прежде всего была партия, действовавшая в совершенно новой ситуации, которая чувствовала себя обязанной держать в поле зрения другую братскую партию, каковая в великой державе – самом большом государстве мира – уже вступила в управление государством, хотя, по марксистским понятиям, была моложе и обладала меньшим опытом и, собственно, не могла бы еще претендовать на захват власти. Если КППГ действительно была “старшим братом”, то она должна была немедленно одержать победу и прийти на помощь партии Ленина, которая теперь хотя и не стояла лицом к лицу с “колоссом” германского милитаризма²⁰, но была вовлечена в тяжелую борьбу против *белых армий* и против осуществлявших интервенцию союзов Антанты и примкнувших к ней государств.

3. Победа большевиков и поражения КППГ в 1919-1921 гг.

К концу декабря 1918 года картина в Германии внешне была также подобна российской в течение нескольких месяцев после февральской революции: дисциплина в войсках была в основном разложена, повсеместно были созданы солдатские Советы, офицеры утратили непререкаемость командной власти, с них нередко срывали погоны, колонны демонстрантов двигались по улицам, всюду развевались красные флаги, столичный гарнизон был ненадежен; наряду с правительством функционировал Рабочий и солдатский совет с Исполнительным комитетом во главе.

Но, в отличие от России, стремление к миру подавляющего большинства народных масс не было направлено против правительства, а действующая армия под руководством офицеров и при содействии солдатских Советов была организованным порядком возвращена в Германию. То здесь, то там возникали столкновения с солдатскими Советами, действующими в тылу, явственным становилась угроза *контрреволюции*. Однако нигде не происходило убийств офицеров, изгнаний помещиков, государственное управление, несмотря на все трудности, продолжало бесперебойно функционировать. Ставка под неизменным командованием Гинденбурга-Гренера встала на *почву фактов*, и офицеры, которые после великой войны составляли ядро процесса *демократизации*, таким образом, оставались потенциально значимой силой, если под понятием “революция” понимать нечто иное, чем демократия в духе народного суверенитета и выборов Национального собрания.

И после Октябрьского переворота Учредительное собрание оставалось в России неоспоримым лозунгом. В Германии, наоборот, необходимость его созыва ожесточенно оспаривалась “Союзом Спартака”, а также группой революционных старшин и Независимой СДП. 20 ноября в газете “*Rote Fane*” Роза Люксембург назвала Национальное собрание

“пережитком буржуазных революций” и “реквизитом времен мелкобуржуазных иллюзий о народном единстве”; в современной Германии, по мнению Люксембург, речь может и должна идти о “социалистической демократии”, которая противостоит “демократии буржуазной”. Формально, таким образом, было выдвинуто вполне марксистское требование о монопольном господстве большинства пролетариата как большинства народа, осуществляемой в форме Советов; но на самом деле речь шла об осуществлении воли деятельного меньшинства к единовластию, поскольку Роза Люксембург имела ясное представление о том, что ее партия даже в союзе с Независимой СДП отнюдь не объединяет в своих рядах большинство немецкого рабочего класса и тем более большинства народа. А потому “*Форвертс*” могла и должна была противопоставить ее словам требование, звучащее как пароль правой социал-демократии: “Свобода, а не террор; демократия, а не диктатура”.¹ В действительности правительство Эберта с его созывом *Национального собрания* представляло правопритязание *эмпирического народа* и, соответственно, концепцию *западной демократии*. Центральный Совет рабочих и солдатских депутатов присоединился к нему, но наиболее активное меньшинство выступило решительно против, поскольку приписывало ситуации в Германии такую степень зрелости, которая непременно выведет страну за пределы буржуазной или формальной демократии.

Но главным различием между Германией и Россией было различие политическое. Для русских революционеров не существовало такого явления в другой стране, которое могло бы стать примером или пугалом. В Германии, напротив, от правительства и от прессы то и дело поступали предостережения такого примерно содержания: “Пусть немецкие рабочие посмотрят на Россию и поостерегутся!”, “Потом наступит русский хаос”, “Союз Спартака” ведет к “установлению азиатского режима голода и ужаса как в России”, планируется “кровавая диктатура “Союза Спартака””.² Подобные высказывания не могли проистечь только из политической ситуации в Германии; и поскольку в последние месяцы преувеличения в прессе, собственно, и не были нужны для того, чтобы привить немецкой общественности сознание, что в России большевиками действительно осуществляется режим беспрецедентного террора, постольку такие высказывания и предположения воспринимались как самые достоверные.

Их достоверность подтверждалась тем, что вмешательство Советского правительства не вызывало сомнений. Так, уже 11 ноября Совет народных комиссаров обратился телеграммой к немецким рабочим с призывом не дать “навязать” себе Национальное собрание, при этом попутно обещая поставки зерновых, хотя было общеизвестно, что в России царит голод.³ В том же духе выдержан целый ряд пассажей в речи Радека от 30.12.1919. Согласно Радеку, ничто-де не вызывает у русских рабочих

такого энтузиазма, как слова: мол, придет время, “когда немецкие рабочие призовут вас на помощь и вам придется воевать плечом к плечу с ними на берегах Рейна, как и они будут бороться на нашем месте на Урале”. Но разве не стремление к миру было мощнейшим стимулом русской революции? Если Радек говорил серьезно, то аналогичный импульс в Германии, по-видимому, оказал свое влияние в пользу Эберта.

Несмотря на это, в первые дни января 1919 года в Берлине возникла ситуация, когда большинство пролетариата, а с ним, возможно, и большинство столичного населения было настроено против правительства, которое с назначением выборов в Национальное собрание хоть и представляло большинство немецкого народа, но едва ли располагало рычагами власти. Дело шло к так называемому *январскому восстанию*.

В самом начале это было не что иное, как мощная демонстрация протеста против смещения с должности начальника полиции Эмиля Айххорна, члена НСДП, который после этого вошел в состав чисто право-социалистического правительства. Но, против воли Розы Люксембург, руководящими инстанциями было принято решение о свержении правительства, документ был подписан также и Карлом Либкнехтом, так что правительство, со своей стороны, 8.01.1919, разумно ограничиваясь почти самым ненавистным из своих врагов, смогло объявить: “Союз Спартака борется теперь за всю полноту власти <...> Народ лишен права говорить <...>”.⁴ Поскольку надежные *республиканские* части едва ли имелись в наличии, народный уполномоченный Густав Носке совместно с генералом фон Лютвицем были вынуждены рассчитывать только на части старой армии и на сформированный заново добровольческий корпус. Ситуация была сопоставима с той, которая возникла бы в России при совместных действиях Керенского и Корнилова. Так или иначе, “Роте Фане” и Роза Люксембург безоговорочно стали на сторону борющихся: Фридрих Эберт был назван “смертельным врагом революции”, и с большим ожесточением газета обрушилась на “мягкотелые элементы”, готовые к переговорам.⁵ Сообщения о боях читались как сводки с фронта, но были пропитаны несравнимо более пылким моральным пафосом, основывающимся на убеждении, что рабочие по отношению к буржуазии обладают презумпцией исторической правоты. Это могло привести к крайним зверствам, таким, как расстрел парламентариев частями, верными правительству. 14 января под заголовком “Порядок царит в Берлине” вышла последняя редакционная статья Розы Люксембург, до краев наполненная гневом и презрением по отношению к “берлинскому мелкобуржуазному сброду” и “жалким побежденным Фландрией и Аргонами”, завершающаяся выражением несокрушимой веры в окончательную победу революции: “Руководство оказалось несостоятельным. Но <...> решающую роль играют массы, они представляют собой ту скалу, на которой будет водружено знамя окончательно победившей революции <...> “Порядок царит в

Берлине!" Вы тупоголовые палачи. Ваш "порядок" построен на песке. Уже завтра "снова грянет" революция и трубным гласом возвестит: "Я была, есть, я буду!"⁶.

Днем позже Карл Либкнехт и Роза Люксембург были убиты. То, что обстоятельства их гибели пытались скрывать, и то, что вплоть до 1933 года и противники говорили об убийстве, совершенном солдатами и офицерами гвардейской кавалерийской дивизии, служит убедительным доказательством того, как сильно укоренилось в Германии осознание своего государства как правового, и как мало оно включало в себя понимание того, что ведется подлинная гражданская война, представляющая собой продолжение русской гражданской войны. Когда несколько месяцев спустя Эуген Левине, глава правительства Баварской Советской республики, был приговорен к смерти и казнен, газета НСДП посетовала, что именно социалистическое правительство привело в исполнение первый в Германии с 1848 года смертный приговор по политическому обвинению.⁶ Поступок егеря Рунге и его подстрекателей невозможно оправдать ни в моральном, ни в правовом поле, так как он означал убийство беззащитных пленных. Но тот, кто говорит эту правду, тем не менее солжет, если не добавит к сказанному, что Карл Либкнехт и Роза Люксембург, совершенно или наполовину против своей первоначальной воли, возглавляли восстание против правительства, что в России ЧК уже год без суда и следствия расстреливала сотни и тысячи арестованных, а значит, беззащитных противников, среди которых 350 пленных, арестованных после восстания в Ярославле, и что офицеры, подстрекавшие егеря Рунге к его поступку, знали это. Более уместные, чем правильные и, несмотря ни на что, по большей части ложные заявления об "убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург" – это заявления, которые отсвечивают еще в сообщении КПГ, датированном апрелем 1921 года, о так называемом предательстве Пауля Леви, которое можно воспроизвести следующим образом: Пауль Леви-де нанес своим борющимся товарищам удар в спину. Не так поступили Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Они, мол, были против январского восстания 1919 года. Но они боролись вместе со всеми и пали в борьбе.⁷

Мартовские сражения 1919 года также разворачивались в опасной для правительства ситуации: большие волнения и широкие забастовки потрясли Центральную Германию и Рурскую область, а они были, не в последнюю очередь, вызваны гневом против правительства, которое не проводило обещанной социализации. Но между тем после проведения выборов 19 января, в ходе которых социалистические партии – в отличие от России – набрали только около 45% голосов, в Веймаре конституирует себя Национальное собрание. Может быть, не так уж не обоснованно подозрение, что правительство теперь, желая окончательно поставить под контроль положение в Берлине, по всем правилам ввело в город войска, в

результате столкновений с которыми погибло 1200 человек, а правительственные войска часто проявляли особую жестокость в тех случаях, когда относительно небольшие войсковые подразделения сталкивались с большими скоплениями плохо вооруженного гражданского населения. Так, оберлейтенант Марло без достаточных оснований приказал своему подразделению расстрелять 29 матросов. Преувеличенные слухи о зверствах членов “Союза Спартака” в Лихтенберге привели войска в большое возбуждение, а последующие расстрелы по законам военного времени, в свою очередь, вызвали у значительной части населения Восточного Берлина беспредельное ожесточение против носкистов или “собаки Носке”. Газета “*Pote Фане*”, разумеется, в своих призывах не ограничивалась только оборонительной позицией, когда провозгласила: “Революция может двигаться вперед только через труп правой социал-демократии <...> Долой Национальное собрание <...> Ваши братья бастуют. Капиталисты отступают. Правительство на пороге свержения”.⁸

Едва правительство взяло верх в Берлине, как убийство Курта Эйснера вызвало провозглашение Баварской Советской республики, которая находилось под управлением социалистов-анархистов, таких, как Густав Ландауэр и Эрик Мюзам, в течение недели вплоть до 14 апреля, когда власть в Республике перешла в руки коммунистов: Эугена Левине, Макса Левина и Тобиаса Аксельрода. На первых порах до кровавых злодеяний дело не дошло, за исключением расстрела нескольких заложников в Люитпольдовской гимназии, но *анархистская псевдо-советская республика* навела ужас на *буржуазию*, когда 10 апреля провозгласила введение в действие революционных трибуналов, приговоры которых будут “немедленно приводиться в исполнение”; возможность обжалования исключалась. И здесь *русский пример* был прямо-таки всемогущим. Так, социал-демократическое правительство Гофмана, сбежавшее в Бамберг, опубликовало сообщение, в котором говорилось: “В Мюнхене неистовствует русский террор, развязанный чуждыми элементами <...>”.⁹ Конечно, речь шла в большей степени об угрозе, чем о реальной действительности. Но Ленин направил 27 апреля приветственное послание в адрес Баварской Советской республики, в котором он в форме вопросов дал обширные наставления: “<...> Какие мероприятия проведены вами для борьбы против буржуазных палачей Шейдемана и компании? Вооружили ли вы... рабочих, разоружили ли буржуазию <...>, уплотнили ли вы буржуазию в Мюнхене на занимаемой жилой площади для немедленного заселения рабочих в квартиры богатых? <...> Взяли ли заложников из числа буржуазии?”.¹⁰ Но то, что неприятие *чужаков и чужеземного вмешательства* испытывали не только правые, ясно даже на примере Эрнста Толлера, который 26 апреля в ходе решающего собрания руководящих органов сказал, что нынешнее правительство – это несчастье, поскольку оно постоянно оперирует аргументом: “В России мы это делали иначе”. Но “мы

– баварцы”, а не русские!”¹¹ Еще более характерным является тезис, занесенный Томасом Манном в свой дневник 2 мая 1919 года, когда еще всюду были слышны звуки перестрелки между бойцами входящего в город добровольческого корпуса и отступающими силами “Союза Спартака”: “Мы говорили о том, (возможно ли еще спасение европейской культуры) <...> или победит киргизская идея бритья и уничтожения <...> Мы говорили также о типе русского еврея, вождя международного движения, этой взрывоопасной смеси еврейского интеллектуал-радикализма со славянским православным фанатизмом. Мир, который еще не утратил инстинкта самосохранения, должен с напряжением всех сил и в короткие по законам военного времени сроки принять меры против этой породы людей <...>”¹²

В России март и апрель 1919 года стали апогеем надежд на предстоящую в самом ближайшем будущем мировую революцию. Для Ленина создание Коммунистической партии Германии “с такими всемирно известными и всемирно знаменитыми вождями, как Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Клара Цеткин и Франц Меринг”¹³ уже фактически означало начало нового, коммунистического Интернационала, а Учредительный конгресс в Москве в начале марта был для него просто способом его формального оформления. Правда, он был проведен в рамках чрезвычайной умеренности, делегации основных партий почти не были представлены, но, прежде всего, он был организован против воли Розы Люксембург, по мнению которой время для такого конгресса еще не пришло. На самом деле Советская Россия находилась в очень сложном положении: она противостояла вооруженной интервенции союзников и наступлению белых армий, почти отрезанная от прочего мира и обессиленная полностью дезорганизованной экономикой. Но в истории редки случаи, когда разрыв между чрезвычайно скудным материальным базисом и восторженной, избыточной, всеохватывающей верой столь велик. То, что этот небольшой конгресс, собравший 51 *делегата*, преимущественно русских, направлял всему миру в манифестах и призывах, было проникнуто таким пылом и такой силой энтузиазма, что никакие победные листовки союзников, никакая благонамеренная программа мира (проект будущего) Вильсона не шли с ними в сравнение. В изданных Бухариным “Директивах Коммунистического Интернационала” говорится: “Родилась новая эпоха. Эпоха крушения капитализма, его внутреннего распада, эпоха коммунистической революции пролетариата <...> Она должна свергнуть господство капитала, исключить возможность войн, уничтожить границы между государствами, превратить весь мир в сообщество, работающее для себя, сделать реальностью братство и освобождение народов”. А в то же время эти требования воинствующего универсализма заняли свое место в цепи исторических событий: “Отбрасывая половинчатость, лживость и разложение отживших официальных социалистических

партий, мы, коммунисты, объединенные III Интернационалом, ощущаем себя прямыми продолжателями героических стремлений и страданий целого ряда поколений революционеров от Бабефа до Карла Маркса и Розы Люксембург".¹⁴ Но апофеозом этих уверенных надежд и предвидений стал призыв Исполнительного комитета Интернационала, адресованный в честь 1 Мая коммунистам Баварии, исполненный осознания того, что теперь наряду с Российской существуют уже Венгерская и Баварская Советские республики: "Буря грянула. Пожар пролетарской революции с неудержимой силой полыхает по всей Европе. Приближается момент, которого ожидали наши предшественники и учителя <...> Мечта лучших представителей человечества становится явью <...> Час угнетателей пробил. День 1 Мая 1919 года должен стать днем выступления, днем пролетарской революции во всей Европе <...> В 1919 году родился великий Коммунистический Интернационал. В 1920 году родится великая Интернациональная Советская республика".¹⁵

Скептически настроенному наблюдателю, разумеется, более очевидным было бы то, что 1919 год станет годом гибели для Советской республики. На юге России Добровольческая армия генерала Деникина при осуществляемой военными миссиями значительной материальной и военной поддержке со стороны союзников и особенно нового военного министра Великобритании Уинстона Черчилля глубоко продвинулась в северном направлении. В Сибири адмиралом Колчаком было свергнуто правительство, представленное несколькими партиями, а его войска с примкнувшими к ним чехословаками в конце апреля подошли к Самаре и приблизились к Симбирску. В бывших прибалтийских провинциях боевые действия как против большевиков, так и против буржуазно-националистически настроенных латышей и эстонцев продолжались немецкими войсками и *Балтийским ландесвером*; Петроград по-прежнему находился в уязвимом положении. На севере войска союзников продвинулись до Архангельска и пытались оказать поддержку установлению российского режима под эсеровским руководством. *Красная область* вряд ли превышала размеры Великого княжества Московского времен Петра Великого; будучи отрезанной от хлебных областей и лишенной возможности поставлять крестьянам промышленные товары, она страдала от страшного голода так, что Ленин был вынужден направить из городов в села для изымания излишков сельхозпродукции отряды рабочих, которые смыкались с *сельской беднотой* для беспощадного похода за трофеями на *кулаков*.

Параллельно с внешней гражданской войной велась, стало быть, внутренняя классовая война, и это было характерной чертой и беспрецедентным случаем, поскольку никогда еще в современной истории глава правительства не шельмовал целые слои собственного населения, называя их "псами и свиньями вымирающей буржуазии" или "пауками" и

“паразитами”, против которых следует вести безжалостную борьбу.¹⁶ На фронтах же борьба носила ожесточенный характер с обеих сторон, и даже от нейтральных наблюдателей нередко поступали сообщения о том, что белыми она ведется с большей жестокостью, чем красными, поскольку последние часто убивали только пленных офицеров, а рядовых как *братьев по классу*, отпускали на волю. Действительно, переход целых подразделений на сторону противника в значительной степени способствовал поражению колчаковской армии в мае и июне прежде, чем она сумела соединиться с частями Деникина, а после тяжелого поражения, нанесенного чехословакам, отступление превратилось в то драматическое бегство по тысячекилометровой транссибирской магистрали, в ходе которого пали сотни тысяч, а сотни тысяч беженцев погибли от истощения.

В то время, когда Деникин предпринимал наступление на Москву, Колчак был уже разбит, а в октябре, когда с северо-западного направления армия генерала Юденича вышла к пригороду Петрограда, Деникин уже был вынужден начать отступление. Белыми армиями, союзниками, латышскими и эстонскими националистами, анархо-крестьянским движением Махно на Украине и украинскими националистами под руководством Петлюры, поляками и кавказцами велась совместная борьба против большевиков и вместе с тем скрытая, а иногда открытая – между собой, поскольку одни хотели восстановления российской империи, а другие – ее ослабления, поскольку одни боролись за собственную независимость, а другие – за завоевание земли или сохранение поставок сырья. Кроме того, эсеры и меньшевики, как на советской территории, так и в тылу белых, ввиду серьезной опасности победоносного вступления в Москву реакционно настроенного генерала фактически принимали сторону большевиков. Ленину было доподлинно известно, что победой в гражданской войне он в такой же степени обязан отсутствию единства в рядах противников, в какой и триумф революции объясняется заимствованием аграрной программы эсеров. Итак, к концу 1919 года части бывшей империи – и обширные – обрели самостоятельность: наряду с новообразованными прибалтийскими государствами, Финляндией, это была не в последнюю очередь Грузия. Но боееспособными и еще не окончательно лишенными боевого духа в ходе гражданской войны могли считаться только дислоцированные к северу от Крыма войска Деникина, командование которыми вскоре перешло к генералу фон Врангелю. Угрожающую внешнюю силу представляли собой только поляки, мечтавшие о восстановлении границ 1772 года. Русская буржуазия и русская аристократия перестали существовать, даже если многие их отдельные представители избежали физической расправы и затерялись где-то в огромной советской бюрократической системе: *эксплуататорские классы* были ликвидированы в соответствии с программой партии, а более миллиона их представителей в ходе величайшего перемещения беженцев, до сих пор известного

миру, нашло вынужденный приют в странах Европы.¹⁷ Между тем *мировая революция* лишилась двух стран, а именно Венгрии и Баварии. Но если Черчилль был не в состоянии сломить сопротивление Ллойд Джорджа со своим требованиям об оказании более серьезной поддержки белым, то главная причина этого обстоятельства состояла в том, что премьер-министр был очень обеспокоен революционными тенденциями в Англии и предпочел бы видеть большевистской скорее Россию, чем Англию. А 1920 год очень скоро обещал стать годом дальнейшего наступления *революции*.

В Германии во второй половине 1919 года тема коммунистической партии уже не стояла в центре обсуждения, тем больше внимания уделялось обсуждению кабальных условий Версальского мира, его лживой статьи 231 об ответственности за войну, оскорбительного требования союзников о выдаче немецких *военных преступников* и особенно прежнего кайзера. Партия была запрещена, и в ходе нелегально проведенного в Гейдельберге съезда она отмежеввалась от тех левых радикалов, которые на первом съезде большинством голосов провалили вопрос об участии в выборах Розы Люксембург и которые теперь частично оказались в национал-большевистском фарватере, как двое уроженцев Гамбурга, Генрих Лауфенберг и Фриц Вольфгейм. Однако нет ничего невероятного в том, что генерал фон Лютвиц, чьими войсками год назад было спасено правительство СДПГ, был обеспокоен не только сокращением по требованию союзников численности сухопутных сил, но также ростом *большевизма*. В первую очередь он имел в виду Независимую СДП, имевшую видимую тенденцию к усилению своего влияния. Эти опасения и понятное желание знать, что сроки проведения первых выборов в рейхстаг уже назначены, вылились в так называемый Капповский путч, отдавший Берлин на несколько дней в руки мятежной "Бригады Эрхардта" и вынудивший правительство Германии отступить сначала в направлении Дрездена, а затем в направлении Штутгарта.

Решающим фактором для скорой отставки рейхсканцлера путчистов Вольфганга Каппа, нашедшего серьезную поддержку, прежде всего, в Восточной Германии, наряду с противодействием берлинских служащих и нейтралитетом большинства рейхсвера, стала всеобщая политическая забастовка, с призывом к которой к рабочим обратились члены социал-демократической фракции в правительстве Германии. Этот призыв, в принципе, говорил языком пролетарской революции: "Мы совершили революцию не для того, чтобы сегодня снова признать кровавый режим наемников. Мы не заодно с остзейскими преступниками <...> Рабочие, товарищи <...> Пустите в ход любое средство, способное предотвратить возврат кровавой реакции <...> Бастуйте, отказывайтесь от работы и перекройте кислород военной диктатуре <...> Пролетарии, соединяйтесь!"¹⁸

Не было ничего удивительного в том, что эта всеобщая забастовка оказалась направленной также и против правительства, к числу членов которого относился Густав Носке, и в том, что левое крыло НСДП сделало теперь попытку восполнить упущенное в 1918 году. Однако для правительства было весьма неожиданным то, с какой быстротой в разных частях Германии формировались подразделения Красной Армии, и то, как успешно все-таки пришли они к единению в отдельно взятом регионе, а именно в Рурской области. Здесь были уничтожены не только части рейхсвера, но и подразделения полиции, молва о немецкой "мартовской революции" была не напрасной.¹⁹ КПГ, правда, принимала в ней незначительное участие, и поначалу она даже намеревалась держать злорадный нейтралитет по отношению к борющимся приверженцам Эберта и Лютвица, но молва скоро приписала ей и даже *русским* главную роль, это также способствовало большей ожесточенности боев, в ходе которых правительство даже было вынуждено применить войска. Против чего и была направлена всеобщая забастовка, с призывом к которой и выступила правительственная социал-демократическая фракция. Теперь добрых две недели Германия являла собой некую разновидность России, когда громыхала настоящая гражданская война между крупными вооруженными формированиями, и совершенно в соответствии с русским примером прозвучала речь Густава Штреземана, с которой он выступил 28 марта 1920 года перед руководящим комитетом своей партии: удалось-де установить, что здесь, в Берлине, находились офицеры русской Красной Армии, и что Лениным в Германию направлены народные агитаторы. С фотографической точностью развитие отношений в Германии отражало отношения в России. "Подобно тому как у нас разоружают армию и намереваются формировать батальоны из рабочих, точно так же делал Керенский, а вслед за ним Ленин. Если дело и дальше так пойдет, то большевизм станет тем океаном, в котором мы в конце концов утонем". Но самое худшее, по мнению Штреземана, состоит в том, что Демократическая партия сейчас участвует в атаках на рейхсвер и тем самым предает интересы буржуазии. "Стоит ли теперь удивляться тому, что офицеры в борьбе с большевизмом не проявляют стойкости?"²⁰

В конце концов рейхсвер проявил стойкость и подавил восстание, местами с большой жестокостью, так что в дневнике некоего молодого солдата мы читаем такие строки: "На поле сражения по отношению к французам мы были значительно гуманнее".²¹ Итак, эта непродолжительная немецкая гражданская война усилила ненависть обеих сторон и в еще большей степени лишила общество чувства собственного достоинства и морального авторитета: она усилила ненависть многих независимых и коммунистов против *солдатни* и правительства СДПГ, которое вновь предавало революцию; и она усилила ненависть солдат против *большевиков* и прежде всего против социал-демократов-марксистов, которых то и дело

надо спасать и которые этих же своих спасителей бесконечно оскорбляют и поносят. Но особенно глубокую антипатию – как у русских *белых* – вызывала также буржуазия, проявившая себя пассивно и филистерски, хотя в боях в Фогтланде Макс Гельц приказал вывесить плакаты с угрозами немедленно поджечь весь город и уничтожить буржуазию без различий пола и возраста при приближении рейхсвера.²²

Последствия капповского путча были своеобразными. Выборы в рейхстаг состоялись 6 июня 1920 года, и они стоили Веймарской коалиции потери большинства голосов. Влияние НСДП значительно выросло и примерно сравнялось с влиянием социал-демократов, но и Немецкая национальная народная партия была в выигрыше. Социал-демократ Герман Мюллер прежде всего вступил в переговоры с лидером независимых Артуром Криспином, но тот отклонил предложение участия в правительстве, поскольку его партия “стремится к захвату политической власти пролетариатом и установлению его монопольного господства вплоть до реально-го социализма”.²³ Наконец, было сформировано буржуазное правительство под руководством центриста Ференбаха, а поскольку в Баварии социал-демократа Гофмана сразу после путча сменил Густав фон Кар, то в конечном счете именно буржуазные партии извлекли наибольшую пользу из гражданской войны, хотя они в ней были в принципе всего лишь наблюдателями.

Так, коммунисты признали выполненными свои минимальные требования, а именно прекращение социал-демократической и буржуазной коалиции, но совершенно другим образом, не таким, как они себе это представляли. Союз всех социалистических партий и руководство правительством, осуществляемое представителем профсоюзов, было бы все-таки шагом в *советском* направлении, вплоть до ситуации, развития которой не допустили большевики, придя к власти. Но теперь дела складывались так, что теперь парламентские маневры с целью прорыва мировой революции в Германии были бы излишни. Весной Юзеф Пилсудский, ранее лидер Социалистической партии Польши, а теперь основатель еще не определившегося в своих границах и в своей стратегии государства в союзе с украинскими националистами Петлюры выступил против Советской России с целью создания крупной восточно-европейской федерации от Балтийского до Черного моря, которая обезопасила бы *цивилизованную Европу* от Советской России. Но, как известно, 11 июня захваченный Киев вновь был освобожден, а далее последовала целая цепь поражений польских и украинских союзников. Вопрос состоял в том, остановится ли Красная армия перед так называемой линией Керзона. Но по приказу Ленина Красная армия впервые перешла границы своей страны, – чтобы освободить рабочих и крестьян Польши от гнета *панов*, польских феодалов, – как это было декларировано предусмотрительно сформированным новым правительством. Но на самом деле целью Ленина была Германия,

то есть революция в Германии. Троцкий также предполагал, что приближается момент, когда русские и немцы совместно дадут Антанте великий бой на Рейне.²⁴ Среди значительной части немецких националистов ненависть к Польше была столь сильна, что такая перспектива с восторгом приветствовалась, а сообщения прессы о советских войсках, стоящих у границ Восточной Пруссии были, в общем, весьма позитивны. Западная Европа затаила дыхание и некоторое время казалась совершенно парализованной, тем более, что воззвания Советского правительства к рабочим с призывом препятствовать передвижению транспорта с амуницией и материалами в направлении Польши нашли отклик, прежде всего у английских профсоюзов. В прессе Польша нередко была представлена как слабый бастион с весьма сомнительной отвагой, пытающийся спасти всю Европу от натиска восточных орд. Американцы ограничились нотой государственного секретаря Колби, где воинствующий коммунизм приравнивался к *военной автократии* и где ему резко противопоставлялся *американизм*. Французы оказывали поддержку генералу Врангелю при последнем наступлении, предпринятом им в ходе русской гражданской войны и несколько облегчившем положение поляков. Но военная миссия генерала Вейгана также не могла бы изменить ход событий, не будь у польских рабочих и крестьян традиционная ненависть к русским сильнее, чем к господствующему классу, который уже давно не держал бразды правления в своих руках единовластно. Итак, Пилсудский сумел реорганизовать свою армию и одержать победу в битве за Варшаву. По Рижскому прелиминарному мирному договору ему передавалась Западная Украина и значительная часть Белоруссии, а за это он обрек на уничтожение Петлюру и Врангеля, так же, как союзники в начале года оставили без поддержки Деникина. В ноябре Деникин со своей армией морским путем отправился из Крыма в Константинополь, что и было концом русской гражданской войны,²⁵ который многие эмигранты, правда, считали неокончательным.

К тому времени Коммунистическая партия Германии стала массовой партией, объединившись с левым крылом НСДП в "Объединенную коммунистическую партию Германии" (ОКПГ). Предпосылкой к тому послужили решения II конгресса Коммунистического Интернационала, состоявшегося в Москве непосредственно в решающий момент советско-польской войны, и делегаты которого с величайшим энтузиазмом проследили неуклонное движение линий фронтов вперед по географической карте, размещенной в здании конгресса. Здесь было принято 21 условие (приема в Коммунистический Интернационал), внесшие раскол в крупные европейские социалистические партии левого толка, а именно германскую НСДП, итальянскую и французскую социалистические партии. Этими условиями Коммунистический Интернационал получал статус централизованной, разделенной на *секции* международной партии, ис-

ключившей из своих рядов всех *реформистов, центристов, социал-пацифистов* и даже сторонников *желтых профсоюзов*, хотя бы они, как итальянец Филиппо Турати, были решительными противниками войны. По этим условиям, каждая из секций должна создать параллельно своей официальной деятельности подпольный партийный аппарат по подготовке к фазе гражданской войны, осуществлять систематическую пропагандистскую работу, направленную на разложение армии и быть готовой оказать безоговорочную поддержку “любой Советской республике” (на практике, Советской России), и всей своей деятельностью не допускать сомнения в том, что Коммунистический Интернационал “объявляет войну всему буржуазному миру и всем желтым социал-демократическим партиям”.²⁶ Для всех скептически настроенных наблюдателей эти условия не могли означать ничего иного, нежели попытку России, потерпевшей поражение в мировой войне, насколько тонким, настолько и коварным образом самоутвердиться и подготовить позиции для реванша, подстрекая массы рабочих и крестьян противоборствующих государств против правящих слоев их страны, используя свободу пропаганды и свободу образования организаций, которых лишен оставшийся в живых противник в самой России. Правые социалисты еще раз убедились, что Ленин со всей очевидностью отождествляет *западный империализм* с тем участием в парламентской системе, которое принимала в ней большая часть социалистов, и начало которому было положено в 1900 году во Франции. Оно, казалось, даже победило в России в 1917 году, это участие, которое глубоко укоренилось в европейской истории и которое, по всем законам логики, служит гарантией предотвращения новой большой войны, если оно осуществляется преобладающим большинством и без задних мыслей. Но сильное левое крыло во всех партиях придерживалось, вероятно, как и Ленин, того мнения, что социалисты должны не предпринимать совместные действия, а господствовать единолично, потому что лишь тогда будет покончено с любым господством. Воодушевление могла вызвать только эта третья интерпретация, и в действительности никакая другая партия не была в силах выдвинуть более высокого требования, чем то, что выражено в заключительной части Манифеста и утверждено Конгрессом: “Рабочие и работники! На Земле существует лишь один символ, под сенью которого стоит бороться и погибнуть: этот символ – Коммунистический Интернационал”.²⁷ И дело здесь не шло о беспочвенном восторге. Где еще в мире делегатам могли бы показать монарший дворец, который, подобно царской резиденции в Царском Селе, был превращен в детский дом, где еще отдавалось так много сил делу ликвидации неграмотности, где еще простые рабочие имели столь неограниченные возможности развивать свои литературные задатки или занимать высшие государственные посты? Не пришла ли, в самом деле, к власти в Советской России *партия прогресса*?

То, насколько высоко поднялся престиж советского коммунизма благодаря его победе, нигде не проявилось столь ясно, как в Германии. Когда делегаты НСДП в октябре 1920 года собрались в Галле для принятия решения по 21 условию (приема в Коммунистический Интернационал), эмиссара Коминтерна Григория Зиновьева зал встретил бурными аплодисментами, хотя довольно многочисленное меньшинство в этом не участвовало. Затем Зиновьев выступил с многочасовой речью, которую отличала столь высокая степень убедительности, что ряд газет в своих сообщениях назвала его величайшим оратором столетия. С сильнейшей выразительностью он бросил *правым* в лице Криспиена и Гильфердинга обвинение в том, что страх перед революцией сквозит во всей политике, проводимой ими, и он противопоставил им свою веру, которая в такие моменты, как во время Конгресса пробуждающихся народов Азии, состоявшемся в Баку за несколько недель до съезда НСДПГ, когда сотни турок и персов подхватили пение Интернационала, заставляет его прослезиться. Итак, по мнению оратора, свет для всего человечества придет с востока, и противники объединения совершенно не правы, сетуя на наивность масс, поскольку "так называемая наивная, религиозная вера пролетарских масс" является "на самом деле важнейшим революционным фактором мировой истории".²⁸ В этом тезисе несомненно просматривается значительное изменение, прямо-таки поворотный пункт в марксизме. Но правоверным марксистам, среди которых были Рудольф Гильфердинг и Юлий Мартов, с их выступлениями "против московского диктата", далеко не так бурно рукоплескали, хотя ходили упорные слухи, что Мартов продемонстрировал на примерах методы ЧК и добавил, что испытывает стыд за свою страну, где возможны подобные явления.²⁹ Большая часть делегатов одобрила решение, которое Зиновьев сразу увидел в широкой исторической перспективе, когда в завершение своей речи сказал: "В Германии теперь будет создана крупная единая коммунистическая партия, и это величайшее историческое событие последних дней".³⁰ Так из малочисленной "Коммунистической партии Германии, секции Коммунистического Интернационала", появилась крупная "Объединенная коммунистическая партия Германии" (ОКПГ), которая, разумеется, осталась секцией КИ. 300 000 членов НСДП совершили этот шаг, в то время как 300 000 сохранили свое членство в старой партии, которая двумя годами позднее вновь объединилась с правыми социал-демократами. ОКПГ насчитывала теперь в своих рядах приблизительно 350 000 членов, во главе ее стояли наделенные равными правами председатель Пауль Леви, очень образованный адвокат и ученик Розы Люксембург, и Эрнст Доймих от НСДП.

Несколько позже Зиновьев опубликовал отчет о своих "Двенадцати днях в Германии". Не без оснований он утверждал, что огромное большинство немецких рабочих стоит на стороне русской революции, и что

пропаганда правой интеллигенции и мелкобуржуазной рабочей аристократии против “московского кнута” или “деспотов из Москвы” пала не на благоприятную почву. Но еще больший интерес представляли впечатления, которые получил в Германии партийный лидер, по всем сведениям, опустошенного и голодающего Петрограда, впечатления об “изобильных магазинах, битком набитых деликатесами”, и “сытых тупых буржуях”, хозяевах положения. “Когда в конце концов этому будет положен конец? Когда, когда эта глыба, немецкий пролетариат, расправит свои плечи и сбросит всю эту буржуазную сволочь с верхушки пирамиды? Будь он проклят, будь он трижды проклят, этот “цивилизованный” капиталистический мир, попирающий живую человеческую душу и превращающий миллионы людей в рабов <...> Только тогда, когда от немецкого меньшевизма не останется камня на камне, путь будет свободен; только тогда мощные рабочие организации Германии <...> станут могучим рычагом, с помощью которого немецкий рабочий класс опрокинет старую Германию и покончит с буржуазией”.³¹ Нечасто внутренняя связь между цивилизаторской критикой и нацеленностью на уничтожение, которая и есть знак раннего большевизма, бывает сформулирована так ясно, как это сделал здесь председатель Коммунистического Интернационала. Как уже почти осуществленную в России прогрессивную акцию Зиновьев назвал полное упразднение денег и натурализацию заработной платы. Но уже через несколько месяцев спустя эта прогрессивная акция в Советской России была сдана в архив.

Период русской гражданской войны был периодом *военного коммунизма*, который, с одной стороны, был связан с большими надеждами на непосредственно предстоящее осуществление более-не-капиталистического образа жизни под девизом “Все принадлежит всем” и отмечен высоким пропагандистским и культурным подъемом, но который тем не менее обозначил четкое вытеснение стихийности, усиление партийного и государственного централизма, а также укрепление дисциплины в армии и на производстве. Таким образом, на повестке дня встал вопрос, какая роль будет принадлежать профсоюзам в *государстве рабочих*: станут ли они и далее представлять интересы рабочих или будут органами рабочих для осуществления самоуправления в промышленности, или будут служить *приводным ремнем для партии*, которая однажды, возможно, реквизирует рабочую силу, подобно тому, как реквизировала хлеб у крестьян? Уже в 1919 и 1920 годах заметно обозначились зачатки *рабочей оппозиции*, и многие группы делали попытки организовать как оппозиция или фракция. Сильнейшим импульсом при этом была жалоба на советскую бюрократию, но также и на единоличную власть, сосредоточенную в руках одного руководителя, на роль специалистов, на приспособленчество и оппортунизм. Все это вело к парадоксальному результату (в формулировке Александры Коллонтай): “Только важнейший класс Советской респуб-

лики <...> в своей массе влачит постыдно жалкое существование каторжанина".³²

Ленин, со своей стороны, остро ощущал невыносимость и безвыходность такого положения вещей. Он пытался найти выход из затруднительного положения, предоставив стихийности свободу действий в экономике, заменив при этом продразверстку продналогом и таким образом дав крестьянам возможность продавать излишки на свободном рынке. Для этого обязательно были нужны известная мера свободной торговли и слой коммерсантов и торговцев, которые способны заниматься *капиталистическими* видами деятельности. Именно этот период Ленин назвал "Новой экономической политикой" (НЭП), и он предоставил X съезду партии, состоявшемуся в начале марта, определить основы НЭПа. Но тем решительнее он придерживался принципа политической партийной диктатуры, и он не боялся ввести в употребление термин "государственный капитализм". На самом деле уже в 1918 году он выразил свое мнение, которое убедительно изложил в своем сочинении "О продналоге": "Если в Германии революция еще медлит "разродиться", наша задача — учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства".³³ К началу 1921 года революция в Германии еще не *разродилась*. Но когда Россия стала государством диктатуры развития, при которой национализированной крупной промышленностью полностью располагали высшие органы партии, в то время как на более низком экономическом уровне ситуацию определяли свободная торговля и мелко-капиталистические коммерсанты и предприниматели, то анархо-утопический пафос, который, казалось, составлял ядро коммунизма *qua* Советской власти, должен был с удвоенной силой направляться против такого состояния, которое, по всем параметрам, было хуже, чем господствующий на Западе высший капитализм.

Первым и наиболее мощным выражением этой критики стало восстание матросов и населения Кронштадта, поскольку оно было организовано и вооружено, при этом направлено преимущественно против определенных явлений военного коммунизма. По времени оно совпало с X съездом партии, и, пожалуй, не совершенно случайно, ведь волнения и забастовки были и раньше, особенно в Петрограде, довольно частым явлением, напротив, по всем признакам уже ясно обозначилась тенденция к предстоящим послаблениям.

1 марта 1921 года общим собранием рядового состава I-й и 2-й бригад линейных кораблей были выдвинуты следующие требования: новые выборы в Советы в условиях тайного голосования; свобода слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и лево-социалистических партий; свобода собраний; свобода профсоюзов и крестьянских объединений;

освобождение всех политических узников, принадлежащих к социалистическим партиям; выборы состава комиссии по пересмотру судебных дел всех узников тюрем и концлагерей; свобода крестьян распоряжаться своей землей, если они не используют наемный труд; свобода кустарного производства на базе собственного труда.³⁴

По большей части, речь здесь шла о требованиях 1917 года, которые, якобы были выполнены Российской Коммунистической партией. Но, безусловно, именно в этом и состояла, по мнению Ленина и партии, невыносимая угроза. Немедленно были предприняты приготовления к военному подавлению *мятежа*, в результате чего тон кронштадтцев стал еще резче: "Всем, всем, всем! <...> Купаясь в братской крови трудящихся, кроважандный фельдмаршал Троцкий первым открыл огонь по революционному Кронштадту, потому что здесь поднялись против власти коммунистов, чтобы восстановить настоящую власть Советов <...> В этом море крови коммунисты утопили все великие и светлые обещания и лозунги рабочей революции <...> Жизнь под игом стала страшнее смерти <...> Здесь, в Кронштадте, заложен фундамент третьей революции <...>, которая проложит новый широкий путь к творческой деятельности в духе социализма".³⁵

Если задуматься, насколько основополагающими в русской революции были такие понятия, как массы, самостоятельность, освобождение, отсутствие господства, и как они при этом призваны свидетельствовать *против* этой революции, то становится более чем ясно, что Коммунистический Интернационал отдал распоряжение добиться, наконец, в Германии силами новой массовой партии осуществления революции и либо завоевать победу, либо по меньшей мере отвлечь внимание мировой общественности от Кронштадта. Действительно, во время пасхальной недели в условиях необычайно тяжелой ситуации, в которой правительство Ференбаха оказалось вследствие чрезмерных репарационных требований Антанты и слабых попыток к сопротивлению, разразилась так называемая "Мартовская акция", которая в действительности была грандиозным восстанием в средне-германском промышленном районе и которую также можно было бы назвать "Мартовской революцией", тем более, что дело дошло и до мощных выступлений в Гамбурге и других крупных городах, в то время, как КПГ выступала с призывом к общей политической забастовке. Правда, в подготовительные мероприятия, проводимые в соответствии с так называемой теорией революционного наступления, вклинилась полицейская акция Верховного президента Герзинга, так что речь могла идти даже о провокации и о неповиновении. "Роте Фане" высказывалось чрезвычайно резко: "Немецкая буржуазия и ее социал-демократический руководящий сброд вырвали оружие из рук пролетариата <...> Как Кар (Kahr), с одной стороны, так и пролетариат, с другой стороны, [должен делать одну вещь]: плевать на закон. Каждый контрре-

волюционер обладает оружием. Рабочие не должны быть худшими революционерами, чем их противники – контрреволюционеры”.³⁶

Различие же состоит в том, что на этот раз, в отличие от предыдущего года, *контрреволюционеры*, которые идентифицируются преимущественно с баварской организацией самообороны Эшерих [Оргеш – организация бывших военнослужащих], *не совершили* путча. И стихийные волнения среди рабочих были далеко не так сильны, как в марте 1920 года, так что партии пришлось применить целый арсенал средств: покушения, подрывы, подстрекательство Охранной полиции под лозунгом: “Опрокидывайте трамваи, кидайте гранаты!”³⁷ И хотя, по партийным данным, в бой вступили сотни тысяч, то есть больше, чем год назад в Рурском промышленном районе, но все же не миллионы, а лишь при участии миллионов эта гражданская война могла бы стать победоносной. Поэтому среди партийного руководства возникло сильное противоборство, и эмиссарам Коминтерна, среди которых были Матьяш Ракоши и Бела Кун, пришлось использовать весь свой авторитет для того, чтобы настоять на своем.

Но худшим в этом поражении было то, что прежний партийный лидер Пауль Леви еще в апреле опубликовал статью, в которой он рассматривал эту акцию как “величайший бакунинистский путч за всю историю”, как войну коммунистов с четырьмя пятых немецких рабочих, которые подвергались неслыханным оскорблениям со стороны “Роте Фане”. В качестве непосредственных виновников Леви назвал эмиссаров Коминтерна и при этом характеризовал их с помощью сердитого выражения “туркестанцы”.

За это он, разумеется, был исключен из партии, но с созданием “Коммунистического рабочего сообщества” (КРО) им впервые был осуществлен откол от ОКПГ. Тем самым, по-видимому, *западноевропейский коммунизм* был противопоставлен советскому коммунизму, и теперь нередко речь шла об *антибольшевизме* коммунистов-еретиков.

Итак, весной 1921 года стало очевидным, что Коммунистическая партия Советской России одержала победу в великой гражданской войне, но вместе с тем после введения НЭП она, похоже, странным образом сильно видоизменилась. В годы войны она была частью великой общеевропейской партии протеста и надежды, затем как русская партия гражданской войны и социальной ликвидации враждебных классов она добилась всемирно-исторического триумфа, который, правда, включает также и подавление мощных крестьянских восстаний, которые едва ли могли объясняться только деятельностью кулаков. Не следовало ли ей либо как партии мировой революции распространить свое влияние на всю Европу, либо стать *партией индустриализации* и ступить на путь, не пройденный еще никем до нее? ³⁸ Или даже стать “партией войны”, в чем ее упрекал меньшевик Ное Йордания³⁹ после того, как советские войска в феврале

1921 года вторично нарушили границу, признанную международным правом, и подчинили Грузию?

То, что она оказалась перед этой дилеммой, объясняется поражениями, которые потерпела немецкая партия, или, соответственно, германская революция. Переход к НЭПу означал только возможность перевести дух, и в 1923 году, году великого германского кризиса, наступила новая ситуация принятия решения. Но если еще в 1920 и 1921 годах даже в ряды коммунистов проник *антибольшевизм*, то было бы более чем странно, если бы на почве того *буржуазного мира*, могильщиком которого хотел стать коммунизм, не возник бы за это время значительно более ярко выраженный антибольшевизм, который при принятии всех решений в будущем бросил бы также на чашу весов свое слово и свой меч.

4. Ранний антибольшевизм и первый взлет Гитлера

Еще более поразительным явлением, чем большевизм, стало, пожалуй, большевикофильство, которое достаточно рано обозначилось на гражданской, то есть несоциалистической основе. Сначала оно, как и антибольшевизм, не имело социальной подоплеки: оно было сориентировано на большевиков как партию мира, которая неизбежно вызывала симпатию всех тех, кто критически относился к войне и к партиям войны. В Америке и Англии в этом случае речь шла об антиимпериалистическом крыле либералов и о лейбористской партии. Разумеется, границы потеряли четкие очертания, когда с подписанием мирного договора в Брест-Литовске стало ясно, что большевистский мир предполагает значительные выгоды для партии войны в Германии; но по окончании войны снова воцарилась симпатия частично и не в последнюю очередь потому, что либеральное и рабоче-партийное сознание часто и тогда не позволяло усомниться во внутреннем сродстве, когда проявлялись большие сомнения в правильности методов большевиков. Такие люди, как американцы Вильям Буллитт и Реймонд Робинс или англичане М. Филлипс Прайс из *“Манчестер Гардиан”* и Артур Рэнсам из лондонской *“Дейли Ньюз”* сохранили свои симпатии к большевикам навсегда или надолго, потому что они нашли нечто новое в аспекте всемирной истории и хотели рассматривать это новое как имеющее непреходящую всемирно-историческую значимость. *“Берлинер Тагеблатт”* также после Октябрьского переворота выделяет никак не один только национальный аспект, но также делает упор на то, что это явление “выдвинет социальный вопрос на первый план во всем его колоссальном величии”¹, а некоторые заголовки, предпосланные сообщениям с поля боя русской гражданской войны, казалось, по-прежнему проникнуты симпатией к большевикам. Далеко не все пацифистски и социально ориентированные либералы и лейбористы от политики руководствовались

при этом прежде всего своей антипатией по отношению к *реакционерам и империалистам* своей страны настолько, чтобы одобрять то, что они ранее именовали большевистской *политикой искоренения*, но Бернард Шоу продемонстрировал весьма показательную позицию, когда он, ограничившись лишь незначительным дистанцированием, сказал, что большевики поставили правильные вопросы и расстреляли правильных людей.²

Своеобразнейший облик приобрело большевикофильство в виде буржуазного национал-большевизма в Германии, возникшего из ужаса перед условиями Версальского мирного договора и признающего только одно действенное средство, а именно большевизм, который не будет иметь в Германии такого ярко выраженного деспотического характера, как в России, коль скоро он придет к власти при поддержке *состоятельных и образованных кругов*. По меньшей мере Пауль Эльцбахер, с именем которого эта тенденция связана на начальном этапе, обнаруживал на тот период уже известную симпатию внутриполитического свойства, поскольку находил похвальным то, что Ленин выступил “за беспощадное наказание недисциплинированных и ленивых рабочих”. Он ожидал от такого взаимодействия, не в последнюю очередь, защиты от разрушения старых культур “поверхностной “цивилизацией” Англии и Америки”.³ Но если далеко не все буржуазные круги были настроены антибольшевистски, то еще в меньшей степени все социалисты принадлежали к числу большевикофилов, но именно среди них быстро развивалась враждебность, которая, пожалуй, была выражена сильнее среди партийных руководителей, чем среди *пролетарских масс*. Впрочем, совсем не удивительно, что приход большевиков к власти послужил прежде всего исключению всех прочих социалистических партий из политической жизни.

Старые соратники Ленина, бывшие члены редакционного комитета “Искры”, видели в этом захвате власти не что иное как последовательное продолжение хорошо известной тактики Ленина: формировать партию своих преданных сторонников путем вытеснения истинных марксистов и независимых умов. Плехановский тезис о “ненасытном стремлении к власти” уже приводился выше.⁴ Мартов называл большевиков уже в 1918 году “партией палачей”,⁵ и с острейшей критикой выступал Павел Б. Аксельрод. Для него большевизм был “азиатским” явлением, предательством важнейших основ марксизма, “диктатурой над пролетариатом (и крестьянством)”, группой, реставрировавшей “варварство, жестокость и бесчеловечность давно минувших времен” и присвоившей себе статус “нового господствующего класса” в рамках “рабовладельческого государственного строя” нового типа. А потому Аксельрод считал доказанным тезис, выдвинутый им еще до начала мировой войны, который состоял в том, что “ленинская клика должна рассматриваться как банда черносотенцев и как обыкновенных преступников, проникших в среду социал-демократии”.⁶

Еще более основательной критике, чем меньшевики, подвергли большевиков анархисты. Хотя они и не могли отрицать, что конечные цели большевиков были идентичны их собственным – создание мирового общества свободных индивидуумов, – они все же отвергали средство, которым пользовались большевики, а именно формирование неслыханно сильной государственной власти, и они не верили в то, что рано или поздно это средство породит свою противоположность. И потому американский анархист Александр Беркман, друг более известной Эммы Гольдман, писал непосредственно после усмирения Кронштадта: “Кронштадтский опыт еще раз доказывает, что правительство, государство – каковы бы ни были его название и форма – всегда остается смертельным врагом свободы и самоопределения. У государства нет души, нет принципиальной позиции. Перед ним стоит только одна цель – заручиться властью и сохранить ее любой ценой. Это и есть политический урок Кронштадта”.⁷

Роза Люксембург, будь она жива в 1921 году, как и ее друг Пауль Леви, не избежала бы, пожалуй, обвинения в антибольшевизме со стороны ортодоксальных приверженцев Ленина. Ее брошюра о русской революции, написанная в тюрьме в 1918 году и опубликованная в 1922 году Леви, содержала, при всем уважении к Ленину и Троцкому, целый ряд возражений принципиального характера. Так, Роза Люксембург, хотя она понимала свободу как “свободу инакомыслящих”, едва ли подразумевала либеральную свободу каждого гражданина, включая и “реакционеров”, однако сочетание “жизни в Советах” со “всеобщими выборами, свободой печати и собраний, а также свободной борьбой мнений” предполагало принципиальный отказ от партийной диктатуры и было защитительной речью в пользу той советской демократии всех социалистических трудящихся, какой петербургские массы хотели добиться в октябре 1917 года и какую снова потребовали восставшие Кронштадта в 1921 году. На самом деле это длилось недолго, до тех пор, когда КПП начала борьбу против “люксембургизма”, которому была поставлена в вину переоценка стихийности масс и недооценка роли партии.⁸

При всем том дело состояло во *внутрикоммунистической* полемике. В социал-демократической критике ощущается другой тон, который еще частично понимается как *внутрисоциалистический*, но который тем не менее обнаруживает несомненную тенденцию, вытолкнуть большевизм за пределы социалистического лагеря и квалифицировать его как *буржуазный*.

Так, по мнению Отто Бауэра, большевистская революция осуществила то, чего в Европе добились буржуазные революции: разрушения феодальной системы в сельском хозяйстве и установления буржуазного регулирования отношений собственности на селе. В России теперь господствует именно пролетариат, и потому один рабочий голос приравнивается на

выборах к пяти крестьянским голосам. Но очень скоро формировался все более явный перевес партийной верхушки, так что, пожалуй, следовало говорить о *деспотическом социализме*. Этот путь не лишен исторической последовательности и необходимости, но он никак не может быть путем западноевропейских промышленных держав, путь которых должен представлять собой постепенное дальнейшее развитие буржуазной демократии. Против такого понимания выступает русский коммунизм, близкородственный тому *прусскому социализму* Шпенглера, потому что оба охвачены безумной верой в государство: "Всесилие господствующего меньшинства может и должно вынудить повинующуюся массу к более высокому образу жизни".⁹

Гораздо острее не только в газетных статьях, но и в научных трудах высказывался человек, который в среде довоенной социал-демократии пользовался наибольшим авторитетом по всем вопросам в области доктрины: Карл Каутский. Для него марксизм – это часть процесса гуманизации, который вывел рабочее движение из его первоначальной дикости и внутренней близости к террористической фазе Французской революции. Большевизм, стало быть, равносителен рецидиву зверства, потому что он снова хочет заменить марксистскую классовую борьбу гражданской войной. Конечной причиной этого служит незрелость русских отношений. Большевики для укрепления своего влияния использовали массовый психоз населения и поэтому рассматривают социальную категорию бюргера прямо-таки как категорию биологическую, против которой они принимают меры со всей дикостью и жестокостью зарождающегося рабочего движения. А потому победа большевизма – это поражение социализма, и это проявляется также и в том, что появилась новая бюрократия, новый класс господ, возрождающий милитаризм и устанавливающий терроризм: "Расстрел стал альфой и омегой коммунистической государственной мудрости". Итак, большевизм – это рецидив антигуманизма и антисоциализма в диком состоянии, а потому Каутский в заключение называет его "татарским социализмом".¹⁰

Но рассматривался ли большевизм ведущими социал-демократами прежде всего как *особый русский путь* или же как *варварский регресс*, они неизменно резко противопоставляли его *Европе*, и в дорожных заметках некоего социал-демократа выражается желание "побыстрее снова оказаться за границами Советской России", так как однообразие и бедность жизни, голод, отсутствие свободы печати и бесконечный ужас перед преступлениями новой "святой инквизиции", ЧК, просто непереносимы.¹¹ Но едва ли когда-нибудь даже намеком ставился вопрос, а не связано ли, чего доброго, *европейское* со свободным существованием также и *реакционных* тенденций, и не лучше ли поступили бы небольшевистские социалисты в России, заключив союз с Колчаком и Деникиным, потому что лишь тогда был бы шанс создать *общество продуктивных социаль-*

ных различий, как в Европе. Напротив того, равное удаление от большевиков и реакционеров остается определенно или неопределенно характерным для всех социал-демократов, и это равное удаление определяло и практическую политику меньшевиков и социал-революционеров вплоть до их окончательной изоляции в 1921 году.

Многообразный европейский либерализм более подходил для того, чтобы целиком идентифицироваться с европейской культурой или же западной цивилизацией, коль скоро он, в отличие от явных левых либералов, не выдвигал на первый план критику несправедливостей чересчур непрозрачного общества. Для "Times" "в мире недостаточно места сразу для большевизма и цивилизации".¹² Понятие "тоталитаризм" или "тотализм" по своему смыслу уже было в ходу в качестве контр-понятия.¹³ Неопределенную границу между правыми либералами и консерваторами можно было, пожалуй, легче всего обнаружить по тому, устанавливает ли человек чрезвычайно сильное участие иностранных народов в русской революции или усматривает причину особого свойства в евреях. Ведь уже сразу в первые месяцы после Февральской революции множество наблюдателей, особенно во Франции и Италии, были взбудоражены тем, что поборники заключения мирного договора столь часто носят или носили немецкие фамилии, такие как Цедербаум, Апфельбаум или Собельсон. Позднее некоторые авторы связывали это наблюдение с традиционными представлениями, распространенными среди консерваторов уже в первой половине XIX века. Не кто иной как сам Уинстон Черчилль писал в одной своей статье: "Это движение не ново среди евреев. Со времен Спартакуса Вайсгаупта до Карла Маркса и далее до Троцкого (Россия), Бела Куна (Венгрия), Розы Люксембург (Германия) и Эммы Гольдман (Соединенные Штаты) этот всемирный тайный заговор, направленный на свержение цивилизации и преобразование общества на основе сдерживания развития, завистливого недоброжелательства и невозможного равенства растет <...> (Это движение) было движущей силой каждого деструктивного движения XIX столетия, а теперь эта клика исключительных личностей из числа деклассированных элементов крупных европейских и американских городов взяла за горло русский народ и стала практически неоспоримым хозяином огромной империи".¹⁴ Но если в таких статьях и можно ощутить отголосок страха перед заговором аббата Баррюэля или князя Меттерниха, то Черчилль был весьма далек от того, чтобы объяснять деструктивные тенденции многих евреев неизменными расовыми характеристиками, присущими всем евреям, и он сделал особый упор на сионистские устремления доктора Вейцмана, которые были удивительно созвучны настоящим интересам Британской империи.¹⁵

Еще более однозначно для Черчилля на переднем плане были политические интересы Британской империи, когда он отстаивал мысль о том, что теперь, после поражения Германии в войне, ее надлежит сделать бас-

тином, противостоящим опасностям большевизма, “преградой, возведенной мирной, законной и толерантной силой на пути потока красного варварства, несущегося с Востока”¹⁶, и эта заинтересованная позиция с таким же успехом может вызвать надежду на то, что возобновление торговых отношений приведет к смягчению этого пугающего в глазах европейца деспотизма. Эту точку зрения отстаивал Ллойд Джордж, и уже в 1921 году он санкционировал торговые отношения с Советской Россией.

Так каждая из существующих идеологий и партий разработала свой собственный антибольшевизм, вплоть до НСНРП и вплоть до рядов КПГ, и это более чем понятно, так как большевизм в силу собственного самосознания объявил войну *всему миру* и обвинил каждую из существующих партий в прислужничестве перед *международной буржуазией*. Но произошел важный переход, когда все организации определили главным содержанием своих устремлений антибольшевизм.

Самой первой среди этих организаций был учрежден “Генеральный секретариат по изучению большевизма и борьбе с ним”. Основателем ее был Эдуард Штадтлер, который до войны участвовал в руководстве молодежной организации Центра, а позднее оказался в русском плену, из которого вернулся уже незадолго до конца войны. По его более позднему сообщению, уже в ноябре 1918 года он с головой окунулся в изнурительную деятельность с целью уберечь Германию от судьбы России, в этом он нашел поддержку авторитетных политиков, таких как Фридрих Науманн и Карл Гельферих. 10 января 1919 года он выступил с речью в авиаклубе на совещании руководства в области экономики, в работе которого принимали участие такие промышленные или финансовые магнаты, как Гуго Стиннес, Альберт Феглер, Феликс Дойч, Артур Саломонсон и другие. Заклипания Штадтлера были настолько успешны, что был создан Антибольшевистский фонд, в который по его утверждению было внесено не менее 500 миллионов марок; эти средства затем по всевозможным каналам перетекли к начавшемуся в начале января “мощному антибольшевистскому движению”, то есть к Фрайкорпу, добровольческому корпусу, члены которого с помощью больших плакатов и дорогостоящих объявлений в газетах вербовали добровольцев для защиты Родины от большевизма и от поляков; к движению гражданских советов, “Антибольшевистской лиге”, “Объединению по борьбе с большевизмом” и прочим подобным организациям.¹⁷ Сам Штадтлер выпустил в свет брошюру под названием “Большевизм и его преодоление”.¹⁸ Здесь он обнаруживает чрезвычайно высокую степень признания и объективности, и лишь в самом конце всплывает слово *эпидемия*. Никакого антисемитизма не ощущается, что уже, должно быть, дает почувствовать список спонсоров. И этот подчеркнутый антибольшевизм был лишь одной, мимолетной фазой в деятельности Штадтлера, по его мнению, несомненным результатом временной, вынужденной ситуации.

Другой воинствующей антибольшевистской организацией, значительно чаще упоминающейся самими коммунистами, чем, например, “Антибольшевистская лига”, и имя которой используется часто как собирательное для добровольческого корпуса, организации по самообороне и пр., была “Организация Эшерих”. По своим основам и характеру это была буржуазная организация самообороны, не намеревающаяся замыкаться в границах Баварии и выдвигающая следующие основные требования: гарантия конституции, защита личности, труда и собственности; сохранение Германского Рейха (в прежних границах) и прекращение любых попыток отторжения территорий; поддержание спокойствия и порядка и предупреждение любых правых и левых путчей. Главная практическая задача была сформулирована, конечно, лишь в последнем пункте. Среди десяти тезисов, выдвинутых в октябре 1920 года, под пунктом 3 содержится “Борьба с большевизмом и национал-большевизмом; отвержение любых устремлений, направленных на разложение народа”. Но здесь делается особый упор на этот пункт, что уже видно из комментария, в котором приводятся многочисленные высказывания лидеров КПП. Между тем как особая заслуга Эшериха подчеркивается, что ему удалось то, что “в Баварии является силовым достижением, а именно сдержать антисемитизм”.¹⁹

Кто желает сделать наглядными предпосылки, из коих выросла та антибольшевистская организация, которой довелось скоро стать известнейшей и важнейшей с исторической точки зрения, тот не должен ограничиваться возбужденным национализмом офицеров, вроде Эрнста Рема, и антимарксистского социализма Готфрида Федера, но должен направить свой взор на круг балтийских и русских эмигрантов и близких к ним лиц, нашедших место сбора в Мюнхене. Наиболее влиятельным человеком среди них был поэт Дитрих Эккарт, который уже с конца 1918 года в своем журнале “Ауф гут дойч” представлял некий вид мистического антииудаизма, но лишь через опыт Советской республики его деятельность приняла форму практической и партийной деятельности.²⁰ В начале она была подчинена тем ощущениям, которые были выражены в цитированных высказываниях Томаса Манна.²¹ Основной опыт подсказывал обоим одно и то же: страх уничтожения буржуазного и образованного меньшинства перед лицом опасных пролетарских масс, и у обоих присутствовала одна интерпретация событий, на основе которой делались попытки понять природу этой угрозы и научиться контролировать ее, а именно вызов, брошенный лидерами чуждого слоя. Но то, что у Томаса Манна было сиюминутным настроением и временным ощущением, то у Дитриха Эккарта стало центром мировоззрения и вытекающей из этого политической деятельности.

И все же весьма сомнительно, привела бы в конце концов эта угроза к революционному трибуналу и к собственно убийству заложников в Лю-

итпольдовской гимназии с их столь отягощающими последствиями, если бы конкретное присутствие русского опыта не придало этому страху уничтожения монументального и убедительного фона. Одним из тех людей, кто мог передать этот опыт Эккарту, был доктор Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, который во время мировой войны некоторое время был германским вице-консулом в Эрзеруме. Там он всеми силами способствовал тому, чтобы воспрепятствовать изгнанию и уничтожению армянского населения турками, которых он определенно воспринимал в качестве *азиатов*.²² Но затем в 1918 году он вернулся на родину, в Ригу, и здесь ему довелось пережить на практике, как внедряемые из России и местные большевики сообща объявили балтийскую аристократию *вне закона* и сделали объектом политики истребления. Политики, которая, казалось, не слишком отличалась от избиения армян, хотя Шойбнер-Рихтер, разумеется, знал, что эти балтийские немцы представляли собой численно ограниченные высшие круги общества. Тогда он направился в Мюнхен и учредил там свою "Политико-экономическую информацию по восточным вопросам и их значение для Германии", которая пристально следила за процессами, происходящими в России, и публиковала ряд материалов, переведенных из русской эмигрантской прессы. Здесь он также организовал Бад-Рейхенгалльский Конгресс эмигрантов, который в июне 1921 года собрал многих монархистов. В своих речах они подвергли острейшей критике большевиков как "банду чуждых народу преступников и фанатиков", но также и кадетов, поскольку они, примкнув к англичанам и французам, предали Россию. В немецкой прессе этот конгресс был встречен преимущественно с озабоченностью и презрением, которые часто проявляют по отношению к побежденным, не желающим признать своего поражения, и даже "*Нойе Цурхер Цайтунг*" заговорила о "правых большевиках", которые, благодаря толерантности правительства Кара, собрались на баварском курорте, в то время как "*Форвертс*" наблюдала возникновение "нового Кобленца" из реакционеров.²³ Но несомненно, что для этих людей сообщения, рассматриваемые многими современниками как сильное преувеличение, приблизительно следующего содержания: власть большевиков стоила жизни не менее чем 35 миллионам жертв, включая умерших от голода, — эти сообщения звучали достаточно убедительно. Столь же достоверной представлялось им информация, опубликованная несколькими месяцами раньше в "*Берлингске Тиденде*", а затем появившееся также на страницах "*Фелькишер Беобахтер*": китайская ЧК осуществляет теперь самое ужасное из всех мыслимых зверств: она помещает крысу в трубу или клетку на тело приговоренного и, поджигая зверька, вынуждает его искать спасения, прогрызая себе путь в теле приговоренного.²⁴

Но в принципе и Уинстон Черчилль, и Томас Манн, вероятно, относились с доверием к таким сообщениям. Однако просматривается качест-

венно новое понимание, если заглянуть в брошюру другого балтийца, который также относился к окружению Дитриха Эккарта: “Чума в России” Альфреда Розенберга. Ее сердцевину составляет сопоставление двух фактов, которые неоспоримы, как таковые, но, во всяком случае, требуют коррекции в деталях: факт упадка “русской национальной интеллигенции”, а также буржуазии, с одной стороны, и высокий процент “иудеев”, т.е. людей еврейского происхождения, на руководящих партийных и правительственных постах [в Советской России], с другой стороны. Это Розенберг расценивает как планомерное уничтожение всякой культуры и всякой свободы “враждебными народу” элементами и в особенности еврейством. В отличие от латышей, китайцев и кавказцев, евреи приняли именно как “красный Интернационал” один лишь принцип собственного “золотого Интернационала”, капитализма, цель которого – создать “централизованное и организованное государство рабов”. Стоит, однако, углубиться в историю. В чем-то ЧК опирается на царскую охранку, но последней не было свойственно “столь хладнокровно проявлять, столь планомерно организовывать и бездушно-систематически осуществлять” свою жестокость, поскольку она все-таки хотела сохранить “европейский характер” в глазах общественности. Но евреи из ЧК снова подняли знамя магометанства и монгольских орд и продемонстрировали не что иное как “движение западно-азиатского духа против Европы. В результате этого выпада Германия вновь оказалась в центре международных событий, потому что чума, разорившая Россию, грозит теперь уничтожением Германии, если немцы во всеоружии нового и вместе с тем древнегерманского мировоззрения не окажут “ненародному интернационализму” своевременного отпора и не сумеют обуздать “крайне враждебный всем нам азиатско-сирийский дух”, оградив Германию от губительного влияния “керенщины” и содействуя “возмездию еврейским террористам за их гнусные деяния”.²⁵

Ничто не прозвучит менее обоснованно, чем утверждение, что антибольшевизм Эккарта, Шойбнера-Рихтера и Розенберга был чужд, странным и непонятен их современникам. Но вместе с тем он демонстрирует такие специфические черты, которые не позволяют сравнивать их высказывания с, казалось бы, созвучными им высказываниями Томаса Манна, Черчилля или Каутского без оговорок. Особенность заключается, прежде всего, в историко-теоретическом значении толкования, которое можно отнести на счет антисемитизма, так что должна возникнуть историческая мифология, которая станет, возможно, отражением марксистской исторической теории и, пожалуй, слишком легко может противопоставить себя всему тому, что действительно является характерным для истории Европы: христианству и Ренессансу, эпохе Просвещения и немецкому идеализму, капитализму и социализму. Но когда эта уже весьма отдаленная от своей эмпирической основы теория была использована как источник аги-

таторского и пропагандистского мировоззрения, она опять приобрела новое качество. Именно здесь следует искать типологическое место Адольфа Гитлера.

Никого Афольф Гитлер не почитал так, как Дитриха Эккарта, лишь Шойбнера-Рихтера после его смерти в своем выступлении в Фельдхерн-халле он с большой силой выразительности назвал “невосполнимой утратой”, только с Альфредом Розенбергом, как руководителем “Фелькишер Беобахтер” в течение всей своей жизни поддерживал продолжительные отношения, даже тогда, когда он довольно долго откладывал его назначение на важный государственный пост. Тем не менее не подлежит сомнению то, что антисемитизм Гитлера старше, чем его знакомство с этими людьми. В некоторых изложениях он выглядит как реликт антисемитизма по Люгеру и антигабсбургской тоски по Великой Германии Шонерерса; Вальтер Лакёр даже утверждал, что в послевоенные годы у Гитлера антибольшевизм еще совсем не имел места, и столь же мало внимания он уделил влиянию России.²⁶

В действительности, первое имеющее доказательное значение письмо Гитлера, написанное его собственной рукой некоему Гемлиху, которое он, по желанию своего вышестоящего начальника, писал еще как *инструктор* рейхсвера 16 сентября 1919 года, то есть до его членства в партии, было пронизано почти только бытовым антисемитизмом: по его словам, еврейство, прежде всего, отличает “танец вокруг золотого тельца”, и как основная сила власти золота оно представляет собой “расовый туберкулез народов”, который может победить только “правительство национальной силы”, если его конечная цель будет “неизменно” состоять в удалении евреев вообще. Только в конце письма, в придаточном предложении содержится замечание, что евреи, “конечно, также были движущей силой революции”.²⁷

Кроме того, бесспорно, что в своих речах, относящихся к 1919-1921 годам, с которыми Гитлер выступал перед еще не имеющей влияния “Рабочей партией Германии” или НСНРП, на передний план количественно выступали диктат Версаля и такие лозунги, как “Только Германия”.

Но вопрос состоит в том, в какой области проявится побудительный импульс. И здесь многое говорит в пользу того, что таким импульсом стало снова и снова всплывающее “Уничтожение интеллигенции” или “Массовое убийство интеллигенции”, и что ни одно предупреждение не было столь назойливым, как то, что в Германии не должно сложиться положения, какое было в последние годы в России с ее “300 000 казней”; “кровавая расправа над людьми умственного труда” в “русском море” повторится в Германии, если путем национальной “антидиктатуры” не будет найден выход из ситуации “бездушного расчленения нации на два смертельно противоборствующих класса”. Почти всегда следом идут по-

яснения и комментарии: что речь идет о “кровавой еврейской диктатуре”, что еврей – это “пиявка” и “убийца”.²⁸

Но от случая к случаю все же слышится другой тон. Так, в одном из сообщений по поводу произнесенной в мае 1921 года речи читаем: “Со словами величайшей степени важности Гитлер обратился к братьям ремесленникам: “Бросьте свои предрассудки против других сословий вашего народа, здравствует не буржуазия, которую вам показывают на киноэкране при шампанском и праздниках, здравствует не офицер, которого вам рисуют в ваших еврейских газетах, это не студент пытается поработить вас, посмотрите правде в глаза <...> так выглядят здоровые элементы “буржуазии”. А вы, другие, ищите космополита не в рабочем парне <...> это не немецкий рабочий крадет и грабит, освободите его от его совратителей. В тяжелую годину бьет час рождения нового немецкого народа”.²⁹

Здесь антисемитизм почти не ощущается. Гитлер предстает здесь и в других местах как поборник *классового примирения* в интересах национального державного государства или государства всеобщего благоденствия и делает это именно с позиций *национальной интеллигенции*, к которой он себя явно причисляет. Поворот против марксистского учения о классовой борьбе – это решающий пункт, а учет *уничтожения интеллигенции* большевизмом – самый побудительный. Вполне возможно, что такой антимарксизм соответствовал развитию истории, так или иначе, таким было развитие во всех западных государствах. Разумеется, в этой сердцевине есть также нечто, возбуждающее страсти. Например, это ясно распознается в номере “Фелькишер Беобахтер” от 10.4.1920, где в статье под заголовком “Свободная как птица буржуазия” говорится: “Пусть большевики предпринимают с “буржуа”, что им угодно, господин рейхсканцлер (Мюллер) не ударит для них палец о палец <...> Не имеет никакого смысла пытаться каким-то образом скрыть или приукрасить горькие факты. Буржуазия уже однажды попала под колеса и будет день ото дня раздавливаться все сильнее, если не предпримет усилий, чтобы вырваться из своей бездеятельности”. В качестве еще более однозначного примера из более позднего периода времени может служить призыв партийного руководства НСНРП вскоре вслед за убийством Ратенау: “Вам нужны тысячи немецких трупов на уличных фонарях каждого города? Или вы намерены ждать пока, как в России, в каждом городе не начнет функционировать большевистская комиссия смерти, и каждый, кто не с диктатурой, будет отправлен к праотцам как “контрреволюционер”? Или вы хотите спотыкаться о трупы ваших жен и детей, которые так же, как в Москве и Петербурге, подлежат устранению как “репродукты буржуазии”? Нет, воскликнете вы. И тем не менее мы говорим вам: все это произойдет с той же планомерностью, как в России, если вы не вспомните, что теперь нужно бороться, если хочешь жить”.³⁰

В этом призыве опущено одно слово. Без этого слова эти фразы так же, как и предыдущие, означали бы требование перехода к решительной самообороне, что в ходе гражданской войны естественно и вполне оправдано, раз уж эта гражданская война действительно началась или еще только грозит разразиться. Это – рациональное зерно, однако при условии, которое фактически отсутствовало в Германии и, тем более, в других западных странах, и только посредством русского примера доказало свою достоверность. Но слово *еврейская* перед словом *диктатура* уже представляет собой интерпретацию, которая, так сказать, обволакивает смысловую сердцевину последнего.

Казалось, партия антидиктатуры, анти-гражданской-войны не могла только из угрозы для немцев и даже из реальности русского примера извлечь реальную контр-веру, превосходящий контр-пафос, которые могли бы конкурировать с верой и пафосом противника. Совершенно особым образом это относилось к Адольфу Гитлеру. Им в чрезвычайной степени двигала потребность найти основную причину, побудительный мотив, виновника, и этого виновника он обнаружил в *еврее*. Тем самым им был сделан следующий шаг на пути той конкретизации, где ему предшествовали коммунисты, заменившие исторически отжившую систему абсолютного суверенных государств также и морально виновными *буржуа*. И этот шаг был сделан Гитлером не умышленно, а по чистейшей случайности. Аналогичным образом, только в противоположном направлении Карл Маркс совершил переход от *евреев*, которые многими первыми социалистами считались причиной власти “золотого тельца”, к *капиталистам* и, наконец, к *капиталистической системе*, и в связи с этим преобразовал старую концепцию уничтожения³¹ в представление только об устранении со своего пути ставшей препятствием группы *магнатов капитала*. Так и Гитлер некоторым образом вернулся к первым социалистам и тем самым получил возможность противопоставить универсальному учению Маркса не одни лишь только что приведенные серьезные и, возможно, справедливые доводы, но и страстное и вызывающее страсть сопереживание учение о бедственном положении современного мира и об его причинах, уходящих своими корнями в глубины истории. Но из такого антисемитизма неизбежно вытекало отождествление капитализма с большевизмом или либерализма с социализмом, понимаемым равным образом как международные явления, а далее, в соответствии с заданной тенденцией, – отторжение буржуазии, порождением которой он (антисемитизм) являлся. Однако вследствие этого обыкновенный национализм, другая отправная точка, оказался перед лицом столь многочисленных и сильных противников, что был вынужден искать для себя более серьезный фундамент, такой, как *германская раса*. Так буржуазия и национализм до известной степени обратились против самих себя и приняли вид антибуржуазной и

антинациональной доктрины, которая могла теперь оперировать на столь же широком поприсе, что и марксизм.

Непосредственный и наиболее побудительный опыт Гитлера, усиленный, но не порожденный его окружением в лице Эккарта, Шебнер-Рихтера и Розенберга, был, таким образом, с большой долей вероятности, опытом большевизма или коммунизма, который, в понимании Гитлера, посредством своей агитации привел Германию к поражению, который посредством своего учения о непреодолимом противоречии между *буржуазией и пролетариатом* расколол нацию и который, сообразно с русским примером, угрожал буржуазии или национальной интеллигенции уничтожением. Расширение это опыта до антимарксизма напрашивалось само собой, несмотря на социал-демократическую враждебность по отношению к коммунистам, и оно было проделано также Муссолини и итальянским фашизмом. Антисемитизм, напротив, был интерпретацией, ключом, который, правда, с одной стороны, как раз превосходил и образно представлял истинное своеобразие противника, а именно разницу между преимущественно интеллектуальной верхушкой и массами. Антисемитизм, однако, прежде всего позволял совершенствовать универсальную контр-идеологию и делал возможным нагнетание фанатичного контрпафоса, который всегда был чужд Муссолини. Объединяя в себе антибольшевизм и антимарксизм, национал-социализм относится к типу фашистских движений: в качестве учения о евреях как универсальных виновниках он представляет собой наиболее радикальную форму явлений этого типа, т.е. это – радикал-фашизм. Все его основные черты уже ощутимы в первых выступлениях Гитлера в 1920 и 1921 гг.

На это можно возразить, что Гитлер еще в предвоенные годы в Вене был антисемитом, и что его антисемитизм, таким образом, старше по происхождению, чем так называемая сердцевина антисемитизма, антибольшевизм. Но из более позднего изложения Гитлера в “Майн Кампф” со всей ясностью следует, что и здесь основанием опыта послужило большое и наглядное социальное событие, а именно: мощные демонстрации рабочих-социалистов.³² Но и привлечение к рассмотрению антибольшевизма современников доказывает существование хотя бы одного логического отличия между пугающим опытом и идеологически-созидательным ключом.

Несомненно, правильным было бы возражение, что Гитлер и в молодые годы никак не был *только* антисемитским антибольшевиком или антимарксистом, но что его мотивы были многосторонними и связывали его с современниками в совершенно различной мере.

Мотив борьбы с Версалем он разделял вполне со всеми немцами, сверх того, со всеми *ревизионистами* Европы, не в последнюю очередь с Советской Россией, где Ленин не менее убедительно, чем Гитлер подчеркивал, что Версаль значительно тяжелее, чем Брест-Литовск.³³

Столь же явственным, но уже далеко не всеми немцами разделяемым, был великогерманский мотив, который у Гитлера часто включает в себя отсылку к праву на самоопределение.

Впервые в виде намека в 1919 и 1920 гг. обозначился мотив *жизненного пространства*, связанный с дарвинистско-радикал-либеральными представлениями о естественном праве: несправедливо, что на одного русского приходится в 18 раз больше пространства, чем на одного немца.³⁴ По-видимому, очень немногие из соотечественников Гитлера согласились бы с уравниванием пахотной земли и тундры, на котором базируется его аргументация, но тем не менее здесь также взят за основу подлинный опыт, опыт английской блокады и немецкого владычества в России между Брест-Литовском и военной катастрофой.

Антибольшевистский мотив был самым европейским среди мотивов Гитлера; он разделял его почти со всеми буржуазными европейцами и американцами, и при этом термин "буржуазный" следует понимать в широком смысле, включая также социал-демократов или правых социалистов. Но этот мотив у него был с особой остротой направлен против большевикфильства, которое также представляло собой буржуазный, хотя и периферийный феномен. Прежде всего вследствие его расширения до антимарксизма и даже антилиберализма он так сильно обострился и усилился, что был весьма далек от универсальности.

Чрезвычайная конкретизация произошла благодаря антисемитскому мотиву, позволившему осуществить синтез: в еврейях следовало видеть причину поражения и прежде всего внутренней разобщенности Германии, которая служила препятствием тому, чтобы естественное отношение немецкого господства в Европе было реализовано на практике и были обеспечены гарантии против равным образом порожденных еврейями большевизма и американизма. Также и с этим мотивом Гитлер не был изолированным ни в Германии, ни в Европе, ибо мощные традиции и правых, и левых указывали в этом направлении. Но в совокупности этих мотивов, в их внутренней субординированности и прежде всего в разнузданной страсти, которую они породили и которая была их носителем, тем не менее они были чем-то отдельным. Если сказать, что Гитлер был в большей степени немецким и даже европейским бюргером, нежели буржуазным немцем, то будет сказано нечто верное, и опять таки сказавший это станет на ложный путь, ибо здесь будет предпринято отождествление с многими другими людьми. В той внутренней необходимости, с которой Гитлер стремился противопоставить своему главному коммунистическому противнику контр-веру, он был в своих подходах столь же анти-буржуазным, сколь и анти-немецким: не признавая этого в открытую, он свой ненавидимый кошмар неким образом сделал своим примером.

Но уже для первых двух мотивов справедливо то, что в своей радикальной форме, которую придавала им страстная натура Гитлера, могли

утвердиться только благодаря “революционному тотализму”.³⁵ А если взять их все вместе, то нельзя сомневаться в том, что в них содержится нечто вроде приятия войны, которое в 1914 году было чуждо, даже незнакомо германскому кайзеру и русскому царю, и аналогичным которому было только приятие гражданской войны и войны большевиками. Приятие, которое по своему целеполаганию и идеологической подоплеке опять-таки представляло собой точнейший антипод приятию Гитлера.

Таким образом, уже в свои молодые годы Адольф Гитлер, когда его еще едва ли кто-либо знал в Германии и когда он даже в Мюнхене считался лишь барабанщиком и демагогом, занял свое неподменное типологическое место в рамках антибольшевизма, которое было отнюдь не только немецким, но общеевропейским и даже общезападным явлением. Но вплоть до июля 1921 года он был лишь старшиной-вербовщиком захолустной партии, в то время как коммунисты уже три года стояли в центре общественного внимания. Затем он потребовал и получил диктаторские полномочия. В качестве ярчайшего воплощения противоборства и противоположности он мог создать только вождистскую партию, которая противостояла любой другой “организации, руководимой вождями” (как выражался Ленин) как партия одного с ними ранга и которая могла стремиться к их ничтожению. 1923 год был годом величайшего кризиса Германского Рейха и его капиталистической либо буржуазной системы, и это должно было вывести на свет противоположные возможности уничтожения столь же отчетливо, сколь затем оно заключало в себе в конечном счете все еще выживание системы и простой, хронологически ограниченный запрет обоих крайних крыльев своего партийного ландшафта.

5. “Мировая революция” или “национальное правительство” в Германии?

1923-й – год кризиса

Поражение Германского рейха в мировой войне не закончилось просьбой о перемирии и принятием Версальского мира. Оно повторилось еще дважды, поскольку Германия пыталась сопротивляться дальнейшим требованиям и мерам противников: в 1921 году, когда правительство Ференбаха прервало переговоры после того, как была названа первоначальная сумма репараций, казавшаяся немыслимой, а союзники все же добились принятия своего ультиматума с помощью *правительства выполнения Вирта*, и в 1923 году, когда французы и бельгийцы под прозрачным предлогом оккупировали Рур и начали, таким образом, нечто вроде войны в мирное время. Правительство гамбургского промышленника Куно, действовавшее в Берлине, было откровенно буржуазным, хотя дважды страну сильно кренило влево: после августа 1921 из-за убийства Эрцбергера и с 24 июня 1922 из-за покушения на Ратенау. Тем не менее правительство

Куно чувствовало себя достаточно сильным, чтобы призывать к "пассивному сопротивлению", апеллируя к "народному сообществу". На деле это означало санкционированную и оплаченную государством всеобщую забастовку, с которой французы и бельгийцы, почти не получавшие теперь поставок угля, пытались справиться с помощью разнообразных принудительных мер. Коммунисты же призывали побить Пуанкаре на Руре и Куно на Шпрее. Таким образом, они исключали себя, как делал в мировую войну «Союз Спартака», из "народного сообщества", и снова требовали гражданской войны вместо гражданского мира. Уже в апреле и мае они сумели во многих областях, не только в Рурской, встать во главе "требований увеличения заработной платы, забастовок, голодовок, разграблений магазинов, реквизиции продуктов питания городскими рабочими в сельской местности", как рассказывала позже Клара Цеткин участникам V Конгресса Коминтерна в июне-июле 1924 г.¹ Поскольку инфляция – вызванная в первую очередь чрезвычайными государственными расходами, но подстёгиваемая также биржевыми манёврами немецких предпринимателей и спекулянтов – нарастала все более быстрыми темпами, и к тому же стали проявляться сепаратистские тенденции, коммунисты решили, что налицо революционная ситуация, и начали очень энергично готовиться к гражданской войне. Об этом тоже вполне открыто говорилось на V Конгрессе: "Мы организовывали боевые кадры, мы устраивали школы, где наши товарищи, имеющие способности к военному делу, приобретали квалификацию красных офицеров, мы создавали партизанские группы, специальные комиссии для железнодорожников, мы впервые приступили к организации службы новостей <...>, задачей которой была контрразведка, разоблачение шпигов и проч."² Действительно, по поручению Коминтерна был создан т. н. М- (военный) и Н- (новостной) аппарат, а также специальная военно-политическая (МП) организация в качестве отдела кадров для Красной армии.

Рейхслейтером МП стал советский генерал, и Германия была поделена на 6 МП-округов, во главе которых наряду с немецкими ответственными стояли в качестве советников также советские генералы. Одновременно был создан и террористический аппарат (Т-группа), задачей которого было устранять шпигов и организовывать отдельные покушения для подготовки массового террора.³

Конечно, не одни коммунисты действовали насильственными методами или готовились к вооруженным столкновениям. Диверсионные отряды бывших бойцов добровольческого корпуса перешли в Рурской области к активному сопротивлению, а в Баварии к гражданской войне готовились многочисленные *национальные союзы*, в том числе и штурмовые отряды национал-социалистской партии. В мае французы приговорили к смертной казни одного из тех, кто готовил подрывы мостов – бывшего борца за Балтию Альберта Лео Шлагетера; он был расстрелян под Дюссельдорф.

фом, несмотря на резкие протесты немцев. Ввиду несомненной силы правых коммунисты дополнили свои подготовительные мероприятия новым политическим курсом, так называемой "шлагетеровской линией". 20 июня 1923 г. Карл Радек произнес в Москве свою знаменитую речь "Лео Шлагетер, путешественник в ничто", в которой пытался убедить правых сторонников активного сопротивления в том, что они должны стать на сторону борющихся рабочих, если в самом деле хотят по образцу Гнайзенау и Шарнгорста возглавить национально-освободительное движение. Только когда дело народа станет делом нации, говорил Радек, дело нации сможет стать делом народа, потому что только тогда возможно возникновение той *железной фаланги* работников умственного труда и работников ручного труда, которая принадлежит к лагерю труда, а не к лагерю капитала.⁴ Коммунисты и представители правых националистов дискутировали после этого целое лето, и Радек выдвигал в ходе этой дискуссии примечательные тезисы вроде следующего: "<...> Если немецкий рабочий класс не сможет внушить массам мелкой буржуазии эту веру <в то, что единственным выходом является совместная борьба с нуждой>, он будет разбит, или, по крайней мере, его победа отодвинется в далекое будущее".⁵ В качестве правильного метода Радек называл "рабочее правительство", которое должно включать, кроме коммунистов, также левых социалистов и прежде всего завоевать симпатии той самой мелкой буржуазии, поскольку будет "готовиться к отважной борьбе, при необходимости и с оружием в руках, против версальских наместников".⁶ Радек выказал определенное уважение даже к фашистам в собственном смысле, сторонникам Гитлера и Людендорфа: по его словам, в то время как коммунисты, постоянно организуя бесчисленные собрания, близки к тому, чтобы привлечь на свою сторону большинство самых активных немецких рабочих, у социал-демократов царит гробовое спокойствие, и активная сила контрреволюции перешла теперь к фашистам.⁷

Время от времени дело доходило в рамках "шлагетеровской линии" даже до настоящих предложений союза. Так, Рут Фишер, главная представительница *левых* в партии якобы сказала, выступая 25 июля 1923 г. перед студентами в актовом зале гимназии Доротеенштадта: "Кто призывает к борьбе против еврейского капитала, тот уже участвует в классовой борьбе, даже если сам не подозревает об этом <...> Так держать! Распните еврейских капиталистов, повесьте их на фонарях, раздавите их! Но, господа, как вы относитесь к крупным капиталистам, к Стиннесу и Клёкнеру?"⁸ Возможно, что корреспондент Франц Пфемферт позволил себе некоторую поэтическую свободу в передаче ее выражений; однако и в 1923 году, и позже подобных высказываний встречается достаточно, чтобы утверждать, что многие коммунисты в моменты ослабленного самоконтроля признавали национал-социалистский антисемитизм в случаях, когда он бывал направлен на евреев из числа буржуазии, заслуживающей

одобрения предварительной и неполной формой настоящего, коммунистического плана уничтожения.⁹

Однако в целом тем не менее не подлежит сомнению, что КПГ стремилась не только нейтрализовать, но и вовсе истребить фашистов в собственном смысле, сторонников Гитлера и Людендорфа, хотя Радек совершенно так же, как Гитлер и Людендорф, считал, что Германия пребывает "в глубочайшем бессилии и унижении" и объявлял "пацифистские фразы в устах представителей угнетенного и раздробленного народа" "трусостью или ложью", против которой должны восставать все здоровые инстинкты народа".¹⁰ Например, коммунистическое партийное руководство потребовало 12 июля, чтобы каждый пятый фашист был поставлен к стенке, поскольку фашисты хотели расстрелять каждого десятого бастующего рабочего¹¹, а уже в апреле "*Роте Фане*" опубликовала длинный доклад бежавшего в Россию коммуниста, из которого ясно следовало, что предстоящая революция понимается не только как внутреннее дело Германии: теми же средствами, говорилось в статье, к которым прибегает сейчас немецкая буржуазия, а именно, с помощью призыва к национальным чувствам пролетариата, пыталась и "русская буржуазия в свой смертный час" отсрочить свою гибель. В беседе с главнокомандующим Западного фронта товарищем Тухачевским корреспондент как представитель ЦК КПГ убедился, что Красная Армия полна энтузиазма прийти на помощь немецкому пролетариату, и что ее при этом ничто не остановит: "Русская армия сметет, как былинку, польскую насыпь, которая будет отделять ее от немецкого пролетариата в его роковой час".¹²

Самого большого успеха Коммунистическая партия добилась, когда организованные ею массовые забастовки и демонстрации вынудили 12 августа 1923 года правительство Куно уйти в отставку. Судя по всему, Густав Штреземан, заступивший с помощью социал-демократов место Куно, рассматривал себя как *последний козырь* в ситуации, которая могла привести в скором времени к революционному перевороту и тем самым к распаду Германского Рейха. Но именно потому, что в правительстве были так сильны социал-демократы, решительные правые из окружения немецких националистов стремились к более энергичному *правительству национальной диктатуры*.

Таким образом, три линии подготовки шли параллельно. Штреземан с 26 сентября положил конец пассивному сопротивлению, которое успело уже совершенно подорвать немецкую валюту; его обещание новой твердой валюты вдохнуло во всех большие надежды. Германские националисты доверяли генералу фон Секту, возлагали надежды на Баварию генерального государственного комиссара фон Кара или строили планы *Национальной Директории*. Генрих Брандлер отправился в Москву и вел долгие переговоры с советскими руководителями, которые тоже были

исполнены энтузиазма по поводу предстоящей немецкой революции. Так надвигался *немецкий Октябрь*.

В "*Роте Фане*" стали появляться зажигательные письма Троцкого, Зиновьева, Бухарина и Сталина. Письмо Сталина, появившееся в августе, было адресовано Тальгеймеру; оно гласило: "Грядущая революция в Германии — важнейшее событие наших дней. Победа революции в Германии будет иметь большее значение для пролетариата Европы и Америки, чем победа русской революции 6 лет назад. Победа немецкого пролетариата, без сомнения, перенесет центр мировой революции из Москвы в Берлин <...>"¹³. Зиновьев опубликовал в "*Инпрекоре*" длинную серию статей о "Проблемах немецкой революции"; в них прямо-таки трогательно выражено облегчение заброшенного в "недоразвитые отношения" марксиста, который видит, наконец, приближение "классической пролетарской революции"; и тут у него вырывается фраза, казавшаяся, возможно, великодушной в русской перспективе, но показывающая яснее ясного, как мало стоило доверять радековскому заигрыванию с мелкобуржуазными или националистически настроенными массам: именно потому, что в Германии пролетариат составляет большинство, говорит Зиновьев, немецкий пролетариат не будет, "по крайней мере на первых порах", грубо игнорировать жизненные интересы городской мелкой буржуазии.¹⁴

В начале октября коммунисты вошли в *рабочие правительства* Саксонии и Тюрингии, где уже довольно давно стали создаваться *пролетарские советы*. Руководитель партии Генрих Брандлер, возглавивший теперь государственную канцелярию в Дрездене, был озабочен отныне, согласно его собственным позднейшим утверждениям, почти исключительно добычей оружия.¹⁵ На конференции производственных советов в Хемнице было предложено призвать 21 октября к всеобщей забастовке и тем самым начать борьбу за власть. Но, хотя оборонительные лозунги защиты от "баварских фашистов" были очень популярны, союзничавшие с коммунистами левые социалисты, а по сути дела, и *массы*, не хотели начинать гражданскую войну наступательного характера, к которой определенно стремилось как советское, так и немецкое партийное руководство.

✓ Только в Гамбурге, из-за ошибки в передаче информации, началось восстание, с которым сумела справиться, правда, с трудом и большими потерями, местная полиция. Штреземан действовал быстро и очень решительно. Он ввел войска рейхсвера в Саксонию и Тюрингию, и поставил рейхс-комиссара вместо саксонского правительства левого социал-демократа д-ра Цайгнера. Во Фрейберге 23 человека погибло при стычке войск с невооруженной, отчасти вооружившейся подручными предметами толпой, осыпавшей солдат ругательствами и пытавшейся перейти в наступление. Заслуживающего упоминания активного сопротивления оказано, однако, не было. Важным следствием этих событий стало то, что из правительства Штреземана вышли теперь социал-демократы, оскорбленные тем, что

Штреземан не столь энергично выступил против баварских реакционеров и национал-социалистов, как против саксонских коммунистов и левых социал-демократов. Но запланированная *национальная революция* в Баварии провалилась так же, как *немецкий Октябрь*. Обе революционные попытки были взаимосвязаны, и обе носили как наступательный, так и оборонительный характер. Кто сосредотачивается только на одной из них, видит лишь половину самых кризисных лет немецкого национального государства.

Конечно, велико искушение рассматривать гитлеровский путч вместе с его предысторией как чисто баварское событие и в этих рамках даже как род зловещей потехи. Английское обозначение "beer hall putsch" неизбежно подталкивает к этому. И, конечно, невозможно подробно изложить ход событий, не упомянув названия и местоположение нескольких пивных: Лёвенброй у Главного вокзала, Хофбройхаус возле ратуши, Бюргербройкеллер по ту сторону Изара между Немецким музеем и Максимилианеумом. Здесь в компаниях завсегдатаев и на больших сборищах и в самом деле делалась значительная часть баварской политики, ее, так сказать, общедоступная оболочка с ярким местным колоритом. На самом же деле баварская политика была всегда в то же время немецкой и европейской политикой, в том числе и в ее монархических и сепаратистских устремлениях, направленных, в общем и целом, на Дунайский союз и тому подобное. В промежутке между концом Советского правительства и гитлеровским путчем активно действовало множество *отечественных союзов* самого разного характера: Орден германцев, Общество Туле, Баварский союз, Союз Бавария и Рейх, Немецкий народный союз защиты и отпора, Союз горцев, Знамя Рейха, Организация Эшерих и др. НСНРП была лишь небольшой частью этого движения, но, как самая активная и воинствующая, она, начиная с 1922 года, постепенно продвигалась к некоторому, хотя далеко не однозначному, превосходству. Однако ей вряд ли симпатизировало больше половины населения Баварии, даже если присчитать сюда правящую Баварскую Народную партию, поскольку марксизм и после мая 1919 года оставался значительной силой, да и коммунисты никуда не делись. Еще 1 мая 1923 года они смогли развернуть, шагая в рядах демонстрации профсоюзов, советское знамя, звезды которого Адольф Гитлер считал "еврейскими звездами". К этому времени они давно уже не мешали массовым собраниям НСНРП, но еще весной 1922 года случались оживленные дискуссии, а также обращения Адольфа Гитлера к какому-нибудь "товарищу из КПГ" с целью его просветить.¹⁶

"Общее министерство" Республики Бавария было тем самым втянуто в борьбу на два фронта: против наступлений имперского правительства на независимость Баварского государства, против *марксизма*, который неизменно рассматривался как большая опасность, и, наконец, против националистских боевых союзов, к которым относилась и НСНРП. С импер-

ским правительством всегда можно было договориться: в 1921 году БНП заменила премьер-министра фон Кара графом Лерхенфельдом, поскольку первый занял слишком резкую антиимперскую позицию, а в 1922 году Лерхенфельда заменили на Книллинга, поскольку поворот к имперскому конформизму зашел слишком далеко. Между социал-демократами и коммунистами больших различий не наблюдалось, так что Фриц Шефер, политик из БНП, мог сказать, что НСНРП мы не любим, но совершенно солидарны с ней в противостоянии марксизму. Большой опасностью считался в правительстве генерал-квартирмейстер мировой войны Людендорф, потому что он, казалось, пользовался авторитетом у всех военных союзов; действительно хорошие отношения были у правительства только с подчеркнуто федералистскими объединениями, как, например, "Союз Бавария и Рейх" медицинского советника Питтингера.

Фактически все события 1923 года происходили в тесной связи с событиями в Рейхе.

Гитлер занял крайнюю позицию по отношению к оккупации Рура, и позиция эта находилась в отношении строгой дополнительности к коммунистическому требованию гражданской войны: сперва нужно вообще расчитаться с "ноябрьскими преступниками", "негодьями в собственной стране", а уж потом можно с надеждой на успех вести оборонительную войну против Франции.

1 мая 1923 года дело едва не дошло до тяжелых столкновений между патриотическими союзами, войсками рейхсвера и профсоюзной демонстрацией, что сильно повредило престижу Гитлера.

1 и 2 сентября в Нюрнберге был с большой пышностью отпразднован "Германский день". После этого был создан "боевой союз" нескольких военизированных объединений, среди которых было и СА НСНРП; это формирование, первоначально бывшее охраной собраний и "отделением гимнастики и спорта", все больше превращалось в военизированное объединение. Подполковник Крибель стал военным руководителем, а политическое руководство взял на себя Адольф Гитлер. Таким образом, две *гражданские* партии одновременно создали *военные* подразделения – коммунисты и национал-социалисты.

26 сентября фон Кар был назначен "генеральным государственным комиссаром", то есть диктатором наряду с по-прежнему действующим правительством в рамках чрезвычайного положения в мирное время. Сразу за этим последовало соответствующее чрезвычайное положение в Рейхе, и между Берлином и Мюнхеном создались очень напряженные отношения. Суть дела состояла в том, что сосуществовали одновременно несколько концепций *национального правительства*. Следовало ли ограничиться в этой крайне сложной ситуации преобразованиями в правительстве Штреземана, или заменить Штреземана "национальной директорией", или же из Баварии начать "наступление на Берлин" под командованием

фон Кара и командира Баварского дивизиона рейхсвера фон Лоссова? Какой оказалась бы в третьем случае позиция Гитлера и Людендорфа, без поддержки которых предприятие не могло рассчитывать на успех?

Гитлер был убежден, что он один находится на высоте положения; он уже не ощущал себя лишь "барабанщиком". В его речах по-прежнему прослеживаются две разные составляющие: рационально воспринятый опыт и выходящая за его пределы интерпретация, применяемая в качестве *ключа*. Так, в конце октября 1922 года он сказал, что не менее 40% народа стоит на марксистских позициях, причем это самые активные и энергичные его элементы. Тем самым он утверждал, по сути, то же, что и Радек: коммунисты уже привлекли на свою сторону активное большинство рабочих. Тот же смысл имело высказывание в начале сентября 1923 года: воля направляемых из Москвы коммунистов тверже, чем у обрюзгших мещан вроде Штреземана. Утверждение, что для марксистов есть, как показывает пример России, только две стороны – победители и уничтоженные, тоже соответствовало тому, что говорили коммунисты. Приходится допустить, что Гитлер был действительно убежден, будто в Берлине заправляет правительство Керенского, а в центральной Германии уже существует *Советская Саксония*. При этом он постоянно настаивал на том, что в возникновении этой поистине отчаянной ситуации виноваты евреи.

Поучительна статья Макса Шойбнер-Рихтера, которую газета *Фелькишер Беобахтер* опубликовала 21 сентября в четыре колонки на первой странице под заголовком "Большевизация Германии". В начале Шойбнер-Рихтер выражает глубокую горечь по поводу слепоты значительнейших мужей Германии, которые не желают замечать, "как угрожающе и систематично проводится Москвой большевизация Германии через уполномоченного Москвы г-на Радека". Эта опасность стала ему ясна с тех пор, как он заметил в последний год войны, сколь опасное влияние на собственных солдат неизбежно оказывала немецкая пропаганда, направленная на разложение русской армии. Его настоятельный совет ввести в игру дружественное русское национальное правительство был оставлен без внимания, пишет он. С той поры внутренний враг распространяет свою отраву практически беспрепятственно, и всю тяжесть вины в этом несут на себе деловые круги. Сегодня поэтому, возможно, уже недалек день, "когда на дворце президента Германии вместо черно-красно-золотого штандарта г-на Эберта будет висеть кроваво-красное знамя г-на Радека". Но в роковой час "народной Германии" явился новый пророк, а именно Адольф Гитлер, поэтому заключительные слова звучат несмотря ни на что обнадеживающе: "И борьба пойдет до конца под лозунгом "советская звезда – или свастика". И свастика победит!"

Почти тогда же, 26 сентября, в "*Инпрекоре*" можно было прочесть: "Советская звезда получает всё более решительный перевес над свастикой".

На решительные меры Штреземана в Саксонии и Тюрингии Гитлер просто не обратил внимания: для него, как и для коммунистов, существовала лишь дихотомия.

Его путч вечером 8 ноября должен рассматриваться как попытка передать руководство борьбой из неспособных рук Кара, Лоссова и Зайсера в руки *пророка*, т.е. в его собственные. Курьезные обстоятельства и недостаточная подготовленность этого путча не должны вести к заключению, что он был с самого начала обречен на неудачу и представлял собой событие местного значения. По всей Германии немало людей и объединений были готовы присоединиться к *походу на Берлин*, и нельзя сказать с уверенностью, стали бы на этот раз "войска рейхсвера стрелять в войска рейхсвера", если бы баварская дивизия тронулась на Север. Несомненно, налицо примечательные аналогии с большевистским переворотом в Петрограде, хотя в Мюнхене главным мотивом было не страстное стремление к миру, а национальное и социальное самоутверждение. Даже опасениям Гитлера, подтвержденным многими свидетелями, что его люди могут "радикализироваться влево" и перейти в стан коммунистов, было соответствие в Петрограде, поскольку Ленин тогда явно опасался, что страну захлестнет волна анархизма и сепаратизма, справиться с которой будет уже невозможно. Неудача вовсе не была предreshена; ее непосредственной причиной было легкомысленное доверие Людендорфа к данному Лоссовым честному слову офицера, что он ничего не намерен предпринимать против "нового правительства". Но если бы Гитлеру, личности куда более популярной, действительно удалось утвердиться в Берлине вместе с главнокомандующим армией Людендорфом, то, несомненно, вмешались бы западные союзники, а немецкий Рейх не располагал русскими просторами, чтобы успешно защищаться против хорошо вооруженной интервенции. Альтернатива *советская звезда или свастика* оказалась ложной, но результат этой не разрешившейся борьбы оказался, образно выражаясь, много ближе к Мюнхену, чем к Дрездену или Москве: вечером 8 ноября в Берлине на основании известий о гитлеровском путче была реализована одна из версий вышеупомянутых *национальных* планов, а именно передача исполнительной власти в руки командующего армией. За 4 месяца диктатуры фон Секта была введена новая денежная единица — рентная марка, побежден сепаратизм, а по отношению к Франции достигнуто нечто вроде освобождающей капитуляции: Веймарская республика вступила на путь стабилизации.

6. Советский Союз от смерти Ленина до утверждения единоличного господства Сталина.

Стабилизация Веймарской республики означала сохранение и дальнейшее развитие общественной системы, которая, при всех различиях в деталях, была общей для германского Рейха и стран Запада, причем немцы внесли важный вклад в ее возникновение и развитие.¹ Популярное обозначение "капитализм" отражает лишь одну часть, или один аспект этой системы, а именно мировой рыночный характер ее экономики. Напротив, Россия пошла с ноября 1917 года по пути, который был с самого начала отличен от этой системы, притом так сильно, что в истории Европы не находится никакой убедительной аналогии. Поскольку развитие России представляет, таким образом, новое, уместно дать его обзор, прежде чем переходить к дальнейшей истории Германии.

Что большевистская Россия 1923 года представляла собой доселе невиданный феномен, легко объяснялось, исходя из учения её правящей партии: она демонстрировала Европе ее собственное будущее в еще не до конца оформленном виде; она была побуждающим примером, благодаря которому Европа придет к своему подлинному будущему – бесклассовому обществу, окончательно отбросив прошлое и тем самым помогая и России в полном построении коммунистического общества. Но Ленин в последние годы своей жизни все ближе подходил к прямо противоположной концепции: то, что он создал, казалось ему открытием особого пути России к современности, существенно отличного от основного пути, по которому пошла Европа; ведь здесь другими были предпосылки – прежде всего, отсталость страны и нецивилизованность ее населения. Поэтому европейская многопартийная система, всеобщее избирательное право и национальный парламент были не в состоянии решить актуальные задачи, поэтому Ленин так непринужденно сопоставлял себя и свою партию с царем и его знатью², поэтому же он ориентировался на немецкую военную экономику и поэтому не мог больше видеть в Марксе советчика и помощника. Однако он не пришел к напрашивающемуся выводу, что Россия стала благодаря ему и его партии развивающейся страной с диктаторским режимом и что ей придется другими путями следовать за Европой, чтобы в отдаленном будущем снова помириться и объединиться с Европой на новой основе. Он предпочел придерживаться отрицательной части Марковского учения, критики "старой Европы" и убеждения в предстоящей "гибели мировой буржуазии", но русская революция была теперь побуждающим примером не для классически марксистской революции в Европе, а для переворотов нового рода в колониальных и полуколониальных областях мира, которые восстали против "империалистического грабежа и угнетения большей части населения земного шара".³ Таким образом, Ленин не отказался от понятия мировой революции, хотя он ясно видел

особый путь России, и хотя враждебность к буржуазии превратилась теперь в противостояние старой или буржуазной Европе, включая ее рабочую аристократию.

Никто не знает, какой совет дал бы Ленин своим ученикам и последователям, если бы он осенью 1923 года не был уже смертельно болен. Несомненно только, что надежда на возвращение к исходной концепции благодаря победе революции в Германии была последним чувством, в котором совпали Троцкий и Сталин, Зиновьев и Бухарин. Сразу после немецкого Октября открыто разгорелся спор о том, кто станет преемником Ленина, и он велся поначалу как спор о русском Октябре, который в свете уроков немецких событий сам снова стал спорным.

Троцкий, с одной стороны, Зиновьев и Сталин, с другой, приняли сторону одной из двух группировок в КППГ, Троцкий, как и Радек, сперва выступал за Брандлера, Зиновьев за Рут Фишер и левых, а затем Троцкий осенью 1924 года в своих «Уроках Октября» повел наступление на тройку Зиновьев-Сталин-Каменев, воспользовавшуюся болезнью Троцкого, чтобы взять в свои руки бразды правления. Троцкий представлял себя в этих статьях лучшим учеником Ленина, в некоторых отношениях даже его учителем, и вновь разбередил старые раны, разоблачая не ленинское поведение Сталина в первые недели после Февральской революции, а также сопротивление Зиновьева и Каменева в октябре ленинской воле к вооруженному восстанию. Тройка, в союзе с такими людьми, как Бухарин, Бела Кун и Отто Куусинен повела в ответ энергичную атаку не просто на Троцкого, а на "троцкизм", который всегда отличался, по их мнению, от ленинизма и который теперь нужно рассматривать даже как "враждебную систему".⁴

Эта междоусобная борьба высшего партийного руководства приняла в основном форму спора об истории партии и об учении партии, причем подробности бывали порой странного свойства: Троцкий якобы отрицал роль крестьянства, его метод был эклектическим, а не диалектическим, его настоящим учителем и ориентиром был Парвус. Как в отношении Брестского мира, так и в отношении НЭПа он занял неверную позицию, которая сделала бы невозможной передышку и привела бы к поражению. Он отрицает роль партии как носительницы пролетарского сознания, он предпринимает "возмутительную попытку воспользоваться поражением немецкого Октября, чтобы поставить председателя Коминтерна к позорному столбу".⁵ Троцкий, со своей стороны, критиковал бюрократию, господство аппарата, недостаток внутривнутрипартийной демократии, и у него было, несомненно, много сторонников среди офицеров Красной армии и учащейся молодежи. Но в то же время не кто иной как Троцкий, стремился в период военного коммунизма милитаризовать профсоюзы, и многие его аргументы можно рассматривать просто как средства, с помощью которых он надеялся осуществить собственные, ничуть не менее дикта-

торские притязания. Недоверчивое отношение к нему как потенциальному Наполеону было подлинным, а он явно старался избегать шагов, которые давали бы новую пищу этому недоверию старых большевиков. И все же основные расхождения заключались в самой сути дела, а не в личном соперничестве, поскольку они вращались вокруг понятия "перманентной революции", которое отстаивал Троцкий, и "социализма в одной стране", которое противопоставлял этому Сталин. В конечном счете речь шла о том, может ли Коммунистическая партия Советского Союза после неудачи революции в Германии с чистой совестью сохранить за собой власть и бороться за свою цель, социализм, или она должна была поставить свою дальнейшую судьбу в зависимость от успеха западноевропейской, марксистской революции. Не приходится сомневаться, что именно Сталин шел здесь по стопам Ленина, и поэтому не простым маневром в "борьбе за престол" было то, что Зиновьев, всегда остававшийся решительным интернационалистом, объединился в конце 1925 года с Троцким и Каменевым в новую оппозицию против Сталина; это была преимущественно интеллигентская оппозиция, и Сталин разгромил ее как группировку небольшого меньшинства, отклонившегося от генеральной линии партии. На повестке дня вновь стояли существенные вопросы: вопрос о враждебном или дружественном отношении к крестьянству, вопрос о темпах индустриализации, вопрос о бюрократии и т.д. Эта была радикально левая оппозиция, и она пользовалась сочувствием многих левых коммунистов в Европе. Сталин, наоборот, выступал в союзе с Бухариным как представитель правых, добиваясь неспешного развития государственной экономики и индустрии и дружественного отношения к середнякам как союзникам пролетариата. С этим он и одержал победу, и, конечно, не только потому, что готовил аппарат и партийные съезды, но и потому, что партийные массы сильно недолюбливали интеллигентов, причем сами оппозиционеры в своем наброске программы к XV съезду квалифицировали эту нелюбовь как "антисемитизм".⁶ Требование "свободной дискуссии" внутри партии нашло в ноябре 1927 года свое высшее и последнее выражение в уличных демонстрациях, и сразу вслед за этим съезд исключил основных членов троцкистской оппозиции из партии. Сам Троцкий был спустя недолгое время сослан в Среднюю Азию, а в начале 1929 года выслан из СССР.

Не следует забывать, что эти годы борьбы между Сталиным и Троцким, занимающие немало места в курсах истории партии, были благополучными годами Советского Союза. НЭП и деятельность новой буржуазии повели к поразительному подъему, и в сравнении со страшным голодом 1920/21 годов населению жилось очень хорошо, поскольку продукты имелись в продаже в изобилии. Конечно, промышленное производство оставалось на относительно низком уровне, и снова шла речь о ножницах между ценами на продукты сельского хозяйства и на промышленные то-

вары. Довольно высоким было и число безработных. Но в целом можно было рассчитывать на продолжение подъема. И всё же тон, в каком в партийных дискуссиях этого года говорилось о крестьянстве, предвещал уже грядущие события. Согласно статистической таблице из советской книги о "Ликвидации эксплуататорских классов в СССР", в 1913 году в России было 17 миллионов промышленных пролетариев, 90 миллионов простых крестьян и 22 миллиона эксплуататоров, из них 17 миллионов кулаков.⁷ Буржуи и помещики, входившие в это число, были теперь уничтожены, но, несмотря на все потери в мировую и в гражданскую войну (оценивавшиеся по многим подсчетам в более чем 20 миллионов человек), число кулаков, то есть зажиточных крестьян, было все еще примерно таким же, как число промышленных пролетариев, а простые крестьяне числом по-прежнему значительно превосходили остальных. Но даже правые постоянно называли кулаков "врагами", и, хотя простых крестьян они именовали "союзниками", все же было совершенно ясно, что большинство населения практически лишено представительства и рассматривается правящей партией как объект, с которым хорошо обращаются, пока это удобно, но в случае нужды безапелляционно расправятся. И даже в благополучные годы крестьянин платил на ту же сумму дохода намного более высокий налог, чем рабочий, а голос рабочего при выборах в местные советы приравнивался к 5 голосам крестьян. Путем не прямых выборов в высшие органы власти доля крестьянских голосов уменьшалась до совершенной незначительности; таким образом, большинство населения страны было послушным воском в руках "ядра", как называл Ленин всё преобразующую и "валяющую и катающую" даже пролетариев партию, то есть всемогущее партийное руководство.⁸ Таким образом, с социально-экономической точки зрения режим большевиков был суровой диктатурой городского пролетариата над крестьянством, режимом жестокой эксплуатации и глубокого бесправия.

И все же крестьяне, да и многие рабочие, с тоской вспоминали об этих временах после того, как Сталин подал сигнал к "походу на кулачество" и все силы были брошены на то, чтобы преодолеть "мелкобуржуазные настроения, распространившиеся в среде рабочего класса".⁹ Как только Троцкий был выведен из игры, а учение о перманентной революции отнесено на задний план, Сталин перенял у левых требования уничтожения кулаков и нэпманов, а также быстрой индустриализации страны. После этого неизбежной становилась борьба с правым крылом партии, с которым он был до этого в союзе. И на этот раз Сталин показал себя лучшим учеником Ленина. Ведь Бухарин, несмотря на все отмежевание от кулаков, так решительно отстаивал программу коммунизма благоденствия, что верил даже в отмену всех военных заказов и уповал только на взаимовыгодное сотрудничество сельского хозяйства и промышленности. Благодаря этому должно было быть достигнуто постоянное повышение

жизненного уровня, и крестьянам предстояло "постепенно врасти" в социализм.¹⁰ Но это значило бы, что партия, которая была прежде всего партией борьбы, не имела бы уже никакого врага в собственной стране и, стать лозунгом сотрудничества, а не классовая борьба, была бы ограничена в применении власти. Таким образом, в споре с правыми Сталин тоже ясно понял главную ленинскую установку – установку на сохранение, укрепление и защиту власти партии; как его собственное единоличное господство, так и коллективизация и индустриализация были скорее сопутствующими явлениями, чем непосредственными целями. Так, Сталин потребовал в ноябре 1928 года, чтобы быстрый темп промышленного развития в целом и, в частности, производство средств производства стали основным принципом перестройки всего народного хозяйства, даже если это потребует высшего напряжения всех сил. Только в этом случае удастся догнать и перегнать "развитую технику капиталистических стран". Таким образом, преобладающей сразу стала точка зрения военно-самоутверждения страны, причем как пример развитой капиталистической страны Сталин три раза подряд приводит Германию. Учитывая, что VI Конгресс Коминтерна только что объявил о конце капиталистической стабилизации и о приближении новой эпохи войн и революций, можно прийти к выводу, что Сталин хотел в конце 1928 года начать приготовления к оборонительной войне против Германии, хотя сознательно подогреваемый страх перед войной направлялся в основном на Японию и Англию как самые враждебные силы капиталистического окружения. А может быть, он готовился ко дню, когда ему придется защищать советскую Германию против западных держав? Но в любом случае такая индустриализация требовала огромных капиталовложений. Откуда же было взять средства? Если бы Россия, став конституционной монархией, осталась на стороне союзников до победоносного конца войны, то ей были бы, несомненно, предоставлены огромные кредиты, с помощью которых она смогла бы продолжать уже интенсивно начавшуюся индустриализацию. Но большевики аннулировали государственные долги России и должны были в принципе платить наличными деньгами за все индустриальное оборудование, покупаемое на Западе. Если индустриализация должна была быть проведена "быстро" и "с наивысшим напряжением сил"¹¹, то оставался только путь "социалистического накопления", который правые, группировавшиеся вокруг Бухарина и Рыкова, называли "военно-феодальной эксплуатацией крестьянства". Как в свое время были аннулированы государственные долги и экспропрированы буржуазия и православная церковь, так нужно было теперь отобрать имущество у относительно зажиточной части крестьянства. Нужно было экспортировать миллионы тонн зерна, даже если все население вынуждено было из-за этого голодать, и нужно было вырубить значительную часть лесов в стране, чтобы получить нужные инвестиционные средства и иметь возможность

оплачивать иностранных специалистов. И так миру был явлен пример индустриальной революции, каких еще не бывало в истории, индустриальной революции по приказу сверху, для которой простейшей основой была классовая борьба против большого и совершенно беззащитного меньшинства собственного населения.

Политика ликвидации кулачества как класса и коллективизации сельского хозяйства означала, что повсюду в стране была начата неслыханная акция экспроприации, что кулаков сгоняли с их дворов и вместе с женами и детьми вывозили в отдаленные области, где они по большей части умирали с голоду или от непосильной работы в лесных лагерях Урала и на строительстве Беломорканала. То, что эти крестьяне могли рассказать о пережитом, лишь косвенным путем выходило на свет¹²; но на основании так называемого Смоленского архива, который в 1941 году попал в руки немецких войск и позже оказался в Америке, можно составить детальную картину происходившего в этой западной области России, что и сделал Merle Fainsod в своей книге "Smolensk under Soviet Rule".¹³

В деревни приходили сперва делегации из членов партии и сотрудников ГПУ и бесцеремонно реквизируют все зерно у кулаков, которые, как правило, не были четко отграниченным слоем, а были многими нитями связаны с середняками, да и с деревенской беднотой; арестовывали и бедняков на том основании, что они идеологические кулаки, у кулаков и их жен отнимали даже теплое белье и прогоняли их в пустоши и болота. В больших городах их собирали сотнями и тысячами, пересаживали в вагоны для скота и так вывозили — путешествие длилось порой неделями — в Карелию или на Урал. Паника охватывала немалую часть даже городского населения, и согласно отчетам ГПУ, часто приходилось слышать от бедных крестьян и рабочих высказывания вроде: "Скоро дойдет черед и до нас" и "все мы подохнем с голоду". Конечно, отнять имущество и свободу у миллионов людей, не встретив совсем никакого сопротивления, все же не удалось. Немало партийцев пало жертвой террористических актов, миллионы голов скота были забиты. Следствием был великий голод 1931-33 годов, от которого погибло несколько миллионов человек, а на Украине вымирали целые деревни. Все муки и страдания, которые принесла индустриальная революция рабочим в Англии или Германии, кажутся мелочью на этом фоне. И как раз в Германии о российских событиях было сравнительно хорошо известно, поскольку пострадало немало крестьян немецкого происхождения, и их отчаянные призывы о помощи распространялись "Организацией по оказанию помощи братьям в нужде".¹⁴

Но, в отличие от Англии и Германии, никакой определенный класс людей не получил заметных преимуществ за счет несчастья других. И без того нищенски низкий жизненный уровень всего населения упал между 1928 и 1932 годом на целую треть, и даже жены заместителей народных комиссаров, несмотря на некоторые привилегии, должны были стоять в

Народный фронт
среди рабочих и
(вспомогательный)

очередях за продуктами. Судя по всему, не голодала только самая верхушка партии, а ей в самом деле нужна была полная работоспособность, чтобы не допустить остановки процесса. Напрашивается вопрос, могла ли бы эксплуатация достичь такой высокой степени, будь налицо люди, явно получающие от нее выгоду. И тем не менее торжествующие сообщения коммунистической и прокоммунистической прессы за границей о подвигах социализма при сооружении Днепрогэса и Магнитогорска имеют свое основание, ибо никогда еще ни одна страна не индустриализировалась так быстро, и никогда еще эта индустриализация не опиралась на подлинный энтузиазм меньшинства масс, которое давно уже не было просто ядром, сумев привлечь своими требованиями самопожертвования и трудового штурма большую часть молодежи. Ужасное и выдающееся рождалось из одного корня воли и энтузиазма; только обе половины, взятые вместе, дают целое беспрецедентной картины.

Поэтому можно было бы и в самом деле рассматривать время первой пятилетки и коллективизации как ускоренное наверстывание всеобщего процесса и закладывание основ коллективистического крупного сельского хозяйства, которое соответствовало русским традициям и обстановке. Жертвы предстают тогда достойными сожаления, но неизбежными накладными расходами, а претензии партии и ее руководителя на тоталитарное господство выглядят оправданными и рациональными, поскольку с их помощью было достигнуто необходимое.

Однако не менее – если не более – правдоподобно то, что подлинным мотивом партии было стремление к физическому уничтожению вражеского класса, и именно поэтому уничтожали как раз самых энергичных и толковых представителей крестьянства, а в результате сельскому хозяйству страны был нанесен ущерб, от которого оно не могло оправиться в течение долгих десятилетий, ущерб, который никак нельзя назвать рациональным.

Как сильно было стремление к уничтожению классов и традиций, считавшихся реакционными, хотя они на самом деле вовсе таковыми не были или были только отчасти, доказывает уже само название книги, вышедшей в Берлине в 1931 году; автором её был еврейский коммунист Отто Геллер. Книга называлась "Гибель еврейства". Под этим подразумевалось не физическое уничтожение, а конец "еврейского местечка с его грязью, его моральным разложением, его отсутствием культуры" благодаря построению социализма, открывшему перед евреями возможности жизни и расселения в Биробиджане – новые, современные, свободные от гнета отмершей традиции. Но и западное еврейство находится, по Геллеру, на пути к гибели – из-за ассимиляции, падения рождаемости, смешанных браков. Тем самым еврейство в Советском Союзе оказывается в выигрыше, а западное – жертвой последствий "грехопадения человечества", перехода от первоначального общинного производства к обществу товарно-

го производства; евреи как "первые горожане" и народ торговцев приняли деятельное участие в этом грехопадении, но сегодня оно снимается в социализме. Поэтому в Советском Союзе число евреев в партии, бывшее сперва непропорционально большим, все более нормализуется. Зато на Западе "последний, самый отчаянный и самый дикий национализм" испускает "свой убогий дух", а именно сионизм, это "порождение мелкобуржуазности".¹⁵

Итак, всё то же понятие прогресса и "железной поступи истории" приговаривает к гибели вслед за помещиками и буржуями также и работающих на своей земле крестьян, и ведущих торговлю евреев, — к гибели, которая не обязательно должна была означать физическое уничтожение, но очень легко могла его означать. Геллер не без оснований указывает на то, что преобладающее большинство еврейской интеллигенции примкнуло к меньшевикам. Согласно этому пониманию прогресса, социал-демократы и правые социалисты тоже были обречены на гибель, равно как и вся общественная система Запада в целом, та самая общественная система продуктивных различий, которая только и сделала вообще возможным понятие прогресса.

А разве та же логика и тот же парадокс не прослеживается и в советской индустриализации? Разве не было, с одной стороны, замечание Сталина в его знаменитой речи о задачах экономистов, что старая Россия постоянно терпела поражения из-за своей отсталости, и по этой причине "мы больше не можем позволить себе быть отсталыми"¹⁶, верным, если ограничить его применение первыми двадцатью годами двадцатого столетия? Но разве самое большое государство мира, развивая с величайшим напряжением свою тяжелую промышленность, а тем самым и военное производство, не стало очень скоро такой же великой угрозой равноправия, да и вообще независимому существованию своих соседей, какую видел Карл Маркс в царской России XIX столетия, — особенно учитывая тот факт, что это государство имело теперь в соседних странах собственные партии, считавшие Страну Советов своей родиной?

Оба эти вопроса не часто обсуждались в Германии с 1924 по 1929 год. И все же новый феномен на Востоке уже отбрасывал свою тень в тот момент, когда в германском рейхе вновь стабилизировался старый порядок, бывший по сути дела порядком всего Запада.

7. Период стабилизации Веймарской республики (1924-1929)

Даже стабилизация валюты не могла еще стать мановением палочки волшебника, которое мгновенно нормализовало бы ситуацию в Германии. Выборы в рейхстаг 4 мая 1924 года проходили еще в обстановке крайнего возбуждения, и "Ди фёлькишен" [партии националистического толка], как

и КПП, достигли значительных успехов. Национал-социалистская партия свободы, новое формирование, состоявшее из "Ди фёлькишен" и приверженцев Гитлера, получила 32 мандата; впрочем, коммунисты, обладатели 62 мест, значительно ее превосходили. СДПГ сохранила за собой лишь 100 мест, и примерно столько же получили немецкие националисты. Тем не менее Вильгельм Маркс, политик-центрист, сменивший в декабре 1923 года Штреземана, смог сохранить за собой пост главы правительства и провести с помощью части немецких националистов план Дауэса, поставивший репарационные обязательства Германии на новую основу и вызвавший приток иностранных кредитов. Правительство сумело воспользоваться улучшением обстановки, так что на выборах в рейхстаг 7 декабря 1924 года число коммунистов в парламенте сократилось до 45, а "Дер фёлькишен" — до 14, в то время как СДПГ отвоевала 30 мандатов, а Немецкая национальная народная партия сохранила свое прежнее положение. Однако социал-демократы продолжали воздерживаться от участия в правительстве, так что правительства образовывал до 1928 года при рейхсканцлерах Лютере и Марксе *Гражданский блок* переменного состава, куда немецкие националисты входили сначала в 1925 году вплоть до их выхода из правительства из-за Локарнских соглашений, и затем снова в 1927/28 годах. Выборы в рейхстаг 20 мая 1928 года принесли большой успех как социал-демократам, так и коммунистам, и привели к созданию кабинета "большой коалиции" под руководством социал-демократа Германа Мюллера; спустя полтора года, в конце 1929 года, этот кабинет уже сильно шатался под воздействием начинающегося мирового экономического кризиса, еще прежде, чем в марте 1930 года с созывом президентского кабинета Брюнинга пришла к концу эпоха подлинно парламентского правления.

Если же не сосредоточиваться в первую очередь на результатах выборов и событиях в рейхстаге, то символы окончания кризиса 1923 года и начала стабилизации можно увидеть в двух судебных процессах, в ходе которых был вынесен приговор поведению коммунистов и национал-социалистов: это процесс Гитлера в Мюнхене и *процесс Чека* в Лейпциге. Обвиняемые в обоих процессах отделались очень легко, но это верно лишь потому, что с лейпцигским процессом оказался связан судебный процесс в Москве, так называемое дело студентов.

Дело против Адольфа Гитлера, Эриха Людендорфа и еще нескольких обвиняемых рассматривалось в народном суде Мюнхена с конца февраля по конец марта 1924 года. Очень скоро выяснилось, что главная роль принадлежит Гитлеру, и что он сам приписывает себе основную ответственность за события 8 и 9 ноября. Его линия защиты состояла в утверждении, что он преследовал ту же цель, что и правящие силы Баварии — Кар, Лоссов и Зайсер, и что побудительным стремлением всех действующих лиц была любовь к отечеству, которое в результате революционных

посягательств коммунистов и слабости буржуазно-марксистского берлинского правительства оказалось в смертельной опасности. Стороны различались, по его мнению, лишь мерой проявленной энергии и решительности, а надежда на успех этой попытки национального спасения заключалась в возможности, что он и его партия увлекли бы за собой Баварское государство, рейхсвер и полицию в общем стремлении вперед. Образцами для него были, говорил Гитлер, Муссолини и Кемаль-Паша, а стремление к посту министра он считает недостойным "великого человека". "Я хотел уничтожить марксизм", поскольку марксизм со своей разлагающей деятельностью повинен в поражении Германии в мировой войне и стоит на пути того "последнего Божьего суда", предстать перед которым под старым знаменем "мы готовы и желаем".¹

Заключительная речь Гитлера, которая явно произвела большое впечатление как на суд, так и на публику в зале, была, таким образом, прежде всего обвинительной речью, направленной в большой своей части против тех же людей, которых обвиняли и коммунисты, а именно против "Эберта и Шейдемана со товарищи", однако мотивы обвинения у Гитлера прямо противоположные: не мнимая *социальная измена* ставится им в вину, а измена родине и государственная измена. В целом эта речь представляла собой потенциальное объявление войны враждебному миру, и сверх того решительное одобрение войны как таковой. Она была, таким образом, резко противоположна страстному интернационализму первого всемирного Конгресса Коминтерна. Но и в ней нельзя не почувствовать дыхания подлинной страстности, способной увлекать за собой огромные массы, националистической и государственной страстности, в подоплеке которой нетрудно, однако, распознать страстность *социальную*. Нападение и защита были тесно связаны между собой, и поскольку суд был явно проникнут сходными ощущениями, Гитлер, чьи "заслуги перед Родиной" были прямо отмечены, за государственную измену был приговорен лишь к минимальному наказанию в виде пяти лет заключения, причем ему было обещано скорое условно-досрочное освобождение.

Совсем другой исход имел так называемый процесс ЧК, который проходил годом позже, с 10 февраля по 22 апреля 1925 года, в Государственном суде по охране республики в Лейпциге. Основным предметом рассмотрения была попытка захвата власти коммунистами в 1923 году, а повод состоял в том, что властям удалось захватить руководителя "группы Т" (террористической) Феликса Ноймана и даже арестовать советского главного военного руководителя восстания, Александра Скоблевского (он же Розе, Горев или "Гельмут"). Нойман дал обширные показания, касавшиеся прежде всего убийства некоего *предателя*, а также готовившегося покушения на генерала фон Секта. Этот процесс был также в большой мере политическим и пропагандистским, поскольку адвокаты либо были коммунистами, либо не скрывали симпатии к коммунистам. Пред-

седатель суда, напротив, не выказывал ни малейшей снисходительности, так что дело частенько доходило до жарких столкновений.

Суд счел доказанным, что *группа ЧК* действовала по заданию высших партийных органов, и с полным основанием отвел возражение защиты, что Коммунистическая партия не одобряет *индивидуального террора*. Но предметом рассмотрения в ходе процесса стал лишь незначительный фрагмент большого подрывного движения 1923 года, хотя тезис прокурора, утверждавшего, что даже конституционные органы власти у коммунистов считаются *фашистскими*, и что ссылка на желание защитить легальные рабочие правительства является лишь прикрытием агрессивных устремлений, не встретил возражений. Трое из основных обвиняемых, в том числе Нойман и Скоблевский, были приговорены к смертной казни, прочие получили различные сроки тюремного заключения, в том числе весьма продолжительные.

Конечно, два эти процесса уже по самому своему ходу были примечательными примерами того различного отношения к правым и левым, которым тогда в особенности возмущался Эмиль Юлиус Гумбель и которое сегодня является предметом почти всеобщего осуждения. Но давайте спросим себя сперва, бывало ли когда-либо в истории, чтобы подвергшаяся нападению система применяла одни и те же критерии к своим врагам и к тем, кто стремился ей помочь; и не отнимаем ли мы у коммунистов заслуженную ими честь, отрицая, что насильственное свержение капиталистической, то есть европейской индустриальной, системы было бы куда более значительным и революционным событием, чем установление антипарламентской диктатуры для защиты от такого свержения. Самое примечательное, однако, что правительство рейха не завело дальнейшего дела на тех, кто был признан судом собственно виновными, то есть против руководства Коммунистической партии, и что смертные приговоры не были приведены в исполнение. Первое можно объяснить общими политическими и внешнеполитическими соображениями, но второе останется непонятным, если не упомянуть третий судебный процесс, так называемое "дело студентов", рассматривавшееся в Москве в июне-июле 1925 года.

Обвиняемыми были немецкие студенты д-р Киндерман, Вольшт и фон Дитмар. В сентябре 1924 года они приехали в Москву в научную командировку, в ходе которой планировался ряд докладов; их документы, после долгих переговоров с советским посольством, были оформлены по всем правилам. После двухнедельного пребывания в Москве они были арестованы ГПУ и помещены на Лубянку. Следствие тянулось долго, и наконец было предъявлено обвинение, согласно которому трое студентов были посланы в Россию "бригадой Консул" с целью шпионажа и убийства "Сталина и Троцкого". Во время процесса в "Правде" и "Известиях" публиковались карикатуры. Одна из них изображает огромного звероподоб-

ного до зубов вооруженного студента со свастикой на рукаве, стреляющего из пистолета по портретам Сталина и Троцкого. В отчетах о процессе утверждалось, что речь идет о "передовом отряде фашизма", который проник в Советский Союз и должен быть обезврежен. Зачинщиками называли советника посольства Хильгера, главного редактора газеты "Берлинер Тагеблатт" Теодора Вольфа и даже бывшего рейхсканцлера Михаэлиса. В основном же обвинение было нацелено на капитана Эрхардта и (давно распущенную) "Бригаду "Консул". Посол фон Брокдорф-Ранцау сначала с таким доверием отнесся к следственным органам, что поверил их утверждению, будто эта "шайка убийц" готовила покушение и на него², но позже проявил всю возможную активность для их защиты. В немецкой печати процесс получил широчайший резонанс. Быстро выяснилось, сколь незначительны и банальны факты, приводимые обвинением как доказательства широко раскинувшегося антисоветского заговора, — например, получение денег от Теодора Вольфа. Густав Хильгер также смог убедительно опровергнуть выдвинутые против него подозрения. Несмотря на это, обвиняемые были приговорены к смерти. Возмущение "московским позорным правосудием" в Германии было велико. "*Фоссние Цайтунг*" напомнила о революционных принципах судоговорения, разработанных французом Садулем во время процесса против эсеров в 1922 году и противоречившим всем понятиям государственного права, поскольку в качестве критерия выдвигалось "исключительно благо революции", а не собственная вина обвиняемых³; "*Форвертс*" резко критиковала "восточное направление в Министерстве иностранных дел", стремящееся любой ценой избежать напряженности в немецко-русских отношениях.⁴ Знакомые Киндермана свидетельствовали, что он отправился в Россию, исполненный самых сочувственных иллюзий, и что он не мог иметь никаких связей с праворадикальными организациями уже потому, что он еврей. Однако для посвященных с самого начала не подлежало сомнению, что студенты были задержаны как предметы обмена; ведь в феврале 1925 года Председатель Совнаркома Рыков сказал Брокдорфу-Ранцау, что обвинение против студентов будет снято, если будет прекращено дело в Лейпциге.⁵ В конце концов так и вышло: в октябре одновременно было оглашено помилование Скоблевскому и Киндерману, а также их товарищам.⁶ Так что в результате веймарское правосудие оказалось не жесточе к советскому коммунисту Александру Скоблевскому, чем к австрийскому национал-социалисту Адольфу Гитлеру.

Дальнейшее развитие Коммунистической партии Германии во время ее запрета с ноября 1923 по март 1924 года и позже определялось прежде всего дискуссиями об *Октябрьском поражении*, которые, в свою очередь, были неразрывно связаны с первыми разногласиями между Сталиным, Зиновьевым и Троцким в русском партийном руководстве. Вполне естественно, что на передний план выступили *левые*, которые резко критико-

вали Брандлерову политику единого фронта (то есть союзничества с социал-демократами). Ведь после каждой неудачной попытки расширения *вправо*, сближения с рабочей социал-демократией и некоторыми ее лидерами, маятник регулярно откатывается к *левому* отграничению от всех колеблющихся и нерешительных. Так, на 9 съезде КПП в апреле 1924 года во Франкфурте была предпринята решительная перемена направления: руководство партий перешло к левым, т.е. к Рут Фишер, Аркадию Маслову, Вернеру Шолему, Эрнсту Тельману, Артуру Розенбергу, Ивану Катцу и проч. Правые и брандлерианцы были полностью отстранены от дел. В *стабилизацию капитализма*, о которой тогда как раз заговорили, коммунисты верить не желали; новая программа действий, хотя и объявляла о *едином фронте снизу*, включающем также и пролетаризировавшихся представителей среднего класса, но еще решительнее требовала вооружения пролетариата и разоружения всех государственных органов, как соответствующих, так и не соответствующих закону; таким образом, это была программа подготовки масс к предстоящему последнему и решительному бою. Выборное воззвание КПП при выборах в рейхстаг в мае 1924 года действительно вызвало горячий отклик в сердцах многих избирателей, поскольку содержало самые резкие обвинения против Веймарской системы и, само собой, против капиталистической системы в целом. Основными объектами обвинения были, наряду с "как христианскими, так и еврейскими" капиталистами, социал-демократы, которые снова нанесли удар в спину борющемуся пролетариату. Гитлер пренебрежительно упоминается в этом воззвании лишь между делом, как "мещанин, одержимый манией величия" и креатура крупного капитала, в то время как Коммунистическая партия вновь торжественно объявляется "руководительницей в этой освободительной борьбе всех угнетенных".⁷

Но после вторых выборов в рейхстаг этого года стабилизация стала очевидным фактом; в то время как Веймарская Германия под руководством министра внутренних дел Штреземана добивалась соглашения с западными державами и вхождения в Лигу наций, коммунисты, казалось, занялись взаимострелением. Партийное руководство начало жесткую борьбу с *троцкизмом* и *люксембургизмом* в партии, что повлекло за собой возникновение ультралевой оппозиции, занимавшей всё более *антибольшевистскую*, а также *антисталинскую* позицию, критикуя НЭП и преобладание в политике Коминтерна внешнеполитических интересов русского *крестьянского государства*.

Очень характерна для этого этапа статья Гейнца Ноймана, молодого интеллектуала из зажиточной еврейской семьи, "Что такое большевизация?", опубликованная в начале 1925 года. Сейчас, в эпоху "непрестанной борьбы народов и гражданских войн" борьба КПП против социал-демократии становится, по мнению Неймана, классовой борьбой, которую нужно "вести с оппортунистической партией рабочей аристократии

не на жизнь, а на смерть". Но только строжайшая сплоченность и централизация позволят КППГ действительно стать ячейкой всемирной партии, только при этом условии она сможет эффективно готовиться к вооруженному восстанию, иметь военизированные формирования и разведку, которая сообщала бы Центральному комитету о том, "где находятся полицейские посты и казармы, позиции и силы противника", какие предприятия важны в военном отношении и как организовано на них производство. Только при этом условии она сможет эффективно дезорганизовывать капиталистический государственный аппарат и препятствовать "мирному производственному процессу", к которому стремятся капиталисты. Только благодаря абсолютной большевистской сплоченности, а также выдержке и полному единодушию с руководством Интернационала может коммунистическая партия добиться победы: "Дайте нам большевистскую партию в Германии, и мы перевернем Германию".⁸

Не удивительно, что эта позиция вызвала протест в партии и что противники, не в последнюю очередь социал-демократы, которых причислили к буржуазии и тем самым пригрозили им уничтожением, заключили, что эта КППГ есть не что иное, как орудие и шпионская организация иностранной державы. И когда партия весной 1925 года, после смерти Фридриха Эберта, которого она и в гробу не переставала осыпать бранью, во втором туре выборов упорно держалась за своего кандидата Тельмана, она фактически обеспечила победу Гинденбургу, хотя сама получила всего около двух миллионов голосов, гораздо меньше, чем на выборах в рейхстаг. Стало ясно, что коммунисты в случае, когда речь шла о доверии конкретному человеку, а не о согласии с радикальной программой протеста, сумели привлечь на свою сторону лишь незначительное меньшинство — чуть больше 5% избирателей. Правда, кандидат национал-социалистов, Людендорф, получил менее 300 000 голосов: весной 1925 года Гитлер и его партия были, можно сказать, не различимы невооруженным глазом.

Конечно, было бы большой ошибкой думать, что сразу после 9 ноября 1923 года настал конец Гитлеру и его партии. Население Мюнхена и Баварии еще долгие недели после путча пребывало в сильном антиправительственном возбуждении. Альфред Розенберг основал по поручению Гитлера организацию-заместительницу "Великогерманская народная общность". Общественность очень живо интересовалась процессом Гитлера. Открытка с изображением Гитлера в одиночном заключении в Ландсберге разошлась миллионным тиражом. Гитлер впервые, хотя и ненадолго, стал фигурой общенационального масштаба. Успех блока "Дер фёлькишен" на баварских и "Национал-социалистической партии свободы" на общегерманских выборах далеко превзошел ожидания. Но Гитлер быстро понял, что из Ландсберга не сможет управлять многочисленными организациями-наследниками, и потому полностью отошел от

повседневной политики, погрузившись исключительно в работу над книгой, которая впоследствии получила название "Майн Кампф". Выйдя из заключения на рождество 1924 года, он обнаружил, что ситуация сильно изменилась, и нанес визит новому премьер-министру Баварии Хельду, чтобы заверить его, что хочет бороться не против правительства, а только против марксизма. 27 февраля 1925 года он произнес в пивной Бюргербройкеллер речь, ознаменовавшую новое основание его партии. Ему удалось вызвать бурю энтузиазма у собравшихся и спровоцировать трогательную сцену примирения своих рассорившихся последователей. На этот раз было с самого начала ясно, что он возглавит партию единолично и не потерпит рядом с собой никакого Людендорфа. Баварские власти запретили Гитлеру выступать публично, и большинство немецких земель последовало их примеру; это лишило его важнейшего и лучшего оружия. Но 18 июля 1925 года в издательстве Эгера вышел первый том "Майн Кампф". Для нас важно сейчас не содержание книги, ее анализ или критика, а соотношение в ней основных мотивов по сравнению с ранними речами и, в особенности, место антимарксизма или же антибольшевизма, — стоят ли они по-прежнему в центре внимания.

Совершенную новость представляет собой *история жизни*, плавно переходящая в историю партии, которая, в свою очередь, постоянно перебивается разнообразными размышлениями на общеполитические и антропологические темы. История жизни позволяет уже на первых страницах вывести на первый план мотив пангерманизма, так что Гитлер предстает прежде всего как *австрийский немец*. Но его воспоминания венской поры, как ни старается он стилизовать свой облик, все же с поразительной ясностью показывают, насколько сильно было в нем самоощущение *европейского бюргера*. Это доказывает уже его рассказ о первой встрече с социал-демократами на стройке, но еще показательнее история о том, как он однажды встретил массовую социал-демократическую демонстрацию рабочих и "затаив дыхание, глядел на огромного человеческого змея", который медленно вился мимо. "В тревожном унынии ушел я, наконец, с площади и побрел домой".⁹ Его реакция была прямо-таки "образцово буржуазной", хотя нельзя назвать ее просто "буржуазной", поскольку люди вроде Макса Вебера или Климента Этли реагировали совсем иначе. Нельзя не отметить у Гитлера возмущения тоталитарными претензиями рабочего движения уже на его раннем этапе (их очень любят не замечать), а именно, "жесткими требованиями" посещать лишь красные собрания и читать лишь красные книги. Впрочем, он тут же высказывает не менее тоталитарное требование противопоставить социал-демократии "учение более истинное, но столь же brutally проводимое в жизнь".¹⁰ И все же не лишено последовательности, что он в той же связи резко критикует невосприимчивость буржуазии к социальным вопросам, и недвусмысленно возлагает на нее ответственность за печальное развитие событий. Но

несколькими страницами ниже Гитлер пишет: "Когда я понял, что во главе социал-демократии стоит еврейство, пелена начала спадать у меня с глаз. <...> Имена Аустерлица, Давида, Адлера, Элленбогена никогда не изгладятся из моей памяти".¹¹ Гитлер явно превращает сопутствующее явление в причину; это в принципе то же самое, что обвинение в "Спартак-овских письмах" против тех, кто наживается на военных поставках и спекулянтов, будто это они разожгли войну. Не случайно, конечно, и то, что в автобиографиях марксистов так часто встречается выражение "пелена упала с глаз".¹² Но Гитлер клеймит "возбудителей" и "зачинщиков" несчастья куда яростнее, надо думать, потому, что его обвинение менее понятно и именно поэтому может вести к чудовищно-нелепым высказываниям вроде того, что наша планета будет снова, как миллионы лет назад, нестись без людей в космическом пространстве, если мировому еврейству удастся с помощью своего марксистского вероисповедания победить народы всей земли. Но только так Гитлер может приписать себе и задуманной им "германской империи немецкой нации" миссию, в своем роде не менее всеохватывающую, чем та, на которую претендовал марксизм: "Борясь с мировым еврейством, я борюсь за творение Божие".¹³ Поэтому в "Майн кампф" кроме длинных повествовательных вставок и рассуждений об "аристократическом принципе природы" или о "свободной игре сил" мы обнаруживаем, как и в ранних речах, с одной стороны, аффирмативный и национальный пафос позитивного опыта мировой войны¹⁴, а с другой стороны, социальный пафос отрицания, исходящий от по-прежнему пугающих слов "русский образец" и "уничтожение национальной интеллигенции": "Теперь начинается великая последняя революция. По мере захвата политической власти, мировое еврейство сбрасывает немногие еще остающиеся на нем покровы. Демократическое этническое еврейство становится кровавым еврейством и тираном народов. Оно пытается в короткий срок истребить носителей интеллекта нации <...> Самый страшный пример такого рода представляет собой Россия <...>"¹⁵

Примерно тогда же один из известнейших соратников Гитлера, полковник Макс Бауэр, написал заметки о путешествии в "Страну красного царя", где прямо заявлял, что его мнение о Советском Союзе и руководителях его правящей партии изменилось после того, как он увидел там очень много такого, что соответствовало его консервативным и милитаристским принципам.¹⁶ Гитлер тоже был традиционалистом старого толка, как – совсем в другом роде – и Роза Люксембург, и написал с позиций не умирающего прошлого *Библию* для своего движения, которая характерным образом отличалась от тех основополагающих книг, какие написал Карл Маркс в 1867 году для рабочего движения и Ленин в 1902 году для молодого большевизма. Хотя ни одна из трех книг не была отражением реальности или верным наброском будущего, но каждая была прочно укоренена в мощном потоке исторического движения. Однако ситуация, в

которой и для которой была написана "Майн Кампф", была самой своеобразной и неповторимой. Поэтому даже те, кто, не поддерживав общего тона насмешки над гитлеровской *чушью*, принял его книгу всерьез, сильно подозревали, что этот человек и его партия не дотягивают до уровня своих противников — демократов и марксистов. Это подозрение было, как никогда, оправдано в 1926 году, когда коммунисты завоевали широкую популярность, подняв вопрос об *экспроприации князей*, и к ним присоединилась большая часть демократов и республиканцев. Сама по себе *политика единого фронта*, на которой был основан этот успех, была чужда левому партийному руководству. Но V Конгресс Коммунистического Интернационала летом 1924 г., резко осудив правых, в то же время дал установку на *массовую борьбу*; эта борьба неизбежно должна была принять вид *единого фронта снизу*, что открывало немало возможностей для примирительных жестов по отношению к социал-демократам. Кроме того, партийное руководство, всё больше теснимое крайне левыми, и, в свою очередь, усваивало себе некоторые их тезисы, так что в Коминтерне начали опасаться, что в связи со штреземановским поворотом Германии к Западу усилятся антибольшевистские и прозападнические тенденции в КПП. Поэтому Сталин вынудил Зиновьева послать членам и подразделениям КПП "Открытое письмо", датированное 1 сентября 1925 года; его подписала также Рут Фишер, хотя это означало конец ее партийной карьеры. В длинном письме уже отчетливо проступают черты складывающегося *партийного воляжука*, но смысл его тем не менее ясен. В нем настоятельно выдвигается требование практической большевизации партии, а именно борьбы с образованием фракций и антибольшевистскими тенденциями, а также четкого подчинения партийной работы главной точке зрения: интересам Советского Союза, а также усиления внимания к массовой борьбе. "Открытое письмо" вызвало горячие дебаты, и среди левых и ультралевых коммунистов довольно быстро обозначилась тенденция к отпадению, но высшее партийное руководство оправдало ожидания: партию возглавил Эрнст Тельман и его окружение. Вскоре представилась прекрасная возможность приступить к массовой борьбе.

Падение монархии в 1918/19 году не повело в Германии к тем радикальным последствиям, как в Австрии, а именно к конфискации всего имущества царствовавших домов. В соответствии с традицией было, напротив, установлено различие между государственной и частной собственностью, и разграничение их предоставлено отдельным землям или же судам. По окончании инфляции много шума в связи с все еще продолжавшимися дебатами наделали некоторые новые решения судов по этому вопросу; страсти подогревались тем, что некоторые бывшие князья претендовали на ревальвацию своих съеденных инфляцией рент и т.п., причем суммы, на которые они претендовали, намного превосходили ту ревальвацию, которая была предусмотрена для мелких рантье и держателей

вкладов. Поэтому КПП внесла в декабре 1925 года законопроект, по которому предусматривалась экспроприация всего имущества бывших княжеских домов без какой-либо компенсации.

Конечно, это требование, выставленное под лозунгом "Ни пфеннига князьям!", было чрезвычайно популярно среди тех, кто потерял на ревальвации, а также среди безработных и пострадавших от войны, в чью пользу, согласно законопроекту, следовало обратить полученные средства. С другой стороны, право на безвозмездное отчуждение имущества целых групп граждан по политическим мотивам никак не вытекало из конституции, и коммунисты не скрывали, что речь идет о том, чтобы пробить хотя бы первую брешь в общественном строе, основанном на собственности. Но действовали они при этом очень ловко, предоставив надпартийному комитету во главе с леволиберальным профессором Робертом Рене Кучинским руководство проведением народной инициативы. Тем самым они поставили в трудное положение руководство СДПГ, которому из страха потерять значительную часть сторонников пришлось проявить готовность к совместным действиям с КПП. Народная инициатива была поддержана на удивление большим числом голосов — 12,5 миллионов, гораздо больше, чем требовалось, так что, когда рейхстаг, как и следовало ожидать, отклонил законопроект, путь референдуму был открыт. Разгорелась жаркая публичная дискуссия, в которую вмешался и президент страны Гинденбург. Поскольку законопроект предполагал изменение конституции, требовалось набрать 20 млн. голосов, а на 20 июня 1926 года "за" проголосовали только 14, 5 млн. человек. Тем не менее это было большим успехом КПП. Они заставили СДПГ пойти у них на поводу и сверх того добились, что очень многие избиратели-центристы проголосовали "за". *Русский пример* впервые утратил, похоже, свою пугающую силу, и очень многие избиратели голосовали в соответствии со своей социальной принадлежностью: рабочие-коммунисты, социал-демократы и христиане объединились, казалось, в единый фронт под руководством коммунистов.

Тем не менее основной результат выглядел так: с помощью самого популярного и на первый взгляд самого умеренного из возможных лозунгов КПП, хотя и смогла увлечь за собой СДПГ и вызвать симпатию не только *пролетариев-центристов*, но и очень многих левых демократов (в том числе едва ли не всей левой интеллигенции), все же так и не вышла за пределы 40% голосов. То, что ей когда-нибудь удастся с помощью ее собственных лозунгов, таких, например, как диктатура пролетариата, пробиться легальным путем, практически исключалось. Партия была, несомненно, права, считая, что даже в условиях тяжелого кризиса только "вооруженное восстание" может привести к победе.

Противодействие национал-социалистов в ходе этих важных, а главное, симптоматичных событий носило эпизодический характер, и лишь усиливало впечатление комичности и незначительности депутата Фрика

со товарищи. Они внесли в рейхстаг предложение об экспроприации имущества "банковских и биржевых князей и других паразитов народа", который был точным слепком с законопроекта коммунистов и социал-демократов и, конечно, не имел никаких шансов на то, чтобы его стали всерьез обсуждать. Но в том, что он направлен на подрыв существующего строя, сомнений не было, так что эта партия вряд ли могла в дальнейшем рассчитывать на естественные симпатии капиталистов. Если референдум и принес коммунистам в конечном итоге поражение, то над самыми радикальными своими врагами они одержали победу, причем не только количественную и материальную.¹⁷

Но этих врагов коммунисты уже не воспринимали всерьез, как однозначно явствует из внутрипартийных споров в следующем году. Речь там вообще не шла об отношении к *фашизму* и наилучших методах борьбы с ним. Главной темой оставалась *большевизация* партии, при проведении которой Тельман и его сторонники наталкивались на ожесточенное сопротивление. Самыми резкими ее противниками были ультралевые, к которым присоединилась, утратив руководящую роль в партии, часть левых, группировавшаяся вокруг Рут Фишер и Аркадия Маслова. Первой, еще в 1925 году, оформилась команда Вернера Шолема, Ивана Катца и Артура Розенберга. Она упрекала коммунистических вождей в том, что им, видимо, "воплощением идеала ленинской партии представляется прусская армия довоенного образца".¹⁸ В ответ ультралевых упрекали в том, что они видят в большевизме *буржуазное заблуждение*, и в этом, несомненно, была доля истины. Но поскольку Катц, Розенберг и Шолем были "еврейскими интеллигентами", то многим казалось, что они улавливают антисемитские обертоны в кампании против интеллигентов, начатой группой Тельмана по образцу сталинской полемики против Троцкого, Зиновьева и Каменева. Однако среди интеллигентов не было единства, а оппозиция насчитывала немало рабочих. В какой-то момент число оппозиционных группировок было не меньше десяти, и в результате почти дюжина депутатов рейхстага причисляла себя к *левым коммунистам*. Партийное руководство действовало очень умело в тактическом отношении и исключало одну за другой оппозиционные группы. Среди первых эта участь постигла группу, сложившуюся вокруг бывшего руководителя коммунального отдела ЦК КПГ Ивана Катца. Это была действительно очень радикальная группа, поскольку она считала, что название "анти-большевистский" следует почитать за честь до тех пор, пока большевизмом считается предпочтение "интересов русского государства, то есть русского капиталистического крестьянского большинства, интересам немецкого пролетариата", а во внутрипартийной жизни – замена партийной дисциплины рабским повиновением. Позже к ним присоединилась группа *коммунистов за Советы* под руководством Франца Пфемферта, называвшая Сталина "крестьянским Наполеоном" и даже видевшая в России

"последний оплот буржуазии", а именно крупную национально-капиталистическую державу и врага пролетариата.¹⁹

Иными, и все же сходными путями шли такие левые и ультралевые, как Карл Корш, Гуго Урбанс, Артур Розенберг, Аркадий Маслов и Рут Фишер. Некоторые из них отошли от коммунизма и даже марксизма, другие позже вернулись в партию. Мы не станем подробно отслеживать здесь все расколы и дискуссии²⁰, поскольку для нашей темы важен прежде всего следующий факт: ни одна из этих групп не ставила себе в заслугу, что она, несмотря на серьезные противоречия, стоит ближе к национал-социализму или же фашизму, чем партийное руководство. То же верно и для полемики. Даже решительно осуждая сталинский "социализм в одной стране", его никогда не называли *фашистским*, и даже когда Троцкий в 1930 году применил термин "национал-социализм" к деятельности Сталина²¹, он вовсе не имел в виду какой-либо параллели с партией Гитлера, которая была для него порождением контрреволюции, в то время как Сталин оставался в любом случае *термидорианцем*. Совсем иначе обстояло дело в дискуссиях, происходивших примерно в это же время в НСНРП, и в это тоже является доказательством первичности коммунизма и его гораздо большего значения в период до 1930 года.

Речь идет о полемике между *правыми* и *левыми* национал-социалистами, которая началась почти сразу после повторного основания партии и тянулась до 1930 года. Левой считалась северонемецкая парторганизация, создание которой было поручено Гитлером в марте 1925 года Грегору Штрассеру, аптекарю из Ландсгута, фронтовому офицеру, кавалеру многих орденов. Вместе с ним там действовал его брат Отто, бывший член Социал-демократической партии, организовывавший в свое время студенческую кампанию против войск Каппа. Этот фланг опирался в основном на *фёлькиш-протестантский* потенциал. С другой стороны, *пролетарские массы* в Рурской области и в Берлине поддавались на пропаганду националистического социализма только в том случае, если речь шла о борьбе с *капитализмом* или по меньшей мере с *мещанами*. И то и другое вело потенциально к конфликту с Мюнхеном, поскольку были основания утверждать, что Гитлер заключил свой *мир с Римом*, и ищет контактов с кругами, заправляющими экономикой. Во всяком случае, было основано "Объединение северо- и западнонемецких округов", и в качестве печатного органа этой организации с 1 октября стали выходить "Национал-социалистические письма"; издателем был Грегор Штрассер, главным редактором — д-р Йозеф Геббельс из Эльберфельда, управляющим округом Рейнланд. Первый набросок программы предусматривал перевод крупной промышленности в частичную государственную и общинную собственность, а также превращение всех собственников земли в наследственных арендаторов. В Мюнхене это приветствовалось так же мало, как и первое положительное решение по экспроприации знати; и на

совещании партийного руководства 14 февраля 1926 года в Бамберге Гитлер многочасовой речью полностью добился своего, и, в частности, завоевал симпатии Геббельса, которого назначил в конце того же года гауляйтером Берлина. Тем не менее северо-немецкое крыло партии сохранило некоторые особенности – по большей части левого толка; издательство “*Кампф*” стало мощной опорой его влияния. В газетах, выпускавшихся “Кампф” и в “НС-письмах” можно было объявлять о войне до победного конца с (международным) капитализмом; и здесь с большим пониманием относились к марксистскому учению о классовой борьбе, вовсе не считая ее, как хотелось бы Гитлеру, еврейским изобретением. Но главное — здесь откровенно ориентировались на Восток, поскольку высшая цель — уничтожение Версальского и Сен-Жерменского договоров — была недостижима без помощи Советского Союза и объединения со всеми угнетенными народами земного шара. Большевизм как таковой решительно отвергался, чаще всего с антисемитскими обоснованиями; но в речи “Ленин или Гитлер”, которую Геббельс в первый раз произнес в Кенигсберге в феврале 1926 года, параллель между большевизмом и национал-социализмом — двумя революционными движениями XX века — была проведена так последовательно, что их противоположность в конечном счете сводилась к тому, что Ленин хотел, спасая весь мир, спасти и Германию, в то время как цель Адольфа Гитлера состоит в том, чтобы, спасая Германию, спасти мир.²² Некоторые левые национал-социалисты доходили до того, чтобы предлагать КПГ форменный союз, поскольку считали, что КПГ и Советский Союз “в сегодняшней ситуации во многом наши союзники против Веймара, Версаля и Уолл-стрита”, хотя конечные цели обеих партий различны.²³ В свою очередь, социал-демократы использовали подобные высказывания, чтобы доказать близкое родство коммунистов и национал-социалистов.

Можно предположить, что Адольф Гитлер, когда писал в 1925-26 году второй том “*Майн кампф*”, вышедший в декабре 1926 года, не в последнюю очередь имел в виду левых национал-социалистов. В этой книге он вновь разъяснял, что антибуржуазная политика для него никоим образом не означает ослабления радикального антибольшевизма, а главное, он так подробно разработал здесь прежде присутствовавшую лишь в зачатке концепцию “жизненного пространства”, что никакой компромисс с концепцией ориентации на Восток уже не был возможен. Но в этой связи можно рассматривать и усиление роли расовой доктрины. Союз с угнетенными нациями полностью исключается потому, что их положение следует объяснять их расовой неполноценностью. Таким образом, второй том в гораздо большей мере, чем первый, проникнут преувеличенным и ожесточенным “европеизмом”, выдающим в господстве английского народа-властелина и союзных с ним в будущем немцев “расовую” природную предопределенность²⁴, и выводит из этого свое право перейти на Востоке

к "земельной политике будущего", которая должна означать конец русского государства, поскольку после гибели большевиков, "этих замаранных кровью подонков", там не останется руководящих слоев, способных удержать государство от распада. Насколько Гитлер при этом все еще ориентируется на ситуацию гражданской войны в России, показывает "Политический завет", которым он заканчивает главу об "ориентации на Восток или восточной политике": "Никогда не допускайте возникновения двух континентальных держав в Европе. Усматривайте в любой попытке организовать у немецких границ вторую военную державу <...> нападение на Германию. <...> Позаботьтесь о том, чтобы сила нашего народа базировалась не на колониях, а на родной земле Европы <...>".²⁵ Совершенно так же, как Гитлер благодаря расовой доктрине, приобщающей к этому и Германию, хочет остановить момент мирового господства Британии, каким оно было во второй половине XIX века, пытается он в этом месте своего труда зафиксировать ситуацию 1917-18 года, когда второй, русской военной державы – России – у немецких границ больше не было, хотя на протяжении всего 18 и 19 века ее присутствие было определяющим фактом. Страх быть уничтоженным, столь характерный для ранних речей и первого тома "Майн Кампф", выливается теперь во внешнеполитическое и государственное стремление к уничтожению, которое было совершенно чуждо по отношению к России левым национал-социалистам.

Итак, между Мюнхеном и Северной Германией в самом деле были расхождения. В 1928 году было еще не ясно, у какой концепции больше перспектив: у гитлеровского отождествления национализма и социализма, или у штрассеровского *национального социализма*. Также неясно было, кончится ли дело расколом партии или только к отпадением небольшой группы. Важным предупреждением стали выборы в рейхстаг 1928 года, которые для национал-социалистов обернулись поражением, а для коммунистов существенным успехом.

Но больше всех выиграла на этих выборах СДПГ. Она получила 152 мандата и стала, таким образом, сильнее, чем в любом из предыдущих парламентов, за исключением Национального собрания. Число мандатов у немецких националистов, наоборот, снизилось с более чем ста до 78, центристские партии также потеряли часть кресел. Число коммунистов увеличилось с 45 до 54, а НСНРП, несмотря на огромные усилия, затраченные на пропаганду, смогла получить лишь 12 мандатов, хотя прежде у нее их было 14. Зато все 12 принадлежали теперь сторонникам Гитлера, а среди коммунистов теперь не было ни одного *левого коммуниста*. И все же результат декабря 1924 года подтвердился в том отношении, что национал-социалисты по сравнению с коммунистами выглядели незначительной малой партией. И в самом деле новое правительство *Большой коалиции* не уделяло им большого внимания, а прусское правительство отменило прежде установленный запрет на деятельность этой партии в

Берлине. Куда важнее казалась быстрая радикализация германских националистов, приведшая в октябре на председательский пост в партии газетного магната Альфреда Гугенберга, в то время как умеренная часть партии постепенно вынуждалась к отпадению.

Ретроспективно время правления Большой коалиции с лета 1928 г. до весны 1930 часто представляется последним хорошим временем Веймарской республики. Однако современникам это порой виделось иначе; и симптомом слабости правительства стал спор о броненосце А, создавший чрезвычайно своеобразные отношения противостояния между министрами – социал-демократами и социал-демократической фракцией в рейхстаге. А уж так называемый "кровавый май" 1929 года, который, так сказать, оправдал в глазах народа крайний поворот Сталина и Коминтерна влево в 1928 года, был настоящим признаком тяжелой болезни.

Спор о постройке нового броненосца начался уже в 1927 году, и основные аргументы были высказаны тогда же: броненосец не нужен, представляет из себя просто опасную игрушку, поскольку на повестке дня должно стоять разоружение, а не вооружение, говорили представители СПДГ и Демократической партии; речь идет о предусмотренном в Версальском договоре восполнении потерь, которое необходимо для обороны Восточной Пруссии, возражали германские националисты и члены Народной партии. Сторонники постройки корабля взяли верх, и таким образом военный корабль был втянут в предвыборную борьбу. Социал-демократы вели ее отчасти под лозунгом "*Детское пособие вместо броненосцев*", который, надо полагать, немало способствовал их успеху на выборах. Но в августе 1928 г. министры-социал-демократы, чтобы избежать крушения и без того крайне непрочной коалиции, присоединились к решению остальных членов кабинета начать строительство. При этом во время новых дебатов в парламенте министры – социал-демократы в качестве депутатов проголосовали против решения, которое они приняли как члены кабинета. Коммунисты, в свою очередь, внесли в сентябре народную инициативу, состоявшую из одной фразы: "Строительство любых броненосцев и тяжелых крейсеров запрещается". Однако полученное ими на этот раз число голосов было намного меньше, чем на выборах в рейхстаг. Таким образом, их предложение не встретило народной поддержки; причин было, надо полагать, сразу несколько, и не последней из них было подозрение, что эта секция Коммунистического Интернационала стремится к преимуществу в вооружении для своего государства, Советского Союза. Но и поведение социал-демократов было весьма показательным; склонявшаяся вправо часть немецкого народа неизбежно должна была заподозрить, что эта большая партия так и не сумела осознать основные потребности государства, поскольку их аргументы против броненосца можно было развивать вплоть до тезиса, что не нужны и войска рейхсвера и что их бюджет нужно передать на пособия на детей или по безработице.

Так что старое утверждение, будто существует такая вещь, как *марксизм в целом*, получило новую пищу.

Но почти одновременно противоречия внутри "марксизма в целом" нашли новое, кровавое выражение в майских событиях.

В декабре 1928 г. начальник полицейского управления Берлина, социал-демократ, бывший бондарь Карл Фридрих Цергигель запретил в Берлине любые демонстрации и уличные собрания ввиду имевших место в последнее время жестоких столкновений между бойцами Ротфронта и СА. Министр внутренних дел Пруссии Альберт Гржезинский обнародовал 29 марта 1929 года "последнее предупреждение", в котором почти открыто угрожал запретом КПП. Вполне понятно, что КПП вела самую решительную агитацию против этого решения: демонстрации 1 мая составляли особенно старое и почтенное наследие всего рабочего движения. Власти уже хотели было и в самом деле отменить запрет на 1 мая, но убийство двух членов "Рейхсбаннера" вновь осложнило положение. При этом агитация КПП была на грани призыва к вооруженному восстанию: "Революционный порыв и воля к борьбе немецких трудящихся покажет социал-демократу, ставшему министром полиции у буржуазии трестов: Пролетариат плюет на ваши запреты".²⁶ СДПП, со своей стороны, употребляла выражения вроде: "КПП нужны трупы" или "по приказу Москвы", чем, в свою очередь, обостряла ситуацию. Коммунисты же вечером 30 апреля позволили нескольким сотням членов союза красных фронтовиков и молодых спартаковцев нападать на постовых на перекрестках; "Роте Фане" появилась первого мая с шапкой "Боевой май 1929 г.", а в передовице речь шла о "сигналах вновь поднимающейся волны пролетарской революции". Однако на улицы вышло лишь несколько тысяч демонстрантов; поэтому сомнительно, чтобы партия мобилизовала хотя бы только всех членов Союза красных фронтовиков и отправила их в штатском организовывать демонстрацию. Однако полиция, судя по всему, восприняла это именно так и прибегла к очень жестким мерам, чтобы разогнать шествие. Около полудня раздались первые выстрелы в главных центрах беспорядка на Кёслинерштрассе в Веддинге и на Германплац в Нойкёльне; первой, судя по всему, начала полиция, встреченная градом камней и бутылок и возмущенными криками "Легавые!". В ответ были двинуты танки, баррикады брались с боем, раздавался пугающий крик "Отойти от окон", поскольку из страха перед снайперами по открытым окнам сразу стреляли. Уже к вечеру первого дня насчитывалось 9 убитых и 63 тяжелораненых. Жаркие стычки повторялись до 4 мая, причем их завязывали в основном группы молодежи, которым население выражало свое сочувствие. 2 мая "Роте Фане" вышла со страстными обвинениями против "партии убийц" и "замаранной кровью правительственной коалиции", и призвала к "массовой забастовке", каковой призыв, впрочем, почти не встретил отклика. В прусском ландтаге атмосфера была накалена:

депутат Ендрецкий появился в полной форме Союза красных фронтовиков, Вильгельм Пик бросил в лицо социал-демократам "Банда убийц!", фракция стоя пела "Интернационал" и затем удалилась из парламента. В целом насчитывалось более 30 убитых, по большей части непричастные лица, в том числе женщины. Среди полицейских жертв не было, а из раненых полицейских только один получил огнестрельное ранение. Тем не менее 6 мая был запрещен Союз красных фронтовиков, Молодежный красный фронт и Красный флот.

Не только "Франкфуртер Цайтунг" и "Берлинер Тагеблатт", но и "*буржуазная пресса*" резко критиковали жестокое поведение полиции, действовавшей "как на вражеской территории". Зато газета "Форвертс" воинственно заявляла: "Коммунистам нужны были трупы и они мобилизовали люмпен-пролетариат <...> Долой коммунистов, позорящих рабочее движение!"²⁷ В самом деле, не нужно было особой злонамеренности, чтобы заподозрить, что коммунисты, всегда призывавшие к вооруженному восстанию, не прочь были провести его репетицию, и что глубокое возмущение, которое испытывала теперь значительная часть населения Берлина против "казаков Цергибеля" и "полицейского изверга"²⁸, было им весьма на руку и, конечно, ими разделялось. Язык правых газет тоже отличался чрезвычайной резкостью: все время говорилось о том, что у нас в Германии, похоже, снова настала "эпоха Керенского", "Дойче Цайтунг" заявляла о "массированной деградации отбросов общества в наш машинный век"²⁹, а "Дойче Тагесцайтунг" требовала "так основательно выкурить бандитские гнезда зачинщиков беспорядков, чтоб там больше никто никогда уже не смог обосноваться".³⁰ Вновь ожили старый страх перед гражданской войной и воспоминания о 1918-1923 годах, тем более что стали уже заметны первые признаки надвигающегося мирового экономического кризиса.

Однако коммунисты все еще видели — по русскому образцу — своих главных противников на грядущей гражданской войне в социал-демократах и Веймарском *государстве трестовой буржуазии*. А тем временем уже поднималась другая партия, которая точно также, как коммунисты, однако по прямо противоположным причинам кричала "Долой Гржезинского, Зеверинга, Цергибеля"; прошло совсем немного времени, и улицы Германии, а на свой лад — также газеты и театры Германии, стали театром гражданской войны. Правда, эта война оставалась ограниченной, поскольку правительство, полиция и войска рейхсвера все же сохраняли в своих руках основные рычаги управления. Требуемая *равноудаленность* давалась властям, конечно, с трудом, так как они до сей поры постоянно подвергались нападениям со стороны одной — намного сильнейшей — из двух партий.

Но в игре участвовало еще одно государство, и как раз 1 мая 1929 г. оно заметным образом вмешалось в немецкие дела речью своего военного

комиссара. Впрочем, это вмешательство не было абсолютно негативным и враждебным. Прежде чем мы станем говорить о внутринемецкой гражданской войне, бросим взгляд на государственные отношения между немецким Рейхом и Советским Союзом.

8. Государственные отношения между Германией и Советским Союзом

Германо-советские отношения описывались в научной литературе гораздо чаще, чем отношения коммунистов и национал-социалистов. Если мы ставим в центр интереса эти последние отношения, то вышеупомянутые межгосударственные связи отступают на второй план, во всяком случае, до 1933 г., поскольку национал-социалисты были в немецкой политике по отношению к Советскому Союзу и коммунизму главными представителями *социально-политической линии*, то есть той линии, которая видела в них прежде всего волю к мировой революции и намерение уничтожить буржуазию и была в этом согласна с самими коммунистами — только с обратным знаком. Но *государственно-политическая линия* не была просто противоположна социально-политической. Обе линии многообразно переплетались, между ними нередко возникала напряженность, но никогда — взаимоисключающая противоположность.

В некотором смысле государственно-политическая линия была даже старше: Германия благодаря своей поддержке революционной пропаганды — из стратегических соображений — во время войны, но прежде всего потому, что допустила проезд Ленина через свою территорию, была своего рода основательницей Советского Союза, а после Брестского мира его кормилицей в решающие месяцы. Но красный террор, вопли о помощи многих представителей буржуазии, революционная пропаганда в немецкой армии и за линией фронта не остались без влияния на руководителей государства, и как кайзер, так и рейхсканцлер Гертлинг, а также начальник северо-восточного штаба генерал Макс Гофман серьезно носились с мыслью послать немецкие войска на Петроград и Москву, чтобы установить дружественное Германии *белое* правительство. Но *белые* далеко не все были дружественно настроены к немцам, и к тому же были в большой своей части *красными*: ни одна партия не стояла решительнее на стороне Антанты, чем эсеры, и как раз убийство левыми эсерами немецкого посланника, графа Мирбаха, окончательно убедило немецкое правительство в том, что большевики — единственная значительная и организованная сила в России, которая решительно отвергает продолжение войны. Поэтому новый госсекретарь министерства иностранных дел фон Гинце отверг все прочие устремления¹ и заключил в конце августа 1918 года так называемые "дополнительные соглашения" с Советской Россией, которые означали для Ленина новую *передышку*.

Всего два месяца спустя московские руководители могли с большим облегчением и торжеством вступить в первый контакт с революционным немецким правительством. Каково же было их разочарование, когда народный уполномоченный Гаазе повел себя холодно и сдержанно, а чуть позже правительство Эберта выразило резкий протест против вмешательства во внутренние дела Германии, состоявшего в многочисленных воззваниях и прокламациях советского правительства. Поэтому дипломатические отношения, прерванные правительством кайзера под самый конец его существования, так и не были возобновлены, а после гибели Розы Люксембург и Карла Либкнехта, в которых уже видели будущих президентов Немецкой Советской республики, отношения становились все хуже и хуже, не в последнюю очередь из-за сопротивления, которое продолжали оказывать немецкие войска в Прибалтике продвижению русских и местных *красных*. В то же время такие люди, как, например, министр иностранных дел граф Брокдорф-Ранцау, ясно видели, каким большим козырем могли бы стать большевики для побежденной Германии: сыграть можно было на становившихся все острее *социально-политических* тревогах союзников, благодаря которым Германия могла занять в союзе почетное место, или же, наоборот, на союзе с Россией против Антанты.²

Обе возможности: ориентация на Запад с антибольшевистским акцентом, то есть приспособление государственно-политической линии к социально-политической, или ориентация на Восток как договоренность с большевистской Россией — сами собою вытекали из политической ситуации и географического положения Германии. Глубокое разочарование и унижение, которые пришлось пережить Брокдорфу в Версале, делало его сторонником второй линии, хотя он никогда не заходил так далеко в своей ориентации на Восток, как генерал фон Сект, который стремился прежде всего к уничтожению Польши и готов был в уплату на значительные внутрисполитические уступки.³ Напротив, Эберт и почти все социал-демократы неизменно придерживались западной ориентации, которая была для них единственной возможностью самоутверждения против коммунистов.

Но в игре присутствовала и третья линия, экономико-политическая, которую проводили многие немецкие предприниматели; эта линия не была непременно внеполитической или пробольшевистской, поскольку бывала порой связана с убеждением, что с установлением торговых связей *варварский* или *азиатский* характер коммунизма может быть смягчен. Собственно, то же убеждение представлял в Англии Ллойд Джордж, и уже в 1920 году англичане и немцы вступили в конкурентную борьбу за русский рынок. С советской стороны Карл Радек сделал первый шаг вперед по направлению к прагматической договоренности с буржуазным немецким правительством, которая, конечно, должна была лишь предварять идеологическое и материальное единство русской и немецкой Стра-

ны Советов: "Я слишком мало дипломат, чтобы притворяться, что верю в продолжительность нынешнего порядка в Германии. Немецкая буржуазия не верит в то, что мы будем жить долго. Итак, мы согласны в своих мнениях. Почему же нам не обменивать лен на лекарства, древесину на электроприборы? Вы ведь не требуете у тех, кому продаете подштанники, справку о бессмертии!"⁴.

Первые официальные контакты обоих правительств были связаны с решением проблемы военнопленных с обеих сторон. В Германии находилось около миллиона русских военнопленных, а в России, кроме значительного числа немецких военнопленных, еще и многочисленные интернированные гражданские лица. Поэтому уже в 1919 году было создано "Имперское Центральное бюро военных и гражданских пленных", руководителем которого был назначен бывший вице-фельдфебель по имени Мориц Шлезингер. Прикрываемый Брокдорфом-Ранцау, он расстраивал планы союзников набрать из военнопленных антибольшевистскую армию, а в ноябре 1919 года в Берлин приехал Виктор Копп как доверенное лицо советского правительства, чтобы заняться вопросом о военнопленных и по возможности установить дальнейшие контакты. В апреле 1920 года был подписан договор, и представители обеих сторон, Виктор Копп в Берлине и Густав Хильгер в Москве получили спустя некоторое время консульские полномочия и личную неприкосновенность.

В Германии постоянно ходили слухи об участии русских в революционных движениях, особенно после капповского путча, но убедительные доказательства не были представлены. Кульминацией отношений, пока еще неофициальных, стали июль и август 1920 года, когда Ленин стремился прежде всего установить общую границу с Германией. Немецкое правительство заявило о своем нейтралитете, но антизападное, антипольское направление многих политиков правой ориентации имело сильное влияние в военном министерстве и в министерстве иностранных дел. К этому направлению принадлежал не только Сект, но и дипломат Аго фон Мальцан и будущий рейхсканцлер Йозеф Вирт. Это впечатляющее доказательство силы русофильской прусско-немецкой традиции и уверенности, что Германия сможет вновь стать сильной державой, опираясь на антагонизм между Востоком и Западом. Ведь самое позднее с момента основания ОКПГ в декабре 1920 года было просто невозможно не видеть, что ситуация совершенно иная, чем перед войной: Советская Россия могла теперь с куда большим основанием полагать, что у нее есть собственная партия в Германии, чем Германия, считавшая большевиков в 1917-18 году такой "своей" партией. Ленин тоже упорно стремился к межгосударственному сближению, потому что надеялся извлечь выгоду из возникающих разногласий, и потому что он, как многие в России, с очень большим уважением относился к немецкому порядку и технике. Но и с немецкой стороны были не только стратегические соображения Секта и

Мальцана, но и заинтересованность многих предпринимателей в возобновлении торговли, то есть давление относительно самостоятельной *экономико-политической линии*. Поэтому министр иностранных дел Симонс нашел весной 1921 года дружественные слова в адрес советской России: несмотря на идеологическую противоположность, обе стороны могут общаться друг с другом в области реальной политики. Мартовская акция ничего принципиально в этом не изменила, хотя на этот раз влияние Коминтерна не вызывало сомнений. Существенной причиной такого дружелюбия была, конечно, озабоченность параграфом 116 Версальского договора, который оставлял за Россией право предъявить претензии на репарационные выплаты. Кроме того Вирт, *канцлер выполнения*, был ярым врагом *хищнического государства* Польши. В сентябре 1921 года были назначены с обеих сторон представители, правда, еще не обладавшие полнотой дипломатического статуса: профессор Курт Виденфельд в Москве и Николай Крестинский в Берлине. После решения союзников о Верхней Силезии, вызвавшего в Германии глубокое разочарование, Аго фон Мальцан был назначен начальником Восточного отдела Министерства иностранных дел. Примерно в то же время были установлены первые контакты между Красной армией и рейхсвером. С другой стороны, на Западе строили планы образования международного финансового консорциума с целью экономического возрождения России, и представителями этого направления были Ллойд-Джордж и вполне прозападнически настроенный министр иностранных дел Вальтер Ратенау. Ленин увидел в этом заговор капиталистов против независимости своей страны и дал весьма поучительные инструкции своей делегации, когда Россия, как и Германия, была приглашена к участию в мировой экономической конференции в Генуе.⁵ Самым важным и сенсационным их результатом стал Раппальский договор, подписанный 16 апреля 1922 года. Его непосредственная предыстория необычна и по сей день не прояснена до конца из-за недоступности советских документов. По сути договор был заключен против воли как Ратенау, так и Эберта, и все же речь шла о закономерном событии: два великих проигравших мировой войны объединились, взаимно отказались от хотя и весьма ненадежных, но принципиально важных претензий – русские от § 116, немцы от возмещения за национализацию немецкой собственности – и возобновили дипломатические отношения в полном объеме. Для западных держав подписание этого договора оказалось настоящим шоком, потому что на горизонте замаячила новая возможность международной политики: Германия и Россия, заключающие со временем настоящий союз против Запада. Прямо противоположная альтернатива, которую отстаивал Черчилль против Ллойд Джорджа, казалась теперь невозвратно упущенной: возможность сделать Германию союзником в освободительной борьбе против большевиков. Какой же шок испытал бы Запад, если бы переговоры вела Советская Германия

и заключила договор куда более полного союзничества! На самом деле у немецких коммунистов Рапалльский договор вызывал смешанное чувство торжества и разочарования, поскольку, нарушая изоляцию советской России, он в то же время укреплял немецкое буржуазное правительство и тем самым сопротивление революции. Был ли договор действительно *вехой* на правильном пути? Разве не считали напрасно в 1918-19 годах *вехой* правление Эберта, считая его аналогом правительства Керенского? Когда "*Роте Фане*" 18 апреля под заголовком "Немецко-русский договор" приводила такие доводы: "Для Германии нынешний поворот ее политики *может* иметь важные последствия. Если Ратенау воспользуется моментом и продолжит начатую политику, то все вопросы между Германией и странами Антанты *могут* быть поставлены *по-новому*. Не скроем, что мы не очень верим в способность г-на Ратенау последовательно проводить эту политику. Мы также не верим, чтобы на это было способно буржуазное правительство", — то в этом было мало как убедительности, так и убежденности.

"*Фёлькишер Беобахтер*", напротив, говорила о "продаже немецкого народа" и о "рапалльском преступлении"⁶, а после убийства Ратенау писала 28 июня 1922 года: "Ратенау выступал в Каннах за надгосударственное правительство банкиров. Но то же имя стоит под Рапалльским договором, который связывает Германию с большевистской, якобы до мозга костей антикапиталистической Россией. Перед нами — личный союз международной еврейской финансовой олигархии с международным еврейским большевизмом".

Итак, государственно-политическая линия была средней линией и служила сохранению срединного положения Германии. Брокдорф-Ранцау гордился своими доверительными, по его мнению, отношениями с Чичеринным, но в то же время всегда оставался при убеждении, что в Москве он имеет дело с "бессовестными фанатиками", цель которых состоит в том, чтобы продвинуть когда-нибудь "границы Азии" до Рейна.⁷ Штреземан, в свою очередь, прикрывал все усилия своих чиновников, направленные на сохранение хороших русско-немецких отношений даже тогда, когда речь шла об уступках шантажу, но *брак* с советской Россией означал бы в его глазах "лечь в постель с убийцей собственного народа".⁸ Брокдорф-Ранцау и Штреземан продолжали политику Рапалло только потому, что положение Германии как великой державы зависело, как казалось, от сохранения возможности манёвра по отношению к странам Антанты; они, в самом деле, оказали Советскому Союзу большую услугу, создав "Берлинским договором" апреля 1926 года противовес политике примирения с Западом, так что для Англии или Франции была отныне исключена возможность когда-либо сделать Германию стратегическим плацдармом для войны с Советским Союзом. Политика руководства КПП в эти годы была также не в последнюю очередь направлена на то, чтобы

предотвратить окончательную ориентацию Германии на Запад и воспрепятствовать "западно-европейским" тенденциям внутри самого коммунизма.⁹ Сомнительно, чтобы Советское правительство само верило в угрозу войны, которую оно расписывало яркими красками, поскольку есть основания полагать, и эти основания высказывались как сторонниками большевизма, так и его противниками, что в случае наступательной войны западных держав против Советского Союза им пришлось бы столкнуться с непреодолимым сопротивлением за линией фронта и у себя на родине.¹⁰ Однако отношения стали крайне напряженными после того, как правительство Болдуина, почувствовав себя под угрозой после всеобщей забастовки в мае 1926 года, приняло самые энергичные меры против советской системы влияния и шпионажа на территории страны и в конце концов прервало весной 1927 года дипломатические отношения. В Англии обычными стали газетные заголовки вроде "Советы или цивилизация", и там снова стали прислушиваться к тезисам, которые после 1920 года Уинстон Черчилль защищал уже в почти полном одиночестве: между Москвой и капиталистическими странами идет виртуальная война, в которой большевики все время нападают, в то время как буржуазная сторона – сегодня Великобритания, завтра, возможно, США – до сих пор была все время *жертвой* и еще даже не начала всерьез обороняться.¹¹ Немного позже и французский посол в Москве обнаружил, что находится примерно в той же ситуации, что генерал Офман летом 1918 года: в Советском Союзе осуществляется по отношению к крестьянам и последним остаткам буржуазии новая революция, "хладнокровно проводимая в состоянии совершенного внешнего мира и полного порядка внутри страны, с целью изничтожить все, что осталось еще от личной свободы и частной собственности". Поэтому Жан Эрбетт внушал своему министру иностранных дел Аристиду Бриану, что лучше подготовиться к разрыву отношений, чем проявлять "уступчивость перед лицом зла".¹² Итак, желание предпринять *крестовый поход* было налицо и в Англии, и во Франции, но оно не смогло превратиться в решение, поскольку в конце концов верх одерживало сознание, что структура общества не допустит столь необычной войны.

Препятствием было не только существование сильного социалистического движения, которое было в своей значительной части дружелюбно настроено к Советскому Союзу, но также и немецкая политика середины. В пределах этой политики левое крыло составлял как раз рейхсвер, и он же был самым тесным образом связан с Советским Союзом. Когда рейхсвер в 1923 году подавил угрозу коммунистического восстания в Средней Германии, в военном министерстве уже была "Зондергруппа Р", немецкие и русские офицеры вели между собой переговоры за спиной послов, и планировалось строительство немецкого авиационного завода под Москвой. После 1923 года совместная работа продолжалась: под Воронежем

возникло Липецкое летное училище, под Саратовым – школа химической войны, а под Казанью – полигон для боевых машин. Даже когда "Манчестер Гардиен", а спустя несколько дней Филипп Шейдеман в своей речи в рейхстаге 16 декабря 1926 года, предали гласности это сотрудничество, державшееся до той поры в глубокой тайне, и СДПГ, как и КРПГ начали шумную кампанию против *советских гранат*, ничто существенно не изменилось. Как раз в военных кругах получил распространение куда более позитивный образ Советского Союза и его армии, чем у немецких националистов и тем более национал-социалистов. Если коммунистическая пресса восхваляла сплоченность и внутреннюю силу Красной Армии, "о которых ни одной буржуазной армии и мечтать не приходится"¹³, то и главнокомандующий вооруженными силами генерал фон Бломберг пришел после продолжительной инспекционной поездки в 1928 году к очень похожему результату и не мог нахвалиться на теплое выступление военного комиссара Ворошилова "за сохранение тесных воинских отношений с рейхсвером".¹⁴

Но именно Ворошилов спровоцировал в следующем году серьезное ухудшение немецко-советских отношений.

1 мая 1929 года преемник Брокдорфа Герберт фон Диркзен вынужден был доложить, что во время первомайской демонстрации в Москве был вывезен макет броненосца с надписью, что Германия жертвует 80 миллионов на броненосец, в то время как ее безработные умирают с голоду. На этом корабле, выкрашенном в цвета немецкого государственного флага, двигались карикатурные фигуры, которые, согласно подписям, изображали имперских министров-социал-демократов, имперского военного министра, прусского министра внутренних дел и начальника полицейского управления Берлина. Ворошилов заявил в своей речи, что в якобы демократической Германии начальник полицейского управления Цергибель запретил первомайские демонстрации, но, несмотря на этот запрет, трудящиеся выйдут на улицы, чтобы провести демонстрацию во имя своих целей. На этот раз Штреземан не захотел смолчать и дал послу указание выразить резкий протест против "бесстыдного глумления над немецким флагом" и недопустимого вмешательства Ворошилова во внутренние дела Германии.¹⁵ В беседе со Штреземаном посол Крестинский объяснил, что первомайская демонстрация долгие месяцы готовилась в рабочих кругах, причем ни партийные органы, ни тем более правительство никак не были к этому причастны. Что же до Ворошилова, то его полемика была направлена исключительно против социал-демократической партии и ни в коем случае не против немецкого правительства.¹⁶ Немецкое правительство удовлетворилось этим не особенно правдоподобным объяснением; но вряд ли у него могли остаться хоть малейшие сомнения в том, что *дружественные* отношения между двумя странами покоятся на очень ненадежном фундаменте. Ведь государство Советский Союз одновременно заяв-

ляло о своем полном единении с одной из немецких партий, а эта немецкая партия, в свою очередь, уже создала обширную разведывательную службу, которой полностью руководили советские специалисты¹⁷ и которая почти уже превратила немецкую промышленность в стеклянный дом, √ полностью просматривавшийся из Москвы. Конечно, уже во время так называемого шахтинского дела в 1928 году утверждалось, что работающие в Москве немецкие инженеры тоже якобы сотрудничали с немецкой разведкой; но достаточно сопоставить гигантские аппараты КПП и разведывательной службы Красной Армии, а также полную замкнутость Советского Союза, с одной стороны, и то, что могло соответствовать этому в Германии, с другой, чтобы полностью убедиться в их несоизмеримости. Однако лучшими не коммунистическими друзьями Советского Союза в Германии, наряду с рейхсвером и с собравшимися в "Обществе друзей Советского Союза" интеллигентами вроде Генриха и Томаса Маннов, были, как ни парадоксально это выглядит на первый взгляд, представители *монополистической буржуазии*. Некоторые из них – в том числе такие влиятельные люди, как Петер Клёкнер, Эрнст фон Борзиг и Эрнст Пёнсген – отправились весной 1931 года в поездку по России, из которой они вернулись с большими надеждами и ожиданиями, поскольку им было обещано, что Советский Союз будет закупать в Германии еще больше промышленного оборудования, необходимого для выполнения пятилетнего плана, чем прежде. Правда, как раз эта поездка вызвала резкую критику в немецкой прессе, а межгосударственные отношения вновь подверглись тяжелому испытанию, когда Советский Союз в январе и ноябре 1932 года заключил договоры о ненападении с Польшей и Францией. Это представлялось шагом к укреплению Версальской системы, хотя Советский Союз с 1919 года принадлежал к самым резким ее критикам, и, если верить высказываниям Сталина¹⁸, не изменил своей позиции. Это были, пожалуй, самые своеобразные отношения двух государств во всей мировой истории: с точки зрения экономики надежды Германии преодолеть мировой кризис в большой степени зависели от *русских заказов*; с политической точки зрения срединное положение страны *между Востоком и Западом* зависело от существования Советского Союза. Но с социальной точки зрения Советский Союз был одной из сторон в гражданской войне, которая начинала разворачиваться в Германии после *кровавого мая*, когда *черный четверг* на Нью-Йоркской бирже в октябре 1929 года повлек за собой подобие послевоенного кризиса 1919-1923 годов.

9. Гражданская война ограниченного масштаба в Германии.

Условия, обеспечившие обеим партиям гражданской войны большое число приверженцев, возникли в Германии только с началом мирового эко-

номического кризиса, однако не кризис создал сами эти партии. Скорее, обе партии стояли к кризису в особом отношении, и представлялось более чем вероятным, что теперь они найдут широкий отклик.

Коммунистическая партия была воплощением учения о всеобщем кризисе *капитализма*. Она имела право заявить, что мировое развитие подтвердило это учение, когда 24 октября 1929 года произошло беспрецедентное падение курса акций и прочих ценных бумаг на Нью-Йоркской бирже; следствием этого стало столь же беспрецедентное сокращение производства, быстро перекинувшее и на прочие промышленные страны и соединившееся с тяжелым кризисом сельского хозяйства, к которому дело шло уже давно. Когда VI Конгресс Коминтерна летом 1928 года объявил о конце периода стабилизации капитализма, это вызвало недоумение и даже насмешку, поскольку в тот момент мировая экономика находилась еще в периоде высокой конъюнктуры; однако к началу 1930 года безработица, в особенности в Германии, стала непрерывно возрастать, и участники Большой коалиции никак не могли договориться о том, должно ли основное бремя кризиса лечь на загнанных в угол высокими расходами по заработной плате и накладными расходами предпринимателей, чья конкурентоспособность на мировом рынке и так была ослаблена, или на наемных рабочих, чей доход очень часто не намного превышал прожиточный минимум. Результатом стало падение правительства Мюллера и создание кризисного президентского правления под руководством Генриха Брюнинга в конце марта 1930 года. Эрнст Тельман утверждал, что тем самым к власти в Германии пришел фашизм; однако речь шла, даже если президент страны осуществлял теперь через посредство рейхсканцлера на основании статьи 48 нечто вроде диктатуры, несомненно, о диктатуре временно уполномоченных, которая не больше отличалась от нормальной партийной демократии, чем кризисное состояние экономики от нормального состояния при средней конъюнктуре. При внимательном рассмотрении между конъюнктурой и кризисом и в самом деле не было никакой принципиальной разницы; в капиталистической системе, то есть в мировой рыночной экономике, производство и потребление не связаны непосредственно между собой, как на крестьянском дворе с натуральным хозяйством или в изолированной сельской общине, а соединены множеством посредствующих ступеней с самостоятельно действующими агентами. Таким образом, эта система сама по себе представляет собой непрерывный кризис, то есть непрерывный процесс приспособления и развития, в котором постоянно встречаются более крупные кризисы, как узлы в сети. Но поскольку коммунисты ориентировались именно на такой крестьянский двор или на такую сельскую общину и хотели снова вызвать ее к жизни на *более высокой ступени* посредством планового хозяйства, то они и оказались самым подходящим рупором и передовым отрядом всех тех, кто больше всего страдал от кризиса или сильнее всего возмущался

несправедливостью и неравенством, неизбежно проистекавшими из индивидуализма этой системы, то есть из направленной на *прибыль* свободы действий отдельных лиц и предприятий. Коммунисты не задавались вопросом, не гарантирует ли эта система, чей общий характер, сложившийся в ходе многовековой истории, выходит за рамки экономики, все же более высокую степень защищенности и благосостояния для каждой отдельной личности, чем любая другая, если понимать ее как находящуюся еще в процессе совершенствования; для них скорее разумелось само собой, что замена этой несправедливой, хаотически необозримой и недифференцированной системы на *социализм* навсегда устранил нищету и эксплуатацию, вражду между народами и войну. Во время мирового экономического кризиса они смогли поэтому вновь стать *великой партией протеста и надежды*, какой они были в конце войны со своим неприятелем *войны народов*.

Но были, конечно, и особые причины, объяснявшие необычную остроту кризиса. Уже в начале двадцатых годов не кто иной, как сам Джон Мейнард Кейнс, написал брошюру об экономических последствиях мирного договора, в которой предостерегающе указывал на непредвиденные последствия немецких репарационных платежей, поскольку речь здесь идет о политически обусловленных и потому чуждых системе перемещениях капитала. Не был ли бы кризис куда менее острым, будь отменена *выплата дани*? Возможно, это менее масштабное решение было и более реалистичным; однако оно тоже представляло исключительные трудности, поскольку получатели репараций Англия и Франция должны были, в свою очередь, Америке большие выплаты по военным кредитам. Если США не готовы были отказаться от своих претензий, то национал-социалистская агитация против выплаты дани неизбежно выливалась в установление немецкой автаркии. Немецкие националисты и национал-социалисты и в самом деле не остановились перед этим следствием, начав еще до этого черного четверга широкомасштабную агитацию против *плана Янга*, который, согласно воле союзников и немецкого правительства, должен был заменить план Дауэса. Новый план обещал Германии значительные выгоды, но зато устанавливал твердую дату окончания репарационных выплат — 1988 год, что могло быть истолковано как *порабощение* немецкого народа на два поколения вперед.

Оппозиция этому плану была неизбежна и не противоречила системе, но то, как, с какой демагогической энергией *Имперский комитет по немецкой народной инициативе*, где Гугенберг и Гитлер сотрудничали на равных правах с представителями *Стального шлема* и *Общенемецкого союза*, проводил эту оппозицию, сильно помогло НСНРП приобрести всенародное значение и значительно увеличить число подаваемых за нее голосов при выборах в ландтаги и органы местного самоуправления. Хотя народная инициатива в декабре провалилась самым жалким образом, она

послужила все же поразительным доказательством того, сколь многого может достичь демагогическая агитация, несмотря на свою очевидную глупость; ведь отклонение плана Янга не устранило выплату дани, а только оставило в силе план Дауэса. Но когда президент страны в июле 1930 года распустил рейхстаг, потребовавший отмены важного постановления, вызванного чрезвычайным положением, КПП опубликовала к новым выборам в августе 1930 г. свое "Программное заявление о национальном и социальном освобождении немецкого народа", которое значительно превосходило национал-социалистские требования по радикальности и безответственной демагогии. Партия торжественно объявляла, что в случае прихода к власти она аннулирует все обязательства Германии по Версальскому договору и не станет платить ни пфеннига процентов по империалистическим займам, кредитам и капиталовложениям. Кроме того, она требовала введения семичасового рабочего дня и четырехдневной рабочей недели, а также обеспечения для тех немецких областей, которые выскажут такое желание (то есть для Южного Тироля и Судетии), возможности присоединения к Советской Германии, причем произойти это должно "по взаимному согласию с революционными рабочими Франции, Англии, Польши, Италии, Чехословакии и т.д.". ¹ Большой демагогии и большей наивности невозможно себе представить; Гитлер, всегда выступавший за уплату частных долгов, неизбежно предстал в сравнении с этим умеренным и разумным человеком или, по крайней мере, политиком прозападной ориентации, который не стремится с самого начала разорвать связи Германии с мировой экономикой; коммунисты же, в тех случаях, когда они не ограничивались просто националистическими фразами, требовали, по сути дела, немецко-русского мирового господства. И все же выборы 14 сентября принесли им большой успех, и они неустанно торжествовали свою победу, сделавшую их в Берлине самой сильной партией и увеличившую число принадлежавших им мандатов до 77. Но успех национал-социалистов был намного значительнее. 6,5 миллионов избирателей отдали свои голоса за более чем 100 национал-социалистских депутатов в рейхстаге, и такого рывка — с 12 до 107 депутатов — не делала еще ни одна партия за всю историю немецкого парламента.

"Роте Фане" гордо публиковала поздравления "Правды" и Коминтерна, а ее передовица от 16.09 уверенно говорила о готовящейся борьбе за Советскую Германию, в которой не будет больше "никакого Гитлера и Геббельса, но и никаких социал-фашистских пионеров фашизма".

Национал-социалисты, в свою очередь, увидели в результатах выборов "смертельный приговор всей политике выполнения"; 25 сентября они получили разрешение опубликовать статью лорда Ротермира, которую газетный магнат написал для своей "Daily Mail". Статья приписывала национал-социалистам задачу окончательного спасения всей Европы от

большевизма, за что они имели право ожидать значительных уступок от Польши и Чехословакии.

На открытие рейхстага 13 октября 1930 года 107 национал-социалистов явились в коричневой форме своей партии и заняли – заметное цветковое пятно – большую часть места на правой стороне помещения. Впрочем, двумя с половиной годами раньше, на открытии рейхстага 1928 года, ничуть не меньше бросались в глаза формы Союза красных солдат на скамьях, занимаемых коммунистами, и воинственные фигуры многих их депутатов.² Дело и в правду тут же дошло до шумных сцен. Две партии гражданской войны, стремившиеся к взаимному уничтожению, причем обе по своему значению и по ставившимся целям отнюдь не были чисто немецкими, теперь со значительными силами противостояли друг другу в парламенте. Нам пора теперь бросить взгляд на ту гражданскую войну, что разыгрывалась на улицах Германии, а также – по-иному – на газетных лотках и в книжных магазинах, и – не в последнюю очередь – внутри парламента.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что речь идет о гражданской войне *ограниченного масштаба*, поскольку правительство, несмотря на все уличные стычки и все вербальное насилие в брошюрах и газетах, в конечном счете прочно держало в своих руках бразды правления. В России после захвата власти большевиками разразилась настоящая гражданская война между большими вооруженными формированиями, не подчинявшимися никакой вышестоящей инстанции; дело дошло до этого главным образом потому, что страна еще не вышла из войны и была по размеру слишком велика, чтобы партия, победившая в столице, могла сразу утвердиться повсюду. Но и в Италии, где впервые в мировой истории в 1920-22 годах парламентское правительство столкнулось с двумя сильными партиями гражданской войны, борьба между социалистами и фашистами полностью охватила многие районы страны, так что роль государства свелась временно практически к нулю. В Германии, напротив, кризисное президентское правительство Брюнинга, равно как и давно утвердившееся правительство Веймарской коалиции в Пруссии, применяло для поддержания своей власти полицейские наряды, конфискацию газетных тиражей, запреты ношения формы, ограничение права на демонстрации и даже принудительные выпуски газет. Так, например, в Пруссии все газеты должны были опубликовать заявление правительства, когда в августе 1931 года был проведен референдум о роспуске прусского ландтага, поддержанный Стальным шлемом и НСНРП; к этому референдуму в последний момент успели присоединиться и коммунисты, поспешно назвав его "красный референдум". Кульминацией этого самоутверждения правительства был запрет СА и СС, изданный министром внутренних дел генералом Гренером, после того как Гинденбург был, благодаря усилиям Брюнинга и после симптоматичной перемены отношения к нему со сто-

роны СДПГ, в апреле 1932 года во второй раз избран президентом Германии и со значительным преимуществом одержал победу над Гитлером. История этого правительства рассказывалась неоднократно, поэтому достаточно будет упомянуть несколько важнейших пунктов: поддержка со стороны СДПГ, которая поставила своей высшей целью "предотвратить фашистское правление, направленное против рабочего класса по итальянскому образцу"; участвовавшие отзывы кредитов после сентябрьских выборов; политика экономии и дефляции, которая обостряла кризис, но приближала внешнеполитическую цель отмены репараций; возрастание числа безработных до 6 миллионов в 1932 году; неудача намечавшегося немецко-австрийского таможенного союза вследствие противодействия Франции; "Гуверовский мораторий" в июле 1931 года; вызов, брошенный *германским национальным "Гарцбургским фронтом"* в октябре 1931 года; нарастание числа голосов, отдаваемых за национал-социалистов, вплоть до кульминации на выборах в прусский ландтаг 24 апреля 1932 года; растущее недоверие к Гинденбургу и отставка канцлера 30 мая 1932 года. Ни в один из этих моментов не было опасности, что правительство утратит контроль над ситуацией, но не было еще и опасений, что коммунисты и национал-социалисты могут объединиться между собой помимо общего голосования "против" в парламентах.

Но, несмотря на ограниченный масштаб этой гражданской войны, она все же не ограничивалась уличными стычками; она отражалась также и даже прежде всего в теоретических статьях, полемических брошюрах, агрессивных газетных статьях. Эта духовная гражданская война началась тем более не с правительством Брюнинга, а с самого начала Республики как взаимное отрицание права на существование между коммунистами и воинствующими антикоммунистами в стороне от нормальных дискуссий, *поддерживающих государство* партий.

Мы уже описывали это начало, но как в период стабилизации, так и позже, во время кризиса, исходный пункт и важнейшие составные элементы оставались неизменными: речи коммунистов о смертном приговоре, палаче и могиле, выражавшие их веру в предстоящий конец капиталистической системы. Этой вере служили описания успехов социалистического строительства в России, где рабочие, наконец, могут чувствовать себя хозяевами государства. В подтверждение предсказания организовывались и поездки делегаций, которые по возвращении со специально разработанных маршрутов, где им оказывался особый прием, должны были прийти к выводу, что виллы немецких капиталистов скоро также превратятся в детские дома и школы, как дворцы русского дворянства.³ Поэтому сообщения о том, что "Мансфельдские горные разработки" Отто Вольфа получили из карманов налогоплательщиков 7 миллионов марок только потому, что мультимиллионер угрожал уволить рабочих, не могли вызывать ничего, кроме возмущения, поскольку "миллионеры, увольняющие

рабочих, должны быть поставлены к стенке, а не получать еще и вознаграждение".⁴ В борьбе за освобождение и упрочение положения рабочих не должно делаться никакой разницы между еврейскими и христианскими капиталистами, как того хотят национал-социалисты, потому что и те, и другие в равной мере эксплуататоры и равно приговорены к смерти историей, в то время как немецкие и еврейские пролетарии (поскольку таковые существуют) должны держаться вместе.⁵

Таким образом, с 1925 по 1933 год, несмотря на заметное усиление роли национал-социалистов, произошло, в сущности, лишь легкое смещение акцентов, поскольку основным врагом оставалась капиталистическая система, а внутри этой системы основное внимание долгое время направлялось на социал-демократию. Так, в 1925 году Карл Радек использовал в пропагандистских целях скандал вокруг братьев Барматов не менее активно, чем национал-социалисты, и точно также говорил в своей брошюре "Барматовская социал-демократия" о "польско-еврейско-голландско-немецких спекулянтах", которые особенно расположены к социал-демократии, в то время как Штресеман, например, в значительной мере опирается на концерн "русского еврея Литвина". Но главная причина всей и всяческой коррупции заключается, по Радеку, в том, что социал-демократия поддерживает капитализм. Поэтому только устранение лидера этой партии может создать здоровую, то есть свободную от коррупции обстановку: "Когда немецкая революция повесит Шейдеманов и всю социал-демократическую Барматову клику, то, может быть, она изваяет им памятник из мрамора: собака, бескорыстно лижущая хозяйскую плетку".⁶

Вальтер Ульбрихт, в свою очередь, учитывал (о чем случалось писать и Радеку), что определенная часть рабочих подкуплена буржуазией посредством более высокой заработной платы и что нацисты на основании коалиционной политики СДПГ и АДГБ [ассоциации немецких профсоюзов] могут "приобрести влияние в мелкобуржуазных, а отчасти и в рабочих слоях", и потому требовал "прогнать капиталистических паразитов: крупных промышленников, банкиров, юнкеров, крупных торговцев, буржуазных политиков, предателей рабочего класса, спекулянтов и ростовщиков" по "блестящему примеру" Советского Союза.⁷

Нетрудно увидеть, почему "покатятся головы" Гитлера и даже его антисемитизм не особенно взволновали немецкую общественность: ведь даже Радек стремился использовать антисемитские настроения, а грандиозные истребительные планы Ульбрихта неизбежно задевали и большинство евреев, хотя лишь через тотальную экспроприацию.

Несмотря на это, коммунизм сохранил свою притягательность для интеллигенции и для людей, чувствительных к морали. Так, в Мангейме городской пастор Эккерт обосновывал свой переход из СДПГ в КПГ тем, что он пошел туда, где действительно пытаются помочь труждающимся и обремененным: "Капитализм должен умереть, чтобы народ мог жить".

Только благодаря большевизму, объяснял он, может быть положен конец ужасному обнищанию масс, поскольку большевизм сегодня не что иное как сам трудящийся, нуждающийся народ.⁸

Национал-социалистской пропаганде было не так-то просто ответить на столь простой и трогательный аргумент. Пример России устрасил поначалу даже не всех крестьян, тем более что КПГ остерегалась говорить о *коллективизации*; что же касается рабочих, нельзя было не заметить, насколько *марксистские* представления им, если можно так выразиться, врождены. Поэтому "Национал-социалистская организация фабричных ячеек" критиковала эксплуатацию, произвол предпринимателей и вообще капитализм не менее жестко, чем марксисты, пытаясь только поставить национальную программу на место интернациональной.

Несколько легче было пропагандистам там, где речь шла о сохранении традиционных ценностей. Так, Ганс Шемм в своей брошюре "Красная война. Мать или товарищ?" демонстрировал читателям альтернативу "христианское жизнеутверждение или варварское уничтожение! <...> Гитлер или Сталин!", и призывал их при вечернем звоне произносить молитву: "Сохрани, нас господи, от чумы, от уничтожения большевистским зверем".⁹

Куда грубее выражался Йозеф Геббельс в своем сочинении "Наци-соци", где антибуржуазная полемика занимает столь же важное место, что и антиеврейская, при невозможности установить с полной определенностью, о какой именно идет речь. "Нет ничего более лживого, чем толстый, откормленный буржуй, протестующий против пролетарской идеи классово-вой борьбы.<...> Конечно, еврей тоже человек. <...> Но блоха тоже зверь, и притом неприятный. И поскольку блоха – неприятный зверь, то наш долг – не оберегать и защищать его <...>, а обезвредить".¹⁰

Как сильна была внутренняя зависимость, показывают уже заголовки вроде "Коммунистические рабы капитала", причем доказательствами служат в этом случае объявления больших магазинов в "*Роте Фане*", а с другой стороны – и ссуды Уолл-стрит Советскому Союзу.

В отношении самого Советского Союза было, конечно, нетрудно указать, в противовес славословиям коммунистов, на *другую сторону*; это делалось не в последнюю очередь с помощью цитат и перепечаток сочинений разочаровавшихся коммунистов, таких, как книга Панайота Истрати "Россия нагишом"¹¹, где из собственных впечатлений и советской прессы вырисовывалась картина, в центре которой стояли уже не ужасы ЧК, а условия труда и заработная плата.

Никакого соответствия у национал-социалистов не обнаруживается с представлениями Агитпропа, поскольку трудно считать таковым первые попытки с местами тинга, а также *борьбу за немецкую культуру*. Для вечеров декламации и театральных представлений этих групп типичным было не ограничиваться атакой на национал-социалистов, а нападать на

все, что так или иначе связано с *капитализмом*. Так, в одной из песенок ("Зулейка Негопар"), высмеивающих "Немецкую государственную партию", организацию-преемницу Немецкой демократической партии, поется:

*Весьма неприятная смесь!
Такая народно-еврейско-национальная!
И ноги у нее рахитические,
И нос у нее семитический,
Глаза голубые и расово-чистые
И каждый говорит: "Это не я!"¹²*

В том же номере "*Красного Рупора*" (*Pote Шпрахор*) опубликован текст инсценировки, в которой Гитлер, Геббельс и несколько простых нацистов изрыгают клич "Сдохни, жид!". На другой стороне сцены стоят капиталисты, в том числе и еврейские, и один из них говорит: "К сожалению, это стоило денег, но будет и прибыль". В конце *актеры, изображающие нацистов*, срывают с рукавов повязки, и, держа коммунистические эмблемы, поют: "Евреев тоже можно вынести, если они жертвуют кое-что для ваших фондов; можно иногда отважиться и на один-другой погром, лишь бы это не кончалось классовой ненавистью".¹³ Очевидно, национал-социализм понимается тут как ущербный модус коммунизма, а антисемитизм рассматривается как первый шаг на верном пути, поскольку он направлен против еврейских капиталистов.

Бросается в глаза частота, с какой высмеиваются *попы* и Центр, очевидно, в связи с *защитой Советского Союза*. Положительное решение сформулировано в одной "Солдатской песне" так:

*"Мы защищаем Советский Союз, тебя, наша красная Родина <...>
<...> Всеми миру грозит фашизм..."*

Пролетарий, есть лишь один путь – красная республика мстителей!"¹⁴

С не меньшей эмфазой провозглашается внутривойсковое направление атаки:

*"Смерть буржуазии! ... Гражданская война! <...>
Наша Родина – Советский Союз".¹⁶*

Согласно полицейским донесениям, особо кровавые песни распевались часто детскими группами: "Мы разжигаем, мы торопим классовую борьбу, кулаки готовы к удару, пинок по телу буржуазии <...> Вцепляйтесь в глотку буржуазному государству <...>". В конце хоровой декламации красные пионеры набрасываются на актеров, обряженных в полицейскую форму, и при бурных аплодисментах зрителей валят их на землю. После этого к стенке прислоняют несколько портретов и звучит вопрос: "В кого первого будем стрелять? В Гитлера <...> в Геббельса <...> в Брюнинга <...> в Зеверинга <...> в Гржезинского!"¹⁶.

На национал-социалистских мероприятиях столь кровавых речей и сцен, как правило, не бывало, поэтому вполне можно понять, что и прусская полиция в 1930-1933 годах рассматривала коммунистов как главных врагов, а национал-социалистов порой чуть ли не как союзников, тем более что обширная *разлагающая работа*, которая имела успех лишь у очень небольшой части полицейского состава, шла только со стороны коммунистов. Не удивительно поэтому и мнение одного из функционеров СДПГ, что призрак фашизма исчезнет, а решающим вопросом будущего будет "за или против большевизма".¹⁷

Однако самое поразительное выражение этой духовной гражданской войны обнаруживается не в коммунистической литературе, а в органе левой интеллигенции, "Вельтбюне", и атака его направлена не против национал-социалистов, а в целом против образованных слоев Германии. Курт Тухольский писал в 1927 году под заглавием "Датские поля": "Пусть газ просочится в детские ваших сыновей и дочек! Пусть эти куколки медленно сползут на пол! Я желаю жене члена консистории, и жене главного редактора, и матери скульптора, и сестре банкира, чтоб все они умерли горькой мучительной смертью, все они вместе! Потому что они этого хотят, не хотя этого. Потому что они ленивы. Потому что они не слышат, не видят и не чувствуют".¹⁸ Несомненно, Тухольским здесь, как и везде, руководили самые благородные пацифистские побуждения. Но зло никогда не бывает результатом посредственных и редко – низменных чувств. Тухольский высказал огульное обвинение, которое делало очень вероятным, что меры уничтожения в предстоящей гражданской войне не останутся на излюбленных *спекулянтах* или хотя бы на *буржуях*, что даже женщинам и детям не будет пощады.

В оправдание Тухольского следует сказать, что он знал о зверствах *ландскнехтов*, которые вызывали куда большее озлобление, чем даже *смертные приговоры тайных судилищ* мнимым или подлинным предателям. Во всяком случае, уже в 1928 году он мог читать описание действительно отвратительной сцены в книжечке "Серьезное и смешное из жизни путчиста" бывшего офицера добровольческого корпуса, а теперь высокопоставленного фюрера СА фон Киллингера. Киллингер рассказывает там, как во время боев в Мюнхене в 1919 году к нему привели *дурную бабенку*, которая проявила упрямство. Тогда он приказал унтер-офицеру с помощью двух солдат задрать ей юбки и полечить ее ударами плетки по голому задку.¹⁹ Трудно представить себе, что должно было вызывать у клеймимых позором и поставленных под угрозу уничтожения групп населения большую горечь и гнев – необузданная фантазия Тухольского или донельзя реальные зверства Киллингера.

Тем, кто среди этих оргий ненависти доверяли разуму и стремились к объективности, было на редкость трудно занять позицию над схваткой и в то же время позицию политически действенную, поскольку они и сами

подвергались яростным нападениям. Социал-демократы были склонны направлять свою полемику против господствующих классов времен до 1914 года, поскольку именно эти люди составляли теперь подлинную силу коричневых рядов, в то время как рабочие и средний класс были, собственно, естественными союзниками СДПГ. Депутат рейхстага Антон Эркеленц писал, что у прусского юнкера и у померанского деревенщины пахнет Азией. Но, даже объявляя коммунистов прислужниками фашизма, он противопоставляет кровавой бойне народной войны, планируемой коричневыми²⁰, старый боевой клич "война дворцам".

Очень редко встречаются слова понимания и приятия ситуации в Германии в целом. Такие слова нашли Герберт и Элизабет Вайхман в заключение своего рассказа о путешествии в Советский Союз, беспристрастно и достоверно описывающего "повседневность в Советском государстве": всеобщую бесклассовую нищету, отсутствие всякой созерцательности и досуга после уничтожения старой интеллигенции, "торопливую, дымную, наполненную шумом машин и борьбой людей повседневность". Поэтому поездка привела их к новому взгляду на вещи: "Мы спокойно могли бы относиться к обстановке у себя дома, в Германии, с большим терпением и любовью, осознав, насколько спокойнее и по-человечески достойнее наша жизнь, чем мы это хотим порой представить".²¹

Но в глазах коммунистов Герберт и Элизабет Вайхманн тоже были не более чем *социал-фашистами*. Даже на теории, на абстрактных, на первый взгляд, построениях лежал отпечаток духовной гражданской войны. Впрочем, понятие социал-фашизма не было в первую очередь плодом теоретических размышлений: оно было глубоко эмоционально укоренено в опыте и оценках более ранних времен, а именно в ненависти ортодоксальных марксистов к *реформистам*, а позже, во время войны, к *предателям*, социал-патриотам и социал-шовинистам. Однако полемика перешла в новое качество, когда Зиновьев после немецкого октябрьского поражения объявил в январе 1924 года левых социал-демократов "флангом фашизма", а Сталин в сентябре 1924 года присоединился к нему с утверждением, что фашизм и социал-демократия – близнецы. Вполне последовательным было поэтому объявить после сентябрьских выборов, что к власти пришел "брюнинговский фашизм", и что всякий, кто против пролетарской революции, тем самым стоит на стороне фашизма. Напрашивался вопрос, чем же вообще отличается фашизм от всего остального, если уже *буржуазная демократия* есть не что иное как *диктатура буржуазии*, и если только один из двух *основных классов* может осуществлять диктатуру. Поэтому требованием момента могла быть только одно-временная борьба против обоих вспомогательных отрядов буржуазии: против НСНРП как *национал-фашизма* и против СДПГ как *социал-фашизма*, причем основной удар должен был быть направлен против социал-демократии как коварнейшей из двух враждебных сил.

Оппозиционные группы внутри КПГ видели в этой концепции угрозу гибели своего дела, так что смысл их обращений к партийному руководству, начиная с 1930 года, сводился к тому, что "сим — понятием социал-фашизма — побежден будешь". Значительнейшей из этих группировок была КПГ-О, собравшая в своих рядах исключенных из партии правых; ее возглавляли Генрих Брандлер и Август Тальгеймер. Но и *красные фронтовики* прилагали немалые усилия, чтобы вернуть коммунистов в русло единого рабочего движения, хотя резкая критика бюрократизма и зависимости партии, а с другой стороны, их собственное нежелание отказаться от понятия "диктатуры пролетариата" обрекали попытку с самого начала на явную безнадежность.

Критики теории социал-фашизма нашли мощную поддержку в лице Льва Троцкого, которого с 1929 года можно причислить к русской эмиграции. Троцкий острее, чем кто бы то ни было, ощущал опасность, заключавшуюся в том, что борьба коммунистов против социал-фашизма прямо-таки подталкивает национал-социалистов к захвату власти; понимал он и то, что, если это произойдет, Гитлер не будет через несколько недель или в крайнем случае месяцев свергнут наконец-то объединившимися под руководством КПГ пролетариями, как того ожидали в Коминтерне. Скорее национал-социалистское правительство, единственное из всех буржуазных правительств, было бы в состоянии вести войну против СССР, и в этой войне Гитлер был бы исполнительным органом всего мирового капитализма, "верховным Врангелем мировой буржуазии".²²

✓ Это было поразительное пророчество, но на самом деле Троцкому, чтобы прийти к этому прогнозу, достаточно было спроецировать собственные методы в борьбе с эсерами и большевиками и свои наступательные войны против Грузии и Польши на *буржуазную Германию*. Свои надежды Троцкий опять-таки строил на аналогии с русской революцией, а именно на пренебрежительном отношении к количественному перевесу голосов: "На весах выборной статистики тысяча фашистских голосов весит столько же, сколько тысяча коммунистических. Но на весах революционной борьбы тысяча рабочих одного предприятия представляют в сто раз большую силу, чем тысяча чиновников и служащих вместе с их женами и тещами. Основная масса фашистов состоит из человеческой пыли".²³

✓ Здесь Троцкий, в свою очередь, ошибался, поскольку не учитывал того факта, что, хотя в НСНРП и влились многие миллионы *мелкой буржуазии и не просвещенных рабочих*, но ядро партии состояло из многочисленных офицеров мировой войны; соответствующий слой в России большевистская партия уничтожила или вынудила к вступлению в Красную армию. Но в том, что Троцкий был настроен враждебно к национал-социализму, не менее враждебно, чем КПГ-О или красные фронтовики, нет ни малейших сомнений.

Иначе обстояло дело с оппозиционными группировками внутри национал-социализма или смежных с ним. Их тоже отталкивала бюрократия и господство бонз в партии, а также – не в последнюю очередь – гитлеровская "тактика легальности", но они не делали из этого вывода, что партия должна повести более энергичную и организованную борьбу с коммунизмом. Скорее они требовали более решительного похода против Версальского договора, западных держав и капитализма, и тем самым сближались с КПГ, а порой и переходили на ее сторону. Самый знаменитый пример – Эрнст Никиш, который в своей газете "*Widerstand*" ["Сопротивление"] вел борьбу с национал-социалистами, видя в них враждебную силу романизации на немецкой земле, которая притупляет остроту борьбы против Версальского договора, урбанизации, буржуазного декаданса и капиталистической денежной экономики, потому что, отрицая большевизм, они отрицают тот русско-азиатский образ жизни, в котором заключена единственная надежда на освобождение Германии, на ее эвакуацию с "перины английской проституции".²⁴ Но наибольшей сенсацией стал переход к коммунизму Рихарда Шерингера, одного из трех лейтенантов расквартированного в Ульме полка под командованием полковника Людвига Бека, которые в 1930 году были приговорены к тюремному заключению за национал-социалистское разложение войск рейхсвера. Во время этого процесса Гитлер дал присягу оставаться в рамках законности; эту-то "тактику легальности" яростно отвергал Шерингер, попавший в крепости Голлнов в некое подобие коммунистической высшей школы, где он понял, что настоящая "политика силы по отношению к западным державам" возможна только в том случае, если сперва будет покончено, в ходе уничтожения капитализма, также с либерализмом, пацифизмом и западным декадансом.²⁵ Некоторое время КПГ придерживалась, начиная с апреля 1931 года, *линии Шерингера*, которая примерно соответствовала радековскому шлагетеровскому курсу 1923 года; эта линия привлекла в КПГ немалое число национал-социалистов и национал-революционеров, в том числе Бодо Узе, а также капитана Беппо Ремера, тогдашнего главы Горского союза, и графа Штенбок-Фермора. Все они, как и сам Рихард Шерингер, были преисполнены уверенности, что перешли из мниморадикальной партии в подлинно радикальную. При этом не было ни одного сколько-нибудь известного коммуниста, который с подобным обоснованием перешел бы к национал-социалистам. Ведь было очевидно, что борьба с евреями – лишь частичный и отвлекающий маневр, если основной задачей является борьба на уничтожение против капитализма или *Запада*.

Но и тогда, когда главной задачей объявлялась борьба с коммунизмом, не был ли антисемитизм проявлением самообмана и вялости? Во всяком случае, Шерингер мог позволить себе замечание, что в ЦК КПГ нет ни одного еврея, в то время как в руководстве концерна Гугенберга можно

обнаружить сразу нескольких.²⁶ Не было ли это удобное объяснение – будто виновниками здесь является определенная и легко вычленимая группа людей – уходом от подлинного понимания феномена коммунизма? С другой стороны, спрашивается, не отвечала ли эта упрощенная конкретизация другой конкретизации, когда виноватыми во всем оказывались *капиталисты* или даже *спекулянты*, так что первая отличается, собственно, лишь меньшей степенью абстракции.

Во всяком случае, там, где духовная гражданская война выливалась в обучение насильственной гражданской войне, коммунисты, следует признать, далеко опережали противника. С 1923 года они распространяли газету, которая называлась "*О гражданской войне*" ("Фом Бюргеркриг"), а позже "*Октябрь*" ("Октябрь"), они издавали книги, содержавшие конкретные рекомендации по организации вооруженного восстания, пусть даже основном в форме описаний удавшихся или неудавшихся гражданских войн прошлого, например, русского Октября, но также Ревельского (1924) и Кантонского (конец 1927) восстаний. В книге А. Нейберга "Вооруженное восстание" (1928), в написании которой участвовали, кроме Эриха Волленберга и Ганса Киппенберга, также Михаил Тухачевский и Хо Ши Мин²⁷, тщательнейшим образом излагаются разнообразные проблемы, связанные с насильственным захватом власти. Так, в мельчайших подробностях описывается гамбургское восстание 1923 года, которое в целом рассматривается как не совсем удачное подражание перевороту в Петрограде. Индивидуальный террор для революционных целей полностью одобряется, и авторы, со ссылкой на Ленина, доходят до требований "ликвидировать вождей контрреволюции" или "вовремя разделаться с правящей верхушкой противника". В целом самое важное – "уничтожить живую силу противника", и сюда же относится и применение "классового террора" против буржуазии.²⁸ Все эти советы опирались на действительные события; не было ни малейшего сомнения, что авторы – испытанные бойцы и действительно подразумевают именно то, что пишут.

Напротив, не более чем мысленным экспериментом были так называемые Боксгеймские документы, ставшие большой сенсацией в конце 1931 года, поскольку в них видели доказательство того, что национал-социалисты готовятся к гражданской войне. Автор, д-р Вернер Бест, ни коим образом не набрасывал планы насильственного захвата власти, а исходил из гипотетической, в принципе возможной ситуации, что после коммунистического восстания прежние высшие органы государственной власти будут упразднены, так что единственным представителем и защитником нации останется вторая воинствующая партия (СА и ландсверы). На этот случай намечался образ действий, хотя и очень жесткий, но не намного выходящий за пределы тех мер, которые предпринимаются военными в ситуации восстания. Самое заметное различие состоит в том, что только "каждый немец (не еврей)" с 16 лет обязывается к военной

службе по предписанию властей.²⁹ В этом документе, бесспорно, заявлена готовность к решительной борьбе, но столь же бесспорно, что неуместно ставить его на одну доску с "*Вооруженным восстанием*" и прочими подобными публикациями коммунистов.

Зато очень похоже описывают основные печатные органы обеих партий конкретные проявления ограниченной гражданской войны в уличных стычках; мало отличаются и делаемые по этому поводу заявления, даваемые разъяснения и выдвигаемые требования.

Из "*Роте Фане*" можно предложить, например, такую подборку заголовков, употребительных выражений и высказываний: "Убийцы со свастикой <...> бандиты-убийцы <...> Цергибелева солдатня <...> нацисты и полицейские обстреляли дом Либкнехта <...> банда нацистов напала на красных студентов <...> оргия смертельной травли (со стороны буржуазной прессы после убийства капитанов полиции Ленка и Анлауфа) <...> нацистское логово убийц <...> логово главарей убийц <...> походом на квартал поджигателей войны <...> на Западе, в кварталах поджигателей войны и фашистов <...> они (военнослужащие Красной Армии Китая) ставят к стенке китайских Сименсов, китайских офицеров полиции и генералов <...> в Берлинском управлении полиции в коммунистах видят просто врагов (цитата из статьи Осецкого) <...> наш фюрер: Сталин <...> (под фотографиями Сименштадта): фабрики будущего Ленинштадта <...> Сегодня это еще фабрика Сименса. В будущем это будет фабрика Маркса. Сегодня это еще фабрика Вернера. В будущем – фабрика Сталина. <...> Гражданская война СА против рабочих кварталов Берлина <...> коричневые подонки-убийцы."

В "*Фёлькишер Беобахтер*" аналогичные формулировки звучали так: "безобразные налеты коммунистического сброда <...> красная смерть продолжает бушевать <...> большевистское дно в Берлине <...> коммунисты стреляют в национал-социалистов <...> представители русского советского Иностранного легиона <...> красные хотят гражданской войны <...> красные бандиты-убийцы <...> скотские зверства красных монстров <...> бандиты Гёрзинга <...> марксистская бойня: 8359 убитых и тяжело раненых национал-социалистов".³⁰ "Член Гитлерюгенда Герберт Норкус заколот коммунистами <...> кровавая травля марксистского "Железного фронта" <...> московский генерал кавалерии Тельман <...> красное убийство в Верхней Силезии <...> красные выродки <...> Рейхсбаннер – шайка убийц".

При всем сходстве примечательны и различия: обе партии враждуют не только друг с другом, при этом коммунисты причисляют к своим врагам полицию ("бандиты Цергибеля"), а национал-социалисты приравнивают к коммунистам Рейхсбаннер. Коммунисты не упускают важного преимущества социологических характеристик и непременно называют *убийцей рабочих* каждого полицейского, который перед лицом грозящей

толпы применил табельное оружие; национал-социалисты, в свою очередь, используют самоидентификацию коммунистов с *Москвой* и тот факт, что *люмпен-пролетариат* в основном переходил на сторону коммунистов. (Но коммунисты, конечно, тоже использовали это ортодоксально-марксистское понятие и применяли его к безработным из СА).

Приведем три наглядных примера этой гражданской войны.

20 марта 1927 года берлинские отряды СА (по численности равные тогда едва ли десятой части Союза красных фронтовиков) отмечали первую годовщину своего основания ночным собранием в Треббине (Бранденбург), где гаулейтер д-р Геббельс произнес зажигательную речь. На следующий день на вокзале штурмовики заметили в переднем вагоне подъезжающего поезда красных фронтовиков. Те приветствуют их, вскинув сжатые кулаки; штурмовики восприняли это как провокацию и бросились штурмовать купе. Красные, достав пистолеты, не дали противникам приблизиться. Те пришли в страшное возбуждение. На каждой остановке они швыряют камни в окна вагона. На станции Лихтерфельде-Ост штурмовики выходят из поезда и вновь ломаются в купе коммунистов. При этом штандартенфюрер получает пулю в живот. Еще один из штурмовиков гибнет под выстрелами. Но вагон, где едут коммунисты, значительно уступающие штурмовикам по численности, сильно пострадал от камней, и когда, наконец, появляется наряд полиции, выясняется, что почти каждый из 23 коммунистов тяжело ранен. Со станции около 1000 штурмовиков маршируют через Штеглиц и Фриденау до Виттенбергплац. "Обнаглевшие евреи были без долгих разговоров прибиты". Но уже на следующий день ни один штурмовик не смел показаться в форме на улицах Берлина. Прусское правительство запретило берлинскую местную организацию НСНРП.³¹

17 июля 1932 года гамбургские отряды СА провели под защитой полиции демонстрацию, маршрут которой был намечен прежде всего по рабочим кварталам Альтоны. Это намерение было воспринято коммунистами и, очевидно, большей частью населения, как провокация. Кто выстрелил первым, осталось невыясненным, но, во всяком случае, СА и полиция обнаружили, что находятся на враждебной территории и подвергаются со всех сторон яростным атакам; они отвечали так же, как это делала полиция в *кровавом мае* 1929. 18 убитых и 16 тяжелораненых стали жертвами этих событий, которые приходится квалифицировать как нападение коммунистов, поскольку *права на демонстрации* никто не отменял. Но ответственность лежит на национал-социалистах, поскольку вступление одетых в форму и, как можно было предполагать, вооруженных людей во враждебно настроенные кварталы представляет собой не демонстрацию, а невыносимую провокацию.

Когда вновь избранный прусский ландтаг, в котором большинство составляли коммунисты и — с трехкратным превосходством — национал-

социалисты, собралось 25 мая 1932 года на свое первое заседание, дело быстро дошло до яростных дебатов о прусской юстиции, которую с обеих сторон горячо упрекали в пристрастности и предубежденности. Вильгельм Пик, взяв слово, закричал национал-социалистам: "Только с появлением вашей партии на политической арене были введены массовые убийства революционных рабочих. В ваших рядах сидит огромное количество убийц".³² Тут депутаты-национал-социалисты устремились к ораторскому возвышению, чтобы стащить оттуда Пика. Члены коммунистической фракции бросились ему на помощь. В результате завязалось самое настоящее сражение, в ходе которого коммунисты, сильно уступавшие числом, были вытеснены из зала, причем многие получили тяжелые повреждения. Социал-демократы, как и центристская фракция, с началом рукоприкладства покинули зал заседаний, за что коммунисты их жестоко упрекали; на эти упреки те отвечали встречным вопросом: должны ли они вступаться за тех, кто так часто обзывал их "убийцами рабочих" и угрожал "короткой расправой".³³

Вину за *Кровавое воскресенье в Альтоне* можно с полным основанием возложить на новое имперское правительство Папена, которое было образовано после отставки Брюнинга под существенным влиянием главы военного министерства генерал-лейтенанта фон Шлейхера. Это было первое имперское правительство, в образовании которого гражданская война в ограниченном масштабе между коммунистами и нацистами сыграла — среди прочих обстоятельств — существенную роль, и это было первое правительство, которое вынуждено было всерьез считаться с возможностью неограниченной гражданской войны против обеих экстремистских партий. С его приходом начался канун захвата власти нацистами.

10. Канун захвата власти национал-социалистами

Что президент Германии 30 мая 1932 года выразил недоверие своему рейхсканцлеру — на то было много причин; не последней из них было то, что Гинденбург затаил злобу на Брюнинга именно из-за выборов, которые сделали из него кандидата *красных* и *католиков* и тем самым вызвали отчуждение от правых. Именно поэтому он так настаивал на смене курса вправо, чему сопротивлялся Брюнинг. Еще одной существенной причиной стал запрет СА, доказывавший как раз беспристрастное отношение правительства к партиям, поскольку Союз красных фронтовиков был запрещен еще с мая 1929 года. Но Гинденбург, как и Грёнер, не был убежден в том, что национал-социалистов можно приравнять к коммунистам, поскольку они все же совершенно по-разному относились к государству, к национальной идее и к военной службе. Поэтому запрет был предпринят со своего рода педагогической целью, а именно, отделить

"прекрасный человеческий материал", собравшийся в СА, от тех, кто является большевиками по своей сути, и тем самым вернуть первых к сотрудничеству с государством. ¹ Тем не менее Гинденбург считал этот запрет слишком жесткой мерой, в том числе потому, что военизированные формирования других партий не были запрещены. Он имел при этом в виду в первую очередь Рейхсбаннер, считавший сам себя надпартийным и республиканским объединением. И вот к всеобщему изумлению 1 июня рейхсканцлером был назначен малоизвестный депутат от Центра Франц фон Папен. Он образовал кабинет, где большинство мест занимали представители знати, так что не одни социал-демократы называли его *кабинетом баронов*. Новое правительство сразу приняло два важных решения: отменило запрет СА и ношения нацистской формы и распустило рейхстаг. Новые выборы были назначены на 31 июля. Сами по себе эти постановления были демократическими; они являли собой противоположность политике Брюнинга, который при создании своего второго кабинета в октябре 1931 года подчеркнул, что будет теперь еще более независим от партий. После выборов последних месяцев не оставалось сомнений, что рейхстаг, выбранный в сентябре 1930 года, не выражает воли народа. Но большая демократичность неизбежно означала в тот момент и большой радикализм, и с этой точки зрения постановления оказывались *не* в пользу демократии. Подобный парадокс можно наблюдать и в государственном перевороте 20 июля, когда было смещено правительство Брауна в Пруссии, а на его место поставлен рейхскомиссар в лице самого рейхсканцлера фон Папена. Дело в том, что правительство Брауна после тяжелого поражения на выборах 24 апреля сохранило лишь административные права, и то лишь потому, что старый ландтаг в последний момент предпринял весьма сомнительное изменение регламента. Тем самым правительство занимало не демократическую позицию и вызывало явное недовольство. Но его смещение обосновывали нарушениями общественного порядка, с которыми правительство Брауна якобы не сумело справиться, при том, что ответственно за эти нарушения, в первую очередь за кровавое воскресенье в Альтоне, было прежде всего имперское правительство, сделавшее возможным это шествие штурмовиков СА в коричневых формах по враждебно настроенным кварталам. Но подлинные причины смещения кабинета были другого порядка; они состояли в старой неприязни правых партий к *красному царю* Отто Брауну и *культур-большевизму*, якобы насаждавшемуся прусским правительством, но, прежде всего, в озабоченности определенной тенденцией к *антифашизму*, проявившейся в переговорах, которые вел с коммунистами статс-секретарь Абегг. Присутствовало, конечно, и желание лишить национал-социалистов возможности распоряжаться прусской полицией, если бы они, договорившись с Центром, приобрели перевес в правительстве. Так что и в этом авторитарном акте демократические и антидемократические моменты были своеобразно пе-

реплетены между собой, и не удивительно, что ни со стороны правительства Брауна, ни со стороны социал-демократической партии не последовало никакого сопротивления. Ситуация — уже по причине наличия 6 миллионов безработных — была совсем другой, чем при призыве к всеобщей забастовке против Каппа в марте 1920 года, в том числе и потому, что на этот раз можно было заранее ожидать, что коммунисты попытаются извлечь из этого выгоду для своих целей. По этой причине прусская полиция никак не могла считаться полностью надежной. Еще в конце 1931 года прусский министр внутренних дел Зеверинг в одном из своих рескриптов прямо указывал, что участвовавшие нарушения порядка и налеты связаны прежде всего с коммунистическими отрядами, сформировавшимися в основном из членов распущенного Союза красных фронтовиков, но, возможно, и из рядов "Боевого союза борьбы с фашизмом".² Поэтому капитуляция прусского правительства 20 июля не была ни беспричинной, ни непонятной. Фактически же она стала значительным шагом на пути, закончившемся пока выборами 31 июля, начиная с которых и для Германии в целом создавалась ситуация, беспрецедентная в современном большом государстве. Национал-социалисты добились на этих выборах беспрецедентного триумфа, чему, впрочем, не приходилось удивляться после президентских выборов и результатов голосования в Пруссии: они получили 14 млн. голосов и 230 мандатов. Но и коммунисты могли не без основания утверждать, что одержали крупную победу: 5,3 миллиона голосов и 89 мест в рейхстаге достались им; теперь они были сильнее социал-демократов уже не только в Берлине, но и в большей части Рурской области и Средней Германии. Но в самом ли деле они близились к своей заветной — с первых дней республики — цели: стать партией немецкого рабочего класса? В выборном округе Хемниц-Цвикау, одной из старейших цитаделей рабочего движения, национал-социалисты получили около 550 000 голосов, социал-демократы — 260 000, коммунисты — 230 000, в то время как все остальные партии вместе едва дотягивали до 80 000. Во всяком случае, при таком составе рейхстага ни одно правительство не могло рассчитывать на большинство при голосовании, если национал-социалисты находились в оппозиции, поскольку вместе с коммунистами они имели негативное большинство в 52% голосов. Единственным выходом казалась коалиция между национал-социалистами и центром, и многие серьезно обсуждали возможность назначения Гитлера на пост рейхсканцлера; такую возможность не исключал, судя по всему, и имперский военный министр фон Шлейхер, все больше выдвигавшийся на передний план. Но межпартийные переговоры зашли в тупик, и решение должен был принимать Гинденбург, который не хотел никакого партийного правительства, не говоря уж о партийной диктатуре. Папен, со своей стороны, желая участия национал-социалистов в правительстве, тем не менее не стремился предоставить им ведущую роль. Результатом стала знаме-

нитая беседа 13 августа, в ходе которой президент кратко и нелюбезно отказал лидеру самой сильной партии, причем с обоснованием, что он по совести не может взять на себя ответственность за назначение на пост рейхсканцлера человека, который требует *всей полноты власти* для себя и для своей партии. Вероятно, в этом отказе было заключено толкование, соответствовавшее сути, но не буквальному тексту заявленных притязаний, и Гитлер, судя по всему, долго не мог забыть полученную травму. Авторитарное правительство Папена вынуждено было оказывать сопротивление расколотов в себе народной воле, которой оно само же сперва проложило путь. Так возник указ от 9 августа против политического террора, предусматривавший смертную казнь за убийство по политическим мотивам. Это тут же поставило правительство в трудное положение: вскоре специальная судебная комиссия в Бойтене вынесла пять смертных приговоров национал-социалистам, совершившим зверское убийство коммуниста, а Гитлер в телеграмме заверил "своих товарищей" в своей полной с ними солидарности против "чудовищного кровавого приговора". Скорое помилование виновных неизбежно выглядело как уступка, хотя для этого были существенные юридические основания: осужденные на момент совершения преступления еще не знали об указе. Столь же симптоматичной, сколь и курьезной была и история самого недолговечного до сей поры рейхстага республики. Его открыла 30 августа старейшая депутатка Клара Цеткин; она произнесла боевую коммунистически-антифашистскую речь, в конце которой выразила надежду открыть вскоре, как старейшая депутатка, первый съезд советов Советской Германии. За этим последовал – при необычных обстоятельствах – роспуск рейхстага: президент рейхстага национал-социалист Гёринг в нарушение регламента поставил на голосование коммунистический вотум недоверия правительству, который и был принят 512 голосами против 42 (немецкие националисты). Это был самый большой триумф совместной игры коммунистов и национал-социалистов, вопреки их обоюдной смертельной вражде, но он оказался недолгим, так как пришлось признать законность приказа о роспуске со стороны президента страны. Папен стремился подчеркнуть принцип авторитарного правления, но он не мог не назначить новых выборов, и для них был намечен срок 6 ноября. С этих выборов начинается непосредственный канун захвата власти Гитлером.

Здесь уместно будет остановиться и задуматься: какие альтернативы имелись в этой исключительной ситуации, единственным приблизительным соответствием которой была Италия 1922 года, хотя там существовала тогда лишь сравнительно малочисленная коммунистическая партия, да и партия Муссолини, хотя и была весьма сильна на улицах, была представлена в парламенте лишь небольшим числом депутатов?

Самой ранней альтернативой, которая в 1918-19 годах представлялась самой существенной, был выбор между *капитализмом и социализмом*,

между буржуазной или социалистической демократией. Но эта альтернатива была вскоре размыта событиями в России и положительным применением понятия диктатуры коммунистами. Поэтому уже в 1918 и 1919 году Карл Каутский, Отто Бауэр, Фридрих Штампфер, да, по сути, и все социал-демократы сформулировали постулат "Демократия, а не диктатура". Они вовсе не хотели тем самым отказываться от первой альтернативы, но решительно отстаивали в противовес коммунистам мнение, что прогресс социализма возможен только на пути формальной, или буржуазной демократии. Уже в первые послевоенные годы наряду с "диктатурой" в употребление вошли такие термины как *тотализм* и *претензия на исключительность*, и это было продолжением основного русла европейской государственной мысли со времен Монтескье; долгие годы эти понятия применялись в первую очередь против большевизма, который именно поэтому нередко и многими назывался *азиатчиной*. Однако уже в 1920 году появился термин "*правые большевики*", а в 1929 президент рейхстага Пауль Лёббе наглядно выразил зарождающуюся "концепцию тоталитаризма", обратившись к коммунистам и к национал-социалистам со следующими словами: "Если бы была осуществлена государственная воля господ справа, то Вам (коммунистам) предстояло бы стать к стенке. Если бы была осуществлена Ваша государственная воля, то Вы поставили бы к стенке господ справа. Мы предоставили и Вам, и прочим всего лишь гражданские права. Может быть, нам удастся предоставить г-ну Троцкому политическое убежище в Германии".³ Но и Альфред Гугенберг, по сути дела, так же высказался о Гитлере в марте 1932 года: решительно отклоняя объединение всех ключевых постов в руках Гитлера, он пояснял, что "такого не было до сих пор в германских странах ни при каком императоре и короле".⁴ Иначе, и все же в сходном духе, высказалось прусское правительство в своем воззвании от августа 1931 года против внесенного Стальным шлемом и национал-социалистами референдума, которому предстояло быть в то же время и красным референдумом: "Национал-социалисты и коммунисты хотят хаоса, хотят падения существующего порядка вещей. Но каждый из них надеется поставить свое господство на место свергнутого и получить возможность попирать ногами остальных — тех, кто только что были его желанными союзниками по референдуму".⁵ Необычное и выдающееся в этой позиции состоит в том, что она позитивна по отношению к собственным противникам, стремясь удержать их от взаимного уничтожения, поскольку их существование признается заслуживающим сохранения и необходимым для системы. Но предпосылкой этой позитивной позиции было, конечно, недвусмысленное собственное желание сохранить устоявшийся порядок, то есть нереволюционное дальнейшее развитие условий *либеральной системы*, и именно это представляло трудности для социал-демократов. Исходная альтернатива снова и снова предъявляла свои права, и ведущие представители этой партии не-

редко с такой яростью высказывались против *капиталистической системы*, что казались неотличимыми от коммунистов. Так, в воззвании руководства СДПГ по поводу банковского кризиса июля 1931 года значилось, что ложь о "марксистской бесхозяйственности" придумана лишь для того, чтобы "отвлечь внимание от подлинных виновников: капиталистической системы и ее представителей".⁶ Особенно отчетливо проявилась эта двойственность в речи депутата Зольмана во время дебатов в рейхстаге в феврале 1931 года. С одной стороны, он констатировал, что уровень жизни масс в обеих диктаторски управляемых странах, в России и в Италии, ниже уровня жизни в демократических странах по всему земному шару. Но это не помешало ему чуть ниже выдвинуть следующее утверждение: "Не марксизм, а капитализм доказал свою несостоятельность".⁷

Итак, если альтернатива с долгой традицией *социализм или капитализм* была способна порой заслонять первую из подлинных альтернатив послевоенного мира, а именно *демократия против тоталитарной диктатуры*, то эта последняя, в свою очередь, не оставалась без влияния на вторую альтернативу: *авторитарное правление или хаос*. Это было лозунгом Папена, да уже и Брюнинга, и оба имели основания ссылаться на то, что демократия не может успешно служить противовесом диктатуре в том случае, когда демократические методы ведут к разрушению демократии, отвергаемой сильным меньшинством или даже большинством избирателей. Помочь тут может, очевидно, только независимая сила, а именно избранный народом президент и поддерживаемое его доверием правительство, которое оберегает лучшие элементы демократии, например, правовое государство, но приостанавливает, по крайней мере, временно, действие ее плохих и опасных составляющих, как, например, безудержная партийная агитация и лозунги гражданской войны. Только сильное государство может в этом случае обуздать разнуздавшееся общество и сохранить его от самоуничтожения. Но и эта концепция, вызвавшая к жизни целое учение о *новом государстве*, обнаруживало кричащие противоречия. Если она действительно стремилась создать полное равенство сил, нацеленных на диктатуру, то шансы на успех в эпоху свободы прессы были у нее невелики. Поэтому в своем радиообращении 20 июля Франц фон Папен особо подчеркнул, что не следует приравнивать коммунистов к национал-социалистам: "Поскольку во влиятельных политических кругах не могут решиться на то, чтобы отказаться от политического и морального приравнивания коммунистов к национал-социалистам, возникает противоестественный единый фронт, в котором враждебные государству коммунистические силы берутся в союзники против продвижения НСНРП".⁸ Но не прошло и трех месяцев, как рейхсканцлер заявил в своей речи, что Гитлер 13 августа претендовал на пост канцлера "ради принципа "тотальности", "исключительности", который его партия ставит во главу угла. Эта претензия на тотальность была, однако, отклонена президен-

том страны и им самим, продолжал рейхсканцлер, поскольку есть непреодолимое различие между консервативной политикой, основанной на вере, и национал-социалистской верой, основанной на политике.⁹ Но могло ли консервативное и христианское руководство страны оказаться как таковое достаточно сильным, чтобы одержать верх над *двумя* тоталитарными движениями, с их взаимоотрицающими претензиями на исключительность? Оно, конечно, справилось бы с этим, если бы имела конституционная норма, обязывающая все соблюдающие конституцию партии объединяться, как только число голосов тоталитарных партий переходит известную границу. Однако такой нормы не существовало; в то же время сомнительно, чтобы подчеркнуто христианское правительство могло повести за собой социал-демократов и демократов. Последней и крайне возможностью избежать третьей альтернативы оставались широко-масштабные запретительные меры, включающие применение в полную силу рейхсвера и полиции, а это значит – включающие готовность к гражданской войне.

Третья альтернатива звучала: *советская звезда или свастика*. Она была сформулирована уже в 1923 году¹⁰, и в правление Брюнинга получила самое широкое распространение и популярность. Однако коммунисты понимали ее всегда только как внешнее видоизменение неизменного противопоставления социализма и капитализма. Так, депутат Кёнен говорил в рейхстаге в июле 1930 года: "Под знаком массовой политической забастовки пойдет борьба между коммунизмом и фашизмом, объединением всех реакционных сил от бюрократов СДПГ до нацистов под руководством финансового капитала. Этот путь к диктатуре банкиров наткнется на железную волю коммунистической партии, которая во главе рабочих поведет с помощью массовой политической забастовки борьбу за советскую Германию".¹¹ Годом позже Герман Реммеле говорил так: "Сегодня ясно: умирающий, гибнущий капиталистический мир не имеет больше никаких средств спастись или удержаться на плаву. Никакие властные средства уже не могут ему в этом помочь. Мы – завтрашние победители, и вопрос: кто кого? – уже не стоит. Этот вопрос уже решен".¹² А против повторения этой зловещей ленинской альтернативы гражданской войны "кто кого" так же уверенно и решительно вновь и вновь звучала песня Хорста Весселя: "Гитлеровские знамена уже развеваются на всех улицах, рабство скоро кончится", а также непрестанные заверения Гитлера, что он уничтожит *марксизм*, и тогда советская звезда повергнется в прах перед свастикой. Однако, несмотря на противоречивые высказывания, победа свастики понималась не как простая метаморфоза капитализма, а должна была, очевидно, вести против "Ротфронта и реакции" на национальный путь социализма. Так эту ситуацию часто трактовали и за границей, например, в книге американского журналиста Г. Р. Кникербокера "Германия: так или этак?"¹³ (то есть под свастикой или под серпом и молотом),

где наряду с наглядными описаниями нужды бедных и роскоши широких кругов экономической буржуазии, за Гитлером как представителем "немецкого сопротивления" признавались гораздо большие шансы на успех, чем за коммунистами; автор заканчивал, однако, мрачным замечанием, что Америка должна быть благодарна Атлантическому океану, но между Западной Европой и Советским Союзом океана нет.

Самая простая надежда – на возвращение Германии к *нормальному состоянию* – окончательно погибла 6 ноября. Да, в 1924 году выборы в рейхстаг тоже проходили дважды, причем на вторых выборах число голосов как за коммунистов, так и за "Ди фёлькишен" или же национал-социалистов заметно уменьшилось, что и входило в намерения и цели правительства. Однако на этот раз, во-первых, разве что немногие оптимисты могли заметить хоть какое-то улучшение конъюнктуры, а кроме того, на самом деле речь шла уже не о вторых, а о пятых больших выборах за год. Так что результат был совсем другим, чем в 1924 году. Национал-социалисты потеряли два миллиона голосов, и число мандатов в их руках сократилось с 230 до 196. Некоторые из их противников уже готовы были поверить, что можно спокойно дожидаться момента, когда эта партия также снова исчезнет в никуда, как она возникла словно бы ниоткуда в 1930 году. Но НСНРП потеряла по сравнению с 1924 годом намного меньше голосов и утвердилась как партия, имеющая несравненное численное превосходство. Большинство потерянных нацистами голосов осталось у правых, перейдя к немецким националистам под руководством Гугенберга. Однако с надеждой собственными силами достичь абсолютного большинства национал-социалистам пришлось окончательно расстаться, так что результат можно описать как усиление нерадикальных сил внутри почти не ослабевшего правого крыла, которое, однако, только вместе с центром могло образовать парламентское большинство. Куда более необычное и тревожное впечатление производил результат выборов в рамках левого крыла. Коммунисты продолжали подниматься и располагали теперь 100 мандатами. Их победа шла за счет СДПГ, которая потеряла 12 мест в парламенте. Итак, внутри левого крыла радикальные силы усилились, и самым поразительным во всей выборной кампании был тот факт, что коммунисты в Берлине, приобретя еще около 140 000 голосов, далеко обошли СДПГ и были теперь в столице рейха почти так же сильны, как социал-демократы и национал-социалисты вместе взятые. Кроме того, они были теперь сильнее СДПГ еще в целом ряде выборных округов, особенно в Рурской области и в Средней Германии. Таким образом, они сильно продвинулись к достижению своей цели сделать СДПГ маленькой партией *рабочей аристократии*, а себя утвердить как партию немецкого пролетариата. Как показал пример Берлина, всю Социал-демократическую партию можно было теперь рассматривать как потенциальный резервуар голосов для коммунистов.

Но еще больше, чем результаты выборов, взволновало общество внепарламентское событие, происходившее между 3 и 7 ноября, а именно забастовка берлинских транспортных предприятий. Речь шла о *дикой* забастовке, начатой против воли руководства профсоюзов, причем призвали к ней совместно Красная профсоюзная оппозиция (РГО) и Национал-социалистская организация заводских ячеек (НСБО). В руководящем комитете, кроме трех независимых профсоюзных деятелей, было восемь членов РГО и четыре члена НСБО. Забастовка была столь популярна, что при голосовании о ее проведении было почти достигнуто требуемое большинство в три четверти голосов. Поводом для забастовки стало предусматривавшееся понижение зарплаты, которого требовали муниципальные власти, чтобы выровнять зарплаты на различных городских предприятиях; итак, речь шла о забастовке для сохранения неравенства. Однако, или как раз поэтому, участники были настроены весьма радикально, причем согласно большинству известий, национал-социалисты были еще агрессивнее, чем коммунисты. В составленных полицией списках лиц, подстрекавших к бросанию камней в вагоны трамваев, к сооружению баррикад и проч. встречается почти столько же членов НСНРП, сколько и КПГ.¹⁴ Берлинское транспортное общество лишь с большим трудом могло поддерживать частичное функционирование транспорта. В день самих выборов берлинский общественный транспорт практически не работал. РГО призвала к массовой политической забастовке, чтобы "подготовить крах господствующей системы", причем напоминали о той забастовке, что "смела Куно и Каппа".¹⁵ Однако вскоре выяснилось, что прочие работники муниципальных предприятий не присоединились к забастовке, направленной некоторым образом против них, еще менее того — рабочие крупных частных предприятий. Но когда 8 ноября отток людей, желавших вновь взяться за работу, уже нельзя было сдерживать, на собрании в Гогенцоллеровском зале 400 присутствовавшие национал-социалисты высказались за продолжение забастовки, в то время как РГО выступала за ее прекращение. Согласно сообщениям шпиков о позднейших заседаниях функционеров РГО, там было много самокритики, но по большей части "слева", а также раздавались жалобы, что "руководство в последнее время все время присылает инструкторов <...>, которые даже не говорят как следует по-немецки". На это председатель собрания заявил, что "невозможно отказаться от работы с русскими товарищами, поскольку они являются самыми подходящими элементами для того, чтобы внести подлинный революционный подъем в настроение рабочих масс".¹⁶

Во всяком случае, отчет, который глава берлинской полиции представил 14 января 1933 года министру внутренних дел, был составлен вовсе не в целях пропаганды; там сообщалось об опросе, проведенном КПГ на предприятиях, и этот опрос был назван одной из подготовительных мер КПГ для успешного проведения в жизнь ожидаемых от нее в обозримом

времени решительных боев. "Поскольку радикализм в среде рабочего класса все нарастает, КПП определенно считается с возможностью захватить вскоре власть в Германии. Она снова проводит подготовительные мероприятия, чтобы оказаться победительницей в гражданской войне".¹⁷

Слова уверенности и даже торжества, звучавшие со стороны ЦК КПП после выборов, не были, таким образом, необоснованны. Тот факт, что не только "прорыв в рабочие массы социал-демократии" продолжался с большим размахом, но были завоеваны и "значительные массы рабочих — национал-социалистов и прочих работающих сторонников гитлеровского движения"¹⁸, должен был порождать уверенность и надежду. Конечно, коммунисты сознавали и свою большую слабость; об этом один из функционеров РГО высказался на закрытом заседании откровеннее, чем можно было себе позволить в публичных выступлениях: непонятно, заметил он, то ли коллеги вовсе утратили революционные настроения, то ли они настолько дрожат за свои рабочие места и поэтому и слышать не хотят о всеобщей забастовке?¹⁹ С этим отсутствием революционного энтузиазма у немецких рабочих были призваны бороться вышеупомянутые русские товарищи, но подлинным прорывом должна была стать все же не всеобщая забастовка против правления Гинденбурга или Гитлера; прорыв должен был обеспечить огромный потенциал национал-социалистически настроенных избирателей из числа рабочих, которые спустя несколько недель или в крайнем случае месяцев такого правления потекут, разочарованные и ожесточенные, сотнями тысяч в ряды КПП, точно так же, как тысячи национал-социалистически настроенных работников Берлинского общественного транспорта участвовали в забастовке вместе с РГО. Только тогда *вооруженное восстание* в Германии одержит победу, как оно одержало ее в России в 1917 году.

Коммунисты, национал-социалисты, образец или пугающий пример Советского Союза, но также непосредственные инструкции и воздействие Коминтерна: это силовое поле, эти полюса напряженности были не единственными в Германии последних месяцев 1932 года, но все же важнейшими наряду с полицией и рейхсвером, и уж конечно куда важнее, чем партии с чисто оборонительной политикой, начиная от СДПГ через Центр и вплоть до немецких националистов; две последние держали равнение направо, в то время как третья и самая многочисленная поглядывала налево с опаской, как бы коммунисты не отбили у нее еще больше сторонников.

Нет сомнений, что политики, которые после этих действительно *катастрофических выборов* должны были принимать решения о будущем Германии, ясно видели ситуацию. Можно еще предположить, что Адольф Гитлер руководствовался тактическими соображениями, утверждая на переговорах с президентом рейха в ноябре 1932 года, что большевизация широких масс стремительно нарастает, и если его движение погибнет, то

в Германии будет "18 миллионов марксистов, в том числе, вероятно, от 14 до 15 миллионов коммунистов", но уж во всяком случае полного доверия заслуживает высказывание прелата Кааса, лидера Центра, который сказал 18 ноября Гинденбургу: "Нам предстоит тяжелая зима; на одной стороне стоят 12 миллионов немцев в левой оппозиции, на другой – 13,5 миллионов в правой оппозиции. Поэтому целью непременно должно быть объединение нации, включая национал-социалистов".²⁰ И снова Гинденбург, опираясь, безусловно, на поддержку своего ближайшего окружения, решился отказать лидеру по-прежнему сильнейшей партии в праве на создание президентского кабинета; обоснование дано было на этот раз в более общей форме: поскольку НСНРП как таковая по-прежнему настаивает на своей исключительности, приходится опасаться установления партийной диктатуры. Но в конце своей ответной речи президент выразил надежду, что со временем еще удастся привлечь Гитлера и его движение "к сотрудничеству со всеми созидательными силами нации", то есть указал на путь создания коалиции и на готовность к компромиссу.²¹ Но Гинденбург перед лицом этой апории, возможно, самой страшной за всю жизнь 85-летнего политика, отверг и тот первый способ отделаться от Гитлера, который предложил ему Папен: приступить одновременно к борьбе против "воинствующих сил коммунистов и национал-социалистов" и не оттаиваться перед опасностью, что это повлечет за собой гражданскую войну. По свидетельству Папена, президент ответил ему со слезами на глазах, что он уже слишком стар, чтобы взять на себя под конец жизни еще и ответственность за гражданскую войну, и поэтому придется ему предоставить г-ну фон Шлейхеру попытаться, с Божьей помощью, счастья.

У Курта фон Шлейхера была своя концепция, вторая из трех возможных. Он хотел опереться на профсоюзы и присоединить к ним готовую к сотрудничеству часть национал-социалистов. Это была так называемая "концепция поперечного фронта"²², возникшая из невозможности пойти по, казалось бы, самому простому пути и объединить демократические партии от Немецкой национальной народной партии до СДПГ в единый оборонительный фронт против правого и левого тоталитаризма. Ввиду бездеятельности СДПГ действовать приходилось АДГБ, а поскольку Гитлера, судя по всему, нельзя было сдвинуть с его требования "все или ничего", то надежду приходилось возлагать на второго человека в партии, руководителя имперской организации Грегора Штрассера. Штрассер до той поры всегда считался в партии одним из радикалов, и взносы отдельных промышленников в НСНРП как раз преследовали в основном цель поддержать умеренного Гитлера против социалистических тенденций Штрассера. Однако Шлейхер имел репутацию *социального генерала*, так что Штрассер счел уместным пойти навстречу его планам. В профсоюзах Шлейхер тоже нашел понимание, и на какое-то мгновение перед Германией забрезжил путь, который мог бы повести к выходу из политическо-

го, а затем и экономического кризиса. Но Штрассер был слишком убежденным национал-социалистом, чтобы восстать против Гитлера и решиться на раскол в партии; представители АДГБ, в свою очередь, стояли слишком близко к социал-демократам, чтобы не спросить мнения партийного руководства. Это мнение оказалось отрицательным, и уже через несколько недель большая игра Шлейхера оказалась проиграна. Теперь ему ничего не оставалось, как вернуться к плану Папена, то есть попросить у Гинденбурга полномочий для роспуска рейхстага и прямо взглянуть в глаза возможности гражданской войны.

Вполне естественно, что в этой ситуации выстраивались разнообразнейшие мысленные комбинации, что представители всевозможных интересов пытались вставить свое слово — именно так оно и бывает перед всяким нормальным формированием правительства. Но теперь всем заинтересованным лицам оставалось высказываться только за альтернативу Папена, взятую на вооружение Шлейхером или еще каким-нибудь военным либо политическим деятелем, или же за то в своей тенденции парламентаристское и компромиссное "решение Гитлер", на которое намекал Мейснер от имени Гинденбурга. И все, кто высказывался или действовал, находились под впечатлением событий и возможностей, служивших фоном даже тогда, когда о них прямо не говорили или когда о тех или иных деталях даже не знали. Так, *Инпрекор* опубликовал 27 января речь, которую произнес в Москве ведущий член исполкома Коминтерна. Там говорилось: "По меньшей мере 200 000 рабочих состоят в национал-социалистской партии и ее штурмовых отрядах. Говорят, что среди избирателей, отдающих свои голоса за нацистов, более 2 миллионов рабочих, в том числе много безработных. Они оболванены антикапиталистической демагогией национал-социалистов <...> Невозможно представить себе, что они будут долго следовать за национал-социалистами. Повсюду видны уже признаки разложения".²³ В самом деле, "*Роте Фане*" уже на следующий день вышла с сенсационным заголовком, что не менее 1500 штурмовиков СА в Берлине готовятся к выходу из партии. Повторялись сообщения, будто члены Рейхсбаннера переходят в КПГ или по крайней мере изъявляют готовность вести совместную борьбу в рамках *антифашистской кампании*. Еще более впечатляющими были известия в коммунистической прессе о происходящем на улицах.

СА организовали 22 января большую демонстрацию на Бюлов-платц, выстроившись *фронтом к дому Карла Либкнехта*, зданию правления КПГ. Но 20 000 штурмовиков СА сопровождал необычайно большой ряд полиции — чтобы защищать их. На части намеченного маршрута им пришлось продвигаться вдоль живой изгороди враждебно настроенной толпы, а в других местах на улицах и площадях не было ни одной живой души. Нигде их не встречали ни малейшими проявлениями симпатии, даже — если можно полагаться на сообщение "*Роте Фане*" — в западной

части города, где "группы мелкой буржуазии" выражали немое неприятие. В результате настроение у участников демонстрации было "продрогшее", а на Бюлов-платц им пришлось с бессильной яростью увидеть, что на крыше вражеского партийного центра "вызывающе" развевается "советское знамя".²⁴ Совсем иначе выглядела обстановка тремя днями позже на митинге КПГ, и "*Rote Фане*" гордо озаглавила свой отчет о событиях "Это – Коммуна". В течение четырех часов, по сообщению газеты, стекались борцы красного Берлина на Бюлов-платц, чтобы пройти маршем мимо центрального комитета и лидера партии – Эрнста Тельмана; число их значительно превосходило сто тысяч, население встречало их с ликованием, они двигались без охраны полиции, и среди них "колонны самообороны масс, которые уже задушили железной рукой первую волну нацистского террора и удавят и новую волну террора тяжестью своей массы".²⁵

Кто считает коммунистов лишь несколько более радикальной частью рабочего движения; кто верит, что Гитлер недвусмысленно проявил себя как будущий виновник окончательного решения; кто придерживается мнения, что Советский Союз в интересах беспрепятственного проведения своей индустриализации хотел предотвратить коммунистическую революцию в Германии – тот может радоваться мысли, что, начиная с ноября, число членов НСНРП стало сокращаться, и на следующих выборах эта партия потеряла бы еще несколько миллионов голосов. Современники видели ситуацию иначе, и, как правило, не могли не видеть ее иначе. Они видели перед собой две партии, выдвигавшие радикальные требования и откровенно враждебные конституции. Но одна хотела уничтожить капиталистическую систему, а другая – Версальскую систему. Одна была враждебно настроена к Веймарскому государству, а другая – к государственности вообще. Одна требовала прекращения выплаты дани, другая хотела сверх того аннулировать все внутренние и внешние долги, то есть вырвать Германию из контекста мировой экономики. Одна требовала вновь лишить гражданских прав малочисленное и лишь во второй половине 19 века наделенное полнотой гражданских прав меньшинство; другая требовала социального уничтожения всей буржуазии, включая офицеров и зажиточных крестьян, и без всяких оговорок идентифицировала себя с соседним государством, которое эти классы отчасти физически истребило, отчасти подвергло таким преследованиям и несправии, каких в Германии никто и представить себе не мог. Современники неизбежно видели в коммунистах намного более радикальную из двух радикальных партий, и поэтому должны были испытывать тяжелейшую озабоченность, когда более многочисленная и менее экстремистская партия оказалось на пороге чреватого далеко идущими последствиями распада, в то время как меньшая по числу и более экстремистская готовилась, похоже, привлечь на свою сторону большую часть избирателей как СДПГ, так и НСНРП.

Конечно, кто придерживался мнения, что бывшие избиратели НСНРП вернутся к немецким националистам и либеральным партиям, тот мог считать опасения сильно преувеличенными, а кто считал цели КПГ справедливыми и отвечающими духу времени, тот мог даже, исполненный морального пафоса, сокрушаться о будущих жертвах. Но куда большая часть людей, которым было что терять или которые были озабочены прежде всего функционированием сложного и тысячами нитей вплетенного в мировую экономику индустриального государства, неизбежно видела положение по-иному.

Во всяком случае, и они могли выставить встречный счет. Поэтому новогоднее обращение Адольфа Гитлера от 1 января 1931 года было направлено целиком и полностью против большевиков, а в целом очень оптимистично. Однако на следующий год вновь возникают интонации, которые были уже отнюдь не только антиеврейскими в упоминавшемся выше смысле; в них звучал теоретически-исторический, так сказать, антропологический радикализм, по накалу близкий к коммунистическому и все же желавший быть от него совершенно отличным по содержанию: "Либералистское человечество, потерявшее религиозные и мировоззренческие корни, переживает конец своей эпохи <...> Международный еврей как интеллектуальный вдохновитель ведет почти во всех государствах мира эту борьбу мало способных, примитивных низших рас против <...> культуросозидающей <...> способности высшего человечества, чья сопротивляемость ослабела в либерализме <...> В государстве, где живут 6 миллионов коммунистов, 7,5 миллионов социал-демократов и еще 6 миллионов более или менее зараженных пацифизмом элементов, лучше бы уже не говорить о равных правах и о "гонке вооружений". <...> Против этой страшной беды может помочь только столь же мощная оборона".²⁶ Если считать, что подсчеты Гитлера верны, то, даже не покушаясь на внешнюю собственность, он должен был лишить примерно четыре десятых населения их внутренних убеждений, а также привести Германию к острейшему антагонизму не только с Советским Союзом, но и с Англией и вообще *западным миром*, — а ведь он хотел видеть в нем союзника. Но разве не получился бы этот результат и в том случае, если бы он ограничился лишением гражданских прав 500 000 евреев, поскольку они были своим родственникам и друзьям куда ближе, чем все многие миллионы русских буржуев и кулаков? И чего приходилось ожидать, если антипацифистский радикализм этого воззвания не был просто угрожающим жестом, а выражал волю к большой войне?

Поэтому ретроспективно приходится признать лучшим *решение Папена*, которое не исключало возможность гражданской войны против обеих крайностей, но и не вело с необходимостью к этой войне. С другой стороны, следует задуматься и о том, что гражданская война, *если бы* до нее дошло дело, легко могла иметь следствием раздел Германии. Франция

не стала бы спокойно ждать у своих границ, угрожай коммунисты захватить власть в Берлине, а Советская армия в конце первой пятилетки была в самом деле в состоянии "растоптать Польшу как былинку"²⁷ и продвигнуться по крайней мере до Эльбы. Германия по-прежнему оставалась сильнейшей индустриальной державой континента, и если Европе предстояло самоутвердиться в качестве равноправной мировой силы, то Германия непременно должна была стать ядром новых "Соединенных штатов"; но, при ее тогдашней военной слабости, любые выходящие из обычных рамок события на ее территории тут же вызывали со стороны соседей серьезнейшие меры предосторожности. А соседи были столь же *буржуазными*, как она сама: угроза прихода к власти коммунистов гораздо скорее вызвала бы вторжение с их стороны, чем захват власти со стороны НСНРП. Но перед угрозой раздела Германии, стань она реальной, подавляющее большинство немцев, несомненно, предпочло бы войну гражданской войне.

Поэтому на вопрос, поставленный в начале²⁸, нет однозначного ответа. Когда во всем винят интриги, это тоже не вовсе лишено основания: Шлейхер сделал своего друга "Францика" рейхсканцлером, хотя считал его "шляпой, а не головой"²⁹; сам же он имел слишком оптимистический склад ума, чтобы быть значительным политиком. Самое лучшее впечатление среди политиков последних Веймарских лет производят Брюнинг и старик Гинденбург. Но даже если бы все участники событий были выдающимися государственными мужами и понимали бы почти столько же, сколько способны понять их потомки, им пришлось бы серьезно принять во внимание альтернативу, на которую дал свое согласие Гинденбург, когда Шлейхер 28 января опять пытался возложить на него ту же непосильную ответственность, что и Пален 2 декабря, ответственность за возможную гражданскую войну. Он больше не мешал Гитлеру, поскольку казалось, что тот выполняет требование от 24 ноября, и, несмотря на далеко идущие оговорки, был готов к сотрудничеству с прочими *созидательными* силами. Одного Гинденбург, конечно, не учел: Муссолини в начале своего правления тоже сотрудничал с подобными силами. Если прав был Зиновьев, заметивший походя еще в 1922 году³⁰, что Европа действительно вступила в *эпоху фашизма*, то Гитлер неизбежно должен был прийти к единоличному господству еще быстрее и радикальнее, чем Муссолини, и тогда ему не избежать было столкновения с государством, которое стремилось приблизить *эпоху мировой пролетарской революции*.

Теперь в Европе противостояли друг другу два больших *идеологических государства*, действия которых определялись, в конечном счете, трактовкой бывшего и будущего хода мировой истории и смысла человеческой жизни. Упреки, которые они бросали друг другу, имели почти всегда преувеличенную и пропагандистскую форму, но покоились на ре-

альных обстоятельствах, воспламенявших массовые страсти по обе стороны баррикад. Оба государства имели по всему континенту и за его пределами идеологических союзников: Советский Союз – коммунистические партии, Германия – куда менее однозначно – по большей части еще совсем небольшие фашистские движения и потенциально – фашистский режим в Италии. Обе страны были, конечно, вплетены в целую сеть связей и обстоятельств, и еще долгие годы могло казаться, что отношения между Германией и Советским Союзом, или же между фашистскими движениями и коммунистическими режимами – второстепенная тема мировой истории. Но в конце концов эти отношения оказались решающим противоречием, которое определило судьбы мира в куда большей степени, чем, например, война между Японией и Китаем, захват Италией Эфиопии или усилия Рузвельта по возвращению США в мировую политику.

III. Враждебные идеологические государства

в период мира 1933-1941 гг.

1. Национал-социалистская Германия и коммунистический Советский Союз в 1933-34 гг.

То, как быстро Германия после захвата власти Гитлером превратилась в национал-социалистское государство, многие современники этого события внутри страны и за рубежом переживали с безудержным удивлением. Большевики, правда, фактически также весьма оперативно устранили с политической арены прочие социалистические партии, однако их формальное запрещение произошло лишь в 1921 году. Муссолини только в силу чрезвычайных событий (в частности – кризиса, вызванного убийством Маттеотти) лишь через четыре года после *марша на Рим* был принужден покончить с другими партиями. Однако в Германии процесс захвата власти одной единственной партией завершился уже 14 июля 1933 года вместе с принятием соответствующего законодательного акта, а именно “Закона против образования новых партий”. И речь при этом шла не просто о внешнем подавлении. В каждой из партий, и в НННП (DNVP), выказывалось недовольство и даже оказывалось сопротивление. Однако во всех партиях и даже в Социал-демократической партии Германии не только ширилось разочарование, но и наблюдалась готовность к участию в работе по созданию *народной общности* и росло понимание собственных упущений и ошибок в период Веймарской Республики.¹ Поведение руководства и рядовых членов партий центра и остатков либеральных партий, а также католической и протестантской церкви, видимо, оправдывают то предположение, что подчинение нацистской политике не требовало особых мер принуждения недовольных, ведь уже и раньше проявлялась определенная склонность к достижению такого согласия, хотя нарастающий натиск *национал-социалистической революции* вызывал все новые волны сопротивления. Даже для коммунистов месяцы после 30 января были ознаменованы не только внешним преследованием, но и внутренним смятением и беспомощностью, которые были порождены не только неожиданной жесткостью посыпавшихся на партию ударов. Воспоминания Герберта Венера дают наглядный пример этого смятения и распространившейся среди функционеров и членов партии склонности к тому, чтобы сложить оружие или даже полностью капитулировать. Массы лишившихся иллюзий партийцев устремились в НСНРП и СА – два когда-то особенно радикальных функционера опубликовали брошюру с названием “От советской звезды к свастике через концентрационный лагерь”, много высших функционеров активно сотрудничали с гестапо.² Эрнст Тельман был аресто-

ван, и довольно скоро поползли слухи, что он был предан одним своим самым близким соратником. Рабочий-поэт Макс Бартель, который на протяжении лет был близким другом и соратником Вилли Мюнценберга и с 1923 года входил в СДПГ, опубликовал в геббельсовском издании “*Ангриф*” “Письмо друзьям, перешедшим границу”, где можно было прочесть такую фразу: “По сравнению со старыми рабочими партиями национал-социалистская партия – цветущий весенний луг”.³ Летом журнал Коминтерна признал, что в марте и апреле “рабочие массы потоками устремились к фашизму”, что широко распространились “паникерские настроения”, что первым впечатлением был “колоссальный триумф фашизма”.⁴ Теперь же партия вновь мобилизовала свои силы и выяснилось, что хотя в национал-социалистские организации вступили большие массы рабочих, но “настоящими национал-социалистами, фанатиками-гитлеровцами” стала лишь их небольшая часть. Уже во многих местах вновь состоялись стачки, а в Хемнице отряд вооруженных рабочих даже возглавил колонну демонстрантов. Поэтому вновь окрепли надежды на скорое единение всего рабочего класса под знаменами Коммунистической партии, и у бесчисленных рабочих еще не угасло убеждение: “На смену Гитлеру должен прийти большевизм, и советская звезда будет победно сиять над разлагающимися развалинами диктатуры свастики”.⁵ В том же ключе звучали высказывания ведущих представителей Коминтерна, в которых с большим нажимом подчеркивалась правильность прежней политики партии и в особенности ее борьба против *социал-фашизма*; без колебаний отстаивалась максима, требующая от партии непосредственных и осязаемых активных действий. Однако скоро выяснилось, что все попытки коммунистов вновь собраться с силами и, используя листовки и пароли, доказать свою жизнеспособность, были быстро нейтрализованы Тайной Государственной Полицией (гестапо) и принесли партии лишь новые тяжелые потери. В противоположность тем социал-демократам, которые оказались наедине с переполнявшим их отчаянием, остальные в общем и целом лишь пытались поддерживать контакты друг с другом, ожидая лучших времен. Прошло немного времени, и из резиденции эмигрировавшего партийного руководства в Праге распространились “сообщения о Германии”, в которых доказывалось, как тщательно многочисленные члены запрещенных партий отслеживали отношения, сформировавшиеся в Германии. Правда, они регистрировали не только голоса недовольства, раздававшиеся во всех слоях населения, – ведь трудовые битвы приносили скорее мнимые, чем действительные успехи, и жизнеобеспечение скорее ухудшалось, чем улучшалось, – но вместе с тем они были вынуждены снова и снова констатировать, что Гитлер гораздо более популярен, чем его партия и именно в кругах рабочего класса.⁶

Итак, в течение нескольких месяцев Гитлеру удалось то, на что хотя бы в отдаленном приближении не был способен ни один *буржуазный* политик до него: он устранил с политической арены социал-

демократическую и коммунистическую партию, а также профсоюзы и тем не менее его действия даже у рабочих вызывали настолько полное одобрение, что начало разлагаться *Milieu* рабочего квартала и даже ячейки поддержки Коминтерна (Kieze) уже не были надежными убежищами для преследуемых коммунистов.⁷ Здесь, а также в поселениях Рурской области почти в каждом доме проживал по меньшей мере один убежденный или фанатичный национал-социалист, работавший “привратником” или “квартальным старостой”, осуществлявший надзор, что в таком враждебном окружении не могла бы выполнить даже самая добросовестная полиция.

Тем самым, Германия превратилась в идеологическое государство, где один человек и одна партия — при энтузиазме и одобрении значительной части населения — держали в своих руках монолитную политическую власть. И тем не менее “Сообщения из Германии”, используя добротную аргументацию, пытались обосновать утверждения о том, что в основе своей в Германии не произошло серьезных изменений, ибо подлинными властителями, как и прежде, оставались крупные промышленники, крупные землевладельцы в Восточной Германии и генералы рейхсвера, в то время как Гитлер якобы являлся лишь выразителем их воли. Уже в июле 1933 года Гитлер фактически провозгласил революцию завершенной, и если в НСНРП устремилось большое число членов запрещенных в марте партий, то именно поэтому все старое чиновничество и сохранило свои прежние места. В руководстве рейхсвера не произошло никаких сколько-нибудь достойных упоминания изменений. Организация промышленной верхушки лишь изменила свое название и поменяла некоторых функционеров. Католическая церковь, правда, после заключения конкордата отказалась от доктрины политического католицизма, однако укрепила свое правовое положение. В протестантской церкви происходили более серьезные изменения, однако протест против введения арийской пропаганды и против нацистских тенденций, деятельно проводимых организациями “немецких христиан”, мог выражаться почти беспрепятственно. Правда, издание закона о наделении Гитлера чрезвычайными полномочиями от 23 марта можно было рассматривать как аналог Декрета о роспуске Конституционного Собрания в январе 1918 года, тем более что это наделение обеспечивалось непосредственными угрозами применения насилия, однако преследование коммунистов нельзя уравнивать с атакой на *буржуазию*. Хотя следует указать и на убийства в концентрационных лагерях и прежде всего на кровавую резню в Кёпенике, однако нигде не было замечено сравнимых массовых расстрелов, и уж, конечно же, можно привести лишь весьма отдаленные и слабые аналогии с национализацией предприятий, отчуждением землевладений, с выдворением жильцов из занимаемых квартир, закрытием счетов целых групп народонаселения, происходившими в России. Самым заметным мероприятием стал бойкотирование еврейского бизнеса, начавшееся первого апреля, которое, однако, не на-

шло понимания в глазах населения и через три дня было прекращено. Поэтому часто по праву утверждают, что переход власти к национал-социалистам в своем дальнейшем протекании представлял собой политический переворот, но никак не социальную революцию. Или эта была такая революция, которая не произрастала из войны и не порождала войну гражданскую, не разрушала экономические и политические связи с остальным миром. Однако с этими оговорками речь все же следует вести о всеохватывающей и самой радикальной политической революции из тех, какие когда-либо случались в европейских государствах на протяжении девятнадцатого и двадцатого столетий.

То же самое можно утверждать и о внешней политике. После захвата власти Гитлером не были разорваны ни одни из многочисленных дипломатических отношений, которые связывали Германию с остальными мировыми государствами. Министру иностранных дел фон Нейрату и в голову не могла прийти идея "закрыть лавочку" (как это хотел осуществить Троцкий в свою бытность наркомом по иностранным делам). Серьезные опасения, которые высказывались в Париже и Лондоне, были в значительной своей части рассеяны, благодаря произнесенной семнадцатого мая Гитлером "Речи о мире", которая была одобрена также социал-демократами, а заключение "пакта четырех держав", чего так добивался Муссолини в июле 1933 года означало, что Германия поставила себя на один уровень с такими великими западноевропейскими государствами, как Англия, Франция и Италия. Однако, с другой стороны, в ноябре 1933 года Германия скандально покинула "Лигу Наций", но и это не повлекло за собой серьезных последствий для Европы, ибо до того времени лишь Япония (в марте 1933) явила собой подобный пример, но она фактически находилась в состоянии войны с Китаем за маньчжурские территории. Даже в отношении внешней политики национал-социалистская Германия в гораздо меньшей степени демонстрировала свою революционность, чем Советский Союз, который даже задним числом не подписал Версальский Договор. В 1918 году устами Ленина было заявлено, что Советский Союз имеет своим намерением "объявить войну всему миру"⁸, и хотя им была признана независимость бывших прибалтийских провинций, он все-таки не переставал при всякой удобной возможности протестовать против отторжения Бессарабии. Если Германия при Гитлере и стала *идеологическим государством*, то это понятие не несло столь же всеохватного значения, как это имело место в случае с Советским Союзом.

Насколько сильно гитлеровская идеология была направлена именно против Советского Союза и коммунизма, стало возможным судить на основании двух нижеследующих примеров еще более однозначно, нежели только по высказываниям, произнесенным Гитлером вскоре вступления во власть. В своей речи о промышленниках в Дюссельдорфе 27 января 1932 года, исходя из фактического господства белой расы во всем мире и указывая на ее наследственно обусловленное превосходство, которое,

стало быть, является правом, но правом ущемленным. Гитлер утверждал, что возникло мировоззрение, противодействующее этому праву, уже завоевавшее одно из государств и использующее его как свой оплот, что может привести к крушению всего мира, если оно не будет своевременно уничтожено: "Через триста лет, если это движение получит дальнейшее развитие, в Ленине будут видеть не только революционера 1917 года, а основателя нового мирового учения, и возможно ему будут поклоняться так же, как теперь поклоняются Будде".⁹ Очевидно, что Гитлер не относится с презрением к этому "гигантскому явлению", он решительно полемизирует с теми предпринимателями, которые считали невозможной всеохватывающую индустриализацию России. Напротив, он совершенно открыто понимает здесь самого себя как Анти-Ленина, как единственного человека, который способен остановить это развитие, что принципиально согласуется с мнением Троцкого, назвавшего его "Обер-Врангелем мировой буржуазии".¹⁰ Однако в его глазах все то, что Троцкий считал прогрессом и эмансипацией, представлялось упадком человечества и декадансом, ибо индустриализация России и предположительное распространение большевизма в Азии могло основываться лишь на использовании западных достижений и означало безоглядное снижение жизненного стандарта русского или азиатского населения. Правда, и западному миру Гитлер отказывается приписывать заслуги в улучшении жизни азиатских и других народов; он, не смущаясь, провозглашает себя поборником дела западного или европейского эгоизма, который означает не что иное, как природосообразное господство более высокой и культивированной части человечества над более низкой и варварской. Однако являются ли эти идеи признанием в *реакционном империализме* или же здесь ведется речь о гипертрофии изначально верного понимания, во всяком случае, Гитлер утверждает, что человек не может предпринять ничего более великого, чем то, чтобы в рамках всеобъемлющего всемирно-исторического процесса стать на службу великого дела и играть в нем решающую роль. Поэтому всякое понимание будет недостаточным, если оно расценивает Гитлера как тривиального немецкого националиста. Простой националист определенно не высказывался бы в том смысле, как это делал Гитлер в декабре 1932, поправлявший полковника фон Райхенау, который рассматривал советскую дипломатию как неспособную вести переговоры и заключать договоры, ибо договоры могли заключаться лишь между контрагентами равного мировоззренческого уровня.¹¹

Поэтому разнообразные отношения с Францией и Англией, Италией и США, Польшей и Ватиканом, в рамках которых Гитлер действовал в качестве государственного лица, носили второстепенный характер, имели своей целью лишь отвлечь актуальные опасности, в то время как основное значение придавалось отношениям с историческим мировым противником, хотя они и не должны были иметь дипломатического характера. Но и Советскому Союзу стало ясно, что всемирно-политическая ситуация

полностью изменилась, ибо в Европе появилось второе и – враждебно настроенное к первому – идеологическое государство, сравнимое по своей потенциальной мощи. Правда, дипломаты обеих сторон пытались успокоить друг друга, однако уже речь Гитлера от второго марта вызвала резкий протест, а потом повлекла цепь инцидентов, в которых советские торговые представительства и особенно широкая сеть заправочных станций “Derop” стали объектами нападений со стороны СА и СС, – иногда с применением насилия. Гитлер, правда, едва ли выражался более жестко, чем советские политики, которые регулярно разоблачали капиталистические отношения¹², и даже советские дипломаты не могли завуалировать то обстоятельство, что служащие “Derop” часто являлись коммунистами.¹³ Отношения, однако, ухудшались стремительно, сотрудничество между Рейхсвером и Красной Армией подошло к завершению, Карл Радек в *Правде* неожиданно очень решительно выступил против ревизионизма как опасности для мира, а французы весьма удачно использовали свои возможности.¹⁴

Конечно, не было недостатка и в проявлениях противоположной тенденции: после второго марта Гитлер избегал резких публичных заявлений, он даже принял посла Хинчука для разговора, в ходе которого заявил, будто готов ратифицировать протокол о продлении Берлинского Договора, который был парафирован, но еще не получил правовой силы. По сообщениям немецкого посла в Москве Герберта фон Дирксена от 15 мая, и в противоположном стане тоже наблюдались различные тенденции: Красная Армия и примыкавшие к ней политики, как и прежде, были дружелюбно и позитивно настроены по отношению к Германии, в то время как в более интеллектуальных кругах советских политиков сказывались “озлобленные и ожесточенные настроения по отношению к Германии”.¹⁵ Однако своеобразные и особенные отношения между Германией и Россией, которые основывались на общем для них *ревизионизме*, неотвратимо приближались к своему концу, и четырнадцатого августа Дирксен даже пишет о “все усиливающемся опасении и даже страхе перед возможными последствиями победы национал-социалистов в Германии для большевизма и мировой революции”, о “доходящем до истерии недоверии в отношении того, не будет ли Германия после национальной революции, – вопреки всем официальным заверениям, – преследовать коварные планы по отношению к Советскому Союзу (отторжение Украины)”.¹⁶

Итак, хотя мотивы Советского Союза радикально отличались от французских, тем не менее обе державы, очевидно, все больше сближались в своих позициях, в то время как Германия после своего выхода из “Лиги наций” оказалась в почти полной изоляции. Поскольку в январе 1934 года Гитлер заключил Пакт о ненападении с Польшей, которая еще весной 1933 года проигрывала сценарии проведения превентивной войны, и тем самым доказал, что он крепко сидит в седле и что на вершине идеологического государства могли приниматься решения, которые в период

Веймарской республики тотчас бы привели к падению правительства, ибо, — как представлялось, — они признавали существующие восточные границы. К таким действиям Гитлера, вероятно, побуждала его симпатия к маршалу Пилсудскому, которая основывалась на общем для них антибольшевизме. Гитлер не был политиком с идеологическими убеждениями, каковыми были Штресеман и Брюнинг, но являлся идеологом с политической волей и тактической гибкостью, и уже в начале 1934 года во всех вопросах большой политики лишь его решения стали определяющими.

В то же самое время СССР еще более радикально изменяет свой внешнеполитический курс. В течении пятнадцати лет само его существование питалось обвинениями против *империалистов*, Версальского Договора и капитализма вообще, в качестве главных представителей которого рассматривались Франция, Англия и США. Пакты о ненападении с Польшей и Францией еще не означали принципиального изменения этой линии, однако после прихода Гитлера к власти очень скоро меняется сам тон советской прессы, а министр иностранных дел Максим Литвинов становится главным поборником, — если не сказать провозвестником, — той новой *про-западной* линии, которая способствовала союзу с антиревизионистскими державами и своей кульминацией имела вхождение Советского Союза в Лигу Наций, довольно долго рассматривавшуюся как объединение антисоветских поджигателей войны. Не было заметно никакого сопротивления этого повороту, ибо он фактически назрел, и уже как нечто очевидное расценивалось заявление Сталина, будто “его политика ориентируется на СССР и только на СССР”.¹⁷ Если Советский Союз не являлся рядовым государством, как, видимо, неизменно полагал Сталин, то речь здесь шла не просто о национализме. Можно было бы сослаться на Ленина, который призвал к тому, чтобы воспользоваться расколом и трудностями в стане *империалистического врага*. Кроме того, Сталин не устанавливал безусловных приоритетов и не стремился полностью разрывать связи с Германией.¹⁸ С другой стороны, во Франции и особенно в Германии еще живо ощущалось недоверие по отношению к СССР.

Самое существенное изменение ситуации было связано с успешным проведением ленинского плана, в соответствии с которым коммунизм должен заняться *электрификацией* (то есть индустриализацией) страны. Триумфальные сообщения о завершении строительства грандиозных промышленных объектов и открытия с видами *гигантов пятилетнего плана* (например, тракторный завод в Сталинграде, Магнитогорский металлургический комбинат, архангельская лесопильня “Молотов”, химический комбинат в Сталинске, днепропетровские домны) первоначально встретили на Западе весьма скептическое отношение. Не было недостатка в ощущении того, что все эти чудеса современной техники в значительной своей части должны были создаваться за счет принудительного труда сотен тысяч высланных кулаков, голода всего населения и мучительной

смерти многих миллионов крестьян, что польза от Беломорско-Балтийского канала и даже Днепрогэса была не совсем очевидна. Особенно мрачным и тяжелым выдался в СССР 1932 год. Предположительно и самоубийство жены Сталина Надежды Аллилуевой следует рассматривать в этой связи. В партии подняли голову оппозиционные движения, которые видели в Сталине причину роковых событий. Были ли адекватными такие крайние меры, как, например, закон о “защите собственности государственных предприятий и колхозов”, который за самые незначительные кражи предусматривал смертную казнь? Аналогично обстоит дело и с введением в 1932 году внутренних паспортов, которые создавали новое, невиданное в Западной Европе неравенство, поскольку колхозники не получили никаких паспортов и тем самым подобно их предкам оказались прикрепленными к земле. Все это как-то компенсировалось возрождением национальных чувств и гордости за русскую историю, которое началось уже в 1930 году, – с письма Сталина Демьяну Бедному. Этому *пролетарскому поэту* Сталин с упреком приписывал, будто в его стихотворениях прошлое России представало в виде “сосуда смрада и нечистот”.¹⁹ Немного позднее марксистский способ рассмотрения ведущего историка Покровского сменился более позитивными оценками прошлого России, положительным отзывами о деятельности некоторых царей и полководцев. Ранее преследуемые понятия переживали ренессанс. В июне 1934 года выходит закон об “измене Родине”, угрожавший смертной казнью за попытку покинуть Советский Союз, предусматривающий отправку в лагерь всех членов семьи *предателя* даже и в том случае, если они не имели никакого понятия о его планах.²⁰

То, что разворачивалось в Советском Союзе, являло собой индустриализацию в условиях военного времени на базе учения, которое называли *марксистским*. Как в отношении сопровождавшего ее насилия, так и в ее стремительности она представляла собой разительную противоположность индустриальной революции, которая – первоначально в Англии, а затем и в остальных странах Европы – разворачивалась в течении долгих десятилетий. Поскольку приоритет по необходимости отдавался вложениям в тяжелую промышленность, что позволило территориально величайшему государству в мире обеспечить себе колоссальный потенциал вооружения, – на всем Западе это вызывало опасения и страхи. Вместе с тем, некоторые интеллектуалы смотрели на него с симпатией, критикуя декаданс, отчуждение и воинственность, свойственную западным странам. Сидни и Беатриса Вебб в одной из своих книг писали о Советском Союзе как о “новой цивилизации”, а Бернард Шоу, вернувшись из Москвы в Лондон, полагал, что из “страны надежды” вернулся в “регион мировой безнадежности”.²¹

Итак, одни говорили о стране государственного рабства и нового-старого деспотизма, а другие – о совершенно новом этосе русских рабочих, которые “ожидали от своего труда чего-то лучшего и более гранди-

озного, за деньги недостижимого".²² В одном оба эти взгляда были едины: подобной индустриализации в мире еще не происходило.

Когда в 1933 году удалось собрать хороший урожай, и люди впервые смогли вздохнуть более свободно, Сталин на XVII партийном "съезде победителей" мог подвести итог успешных свершений, который решительно подтверждал то, во что еще не до конца поверили в мире. Еще в январе 1933 года им были обнародованы "результаты выполнения первого пятилетнего плана": "У нас не было металлургической промышленности, основы индустриализации страны, теперь мы ее имеем. У нас не было тракторной отрасли, теперь она у нас есть. У нас не было тяжелого машиностроения, теперь оно у нас есть. У нас не было самолетной индустрии, теперь мы ее имеем. Все это привело к тому, что из аграрной страны мы стали страной индустриальной".²³ Далее он привел цифры, которые должны были доказать, что в сравнении с 1913 Советский Союз годом учетверил объемы промышленного производства, в то время как США и Франция остались на том же уровне, а Англия как и Германия даже не достигли уровня довоенного.

Как бы не были сомнительны эти цифры в отдельных аспектах, все-таки мало кто сомневался в том, что в одночасье возникла новая великая индустриальная держава, которая в своем развитии не зависела от подверженных кризисам и, следовательно, взаимно уравновешивающих связей *мировой экономики* и именно поэтому стояла на пути к тому, чтобы в политическом и военном отношении стать мировой державой. "Политический завет" Гитлера, "Майн Кампф", – вопреки всем заверениям тогдашней коммунистической прессы, будто бы СССР уже является мировой державой, – в реальности даже еще 1926 году не считал ее таковой и имел под собой солидный фундамент. Однако теперь этот гитлеровский концепт казался устаревшим, и имелись все основания для опасений, что Германия будет все больше отставать в военной области. Если даже Сталин, возможно, и не реагировал на речь Гитлера от 27 января 1932 года, когда выступал со своим цифровым отчетом перед съездом партии, тем не менее в пассажах, касавшихся теории *высших* и *низших* рас, он непосредственно отвечал Гитлеру: "Как известно, древний Рим смотрел на предков сегодняшних немцев и французов примерно так же, как теперь представители "высшей" расы смотрят на славянские племена <...> Однако случилось так, что все неримляне, то есть "варвары", объединились против общего врага и овладели Римом <...> Где гарантия, что литераторствующим фашистским политикам из Берлина будет сопутствовать большее счастье, чем закаленным в боях римским завоевателям? Не было бы более правильно предположить как раз обратное?"²⁴

В беседе с Раймондом Робинсом, – который с самого начала революции 1917 года предпринимал успешно завершившийся усилия по признанию СССР Соединенными Штатами Америки, – в мае 1933 Сталин развил ту же самую идею, но в более общей форме: "Вопрос о том, в какой мере

рабочие той или иной нации способны управляться с техникой, не является биологическим. Это вопрос не наследственных задатков, а лишь времени: если сегодня они с ней справляются, они смогут разобраться с ней завтра. С техникой может обращаться всякий, даже бушмен, если ему в этом помогут".²⁵ Напротив, Гитлер говорил о том, что индустрия в Богемии развивалась лишь с помощью немцев, при этом забывая, что промышленность в Германии в первой половине XIX века в значительной своей части была построена благодаря помощи англичан. Хотя Сталин и обращался всякий раз к русской истории, он все еще представлял соотнесенную со *временем* позицию универсализма, в то время как Гитлер защищал неизменность различных расовых субстанций. С большой долей вероятности можно предположить, что Сталин был прав. Но мировоззрение, ставящее во главу угла самоутверждение славянских *варваров*, направленное против нападков более *высоких рас*, едва ли напоминало представления Маркса и Энгельса. И мрачным предзнаменованием должно было послужить то, что среди буржуазных политиков, военным планам которых было суждено провалиться, Сталин по имени называл только Черчилля. Возможно, уже устаревшей являлась его уверенность в том, что в случае войны против СССР боевые действия будут происходить "в глубоком тылу противника".²⁶ ГПУ заботилось о том, чтобы в Советском Союзе не развернулась и внутренняя война. Но разве ГПУ или ЧК не были образцом для Гестапо, во всяком случае, объективно или, пожалуй, в сознании людей?

Между тем был ли Сталин полностью уверен в том, что ГПУ было в *его* безусловном подчинении? Разве в его государстве не было многочисленных троцкистов и бухаринцев, которые теперь призывали к миру и примирению. Почему Киров, секретарь Ленинградского комитета партии, получил больше голосов на выборах во время партийного съезда, чем сам Сталин?²⁷ Личная лояльность Кирова, конечно же, не вызывала сомнений и как раз на этом партийном съезде он назвал Сталина "самым великим человеком всех времен и народов".²⁸ Но за его спиной могли стоять и враги, а этих врагов Сталин видел великое множество. Возможно, в своей поздравительной телеграмме в честь пятидесятилетия ГПУ в декабре 1932 года он не без задней мысли указал на то, что дело "искоренения врагов пролетариата" еще не завершено, но лишь "усложнилось".²⁹

Кулаки, правда, были уничтожены, но Сталин указал враждебности партии новую цель в лице "кладовщиков, хозяйственных руководителей, бухгалтеров, секретарей" колхозов, которые в значительной части состояли из представителей "бывших", принадлежали к "отмирающему классу".³⁰ По всей вероятности, он гневался на тех членов Политбюро и Центрального Комитета, которые препятствовали ему в разоблачении *партийных врагов*, которые засели в самой партии. Уже почти десятилетие по всей стране стояли статуи Сталина, непрерывным потоком шли лести-вые обращения, именовавшие его "великом вождем народов", известные

города и бесчисленные улицы носили его имя, но он по определению не мог стать единовластным властителем, пока в партии еще оставались его враги.

Но и Гитлер в первой половине 1934 года еще не был самодержавным властителем. Решительность, с которой он в последующем расправлялся со своими врагами, видимо, произвела на Сталина большое впечатление. Обычным копированием советского образца в национал-социалистской Германии было то, что здесь тоже повсеместно можно было видеть картины, изображавшие Гитлера наряду с Фридрихом Великим, Бисмарком и Гинденбургом завершителем дела национального объединения, в то время как в Советском Союзе Сталин вместе с Марксом, Энгельсом и Ленином изображались передовыми борцами за дело рабочего класса. Однако, начиная с дела Рема, таким образом впервые становится Гитлер, — во всяком случае, объективно и даже в сознании его противников.

2. "Путч Рема" и убийство Кирова в 1934 году

Эрнст Рем, глава штаба СА, был не просто человеком из свиты Гитлера, а когда-то в Мюнхене принадлежал к руководству рейхсвера и был одним из влиятельнейших его офицеров. СА в свою очередь не являлось "подразделением" НСНРП, но до 30 января 1933 года в глазах общественности сама представлялась зримой и активистской партией. Коричневые мундиры ее членов создавали тогда доминирующий цветовой тон национального подъема и в особенности национал-социалистской революции. Но это боевое войско правящей партии не заступило место старой армии, как это случилось с Красной Гвардией в Советской России, и Гитлер был далек от того, чтобы по образцу Ленина стремиться к уничтожению вооруженных сил государства. Ситуация была ведь совершенно другая, поскольку рейхсвер давно уже преодолел последствия войны и против его воли ни один политик в Германии не мог прийти к власти. СА, со своей стороны, не была изначально враждебно настроенной против рейхсвера, ибо ее верховные вожди, как и руководство рейхсвера, в основном состояли из офицеров, участвовавших в Первой мировой и членов добровольческого корпуса, хотя и в иной пропорции. Поэтому СА подобно рейхсверу являлась таким же продуктом *позитивного опыта войны*, чьи русские носители были уничтожены массами, ненавидевшими войну или по крайней мере войну *царя и дворянства*. И все-таки СА была силой, направленной на завершение национал-социалистской революции 14 июля 1933 года. Поэтому в ее рядах продолжали говорить о второй революции, которая должна была искоренить все еще многочисленных реакционеров в вооруженных силах и экономике и создать народную национал-социалистскую армию, во главе которой должен был стать военный рейхсминистр Эрнст Рем. Тем самым СА одновременно представляла

собой новую форму явления левых или социалистических настроений в НСНРП, и не случайно Отто Штрассер сохранял хорошие связи с верховными вождями СА. Все это, правда, не означало никакой враждебности по отношению к Адольфу Гитлеру. Напротив, они полагали, что следует высвободить фюрера из союза с *реакцией*, к которой он примкнул в интересах захвата власти.

Поэтому было вполне естественно, что почувствовавшие угрозу объединились в неформальный союз: рейхсвер во главе с министром Бломбергом и начальником штаба Райхенау, немецкие националисты в кабинете министров с Папеном во главе и промышленники во главе с Круппом и Тиссенем. От национал-социалистских министров враждебную позицию по отношению к СА – скорее по убеждению – заняли Геринг и Фрик. Геббельс, видимо, колебался. Провозгласив “завершение революции” в июле 1933 года, Гитлер, правда, уже занял позицию, однако в дальнейшем он искал для себя роль посредника между обеими группами и пытался выступить в качестве третьей стороны. И все-таки, пока рейхсвер топтался на месте, СА в 1933 завоевала чрезвычайно сильные позиции: она вобрала в себя весь “Стальной шлем”, благодаря учреждению постов СА в высших школах подчинила себя также и университеты, создала “полевую полицию СА” и во многих местах выставила вооруженные блок-посты, нередко – опиравшиеся на вспомогательные лагеря СА. В июле была достигнута предварительная договоренность между рейхсвером и СА: обергруппенфюрер Фридрих Вильгельм Крюгер был назначен главой системы образования, и тем самым СА стала организацией, надзирающей за военной подготовкой в этой системе. Подразделениями СА на востоке была реализована давно уже вынашиваемая цель: они получили доступ к складам оружия пограничных войск. Общая численность СА на конец 1933 года составила четыре миллиона человек. Она, следовательно, вышла на исходные позиции, о которых коммунисты в ходе их призывов к гражданской войне даже не могли и мечтать. И все же рейхсвер повсеместно рассматривался как более мощная организация.

Но как долго это могло продолжаться? Не могло ли, в конце концов, самое незначительное событие радикально качнуть весы в какую-то одну сторону? Был ли Гитлер, как тогда утверждали в национал-большевистских кругах, Керенским немецкой революции или важнейшим представителем ее жирондистских вождей? Но все же, принимая во внимание случай с Муссолини, с большим основанием можно было бы утверждать, что все заимствованные из предшествующей революционной истории аналогии были ложными, поскольку речь в данном случае шла о революции другого типа, а именно о фашистской революции.

К началу 1934 года ситуация для Гитлера складывалась непросто. Хилистические надежды на национальное возвышение во многом не оправдывались, безработица сокращалась относительно медленно и в основном за счет государственного дорожного строительства, начало борьбы с цер-

ковью, как и препоны на границах с Австрией, вызывали массовые волнения. Реальная заработная плата скорее падала, чем поднималась. Геббельс был вынужден начать пропагандистский поход против “нытиков и паникеров”, которые, очевидно, могли весьма свободно будоражить общественность. Если в СА было неспокойно, то консервативные круги были недовольны. То, что Рем вместе с Гессом 1 сентября 1933 года был назначен рейхсминистром без портфеля, можно было рассматривать лишь как утешительный приз. Однако Рем развернул и дипломатическую активность, встречался, кроме прочего, с французским послом Франсуа-Понсе и 18 апреля держал большую речь перед дипломатическим корпусом, в которой заявлял: “<...> В качестве несокрушимого барьера на пути реакции, мещанства и лицемерия стоит СА, — ибо в ней воплощается все то, что составляет понятие революции! <...> Национал-социалистская революция в Германии означает прорыв к новому мировоззрению. Расовая обусловленность ее центральной проблемы, народной общности, доказывает, что новый немецкий идеалистический национализм не имеет никаких влечений к завоеваниям, но обращает свою энергию вовнутрь <...>”.¹

Здесь был решающий пункт. Рем давно уже наводил страх не столько на иностранных дипломатов, сколько на немецких консерваторов, поскольку преобразование рейхсвера в милиционные вооруженные силы отсрочивало серьезное военное перевооружение, если вообще не препятствовало таковому. *Реакция* подверглась нападкам также в песне Хорста Весселя, которая в то время стала частью национального гимна, а миролюбиво-внутриполитическое истолкование расовой теории нередко звучало и из уст самого Гитлера, однако спешное и эффективное перевооружение было в глазах Гитлера важнейшим программным пунктом и отказаться от него он бы никому не позволил. Все-таки, даже не ощущая давление времени, он вряд ли занял бы сторону Рема, поскольку его партия в целом не была революционной в том смысле, как это понимал Рем, и ему самому не было не известным, что многочисленные коммунисты стекались в ряды СА, возможно, надеясь, что смогут во всей полноте продолжить начатую СА революцию. Он мог рассчитывать на поддержку подчиненных Рему Гиммлера и Лютце. Геринг и гестапо и так были на его стороне. Рейхсвер распространял будоражащие сообщения о мнимых приготовлениях к восстанию СА, и в центре паутины находился самый надежный сторонник Гитлера среди высшего офицерства генерал Рейхенау. Однако Гитлер медлил с принятием окончательного решения.

В начале июня он имел длительную личную беседу с Ремом, в ходе которой он настоятельно рекомендовал последнему взять отпуск. Рем так и поступил и даже объявил о всеобщем отпуске для членов СА, однако 8 июня он отдает угрожающей приказ всем подразделениям, в котором — из необъяснимого упрямства — даже не называет имени Гитлера. Он, однако,

упоминает о врагах СА и их напрасных надеждах, заканчивая патетическим выражением: "СА была и остается судьбой Германии".²

17 июня, независимо от Гитлера, был проигран важный контрапункт. Вице-канцлер фон Папен по приглашению союза университетов произнес в Марбурге речь, в которой говорил о "шлаках" революционного состояния, вновь обращался против антихристианских притязаний на тотальность и предостерегал против разделения народа на спартанцев и илотов. Ключевыми положениями речи были следующие: "Тот, кто безответственно играет с подобными идеями (второй революции), тот не должен утаивать, что за второй волной может легко последовать третья, что тот, кто угрожает гильотиной, чаще всего попадает под нож <...> Много говорится о грядущей социализации. Разве мы для того пережили антимарксистскую революцию, чтобы проводить марксистскую программу? <...> Ни один народ не может позволить себе вечного восстания снизу, если он должен выдержать испытание историей <...> С вечной динамикой нельзя сделать ничего определенного по форме. Германия не должна стать движущимся в неизвестное поездом, о котором никто не знает, когда он остановится <...>".³

Гитлер понял эту речь не как поддержку, а как вызов. Ее распространение было запрещено, а ее автор, Эдгар Юнг, некогда выдающийся поборник *консервативной революции*, – арестован. Гитлер решился воевать на два фронта.

28 июня он созывает совещание вождей СА в Бад Висзее и объявляет о своем участии в нем. 30 июня после посещения Эссена он вместе с Геббельсом и Лутце фон Хангеларом прилетает в Мюнхен. Незадолго до этого до него доходят многочисленные сенсационные известия, в том числе о планировании против него покушения штандартенфюрером Улем, а также о подготовке восстания берлинского вождя СА Эрнста (который в действительности как раз находился в свадебном путешествии). Насколько серьезно Гитлер относился к этим известиям и руководствовался ими в своих действиях, до сих пор неизвестно. Во всяком случае, уже по прибытии в Мюнхен были арестованы несколько вождей СА, в Висзее был арестован застигнутый врасплох Рем и важнейшие люди из его окружения. Пленные были на автобусе доставлены в тюрьму Штадельхайма. По пути были арестованы еще несколько лидеров СА, которые как раз направлялись в Висзее. Баварский министр юстиции Франк сперва успокоил Рема словами, что во дворце юстиции ему ничто не угрожает, однако, руководствуясь полученной от Гитлера запиской, он передает девятнадцать человек в СС, которые тотчас были расстреляны. Рему была предоставлена возможность совершить самоубийство, и после отказа 1 июля он был убит Теодором Эйке, вторым комендантом Дахау, позднее ставшим инспектором концлагерей. Между тем в Берлине Геринг и Гиммлер на свой страх и риск вышли за пределы того, что им было поручено. Были расстреляны Грегор Штрассер и генералы фон Шлейхер и фон Бредов.

Жертвой также пали сотрудники Папена фон Бозе и Юнг. Сам вице-канцлер был посажен под домашний арест.

Гитлер получил благодарственные телеграммы от Бломберга и Гинденбурга. 3 июля выходит в свет “Закон о мерах государственной защиты”, в котором говорится, что меры, предпринятые 30 июня, 1 и 2 июля для ликвидации изменников государства и страны, являются “законными и направленными на защиту государства”. И в своей речи в рейхстаге 13 июля Гитлер дает следующее разъяснение: “Но если три государственных изменника в Германии договариваются и проводят встречу с иностранным государственным деятелем, которую они сами охарактеризовали как “служебную”, удаляют персонал и наистрожайшим образом приказывают скрыть это от меня, то я велю расстрелять этих людей, пусть даже и действительно на этом скрытом от меня совещании речь велась исключительно о погоде, древних монетах и тому подобном”.⁴

Это было невероятным обоснованием невероятного события. Во всех государствах есть законы против государственной измены, и в качестве наказания они часто предусматривают смертную казнь, – однако только после судебных процедур! Начиная с 30 января СА уничтожило несколько сот своих противников, но речь шла об *экзекуциях*, и чаще всего вмешивалась юстиция. В Советском Союзе были уничтожены миллионы *врагов*, но при этом ссылались на *революционное право* и даже находили иногда поддержку в старых правовых государствах Запада. Но резни такого рода внутри руководства государства еще никогда не случалось в современной истории, даже в Советском Союзе. Неискренние упреки в распутстве и гомосексуализме, подготовленные для нейтрализации возмущения широкой общественности, были столь же беспочвенны, сколь и обвинение в заговоре, которое по отношению к генералу фон Шлейхеру все же казалось не совсем безосновательным. Сюда же добавились и чрезвычайно отягчающие обстоятельства. Несколько человек были расстреляны из мести или для острастки, хотя они не имели никакого отношения к СА или к возможным планам консервативных кругов: к ним принадлежат и семидесятитрехлетний Густав фон Кар и председатель Католической Акции Клаузенер, а вместе со Шлейхером свою смерть нашла и его жена. Тут трудно увидеть принципиальные отличия от массовых расстрелов после покушения на Ленина и Урицкого, но здесь даже нельзя указать на чрезвычайную ситуацию гражданской войны как на извиняющее обстоятельство. В центре Европы, следовательно, возник режим который не только беспощадно уничтожал свих политических противников вместе с членами их семей безо всякого судебного разбирательства, но и устроил массовую кровавую баню в своем собственном руководстве. Теперь и о национал-социалистическом режиме можно было бы сказать, что расстрелы – это альфа и омега его правительственной мудрости.⁵

Если не довольствоваться термином “банда преступников”, который в течении лет употреблялся в среде русских эмигрантов применительно к

большевикам, то следует искать одно единственное серьезное основание этого события, которое тут же и обнаруживается в той речи, которую сам Гитлер произнес в рейхстаге: "В этот час я нес ответственность за судьбу немецкой нации, а значит, являлся высшим судьей немецкого народа. Бунтующие дивизии во все времена вновь приводились в порядок благодаря децимации. Лишь одно государство никогда не использовало свои военные артикулы, и это государство – Германия – рухнуло. Я не хочу, чтобы эту судьбу разделил юный Рейх".⁶

Но даже если принять неправомерное предположение, будто вожди СА действительно отказывались подчиняться, то предпосылка этого аргумента состоит все же в том, что в стране объявлено военное положение. Слова Гитлера изобличали существовавший режим как режим военного положения в мирное время.

И именно в этот момент ввиду смерти рейхспрезидента Гинденбурга Гитлер устанавливает единоличную власть, которой никогда не мог добиться Муссолини и которой к тому времени формально и фактически еще не имел даже Сталин. Более того, министр рейхсвера фон Бломберг, изменив – в духе государственного переворота – имперской присяге, устранил внутреннюю самостоятельность вермахта.

Уже первого августа 1934 года, за день до смерти Гинденбурга, правительство рейха приняло решение о том, что должность рейхспрезидента должна быть объединена с должностью рейхсканцлера, хотя закон о полномочиях исполнительной власти не давал для этого никакого основания. Еще более важным было то, что Бломберг простым предписанием вводит новую формулу присяги, которая обязывала вермахт присягать на личную верность "вождю немецкой империи и народа, Адольфу Гитлеру". Также и это изменение было противоправным и, следовательно, революционным. Но принесение личной клятвы означало возвращение к монархической традиции, и поэтому оно охотно принималось офицерами. То, что речь шла о своего рода сделке, стало очевидным, когда 20 августа Гитлер направил Бломбергу благодарственное письмо, в котором он дал торжественное заверение в том, что, он, выполняя завет почившего в бозе генерал-фельдмаршала, будет считать своим высшим долгом "закрепить за армией роль единственного оруженосца нации".⁷

Итак, Гитлер предоставил вермахту известные гарантии, защищающие его от определенных тенденций в его собственной партии, но сам он стал единовластным правителем, которого никогда еще не знала история немецкого Рейха: не эрзац-монархом, каковым, по-видимому, был Гинденбург в период Веймарской республики, а сверх-монархом, а именно "вождем немецкого Рейха и народа" с неограниченными полномочиями.

Отныне он не нуждался даже в вице-канцлере: фон Папен, вопреки глубочайшему унижению, принял пост чрезвычайного и полномочного посла в Вене, чтобы смягчить последствия убийства национал-социалистами бундесканцлера Дольфуса 25 июня 1934 года, что привело

к тяжелому конфликту с Муссолини. Поведение рейхсвера можно объяснить лишь тем, что в Гитлере его представители увидели “своего человека”, который гарантировал им воплощение их заветного желания: обретение “свободы вооружения”. Действительно, отныне более не существовало никакой силы, которая могла бы воспрепятствовать усиленному и эффективному перевооружению. Увеличение армии до 300000 человек, завершение которого планировалось Шлейхером лишь к 1938 году, было перенесено на осень 1934. Между тем потребовалось некоторое время, чтобы верхушка вермахта осознала, что чрезмерно активное выполнение его желаний может быть опасным для него самого: концепция народного национал-социалистического войска была снята с повестки дня, однако вследствие притока масс вермахт сам менял свое лицо и терял старую солидность. Кроме того, вопреки обещанию началось создание вооруженных подразделений СС, и в вермахте осознали вероятность того, что в обозримом будущем ему придется столкнуться с новым конкурентом.

В немецком народе мероприятия Гитлера против СА были встречены с удивительным сочувствием, очевидно, потому, что в партийной армии видели опасную и революционную силу. И все-таки не было недостатка в чувстве, что это значило на самом деле, когда национал-социалистская революция в течение полутора лет завоевала тотальные позиции в руководстве государства и тем самым стала практически бесконтрольной. Против закона о наследовании власти Гитлером, вынесенного 19 августа на всенародное голосование, вопреки многочисленным уловкам и манипуляциям проголосовало четыре с половиной миллиона – больше десяти процентов избирателей. Это было результатом, который в отсутствие всякой легальной оппозиционной пропаганды являлся беспримерным.

И не удивительно, что многочисленные наблюдатели во всем мире полагали, что дело Рема стало тяжелым потрясением для национал-социалистического режима и даже чуть ли не началом его упадка. Сталин, однако, к ним не принадлежал. По сообщению Вальтера Кривицкого, второго руководителя советской военной разведки в Западной Европе, “на Сталина произвел большое впечатление тот способ, каким Гитлер разделился со своей оппозицией. Вплоть до мельчайших деталей он штудировал каждое сообщение наших агентов в Германии, которые касались событий той ночи”.⁸ С заседания Политбюро, которое занималось этими процессами, генерал Берзин, главный руководитель разведывательной службы, вышел с тезисом Сталина, согласно которому процессы в Германии не свидетельствуют о крушении нацистского режима. Наоборот, они ведут к консолидации режима и усилению Гитлера.⁹ И самое позднее – после разоблачений Хрущева на XX съезде едва ли возможны сомнения в том, что убийство Кирова 1 сентября 1934 ведет к самому Сталину.¹⁰ Были созданы условия для партийной чистки, которая в самых микроскопических деталях должна была следовать гитлеровскому образцу.

При этом положение вещей в Советском Союзе весьма отличалось от ситуации в Германии. Если здесь триумфальное единство нации и ее возрождение предстало в виде кровавого взрыва – борьбы несовместимых концепций и тенденций, то в 1934 году в Советском Союзе, казалось, после длительных битв возникло нечто вроде примирения между партийным большинством и оппозицией, которые столь долго боролись за правильную установку по отношению к социализму в одной стране, к международной революции, крестьянам и прежде всего к индустриализации страны. Высшем пунктом этой борьбы стала так называемая “платформа Рютина” 1932 года, которая указывала на Сталина как на единственного виновника катастрофического положения страны, на что Сталин, со своей стороны, охотно ответил бы смертными приговорами, если бы был в состоянии их провести. Ведь еще живо было воспоминание о ленинском “Завещании”, предостерегавшем большевиков от повторения ошибок якобинцев, от смертельных междоусобиц. Поэтому в ходе разногласий с троцкистами и зиновьевцами дело никогда не доходило до вынесения смертных приговоров, и если какой-то член партии подвергался казни, как это было с Блюмкиным, убийцей графа Мирбаха, то в этом случае должны были наличествовать обстоятельства, которые могли быть истолкованы как государственная измена или сходным образом. Даже Троцкий был просто выслан из страны. ГПУ снова и снова сообщало, что именно в среде молодежи распространялись тенденции, примыкавшие к традициям Народной Воли и других террористических организаций. Иван Солоневич встретил в заполярном исправительном лагере в 1934 году студентов, участвовавших в этих течениях, сыновей высоких партийных функционеров, которые ему чистосердечно рассказывали о попытках застрелить Сталина во время посещения театра.¹¹ Видимо, Киров принадлежал к тем, кто самым решительным образом высказывался против применения смертной казни к *интеллектуальным зачинщикам*, чего требовал Сталин, хотя он, несомненно, являлся его верным приверженцем и, сменив в Ленинграде Зиновьева, по мнению Генерального секретаря, имел большие заслуги. Однако с лета 1933 ситуация значительно разрядилась, не в последнюю очередь потому, что были собраны хорошие урожаи. Никто не мог больше сомневаться в том, что первый пятилетний план будет фактически успешно завершен в течение четырех лет, и возрастала уверенность, что в будущем миллионы людей более не будут умирать от голода ради достижения великих целей партии и государства. Напротив, теперь становились возможными замедление темпов и ощутимые облегчения для людей. Дело представлялось таким образом, что Сталин сам поддерживал такие настроения, и на XVII съезде некоторые бывшие лидеры оппозиции, в том числе Каменев, получили возможность выступить. В то же время Максим Горький, который тогда оказывал большое влияние на Сталина, предпринял значительные усилия для достижения примирения среди партийной интеллигенции, поддерживая “либерализм” Кирова.

Напротив, непосредственное окружение Сталина во главе с Кагановичем и Ежовым противилось этой тенденции и искало возможность укрепить недоверие, заставляло Сталина повсеместно видеть результаты действий *врагов*. Вероятно, что это недоверие было вновь подстегнуто тем обстоятельством, что пленум 1934 года вынес постановление ускорить предпрешенное уже партийным съездом перемещение Кирова из Ленинграда на работу в Москву секретарем ЦК наряду со Сталиным.

В декабре 1934 года Киров был застрелен в Смольном, где располагался партийный комитет, молодым коммунистом по фамилии Николаев. Сталин тотчас выехал в Ленинград, чтобы лично вести расследование. Быстро выяснилось, что люди из НКВД (так с недавних пор было переименовано ГПУ) в высшей степени странным образом пренебрегали обязанностями по охране Кирова. Но за это они либо получили лишь незначительные наказания, либо пали жертвой дорожных происшествий. Сам Николаев был заслуженным членом партии, который, однако, уже давно считался недовольным, поскольку он выступал против растущей бюрократизации и жаловался на потерю тех личных и живых отношений внутри партии, которые были характерными для боевых времен гражданской войны и первых послевоенных лет. Он также обращался к более отдаленному прошлому и углубился в литературу, посвященную русским террористам XIX столетия. По всей видимости, у него не было сообщников, однако, как видно из его дневника, он часто беседовал с бывшими оппозиционерами, которые не делали никакой тайны из их критической позиции по отношению к современной политике партийных вождей. Между тем и сам Киров мягко обходился с остатками зиновьевской оппозиции, поскольку надеялся вновь привлечь ее к сотрудничеству с режимом. Так, к примеру, он позволил вернуться в Ленинград старейшему и самому упрямому оппозиционеру Давиду Рязанову, бывшему издателю полного собрания сочинения Маркса и Энгельса. Должен ли был после этого приемник Зиновьева, вопреки мнению разочарованных старых коммунистов, принадлежать к изменникам делу революции? Но кто же тогда был заинтересован в том, чтобы оставить без защиты поборника сталинистского либерализма, так сказать, подставить его под револьвер его противников? Были ли это действительно критически настроенные революционеры, или же, напротив, это был сам Сталин, который имел основание для проведения чистки от своих бывших противников? Сегодня едва ли еще можно в этом сомневаться, хотя многое в этом деле остается загадочным. Кроме того, дело об убийстве Кирова выказывает очевидное сходство с делом о поджоге рейхстага.

Правда, возможно еще и третье объяснение, а именно, что рукой Николаева руководила какая-то иностранная власть, и в особенности Радек представлял тезис о "руке гестапо", что выводило бывших оппозиционеров из-под линии огня и прежде всего освобождало от весьма опасных вопросов. Действительно, *оттень* не сразу подошла к своему заверше-

нию, хотя во внутрипартийной полемике усилилась критика оппозиции и даже был начат первый процесс против Зиновьева и Каменева, который закончился для обвиняемых вынесением приговора о тюремном заключении. Партийная директива, вышедшая уже в день покушения и требовавшая немедленного ускорения процессов против как раз тех, кто обвинялся в подготовке и проведении террористических актов, — оставалась тайной. Эта директива — как подлинная “хартия беззакония” прежде всего применялась лишь по отношению к арестованным членам “Белой Гвардии”.¹²

Более важным было то, что Сталин получил основание подозревать, что Каменев в личной беседе, которая закончилась полным его подчинением Сталину, кое-что замалчивал. По всей видимости, именно в таком замалчивании Сталин видел такое же, достойное смертной казни преступление, какое Гитлер подозревал в отношении Рема. Однако, используя убийство Кирова как непосредственный повод, Сталин создавал лишь предпосылки для большой чистки. Но поначалу для видимости была продолжена политика смягчения и примирения. При существенном участии Бухарина были предприняты первые приготовления к выходу новой конституции, которая должна была стать “самой демократической в мире”. Бухарину даже было разрешено отправиться в Париж для ведения длительных переговоров с Борисом Николаевским, результатом чего явилось “Письмо одного старого большевика”, которому мы обязаны широкой информацией о советской интерпретации убийства Кирова.¹³ Ведь именно тогда Сталин окончательно выработал курс внешней политики, который предполагал сотрудничество с западными державами, и большая негативная публичность в западной прессе была бы в высшей степени вредной для достижения этой цели.

3. Мировая политика в 1935 – 1936 годах

Когда Троцкий в 1917 году принял в свое ведение комиссариат иностранных дел, он был убежден в том, что его задача преимущественно состояла в том, чтобы “закрыть лавочку”, поскольку внешней политики в традиционном смысле отныне более не должно было существовать. Напротив, внутренняя политика Советской России, свержение капитализма, в самом скором времени должна была стать собственным содержанием политики внешней благодаря тому, что пролетариат должен был низвергнуть капитализм во всей Европе, а затем — и во всем мире. Представления Гитлера были противоположными позиции Троцкого, но также и для него не существовало никакого четкого разделения между внутренней и мировой политикой. Большинство европейцев видели в нем и его режиме прежде всего, острое немецкого ревизионизма и тем самым некую силу, которая несла угрозу для мира. Чем настойчивее он подчеркивал свою волю к миру, чем убедительнее Рудольф Гесс изображал ужасы войны¹, тем

больше были шансы на то, что "освобождения от оков версальского диктата", каковое без сомнения было одной из главных целей мировой политики Германии, позднее в какой-то момент можно будет достичь мирными путями, простым давлением со стороны набирающего силу Рейха. Но мирные речи и дипломатические заявления были не единственными фактами, которые имели вес. Поскольку Германия как большое государство в центре Европы была самым тесным образом связана с остальным миром и не могла полностью закрыть свои границы по примеру Советского Союза, постольку все, что происходило в ее внутренней политике, оказывало прямое и косвенное влияние на мировую политику. Так, те партии, которые Гитлер запретил или принудил к самороспуску, в той или иной форме продолжали развиваться в остальной Европе, и было бы странным, если бы эта солидарность никак не ощущалась в самой Германии. Ведь некоторые из немецких партий в своих исторически обусловленных модификациях продолжали жить даже на территориях с немецко-говорящим населением. Их центр находился в Австрии и области Саар. Социал-демократия развивалась также в Чехословакии и вопреки правлению национал-социалистов – даже в Данциге. Русские меньшевики внесли существенный вклад в то, что социал-демократические партии Европы после 1918 года заняли антибольшевистскую позицию. Как же эмигрировавшие в Прагу руководящие органы социал-демократической партии Германии могли остаться безучастными и не оказывать соответствующего влияния на другие партии Социалистического Рабочего Интернационала? Но еще сильнее, чем в случае партий, эта солидарность ощущалась и влияла на мировую политику в случае церквей и конфессий.

Здесь, правда, была сильнее выражена та амбивалентность, которая была характерна также и для некоторых партий. Христианско-социальная партия Австрии, как и НСНРП, была противником социал-демократии и находилась в дружественных отношениях с Муссолини, что было в интересах Гитлера. Как для католической, так и для евангелической церкви национализм, с одной стороны, был угрозой, а с другой, отвечал их чаяниям.

Католическая церковь поначалу была более восприимчивой к угрозе, содержащейся в 24 статье партийной программы, которая связывала "позитивное христианство" партии с "чувством нравственности и морали германской расы". Тем самым ставились под вопрос абсолютность и универсальность церковного учения, и лишь логичным было то, что вплоть до 1933 года церковь запрещала своим верующим вступать в ряды членов НСНРП. С другой стороны, имелись веские основания для симпатий со стороны церкви по отношению к национальному подъему, и эти запреты были отменены в марте 1933 года, хотя и не без ясно различимой озабоченной тональности. Конкордат от 20 июля 1933 года стал результатом этих противоречивых ощущений: церковь отказалась от политического католицизма, чтобы сохранить прочную правовую позицию для защиты

сердцевинной священнической сферы. Для Гитлера, в свою очередь, признание со стороны международной власти Ватикана было большим успехом его мировой политики, который принес ему большее влияние, чем продление германо-советского договора о нейтралитете в мае и парафирование четырехстороннего пакта в июне. Но уже в 1934 и 1935 годах возникло серьезное напряжение, которое в значительной части нашло свое выражение в борьбе церкви против “мифа XX века” Альфреда Розенберга и “нового язычества”. Однако все-таки всегда сохранялся известный момент родства на базе любви к отечеству и антикоммунизма, что проявилось не только в ходе референдума жителей Саара в январе 1935 года, но и в многочисленных проповедях, которые клеймили советские концентрационные лагеря, хотя при этом всегда подразумевались также и немецкие.

В рядах протестантов как средство, так и противоречия с национал-социализмом были выражены иначе. Протестанты были более открытыми по отношению к современным духовным тенденциям, чем католики, а значит, — и к националистическо-народным идеям. Однако, с другой стороны, они были гораздо более близки к Ветхому Завету. Так, тенденции обновления, остававшиеся маргинальными в католической церкви, в облике “Немецких Христиан” приобрели в местных евангелических церквях большую силу. В национал-социализме они желали видеть “вторую реформацию”, повторение дела “немецкого мужа Лютера”. Сопротивление, которое они встречали, носило ортодоксальную и в известном смысле реакционную природу. Оно было направлено против демократизации и принципа представительства, а также связанной с этим централизации, к чему стремились “Немецкие Христиане”. Но борьба против арийской пропаганды и против дискриминации крещеных евреев со стороны “Союза пасторов” и “Исповедующей Церкви” все сильнее выступала на передний план, и немалое число “Немецких Христиан” сближались с антихристианским “Немецким движением веры”, где нередко употреблялись такие обороты, как “ядовитые сорняки азиатского, иудейско-марксистского христианства”.² И все-таки едва ли кто-то мог быть настроен более националистически, чем бывший командир подводной лодки и боец добровольческого корпуса Мартин Нимёллер, который вскоре стал самой известной в мире фигурой церковного сопротивления.

Но даже еврейские противники и жертвы национал-социалистского антисемитизма не были полностью лишены этого момента родства, хотя, как известно, не только одни лишь евреи чувствовали угрозу со стороны антисемитов. Антисемитизм также представлял собой комплексный феномен, и внутри него могут быть различены четыре основных мотива, которые своим происхождением обязаны различным историческим источникам:

Национал-социалистский антисемитизм являл собой некий извод узколобого социализма, который все упреки, направляемые социалистами

против капитализма, концентрировал на евреях: речь идет об упреках в эксплуатации, паразитизме, отчужденности от народа. Однако многие прежние социалисты в первую очередь боролись с Ротшильдом и евреями, “королями эпохи”. Лишь Карл Маркс перенес критику на более широкий предмет – *капитализм*, хотя и он объявлял, что современный мир является еврейским вплоть до самой своей сердцевины.³

Между тем в национал-социалистическом антисемитизме наряду с социальным содержался и национальный мотив, который, несомненно, имел свой коррелят с еврейской стороны, а именно, сионизм. Правда, в своей существенной части сионизм, с одной стороны, был реакцией на антисемитизм, прежде всего русский и французский, с другой же стороны, он имел и независимые корни в развивавшемся национальном чувстве, наподобие того, как это выражалось в итальянском движении за свободу и единство. Эта связь просматривается в главной сионистской книге Моисея Гесса “Рим и Иерусалим” 1862 года. Поэтому не *только* как защитные меры можно рассматривать то, что немецкие сионисты еще до 1914 года сделали необходимым условием членства в союзе согласие вступающих переселиться в Иерусалим.

В качестве исторического обоснования национал-социалистской враждебности к евреям была выставлена версия удара в спину: будто бы евреи во время Первой мировой войны уклонялись от военной службы и еще до военного поражения совершили измену. Но все же динамической сердцевиной этого мотива, очевидно, были не сомнительные или ложные утверждения о проценте евреев в составе бюрократии военной экономики, а воспоминание о роли в немецкой революции таких евреев, как Левине, Левьен, Эйсер и Роза Люксембург. Речь уже шла о мотиве *еврейского большевизма*, который был прямо-таки противоположным по отношению к двум первым мотивам.

Высшим пунктом национал-социалистского антисемитизма явилось идеологическое и мифологизированное каузальное учение, которое все роковые события мировой истории выводило из воздействия со стороны демонической силы, а именно – евреев. Так, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в публичном докладе “Охранные отряды СС как антибольшевистские боевые организации” 1935 года обратил свой взгляд в прошлое, где “в течении эпох блистал неустанный меч палачей Канништатта и Верден”, где воздвигали костры во время охоты на ведьм, где инквизиция опустошала Испанию, где в период террора Французской революции были гильотинированы лучшие сыны народа Франции, – и во всем этом, по мнению Гиммлера, “участвовал наш общий враг, еврей, в том или ином облачении или через какую-нибудь из его организаций”. В том же докладе все трудности и катастрофы немецкой истории таким сравнительно рациональным образом выводились из свойственного немцам влечения к свободе и индивидуализма, благодаря чему становилось очевидным, что основополагающий опыт напоминал опыт большевизма и ленинское “кто

кого?” превращалось в тезис, будто в расовых боях не может быть никаких мирных договоров, а поражение народа означало для него – смерть.⁴

Первый и *самый реальный* мотив показал наименьшую эффективность и силу. Бойкот, начавшийся 1 апреля, в первую очередь направленный против еврейских магазинов, быстро сошел на нет, и вплоть до 1938 года активности иудеев в экономике почти никто не препятствовал, – не в последнюю очередь благодаря покровительству рейхсминистра экономики Шахта.

Второй мотив составлял основу “Нюрнбергских законов” от 15 сентября 1935 года, которые превращали иудеев в простых “государственных подданных”, но, конечно же, выходили за рамки государственно-правовых аспектов в той мере, в какой они – в соответствии с феодальными, но также и американскими примерами – вводили в законодательство понятие “крови” и угрожали наказанием за совершение бракосочетаний и даже за внебрачные сношения между евреями и немцами. Абсолютно сионистским было и трансфер-соглашение (Haagva), которое должно было облегчить евреям выезд в Палестину.

Третий мотив представлял устойчивый, хотя и скорее пропагандистский топос.

Четвертый мотив последовательно выражал всю остроту революционного характера национал-социализма. Актуальность здесь получал вопрос о том, не означал ли он настоящего объявления войны “Западу” (“Abendland”), защитниками которого националисты – в отличие от Эрнста Никиша и других национал-революционеров – себя безапелляционно провозглашали.

То, что Гитлер, сражаясь с церковью и дискриминируя евреев, во многих государствах и особенно в Англии создавал себе многочисленных антагонистов, которые в противном случае оставались бы нейтральными по отношению к чистому национал-социализму, делают очевидным многочисленные высказывания англичан, которые заявляли: “Я думаю, расистское преследование принадлежит какой-то другой эпохе”.⁵ С другой стороны, даже Наум Гольдманн в своих воспоминаниях сообщает, что хотя на еврейском всемирном конгрессе он и провозгласил “еврейский бойкот нацистской Германии”, однако вопреки жестким нападкам энергично выступал за трансферное соглашение.⁶

Казалось, все говорило за то, что режим, который благодаря своей внутренней политике создавал себе столь могущественных противников, должен был натолкнуться на решительное и единое противодействие со стороны всех государств, – в той мере, в какой его ревизионистские устремления отстаивались не просто пропагандистскими или дипломатическими путями, но и подкреплялись мощным перевооружением. Европейский континент в значительной степени еще сохранял свой авторитет, как бы ни было поколеблено его мировое господство Первой мировой войной и выходением на мировую арену новых неевропейских держав, как, на-

пример, США или Японии. Германия же являлась потенциально сильнейшей, пусть даже и наиболее опасной, державой континента, и даже *немецкая культура* едва ли тогда была способна приобретать друзей и поклонников, с тех пор как у руля страны оказалось движение отъявленных антисемитов. Поэтому естественным стало возобновление военной коалиции и начало *политики Большого Сопротивления*. Однако глубинной предпосылкой этой политики должно было стать присоединение к ней и Советского государства. Советский Союз был действительно к этому готов, поскольку его руководство чувствовало угрозу гораздо в большей степени, нежели любое другое государство. Однако разве не оно устами своих приверженцев когда-то торжественно провозгласило, что именно оно — “могилищик буржуазного общества”?⁷ Разве не оно на протяжении пятнадцати лет жестко отстаивало идеи ревизионизма? Разве не оно еще раньше начало преследовать христианскую церковь, гораздо жестче и эффективнее, чем это делали национал-социалисты? Разве не оно раз и навсегда отняло у сионизма всякую возможность действовать и провозглашать свои идеи, в то время как в Германии еврейские общины продолжали вести активную внутреннюю жизнь и даже способствовали сионистскому движению. Бриана уже, правда, не было в живых, однако предостережения Жана Эрбе об опасности “Зла” едва ли были полностью забыты во французском Министерстве иностранных дел. Впрочем, многие англичане, как и прежде, размышляли наподобие “авгуров”.⁸ Когда в сентябре 1934 года обсуждался вопрос о вступлении Советского Союза в Лигу наций, то швейцарский бундесрат Мотта выразил глубочайшее недоверие, в котором еще были живо слышны отзвуки опыта Первой мировой войны: “Наша миссия в Петербурге была в 1918 году разграблена, а один из представителей зверски убит. Но мы еще не слышали даже видимости извинений. Когда в 1918 нам угрожала попытка генеральной забастовки со всеми ужасами гражданской войны, нам пришлось применять военную силу для того, чтобы удалить из Берна советскую миссию, которая была замешана в раздувании этих конфликтов. <...> На любой территории коммунизм означает тотальное отрицание всех идей, на которых основывается наша сущность и наша жизнь. <...> Его распространение за пределы политических границ питает его жизненный дух. Если он от этого отказывается, — он отрицает сам себя. Если он сохраняет ему верность, то он становится общим врагом, ибо угрожает всем нам”.⁹

Мотта, правда, не смог воспрепятствовать принятию Советского Союза в Лигу Наций, однако вопреки всем речам и заверениям Литвинова радикальная противоположная тенденция, которую коммунистические теоретики считали важнейшей и чуть ли не неизбежной, полностью не исчезла. Речь идет о *политике Большого Соглашения* между капиталистическими державами, — признания немецкого господства на Европейском Востоке после уничтожения коммунистического режима. Она, очевидно, соответствовала собственным устремлениям Гитлера и, казалось, лишь

способствовала укреплению колониальных империй Франции и Англии. Поэтому-то она находила столь горячую симпатию во влиятельных кругах западных держав. Хотя эту политическую линию вряд ли можно было вынести на суд общественности, однако она серьезно ослабляла политику большого Сопротивления, и министр иностранных дел Франции Пьер Лаваль, хотя и заключил в 1935 году с Советским Союзом оборонный договор, однако в первую очередь руководствовался внутривнутриполитическими соображениями, когда он побудил Сталина публично выразить одобрение усилиям Франции по перевооружению своей армии. Это стало тяжелым ударом по активной антивоенной агитации французских коммунистов и вместе с тем непроизвольно подготавливало основу для формирования Народного Фронта, который был создан в течение последующих двенадцати месяцев коммунистами в союзе с социалистами и левобуржуазными радикальными социалистами под лозунгом нового типа – “антифашизма”. Лаваль, однако, не сделал ничего для ратификации соглашения Национальным Собранием и Сенатом, ибо в действительности он давно уже стал сторонником политики *малого Сопротивления*.

Осевым пунктом этой политики стала фашистская Италия Муссолини. Если бы удалось сделать Муссолини надежным партнером западных держав, Гитлер попал бы в тиски, которые бы заставили его вести себя по-тише, и в этом случае, возможно, не потребовалось бы вовлечение в коалицию Советского Союза, что грозило непредвиденными последствиями и особенно пугало Англию. В апреле 1935 года на конференции трех держав в городе Стреза эта политика достигла своей кульминации: там решительно отвергались возможные изменения Версальского Договора, в чем обвинялся Гитлера, когда 16 марта 1935 года якобы в ответ на продление обязательной военной службы во Франции на два года он объявил о введении всеобщей воинской повинности и тем самым снял всякие сомнения с вопроса о самой широкой модернизации немецкой армии. Однако Муссолини полагал, что за свое участие на стороне западных держав ему стоит запросить высокую цену, а именно выговорить терпимое отношение союзников к его намерениям превратить Италию – по образцу ее партнеров – в великую колониальную державу и оккупировать Эфиопию, которая уже с 1923 года являлась участником “Лиги наций” и поэтому

✓ полагалась на защиту *коллективной безопасности*. Не получив никаких заверений, 2 октября 1935 года дуче тем не менее рискнул созвать на площади Италии миллионы людей, призвав “пролетарскую и фашистскую Италию” завоевать себе, наконец, место под солнцем – отправиться в военный поход в Восточную Африку, чему так долго препятствовали буржуазные нации Запада. Тем самым он в кратчайший срок разрушил политику малого Сопротивления, хотя остаточные надежды на ее возобновление, как это вскоре должно было выясниться, были достаточно сильны, чтобы обеспечить Муссолини успех его начинания.

Между тем Великобритания самостоятельно предприняла резкие шаги в области второй весьма *малой* возможности в рамках мировой политики — *политики малого Согласия*. Вскоре после введения всеобщей воинской обязанности в Германии британский кабинет запросил у Гитлера, сохраняется ли еще в силе достигнутая некоторое время назад договоренность о посещении Германии министром иностранных дел сэром Джоном Саймоном и лордом-хранителем печати Энтони Иденом. Естественно, что Гитлер не мог дать отрицательный ответ, и в беседах 25 и 26 марта, по всей видимости, он произвел весьма хорошее впечатление на английских гостей, которые полагали увидеть демагога, а тут пришли к мнению, что встретили настоящего государственного мужа. Хотя сразу после встречи Саймон и Иден отправились в Москву, однако после своего возвращения поддались инициативе Гитлера, и в ходе стремительных переговоров с посланом по особым поручениям Риббентропом было подготовлено соглашения о флотах, которое 18 июня и было предложено ошеломленной мировой общественности. Суммарный тоннаж немецкого военного флота не должен был превышать тридцати пяти процентов от флота британского, в то время как подводный флот мог формироваться на паритетных началах. Этим Великобритания, конечно, достигала своей цели, — связывала Германию новыми договорами, — после разрыва Версальского Договора, однако это задним числом санкционировало сам этот разрыв, все больше убеждая Гитлера в том, что его не ожидает никакого решительного противодействия, если он сбросит с себя последние и важнейшие оковы, наложенные на Германию в результате ее поражения в Первой мировой войне.

Предпосылки для этого создавал Муссолини. Направив свои войска в поход против Эфиопии, он неожиданно натолкнулся на жесткое сопротивление, и уже через несколько недель пятьдесят стран Лиги Наций наложили на Италию свои санкции. Однако дуче продемонстрировал все силу своих стальных нервов, и страны, входящие в Лигу Наций, не довели свои мероприятия до той точки, когда бы действительно возникла опасность для его режима. Еще 2 марта 1936 новый французский министр иностранных дел Фланден вторично отсрочил введение решения о нефтяном эмбарго, называя это “последним призывом” к Италии.

Между тем французское правительство, внимание которого в первую очередь было приковано к Германии, направило пакт с Советским Союзом в законодательные органы, тем самым возвращаясь к политике большого Сопротивления. Однако внутривнутриполитическая оппозиция со стороны правых и части центристов высказывала крайнее недовольство, и Гитлер своим верным психологическим чутьем убедился в том, что французы, — в особенности незадолго до решающих парламентских выборов, выиграть которые надеялся “Народный Фронт”, — явно были не склонны принимать столь радикальные решения. Вероятно, он имел все основания полагать, что французо-русский пакт, — вопреки своей ориентации на устав Лиги

Наций, — представлял собой явление совершенного нового типа, все последствия которого нельзя было предусмотреть. Штреземан еще в 1925 году в Локарно заявил о своем согласии демилитаризовать Рейнскую область, то есть в целях успокоения Франции сделать радикальную уступку и лишиться части суверенитета на необозримое будущее. Однако Гитлер, вскоре после ратификации пакта французским Национальным Собранием 7 марта 1936 года ввел немецкие войска в Рейнскую область и тем самым нарушил одно из наиболее важных положений Версальского договора. Убедительно засвидетельствовано, что на протяжении следующих сорока восьми часов он находился в чрезвычайно нервном состоянии, и наконец войска получили указания отступить. Остается открытым вопрос, пережил бы национал-социалистский режим оккупацию Майнца и Кёльна войсками союзников.

Однако выяснилось, что французские военные испытывали не меньший страх, чем немецкие. Они полагали, что без мобилизационных мероприятий им не удастся ответить на гитлеровский демарш, но на это не были готовы политики, довольствовавшиеся обращением к Лиге Наций. В Англии, по сообщениям немецкого военного атташе, мнение маленького человека с улицы сводилось к тому, что было бы безумством снова отправляться на Сомму и Марну лишь потому, что немцы занимают свою собственную территорию.¹⁰ Итак, Гитлер вторично продемонстрировал свое превосходство и в ходе стремительно проведенных вслед за этим выборов в Рейхстаг 28 марта одержал триумфальную победу: при участии в выборах 99 процентов избирателей 98,8 процентов проголосовали за национал-социалистский партийный список.

Между тем и Муссолини, наконец, начал движение на пути к военной победе. 5 мая 1936 года итальянцы под военным руководством главнокомандующего маршала Бадольо вступили в Аддис-Абебу, защитникам которой ничуть не помогло то, что эфиопские делегаты 11 мая выступили перед представителями Лиги Наций со страстной речью, обвиняющей в “преступных деяниях” итальянцев, которые “чудовищными средствами современной цивилизации” лишили эфиопов их свободы и “искоренили” значительную часть народа Эфиопии.¹¹ Вскоре после этого санкции были сняты, и западные державы дали почувствовать, что вопреки франко-советскому пакту они были не прочь вдохнуть новую жизнь в политику малого Сопротивления. Однако триумф Муссолини сделал возможными дальнейшие успехи Гитлера. Не удивительно, что оба диктатора все больше сближались, все очевиднее становилось восхищение Гитлера Муссолини и фашизмом, в то время как Муссолини, со своей стороны, даже во времена острого политического напряжения между обоими государствами неоднократно подчеркивал идеологическое сродство и структурное подобие обоих режимов. Одна подсказка Муссолини дала Гитлеру возможность 11 июля 1936 года заключить с Австрией соглашение, которое подтверждало государственную независимость Австрии и тем не ме-

нее принуждало последователя Дольфуса – Курта фон Шушнига – поддерживать национал-социалистскую идеологию. Гитлер теперь не чувствовал себя одиноким, поскольку три главные и реалистические возможности политики в отношении Германии повлекли за собой столь серьезные интерференции, что ни одна не из них не допускала своего последовательного проведения.

Как же обстояло дело с четвертой – самой старой и наиболее вероятной – возможностью *большого Соглашения*? В официальных высказываниях западных лидеров едва ли можно обнаружить позитивные указания соответствующего типа, однако, по меньшей мере, Лаваль, видимо, серьезно задумался над возможностями направить немецкий динамизм в восточном направлении, и в руководящих кругах западных государств имели место многочисленные намеки и беседы, которые также указывают в этом направлении, что, в свою очередь, встретило яростное возмущение американского посла в Германии Уильяма Додда. Конечно, противоположные тенденции были явлены значительно сильнее, хотя в публичной политике чаще всего их выражали писатели, которые относились с большой симпатией к *великому социальному эксперименту в Советском Союзе*.

3 мая во Франции Народный Фронт победил на парламентских выборах. И в Англии антифашизм находил все больше сторонников, хотя консерваторы все еще обладали надежным парламентским большинством. Дипломатия наркома иностранных дел Литвинова хорошо вписывалась в эти тенденции. По своему характеру и тону она настолько отличалась от деклараций двадцатых годов, что должно было произойти нечто чрезвычайное, чтобы это изменение стало возможным. Между тем является большим вопросом то, выразил ли Сталин свои подлинные опасения, когда на XVII съезде партии разделил “старую” и “новую” линию немецкой политики, борьба которых началась еще до прихода к власти Гитлера, а именно, с одной стороны, политику Рапалльского договора и, с другой стороны, тенденции в направлении возобновления политики бывшего немецкого кайзера, “который некогда оккупировал Украину, предпринял военный поход против Ленинграда, используя для этого территорию балтийских стран”.¹² Было очевидно, что с помощью этой вызывающей метафоры Сталин предупреждал тех, кто проводил эту новую политику, что новая промышленная и военная мощь Советского Союза будет достаточной для удержания их от того, чтобы “совать свое свиное рыло в наш советский сад”.¹³ Но не опасался ли Сталин, что западные политики воспримут его новую линию, – внешнюю политику Литвинова, – лишь как простую стратегию и в конце концов все-таки решатся перейти к политике Большого Соглашения? Тогда бы в будущем военный поход немецких войск и интервенция союзников не были бы направлены друг против друга, как это было в 1918 году, а координировались бы. От самой Германии, следовательно, зависел выбор той или иной европейской политики и здесь она могла надеяться на два исхода событий: с одной стороны, она

могла возвратиться к политике Рапалло, с другой стороны, провозглашающая себя капиталистической Германия парадоксальным образом отчуждалась от менее активных капиталистических стран. Во всяком случае, Сталин должен был продвигать процессы перевооружения, и основанием для ее начала послужило принятие в 1928 году первого пятилетнего плана. В мае 1935 года он уже мог дать такую интерпретацию коллективизации, которая была бы весьма убедительна и для западных ушей. Так, в своей речи перед молодыми командирами Красной Армии он заявил о том, что задача состоит в переведении отсталой и почти нищей страны с полуграмотным населением из “мрака средневековья и невежества на рельсы современной индустрии и механизированного сельского хозяйства”. Это наконец удалось, и отныне Советский Союз обладал могучей и первоклассной промышленностью, организованной и технически превосходно оснащенной Красной Армией.¹⁴ Незадолго до этого заместитель наркома обороны М.Н. Тухачевский на седьмом Съезде Советов в январе 1935 года опубликовал итоги годового бюджета: расходы наркомата обороны составили в 1934 году примерно пять миллиардов рублей, а в 1935 году планировалось израсходовать еще шесть с половиной миллиардов. Численность действующего состава Красной Армии составляла в то время 960 тысяч человек, и была поставлена задача, создать армию, “равной которой не было бы во всем мире”.¹⁵

Если Германия являлась центральным предметом опасений Сталина, то СССР, в свою очередь, был главным объектом внимания Гитлера, хотя он и в первую очередь улаживал отношения с Италией и Францией, Англией и Польшей. Сталин даже утверждал, что перевооружение Советского Союза является реакцией на приход к власти Гитлера, однако истоки этого процесса вооружения следует искать гораздо глубже, и, во всяком случае, его темпы настолько превосходили немецкие, что это бы крайне насторожило любое правительство в Берлине. В 1934 году Гитлер никак не мог израсходовать на вооружение больше трех миллиардов марок, что было по меньшей мере в четыре раза меньше советских затрат, и, кроме того, статистика планового хозяйства не учитывала не прямые военные расходы.

Нельзя сомневаться в том, что Советский Союз и большевизм и 1935-36 годах занимали центральное место в мыслях и эмоциях Гитлера. В ходе беседы с сэром Джоном Смитом и Энтони Иденом, – по сообщением переводчика Пауля Шмидта, – “его ноздри раздувались от возбуждения, когда он изображал те опасности, что несет для Европы большевизм”. “Он в страстном возбуждении” подчеркивал, что сотни его партийных товарищей были убиты большевиками, что многочисленные немецкие солдаты и гражданские лица отдали свою жизнь в борьбе против большевистских восстаний. Его “любимая тема – Советский Союз” заняла в этом обсуждении довольно много времени. Он с “неприкрытым гневом” говорил о “длинной руке России”¹⁶, упоминая и Чехословакию, которая как

раз начала с Москвой переговоры по поводу договора о взаимной военной помощи в случае агрессии. Все это не было *чистой тактикой*, а являлось лишь слегка прикрытым оправданием собственной внешнеполитической концепции Гитлера, концепцией политики большого Согласия, точно соответствующей его внутриполитическим устремлениям: союз с Папеном и Гугенбергом в целях победы над общим врагом. Также и этот альянс был для Гитлера чем-то большим, нежели простой тактикой, он сопрягался с некоторыми глубоко укоренившимися в нем убеждениями.

Поэтому и великое противостояние с Советским Союзом и большевизмом, о котором Гитлер заявил в своей речи в рейхстаге от 21 мая 1935 года, не следует рассматривать лишь в контексте краткосрочных внешнеполитических целей. Едва ли он в каком-нибудь другом месте столь же однозначно определял бы себя и свое движение как *ответ* на большевизм. *концепция ответа*

Эта речь сводилась к следующим положениям. Национал-социализм как учение был направлен исключительно на немецкий народ, напротив, большевизм подчеркивал свою интернациональную миссию. Национал-социалистское убеждение в том, что счастье и достижения Европы, неразрывно связанные с наличием системы независимых свободных национальных государств, противоречило проповеди мирового государства большевизмом, который знал лишь секции центрального Интернационала. Международную революцию большевизм пытался осуществить средствами террора и насилия, в то время как национал-социализм боролся за последовательное примирение противоречий социальной жизни для сотрудничества всех ради общенациональных достижений. Большевизм жертвовал миллионами людей и бесценными сокровищами традиционной культуры во имя теории и достиг на этом пути весьма низкого уровня жизни. Напротив, национал-социалистская Германия счастлива от того, что входит в европейское культурное сообщество, дух которого столь сильно отпечатался на жизни современного мира. В частной собственности национал-социализм видит "более высокую стадию хозяйственного развития человека", в то время как большевизм уничтожил не только частную собственность, но также и частную инициативу, и радость ответственности.¹⁷

В большей своей части все это было общим местом в рассуждениях того времени в Европе и Америке. Однако ни что не свидетельствует против того, что в то же время таковы были искренние убеждения Гитлера. Без подлинно общих черт политика большого Согласия была бы невозможна. Этот немецкий ответ в значительной своей части должен быть ответом Европы и Америки. Однако все его своеобразие уже в начале 1934 года со всей очевидностью проявилось в другой его речи в рейхстаге. Оно состояло в том, что этот ответ вместе с тем – по меньшей мере частично – был копией: "Если господин Сталин в своей последней большой речи выразил опасения, будто в Германии действуют антисоветские

силы, то в этом месте я должен исправить это мнение. К коммунистической тенденции, не говоря уже о пропаганде, в Германии будут относиться столь же нетерпимо, как в России относятся к немецкой национал-социалистской тенденции".¹⁸ Разве *свобода* европейского культурного сообщества состояла не в том именно, что оно терпимо относилось к враждебной пропаганде и даже деятельности, поскольку оно давало пространство всем мнениям и видам деятельности, до сих пор оставаясь достаточно сильным, чтобы обратить это на пользу своему развитию? Разве не были опасными запреты *всякой* свободной деятельности и *любого* выражения личного мнения, если последовательно проводить это требование точного соответствия? Не должна ли судьба Папена и Гугенберга послужить предостережением для Саймона и Идена? Разве сам Гитлер не препятствовал той политике, к которой он сильнее всего стремился? Не был ли прав Бертран Рассел, когда в несколько пораженческом настроении говорил: "В попытке их остановить мы станем такими же, как они"?¹⁹ Здесь играли роль не только старые антинемецкие чувства, но и глубоко укорененные в западной культуре антитоталитарные убеждения. На пути политики большого Согласия тем самым нагромождались по меньшей мере столь непреодолимые препятствия, как и на пути политики большого Сопrotивления.

Однако в середине 1936 года стало неоспоримым фактом, что обе страны, побежденные во Первой мировой войне, вновь превратились в великие военные державы, что у них были веские основания чувствовать взаимную угрозу. Еще нельзя было однозначно решить, какая из четырех главных возможностей мировой политики, обозначившихся после прихода к власти Гитлера, должна осуществиться. Пятая возможность, на которую Сталин не без ностальгии намекал в своей речи, — отныне казалась невероятной. Речь идет о той возможности, что Германия и Советский Союз начнут сотрудничество на основе договора по образцу Рапалльско-го. Однако обе державы перешли к языку оружия, — хотя и не на уровне своего высшего руководства: на стороне враждебных фронтов они вмешались в испанскую гражданскую войну, разгоревшуюся после восстания генерала Франко.

4. Германия и Советский Союз в гражданской войне в Испании

Слухи о прибытии советских кораблей с оружием для захвата власти большевистскими силами стали, по мнению участников тех событий, существенным мотивом, повлекшим бунт испанской армии 17/18 июля 1936 года против правительства партий Народного фронта. Утверждения о вовлеченности Гитлера в эти приготовления не иссякают и по сей день. Первое — ложно, второе — в высшей степени невероятно. Испанская гражданская война выросла из испанских корней. Однако уже задолго до этого

процессы, разворачивающиеся в Испании между 1931 и 1936 годами, с большим основанием можно было сравнить с российскими событиями февраля-октября 1917 года, а в ноябре 1936 года советские и немецкие самолеты и танки, под управлением советских и немецких солдат, столкнулись в ожесточенном бою в районе Мадрида. Это обстоятельство повлекло за собой более активное участие регулярных и милицеских соединений фашистской Италии, а общая интервенция способствовала созданию "оси" Германия — Италия. В тайне, — и поначалу это едва ли было замечено мировым сообществом, — внутри *республиканцев*, или *красных*, разворачивались бои совершенно иного рода, бои между большевиками и меньшевиками на совсем другом фронте, который можно рассматривать как результат развития противоречий между ранней и поздней стадиями русской революции.

Испанское государство, подобно государству российскому, возникло в результате борьбы с нехристианской властью, но если господство мавров имело более глубокие исторические корни, чем власть *татар*, то все-таки воспоминания были еще слишком сильными, и как следствие — в России государственная религия имела гипертрофированное значение. Но и в Испании до Первой мировой войны промышленность развивалась очень неравномерно, большая часть страны была аграрной, а безземельные и малоземельные крестьяне во многих регионах составляли большинство населения. И в Испании среди интеллектуалов проходил резкий водораздел на европоцентристов и традиционалистов, и уже благодаря этому можно предположить, что Испания, как и Россия, с большим трудом формировала свое отношение к *Европе*. И в Испании социальное недовольство самым разнообразным образом сплеталось со стремлениями к самостоятельности регионов, которые в случае басков и каталонцев принимали форму прямо-таки национально-освободительной войны против кастильского господства.

Оставались, правда, и существенные различия. С конца первой карлистской войны 1839 года Испания причислялась к либеральным монархиям. Там и здесь снова и снова вспыхивали революционные волнения, которые чаще всего вызывались и подавлялись благодаря вмешательству (*pronunsiamiento*) армии. С 1889 года проводились парламентские выборы на основе всеобщего избирательного права. Социалистическая рабочая партия действовала легально, и анархисты распространяли свое учение не только среди крестьян Андалузии, но и среди фабричных рабочих Каталонии. В 1931 года в результате выборов монархию сменила вторая республика, которая не только приняла конституцию по образцу Веймарской республики, но даже ее партийная система — за исключением необычайно сильного влияния анархистов — едва ли заметно отличалась от конституций прочих европейских стран.

Никого не удивляло, что новое государство обнаруживала непримиримых врагов как в лице левых анархистов, так и среди монархически

настроенных правых, ибо в его главе находились преимущественно лево-буржуазные силы, которые не прекращали вытеснять церковь из политической жизни, сокращали армию и стремились провести раздел земельных латифундий. Еще более вопиющем было то обстоятельство, что социалисты под руководством Ларго Кабальеро, который до 1930 года тесно сотрудничал с диктатором Примо де Ривера, все больше развивались в направлении революционной партии, а христианско-демократическая партия Гила Роблеса не отказалась от своих принципиальных установок. Как на первый, так и на второй процесс влияли международные отношения: социалисты с беспокойством реагировали на захват власти Гитлером и насильственное свержение австрийских социал-демократов в феврале 1934 года, а на христианскую партию (CEDA), – воздействовал климат культа личности и унифицированных союзов, что едва ли могло остаться без последствий. Восстание в Астурии 1934 года, которое было подавлено в ходе кровавых боев с иностранными легионерами генерала Франко, чрезвычайно способствовало обострению противоречий: Ларго Кабальеро не без охоты внимал речам, называвшим его “испанским Лениным”, а значительные части CEDA теперь с симпатией относились к недавно образованной “Фаланге” и ее вождю Хосе Антонио Примо де Ривера.

Выборы 16 февраля 1936 года показали, что друг другу противостоят два сильных, примерно равных предвыборных блока правых и левых, что центр оказался почти полностью размытым, однако именно система выборов привела к столь значительной победе Народного фронта, который теперь включал в себя также и анархистов. В результате усилились социальные волнения на большей части страны, поскольку прежде всего сельские рабочие требовали незамедлительного выполнения предвыборных обещаний и в многих местах самовольно занимали помещичьи латифундии. В городах и селах были подожжены многие десятки церквей, а число смертных жертв уже исчислялось сотнями. В социалистической прессе много говорилось о предстоящей пролетарской революции, и наблюдатели небезосновательно указывали на руку Коминтерна, способствующую объединению коммунистических и социалистических молодежных союзов. С другой стороны, Фаланга, устраивая покушения, провоцировала противоположные силы, а карлисты в Наварре почти неприкрыто готовились к предстоящей гражданской войне. Но и армейские генералы, – как республиканцы, так и монархисты, – все больше и больше убеждались в том, что в результате социальной и сепаратистской агитации над страной нависла угроза распада, что государственный президент Мануэль Азана – образцовый представитель образованного гражданина с левыми взглядами – являет собой Керенского испанской революции.

Это подготавливало путч, который, по убеждению вождей, должен был стать не мятежом, а лишь передачей власти и восстановлением порядка – по образцу *pronunciamientos* девятнадцатого века или режима Примо де Ривера 1923 года. Убийство монархически настроенного поли-

тика Сальво Сотело членами своего рода режимной полиции было скорее поводом, чем причиной, и вечером 17 июля 1936 года наиболее боеспособные подразделения испанской армии, расквартированные в Северной Африке, пережившие там тяжелые поражения и великие победы, установили свою власть над этой колонией, а днем позже многочисленные армейские части подняли мятеж и в самой Испании. Но лишь на севере и на самом крайнем юге страны солдаты ощущали одобрение и участие со стороны населения, напротив, в больших городах быстро собирались взволнованные массы и требовали от правительства оружия. Хотя значительная часть армии и полицейских сил, а также почти весь флот и воздушные силы остались верными президенту¹, был избран новый премьер-министр, и течение нескольких дней восстание армии в Мадриде и Барселоне, в Валенсии, Каталонии и Эстремадуре потерпело поражение. Но в то же время в этой *верной президенту* Испании революция бушевала как лесной пожар и превращала власть лево-буржуазного правительства в чистую оболочку. Вооруженные массы заполняли улицы, сжигали церкви, изгоняли и убивали предпринимателей и особенно священников и монахов, учреждали кооперативы и организовывали оборону. Настроение почти повсеместно было праздничным: ведь и в Испании *рабы* изгоняли господ и устанавливали равноправие, зачастую с трогательными апелляциями к древним временам, когда — в особенности в Каталонии — деревенские общины организовывались как независимые государства и ликвидировали все современные симптомы роскоши и порока, такие, как кофе и алкоголь, проводили эксперименты по введению планового хозяйства. Как во всем остальном мире, так и в Испании левые видели в этих процессах освобождение и духовные подъем, начало нового мира и массовый энтузиазм, а правые с ужасом взирали на убийства, хаос и экспроприацию, и всюду кричали об испанском большевизме. Левые осуждали массовые расстрелы, повсеместно учиняемые *белыми*, а правые распространяли слухи о распятиях священников и жестоких утоплениях невинных людей, учиняемых *красными*. Общественное мнение оказывалось даже еще более поляризованным, чем во времена гражданской войны в России. Либеральные голоса поддерживали республиканцев и лоялистов еще более однозначно, чем это было в России, однако даже *"New York Times"* в начале августа выразила опасение, что при победе правительства очень скоро к власти придут коммунисты², а в Англии уже не только консерваторы приходили в ужас от того, что на одном из военных кораблей матросы выбросили за борт своих офицеров, примерно так, как это было изображено Сергеем Эйзенштейном в его "Броненосце Потемкине".

Подобные события не могли оставить равнодушным ни одно государство. Уже вечером 23 июля благодаря сообщением французской правой прессы стало известно, что французское правительство получило просьбу испанского премьер-министра Жирала о поставках оружия и что оно предполагает исполнить эту просьбу. Но во Франции шеф кабинета Леон

Блум стоял во главе Народного Фронта. Можно было предугадать, к чему должно было привести это идеологическое родство, хотя никто и не знал, что телеграмма Жирала заканчивалась словами “с братским приветом”.³ То, что это родство скоро приведет Францию к испанскому финалу, стало тезисом французских правых, которые поэтому с крайней поспешностью и мрачными угрозами, как могли, противились подобной интервенции. С другой стороны, по-видимому, не требовалось никакого вмешательства прессы для того, чтобы склонить Гитлера к исполнению просьбы Франко о поставках 20 транспортных самолетов, которые и были переданы вечером 25 июля в Байрете двумя немецкими дельцами. Эта просьба несла в себе все признаки импровизации, и она наверняка была бы отклонена Министерством иностранных дел, поскольку предполагалось, что риск был неоправданно высоким, и это подвергло бы опасности жизнь немцев в республиканской Испании. Однако Гитлер был убежден в том, что Испанию охватил коммунизм и его надо остановить. Ни один из его советников не отважился противоречить, и с начала августа “юнкеры” участвуют в транспортировке через Гибралтар марокканской группировки и иностранных легионеров Франко. Лишь благодаря этому стало возможным продолжение гражданской войны, которая отныне представляла в виде вооруженного противоборства регионов, и до известной степени — также классов. Каталония, где у власти находился анархистски настроенный профсоюз, вместе с социалистическим правительством Мадрида, а также католические и не революционные баски выступили единым фронтом против Наварры с ее карлистской милицией и Кастилии, где были сильны позиции Фаланги, а также против тех частей Андалузии, где выступления городских и сельских рабочих были молниеносно подавлены в ходе путча генерала Куэйпо де Льяно, являвшегося когда-то убежденным и прожженным республиканцем.

Подобно Гитлеру и Муссолини, также пославшего в Испанию несколько самолетов, но с большей решительностью в борьбу вступил Коммунистический Интернационал, который в этой ситуации был бы беспомощным, если бы в его распоряжении не оказались бы денежные ресурсы, предоставленные секретными службами Красной Армии и ГПУ. Фактически речь шла о советском вмешательстве, однако эта интервенция была, в свою очередь, невозможной в такой форме, если бы огромное число людей — и не только коммунистов — не выразило бы готовности пожертвовать своей жизнью ради “победы над фашистской агрессией”. Во Франции и Англии на сборные пункты стекались многочисленные добровольцы, к ним присоединялись немецкие и итальянские эмигранты, тайными путями добирались представители Югославии и Греции, и даже из Америки прибыло столько добровольцев, что в конечном счете они смогли образовать свой собственный батальон. Однако и противоположная сторона не осталась без добровольцев — представителей иностранных наций: французов, англичан, ирландцев. Но характерным для антифаши-

стского климата той эпохи было то, что среди фашистских адептов не оказалось ни одного американца. По окончании огромной предварительной работы в октябре были сформированы "интернациональные бригады". Все сообщения единогласно свидетельствовали о том, что эти войска, где самым разнообразным образом смешивались нации и убеждения, наполнял огромный энтузиазм и что "Интернационал", распеваемый на самых разных языках, действительно понимался как гимн обновленного и лучшего человечества. Правда, высшие офицерские должности практически целиком замещались коммунистами, и "пятая колонна" использовалась в качестве удобного инструмента партией, которая со своим требованием "дисциплины, иерархии, организации"⁴ с самого начала ярко выделялась на фоне анархистов и ее недисциплинированной милиции.

Хотя Франция разными средствами поддерживала "лоялистов", одна-ко она официально закрыла свои границы, когда Англия, оказывая давление, выдвинула предложение выработать общую политику невмешательства. При этом для Англии большую роль играла не только политика малого Сопротивления, которую теперь после окончания эфиопского похода Муссолини можно было бы возобновить, но и, без сомнения, то обстоятельство, что в случае победы правительства Мадрида, то есть революционных сил, над гигантскими английскими инвестициями в Испании нависла бы серьезная опасность. Практически все европейские страны поддерживали такую политику, которую, пожалуй, можно было бы назвать политикой ограничения интервенции, поскольку никто не сомневался в том, что в Испанию попадало немецкое, итальянское и советское оружие.

Между тем *национальные* войска сумели у Бадахоса объединить северные и южные группировки и в конце сентября были освобождены офицеры и кадеты, которые в течение двух месяцев в Алькасаре фон Толедо находились в осаде, защищаясь от многократно превосходящих сил противника. Все ждали падения Мадрида.

После того, как разразилась гражданская война, в Советском Союзе очень быстро были организованы мероприятия солидарности и протеста, проводились сборы средств и произносились резкие речи против враждебных делу мира акций фашистов, однако поначалу Сталин, видимо, полагал, что будет достаточно непосредственной помощи интернациональных бригад. В данной мировой политической ситуации ничто другое не было ему так неприятно, как упреки в подготовке им в Испании большевистской революции по русскому образцу. Уже одно только подозрение разрушало бы все шансы на политику большого Сопротивления и усиливало опасность установления согласия между Англией и Германией, — опасность, ответить на которую как раз и должно было провозглашение политики Народного фронта на VII конгрессе Коминтерна в июле-августе 1935 года. Однако он не мог бездеятельно созерцать, как Германия поставляет в Испанию оружие.

Так, уже в сентябре из иностранных представительств немецкого МИДа в Берлин были направлены сообщения, что из Одессы вышли русские корабли с войсками и оружием на борту и пришвартовались в испанских портах⁵, что из Испании было вывезено много золота, очевидно предназначенного для оплаты поставок оружия. Почти одновременно в октябре у обеих сторон появляются, соответственно, советские и немецкие (или итальянские) танки. Когда в начале ноября разгорелись бои за Мадрид, в них приняло участие значительное число немецких и советских самолетов. Русские военные советники прямо не участвовали в боях, но русские танки вопреки ожиданию превосходили немецкие, то же самое имело место в отношении самолетов. С господством в воздухе *националов* скоро было покончено, и когда одиннадцатая и двенадцатая интернациональные бригады десятого ноября под ликование населения прошли маршем по городу и вступили в сражение, прорвавшиеся на городские окраины марокканцы были остановлены, и город оказался в руках правительства, во главе которого с начала декабря стал Ларго Кабальеро.

Однако в то же время немецкая помощь впервые приняла широко-масштабный и систематический характер, что явилось как следствием советской поддержки, так и причиной ее дальнейшего усиления. С середины ноября в Испании находятся значительные силы Люфтваффе, получившие название “легион Кондор”, состоявший примерно из 5000 человек, номинально являвшихся добровольцами, усиленные танковыми подразделениями и войсками сухопутной поддержки. Поставки нескольких истребителей Мессершмитта в большей или меньшей степени вновь восстановили потерянное превосходство в воздухе. Но когда в конце апреля 1937 года в связи с наступлением Франко на северном фронте немецкие бомбардировщики стерли с лица земли город Гернику и по всем западным странам прокатилась волна возмущения, этот легион и немецкое командование скоро узнали на своем опыте, что военные успехи были лишь частными моментами сражений большего масштаба. Более жестокое испытание поджидало итальянцев, которые численностью примерно пятьдесят тысяч человек в составе нескольких дивизий вторглись в Испанию. Хотя восьмого февраля “чернорубашечники” захватили Малагу, не в последнюю очередь из-за предательства расквартированных там частей милиции, однако, когда в конце марта у Гвадалахары они столкнулись с интернациональными бригадами, в составе которых был итальянский батальон “Гарибальди”, они потерпели сокрушительное поражение. При этом потеря занятых территорий играла меньшее значение, нежели то, что боевая мораль их противников оказалась несравненно более стойкой и высокой. Не кто иной как сам генерал Марио Роатта признал, что интернациональные бригады “бились умело и прежде всего – с фанатизмом и ненавистью”⁶, в то время как у чернорубашечников, очевидно, проявлялся недостаток мотивации. Самое худшее было то, что пропаганда итальянских антифашистов могла достигать ушей солдат милиции, и целые вой-

сковые соединения сдавались безо всякой необходимости или даже переходили на чужую сторону. Напротив, призывы к *пролетарской солидарности* и пропаганда против бессмысленности и несправедливости этой войны не производили никакого впечатления на офицеров и солдат “легиона Кондор”, — если не упоминать несколько исключительных случаев с немногочисленными пленными. Поскольку они не рассматривали себя просто как военных специалистов, для которых Испания предоставила поле для маневров, среди них в большей или меньшей мере бытовало убеждение, что они защищают культуру от зловредных нападков. Они были преисполнены чувства принадлежности к некоторому более высокому порядку, отчего на испанцев обеих сторон конфликта они смотрели с нескрываемым высокомерием. Временами, пожалуй, звучали сомнения, и никак нельзя считать невероятными утверждения свидетелей войны, что среди легионеров именно национал-социалисты задавали себе вопрос о том, правильную ли сторону они поддерживают в этой войне.⁷ Подобные вопросы возникали не из-за подлинной симпатии к их противникам, а из-за неприятия реакционных и чрезмерно осторожных генералов, из-за той большой роли, которую играла католическая церковь на стороне испанских националов.

Если бы русские в этом первом боевом столкновении с немцами после окончания Первой мировой войны без предубеждения спросили бы себя, какие выводы им следует для себя сделать, то они, пожалуй, констатировали бы, что войска национал-социалистской Германии в еще меньшей степени могли быть потрясены напором пропаганды по образцу победы над Корниловым, чем немецкая армия 1918 года, что даже та победа стала возможной благодаря исключению, которое диктовалось совершенно определенными обстоятельствами, ведь с тех пор все “корниловы” от Хорти до Франко побеждали или, по крайней мере, имели очень высокие шансы на победу, не говоря уже о таких неожиданных фигурах, как Муссолини и Гитлер. Немцам, в свою очередь, должен был дать пищу для размышлений тот простой факт, что испанские массы, *породившие большевистский хаос*, не подстрекали никакие еврейские агитаторы, — как это, возможно, имело место в России. Ибо еврейского меньшинства в Испании практически не существовало. Поэтому, хотя и не было удивительным, что на “Партийном съезде чести” 1936 года много говорилось об Испании, и что Рудольф Гесс провозгласил целью этого конгресса “развивать великие тезис и антитезис этого столетия, большевизм и национал-социализм”, более умных среди национал-социалистов должно было очень насторожить то обстоятельство, что Альфред Розенберг вновь подхватил старые речи о “советской Иудее”, а Геббельс снова охарактеризовал большевизм как “диктатуру неполноценных”.⁸ Если снова и снова пережевывать впечатления от 1917/18 годов, то возникала опасность ложной оценки противника, промышленность которого выпускала и поставляла столь выдающееся вооружение и приверженцы которого в ин-

тернациональных бригадах, немалую часть которых составляли евреи, достигали таких свершений, о которых *Неполноценные и Недочеловеки* даже не могли и мечтать. Шокирующем было выступление Йозефа Геббельса в Нюрнберге, который назвал особенно ужасным представителем большевизма человека, который несколько месяцев позднее бесследно исчез, после того как на него обрушилась коммунистическая пресса. Это был Андрес Нин, один из влиятельных вождей лево-коммунистической партии ПОУМ.

Внешний мир, не симпатизирующий *красной* Испании, обращал внимание прежде всего на *большевицкий хаос* и *большевицкий террор*: плохо одетые и вооруженные массы на улицах, *прогулки*, в ходе которых производились расстрелы противников, недисциплинированные толпы анархистов, выгнанные из склепов и вывешенные на улицах мумии монахинь, насильственные захваты землевладений, принудительные коллективизации. Однако среди всего этого хаоса существовала сила, которая изначально выступала за наведение *порядка*, высказывалась против *социализаций* и в своих казематах держала и казнила отнюдь не только крупных капиталистов и офицеров, а именно — *большевиков*. Речь идет о Коммунистической партии Испании. Конечно, не только она одна выражала мнение о том, что прежде всего нужно выиграть войну, которую следует вести максимально эффективно. И Ларго Кабалльеро, как премьер-министр, пытался воздействовать на то, чтобы все анархистские милицейские подразделения были поставлены под единое командование, также и он выступал за создание регулярной армии с воинскими званиями и рангами и строгой дисциплиной, призывал к ликвидации солдатских советов и вообще “власти комитетов”. Однако коммунисты не только представляли собой выдающийся пример такого порядка, но изначально защищали следующие тезисы, которые вызывали большое недовольство у их социалистических союзников, не говоря уже об анархистах: испанский народ борется не за установление диктатуры пролетариата, а защищает республиканский порядок с его уважительным отношением к малым и средним собственникам; следует отказаться от принудительной коллективизации по образцу анархистов; надо снова открыть церкви и публично гарантировать свободу отправления культа; искоренить следует не только фашизм, но также троцкизм и “неконтролируемых” (то есть радикальных анархистов). Как раз в этом тоне Сталиным, Ворошиловым и Молотовым было составлено письмо, которое посол Марсель Розенберг передал в декабре премьер-министру Марселю Кабалльеро: важно привлечь на свою сторону мелкую и среднюю буржуазию, которую следует защищать от конфискации и по возможности гарантировать ей свободу торговли. Хорошее отношение с лево-буржуазными силами, центрированными вокруг государственного президента Азана, имело решающее значение. Наибольшей опасностью для победы общего дела было бы подозрение,

что Испания рассматривается коммунистами как коммунистическая республика.⁹

Бросается в глаза тесная связь между внутренней политикой Коммунистической партии Испании и внешней политикой Сталина, и нельзя отрицать, что партия Ленина во время русской гражданской войны с не меньшей решительностью боролась с анархистами и недостаточной дисциплинированностью. И все-таки представляется оправданным утверждение, что КПИ в Испании отстаивались тезисы, которые в России защищали меньшевики: что общественные отношения еще не созрели для социализма; что следует сотрудничать с буржуазией и что в настоящий момент нужно совершить *буржуазную революцию*. Поэтому не удивительно, что Коммунистическая партия Испании выступала прямо-таки защитницей самостоятельных крестьян и ремесленников, и невиданное увеличение числа ее членов не в последнюю очередь зависело от притока представителей данных слоев. Не удивляет и то, что Камилло Бернери, эмигрант из Италии и интеллектуальный поборник каталонской анархии, осуждая КПИ, назвал ее «чужеродным легионом испанской демократии».

¹⁰ В рамках *большевизма* действовало по крайней мере две партии, которые испытывали по отношению друг к другу смертельную ненависть. При этом коммунисты были нападающими, и упреки, которые они направляли в особенности против ПОУМ, лево-коммунистической или право-анархистской партии Андреса Нина, были смертельно опасны уже сами по себе. Они утверждали, будто данная партия является троцкистской, инфицирована людьми из Фаланги, негативно относится к русской помощи и благодаря своим сильным позициям в Каталонии вредит военной победе. В начале мая 1937 года в Барселоне действительно дошло до гражданской войны в гражданской войне. Сторонники анархистского профсоюза и ПОУМ воспротивились приказу освободить контролируемую ими центральную телефонную станцию, а затем на несколько дней захватили город, получив в нем неограниченную власть, однако в конце концов мятеж был подавлен быстро подступившими и в основном коммунистическими правительственными войсками. Число жертв насчитывало до 500 человек. Андрес Нин был арестован и после тяжелых пыток убит вместе с Бернери.

Тем самым была сломлена сила каталонского анархизма, но вместе с ним ушли и революционные импульсы и революционная спонтанность. Отныне в Испании воевали друг с другом две регулярные армии, а во главе правительства после смещения Кабальеро Хуаном Негрином стал человек с репутацией либерала и рафинированного интеллектуала. Однако коммунисты и советские военные советники оказывали на него гораздо большее влияние, чем немецкие и итальянские офицеры — на генерала Франко. Последний даже не всегда эквивалентно оплачивал крупные поставки оружия, в то время как *красные* щепетильно оплачивали советскую помощь за счет золотых резервов государственного банка. Немцы и

итальянцы оставались иностранным вспомогательным корпусом, и лишь весьма незначительная часть офицеров могла похвастаться опытом, приобретенным в 1918 – 1920 годах. Напротив, русские советники и вожди интернациональных бригад в большей своей части были ветеранами революции и гражданской войны, как, например, советский генеральный консул в Барселоне Антонов-Овсеенко, генералы “Клебер” и “Лукач”, командиры Людвиг Ренн и Ганс Кале. Трудно сомневаться в глубоких корнях их коммунистической веры, и здесь ничего не изменила ни борьба с анархистами, ни то обстоятельство, что испанские товарищи защищали буржуазную республику. Конечно же, они сохраняли свою убежденность, что сражаются за правое дело и на правильной стороне, несмотря на то обстоятельство, что Франко со своими немецкими и итальянскими вспомогательными войсками одерживали все более внушительные победы, что в большой политике все больше сближались “осевые державы” – Германия и Италия, что Муссолини в ходе своего триумфального визита в Германию в конце сентября назвал большевизм “современной формой мрачного византийского деспотизма” и осмелился пророчествовать, что будущее Европы принадлежит фашизму.¹¹ Но известия из Советского Союза должны были их не на шутку встревожить.

Илья Эренбург в июне 1937 года прибыл в расположение 12-й интернациональной бригады, воевавшей на Арагонском фронте, и встретился там с “маленьким, коренастым человеком с мрачным пронзительным взглядом”, очевидно, с одним из высокопоставленных офицеров из числа советских военных советников. Человек пил холодный кофе, держал перед собой газету “Правду” и неожиданно спросил: “Знаете последнюю новость? Тухачевский, Якир и Уборевич приговорены к смертной казни через расстрел. Они – враги народа”.¹²

Пока немало его лучших солдат и цвет Коминтерна воевали в Испании, Сталин начинает в Москве большую “чистку”. Многие из воевавших в Испании пали его жертвой. Среди них – Антонов-Овсеенко, прославившийся тем, что руководил захватом Зимнего Дворца. Гитлер был либо одним из виновников их гибели, либо сам оказался жертвой обмана Сталина. И все-таки в Советском Союзе не иссякал пафос великого строительства, не угасавший в стране со времени ее основания, но особенно выросший начиная с 1928 года.

5. “Большая чистка” и пафос великого строительства в СССР

“Большая чистка” была явлена взору мировой общественности 19 августа 1936 года, когда в Октябрьском зале московского Дворца профсоюзов открылся процесс против нескольких старых большевиков, которому предшествовала подготовительная компания в прессе. Во Дворец были допущены иностранные корреспонденты, а также избранные советские

граждане. На скамье подсудимых сидели бывшие оппозиционеры, и среди них – Григорий Зиновьев и Лев Каменев, которые когда-то были ближайшими соратниками Ленина и между 1924 и 1936 вместе со Сталиным образовали в стране правящий триумвират, направленный против Троцкого. Теперь же они признавались, что, являясь членами троцкистско-зиновьевского центра, планировали убийства вождей Советского Союза и главным образом – Сталина. По их свидетельству, однажды они действительно достигли цели – убийства Кирова. Признательные показания дали почти все обвиняемые. Зиновьев утверждал, что благодаря троцкизму он даже пришел к фашистским взглядам, а Каменев призвал народ к тому, чтобы во всем следовать за Сталиным, ибо приговор ему самому и его соратникам является справедливым. Старый большевик Мрачковский – без сомнения, человек такой же решительности и храбрости, как и воевавшие в Испании – даже сам потребовал для себя расстрела, ибо он на своем примере показал, что даже рабочие способны стать контрреволюционерами. Государственный обвинитель Вышинский взывал: “Эти взбесившиеся псы должны быть все вместе расстреляны”, – и суд удовлетворил это требование.¹ Не прошло и двадцати четырех часов, как поступило сообщения о казни обвиняемых.

Общественное мнение в Советском Союзе казалось удовлетворенным. Газеты провели подлинный поход ненависти, и по всей стране на массовых собраниях принимались резолюции, требовавшие для изменников смертной казни. На Западе, напротив, раздавались разного рода сомнения. Действительно, как можно было поверить, что эти старые большевики с их многочисленными заслугами превратились в убийц и террористов, вредителей, стремящихся причинить ущерб своей партии и своему режиму. Кто и что понуждало их к таким самобичеваниям? Не строили ли они свои показания на очевидно неверных данных, например, когда приводили названия иностранных отелей, где проходили конспиративные встречи с посланниками Троцкого? И все-таки преобладающее мнение западных наблюдателей сводилось к тому, что высказывания обвиняемых были убедительными, а знаменитые английские юристы провозгласили эти процессы юридически безукоризненными. Быстро стихли волны первого возмущения, тем более что очень большие надежды возлагались на новую “сталинскую Конституцию”: Советский Союз, казалось, окончательно вступил в круг демократических держав, и все западные сторонники политики большого Сопротивления, казалось, были убеждены, что экспансии фашизма может быть скоро положен конец благодаря антифашистскому союзу всех миролюбивых стран.

Но даже самые решительные *попутчики*, наверное, были бы ошеломлены, если бы узнали, какие многочисленные расследования, предуготовления, партийные чистки и процессы уже состоялись за закрытыми дверями в течение полутора лет после убийства Кирова, если бы увидели, как странно велась патриотическая пропаганда, как было распушено

“Общество старых большевиков” в мае 1935 года, как ужесточалось уголовное законодательство (например, смертная казнь теперь распространялась на детей в возрасте старше 12 лет). И еще более они были бы обеспокоены, если бы прочитали телеграмму, которую 25 сентября 1936 года Сталин и Жданов отправили некоторым членам Политбюро. Она гласила: “Мы считаем безусловно необходимым и настоятельным, чтобы товарищ Ежов был назначен народным комиссаром внутренних дел. Ягода оказался полностью неспособным разоблачить блок троцкистов и зиновьевцев. ГПУ опоздало с этим делом на четыре года. Это было замечено всеми партработниками и большинством сотрудников НКВД”.² Телеграмма недвусмысленно намекала на дело Рютина. То, что не удалось протащить Сталину в 1932 году, можно было осуществить теперь, однако вместо одного Рютина жертвой стали десятки и даже сотни тысяч членов партии. Не пощадили даже самого Ягodu, который в 1934 году в качестве главы ГПУ стал начальником Комиссариата Внутренних дел. Началась “ежовщина”.

Поначалу осталось не замеченным, что один из малозначимых обвиняемых сознался в связях с гестапо, и что в некоторых выступлениях были названы имена до сих пор незапятнанных партийных вождей и высоких военных чинов. Но 23 января 1937 года открылся процесс *параллельного троцкистского центра*, и многие из высших чиновников оказались на скамье подсудимых. Обвинение теперь преимущественно строилось не на разоблачении террористических актов и саботажа, а на выявлении связей с немецкими и японскими врагами. Не кто иной как сам Григорий Пятаков, которого отметил еще Ленин, упомянув в своем Завещании, который как никто другой способствовал индустриализации страны, отныне вместе со своими товарищами по несчастью обвинялся в попытках ее сорвать, в территориальных уступках Германии и в получении задания в случае войны учинять саботаж. На встрече с Троцким в Осло Пятаков будто бы услышал от последнего, что тот встретился с Рудольфом Гессом и они условились сотрудничать в мирное и военное время. Вовлечение национал-социалистской Германии в этот процесс особенно подчеркивалось тем, что среди обвиняемых находился Карл Радек, человек, который в 1919 году был посланником Ленина в революционной Германии и в своей памятной речи 1923 года требовал союза между коммунистами и немецкими национал-революционерами. Радек категорически подтверждал, что Троцкий стремился установить в России “бонапартистский режим” и был готов уступить немцам Украину. Вышинский называл обвиняемых “иудами”, которые пали ниже, чем приверженцы Деникина и Колчака. Все были приговорены к смертной казни и расстреляны — за исключением Радека и Сокольников, который был одним из тех двенадцати человек, которые приняли постановление о начале Октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Оба получили десять лет лагерей, но, по-видимому, уже скоро погибли в одном из исправительных лагерей.

Этот процесс произвел на западную общественность и на многих коммунистов более глубокое впечатление, чем первый, и не в последнюю очередь потому, что Троцкий организовал в Нью-Йорке своего рода встречный процесс, в котором были выявлены возмутительные неувязки. Нередко ставился вопрос о том, не хотел ли Сталин физически уничтожить всех старых большевиков и соратников Ленина, после того как уже давно лишил их политической власти. Там и здесь появлялись предположения, что ГПУ добивалось этих своеобразных признаний благодаря шантажу, обещаниям или призывами к глубоко укорененной партийной лояльности. Во всяком случае, не осталось незамеченным, что с конца сентября Николай Ежов заступил место Ягоды. Однако многие западные наблюдатели все еще продолжали считать эти признания достоверными, полагали возможным вести со Сталиным переговоры. Среди них был и новый американский посол Джозеф Дэвис, который, правда, как дружественно настроенный к Сталину капиталист, связывал с этими переговорами далеко идущие надежды на изменение режима.

То, что в Советском Союзе разворачивалось нечто чудовищное, было осознано мировым сообществом лишь 11 июня 1937 года, когда по подозрению в государственной измене были арестованы многие высшие командиры Красной Армии, а уже на следующий день пришло сообщение, что они предстали перед судом и казнены. Среди них был маршал Советского Союза Михаил Тухачевский и командармы Якир и Уборевич. Хотя можно было предположить, что таким способом Сталин хотел решительно покончить с разногласиями по поводу восстановления института политических комиссаров, — разногласиями, которые, по всей видимости, предшествовали этим событиям, если посмотреть на принятое в мае решение. Однако для общественности в центре внимания находился тот факт, что восемь высших командиров, среди которых было несколько евреев, были названы предателями и немецкими агентами. Никакой более точной информации никогда не было опубликовано, поскольку открытый процесс не состоялся. Большинство высших офицеров, выступавших в роли судей, позднее, в свою очередь, были также расстреляны. Однако по сообщениям офицеров СС известно, что под руководством Рейнхарда Гейдриха и, очевидно, с согласия Гитлера было изготовлено фальшивые досье на Тухачевского, который в период Веймарской республики действительно и вполне официально имел отношения с рейхсвером, так что образцы его подписей имелись в немецких архивах.³ Это досье было передано Сталину через Бенеша, и не исключено, что он действительно ему поверил. Мотивом Гейдриха и Гитлера было естественное желание ослабить боевую силу Красной Армии. Однако имеются основания также полагать, что как раз наоборот, именно Сталин сам внушил немцам возможность изготовления подобной фальшивки, чтобы у них сформировалось ложное понимание своих собственных возможностей и влияния. Во всяком случае, нельзя ожидать от Сталина, чтобы он действительно считал

немецкими и японскими агентами колоссальное число офицеров, многие тысячи из которых были казнены во время настоящего штурма армии, который до конца 1938 года вела тайная полиция. Из пяти маршалов в живых осталось только двое, также лишь двое из четырнадцати командармов сумели сохранить себе жизнь. Из восьми адмиралов в живых не осталось никого, из шестидесяти семи комкоров – шестьдесят было расстреляно, из сто девяносто девяти комдивов – погибло сто тридцать шесть.⁴ Ни одна армия мира не переживала таких потерь в высшем командном составе даже от врагов, какие претерпела Красная Армия в мирные 1937 и 1938 годы. Якир умер со словами “Да здравствует партия, да здравствует Сталин”, и он был далеко не единственный, кто даже перед лицом смерти сохранял верность этому человеку и этой партии, которые смешали с грязью и уничтожили его и его товарищей. Во всяком случае, в секретных сообщениях немецких дипломатов нет никаких указаний на то, что в самобичеваниях Радека и Пятакова, в обвинениях против офицеров содержалась бы хоть одна крупница истины. Немецкий посол в Москве граф фон дер Шуленберг называл “полным абсурдом” выдумку о том, что Германия после войны с Советским Союзом передала бы власть Троцкому-Бронштейну или Радеку-Собельсону. Подлинную задачу второго процесса посол видел в том, чтобы предостеречь всех тех, кто “не хотел понимать политику Сталина, направленную на усиление мировой мощи России, кто носился повсюду с ленинскими учебниками под мышкой”. Одновременно должны были быть пригвождены к позорному столбу Германия и Япония, обвиняемые во вмешательстве во внутренние дела Советского Союза. И противникам приписывалось то, что “делает сама Москва”.⁵ Что же касается офицеров, в одном более позднем сообщении Шуленберг не исключил, что они были “дружественно настроены по отношению к Германии”, однако более важным он считал, что “Сталин опасался самостоятельных личностей, претендующих на лидерство в армии, как возможных центров кристаллизации недовольства или явного честолюбия”, и поэтому пытался своевременно их устранить.⁶

Однако преследователи едва ли испытывали по отношению к себе большую мягкость, чем те, кого они преследовали, которые в свою очередь когда-то в эпоху гражданской войны также побеждали и преследовали. В ГПУ смещение Ягоды повлекло за собой волну самообвинений и взаимных доносов, о чем весьма наглядно свидетельствует Кривицкий.⁷ В конце концов были уничтожены все – за некоторыми исключениями – следователи, которые благодаря системе ночных допросов или пыток обеспечили признания Зиновьева и Каменева, Радека и Пятакова, и были заменены на еще более ужасных людей Ежова.

Последние и подготовили третий и самый большой из показательных процессов, который проводился, начиная с 2 марта 1938 года, по делу *право-троцкистского блока*. На этот раз среди обвиняемых оказались три бывших члена ленинского Политбюро, а именно Бухарин, Рыков и Кре-

стинский. Наряду с ними на скамье подсудимых оказались несколько прежних народных комиссаров, среди которых был и Ягода, которому среди прочего теперь инкриминировалось убийство Кирова, как, впрочем, и Горького. Вновь был поднят вопрос о готовности Троцкого отдать Украину немцам, и Бухарин подтвердил это, не признавая своей причастности к этим событиям. Однако основной акцент все же приходился на криминальные подробности дела отравителей, и если картина, какой она на данный момент вырисовывалась, соответствовала истине, то это фактически вынуждало согласиться со старым тезисом, который был выдвинут *наиболее реакционными* из эмигрантов и заключался в следующем: даже в своем собственном кругу советское руководство (за исключением Сталина и его ближайших соратников) оставалось не чем иным как бандой преступников. На этот раз Вышинский сравнил обвиняемых с “бешеными псами”, прежде чем потребовать смертный приговор, в результате подписанный всем, исключая троих. Бухарин между тем признал свою вину лишь частично, до последнего отрицая то, что его блок якобы был организован по поручению фашистской секретной службы. Все это, не говоря уже о том преобладающе негативном отклике, который данные события вызвали на Западе, позволило Сталину сделать вывод, что дальнейшие показательные процессы смысла не имеют.

Однако еще долго после этого страху не суждено было отпустить человеческие души: набирала силу ежовщина. Теперь уже речь шла не только об уничтожении *руководящих кадров*. Среди нижних чинов партии воцарилась по всей стране подлинная истерия взаимных поклепов и самообличений, и особую роль при этом играло несводимое клеймо *происхождения*. Бесчисленное множество испытанных членов партии подвергались *разоблачениям*, якобы являясь кулацкими или купеческими сыновьями и дочерьми, хотя при этом они уже долгое время не имели никакой связи со своими родителями. Ведь зачастую достаточно было обвинения племянницы кого-нибудь из членов партии в связях с “троцкистскими элементами”, для того чтобы повлечь за собой его исключение из партии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Друг Кривицкого был арестован и бесследно исчез после того, как получил письмо от опального супруга своей бывшей жены, а его брат вывесил на стене клуба ополовиненное изображение лица Радека.⁸ В архиве Смоленска найдены такие, например, признания: “После того как Центральный комитет разоблачил в Западном округе банду троцкистско-бухаринских шпионов, предводителями которой были Уборевич, Румянцев и Шильман, Пленум обкома также разоблачил некоторых врагов народа и удалил их с ведущих позиций, однако бюро, которое состояло из рабочих старого типа и являлось слабой поддержкой в борьбе с врагами народа, было оставлено. Я лично считаю себя виновным в такого рода халатности”.⁹

В известном роде было достаточно последовательным то, что партия, которая в первую очередь всегда считала своим делом борьбу с врагами

до их полного уничтожения, занималась поиском врагов и в своих собственных рядах. Однако это коснулось и простого народа, и без того немало пострадавшего. Все восемь миллионов человек, депортированных в “исправительные лагеря”, безусловно, не могли состоять исключительно из членов партии; при этом достаточным основанием для отправки могло послужить даже вполне безобидное и, в общем, верное замечание о не самых лучших качествах советской обуви. Эти лагеря, подчинявшиеся Главному управлению лагерей (“ГУЛаг”) НКВД, уже давно приобрели важное экономическое значение, что превращало их существование в прямо-таки неизбежное: прежде всего в таких огромных и неосвоенных областях Сибири, как Колыма. Многие из них являлись, по сути, узаконенными лагерями уничтожения, в которых надежда на жизнь могла сохраниться в среднем не более двух лет – уже спустя год половина из заключенных погибала. В этом вращении жерновов смерти ни одно событие уже не могло показаться выходящим за рамки обыденности: так, Ежов мог телеграфировать руководителю НКВД крупного областного центра следующее, например, указание: “Вам доверена задача уничтожения десяти тысяч врагов народа. Сообщите о выполнении радиogramмой”.

¹⁰ В Виннице во время войны были обнаружены массовые захоронения, в которых были погребены свыше 9000 человеческих жертв. Все они были ликвидированы выстрелом в затылок; предположительным временем исполнения приговора было лето 1938 года. По оценкам, общее число казненных достигало миллиона, уделом еще двух миллионов стали лагеря. ¹¹ Таким образом, происходящее коснулось практически всего населения страны, и вряд ли нашлась хотя бы одна большая семья, в которой по крайней мере один из членов не был бы депортирован или расстрелян. С особой жестокостью обходились с членами семей высших партийных и военных чинов, хотя обещание щадить жен и детей играло важную роль при выбивании признаний. Так, были устранены практически все родственники Тухачевского. Для возбуждения обвинения было достаточно характеристики “жена врага народа”. ¹² Детей зачастую принуждали публично выражать согласие с казнью своих родителей.

Особенно суровой оказалась судьба иностранных коммунистов и беженцев. Исчезло не менее четырех членов Политбюро КППГ, и среди них Гейнц Нойманн и Герман Реммеле, из-под пера которого в 1932 году вышло двухтомное произведение, явившееся подлинным гимном Советскому Союзу. ¹³ В этот водоворот смерти был втянут и Ганс Киппенбергер, а также Гуго Эберляйн, единственный немец среди основателей III Интернационала. Поразительное число жертв повлекла за собой чистка среди евреев, латышей, поляков и других национальностей. Зиновьев, Каменев, Гамарник, Якир и бесчисленное число других партийных деятелей были евреи; генерал Я.К. Берзин, долгие годы прослуживший начальником разведуправления генштаба РККА и затем занимавший значительное место во время событий гражданской войны в Испании, был латыш (на-

стоящее имя — Кюзис Петерис); расстались с жизнью почти все поляки, сотрудничавшие в Коминтерне, а польская Компартия была целиком ликвидирована якобы по подозрению в пособничестве фашистским агентам. Не менее сильные репрессии коснулись руководства союзных республик, которые пытались сохранить определенную самостоятельность или хотя бы традиции и идентичность собственного народа. На Украине убрали с дороги убежденного коммуниста Скрипника, отличившегося в свое время в борьбе с “буржуазным национализмом”, а Никита Хрущев и среди низших чинов попытался устранить все, что в границах “Красного Союза” еще поддерживало мечту об украинской самостийности.

Летом 1938 года практически все ленинские соратники, за небольшим исключением испытаннейших приверженцев Сталина, были уничтожены. К этому времени власть Ежова уже была ограничена, и в декабре на посту начальника НКВД его сменил земляк Сталина Лаврентий Берия, который, со своей стороны, занялся чисткой самих чистильщиков и отправил на смерть почти всех людей Ежова. Когда в 1939 году был созван XVIII съезд партии, оказалось, что из 1966 делегатов XVII партийного съезда не менее 1108 были мертвы или просто исчезли. Однако и из оставшихся в зале оказалось только 59 человек. Ни одна коммунистическая партия мира до сих пор не подвергалась столь крупномасштабным кровавым расправам, в том числе и КППГ при Гитлере. Ни одному народу не доводилось в мирное время быть обязанным такими потерями собственному руководству. Национал-социалистская Германия периода 1937-1938 года с ее относительно небольшим количеством концентрационных лагерей и, самое большее, 30000 тысячами политических заключенных в сравнении с СССР производила впечатление, можно сказать, нормального западноевропейского государства.

И все же, несмотря на все события, которые каждого, пожалуй, за исключением самого Сталина, держали в постоянном страхе за свое положение и свою жизнь, Советский Союз оставался страной строительства и пафоса созидания. Второй пятилетний план, исполненный уже не столь честолюбивых замыслов, как первый, был успешно выполнен. Огромное число комсомольцев добровольно предлагало свои силы, с воодушевлением стягиваясь в отдаленные пустынные уголки Родины для того, чтобы там в тяжелейших условиях сооружать новые громадные индустриальные комбинаты; газеты с энтузиазмом прославляли великие достижения советских летчиков и полярников, и эти их гимны не были просто голой пропагандой; и страстное волнение толпы — сотен тысяч человек, требующих “смерти предателям” — также вряд ли было исключительно результатом манипуляции сознанием. Значительное число туристов, устремившееся в Москву летом 1937-го, находилось под впечатлением от пульсирующей жизненной силы города: Сидни и Беатрис Вебб в многотиражном переиздании своей книги продолжали восхвалять Советский

Союз как начало “новой цивилизации”, как страну, лишенную кризисов и “незаслуженных доходов”, достающихся паразитирующим существам.

Все это позволяет предположить, что причина Великой Чистки не могла заключаться исключительно в сталинском неудержимом стремлении к власти. В любом случае она была уже третьей великой революцией, свершившейся в России или пусть на этот раз в Советском Союзе и повлекшей за собой миллионные жертвы, и уже поэтому можно считать ее последовательной. В период гражданской войны, собственно, и вызвав ее своим захватом власти, большевистская партия уничтожала тех, кого считала своими “классовыми врагами”, и именно поэтому они становились для нее врагами непримиримыми. И ведь речь действительно шла о целых классах: дворянстве, интеллигенции, буржуазии, а, кроме того, о целых враждебных партиях – эсэров и меньшевиков. В период коллективизации целью на поражение оказались относительно зажиточные крестьяне, а также те, кто вел индивидуальное хозяйство, что неизбежно влечет за собой следующий вывод: данные события были вызваны стремлением окончательно провалить далеко не бесперспективную и не лишенную почвы попытку Столыпина противопоставить “Я” западно-индивидуалистской линии развития сельского хозяйства российской общинной традиции и тем самым способствовать утверждению индустриализации. Однако данные западно-индивидуалистские тенденции также были сильны и в партии. Автор “Письма старого большевика” вполне верно оценивал себя и себе подобных, когда писал: “Мы, сами того не желая, мыслим в том направлении, которое является критичным по отношению к существующему порядку; мы повсюду ищем слабые стороны. Коротко говоря, все мы – критики, разрушители, силы не конструктивные <...> Невозможно что-либо построить с таким человеческим материалом, с критиками и скептиками”.¹⁴

Хотя марксизм и не был индивидуалистичен по своему содержанию, своим происхождением он целиком был обязан западной *критической* традиции, и очень быстро оказалось, что марксистские понятия с заключенной в них критической интенцией – такие понятия, как *класс*, *эксплуатация*, *отделение государственной власти*, – прекрасно применимы к советской действительности. С середины 20-х гг. Сталин постепенно превращается в олицетворение партии, и для того чтобы партия могла достичь действительной идентичности с собственным воплощением, критический и конкурирующий элемент, представленный Каменевым, Зиновьевым и многими, многими менее значительными фигурами, следовало совершенно устранить. В конце концов это явилось лишь осуществлением предсказания Троцкого, который еще в 1904 году предположил, что ленинская партийная организация придет к такой ситуации, когда члены партии будут взяты под опеку Центрального Комитета, а на месте самого Центрального Комитета возникнет фигура диктатора.¹⁵ Тот факт, что главные представители критической, западной, интеллектуальной тен-

денции в своей преобладающей массе были евреями, весьма облегчило задачу их устранения, несмотря на то, что Советский Союз был единственным в мире государством, где антисемитизм карался смертной казнью¹⁶: трудно не заметить враждебную направленность Великой Чистки по отношению к инородцам. Критическую тенденцию в партии питала присущая представителям различных национальностей склонность к анархии или автономии; и вместе с тем страх, который окутывал каждого, позволял смутно сознавать силу замкнутого коллектива и лишь через него — свою собственную силу, что возбуждало уже не просто страх, но становилось прямо-таки ужасающим. С другой стороны, командный состав набирался по большей части из ветеранов гражданской войны, и многие из этих людей, не лишенных собственных великих заслуг, желали бы видеть себя действительно “товарищами” Сталина, а не безусловно послушными детьми “великого отца и вождя всех времен и народов”. Однако практически полное уничтожение партии и командного состава освободило большинство ведущих позиций, как это уже случалось во времена первой и второй революций, и теперь Сталин мог рассчитывать на безусловную лояльность новых командиров и нового партийного руководства. Если такое чудовищное событие, как Чистка, вообще могло найти какое бы то ни было логическое объяснение, а не означало лишь взрыв коллективного безумия, то скорее всего его следовало понимать в гитлеровском духе создания “твердого, как сталь, народного организма”, который в своей абсолютной сплоченности подчиняется воле собственной персонификации — воле *вождя*, благодаря чему оказывается способным вынести даже самое худшее, не подвергаясь при этом расколу или разложению.

Однако каким целям должна была служить эта абсолютная сплоченность, которая подготавливала, так сказать, дух народный к неким чрезвычайным испытаниям?

Ответ кажется простым. Все события 1936-1938 гг. происходили, что слишком явственно ощущалось, с постоянной оглядкой на Германию и фашистов, а также на Японию. Никакое другое впечатление не могло так сильно воздействовать на обычного советского гражданина, как знание о том, что немецкие фашисты готовятся к нападению на Советский Союз и располагают при этом многочисленными помощниками в советских партии и армии. Великая Чистка могла в таком случае рассматриваться как неизбежная мера подготовки к оборонительной войне — войне не на жизнь, а на смерть. Без особых натяжек в эту картину вписывались меры, которые иностранными наблюдателями зачастую оценивались как реставрационные и немарксистские: укрепление семьи, позитивная оценка национальных традиций и, не в последнюю очередь, фигуры победителя немецких псов-рыцарей Александра Невского, роль которого подчеркнуто принижали марксистские историки, весьма критично настроенные по отношению к событиям русской истории как истории царизма.

Наряду с господствующей версией, однако, уже довольно долго существует другая интерпретация, предложенная впервые, кажется, Вальтером Кривицким; она имеет своих сторонников и в настоящее время. Согласно последней, Сталин изначально был настроен на соглашение с Гитлером, вызывавшем у него одновременно и страх, и восхищение. Согласно данному представлению, он должен был разрушить старую партию и предать смерти героев гражданской войны в том случае, если серьезно готовил подобный поворот событий.

В третьей версии Сталин предстает непоколебимым революционером, который должен был устранить других, путавших дело со своей риторикой, для того чтобы укрепить единственную цитадель борьбы с капитализмом и фашизмом. В резком противоречии с этой версией находится четвертая, которая заключает в себе целиком негативное и свойственное многим марксистам суждение, согласно которому Сталин просто обнаружил в этой чистке присущие ему черты восточного деспота или даже, в некотором роде, национал-социалиста.

W Все представленные суждения уже имели место в 1938 году, пусть хотя бы и в форме импликаций или обыденных, нетеоретических высказываний. Так, Антонов-Овсеенко швырнул в ответ следователю НКВД, назвавшему его врагом народа, полные презрения слова: "Это *Вы* враг народа. *Вы* – самый настоящий фашист".¹⁷ Но следователь в данном случае был всего лишь инструментом. Этот упрек имел смысл, лишь будучи направленным против Сталина.

Если он действительно был справедливым, то можно было говорить о величайшей победе, которую Гитлер одержал в триумфальном 1938 году. Если же он оказался напрасным, то для Сталина как персонификации большевизма и мировой революции начались в самом этом году опаснейшие из всех испытаний.

6. Триумф Гитлера и консенсус народной общности

В то время как Сталин, по убеждению авторитетных наблюдателей, ослаблял свою армию и дезорганизовывал собственную партию, Гитлер пришел в 1938 году к такому успеху, какого до него в мирное время не способен был достичь ни один из государственных деятелей: под лозунгом права нации на самоопределение он увеличил численность немецкого Рейха на 10 миллионов человек, стирая одни государства Центральной Европы и калеча другие. Это позволило ему сделать Германию могущественнейшим государством в Европе и одновременно практически исключить из соотношения сил Советский Союз, в результате чего воцарилось великое согласие, к которому он всегда и стремился. Однако *мирные средства* заключались в угрозе войны и методах, которые по всем человеческим меркам могли бы быть применены лишь *однажды*, и величай-

ший до сих пор триумф права нации на самоопределение был противоречив в себе самом. Так закончился великий 1938 год для Гитлера уже в октябре-ноябре, и собственные действия достаточно скоро превратили его из гонителя в гонимого, который поставил Сталина третейским судьей над судьбами Европы.

5 ноября Гитлер собрал своих ближайших соратников на совещание в рейхканцелярии, а именно министра иностранных дел фон Нейрата, военного министра фон Бломберга, главнокомандующих сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил Фрича, Редера и Геринга. Кроме того, на заседании присутствовал вермахтадъютант полковник Хосбах, подготовивший вскоре после этого бумагу, копия которой попала после войны в руки союзников, так называемый "Хосбахский протокол".¹ Намерение Гитлера, очевидно, состояло в том, чтобы перед этой самой узкой руководящей группой провозгласить предстоящий переход к активной внешней политике. Объективная ситуация была благоприятной: перевооружение было еще далеко не закончено, но последние два года Германия вкладывала в это большие средства, чем все западные государства, включая и США, вместе взятые. Дружба с Италией после посещения Муссолини казалась незыблемой; победа Народного фронта во Франции была, по всей видимости, победой над ленью, как мог удостоверить каждый, кто в 1937 году видел на Всемирной выставке немецкий и французский павильоны; в английском правительстве Болдуина в мае 1937 года сменил Невилл Чемберлен, что означало значительное проникновение политики умиротворения ("appeasement"); Советский Союз находился в муках великой чистки, и Геринг мог в разговоре с американским послом в Париже, Уильямом К. Булиттом, отстаивать мнение, что Красную Армию уже больше нельзя рассматривать как серьезную вооруженную силу, из пяти тысяч тракторов, ежегодно производимых Советским Союзом, уже через два года ни один не остается годным к употреблению.² Однако Гитлер ни словом не обмолвился о том, что это счастливое стечение обстоятельств в конечном счете создает лишь для немцев возможность осуществить свое право на самоопределение. Так же мало он обсуждал возможность рассчитаться с большевизмом как с общим врагом всего мира. В его рассуждениях, напротив, речь шла исключительно о "решении германского вопроса", и под этим он понимал не что иное, как устранение "нехватки пространства", то есть завоевание как можно большего жизненного пространства: это стремление, по его словам, во все времена являлось причиной образования государств и движения народов. Современность — это век экономических империй, в котором колонизационный инстинкт вновь достигает своего первобытного состояния, как показывает пример Италии и Японии, в то время как "насытившиеся государства", понятным образом, лишь отстаивают свои владения. "Экономические мотивы" и здесь и там являются решающим фактором; Германия может искать себе необходимое для обеспечения пропитания

пространство только в Европе. Применение насилия неизбежно, Германия “вынуждена к наступлению”, и потому его, Гитлера, неизменное решение состоит в том, чтобы самое позднее в 1943-45 гг. решить для немцев вопрос о жизненном пространстве. Более раннее начало решительных действий зависят от обстоятельств; при известных обстоятельствах первая цель, возможно, будет заключаться в том, чтобы “свалить Чехию и Австрию”. Аннексия этих двух государств могла бы “означать приобретение средств пропитания для 6-7 миллионов людей”, поскольку “принудительная эмиграция из Чехии может достичь двух миллионов, из Австрии — одного миллиона человек”. В качестве мыслительного эксперимента Гитлер при этом изложил сценарий войны между Италией и Францией, а также Англией, что могло представить благоприятный случай для реализации этих планов.

Тот, кто говорил это, был целиком и полностью Гитлером “Политического завещания” из “Mein Kampf”.³ Фактически он завещает здесь свои рассуждения как “наследство” на случай своей смерти. С одной стороны, Гитлер снова разоблачает себя как того, кем он, по сути, и являлся: как человека, целиком и полностью фиксированного на 1917-18 гг. и блокаде Антанты, однако одновременно, неосознанно для себя самого, парадигматическим образом он предстает воплощением позиции, которая формируется тогда, когда марксистская доктрина классовой борьбы отрывается от моментов интернационализма и гуманизма, что, впрочем, периодически намечалось у самих Маркса и Энгельса.⁴ Но биологистский марксист или социал-дарвинист — это был еще не весь Гитлер. Под захватнической убежденностью протагониста теории “лучшей расы” даже тут прослеживается озабоченность, даже страх, сопровождающие процесс, который не вполне вписывается в биологистскую картину мира, а именно “исходящее от большевизма разрушение экономики”, параллелью которому, по Гитлеру, было “исходившее от христианства разлагающее воздействие”, вследствие которого мировая Римская империя пала под натиском германцев. Та империя, на величие и долговечность которой он, несомненно, ориентировался. Очевидно, что ему оставалось сделать лишь один маленький шаг, чтобы добраться до виновника этих разрушений, но слово “еврей” не произносится. Возможное “военное вторжение России” хотя и упомянуто, но его опасность быстро ликвидируется указанием на Японию.

Вопрос состоит в том, почему Гитлер выступал перед своими ближайшими соратниками с такой провокативной односторонностью. Наиболее вероятный ответ заключается в том, что он хотел подвергнуть этих самых соратников определенного рода экзамену. Действительно, Нейрат и Фрич возражали Гитлеру, указывая на французское превосходство, с некоторым даже нажимом, и несколько позже Нейрат стал жертвой сердечного приступа. Гитлер вынужден был, таким образом, признать, что вместе с Нейратом, Фричем и даже Бломбергом ему не удастся проводить

активную внешнюю политику. Он был самодержец, но внутри системы, чьи элементы обнаруживали значительные следы былой самостоятельности. И потому еще длительное время он оставался недостаточно могущественным, чтобы просто уволить с их постов этих трех людей. Но он сумел быстро и беззастенчиво использовать возможность, которая представилась несколько позже, и здесь выяснилось еще раз, что хотя былая решимость в данных конкретных обстоятельствах несколько поугасла и модифицировалась, но по сути своей совершенно не изменилась.

Вермахт был еще очень далек от того, чтобы стать *коричневой армией*. В своих основных составных частях он воплощал скорее три различных периода немецкой истории: армия была христианско-пруско-консервативна, военно-морские силы – буржуазно-немецко-националистичны, а воздушные силы могли бы считаться национал-социалистскими. Соперничество между “ведомством вермахта” в военном министерстве под руководством генерала Кейтеля и Генеральным штабом армии под началом Людвига Бека имели идеологический подтекст. В еще большей степени это относится к напряженным отношениям между армией и СС, которые постепенно привели к возникновению вооруженных подразделений “Тайной государственной полиции” (гестапо). Снизу национал-социалистский дух благодаря молодым офицерам и всеобщей воинской обязанности проникал также в армию. Генералы сухопутных войск как все еще важнейшей части вооруженных сил не были сплошь национал-социалисты, однако даже Людвиг Бек вряд ли до 1938 года был политическим противником Гитлера. Все они целиком и полностью были поглощены перевооружением, которое было давним и искренним их желанием. Однако никто из них не был склонен к *авантюрам*, все руководствовались объективной картиной *подготовки* и слабо разбирались в психологических и политических факторах. И посему Гитлер значительно превосходил их. Однако безошибочное предчувствие, что методы Гитлера могут стать опасными для существования немецкого народа, являлось точкой отсчета для с виду прагматичного, а на самом деле принципиального Сопротивления.

Старческое упрямство Бломберга, желающего взять в жены женщину “с прошлым”, стала желанным внешним побуждением Гитлера к тому, чтобы расстаться с военным министром, однако гнусные интриги Геринга и гестапо создали повод для одновременной отставки и главнокомандующего сухопутных войск и, таким образом, руководство вермахта было известным образом обезглавлено. Когда выяснилась безосновательность обвинений против Фрича, было уже слишком поздно (для всего, кроме разве что формальной реабилитации): великие организационные и персональные перемены 4-го февраля 1938 года уже свершились. Гитлер лично принял на себя непосредственное командование вооруженными силами, а ведомство вермахта бывшего военного министерства оказалось подчиненным ему непосредственно как “верховное главнокомандование вооруженных сил”, генерал-полковник фон Браухич стал главнокомандую-

щим сухопутных войск, национал-социалист Иоахим фон Риббентроп сменил во главе министерства иностранных дел Нейтрата. Геринг не достиг своей цели стать военным министром, однако стал генерал-фельдмаршалом. Вермахт должен был пережить еще один сокрушительный удар по своей самостоятельности и легендарному чувству собственного достоинства. Но если речь и шла о чистке, то по своим масштабам и по своему характеру она не была тождественной с чисткой Красной Армии: вместо 10 тысяч расстрелянных последовали лишь некоторые отставки, и здесь также с очевидностью проявилось различие общественных систем. Но семь человек действительно могли воспринять подлинный результат этих изменений: трое мужчин, которые 5-го ноября 1937 года осмелились противоречить или показали себя неуверенными, были устранены, и тем самым был освобожден путь к *активной внешней политике*, то есть к политике прямого ведения войны или конкретной военной угрозы, политики, которая соответствовала истокам национал-социализма в виде *позитивного переживания войны* и которая хотя и проводилась Советской Россией, исходя из других мотивов и целей в непосредственно послевоенные годы, но между тем уже долгое время была прекращена.

Одновременно Гитлер снова привел в действие внешнюю политику, которая ведь была целью, в качестве средства. Эта взаимосвязь прослеживается в дневниковой записи полковника Йодля от 31 января 1938 года: “Фюрер хочет отвести прожектор от вермахта, держать Европу в напряжении и новым замещением различных постов создать впечатление не момента слабости, а момента концентрации силы. Шушниц должен не набираться мужества, а дрожать <...>”.⁵

То, что австрийский вопрос к началу 1938 года созрел для решения, предсказывали многие наблюдатели. В действительности речь шла об одной из тяжелейших проблем в немецкой истории, и благодаря одному только ее существованию она оказывалась симптомом особого положения немецкого народа в Европе, ведь ни англичане, ни французы, ни итальянцы не проживали в двух государствах. Однако такую ситуацию породила не иноземная сила, а сам основатель прусской империи Бисмарк исключил Австрию как “успешное сепаратное государство”, каковым оно и являлось, из Немецкого Союза (или Рейха), составной частью которого она была многие века, и тем самым совершил “разделение Германии”. В 1918-19 гг., казалось, пришло то время, когда немецкая Австрия, представляющая собой останки разрушенной габсбургской монархии, на основании волеизъявления преобладающего большинства населения сплотилась бы с освобожденным от национальных меньшинств и подтвердившим свое существование бисмарковским Рейхом в подлинное национальное государство всех немцев. Но это объединение означало бы, что Германия, несмотря на поражения, вышла бы из мировой войны практически самым большим государством Европы, исключая Россию, и союзники, которые, согласно своим заявлениям, ратовали за демократию и самоопределение,

поставили силовые политические соображения выше принципов и воспрепятствовали самоопределению немцев посредством “запрета на присоединение” – самоопределению, которое они гарантировали западнославянским нациям, полякам и чехам. Хотя вскоре оказалось, что австрийская самостоятельность не была сугубо искусственной, но одновременно союзники вызвали ирредентизм в немецкоязычном пространстве и создали ситуацию, весьма схожую с той, когда Советский Союз настроил против рабочего движения весь мир. Национал-социалистская Германия могла бы поддержать народное движение в соседнем государстве, которое было явно революционным, поскольку оно отрицало существование этого государства; мог быть также брошен упрек в том, что большое государство использовало народное движение, которое не было способно завоевать большинство, лишь как инструмент своих далеко идущих целей. И что классовому движению с его взаимодействием с Советским государством не удавалось до 1938 года или удавалось лишь в некоторых маргинальных областях, того добилось самым spectacularным образом национальное движение под пристальным вниманием всего мира, и об обычном “заваливании” Австрии не могло быть и речи. Также и после соглашения, заключенного в июле 1936 года, радикальные национал-социалисты остались в крайне активной оппозиции, фашистские и дружественные Италии шовинисты все больше теряли силу в государстве Шушнига, государстве воинствующего, но все же подчеркнуто *немецкого* католицизма, и внешнеполитическая поддержка в Италии все более ослабевала. Таким образом, положение становилось безнадежным, когда 12 февраля 1938 года Гитлер принял Шушнига в Берхтесгадене для переговоров, которые имели мало сходства с диалогом двух государственных деятелей. Гитлер беседовал с австрийским бундесканцлером так, как вождь крепко стоящей на ногах правящей партии мог бы беседовать с упрямым оппозиционером; он восхвалял самого себя за создание в Германии народа, который не знает больше “никаких партий, классов, расслоений” и все представители которого хотят одного и того же. Шушниг же в своем маленьком государстве, напротив, – это преследователь и угнетатель, который не смог бы продержаться ни единого мгновения, если бы, к примеру, он, Гитлер, однажды ночью нагрянул в Вену “подобно весенней грозе”.⁶ После больших уступок со стороны Шушнига и последних попыток сопротивления посредством запланированного народного голосования, эта весенняя гроза действительно разразилась 12 марта, но поначалу она приняла характер угрозы и манипуляций со стороны Геринга даже по отношению к умеренному национал-социалисту, а позднее наместнику Рейха Зейс-Инкварту. Однако ниже событий на высшем уровне радикальные национал-социалисты переходили, как это имело место в феврале и марте 1933 года, к массовым демонстрациям и насильственным акциям, которые более не встречали серьезного сопротивления. Угрозы сверху и насильственная деятельность снизу между тем вскоре стали несущественными,

когда вошедшие немецкие войска в каком-то неожиданном взрыве практически всеобщего энтузиазма были засыпаны цветами, а сам Гитлер чувствовался ликующими толпами как спаситель. Казалось, здесь сконцентрировались все парадоксы истории, когда биологический материалист пришел посредством обещания демократического права на самоопределение к наиболее бескровному из своих успехов и одновременно уничтожил остатки существовавшего в Австрии марксизма. Муссолини был согласен, западные правительства даже не пошевелились, а Советский Союз оплакал действия “агрессивных государств”, и это после того, как долгие годы поддерживал *status quo* в отношении величайшего из врагов.

Если в разных места высказывалось предположение, что теперь “на очереди” Чехословакия, то для этого имелись слишком веские основания. Уже в июне 1937 года Бломберг подписал “Приказ о всеобщей военной подготовке вооруженных сил”, в котором рассматривалось два направления действий – “красное” (Запад) и “зеленое” (Юго-Восток); последнее в первую очередь относилось к Чехословакии и категорически заявлялось об угрозе “нападения” с этой стороны).⁷ Хотя общий план имел оборонительный характер, однако это обесценивалось уже одним вводным предложением, что Германии, предположительно, не стоит ждать нападения на себя. 21 декабря 1937 года было внесено некое дополнение, в котором речь шла о “наступательной войне” против Чехословакии, которую следовало вести с целью решения немецкой проблемы расширения жизненного пространства, даже если та или иная великая держава посягнет на Германию.⁸ В качестве целей войны рассматривался “быстрый захват Богемии и Моравии с одновременным решением австрийского вопроса в смысле включения Австрии в немецкий рейх”. Эти планы, несмотря на мартовские события, не претерпели существенных перемен, хотя Гитлер высказывался в том смысле, что сначала должна быть переварена Австрия и что в его намерения не входит уже в ближайшее время разбить Чехословакию посредством военной акции без всякого вызова с ее стороны. Использование особенно благоприятного случая он всегда оставлял за собой, и Гитлер замечательным образом имел в виду и такой “инцидент” как “убийство немецкого посла в связи с враждебной по отношению к немцам акцией”.⁹

Но Гитлер простым осуществлением своих военных планов тут же развязал бы мировую войну на базисе *великого Сопротивления*. Его шанс состоял в том, что и в данном случае он не был обыкновенным военным агрессором.

Вопрос о судетских немцах был примерно того же рода, что и вопрос о немецких австрийцах, однако все его фактические составляющие были обострены и накалены. 3,5 миллиона немцев, проживавших в горном пограничном округе Богемии, в эпоху Габсбургской монархии были ведущей группой, которая была очень сильна и в самой Праге; после распада 1918 года они высказывались за присоединение Австрии к Германии, хо-

тя отчасти не были географически с ними связаны. Если бы события пошли по воле населения, то австрийцы и судетские немцы давно бы уже стали гражданами германского Рейха. Однако в случае судетских немцев это решение противоречило не только воле союзников, но и долгому прошлому и крепкой реальности земли Богемии, которая столетиями воспринималась своими жителями как одна общая Родина. С другой стороны, "борьба народностей" имела здесь свою традицию, и раньше, чем где-либо, тут стали образовываться как чехами, так и немцами различные партии, называющие себя "национал-социалистскими".

По меньшей мере потенциально разногласия необычайно обострились, когда чехам сразу после окончания мировой войны под руководством Масарика и Бенеша путем удачных манипуляций удалось вовлечь в свое государство из наследной массы Австро-Венгрии имеющих общую с ними славянскую родословную, но совершенно отличных с социальной и культурной точки зрения, словаков и превратить последних в устойчивой направленной против Германии "Версальской системы". Равным образом нужды и тяготы немцев в Чехословакии привлекали в Веймарской Германии и даже в начале существования Третьего Рейха не так много внимания, как нужды и тяготы польских немцев, тем более что в качестве уважительной причины повышенного внимания к последним выдвигали экономически неблагоприятную ситуацию, сложившуюся в большинстве индустриальных областей Польши. Как и везде, здесь переплетались экономика и политика, и нельзя было бы назвать неправомерным указание на систематическое пренебрежение, которое испытывали жители судетских районов со стороны пражского правительства, хотя с 1926 года в парламенте действовали наряду с прочими и *активистские* немецкие партии.

Требование полного самоопределения, таким образом, нельзя было считать ни иррациональным, ни изначально не легитимным, но оно сталкивалось с большими трудностями, чем в случае Австрии: немцы здесь были только меньшинством, присоединение к Германии должно было означать нарушение "богемского государственного права" и тем самым разрушение векового сообщества. И оно очевидным образом причинило бы значительный ущерб праву на самоопределение чехов в смысле претензии на независимое государство, ибо как должны были сохранить себя 7 миллионов чехов в окружившем их с трех сторон 75-миллионном *немецком море*, каким образом они могли сохранить свою подлинную самостоятельность? Все проблемы, связанные с внешне столь очевидным правом на самоопределение, фокусировались тут как в объективе и наиболее существенной казалась следующая: возможно ли было создать некую гармонию в вопросах самоопределения западнославянских народов, гарантированного Версальским договором, и самоопределения немцев, или первое должно было снимать второе, а в случае доминирования немцев было бы восстановлено прежнее состояние зависимости и несовершенно-

летия поляков и чехов, лишь недавно освободившихся из-под власти немцев (и русских)?

Судетско-немецкие социал-демократы, по-видимому, слишком облегчили себе ответ на этот вопрос, объявив центральной заповедью доброе отношение к “устремившемуся вперед славянскому миру”¹⁰, поскольку при этом они не учли, каким непоследовательным и прямо-таки гибридным способом устанавливалось самоопределение поляков и чехов на базе временного ослабления немцев и русских, но противоположное мнение могло привести к еще более худшим последствиям, при которых право на самоопределение малых народов принципиально отвергалось. Высшее понятие, в котором противоречия права на самоопределение снимались бы так, как они снимались или, согласно Ленину, должны были сниматься в понятии социализма, существовало в Центральной Европе лишь как бессильный постулат, и позднее, во времена Великой Чистки, должны были возникнуть серьезные сомнения, а не прикрывает ли это *высшее понятие* в Советском Союзе старую реальность российской гегемонии. Гитлер же признавал только *контр*-понятие, а именно понятие господства более великой или более сильной нации либо расы; поэтому понятие самоопределения так же мало являлось для него высшей максимой, как и для Ленина, и он умел так же успешно его использовать.

Что Гитлер вообще мог думать о том, каким образом поставить право на самоопределение на службу собственным целям, помимо внутренней силы этого понятия основывалось на факте, что социализм как высшее понятие воспрепятствовал распаду российской империи и породил мировое притязание, которое во многих странах Европы воспринималось как серьезнейшая из всех угроз, и не только узкими кругами *буржуазии*. Правда, имелись различные мотивы “политики умиротворения”, проводимой правительством Чемберлена, которая главным образом была политикой консерваторов и поддерживалась *Times* и не в последнюю очередь “Cliveden set” семьи Асторов: старание выиграть время, стремление к неприкосновенности Британской Империи, миролюбие и ощущение несправедливости Версальского договора. Однако когда лорд Эдвард Галифакс, тогда еще лорд-хранитель печати, а немного позже министр иностранных дел, посетил Гитлера 19 ноября 1937 года в Оберзальцберге, он мог внутренне согласиться с высказыванием Гитлера: единственной катастрофой является большевизм, все прочее можно урегулировать. Уже в начале разговора он назвал Германию “оплотом Запада против большевизма”.¹¹ Таким образом, антибольшевизм, несомненно, являлся центральным пунктом согласия обоих политиков, однако даже когда речь заходила о практическом вопросе: какими будут следующие шаги? – бросалось в глаза резкое различие. Хотя казалось, что Галифакс согласен со своим собеседником в вопросах “изменения европейского порядка”, и к особо значимым вопросам он категорически относил “Данциг (Гданьск), Австрию и Чехословакию”, однако он связывал решение не только с

“путем мирной эволюции”, а одновременно ратовал за возвращение Германии в Лигу Наций и за идею разоружения.¹²

Галифакс, таким образом, в этом диалоге был весьма далек от планов, которые приписывались правительству Чемберлена Советским Союзом во многих высказываниях, даже если было верным предположение о сущностной однородности Германии и Англии, которая состояла в *капитализме* и вытекающей отсюда вражде к *социализму*: от мнимых планов английского правительства побудить *немецкий фашизм* к агрессии против Советского Союза. Так, Сталин заявил американскому послу Дэвису, что за политикой реакционных элементов в Англии, которые представляет правительство Чемберлена, скрывается, в конечном счете, намерение усилить Германию против России. Между тем, добавил он, эта политика потерпит крах, поскольку “германские диктаторы поставят торговлю на слишком широкую ногу”.¹³ Почти в тот же день французский посол в Вашингтоне сообщил, что президент Рузвельт в переговорах с ним дал волю “своей антипатии по отношению к тоталитарным государствам и их политике грубого насилия”, и в конце “авторитетным тоном” убежденно добавил: “Если погибнет Франция, мы совершенно очевидно погибнем вместе с ней”. Посол вынес отсюда глубокую уверенность в том, что Америка будет крепко стоять на стороне Франции и Англии, если те вступят в конфликт с “фашистскими державами” для защиты демократии и свободы.¹⁴ Политика Гитлера, стало быть, создала несомненную возможность того, что под новым знаменем всеобъемлющего *антифашизма* могут собраться против Германии бывшие ее противники по Первой мировой войне, включая Америку. С другой стороны, Рузвельт хотя и понимал понятие *тоталитарный* в смысле *фашистский*, но его сочувствие, совершенно очевидно, распространялось в самую первую очередь на Англию и Францию, но было мало поводов предположить, что сталинский Советский Союз он также считает государством *свободной демократии*. Антифашистской концепции мировой политики противостояла, таким образом, антикоммунистическая и, потенциально, антитоталитарная концепции, и если бы коммунистическая идеология оказалась правой, то антикоммунистическая концепция должна была выступить как более сильная, поскольку единство капитализма было мощнее, чем его внутренние различия. Если же Советский Союз, Англия и США были первично *антифашистскими*, то тезис Ленина оказывался неверным, и мир находился в другой эпохе, а не в эпохе пролетарской мировой революции.

Сталин между тем должен был в каждом случае применять рецепт, данный Лениным в 1922 году своей делегации для конференции в Генуе в напутствие: нужно пытаться отделить пацифистскую часть буржуазии от активистской. Литвинов делал все от него зависящее, чтобы Советский Союз не вышел из игры, чтобы укрепить мысль о коллективном сопротивлении *агрессивным силам*, однако о том, насколько была распространена антикоммунистическая концепция среди авторитетных французов,

можно судить по заявлению французского посла в Москве Роберта Кулондра (Coulondre), который, по сообщению графа фон Шуленберга, в августе 1938 года сказал: "Я от всего сердца надеюсь, что до французо-немецкого конфликта дело не дойдет. Вы знаете так же хорошо, как и я, на кого мы сработаем, если сцепимся друг с другом".¹⁵

Но Советский Союз занимал ключевые позиции. Он был связан пактами о взаимопомощи как с Францией, так и с Чехословакией, и политика великого Соппротивления, которая согласно всем предпосылкам была показанной, целиком зависела от него. С другой стороны, существовало недоверие даже со стороны Чехословакии, которое выражалось в выдвижении чехами условия, чтобы помощь Советского Союза оказывалась только тогда, когда свои обязательства о помощи прежде выполнит Франция. Кроме того, Чехословакия и СССР не имели общих границ. Российские войска, если бы они захотели вмешаться, должны были входить через Польшу или Румынию, но ни одна из этих стран не допустила бы прохождения советских войск через свою территорию. Хотя некоторых французских офицеров и не пугала мысль о том, что нужно *принудить* к любезности Польшу и Румынию, но Сталин мог быть уверен, что, несмотря на все заверения в выполнении условий договора, он сохранит свободу действий, если западные государства и Германия когда-нибудь развяжут войну. Именно это, согласно сообщению Шуленбурга, составляло точку зрения всего дипломатического корпуса в Москве, и эта точка зрения точно соответствовала точке зрения Сталина, в то время еще неизвестной, поскольку она была выражена в секретном докладе в 1925 году: Советский Союз не сможет уклониться от войны, но вступит в нее последним.¹⁶

Данное широко распространенное предположение или подозрение ставило первую реакцию всякой политической власти — оказание сопротивления непропорциональному усилению власти любого своего конкурента — в растущее противоречие с широким антибольшевизмом, объединявшим в той или иной мере все государства Европы, кроме России. С другой стороны, требования самоопределения судетских немцев, которые становились все радикальнее, только в первом приближении и мнимом были идентичны гитлеровскому решению *вопроса о жизненном пространстве*. В общем, с начала года до осени 1938 мотивы и тактики соединились в плохо обозримое целое. С известным упрощением, *cum grano salis*, можно сказать, что объективное согласование требования самоопределения судетских немцев с волей Чемберлена к *удовлетворению и умиротворению* на фоне страха, вселяемого конечными интенциями Сталина, сделали возможным великий триумф Гитлера, которым, казалось, стала реализация великогерманского права на самоопределение, но который все же являлся лишь основой *конечной интенции*, которая противостояла конечной интенции Сталина и все же была ей родственна. Подлинным определяющим основанием было, таким образом, существование двух

новых и враждебных идеологических государств, в силу чего все наличные проблемы и трудности европейской системы держав приобрели характер, который невозможно было бы представить в 1914 году, потому что тогда Европу не делили и не пытались вовлечь в потенциальную гражданскую войну две наднациональные партии — *филофашисты* и *антифашисты*.

Важнейшие события можно легко воспроизвести: 20 февраля 1938 года Гитлер выступил с речью о “10 миллионах угнетаемых немцев”, которая содержала в высшей степени жесткие нападки на коммунизм и Советский Союз¹⁷ и где судетский вопрос был решен официально, еще до австрийского вопроса. Руководителю Отечественного фронта судетских немцев Конраду Хенляйну он дал еще в марте указание требовать всегда так много, чтобы выполнение требования было невозможным. Чешская частичная мобилизация 20 мая, поводом которой послужили ложные сообщения английских газет, привела Гитлера в настоящую ярость, поскольку, казалось, она означала для него потерю престижа. Это не помешало партии Хенляйна собрать почти 90% голосов немцев на состоявшихся почти одновременно коммунальных выборах. Сообщения немецкой прессы о “большевистской Чехословакии” как авианосце Советского Союза в Средней Европе приняли характер необузданной кампании, которая, однако, нашла различного рода поддержку в прессе французских правых и британских газетах лорда Ротемира; даже протесты партии судетских немцев против “большевистско-гуситских элементов”, над которыми-де потеряло контроль пражское правительство¹⁸, все больше теряли эмпирический характер и превращались в пропагандистский шквальный огонь. Отзыв лорда Рунцимана как посредника и различные статьи в “Таймс” вынудили президента Бенеша и чехословацкое правительство в сентябре к очень значительным уступкам, которые практически выполняли автономистские требования так называемой “Карлсбадской программы”. С другой стороны, воля Гитлера к войне в первый раз натолкнулась на сопротивление к сопротивлению среди немецких генералов и дипломатов, которые целиком определялись патриотическими мотивами, то есть страхом перед “*finis Germaniae*”, и придвинули на обозримую дистанцию возможность военного государственного переворота, направленного на свержение Гитлера.¹⁹ Речи Гитлера и Геринга на Нюрнбергском съезде могли основывать свою необузданную и высокомерную эмоциональность только на сенсационных сообщениях немецких газет о *преследованиях*, которые были выдуманы или приукрашены служащим министерства пропаганды. В действительности же “судетский добровольческий корпус” уже стал агрессором, и то, что в 1921 году разыгрывалось в Грузии, иностранная поддержка тайного повстанческого движения, под другим знаком стало осязаемой действительностью в центре Европы. Однако полет Чемберлена в Берхтесгаден 15 сентября превратил планы немецкой оппозиции в нереальные, и 21 сентября пражское правительство под жесто-

чайшим давлением приняло предложение об отторжении областей проживания судетских немцев. Однако когда английский премьер-министр второй раз посетил Гитлера в Годесберге 23 сентября, последний потребовал, повторно указывая на мнимые гнусные преступления чехов, немедленной оккупации этих областей немецкими войсками и, далее, решения вопроса об остальных меньшинствах в Чехословакии. Таким образом, переговоры оказались под угрозой, и 26 сентября Гитлер выступил в берлинском Дворце спорта с речью, которая, со своими нападка на Бенеша и чехов, была непревзойденным примером безудержной демагогии. Однако если тут вокруг Гитлера разгорелось бурное ликование масс, то на следующий день он должен был констатировать, что демонстративный проезд танковой дивизии по улицам Берлина вызвал в народе не военный энтузиазм, а только ужас и страх. Призыв Рузвельта в любом случае остался не услышанным, однако предложение о посредничестве Муссолини Гитлер принял, и 29 сентября вместе с Чемберленом, Даладье и Муссолини он встретился на Мюнхенской конференции, на которой с небольшими модификациями были приняты все его требования. Представитель Советского Союза приглашен не был. Гитлер и Чемберлен подписали 30 сентября заявление, в котором в оптимистической тональности было высказано пожелание обоих народов "никогда не вести войну друг против друга". А по прибытии в Лондон Чемберлен говорил о "почетном мире", который он привез из Германии и который позволяет ему надеяться, что "при нашей жизни" будет господствовать мир. Бенеш через несколько дней оставил Прагу и отправился в изгнание. Вошедшие немецкие войска население встретило еще более горячим ликованием, чем это было в случае Австрии. Даже наиболее яростные противники Гитлера вряд ли могли сомневаться в том, что несмотря на пережитый страх войны преобладающее большинство немецкой нации как "народная общность" стоит за спиной человека, который в это мгновение выступал как персонификация народного духа, того народного духа, чье стремление возместить "версальскую несправедливость" Ленин и Лансинг, Роза Люксембург и "Юманите" в той или иной степени предсказывали за двадцать лет до этого.²⁰

С точки зрения мировой политики Мюнхенская конференция в ретроспективе представляется последней возможностью, при которой европейские силы решали европейскую проблему при собственной режиссуре и исключив из ее рассмотрения как Советский Союз, так и США. В этом концерте для четырех держав солирующим, безусловно, был голос Гитлера. Англия и Франция должны были уступить, однако нельзя сказать, что они были изнасилованы, поскольку в конечном счете они лишь сказали "да" следствию из их собственного принципа. Хотя ни Чемберлен, ни Даладье не были *друзьями Германии*, однако Гитлер не мог ожидать в Англии и Франции лучших для него правительств, поскольку такие люди, как Освальд Мосли и Марсель Деат (Deat), были отделены от власти не-

преодолимыми границами. Самый подлинный интерес Гитлера, следовало думать, должен был привести его к введению его собственной политики в русло германо-английского, а позже – германо-французского соглашения, а также к стремлению как можно скорее и основательнее предать забвению ингредиенты грубой угрозы, лжи, наглости и легкомыслия, которые проявлялись в выступлениях некоторых его последователей еще более пугающе, чем в его собственных речах.²¹ Правда, нет ни малейшего указания на то, что кто-либо из наделенных ответственностью государственных деятелей Англии и Франции в 1938 или 1939 годах хотя бы намеком ободрил Гитлера в его планах начать войну против Советского Союза. Однако он мог положиться на сильное основное течение в Англии, которое в декабре 1938 года польский посол в Лондоне Эдуард Рачинский описал следующим образом: все события и проблемы в Восточной Европе оценивались “общественным мнением” как “малое зло”, которое способно отвести опасность от Британской империи.²² С другой стороны, именно тот политик, от которого, судя по прецедентам, скорее всего можно было бы ожидать признания концепции *крестового похода против большевизма*, находился в оппозиции: а именно Уинстон Черчилль. Гитлеровские дипломаты в Англии и в США были убедительным для него свидетельством того, что недоверие простых англичан и американцев к национал-социалистской Германии не было ни в коем случае просто вселено “еврейской кампанией прессы”, – это сама вековая традиция восстала против подавления свободы прессы и антиеврейских и антицерковных мер. Ни один из идеологов не проявил сдержанности, будучи победителем, но Гитлер ни разу не выказал тактического благоразумия. Уже в октябре он решился выступить с речью, которая указывала направление, абсолютно противоположное *разумной* политике, а в ноябре даже допустил антиеврейские действия, которые впервые носили характер полномасштабного погрома. И потому великий 1938 год подошел для него к концу задолго до 31 декабря, а разрушение *остатка Чехии* в марте 1939 года обусловило изменение ситуации, при котором Сталин, все еще воспринимавшийся как “больной человек Европы”²³ и почти уже ставший маргинальной фигурой, все больше оказывался предметом любовных домогательств двух враждебных групп государств.

7. Крушение антикоммунистической и антифашистской концепций в
великой европейской политике

Кажется, что речь Гитлера в Саарбрюкене 8 октября 1938 года содержала столь резкий акцент на неприятие западной демократии потому, что он был разочарован негативным эхом, которое вызвала сделка в Мюнхене в большей части английской, французской и американской прессы. Несмотря на то, что ни один разумный человек после изменения в соотношении сил не мог бы испытывать неподдельного восторга от унижения

W приневоленных к покорности государств, но Гитлер не удовлетворялся критическими выступлениями, а позволил себе увлечься и сформулировать самое старое из своих каузальных объяснений в наиболее общей форме, а именно уже больше не трактовать антисемитизм только как кульминацию большевизма, но как обвинение против фундаментальной тенденции в западном мире, то есть против либерализма. Так, хотя он и уважительно отзывался о Чемберлене и Даладе, но направлял резкую критику против “внутренней конструкции” этих стран, которая делает возможным заменить в любое время этих людей такими фигурами, как Дафф Купер и Уинстон Черчилль, которые открыто говорили о своем намерении начать новую мировую войну. На само собой разумеющейся критике черчиллей и куперов – поскольку Германия продолжал вести свою политику вымогательства и агрессии – Гитлер не останавливался, следующим образом продолжая свое не вполне однозначное обращение: “Мы хорошо знаем, что как раньше, так и теперь нас угрожающе подстерегает в засаде тот еврейско-интернациональный враг, который нашел в большевизме свое государственное фундирование и выражение. И мы знаем, далее, силу известного рода международной прессы, которая живет только ложью и клеветой”.¹ “Далее” едва ли было простым вспомогательным словом – наверное, Гитлер желал здесь в несколько завуалированной форме выдвинуть тезис о сущностном родстве большевизма и этой самой интернациональной прессы. Вместо этого он болезненно задел непосредственно Чемберлена и Галифакса, отказавшись от “гувернантской опеки” и порекомендовав англичанам лучше позаботиться о событиях в Палестине.

Таким образом, не случайное событие убийства секретаря миссии Эрнста фом Рата семнадцатилетним Хершелем Гринспаном 7 ноября 1938 года в парижском посольстве Рейха было тем фактором, который объясняет бросающееся в глаза наступление антисемитизма в тот момент, когда все знамения подсказывали многообещающей политике исключительное подчеркивание антикоммунизма. После принятия Нюрнбергских законов немецкие евреи получили еще несколько относительно спокойных лет, когда поощрялась эмиграция и когда большое число оставшихся евреев оказалось в состоянии вести общинную жизнь, полную удивительного разнообразия и витальности. Еврейские позиции в экономике, казалось, едва ли были затронуты, и кто обратил бы внимание на то, что под экономико-политическими законами нередко наряду с подписью Гитлера находились многочисленные подписи еврейских банкиров, тому не нужно было быть экономистом, чтобы поверить, что реальные экономические силы легко одержат верх над голой идеологией партии. Эта партийная идеология, казалось, затаилась в своем презренном убежище, в порнографической провокационной газетенке Юлиуса Штрайхера “Der Stürmer”, которая вывешивалась во всех уголках и в которой все время провозглашалось одно требование: “Оторвать голову у змеи всееврейства”. Но тре-

тая фаза национал-социалистской еврейской политики началась в апреле 1938 года с "Предписанием против поддержки при маскировке еврейских ремесленных предприятий" и с распоряжением регистрировать еврейские предприятия и докладывать о еврейском имуществе. Четкого планирования, вопреки всем предположениям, не имелось, и никто не мог бы сказать, как бы дальше развивались события, если бы Гринспан не совершил убийство.

Но также маловероятным было и то, что должна была последовать "хрустальная ночь Рейха", как легковесно позже были названы эти события. Определенно, возникло спонтанное возмущение, и не только среди радикально настроенных людей СА. Но когда в 1936 году ландесляйтер национал-социалистской заграничной организации в Швеции, Вильгельм Густлофф, с очевидно демонстративными намерениями был убит юным Давидом Франкфуртером, государственное руководство, принимая во внимание предстоящую Олимпиаду, подавило все протестные выходки, — тогда на кон было поставлено нечто больше, чем просто нормальное проведение Олимпийских игр. На этот раз руководство проявило нечто противоположное сдержанности, а якобы спонтанные события явно имели своим истоком собрание "Старой гвардии" в Мюнхене по случаю годовщины марша в Зале полководцев, и в особенности в беглом, шепотом, разговоре Гитлера и Геббельса. Почти повсеместно в Германии состоялись различные антиеврейские акции, патронируемые руководителями партии и СА, но не всегда так умело и неприметно, как того желал Геббельс. За одну ночь Германия превратилась в царскую Россию времени погромов: пылали синагоги, громились и грабились еврейские магазинчики, погромщики вламывались в кабинеты частной врачебной практики и выбрасывали на улицу инструменты. Многие евреи были избиты и подверглись мучениям, тысячи отправлены в концентрационные лагеря, десятки человек убиты, нанесен ущерб на сотни миллионов. Очевидным был в данном случае момент классовой борьбы, когда арестовывались преимущественно зажиточные евреи, или когда во время их отправки раздавались такие угрозы: "Мы уж позаботимся о том, чтобы исчезли ваши толстые животы".² Однако еще более характерными, чем сами события, которые по числу жертв вполне могли сравниться с погромами в царской России и с всеобщей классовой борьбой времени русской революции, были последствия. Имперский министр доктор Йозеф Геббельс опубликовал в "Фелькишер Беобахтер" 12 ноября статью, в которой писал, что подоплеку убийства следует искать в злобной травле крупных европейских мировых газет, и он пришел к такому заключению: "Еврей Грюнспан был представителем еврейства. Немец фон Рат был представителем немецкого народа. Таким образом, еврейство стреляло в Париже в немецкий народ".³ Генерал-фельдмаршал Германн Геринг наложил в те же дни на немецкое еврейство "штраф" в один миллиард марок и даже конфисковал выплаченные по договорам суммы в пользу Рейха, так что

евреи сами должны были покрыть нанесенный им ущерб. Если, таким образом, события как таковые и запаздывали по отношению к соответствующим происшествиям в России, то они носили более отталкивающий характер, поскольку сверхсильные пустили их в ход против слабых, и поскольку эти события открыто одобрялись руководством государства. Хотя возложение коллективной вины, при котором поступки отдельных личностей рассматривались как простые проявления коллективной ментальности или коллективных интересов, было заключено в основе национал-социалистского учения о расах точно так же, как в марксистской теории классов или большевистской практике классовой борьбы, но впервые оно проявилось в видимых издавна, полностью доступных мировой общественности деяниях, и впечатление за границей от этого было чрезвычайно сильным. Германия с этого момента уже зачастую не причислялась к цивилизованным странам, и кто вспоминал, что в 1918 и 1919 году такому же отрицанию подверглась большевистская Россия и с таким же неприятием нередко сталкивались московские процессы 1937-1938 гг., тот мог легко прийти к выводу, что отклонение от элементарных норм цивилизованного правового государства на базе еще относительно открытых отношений и тогда еще было чем-то худшим, чем соответствующее отступление в условиях катастрофы, гражданской войны и полностью сложившегося тотального господства, даже если жертвы при этом были намного меньшими.

Гитлер же воспринимал такое само собою напрашивавшееся мнение как симптом заговора злоумышленников, и антисемитский мотив, который всегда принадлежал к его подлинным движущим импульсам, даже если иногда они перекрывались другими, немного позже обнаружился в столь неприкрытой форме, в какой до сих пор это не имело места ни в одном публичном выступлении “фюрера и рейхсканцлера”. В своей речи в рейхстаге от 30 января 1939 года наиболее симптоматичным и примечательным было не столько знаменитое и позже неоднократно цитируемое предсказание об “уничтожении еврейской расы в Европе” (в случае, если международные финансовые еврейские круги еще раз ввергнут народы в мировую войну), ибо одновременные высказывания позволяли предположить, что речь шла не о физическом уничтожении. Куда более показательным было другое положение, а именно: “Еврейский лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” будет побежден другим: “Творческие представители всех наций, распознайте своего общего врага!”⁴ Еще никогда Гитлер не давал так ясно понять всему миру, что антибольшевизм, антимарксизм и антисемитизм образуют для него одно целое, и что целью его является не ревизия Версальского договора, проведение в жизнь права на самоопределение немецкого народа или восточно-европейское жизненное пространство “Германского Рейха”; но что одновременно он провозглашал учение о спасении мира, которое было обра-

шено ко всему человечеству и четко соответствовало марксистской доктрине, хотя и противоречило ей по смыслу.

Не исключено, что Гитлер ввел в игру свой антисемитизм из тактических соображений, поскольку он хотел заключить союз с антиеврейскими течениями в Англии и США. Он не учел между тем, что, несмотря на то, что среди высших слоев Англии и Америки действительно была распространена в известной мере самоочевидная антипатия по отношению к евреям, но Чемберлен и Галифакс были и могли быть антисемитами не в идеологическом смысле. Если он, таким образом, и стремился к созданию на международном уровне союза под знаком антикоммунизма, то его антисемитизм должен был действовать контрпродуктивно, иначе, чем в случае с Гугенбергом и Папеном в Германии.

Однако совсем немногие слушатели, присутствовавшие на двух его тайных выступлениях в период между Мюнхеном и Прагой, могли поставить себе вопрос, являлся ли антисемитизм Гитлера действительно целиком или только первично направленным против евреев как ясно описываемой группы, и действительно ли его антимарксизм был так удален от марксизма, как полагали его союзники в национальном лагере.

10 ноября 1938 года Гитлер держал речь на вечернем приеме в мюнхенском "Фюрербан" перед приблизительно четырьмястами представителями немецкой прессы. Он превозносил успехи последнего года и отдавал при этом должное той роли, которую в этом сыграла пропаганда и, следовательно, пресса. Однако воспитание самосознания еще не завершено, тем более что пацифистская пластинка, заигрываемая им все это время, более не производит ожидаемого эффекта. То, что в мировую войну потрясло это самосознание, была "истерия наших интеллектуальных слоев". Этот "куриный народ" в случае неудачи всегда окажется несостоятельным и подорвет сплоченность нации: "Когда я смотрю таким образом на наши интеллектуальные слои, то, к сожалению, они оказываются нужными; в противном случае можно было бы, да, я не знаю, искоренить их или еще что-нибудь".⁵ Были ли евреи для Гитлера в конце концов особо выжженной частью интеллигенции, и не ставился ли вопрос так, что немецких интеллектуалов при Гитлере ожидала та же судьба, что и русскую интеллигенцию при Ленине, хотя страх ввиду "искоренения национальной интеллигенции" в России был изначальной эмоцией Гитлера? Была ли скрыта в страхе фaszинация, а в кошмаре — образец?

И не возникает ли подобный же вопрос в отношении немецкой буржуазии, влиятельные части которой связывались с Гитлером потому, что хотели окончательно освободиться от угрозы коммунизма? В любом случае иной бюргер назвал бы марксистскими выводы, сделанные Гитлером из переживания, которым он делился с молодыми офицерами 25 января 1939 года в рейхсканцелярии: "Как часто я вот так, особенно в худшие времена, проезжал мимо уличных строителей, там стояли дорожные рабочие, в смоле, копоты и грязные, и потом они должны были там за-

92 2.13.8
Нольте

держивать машины, 10, 12 автомобилей. В машинах сидели состоятельные граждане, торговцы, банкиры и всякие такие люди, а на улице стояли эти пролетарии, и если я вот сравнивал лица, то выхватывал среди этой копоты и грязи у некоторых уличных рабочих такие глаза, что должен был сказать себе: по-настоящему, его нужно посадить в машину, а того назначить на уличные работы".⁶ Был ли в конце концов прав марксизм с его главным тезисом о не снимаемом противоречии между отмирающей буржуазией и поднимающимся пролетариатом, и собирался ли Гитлер претворить этот главный тезис в действительность? Вероятно, на этот вопрос Гитлер ответил бы в том роде, что он имел в виду отдельных пролетариев, а не пролетариат, и что он стремится не к обществу всеобщего равенства, где нет господства, а к "формированию новой общественной элиты", которая оказалась бы в состоянии править Европой. Но так ли был далек от этого Ленин со своими словами о "ядре" всё преобразующей партии и о России как о "сильнейшем в мире государстве"? В любом случае всем слушателям Гитлера, и, по сути, всем читателям его книг и речей должно было быть ясно, что гитлеровский антисемитизм был не просто обыкновенной юдофобией, а его антимарксизм был ближе к реальному марксизму Советского Союза, чем признавали доктринеры марксизма и он сам.

Однако журналисты и писатели Англии и Соединенных Штатов определенно не принадлежали к его слушателям, и лишь немногие из них читали "Mein Kampf". Также нельзя было подвергнуть сомнению то утверждение, что в Англии, Америке и тем более во Франции уже на основании публичных речей и поступков в период между октябрём 1938 и мартом 1939 гг. распространилось бы большое беспокойство даже в том случае, если бы там не было ни одного еврейского журналиста и ни одного еврейского финансиста. И даже наиболее решительные антикоммунисты не могли избежать этого беспокойства.

Но только разрушение Гитлером остатка Чехии создало новое качество критики и сопротивления и нанесло смертельный удар для антикоммунистической концепции великого согласия, хотя она и продолжала существовать в жалких своих рудиментах. Что побудило Гитлера перейти от мотива "самоопределения" к мотиву "жизненного пространства" еще до того, как он серьезно обратился к старейшей нерешенной проблеме немецкого самоопределения, проблеме Данцига и польских немцев, остается еще и сегодня не прояснено убедительным образом. Конечно, напрашивалось соприкосновение со представлениями о Центральной Европе Фридриха Неймана и других, равно как и с прежней австрийской действительностью, однако новое правительство в Праге имело абсолютно ясное представление о том, что оно должно без всяких условий сотрудничать с великим Германским Рейхом. Словацкая проблема, ко всеобщему удовлетворению, казалась решенной, когда словацкий ландтаг избрал священника Йозефа Тисо министром-президентом автономного союзно-

го государства. Однако существовали словацкие радикалы, которых не устраивало это решение, и Геринг уже в середине 1938 года дал им понять, что "аэродромы в Словакии очень важны для сил Люфтваффе в перспективе их применения на Востоке".⁷ Но решающим мог быть очень личный в самом тесном смысле момент, которому не имелось соответствий у Сталина: ощущение Гитлера, что он долго не проживет, и поэтому должен не откладывая принимать "великие решения". Вероятно, большую роль в этом сыграл намного более банальный вкус к громкому успеху и триумфальному вступлению в города. В любом случае, он едва завуалированными угрозами он свернул словацких радикалов на путь сепаратизма, которому правительство в Праге противодействовало лишь постольку, поскольку не обладало сведениями о желаниях имперского правительства. Отставка Тисо и приход на его место нового Президента государства Хаха 10 марта 1939 года являлось для Гитлера желаемым и ожидаемым развитием событий. 12 марта он дает указание вермахту выработать "требования для ультиматума". Немецкое меньшинство в Брно, Иглау и Прессбурге выходит на улицы и пытается провоцировать чехов, везде с относительно малым успехом. Венгрии Гитлер обещает Закарпатскую Украину, в которой он отказал ей на венском решении третейского суда от 2 ноября 1938 года, в Прессбурге радикалы из "Родобраны" взяли на себя руководство независимой Словакией. В ночь на 15 марта Хаха и министр иностранных дел Хвалковский были приняты Гитлером в рейхс-канцелярии. Хаха проявил себя очень слабым и безропотным переговорщиком, и все же потребовались недвусмысленные угрозы, для того чтобы вынудить его подписать "договор", включающий Чехию как "Протекторат" в Германский Рейх. Тем самым была не только аннулирована государственная эмансипация 1918 года, но и введен новый статут ограниченного права, до сих пор не известный Европе, а благодаря антиколониальному движению уходивший в прошлое и в остальном мире. Оккупацию Чехии немецкая пресса симптоматическим образом оценила как нашествие: "Знамена со свастикой реют над Прагой" – так звучал один из заголовков, и Гитлер завладел Градчанами, как будто вошел после победоносной войны в столицу врага. Однако на этот раз вступающие в город войска не слышали приветственного ликования, их не осыпали цветами и поцелуями: сжимались кулаки, текли слезы, а женщины плевали немецким солдатам в лицо.

Антикоммунистическая концепция Великого Согласия потерпела тем самым крах еще до того, как проявилась во всей своей полноте, поскольку даже те, кто на Западе был ближе всего к этому направлению мысли, исходили из негласной предпосылки, что Гитлер не станет применять насилия и не будет стремиться к дальнейшей экспансии, то есть признание задним числом права на самоопределение было дальнейшим шагом, которому, как представлялось, надлежало совершиться. Если правительства Англии и Франции имели чисто антикоммунистическую, то есть анти-

большевистскую установку, то, конечно, они должны были рассматривать включение Чехии в немецкий Рейх как дальнейшее укрепление позиций, требуемых для предстоящей решительной борьбы, и так они действительно должны были действовать, если воспринимали себя представителями капитализма. Но могли ли они быть уверены в том, что Гитлер был чистый антикоммунист? Не был ли антикоммунизм для него просто инструментом на службе иных целей, как это, очевидно, произошло с правом на самоопределение? Но даже если Чемберлен и Галифакс доверяли Гитлеру, то общественное мнение их стран не предоставляло им свободы действий, поскольку это общественное мнение было преимущественно антифашистским, хотя, несомненно, имелось и встречное (течение. Весьма характерным было сообщение польского посла в Вашингтоне Ежи Потоцкого, который уже 7 марта с явным оттенком антипатии и критики сообщил своему министру иностранных дел, что Президент Рузвельт и пресса обрабатывают американскую общественность с намерением "вызывать ненависть ко всему, что пахнет фашизмом".⁸ При этом СССР причислялся к лагерю демократических государств, также как и лоялисты во время гражданской войны в Испании рассматривались как защитники демократической идеи. Подобного же мнения придерживалась в Англии лейбористская партия в парадоксальном созвучии с консервативной оппозиций, сконцентрировавшейся вокруг Черчилля, а во Франции партии "Народного фронта" были еще достаточно сильны, чтобы также действовать в новом направлении перехода к политике Сопротивления под знаменем антифашизма. С оккупацией Праги повсюду на Западе эта тенденция должна была получить мощный импульс.

Чемберлен, как это бросалось в глаза, высказывался крайне осторожно, однако затем, 17 марта, в Бирмингеме, он был вынужден настоятельно выразить свое опасение по поводу попытки "завладеть миром при помощи насилия", и он заключил свою речь такими словами: "<...> Нельзя допустить большей ошибки, чем подумать, что наша нация, поскольку она считает войну бессмысленной и жестокой штукой, <...> потеряла свою марку настолько, что не будет до последних сил противостоять такому вызову, если таковой когда-либо последует".⁹ Кратко и выразительно высказал немного позже свое мнение Галифакс немецкому послу фон Дирксену: он мог бы понять вкус Гитлера к бескровной победе, но в следующий раз Гитлер будет уже вынужден пролить кровь.¹⁰ Что за "следующий раз" это будет в принципе было неважно; если эту волю к сопротивлению кто-то назовет *волей к войне*, то Англия с момента оккупации Праги была, безусловно, готова к войне: в том случае, если Гитлер и в дальнейшем продолжал бы выдвигать территориальные требования и пытался бы удовлетворить их при помощи насилия. Однако одновременно это было возвращением к обычной государственной политике; глубокое изменение, которое эта государственная политика претерпела в силу существования идеологических государств, было выведено за скобки,

полностью не исчезнув. В любом случае, события так же мало превратили Чемберлена и Галифакса в антифашистов, как Даладье и Боннэ, и это было только потому, что они не хотели задеть Италию.

Особенность состояла в том, что Гитлер хотя в действительности и выдвинул уже новые требования, но они были выдержаны в абсолютно дружественном, подчеркнуто антикоммунистическом тоне и не являлись, строго говоря, территориальными требованиями, а, напротив, имплицитно рвали отказ от них, на который ни в коем случае не мог пойти Штресеман. Ничто не могло быть для немцев Веймарской Республики столь болезненным и непереносимым, как существование польского "коридора", отделявшего Восточную Пруссию от Рейха, и вместе с этим существование "свободного города Данцига". Нигде больше с таким правом немцы не могли жаловаться на пренебрежение интересами, ущемление прав и преследование своих соотечественников. В январе 1934 года Гитлер радикально поменял направление Веймарской Республики, и никто кроме него не был в состоянии это совершить. Его мотивом, очевидно, была антикоммунистическая симпатия к режиму маршала Пилсудского, который, пожалуй, свергнул бы в 1920 году большевиков, если бы оказался готовым оказать поддержку белогвардейцам. Когда в конце октября 1938 года Гитлер сделал польскому послу Липскому через Риббентропа предложение согласиться на возвращение Данцига Рейху и признать экстерриториальный характер автомобильных и железнодорожных путей через "коридор", он имел в виду "генеральное устранение" всех существовавших возможностей разногласий, которое могло бы стать "увенчанием дела, начатого маршалом Пилсудским и Фюрером".¹¹ На заднем плане, несомненно, брезжила перспектива общей борьбы с Советским Союзом, и в дальнейших разговорах, которые Гитлер и Риббентроп в последующие месяцы вели с Липским и министром иностранных дел Беком, речь нередко заходила об Украине, и отказа от нее со стороны Польши не последовало. Однако, с другой стороны, Липский указывал с самого начала на то, что Данциг имеет для Польши особенное и символическое значение и что признание экстерриториальности автобана окажется тяжелым ударом по ее суверенитету. Фактически Гитлер, преследуя свои высшие цели, достиг генерального урегулирования с Италией благодаря тому, что торжественно отказался от Южного Тироля. Здесь же он потребовал разрешения того вопроса, что по сути дела являлся правовой задачей, а именно присоединения свободного города Данцига к польской таможенной зоне. Гитлер не взял в толк то, что радикально-фашистское государство в контексте своих далеко идущих конечных целей может вести политику отказа [от территориальных требований], но что фашизоидный национализм менее всего к этому способен. Итак, дружеская атмосфера переговоров все более и более утрачивалась, настроение польской общественности явственно ухудшалось; возмущались тем, что Германия воспрепятствовала решению Венского третейского суда относительно общей границы

между Венгрией и Польшей, и были приняты довольно жесткие меры против немецкого меньшинства.

Однако окончательно ситуация ожесточилась только 15 марта. Теперь польская общественность была убеждена, что Польша была следующим “на очереди” государством; и немецкая защита Словакии, безусловно, означала чрезвычайное ухудшение стратегического положения Польши, если ее рассматривать как противника, а не партнера и союзника немецкой Империи. Несмотря на это, Бек не согласился на самое актуальное из всех предложений, которое сделало английское правительство: чтобы Польша вместе с Англией, Францией и Советским Союзом выступили с заявлением, которое выразило бы волю к совместному противодействию всякой угрозе политической независимости какого-либо европейского государства. Даже политика великого Сопротивления должна была нести опасность для Польши с ее успешной войной против Советской России 1920 года, и очевидную тенденцию к идеологическому антифашизму польский полковничий режим должен был признавать еще менее, чем правительство Консервативной партии в Англии. Бек отстаивал двустороннее соглашение. Чемберлен 31 марта выступил в Палате общин с заявлением, что британское правительство будет оказывать всеми имеющимися в его распоряжении силами поддержку польскому правительству, если случится акция, “которая будет ясно угрожать польской независимости, и, соответственно, сопротивление которой своими национальными вооруженными силами будет рассматриваться польским правительством как неизбежное”.¹² Формулировка была не совсем ясна, а гитлеровские предложения не обязательно угрожали независимости Польши. Однако это заявление можно было рассматривать как одностороннюю – и в английской истории совершенно беспрецедентную – гарантию, которая обязывала британское правительство к вооруженной интервенции, если, скажем, данцигское правительство заявит о присоединении к Рейху, а Польша выступит против этого с оружием в руках. Решение о войне и мире было, таким образом, переложено на Польшу, хотя Бек в Лондоне замолчал существенные обстоятельства дела, и хотя Хендерсон назвал немецкие дела “отнюдь не неправомерными или аморальными”, поляков же – “героическими, но одновременно дураками”.¹³ Даже среди польских руководителей имелись большие сомнения, и польский посол в Париже, Юлиуш Лукасевич, очень негативно отзывался о внутренинеполитических мотивах Чемберлена, который, по его мнению, был нацелен на “идеологическую борьбу против гитлеризма” и “на провоцирование переворота в Германии”.¹⁴ Бек опять-таки выводил из своего антикоммунизма убеждение, что Гитлер будет решительно не в состоянии даже помыслить об антипольском соглашении с Советским Союзом.¹⁵

Итак, переговоры о пакте взаимопомощи, которые проводились в течение летних месяцев между западными державами и Советским Союзом, были бы не очень перспективными даже в том случае, если бы они со-

шлись на общей линии борьбы с гитлеровским фашизмом. Речь прежде всего шла о Польше, а Польша могла ожидать помощи против Германии лишь в том случае, если бы она разрешила советским войскам продвижение по своей территории. Однако, по убеждению Бека и Рыдзя-Смигли, это могло бы повлечь за собой потерю тех восточных областей, которые были отданы Советской Россией по Рижскому мирному договору, и в Польше никто не был готов выдать советскому Вельзевулу Брест-Литовск и Лемберг, чтобы защитить Данциг от немецкого черта. Поскольку Советский Союз, кроме того, поставил вопрос о безопасности прибалтийских государств, переговоры вышли за меру вероятного и оказались преисполнены глубокого взаимного недоверия, поскольку русские боялись, что западные власти хотели столкнуть лоб в лоб Советский Союз и Германию на польском поле битвы, чтобы привести их к обоюдному истощению. А в британском министерстве иностранных дел было живо противоположное и более застарелое убеждение, что Советский Союз пытается впутать западные государства в войну с Германией для того, чтобы позже суметь овладеть Европой и подчинить ее советской системе. Таким образом, переговоры, проводившиеся в июле и августе англо-французской военной миссией в Москве с маршалом Ворошиловым, продвигались вперед чрезвычайно медленно. Затем, словно молния из нахмуренного неба, грянуло сообщение, что 23 августа в Москву прибудет имперский министр иностранных дел фон Риббентроп для того, чтобы подписать пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом. Антифашистская концепция, которая не могла более рассматриваться как тенденция в рамках политики Великого Сопротивления, потерпела крах. Осуществилась якобы невозможная по идеологическим соображениям и длительное время практически не учитывавшаяся пятая основная вероятность мировой политики: взаимопонимание между врагами, которое казалось возобновлением политики Рапалльского договора. Тем самым, угроза мировой войны была предотвращена, однако и сорвано более вероятное обуздание Гитлера: был дан старт к европейской малой войне, коль скоро западные государства продолжали держаться своего обещания выполнить свои обязательства по отношению к Польше.

*8. Гитлеровско-сталинский пакт как начало европейского пролога ко
Второй мировой войне*

Разумеется, абсолютно ошеломляющим это сообщение не было. Во французской и английской прессе в 1938 и начале 1939 гг. все чаще появлялись сообщения и комментарии, которые констатировали сближение между Советским Союзом и Германией или по крайней мере представляли его возможным. Однако при этом речь могла бы идти о каких-либо уведомлениях о целях, а враждебные высказывания Гитлера, как, например, в речи 30 января 1939 года, казалось, быстро превратили такие ожидания

и опасения в беспредметные. Министр иностранных дел Франции между тем знал с октября 1938 года, что один советский дипломат высшего ранга прореагировал на соглашение в Мюнхене следующим образом: "Я не вижу для нас другой возможности, как четвертый раздел Польши!".¹ И каждому представлялось думать, что угодно, когда Сталин 10 марта 1939 года произнес свою так называемую "каштановую речь", которая равномерно распределила упреки между обеими сторонами, но приписывала западным державам то, что они натравливают Германию на Советский Союз, чтобы потом со свежими силами появиться на арене действий и продиктовать ослабленным участникам войны свои условия. В любом случае, он выразил отказ Советского Союза "доставать из огня каштаны" для провокаторов войны. Три недели спустя Гитлер также применил метафору с каштанами в выступлении в Вильгельмсхафене. Однако 3 мая мир был поражен сообщением о том, что советский министр иностранных дел Литвинов был отправлен в отставку, а на его место был назначен Председатель Совета народных комиссаров В. И. Молотов. Почему главный поборник советской ориентации на Запад был смещен как раз в тот момент, когда объединение с западными силами казалось неизбежным? Не хотел ли Сталин тем самым дать ясно понять, что он в любом случае не считает себя вынужденным заключать соглашение с каким-либо определенным партнером и что он, находившийся немногие месяцы до этого в изоляции, стал теперь ключевой фигурой в судьбах Европы и всего мира?

Однако и в Германии "рапальская линия" ни одного мгновения не была совершенно нежизнеспособной, и Герман Геринг многое сделал для того, чтобы между обеими державами не порвались те тонкие нити, которые пытался сохранить и укрепить советский торговый представитель в Берлине Давид Канделаки. Под шквальным пропагандистским огнем в Германии с недавнего времени бытовали некоторые размышления, имевшие в виду ослабление идеологического противоборства и констатировали "национализацию большевизма" целиком в духе тех идей, которые уже 15-ю годами ранее были представлены в русской эмиграции.² Так, хотя в начале 1937 года Гитлер хотя и не откликнулся на попытку прощупывания со стороны Канделаки, однако сказал Нейрату следующее: "Все было бы несколько по-другому, если бы события в России развивались в направлении абсолютной деспотии, с опорой на милитаризм. В этом случае мы, впрочем, не должны упустить момент, чтобы снова включиться в дела России".³ И в основном подходе национал-социализма была заключена возможность подчеркнуть противоположность к евреям на Западе. Если принять как свершившийся факт польское и румынское твердое "нет" проходу советских войск через их территорию, то германо-советские контакты в начале и летом 1939 года с самого начала имели большую весомость.

Инициатива исходила скорее от Советского Союза, чем от Германии, и риск на немецкой стороне был, несомненно, много большим. То, что

Сталин пытался улучшить свою позицию на переговорах с западными государствами посредством контактов с Германией, западные государства в случае утечки информации посчитали бы обычной и простиительной хитростью; для престижа Гитлера и его отношений с Японией и Италией могло бы оказаться роковым, если бы Сталин обнародовал факт прощупывания позиций и заключил соглашение с западными силами. Неудивительно поэтому, что историческое событие мирового масштаба подготавливалось преимущественно на уровне служащих третьего ранга.⁴ Сразу после отставки Литвинова советский атташе Астахов обратился к легационсрату экономико-политического отдела министерства иностранных дел Шнурре, пытаясь выяснить, не привело ли это событие к каким-либо изменениям в установке Германии по отношению к Советскому Союзу. 14 дней спустя Молотов лично беседовал с немецким послом в Москве фон Шуленбургом о необходимости создать "политическую основу" для планируемых экономических переговоров, однако до уточнения своих пожеланий не снизошел. 3 июня русские использовали эстонского посла, который в беседе с Государственным секретарем Вайцеккером сказал, что в Москве существует большее недоверие по отношению к демократическим государствам, чем к тоталитарным, и что, кажется, там лишь ожидают подходящего повода, чтобы выразить упомянутое настроение. Еще яснее выразился Астахов в разговоре с болгарским послом 15 июля, о чем, разумеется, незамедлительно было поставлено в известность министерство иностранных дел: Советский Союз видит перед собой три возможных линии поведения, среди которых он "интуитивно" отдает предпочтение сближению с Германией. Если бы Германия устранила русские опасения перед нападением на балтийский государства или Румынию посредством соглашения о ненападении, Советский Союз, вероятно, отказался бы от намерений заключить договор с Англией.⁵ Поскольку в это же время несколько застопорились немецкие переговоры с Японией о заключении военного пакта, казалось, в размышлениях Гитлера и Риббентропа впервые серьезно заявила о себе мысль о заключении пакта о ненападении. Следующий важный шаг был совершен на более низком уровне, а именно во время ужина, на который Шнурре пригласил атташе Астахова и торгпреда Барбарина в ресторан "Эвест". Здесь Шнурре предложил весьма своеобразную точку зрения на отношение большевизма и национал-социализма, которая в прежние времена привела бы к резкому протесту или панике среди советских служащих: при всех различиях существует-де нечто общее в идеологии Германии, Италии и Советского Союза, а именно враждебная установка по отношению к капиталистическим демократиям. О непримиримых противоречиях между Германией и Советским Союзом далее речь идти не может, поскольку Коминтерн более не занимает господствующего положения, большевизм все больше сплавляется с национальной историей России, а мировая революция откладывается Сталиным *et calendas graecas*. Поэтому можно предположить, что

оба государства приблизятся друг к другу в три этапа. В своем ответе Астахов подчеркнул, насколько значимой показалась ему беседа, и, без сомнения, срочно подготовил доклад Молотову.⁶

С самого начала, таким образом, инициатива переходит на германскую сторону и принимает все более настойчивый характер, в то время, как в Москве ведутся переговоры с прибывшей морским путем англо-французской военной миссией. 3 августа Риббентроп передает Молотову немецкое пожелание поставить немецко-русские отношения на "новый и определенный базис", и 14-го он дает знать о своей готовности прибыть в Москву в целях заключения пакта о ненападении, ведь это неоспоримо, что "капиталистические западные демократии являются непримиримыми врагами" как Германии, так и Советского Союза.⁷ Молотов принял сообщение "с величайшим интересом", однако он подчеркивает необходимость тщательно подготовить приезд имперского министра иностранных дел, и он впервые говорит о "специальном протоколе", который должен был образовать составную часть предстоящего пакта. Еще в тот же день Риббентроп выражает готовность к такому протоколу и настаивает на высоком темпе ведения дел. Подобная настойчивость, безусловно, придает необычайную силу позиции партнера по переговорам, и 20 августа Молотов снова указывает послу на необходимость "подготовки". Однако уже спустя полчаса по окончании беседы посол вновь приглашен в Кремль: ему был предоставлен проект пакта о ненападении, и Советское правительство выразило свое согласие на прибытие Риббентропа в Москву 27 или 28 августа. Очевидно, что Сталин дал это распоряжение лично. И в те же дни Гитлер также лично принимает меры. В телеграмме "Господину Сталину, Москва" Адольф Гитлер настойчиво предлагает, чтобы Риббентропа приняли в Москве уже 22 августа, самое позднее 23 августа. Вечером 21 августа Сталин, со своей стороны, телеграфирует "Рейхсканцлеру Германии, господину Гитлеру" что "Советское правительство" согласно с прибытием Риббентропа 23 августа.⁸

Так, за несколько дней, даже часов, было принято решение, которое основательно переменяло мировую ситуацию и вынудило франко-английскую миссию к бесславному отъезду. Политика "великого Сопrotивления" потерпела крах после того, как все попытки виртуально сохранить политику "малого Сопrotивления" были перечеркнуты подписанием 22 мая немецко-итальянского "стального пакта". Однако между западными силами и Германией не было достигнуто ни малого, ни большого согласия, хотя начальник отдела министерства Вольфганг Вильсон, в которых, по впечатлению Дирксена, выражалось желание Чемберлена конфиденциально "преследовать исключительно важную и достойную того, чтобы ее добиваться, цель единения с Германией".⁹ И все же Англия равно не могла предложить Гитлеру того, к чему он всеми силами стремился, подавления Польши, как и не была в состоянии обеспечить

Советскому Союзу того, что Гитлер хотел ему теперь предложить. Хотя Риббентроп, несмотря на “чрезвычайные полномочия”, которыми он был наделен, 23 августа должен был направить Гитлеру из Москвы вопрос, может ли он уступить неожиданному требованию Сталина и Молотова и признать в качестве их “сферы интересов” латышские порты Либау и Виндау, но ответ Гитлера звучал: “Да, согласен”. Тем самым путь к подписанию пакта о ненападении и тайного дополнительного протокола к нему был окончательно свободен.

Хотя пакт о ненападении основывался на советском проекте, однако, очевидно, по желанию Риббентропа, он был симптоматичным образом изменен. В проекте Советский Союз и Германия руководствовались “желанием укрепления дела мира между народами”, в окончательном же варианте речь уже шла об укреплении мира между Германией и СССР. В проекте решающий пункт II звучал: “В случае, если одна из заключающих договор сторон окажется объектом насильственных действий или нападения со стороны третьей силы, то другая из сторон, заключающих договор, ни в какой форме не будет поддерживать соответствующие действия этой силы”. Окончательная формулировка говорила уже только о “военных действиях со стороны третьей силы”, объектом которых стала бы одна из заключающих соглашение сторон, и она недвусмысленно санкционировала захватническую войну, совсем как “Сталинский пакт” диктовал радикальное различие с идеологией.¹⁰

Радикальное отличие от идеологии Лиги Наций и даже от “Сталинского пакта” стало ясным только с заключением “Тайного дополнительного протокола”, инициатива подписания которого сводилась исключительно к советской стороне, хотя нечто подобное определенно учитывалось Риббентропом за несколько недель до этого с его уверениями в соблюдении российских интересов. Исходным пунктом, внутренней предпосылкой и неприкрытой целью соглашения был “случай территориально-политического преобразования” балтийских государств и Польши. С этой точки зрения сферы интересов обоих государств были ограничены северной границей Литвы и линией Нарва, Вайхсель и Сан. Всякая возможная неуверенность в том, что имелось в виду, была устранена положением: “Вопрос о том, позволяют ли двусторонние интересы желать сохранения независимого польского государства и каковы должны быть границы этого государства, может быть окончательно решен только в ходе дальнейшего политического развития”.¹¹

Таким образом, не может быть ни малейшего сомнения в том, что изначально заключение этого пакта: Советский Союз освобождал Германию путь к завоеванию Польши. Речь шла о военном пакте. Эта война должна была одновременно привести к разделению Европы на сферы интересов: пакт представлял собой пакт разделения. Разделение, по крайней мере в Польше, не ограничивалось установлением зон влияния, а наводило мысль на то, что польское государство должно исчезнуть. Этот пакт был

пактом уничтожения. Как военный пакт, как пакт о разделении и уничтожении, он не имел параллелей в европейской истории XIX-XX века. Оба государства, которые его заключали, должны были быть государствами совершенно особого рода.

Совершенно особенный характер носила также и беседа, которая состоялась в ночь с 23 на 24 августа в Кремле между Риббентропом, Сталиным и Молотовым. “Глупость других стран” Сталин счел ответственной за то, что Англия овладела миром, а Риббентроп заявил, что антикоминтерновский пакт направлен в основе своей не против Советского Союза, а против западных демократий. Молотов провозгласил тост за Сталина и указал на то, что Сталин своей речью 10 марта совершил переворот в политических отношениях, а Сталин (как явствует из немецкого протокола) “спонтанно” произнес тост в честь Адольфа Гитлера: “Я знаю, как сильно любит немецкий народ своего Фюрера; я хотел бы поэтому выпить за его здоровье”. Риббентроп, со своей стороны, указал на то, что в Германии “именно простые люди” приветствуют соглашение с Советским Союзом. При прощании Сталин уверил имперского министра иностранных дел, что Советский Союз воспринимает новый пакт очень серьезно, и он готов дать свое честное слово, что Советский Союз никогда не обманет своего партнера.¹²

Что было наиболее примечательным в этом событии, повергшем весь мир в величайшее изумление и вызвавшем повсеместное онемение или даже чистый ужас? Результат был ясен с первого мгновения: речь шла не об обычном пакте о ненападении. Уже формулировка статьи II позволяла это понять, и это же обстоятельство подчеркивал отъезд из Москвы военной миссии союзников. В любом случае, произошло значительное смещение центра тяжести в мировой политике, и первые же немецкие комментарии с великим удовлетворением указывали на то, что вновь обрели друг друга народы, которые объединились еще в период освободительных войн против Наполеона и только 15 лет назад скрепили свои отношения в Рапальском договоре. И здесь и там могло возникнуть впечатление, что пакт может восприниматься как возврат к Бисмарку и разуму после прежней неестественной дружбы Гитлера с Польшей. В действительности русско-германский блок был неуязвим и непобедим, и высказывания Сталина в этом направлении носили характер сожаления [об упущенном шансе]. Но то, что казалось разрушенным, так это достоверность самопонимания обоих государств как строго идеологических. Действительно, и Ленин заключил договор в Брест-Литовске, и Радек в 1923 году пропагандировал соглашение с немецкими националистами. Но в первом случае речь шла об элементарном выживании, а во втором было ясно, кто был сильной стороной. Даже если считать верным, что революция была настолько слаба, что могла поддерживать свое существование только существованием Советского Союза, могло ли это государство революции пойти ради этого на все и протянуть руку злейшему из своих врагов? О

выживании при этом речь явно не шла: то, что Гитлер нападет на Польшу, если на ее восточных границах будет стоять огромная вражеская сила, было исключено. Фактически советско-германский пакт явился для многих коммунистов на Западе вторым после московских процессов глубочайшим потрясением их до сих пор столь нерушимой лояльности, и немалое их число окончательно было отвращено от тех людей и той власти, которые предали интересы антифашистского фронта просто ради державной выгоды СССР. Таким образом, Коминтерн либо должен был разбираться в путаных разъяснениях, которые Шнурре и Риббентроп давали в отношении внутреннего родства обоих режимов, либо он должен был избрать, по меньшей мере в качестве намека, такое ближайшее и очевидное объяснение: Сталин вовлек своего смертельного врага в изнуряющую борьбу с теми, кто объективно были друзьями врага, и он сможет нанести ему сокрушительный удар, если последним выступит на поле боя со своими неистраченными силами. Это была концепция мировой революции, как ее, впрочем, по случаю на полях обрисовывал сам Маркс. Та концепция, которая должна была также и последних буржуазных пацифистов превратить во врагов столь воинственного государства.

Гитлер же определенно потерял правдоподобие в качестве борца за антикоммунистическое дело. Уже никогда больше не были возможны высказывания, какие лорд Галифакс лишь за год до этого делал по отношению к гитлеровскому посланнику: мол, цель его работы – видеть, как под аплодисменты толпы фюрер входит вместе с английским королем в Букингемский дворец.¹³ Даже лучшие друзья Германии среди английских и французских государственных деятелей вынуждены были воспринимать Гитлера таким, каким он показал себя в своих выступлениях перед генералами 22 августа: как беспощадного и властного политика, который “втянул своими маневрами” Польшу в такое положение, при котором он мог перейти к “уничтожению врага”, и который считал, что держит в своих руках Сталина, поскольку последний якобы должен был бояться победы своих солдат так же сильно, как и поражения.¹⁴ Однако и среди старых и убежденных национал-социалистов пакт вызвал тяжело забываемое потрясение. “У меня такое ощущение, что этот московский пакт когда-нибудь аукнется национал-социализму”, – писал в своем дневнике 25 августа Альфред Розенберг. Это прошение одной революции, поданное на имя вождя другой, победа над которой заявлялась в качестве неизменного идеала в ходе двадцатилетней борьбы против нее. “Как мы можем говорить о спасении и формировании Европы, если мы вынуждены просить о помощи ее разрушителей?” Все же Розенберг хотел возложить главную ответственность на Риббентропа, которого даже объявил “преступником”, поскольку тот не имеет других политических мотивов, кроме ненависти к Англии.¹⁵ И не следовало и Гитлеру, если он хотел быть верным самому себе, принять со своей стороны какое-либо иное решение о мировой ре-

волюционной войне, когда он отдавал Сталину Финляндию и прибалтийские государства, восточную часть Польши и Бессарабию?

На это в любом случае указывает “всепримечательнейшее высказывание”, которое он сделал. Согласно сообщению Карла Й. Буркхардта, комиссара Лиги Наций в Данциге, 11 августа во время переговоров в Оберзальцбурге Гитлер заявил: “Все, что я предпринимаю, направлено против России; если Запад настолько глуп и слеп, чтобы не понять этого, я вынужден буду договориться с русскими, чтобы разбить Запад, и затем после его поражения обратиться своими объединенными силами против Советского Союза. Мне нужна Украина, чтобы мы никогда не смогли испытать такого истощения, как в последней войне”.¹⁶ Но даже это высказывание скорее указывало на поборника политики жизненного пространства, чем на революционного антикоммуниста, который апеллирует к свободной воле поработанных народов и жаждет освободить мир от кошмара беспрецедентного террористического господства. Насколько живучи были в Гитлере подспудно все его старые заботы и страхи, несмотря на его политику силы и нерушимую волю к победе, доказывало следующее высказывание в беседе с румынским министром иностранных дел: “И к чему все эти несусветные убийства? В конце концов все мы, победители и побежденные, окажемся погребенными под развалинами, и только одному это пойдет на пользу – тому, кто там, в Москве”.¹⁷

Между тем за решающие 10 дней он еще раз показал миру лицо обычного ревизиониста, борца с несправедливостью Версальского договора. И теперь Сталин шел на чудовищный риск. Непосредственная цель пакта состояла для Гитлера в том, чтобы удержать западные государства от принятия решительных мер в пользу Польши. Если ему это удавалось, то Сталин напрасно заключил пакт, ибо он в одиночку противостоял могучей силе Гитлера. Положение Польши было безнадежным. Очень многое говорило о правильности пророчества Гитлера, что Британская империя ни в коем случае не переживет войну. Так, он потребовал все-таки только Данциг и “коридор” и даже предложил в своих последних и ставших широко известными общественности предложениях провести в “коридоре” референдум, результаты которого для Германии вряд ли выглядели бы положительно. Он уверял Хендерсона со всей субъективной искренностью, что желает дружбы с Британией больше, чем всего другого в мире и даже готов предоставить гарантию для Британской империи. 26 августа он отменил уже отданный ранее приказ о нападении, хотя и очевидно потерял от этого престиж у военных, так что его решительный противник среди офицеров высшего ранга, полковник Абвера Ганс Остер, предсказал скорый конец Гитлера. Все, что он предпринимал в эти дни во внешней политике, отличало благоразумие и сдержанность. Со стороны его противников последовали ложные оценки ситуации: Йозеф Липский ожидал восстаний в Германии и марша польских дивизий на Берлин; Чемберлен явно не воспринимал всерьез представление о закате Британ-

ской империи. Однако все высказывания и действия Гитлера оценивались сквозь призму “мюнхенского” и “пражского” прецедентов, и Бек, как и Чемберлен, следовали общественному мнению своих стран, которое не потерпело бы уступок, сделанных в последний час. Понятие чести вступило в свои права, и оно стало проломом в скале, который сделала лавина. Молотову снова пришлось перенести ратификацию пакта на один день раньше – на 31 августа.

Утром 1 сентября немецкие войска перешли с запада, севера и юга польские границы, и Гитлер выступил перед рейхстагом с речью, которая скорее напоминала припадок невротика, чем спокойную уверенность убежденного в своей правоте человека: “с 5.45. теперь идет перестрелка. И с этого момента за каждую бомбу будет воздаваться бомбами же <...> Одного слова я никогда не знал, и оно таково: капитуляция <...> Но окружающий мир я бы хотел заверить: ноябрь 1918-го больше никогда не повторится в немецкой истории!”¹⁸ Гитлер не нашел слов, которые так же взволновали бы души и запечатлелись бы в них, как слова Вильгельма II в 1914 году: “Я больше не знаю никаких партий, я знаю только немцев”. Радостно взволнованные массы уже не заполняли улицы, как в 1914 году; подавленная и душная атмосфера воцарилась в Германии. Два долгих дня чаша весов, казалось, все никак не могла склониться в пользу великой войны, и Муссолини сделал последнюю посредническую попытку. Однако поскольку Гитлер не желал, да и не мог внять требованию союзников и отвести свои повсеместно победоносные войска обратно к границам Рейха, 3 сентября английский и французский послы передали ноты об объявлении войны. Гитлер пал жертвой ложной оценки, и Сталин верно предсказал, что западные государства не поддадутся еще раз, а Гитлер не сможет противостоять соблазну выхода линии Нарва-Вайхсель-Сан. Сталин совершил нечто большее, чем Ленин: он не только спровоцировал борьбу капиталистических держав друг с другом, но еще и впутал их в войну между собой, которая после ожидаемого взаимного истощения должна была сделать его победителем и над теми, и над другими.

Гитлер потерял нечто намного большее, чем хорошо продуманную стратегию. Его внутрисполитический рецепт победы, как и рецепт Муссолини, состоял в том, чтобы уничтожить врага при помощи консервативных союзников, а затем обессилить этих союзников. Во внешней политике он должен был придерживаться того же правила, если хотел добиться успеха. Однако революционный враг казался потенциальным союзникам уже не столь грозным после великой чистки, каким он представлялся в 1933 году Папену и Гугенбергу из-за 100 коммунистических мандатов в рейхстаге, и внутреннее согласие было уже не столь крепким, поскольку для Чемберлена и Галифакса антикоммунизм не был тесно связан с антисемитизмом. Итак, ради ничтожной выгоды Гитлер заключил союз со своим врагом и напал на своих друзей. Если бы ему не представился неожиданный выход, то он проиграл бы войну уже с первым выстрелом.

3 сентября Гитлер направил воззвание к НСНРП, в котором он возлагал ответственность за начало войны на “нашего еврейско-демократического мирового врага” и охарактеризовал этого врага как “капиталистического разжигателя войны Англии и ее сателлитов”.¹⁹ Однако он не только заключил союз со своим врагом, но и перенял язык этого врага. Как же теперь он должен был правдоподобно говорить о “большевистском мировом враге” или даже о “еврейском большевизме”?

Конечно, мировую войну Гитлер пока не вел. Нападением на Польшу он развязал европейскую войну, и она должна была даже казаться в некотором роде полувойной. Прологом мировой войны она стала бы в том случае, если бы Гитлер связал себя со Сталиным на веки вечные или если бы он попытался свергнуть его. Хотя элементарных предпосылок для взаимопонимания с консервативными силами или истеблишментом больше не было. То, что Соединенные Штаты, которые в это время еще были связаны законодательством о нейтралитете, будут в том ли ином случае держаться в стороне, было в высшей степени невероятным.

Два события совершенно особого свойства указывали, правда, на то, что эта война зашла дальше, чем нормальная война, какая, например, велась в 1870-1871 гг. между частью европейских держав.

1 сентября Гитлер приказал датировать распоряжение, которым рейхссляйтеру Боулеру и доктору медицины Брандту предоставлялись следующие полномочия: “Расширять права особо уполномоченных врачей настолько, чтобы неизлечимым по человеческим понятиям больным в случае критического суждения о состоянии их болезни гарантировать милосердную смерть”.²⁰ Это могло выглядеть так, как если бы Гитлер хотел намеренно и категорически заявить, что с началом войны наступила новая эпоха, когда национал-социализм освобождается от всех оков, которые накладывало на него состояние мира, чтобы ускорить оздоровление народа, требуемое его идеологией. Только с началом войны, таким образом, национал-социализм достиг своей специфической и в любом случае биологической деструктивной сущности, в то время как большевизм с первых шагов своего господства выдавал свою волю к социальному уничтожению за борьбу за мир.

5 сентября “Times” опубликовала текст открытого письма, которое доктор Хаим Вейцман, председатель “Еврейского Палестинского агентства”, направил британскому премьер-министру. В нем Вейцман подтвердил уже сделанное 1 сентября заявление, что евреи стоят на стороне Великобритании и будут бороться на стороне демократии. Определенно, “Еврейское Палестинское агентство” не было правительством некоего государства, но оно ни в коем случае не было и обычной частной организацией. И если кто-либо в мире и мог говорить от имени всех евреев, а не только евреев Палестины, то это был Хаим Вейцман, который в 1917 году был на переговорах партнером лорда Бальфура и долгие годы стоял во главе сионистской мировой организации. Поэтому нельзя считать оши-

бочными *ab ovo* разговоры о “объявлении евреями войны Гитлеру”. И Вейцман только высказал то, что должен был чувствовать так же хорошо, как и всякий еврей во всем мире. Гитлер объявил ранее войну евреям намного раньше, и не только как партийный политик, но позже и как государственный деятель, 30 января 1939 года. Это объявление евреями войны было ответом, и совершенно справедливым ответом. Однако оно не было *quantité negligeable*, и не уместно замалчивать его, как это происходит почти во всех изложениях событий. Гитлер превратил в смертельного врага некую группу людей, которая далеко не была столь могущественной, как он вновь и вновь пытался представить, но которая, несомненно, обладала большим влиянием в Англии и Америке. Являлся ли выпад Вейцмана столь же неразумным или, наоборот, слишком заумным, так как, возможно, он спровоцировал интернирование немецких евреев и вместе с тем их защиту по аналогии с нелегким, но гарантированным существованием немецких граждан во Франции и Англии, должно остаться открытым вопросом. Абсолютно исключена, однако, возможность, чтобы в заявлении Вейцмана даже самым отдаленным образом отсвечивала связь с биологическим указом от 1 сентября, который был ему неизвестен. Что войну 1939 года фундаментально отличал от Первой мировой войны не только гитлеровско-сталинский пакт, но и его, Вейцмана, заявление, Вейцман мог знать; насколько, однако, они будут отличаться, в сентябре 1939 года еще для него невозможно было представить, так же как и для Гиммлера и Гейдриха, которые уже намеревались со всей жесткостью вести в Польше “народную борьбу”.

9. Хрупкий союз – триумфы, выгоды, противоречия

Неожиданности наступили немедленно, но выхода из них как такового не появилось. В течение нескольких дней посредством концентрированного нападения национал-социалистское индустриальное государство нанесло решительное поражение армии националистического аграрного государства, не в последнюю очередь благодаря быстро достигнутому превосходству в воздухе, и уже 8 сентября танковый корпус генерала Хопнера оказался на подступах к Варшаве. Последовали “поздравления и приветствия”, которые Молотов в эти дни направил имперскому правительству.¹ Вряд ли от чистого сердца: Советское правительство явно находилось в глубоком замешательстве, когда из Берлина ему было предложено сделать, со своей стороны, шаг к оккупации предусмотренной зоны влияния. Только 17 сентября, когда основная часть польского войска была уничтожена в крупном сражении при Вайхзельбогене, Красная Армия вторглась на территорию Восточной Польши, чтобы прийти на помощь “родным по крови украинцам и белорусам”.² Но мир больше не мог сомневаться в том, что пакт о ненападении фактически являлся пактом разделения, и дух договоров с Польшей (конечно, не их буквальный текст) должен был побудить западные державы объявить Советскому Союзу войну так

же, как и Германии. Если в отношении первых сообщений еще могли возникнуть какие-то сомнения, то 31 октября они были полностью устранены речью Молотова, в которой нарком очень напирал на дружественные отношения с Германией и с гордостью подчеркивал, что “два удара, быстро нанесенных сначала германским Вермахтом, а затем Красной Армией” ничего более не оставили от этого “уродливого продукта Версальского договора”.³

Однако западные державы никак не проявили какой либо активности на своих фронтах против Германии, и началась та странная война – “псевдвойна” (“сидячая” “как бы” война – “Sitzkrieg” или “phony war”), которая должна была продолжаться до мая следующего года. Однако 28 сентября, время второго посещения Риббентропом Москвы, Германия и Советский Союз заключили “Договор о границах и дружбе”, который сопровождался множеством секретных или конфиденциальных дополнительных протоколов. Тем самым было решено, в соответствии с инициативой Сталина, что польское государство не должно существовать и что исключительно Германия и Советский Союз выполняют задачу обеспечения “соответствующего их народному своеобразию мирного существования” проживающим в бывшей Польше народным слоям.⁴ Таким образом, Советский Союз также приспособливался к языку союзного с ним врага. Было предпринято существенное изменение Секретного дополнительного протокола от 23 августа посредством внесения в него решения, что Литва вплоть до окончательности Мариамполя подпадет под сферу интересов Советского Союза, в то время как Германия вступит во владение массой этнографической Польши, так что с некоторыми отклонениями (исключениями) “Линия Керзона” 1920 года образовала западную границу Советского Союза. Речь шла об изменении чрезвычайной важности, поскольку оно загрозило немцам сам вид на балтийские страны и, с другой стороны, возложило на них все бремя власти над Польшей. Но Риббентроп согласился на это в блиц-переговорах, которые хотя и обнаруживали аналогии с “блицкригом” в аспекте времени, но не в аспекте ошеломляющего успеха. Так, неравноправным было решение о том, что обе стороны брали на себя обязательство “не терпеть в своих областях польской агитации, которая будет оказывать влияние на области другой стороны”.⁵ При этом можно было увидеть необычайную выгоду для Германии в совместном заявлении обоих правительств, что Англия и Франция будут ответственны за продолжение войны, если они проигнорируют общие стремления обеих держав восстановить состояние мира. Очевидно, Советское правительство имело значительные основания для убежденности в том, что западные державы не пойдут на уступки, и его собственные действия не мало способствовали тому, что образ действий Советского Союза вызвал в Англии и Франции бурю протеста, и невозможно было представить, что западные державы потребуют за мир меньшую цену, чем восстановление польского государства, включая, его восточные области.

В сфере непосредственной реальности между тем продвигалось вперед заключение сделки, которая должна была разрешить эмиграцию из Советского Союза в Германию всем имперским [имеющим германское гражданство] и этническим немцам, проживающим в зоне его интересов. Практически это означало конец немецкого присутствия в странах Прибалтики и составляло зловещее предзнаменование судеб пограничных государств, с которыми Советский Союз заключил сперва только "пакты о взаимопомощи", равносильные стационарному размещению советских войск в определенных пунктах на их территории. Столь же реалистичными были экономические соглашения, которые принесли большие выгоды обоим сторонам: из Советского Союза в Германию должен был направиться поток сырья, а Германии предстояло наладить поставки высококачественных машин, в том числе боевой техники. Таким образом, подобно тому, как советский Союз сделал возможным начало войны, точно так же он создал базис для ее продолжения.

Однако еще более характерным, чем открытые или тайные соглашения, было то, что происходило во мраке обеих польских оккупированных зон и по большей части совершенно не было известно находившемуся в Лондоне польскому правительству в изгнании. На обеих сторонах Буга действовали в непосредственном соседстве обе революции, которые написали уничтожение врага на своих знаменах, первоначальная революция 1917 года и реактивная — 1933 года.]

На восточной границе происходило то, что происходило в 1917-18 гг., и чего Риббентроп должен был ожидать, когда он подписывал "Секретный дополнительный протокол". Красная Армия прокламировала "освобождение" доселе угнетенных украинцев и белорусов, крупные поместья подлежали конфискации, как это называлось, для передачи их крестьянам; вскоре начались в широком масштабе гонения на помещиков, офицеров и интеллигенцию, которые все без исключения были поляками, составлявшими значительную в количественном отношении, а в культурном отношении ведущую, часть населения. Землевладельцы и офицеры зачастую уничтожались на месте, нередко при помощи местного населения, а польская, как и еврейская буржуазия городов, которую прежде не трогали, понимала, что после включения оккупированных территорий в Белорусскую и Украинскую Советские республики ей не избежать тех же мер, которые были применены к русской буржуазии после 1917 года: экспроприации и депортации. В общем и целом около полутора миллионам человек предстояло переселиться вглубь Советского Союза; сколько из них погибло, не выяснено до сих пор. Все арестованные офицеры были переправлены в лагеря для интернированных, и из многих тысяч, которые подали последние признаки жизни во внешний мир в начале 1940 года, обнаружилось только менее 5000, но в виде трупов офицеров, уничтоженных работниками НКВД выстрелами в затылок: немецкие войска обнаружили массовые захоронения в 1943 году в Катыни. Так небольшое

местечко под Смоленском, стало символом того истребления, которое последовательно выросло из понятия “классового врага” и легко могло распространиться на инациональных “врагов народа”.

В основе этих акций уничтожения также лежала социальная реальность. В германской зоне оккупации и в немецких публикациях имелись лишь намеки на это. Так, “*Berliner Illustrierte Zeitung*” после польского похода опубликовала на своих страницах рисунок, который изображал великолепное убранство замка польского магната, в который ворвались грабители-крестьяне.⁶ На переднем плане, однако, находилась беспощадная народная борьба против полячества как такового. В огромных областях “*Warthegaus*”-а, которые были присоединены к Рейху, огромное число небольших крестьянских дворов было конфисковано, а бывшие их владельцы были приписаны в качестве батраков к крупным поместьям или были отправлены как “лишенный фюрера рабочий люд” в Германию.⁷ В генерал-губернаторстве генерал-губернатор Франк, резиденция которого размещалась в краковском “Вавеле”, категорически провозгласил в качестве программного пункта искоренение польской интеллигенции, и “штурмовые отряды” СС выполняли “народно-политические задачи”, которые состояли в расстрелах без разбору и отвратительных издевательствах над поляками и евреями. Правда, не кто иной как главнокомандующий Восточной группой вермахта, генерал-полковник Бласковитц, вновь выступил с горячим протестом против “безмерного одичания и нравственного разложения”, которое лежат в основе убийства “около 10000 поляков и евреев”⁸, однако в ответ он получил от Гитлера лишь тяжкие упреки из-за своей “ребяческой установки” в вопросах народной войны на Востоке.⁹ Очевидно, на Гитлера не произвело большого впечатления наблюдение генерала, что и многочисленное мелкокрестьянское население, которое вполне можно было завоевать на сторону германского дела или сделать нейтральным, было вытолкнуто в лагерь противника. Для Гитлера старые противоречия “борьбы народов” времен союза Восточной марки, а именно “немцев” и “поляков”, были подлинной реальностью, хотя скоро он станет говорить об “арийцах”, а незадолго до этого говорил о “большевиках”.

Разумеется, новым качеством обладали идеи Гиммлера об отборе детей из “породистых” польских семей и отсылке их в целях “ассимиляции” на территорию Рейха.¹⁰ Это был единственный способ “освобождения”, который он знал; таким образом, немцы в Польше не имели лозунга, каковым обладала Красная Армия, и меры, предпринимаемые СС – расстрелы и экспроприация – были, по сути, копией советских методов. Но копией, в которой отсутствовало нечто вроде апеллятивности и силы убеждения, поскольку они только хотели нацию противопоставить нации и вызывали ожесточение даже среди своих соотечественников, которые доходили до таких восклицаний, как у оберлейтенанта Гельмута Штифа: “Я стыжусь быть немцем!”¹¹ Что было некогда озадаченностью и требо-

вало ответа, теперь пытались найти выход из проблем, порожденных искаженной копией. Но изначальная соотнесенность с оригиналом была ясна, и когда летом 1940 Гиммлер высказал свои мысли по поводу "обращения с инородцами на Востоке", в соответствии с которым он хотел низвести поляков до статуса неграмотных, а украинцев представил отколовшимся от других, вымирающим видом, подобно горалам, таким образом, он все еще по внутреннему убеждению считал себя вправе отвергать "большевистские методы физического искоренения народа как не германские и невозможные".¹² Но не был ли из двух ужасов, нависших над несчастной страной, старший более последовательным и перспективным в мире, где были ко времени пропаганда и дезинформация, но не распространение неграмотности?

Одно только нельзя отрицать в отношении событий в Восточной Польше: большевизм оставался верен себе в своем образе действий; как раньше, так и тогда имело смысл говорить о "большевизации". Адольф Гитлер, однако, в обращении к НСНРП 1 января 1940 года обратил свой гнев исключительно против "плутократических сил" и "еврейско-капиталистического мирового врага", который находится в упадке, в то время как "молодым нациям и системам" принадлежит будущее.¹³ Это нельзя было понять иначе, как то, что Советский Союз он также причислял к "новым системам". И действительно, в последующие месяцы он не раз допускал позитивные высказывания в отношении Советского Союза, и прежде всего в своей интимной корреспонденции. Так, 8 марта 1940 года он писал Муссолини, что Россия со времен победы Сталина без сомнения переживает период изменения большевистского принципа в направлении национального российского уклада жизни, и ввиду этой эпохальной перемены, о которой имперский министр иностранных дел может рассказать, исходя из собственных наблюдений, отсутствуют как интерес, так и повод к борьбе, тем более что оба экономических пространства чрезвычайным образом дополняют друг друга.¹⁴ Это был тот Муссолини, который играл роль радикал-фашиста и поклялся Гитлеру не отрекаться от "антисемитского и антибольшевистского знамени" и в дальнейшем также стремиться к уничтожению большевизма, которое могло одновременно привести его к решению собственных проблем жизненного пространства.¹⁵ Однако какие шансы мог он ожидать от своей интервенции, если имперский министр иностранных дел заверял его, что во время своего второго посещения Москвы у него, как и у гауляйтера Форстера, сложилось впечатление, что он разговаривал со "старыми партийными товарищами".¹⁶

Между тем в силу одной из непредвиденных случайностей войны всплыла первая из величайших альтернатив, а именно альтернатива подлинного альянса, судьбоносного союза между Германией и Советским Союзом. Причиной была первая из имитаций, при помощи которых немцам более чем за полгода Сталин перенял на свой лад методы и дос-

тижения Гитлера и посредством ссылки на необходимость оборонительных действий, исторические или географические данные или право на самоопределение, включил в свою империю без всякой войны больше стран и народов, чем это сделал Гитлер до августа 1939 года. Требования, которые в октябре были обращены к Финляндии, существенно не отличались от тех, что вынуждены были признать три прибалтийских государства, однако они включали в себя передачу СССР финских областей на Карельском перешейке, за которую между тем финнам было обещано территориальное возмещение. В сравнении с мнимой “угрозой Ленинграду” германское утверждение о Чехословакии как советском авианосце было понятным и рациональным, и чувство чести у финнов было развито не меньше, чем у поляков. Итак, Советский Союз использовал возникший сам по себе инцидент в Майниле – в своем роде более масштабный и честный “Глейхвиц” – для того, чтобы в конце ноября без всякого объявления войны напасть на Финляндию. Сталин же между тем имел возможность сделать то, что Гитлер не мог или не хотел: он велел создать прямо на границе в местечке Териоки под руководством видного члена Коминтерна, финна Отто Куусинена, “народное правительство”, так что получалось, что борьба якобы не направлена против “финского народа”. В любом случае, мужчины и женщины Финляндии все как один стали на сторону своего буржуазного и реакционного правительства, и Красная Армия сперва потерпела сокрушительное поражение. Также допустимо предположение, что в Москве возлагали искренние надежды на левых социалистов, и что Куусинен и его люди не просто использовали пропагандистскую шелуху, называя “буржуазную” Финляндию “белогвардейской преисподней для рабочего класса”¹⁷: в 1917-18 положение большевиков в Финляндии было действительно очень сильным, и только с помощью немцев белым под руководством генерала Маннергейма удалось нанести поражение красным войскам и при помощи весьма brutальных методов утвердить первоначально свое господство, – а ведь и в 1939 году во главе финской армии стоял тот же маршал Маннергейм, “балтийский помещик”, который в 1917-18 гг. возглавлял “Белую Гвардию”. Так же и в Москве ниже уровня языка дипломатии и актуальных на тот момент проблем основные эмоции 1917-18 гг. были явно не менее живы, чем в Берлине. Но ситуация стала совсем другой. Германия придерживалась тайного дополнительного протокола и предоставляла свободу действий Советскому Союзу в его сферах влияния, однако в Швеции и Норвегии, Англии и Франции и не в последнюю очередь в Америке росло возмущение этим “наступлением” великой державы на “маленькую, смелую нацию”. Здесь впервые не отдельными учеными исследованиями, а целой волной эмоций национал-социалистская Германия и большевистская Россия как “тоталитарные” и хищные государства были противопоставлены миролюбивым демократиям, и во многих местах выдвигалось требование вооруженной интервенции в пользу Финляндии. Разумеется, быстро обнару-

жились трудности, подобные тем, которые за несколько месяцев до этого возникли в отношении Польши: Швеция и Норвегия при всей симпатии к Финляндии не желали предоставлять союзным войскам право прохода через свои территории. Однако Генеральные штабы союзников без зазрения совести предусмотрели нарушение нейтралитета, поскольку оно гармонировало с далеко идущим планом: разрушить советские нефтяные промыслы под Баку посредством воздушных атак и тем самым лишить Германию поставок ее союзника из этого нефтеносного района, без чего она не смогла бы дальше продолжать войну.¹⁸ Если бы эти планы были реализованы, то Россия и Германия были бы на веки вечные скованы друг с другом, и война приняла бы совсем другой оборот. Не было ничего более невероятного, чем то, что она закончилась бы быстрым крушением двух тоталитарных государств, как воображали себе в Лондоне и в Париже. Однако после того как Советский Союз перебросил на финский фронт крупные войсковые соединения, в марте война пришла к более благоприятному для него завершению. Мирный договор от 12 марта установил новые границы в значительном удалении от Ленинграда, но Куусинен потерял актуальность. Не слишком славный для СССР ход войны укрепил недооценку Красной Армии как со стороны союзников, так и с германской стороны, — недооценку, которая в значительной мере должна была определять дальнейшую историю Второй мировой войны. ✓

Одновременно с альтернативой на Севере всплыла также альтернатива на Западе. Гитлер настаивал на быстром наступлении на Францию с нарушением нейтралитета Бельгии и Голландии еще осенью, и среди генералитета образовалась сильная оппозиция, которая основывалась главным образом на воспоминаниях о Первой мировой войне и высокой оценке французской армии. Ясное осознание недостатков, которые несло в себе поспешное перевооружение и прежде всего отставание в "глубоком вооружении", придали дополнительную весомость аргументации командиров высшего ранга, например, генералов-полковников фон Лееба и фон Рундштедта.

Однако для части оппозиции именно новая дружба с Советским Союзом была сильнейшим из аргументов. Еще никогда Германия не была так далека от лучших своих традиций и не близка большевизму, как после шести лет существования режима Гитлера, отмечалось в записке, автором которой являлся представитель министерства иностранных дел при главнокомандовании сухопутных войск, Хассо фон Этцдорф. Этот режим способствовал тому, что 20 млн. человек попали под власть большевизма, и тяжелый ущерб перспективам и возможностям германской ревизионистской политики нанес бессмысленный и ненужный "поход на Градчин". Только после свержения гитлеровского режима станет возможной та "умеренность в успехе" по примеру Бисмарка, которая только и может сохранить Германию в ее этнографических границах, равно как и в ее легитимном влиянии в Центральной Европе и одновременно соответство-

вать элементарнейшему интересу западных держав, а именно интересу в недопущении дальнейшего распространения большевизма в Европе.¹⁹ В действительности были установлены контакты с английским правительством, которые производили многообещающее впечатление, и долгое время ситуация выглядела так, будто генерал-полковник фон Браухич, Главнокомандующий сухопутных войск, станет во главе заговора. Наряду с альтернативой военного союза “молодых систем” против отживших свое народов Запада выступила и другая – альтернатива великого Соглашения между культурными государствами Европы после успешного завершения ревизии Версальского в смысле права на самоопределение, альтернатива, в рамках которой Гитлер и его партия представляли собой временно необходимый инструмент. И даже Советскому Союзу не приходилось опасаться такого Соглашения в той же степени, что и возможного заключения мира между Гитлером и западными державами, которому он, казалось, способствовал в проведении своей собственной позиции.

Но не должен ли был и Бисмарк развязать войну против Австрии, прежде явив умеренность в Никольсбурге? Был ли Гитлер всего лишь политиком среди других политиков, которого можно было бы свергнуть, не рискуя вызвать особое возмущение его партии? Действительно ли Англия и Франция боролись только против наглой заносчивости, желавшей “завладеть миром при помощи насилия”, и не сражались ли они против Германии как гегемона Центральной Европы, как это охарактеризовал Эттидорф? Вряд ли это были просто случайности, воспрепятствовавшие осуществлению второй, мирной альтернативы.

Гитлер, вероятно, был прав, когда в своей речи перед главнокомандующими 23 ноября 1939 года заявил, что-де шансы на победу над Францией сегодня намного выше, чем к началу наступления Людендорфа в 1918 году, и все вместе означает не отдельную акцию, а завершение мировой войны. Если вспомнить о бесчисленных предсказаниях 1918-1919 гг., в том числе предсказаниях Розы Люксембург, что мир, заключенный посредством насилия – будь оно направлен против России или против Германии – станет лишь перемирием, заключающим в себе зачатки новой войны подобно тому, как зерно несет в себе будущее растение. И слушатели вынуждены были действительно задаться вопросом, не является ли Гитлер в своей необузданной воле к победе действительно воплощением воли истории и духа немецкого народа, каким бы большим ни было всегда стремление к миру среди немцев и особенно среди французов. Одновременно генералы не могли не испытывать чувства ужаса перед этим воплощением духа народного и воли истории, услышав от Гитлера следующее: “Меня упрекают: борьба и вновь борьба. Я вижу в борьбе судьбу всех существ <...> Это вечная проблема, соотнести численность немцев с занимаемой ими землей <...> Никакое заумное мудрствование здесь не поможет, решение придет только с мечом <...> Сегодня мы можем говорить о расовой борьбе. Сегодня мы боремся за нефтяные месторождения,

резину, сокровища земли и т.д. <...> Я хочу уничтожить врага <...> Я устою или паду в этой борьбе. Я не переживу поражение моего народа. На внешнем фронте никакой капитуляции, на внутреннем – никакой революции”.²⁰ Здесь был человек, который был готов поставить на карту все, и который, казалось, ничего не знал, кроме абсолютной победы или тотального уничтожения. Как можно было ожидать от него умеренности в победе?

И не означала ли воля к такой победе уже поражение в соперничестве с марксизмом? А именно Гитлер рассуждал абсолютно так, как действовали, согласно тезису марксизма, капиталистические государства в своей борьбе за богатства мира. И опять-таки можно ли было не распознать в нем полумарксиста, когда в эти месяцы он особенно часто нападал на “еврейско-капиталистический мир”, денежных магнатов, “еврейских и нееврейских международных банкиров и финансовых баронов”? Не был ли его лучший социализм, “социальная народная общность Германии” с его социальными заботами и устранением классовых различий²¹, основан, по его собственным словам, лишь на завоевании жизненного пространства, поскольку всякая концентрация масс на тесных и ориентированных на экспорт территориях должно была породить коммунизм? Не было ли “решение разума”, которое он рекомендовал англичанам, поскольку иначе раньше или позже вступит в силу “решение безумия”²², а именно большевизм (а именно так его, несомненно, должны были понимать), – не было ли оно даже в особо высокой степени неразумным?

И, таким образом, Гитлер лишь казался разумным и сдержанным, когда он, посредством собственной военной операции, исполненной почти невероятной отваги, привел к краху запланированную норвежскую операцию англичан, которая должна была отрезать его от необходимого ему сырья, и затем, в беспрецедентном победном шествии между 10 и 23 июня принудил Францию к капитуляции. “Предложение мира”, которое он 19 июля сделал англичанам в своей речи в рейхстаге, казалось столь неопределенным и было, с одной стороны, столь наполненным триумфализмом, а с другой, сопровождалось столь жесткой полемикой, что его, пожалуй, принял бы только Освальд Мосли, которого хотя и прочили в премьер-министры вплоть до принятия им фашизма, но который теперь сидел в тюрьме. Во главе Англии все же стал не лорд Лотриан, который, пожалуй, согласился бы на переговоры, а Уинстон Черчилль, и в этом заключался один из примечательнейших парадоксов этой войны. Черчилль был не только убежденнейшим из всех антибольшевиков Англии, но и в его своеобразном отношении к войне из всех англичан только он мог быть сравнен с Гитлером. Однако теперь он желал освободить мир от темного “гитлеровского проклятия”²³ с той же силой убеждения, с какой до этого хотел освободить его от большевизма, и он говорил о гестапо в тех же выражениях, в которых он ранее говорил о ЧК. Он между тем не только перешел от антибольшевизма к антитоталитаризму, но и усвоил

одновременно старую английскую концепцию европейского равновесия и боролся против немцев так же жестко, как и против наци. Насколько беспощадную борьбу он предполагал вести, стало ясно сразу после перемирия, когда не медля он приказал уничтожить основную часть тогда еще союзнического французского флота в Мерс-эль-Кибире, поскольку его возможный переход на сторону немцев нес в себе "смертельную опасность".²⁴ И тем самым, можно добавить, могла быть представлена еще одна альтернатива в перипетиях этой войны. Однако если 13 мая, уже 3 дня будучи премьер-министром, он считал, что без победы невысказанно выживание Британской империи, то он, как окажется, был неправым по отношению к Гитлеру, который предсказал ему 19 июля, что в случае отклонения германского предложения о мире великая империя будет разрушена. И своеобразный парадокс этой войны состоял в том, что, вероятно, Гитлер из любви к Британской империи предоставил Черчиллю шанс успешной защиты острова, отдав в конце мая приказ об остановке танковых войск перед Дюнкерком и тем самым избавив английский экспедиционный корпус от уничтожения. Поэтому это еще вопрос, военный ли летчик королевских ВВС, погода или, скорее, англофилия Гитлера спасли тогда Англию. Однако когда операция "Морской Лев" должна была быть отодвинута в сентябре на неопределенное время, Гитлер, несмотря на свою великую победу, оказался в необычайно сложной ситуации, и за это, в первую очередь, был ответственен Советский Союз.

Советский Союз и дальше подражал Гитлеру, но на это Англии отвечала уже не резким порицанием, а, скорее, отчаянными попытками улучшить отношения и вовлечь его в войну против Германии. После угроз ультимативного характера в июне Советский Союз осуществил военную оккупацию прибалтийских государств и поглотил их после обычной советизации; в июне, угрожая агрессией, он принудил Румынию отступить от Бессарабии и – выходя за рамки тайного дополнительного протокола – занял Северную Буковину. Тем самым он совсем близко подошел к нефтяным промыслам Плоешти, абсолютно необходимым для немецкой военной экономики. Многие знаки указывали на то, что дальнейшие требования будут обращены к Финляндии, и они неизбежно повлекут за собой аннексию. Однако прежде всего опыт показал, что, смотря по обстоятельствам, Советский Союз уменьшал, приостанавливал или увеличивал свои сырьевые поставки в Германию. Это навешивало подозрения, что хотя он и поддерживал Гитлера в войне, но всеми силами пытался воспрепятствовать его решительной победе.

Если отрешиться от особых предпосылок, условий и обстоятельств и воздержаться от моральных суждений, то нельзя назвать ситуацию, возникшую осенью 1940 года, ни случайной, ни неестественной. Она означала, что Версальская система определенно пришла к своему концу, и что оба величайших народа континента, немцы и русские, совместно с подчиненными им государствами-клиентами или зависимыми областями,

играли доминирующую роль, которая им по природе в любом случае подходила гораздо больше, чем Франции после 1919 года. Здесь можно было бы привести высказывание, которое в 1949 году сформулировал Сталин, а именно, что эти оба народа обладали "в Европе величайшими потенциалами для осуществления великих акций мирового значения".²⁵ Подобной ситуации до сих пор еще не было, даже во времена Наполеона, поскольку на континенте всегда существовали еще и другие великие державы, и только благодаря этому была возможна английская "политика равновесия", которая поддерживала более слабые державы в их самоутверждении по отношению к более сильным.

В принципе, германо-русская система могла быть такой же стабильной, как и пентархия 19 века, в той степени, в какой поддерживались бы условия договора, и ни одна из двух держав, пусть это происходило бы даже лишь посредством пропаганды, не вмешивалась бы в сферу другой. Но одна из двух держав находилась в состоянии войны, войны против острова на краю Европы, все еще мировой Империи, имевшей за своей спиной мнимо нейтральную, но на самом деле уже частично вступившую в войну великую державу. Многие из англичан желали верить в то, что они боролись за старое, доброе европейское равновесие; в действительности же, опираясь на США, они боролись за выживание политико-идеологической системы, которая была общеевропейской и, казалось, уже была устранена по всей Европе.

Однако даже если бы эта система в Германии не потерпела крах и была реализована в России, так, что преобладание обеих побежденных в 1918 году держав могло бы осуществиться только посредством нормального, пусть даже и военного, развития, то несущая ответственность элита Германского Рейха действовала бы иначе, чем действовал Гитлер: она бы потребовала от своего главнокомандования разработать возможные планы войны против России и одновременно добивалась бы надежного урегулирования отношений. Ситуация, при которой нейтральное государство могло в любой момент перерезать элементарные жизненные источники государству, участвующему в военных действиях, была непереносимой. Таким жизненно важным источником были, прежде всего, румынская нефть, а также финский никель и вообще "спокойствие на Балтийском море". При этом жалобы Советского Союза на вторжение в его сферы влияния, без сомнения, были справедливыми. После передачи Бессарабии и Северной Буковины Советскому Союзу и большей части Зигенбюргена (Трансильвании) Венгрии Румыния, главный победитель в рамках Версальского договора, была урезана в своих этнографических границах, и осевые державы дали ей без всякой консультации с Советским Союзом гарантию, которая в Москве была, несомненно, воспринята как нарушение договора и афронт. Сверх того, в страну были брошены немецкие "учебные войска". Таким же возмутительным было то, что немецкие войска находились также и в Финляндии, пусть даже и якобы временно и

транзитом в северную Норвегию. Следующими проблемами были вопрос “о проливах” и Болгарии, старые целевые пункты российской политики.

Разработку возможных военных планов по “устранению” России Гитлер поручил своему Генеральному штабу уже в конце июля 1940 года, когда казалось, что уже полным ходом шла подготовка к операции “Морской Лев”; вместе с тем все еще не исключалась возможность генерального урегулирования, составлявшего программу визита Молотова в Берлин, намеченного на период с 12 по 14 ноября. Она предусматривала присоединение Советского Союза к заключенному 27 сентября пакту трех держав – Германии, Японии и Италии, который был направленным против США оборонительным союзом и не включал в себя никаких территориальных определений. Однако он был конципирован на новый лад в том плане, что каждой из четырех держав отводилось огромное пространство как область влияния и гарантировалась доля “конкурсной массы” (имущества несостоятельного должника) Британской империи. Это был, таким образом, план “нового раздела мира” между новыми, растущими великими державами, о котором так много говорилось в марксистской теории, и Советскому Союзу доставалась ценнейшая, хотя и удаленнейшая, часть добычи, а именно Индия. Молотов ни в коем случае не вел себя уклончиво, но подчеркнуто переводил разговор на более актуальные проблемы и был в достаточной степени искренним, когда на вопрос Гитлера ответил, что представляет себе “урегулирование” в отношении Финляндии “в том же формате, что в Бессарабии и в пограничных государствах”.²⁶ 14 дней спустя Советский Союз сделал также письменное и официальное заявление о готовности присоединиться к Пакту трех держав в качестве четвертой, однако повторил при этом свои требования в отношении Финляндии, Болгарии, а также военной базы в проливах. Дополнительно требовалось внесения той коррективы, что в качестве центрального пункта его претензий признавались территории южнее Батума и Баку в общем направлении Персидского залива, то есть он потребовал господства над нефтяными промыслами Ближнего Востока. Гитлер не удостоил это послание ответом и велел приступить к окончательной разработке плана операции “Барбаросса”, который предполагал разбить Советский Союз молниеносным ударом. Нелегко понять, почему Сталин и Молотов не усмотрели истинной подоплеки того, что их оставили без ответа, а именно провозглашения ориентации на военную альтернативу, однако так или иначе Советский Союз с величайшим напряжением готовился к войне, и, судя по всему, его руководители ожидали, что Гитлер сделает им в конце концов ультимативное предложение о начале переговоров.

Если бы решение Гитлера имело отношение лишь к имперской политике, то можно было бы определенно ожидать последней попытки такого рода. Однако Гитлера можно было сравнить с растением, которое имеет корни различной длины. Один лишь силовой расчет, который мог бы предпринять любой государственный деятель на его месте, так же неглу-

боко уходил своими корнями в землю, как и мотив ревизионистской политики. Глубоких же слоев достиг тот корень, который побудил его сказать Муссолини, что он хочет поселить южных тирольцев в прекрасной области, которой он еще не имел, но наверняка получит, одновременно представив Сталина как "абсолютного автократа" (и, тем самым, надежного партнера).²⁷

Наиболее примечательным было, однако, то, что примерно в конце 1940 года он в определенной степени вновь открыл для себя большевизм, и даже "еврейский большевизм", то есть вновь поднял его из глубины сознания, куда он его вытеснил. Так, 20 ноября 1940 года он заявил венгерскому министру-президенту графу Телеки, что Россия показывает себя, в зависимости от ситуации, то большевистской, то национально-русской.²⁸ И 3 декабря в переговорах с болгарским послом Драгановым автор "Mein Kampf" был уже вновь хорошо узнаваем. Он не желал позволять превратить Румынию или Болгарию в "большевистскую пустыню", какой ему сегодня представлялись прибалтийские страны, где искоренялись интеллигенция и средний класс, а на их место ставились бездарные комиссары. "Он в сильной форме обрисовал террористические обстоятельства, расстрелы и отправку интеллигенции в поездах, которые никуда не прибывали. По европейским понятиям, положение дел там ужасающее. В Галиции все было точно так же <...> Также и в Бессарабии, еще когда там были наши люди, помещиков и других представителей элитных слоев вырезали свои же люди, натравленные евреями и под их руководством, и то же процветало на Балканах". Даже в вопросе о проливах у русских речь шла не об опорных пунктах, они хотели "отталкиваясь от этих опорных пунктов осуществлять большевизацию".²⁹

Так, в конце 1940 года твердо определилось то, что ввиду продолжительной войны с Англией новая европейская система не станет немецко-русской системой, а после решающей битвы либо Германия, либо Россия будут обладать гегемонией, даже если когда-нибудь они достигнут компромиссного мира, а англосаксы поспособствуют утверждению демократии и дадут жизнь аналогу Версальской системы в некоторой части Европы для достижения новой жизни. Однако ввиду многообразных мотивов Гитлера и устойчивых традиций, на которые конкретно они опирались, при этом не было бы высказано ничего существенного о способе ведения войны. Геополитическая решающая битва выглядела бы по-иному, чем антибольшевистский крестовый поход, и война под знаком освобождения должна сущностно отличаться от кампании по завоеванию жизненного пространства. Планы последних месяцев уже значительно прояснили картину, но окончательное суждение стало возможным только во второй половине 1941 года.

Прежде всего, претранный превратности этой войны изменили исходную ситуацию. В конце октября 1940 года Муссолини только из уязвленного самолюбия напал на Грецию, не проконсультировавшись с

Гитлером, и в пограничной области Албании он потерпел неожиданное поражение. Поскольку в то же самое время итальянские войска оказались не в состоянии закрепиться в Северной Африке, англичане повели себя более уверенно, и таким образом, немецкое вторжение стало неизбежным. Стало очевидным, что Италия перестала быть младшим партнером осевых держав, а превратилась в подручное государство и сателлита Германии. В начале апреля небольшая группа офицеров в Югославии совершила путч против правительства Цветковича, которое – как ранее Болгария – присоединилось к Пакту трех держав, и Советский Союз поддержал новое правительство Симовича сразу после подписания пакта о дружбе и ненападении. И снова немецкий вермахт отправился в один из своих триумфальных блиц-походов, и уже через несколько недель все Балканы и даже Крит были у Гитлера в руках. Но ему пришлось задействовать часть сил, которые были определены для реализации плана “Барбаросса”, и его начало Гитлеру пришлось перенести.

Европейская прелюдия ко Второй мировой войне подошла, таким образом, к своему концу, хотя и на немецкой стороне немало наблюдателей вплоть до последнего мгновения ожидали начала решительного диалога, который, согласно всем человеческим меркам, привел бы к большим уступкам и обещаниям со стороны Советского Союза. Если абстрагироваться от обстоятельств, то хотелось бы сказать, что не был предопределен не только характер этой войны, но также и поведение англичан, как и в особенности американцев. Нельзя было с самого начала исключать, что Германия заключит союз с антибольшевистскими или антирусскими силами, которые, предположительно, продолжали существовать в Советском Союзе, и было еще менее невероятным, что в Америке ленинский тезис о “грабителях”, которые вцепляются друг другу в волосы, испытал бы парадоксальное обращение своего смысла и стал бы господствующим.

Однако 22 июня в войну вступили не Германия и Россия, а большевистская Россия и национал-социалистская Германия, которые – на совершенно разный манер – служили друг другу как пугалом, так и образцом. И потому уместно обратиться к сравнительному анализу некоторых структур этих систем – до описания основных особенностей этой войны и после изложения ее предыстории с 1918 года и взаимодействия между этими странами с 1933 года. При этом Советский Союз – более ранняя по времени своего возникновения система – будет подвергнут анализу первым, а наднациональной апелляции, присущей всякой идеологии и призывающей к гражданской войне, будет уделено такое же место, как и национальным особенностям, которые полностью не способна устранить ни одна идеология.

IV. Структуры двух однопартийных государств

1. Государственные партии и их вожди

Ни одна мысль не была столь чужда авангарду раннего *рабочего движения*, как та, что однажды социалистические государственные партии с вождем или небольшим руководящим органом во главе полностью завладеют государством. По меньшей мере, представители коммунального социализма¹, такие, как Фурье и Оуэн, вывели из сформировавшейся лишь в зачатке противоположности между государством и обществом прямо-таки обратное следствие, когда они захотели целиком вытеснить государство посредством общества, но общества, которое бы состояло из бесчисленного количества коммун, фаланстер или “деревень единства и кооперации”, где люди вели бы жизнь, свободную от всяких национальных ограничений, от разделения труда, от религиозных суеверий, причем каждая из маленьких общин представляла бы собой самодостаточный и обозримый космос. Бросается в глаза, что это представление является как раз противоположным тому, что уже вскоре после 1800 года будет названо “индустриальной революцией”: возникновение чрезвычайно динамичной и подвижной системы экономических отношений, которая заключала в себе высокую степень риска и неуверенности для каждого в ней участвующего, но которая открывала неслыханные шансы на успех и, со своей стороны, была намного больше связана с организацией, чем то, что традиционно называлось *трудом*, — а именно, возникающая система мирового рыночного хозяйства, обозначаемая зачастую как система конкуренции, а позже — как система капиталистического способа производства. Это новое явление и связанные с ним реалии дохода и процента, а также различия между предпринимателем и рабочим, являлись главной отличительной чертой поднимающегося рабочего движения, а не только коммунального социализма. С другой стороны, однако, это рабочее движение, постепенно образовывавшееся из ремесленников и стекающего в индустриальные города крестьянского населения, было все же само по себе новым элементом, — точно так же как Фурье с Оуэном явно ориентировались на некую садовую идиллию, точно так же как были современными в ту эпоху их притязания на звание представителей “социальной науки” и их безоговорочное приятие техники, поскольку она может быть полезной рабочим в фаланстерах для облегчения их труда. Другими мыслителями был четко распознан регрессивный, ориентированный в прошлое аспект коммунального социализма, и они заменили его идеей государственного социализма, экстраполировавшего другие отличительные черты индустриальной революции и возвысившего логическую законченность до постулата: на место “анархии производства” должна была заступить плано-

вая экономика, при которой государство как единственный предприниматель должно заботиться о благе каждого из своих граждан. Наряду с конкуренцией, здесь также устранялись всякие возможности индивидуального дохода и получения ренты, так что распределять и регулировать работу должно было *общество*. Вместе с тем нельзя было обойтись без таких понятий, как *разделение труда* и *орган власти*, а существование правящей партии более не казалось немислимым. Однако государственному социализму также близка мысль, нацеленная на прямо противоположное, а именно, на устранение источника конфликта между государствами, равно как и между индивидуумами, причем в качестве источников этих конфликтов выступали частная собственность индивидуумов или групп, существование вооруженных и карательных учреждений внутри противоборствующих государств, жажда наживы, подчинение индивидов вещным непреложностям, ограничивающим их *счастье*. Итак, государственный социализм, равно как и коммунальный социализм, был связан с исконным понятием *натурального состояния*, в котором, согласно учениям античных философов и христианских отцов церкви, все эти признаки уже присутствовали, пока не оказались разрушены грехопадением или вторжением алчности. Однако ни один из приверженцев теории государственного социализма, ни Луи Бланки, ни Константин Пёккер, не был способен убедительным образом показать, что государство как единственный агент предпринимательства *не будет* располагать частной собственностью; а у противников социалистов, и даже у них самих, очень скоро стали появляться подозрения, что желаемое уничтожение всякой власти может привести к невиданной доселе концентрации власти. Так, возникновение *рабочего движения* являлось величайшей исторической необходимостью, поскольку оно было непосредственно связано с самым революционным процессом новейшей европейской истории, с промышленной революцией; однако ход его дальнейшего развития уже не обнаруживал той же степени необходимости - рабочее движение могло ограничиваться попытками завоевать как можно лучшие условия для своих приверженцев в рамках системы, которой оно обязано было своим возникновением, как это делали с момента своего возникновения английские "Trade Unions"; оно могло превратиться в авангард совершенно другой системы, чьи фундаментальные черты были ориентированы на архаические представления, вместе с тем будучи обращенными в вероятное будущее; оно могло, в конце концов, на практике или даже в теории избавиться от идеи человечества — от идеи, с которой оно так тесно было связано в своих истоках, и тем самым превратиться в государственный социализм совсем другого толка. Следовало предположить, что эти тенденции возникали параллельно и должны были соперничать друг с другом, хотя при этом и не появлялось однозначных разграничительных линий. В любом случае, рабочее движение как таковое и в своих различных направлениях должно было сыграть значительную роль в дальнейшем развитии, когда оно начертало

на своих знаменах требование всеобщего избирательного права, которое представлялось для этого столетия победоносным лозунгом. Однако не должны ли были *внутри* рабочего движения возникать новые дифференциации, коль скоро различные государства слишком по-разному относились ко всеобщему избирательному праву, коль скоро следовало различать страны с абсолютистскими, полуабсолютстскими, а также либерально-демократическими режимами?

Здесь не место останавливаться на том, в какой степени марксизм представлял собой синтез, с одной стороны, реформистской, нацеленной на терпение и в любом случае поддерживающей капитализм в непосредственном настоящем и космополитической естественно-правовой и, с другой стороны, государственно-социалистической тенденций в рабочем движении и все же продолжал и дальше носить в себе противоречия. Однако уже скорое будущее являет, что самые решительные враги государства и авторитарности среди социалистов, анархисты бакунинской линии, с самого начала рассматривали марксизм как формообразование авторитарного и в тенденции диктаторского государственного социализма. Причем едва ли кто-либо из марксистов всерьез воспринял бакунинскую критику или хотя бы обеспокоился амбивалентностью того факта, что, когда Второй Интернационал – объединение марксистских партий – в 1890 году провозгласил 1 мая праздником всех трудящихся, он вместе с тем выдвинул притязание на то, чтобы в ближайшем будущем освободить трудящееся человечество от оков власти капитала и империализма.

Даже убежденнейшие марксисты оказались не в состоянии своевременно опознать, какие упреждающие различия следовало предпринять в “армии мирового пролетариата”, когда в ворота Интернационала поступали социал-демократические партии из области Российской Империи. Основанная в 1884 году “Социал-демократическая партия Королевства Польского и Литовского”, руководимая Розой Люксембург, Лео Иогихесом и Феликсом Дзержинским, решительно отклонила требование национального самоопределения, поскольку считала прогрессивным российское великое экономическое пространство и потому принимала за должное ведение борьбы именно в этих рамках; “Польская социалистическая партия” во главе с Юзефом Пилсудским, напротив, видела в достижении независимости Польши необходимое первичное свершение, поскольку национальная свобода понималась ею в качестве предпосылки социального освобождения. Представители обеих конкурирующих *рабочих партий*, которые так по-разному воспринимали соотношение между национальным и социальным элементом, равно как и между экономическим и политическим фактором, и которыми руководили отпрыски мелкопоместных дворян или буржуазии, нападали друг на друга на конгрессах Интернационала в высшей степени враждебно. Рабочая партия в самой России также не была свободна от подобных разногласий, так как в 1897 году был образован вначале Бунд, объединение еврейских рабочих России и

Украины, которые, хотя и обладали высоко развитым “классовым самосознанием”, были заняты почти исключительно на ремесленных и мелких индустриальных предприятиях и отличались от российских рабочих уже тем, что их выходной выпадал на еврейскую Субботу. Лишь год спустя в Минске был проведен соответствующий учредительный съезд русских представителей, недостаточно репрезентативный, однако, по причине немногочисленности участвовавших в нем депутатов. Более значимый организационный процесс имел место в эмиграции, где с 80-х годов существовала основанная Георгием Плехановым группа “Освобождение труда”, которая, категорически отрицая точку зрения *народников*, указывала России, в марксистском духе, нормальный путь капиталистического развития. Когда Ленин примкнул к их кругу, возникла газета “Искра”, которая развивала марксистские тенденции, и чьи шесть редакторов в 1903 году подготовили второй съезд “Российской социал-демократической рабочей партии”, который, собственно, стал учредительным съездом и тотчас же привел к фактическому распаду партии на “большевиков” и “меньшевиков”, а также к отделению “Бунда”. Большевики, в силу их руководства ленинским понятием о руководящей роли профессиональных революционеров, значительно отклонились от западно- и среднеевропейских партий Интернационала, которым меньшевики были намного ближе, однако, с другой стороны, они превзошли в марксистской правоверности даже немецких социал-демократов - Ленин не остановился перед выдвижением тезиса, что марксистское учение все-таки верно, потому что оно верно. Таким образом, с самого начала они стали партией или партийной фракцией совершенно особого рода. Здесь неуместно рассматривать историю попыток воссоединения и роль обеих фракций в российской революции 1905 года, а также в возникшем позднее парламенте; достаточно общей констатации того, что большевики, прежде всего, были дисциплинированной партией, для которой Ленин хотя еще и не был *вождем*, но уже был “Стариком”, который практически всегда добивался своего в Центральном Комитете. Так что вовсе не удивительно, что такой человек, как Троцкий, достаточно рано распознал в нем будущего “диктатора”.² Примечательным контрастом этому является тот факт, что в кругах буржуазии и интеллигенции эта партия была встречена с большой симпатией, поскольку она показала себя в качестве самого решительного противника царского самодержавия; в литературе вновь и вновь называются имена тех благотворителей, что своими пожертвованиями облегчали существование и действия партии.³ Разумеется, с точки зрения социологии, различие между большевиками и меньшевиками было едва уловимым - так, обе фракции, или (с 1912 года) партии, испытывали фундаментальные трудности в том, что, желая быть марксистскими, они вынуждены были считаться с патриархальностью “домарксистской” среды. Первоначально и те, и другие считали, что рабочие партии России будут играть особо важную и активную роль в предстоящей *буржуазной*

революции. Так, несмотря на всю критику меньшевиков, не были непоследовательными действия Ленина, который, дабы подтвердить аутентичность большевистского марксизма, после октябрьского переворота превратил парадоксальную "буржуазную революцию под руководством пролетариата" в подлинную "социалистическую революцию", за которой, как полагалось, совсем скоро должна была последовать и мировая революция.

Здесь мы не будем подробно рассматривать ни внутрипартийные расхождения после захвата власти, ни организационное развитие большевиков.⁴ Скорее следует выделить некие общие признаки партии, которые находили постоянное подтверждение в этих процессах или в них раскрывались.

"Коммунистическая партия Российской Социалистической Федеративной Советской Республики" (большевиков), как она называлась с лета 1918 года, с ноября 1917 года оказалась первой в мире социалистической партией, ставшей во главе государства. С весны 1917 года подлинным намерением Ленина являлось взятие власти в одиночку, и только поэтому он поднял вооруженное восстание именно в преддверии второго Съезда Советов, который, несомненно, назначил бы многопартийное социалистическое правительство. Временный союз с левыми эсерами был лишь тактическим ходом, и по окончании гражданской войны ленинская точка зрения, согласно которой собственное место меньшевиков и левых эсеров было в тюрьме, уже практически не встречала возражений внутри партии.

Эта правящая партия, между тем, была и оставалась партией меньшинства. В самые благоприятные времена она едва собрала на выборах в Учредительное собрание четверть голосов избирателей, и когда в период военного коммунизма оборотная сторона большевистской власти стала более чем видной для практически всего крестьянства и очень многих рабочих, то даже к меньшевикам вернулись обратно многие из тех их приверженцев, которых они потеряли осенью 1917 года. Однако правящая партия давно ввела неравное избирательное право и открытое голосование, и своих противников она легко могла либо бросить в тюрьму, либо расстрелять. В Смоленской области в 1921 году насчитывалось лишь 10.000 членов партии на население в два миллиона человек, и еще задолго до времен коллективизации наблюдатели с мест достоверно сообщали о том, что партия подобна армии в оккупированной стране.⁵

Однако для этой партии дело ни в коем случае не сводилось лишь к захвату власти. И тогда, когда она была всего лишь "зернышком" или "горсткой", и теперь ею владело безусловное стремление к тотальному преобразованию, которое рассматривалось как предпосылка для захвата власти. То есть она была партией социального уничтожения и затяжной гражданской войны. Троцкий охарактеризовал идеи Ленина как "ужасные, удивительно простецкие, смертоносные мысли"⁶, меньшинство же апеллировало к эмоциям подавляющего большинства, направляя всю

горечь и всю ненависть, накопленную за годы войны солдатскими и рабочими массами, на “буржуев” и офицеров. Однако партия не могла остановиться на уничтожении “дряблой”, по-Ленину, буржуазии и болтливой интеллигенции - ведь в стране продолжали существовать и другие *домарксистские* реальности, и отнюдь не была чисто *сталинистской* объявленная ею в 1928 году великая гражданская война с крестьянами, которая должна была сокрушить кулаков, но в действительности направлялась против индивидуального хозяйствования любого рода. И даже Великую Чистку нельзя записывать только на счет Сталина, поскольку начиная уже с 1921 года партия подвергалась периодическим чисткам, в ходе которых речь всегда шла о разоблачении “социально враждебных элементов”, которые пролезли в партию и противодействовали директивам руководства посредством саботажа или критики.

Однако партия социального уничтожения понимала себя как партию прогресса, и в определенных областях эти ее претензии не могли оспаривать даже наиболее решительные ее враги. Она учила безграмотный народ читать и писать, она боролась с грязью, “бескультурьем” и алкоголизмом⁷; она не смущалась, по словам Ленина “мыть, чистить, вычесывать и колотить”⁸ даже пролетариев и рядовых членов партии, она пропагандировала “дух науки”, противопоставляя его суеверию, и с удовлетворением отмечала, что даже в Любавичах, центре “темнейшего” хасидского духа, некоторые ремесленники больше не признавали еврейскую Субботу.⁹ И неудивительно, что Бухарин и Пятаков не теряли веры в партию, даже когда стали жертвами злейшей клеветы и увидели смерть лицом к лицу: тот, кто отделялся от партии, отторгал от себя лучшую части своей собственной жизни и попадал из потока истории в мелководное устье равнодушного приватного существования.¹⁰

Однако никакая решимость, никакой энтузиазм и никакая прогрессивность не могли бы сохранить партии власть и, следовательно, дееспособность, если бы она не оставалась партией организации, какой сделал ее Ленин. От Политбюро и ЦК с его Секретариатом исходили строгие приказы в партийные комитеты областей и районов вплоть до комитетов городов и деревень, где повсюду важнейшую роль играл “первый секретарь”, поскольку он управлял *номенклатурой*, в которую входили выборные посты и кандидаты на них, избираемые нижестоящими органами. Как только изменялся состав Политбюро, вниз спускались решительные директивы, сколько членов партии должно быть изгнано из партии, и так происходило в каждой более или менее крупной школе, на всех предприятиях, во всех университетах, во всех полках Красной Армии и в каждом подразделении ГПУ – во всех “партийных ячейках”, которые отчитывались перед высшим руководством и получали от него указания. В армии офицеры подчинялись комиссарам, которые находились в подчинении Главного управления в руководстве Армии, свой “политотдел” существовал на каждой машинно-тракторной станции, и к нему был прикреплен

оперуполномоченный ГПУ. Таким образом, партия везде имела свои глаза и свои уши, и все эти глаза и уши контролировали и перепроверяли друг друга, и сами снова перепроверялись другими, относительно независимыми органами, такими, например, как ГПУ. В отличие от остальных партий мира, эта партия не только отправляла политическую власть, но и дирижировала – и в определенном смысле владела – всей экономической жизнью страны. И поэтому она должна была быть всесильной, и это всемогущество она называла социализмом, который, разумеется, еще не выполнил свою конечную задачу – ликвидировать любое господство человека над человеком, а также любые препятствия для развития личности каждого. Временно сильнейшее из всех государств, государство партийной экономики, оставалось предпосылкой будущей безгосударственности, однако не только противники большевиков задавались вопросом, а не оставалась ли эта изначально наиболее правая из всех левых партий левой лишь в своих мечтах и мифологемах, в реальности же занимаясь созданием эффективнейшей из всех государственных силовых структур, которые только можно было найти на Земле. Итак, эта партия, зоркий двуликий Янус, устремляла свой взгляд в направлении современной действительности, занимая в развивающейся диктатуре государственного социализма то место, которое в какой-нибудь менее строгой структуре занимала экономическая буржуазия, чье главенство характерно для системы либерализма; однако свой мечтательный взгляд она направляла в далекое будущее и была партией воинствующего универсализма, вдохновляясь верой в то, что буря и натиск ее аргументов сумеют снести все рамки и ограничения.

И все же независимо от того, объединяла ли она в себе крайности или лишь делала одну прикрытие для другой, она отнюдь не обязательно нуждалась в вожде – ею мог руководить и центральный выборный орган, члены которого оставались анонимными. Однако когда Сталин в 1937 году сравнил партию с армией, а примерно 3000 высших партийных руководителей – с Генеральным Штабом, 40.000 руководителей среднего звена – с офицерским корпусом и 150.000 рядовых партийных функционеров – с унтер-офицерами¹¹, то для него, очевидно, уже само собой разумеелось то, что сам он был Генералиссимусом этой армии. Конечно, Ленин подразумевал под “организацией вождей” коллектив, но сам он всегда был в этом коллективе первым, так что можно было и в более ранние времена, подобно Троцкому, задать вопрос, а был ли он первым среди равных. Уже в 1918 году в газетных статьях и в речах на собраниях он вполне однозначно назывался “вождем” российского и мирового пролетариата и, как при феодализме, за людьми из его свиты также признавалось обозначение “вождь” – с неким региональным ограничением: так, например, Зиновьев был “вождем Северной Коммуны”.¹² Партийные Съезды сопровождались овациями “вождю Ильичу”, которые, разумеется, всегда подразумевали и “товарища Ленина”. В действительности в течение всей своей жизни Ленин не мог принять самостоятельно ни одного

существенного решения, он всегда должен был добиваться большинства в Политбюро и на партийных съездах, зачастую в жесткой борьбе и разногласиях. Однако уже очень скоро после его смерти Троцкий назвал его “величайшим человеком нашей революционной эпохи”¹³, и вместе с тем затронул одну из самых характерных проблем марксизма, заявив, что Ленин, наряду с Марксом, был единственным гением в среде вождей рабочего класса; хотя класс и без этого гения оказался бы способен справиться со своей исторической задачей, но произошло бы это “гораздо медленнее”.¹⁴ Если поставить рядом с этим еще одно высказывание Троцкого, а именно, что большевики никогда не завоевали бы власть без нажима со стороны Ленина, ибо буржуазия вскоре заключила бы мир и ситуация бы существенно изменилась¹⁵, то можно было бы прийти к выводу, что и новое государство и российский рабочий класс были созданы одним этим гением. Стало быть, было допустимым утверждение, что Коммунистическая партия Советской России, начиная с самого своего возникновения, в самом прямом смысле слова была “вождистской партией”, что она сформировала подлинный культ личности, и даже сочувствующими наблюдателями Мавзолей Ленина оценивался зачастую как “культ реликвии” и сравнивался с религиозными феноменами. Но могла ли партия после смерти “гениального вождя” доверить руководство коллективу посредственностей? Лев Каменев снискал не много аплодисментов, когда на XIV партийном Съезде выступил против понятия “единоличного руководства” и против практики “сотворения вождя”.¹⁶ Сталин, занимая пост Генерального секретаря ЦК партии и будучи единственным членом сразу четырех важнейших, высших выборных органов – Политбюро, ЦК, Секретариата и Оргбюро, – фактически вступил во владение наследством Ленина, и уже в 1926 году на многих площадях Советского Союза были установлены памятники ему. Вскоре стало обычным делом говорить о “партии и ее вожде товарище Сталине”, и без пресловутых указаний на величие сталинского руководства отныне не обходилась ни одна публичная речь. Троцкий находчиво перевернул упрек, направленный против него самого, и обвинял *сталинизм* как бонапартистский режим, однако при этом он не принимал в расчет, что тот же самый упрек Мартов выдвинул против Ленина еще до войны.¹⁷ Стало быть, сама сущность партии располагала к тому, чтобы один человек стоял во главе партии и имел власть в поистине необычайных масштабах. Несмотря на это, как Ленин, так и Сталин всегда рассматривались только как персонификации партии, формально же – как представители [рабочего] класса, как бы курьезно ни выглядело второе определение в свете их биографий. То, что партия в конце концов направила свои стихийные интенции уничтожения на себя самое, то есть на своих членов, восставших против ее вождя, было заключено в понятие самой партии, хотя масштабы Великой Чистки могли, конечно, быть и другими. Иначе дело обстоит с тем фактом, что, в конце концов, Сталин – начиная примерно с 1937 года – уже чисто формально

нуждался в одобрении своих решений каким-либо выборным органом, а в конце своей жизни зачастую не считал необходимым даже созыв Политбюро. Это противоречило духу партии, которая всегда оставалась коллективистской, даже если подчинялась воле вождя. Однако коллективистским в любом случае было и мышление национал-социалистской партии, хотя она развивалась на почве совершенно иных традиций и, без сомнения, была *вождистской партией* в другом смысле слова.

Рабочее движение в своей большей и влиятельнейшей части сорентировалось на ту традицию, которая возводит свои истоки к Французской революции и особенно к ее якобинской фазе. Противоположной этой традиции была традиция правых, которая видела во Французской революции только разрушение, разложение и хаос. Поэтому естественно усматривать в теории заговора аббата Баррюэля, в апологии идеи органического развития Эдмунда Берка, в характеристике Жозефом де Местром революции как "сатанинской" и нападках Адама Мюллера на такие понятия римского права, как частная собственность и религия как частное дело, не что иное, как защиту феодализма и, тем самым, интересов дворянства от *новых времен* (Moderne). Однако если промышленная революция, пусть даже не беспочвенная, была прежде всего чем-то новым, то Французская революция была *старым в оболочке нового*, так что уже с 1793 года бывшие либералы употребляли для ее обозначения понятия, ранее находившиеся в ходу у их противников, например, "деспотический Синод", "миссионеры", "суды инквизиции". В их глазах, таким образом, регрессивным оказывалось то, что само выдавало себя за нечто прогрессивное, а консервативные писатели, наоборот, вскоре обучились использовать в качестве средства борьбы листовки и демагогические нападки. Историческая действительность Европы не знала *чистого прогресса*, который был бы воплощен в конкретных личностях, и *чистой реакции*, которая могла бы быть обозначена конкретными именами; она, напротив, характеризовалась перекрестами, поливалентностью, смешанностью форм, усвоением идей и их переосмыслением. Кто в 19-м веке совершил подобные *объективно прогрессивные* деяния, что были на счету таких субъективных реакционеров, как Роберт Пиль, Луи Бонапарт, Отто фон Бисмарк и Бенджамин Дизраэли? Так, антисемитизм времен кайзера Вильгельма был модернизацией традиционной теории заговора, а социалдарвинистские представления рубежа столетий не являлись исключительно защитным инструментом национально-либеральной буржуазии, но также находили поддержку в таких новых достижениях науки, как, например, учение Фрэнсиса Гальтона о наследовании свойств. Однако подобно тому, как левые во всех своих формообразованиях оставались узнаваемыми благодаря их приверженности доктрине освобождения индивида через его превращение в неопределенное *чистое* человечество, точно так же правых отличает непреходящий страх перед возможным общественным *хаосом*, равно как и перед вытекающим из него деспотизмом.

Этот страх дополнял убеждение в том, что традиционный порядок и, вместе с ним, институционализированные ранжированные отношения составляют самую элементарную основу человеческого общежития. И потому правые с самого начала были также склонны к принятию концепции уничтожения, устранения “заговорщиков” или зачинщиков разложения, причем эта склонность отчетливо проявляется в трудах такого человека, как Евгений Дюринг, в 1900 году выступавшего против евреев как вредоносной расы. Причем Дюринг вышел из рядов левых, и чем взрослее становились правые, тем больше черт, изначально присущих левым, они перенимали. При всех своих различиях они все же сохраняли свою правую ориентацию, покуда идея *порядка* превалировала у них над идеей *освобождения*. Разумеется, порядок никогда не мог в той же степени стать общечеловеческой идеей, что и освобождение во имя мира и ненасильственности, поскольку понятие порядка никогда не было столь же надисторическим и всегда должно было ориентироваться на существующий строй, вместе с тем постоянно становясь вирулентным в те периоды истории, когда потрясение существующего строя становилось невыносимым для подавляющего большинства людей и их охватывал страх перед разложением общества. Следует предположить, что в XX веке этот концепт мог оказывать массовое действие лишь тогда, когда он как бы сочетался с понятием освобождения.

Вместе с тем благодаря великому катализатору, Первой мировой войне, для *левых правых партий* открылись неожиданные возможности в тех странах, в которых существующий порядок не был настолько дискредитирован, как самодержавие в России и где он не был столь крепким и неприкосновенным, как в западных державах-победителях. Сначала новый тип партии утвердился в Италии, оплакивавшей “изуродованную победу”: это была партия, опирающаяся на широкий круг среднего класса, поддерживаемая крупной буржуазией и основанная бывшими марксистами или левыми, это был фашизм. В немецком национал-социализме левые тенденции обнаруживались уже в его названии, так что в своей программе он даже потребовал “Изъятия дохода, полученного без труда и усердия”; он усвоил ранее считавшееся леворадикальным требование гомогенности народа и тем не менее, отстаивая представление о свободной игре сил, занимал позицию крайнего либерализма. Однако сильнее и достовернее было главный убеждение правых: вера в удар ножом в спину, который нанесут враги и заговорщики, как и их ненависть к апостолам провокации в рядах левых марксистов, ориентация на былое величие, характеристика французской революции как “жуткого извержения вулкана”, решительная поддержка собственности. Таким образом, национал-социалистская партия была по своему типу фашистской и даже, точнее говоря, радикально фашистской партией. Однако из-за фракционной борьбы она, наверное, осталась бы только раздробленной группой среди многих других групп, если бы ее не возглавил человек, который в беседах

со своим ближайшим окружением прослеживал генеалогию большевизма от “Моисея до Ленина”¹⁸, отклонял все компромиссы, в том числе компромиссы со школярами из “народных странников”, не менее решительно, чем это делал Ленин в отношении меньшевиков и эсеров. Он в столь же малой степени создал идеологию своей партии, как Ленин — идеологию своей, однако и тот и другой расставляли решающие акценты и формулировали наиболее авторитарные положения партийных программ. Вместе с тем, Гитлер с самого начала занял в этой партии, куда он привлек бывших участников войны, которые идентифицировали себя со своим прошлым и хотели освободить Германию посредством уничтожения *врагов народа*, другое место, чем мог и хотел занять Ленин в своей партии, состоящей из эмигрантов и уставших от войны солдат.

Адольф Гитлер по своему рождению стоял на две ступени ниже в общественной иерархии, чем Ленин, он никогда не учился в университете или высшей школе; его происхождение и образование обнаруживало, скорее, его сходство со Сталиным, если отвлечься от его артистических склонностей и способностей. Однако *Немецкая рабочая партия*, в которую он вступил в 1919 году, была далека от конспираторства большевистской партии и изначально предлагала народному оратору больше шансов, чем большевистская, ибо она возникла в относительно свободном и либеральном обществе. С другой стороны, ее характеризовало сходство с неким добровольческим корпусом, а ее основной принцип отличался не только милитаризмом, но, подчеркивая личную и непосредственную связь относительно немногих людей со своим фюрером, обнаруживал свои уходящие в седую древность корни. Таким образом, демократический принцип принятия решений на общих собраниях членов и командный принцип сперва существовали бок о бок, и история Гитлера, который поначалу, как “руководитель пропаганды”, был лишь седьмым среди членов выборного руководящего органа предстает, как то было и в случае Муссолини, историей расширения власти вождя.

Однако уже с момента возложения на себя “диктаторских полномочий”, с 1921 года, Гитлер, в противоположность Ленину, не связывал себя решениями какого бы то ни было Центрального Комитета, так что командный принцип рано стал торжествовать над демократическим принципом выборов и дискуссии. Разумеется, некоторое время рядом с ним еще находились менторы и соратники по партии, соравные ему, однако ноябрьский путч 1923 года был уже целиком его собственным произведением, решение о котором не принимал и даже не утверждал никакой выборный орган партии. Новое учреждение партии принесло Гитлеру многочисленные трудности в отношениях с ее северно-немецким крылом, однако и в рядах этих *левых* Гитлер также смог обнаружить и привлечь на свою сторону протагониста культа фюрера, Йозефа Геббельса. Вплоть до 1930 года “высший фюрер СА” Франц Пфедфер фон Саломон еще обладал относительно самостоятельным положением. Однако позднее Гитлер

взял в свои руки руководство и этим важнейшим подразделением партии. Более, чем какая-либо другая немецкая партия, даже намного более, чем большевики до захвата власти, НСНРП уже примерно в 30-м году стала обнаруживать свой характер государства в государстве, так что культ фюрера оказался важнейшим интегрирующим фактором в партии, внутренне очень многообразной. Однако снова и снова обнаруживалось также и объективное превосходство Гитлера, которому подчеркнуто выражали свое послушание такие люди, как Гесс, Гиммлер и Геббельс, пусть даже публикой он все еще во многом расценивался в качестве "бледной копии" Муссолини.¹⁹

Так, Гитлер, который не был членом Рейхстага, как лидер национал-социалистского движения занял 30 января 1933 года государственный пост рейхсканцлера. И потому с самого начала, несмотря на принесенную на тексте Конституции присягу, он никогда не был просто лишь одним фактором среди прочих – его первенство обеспечивалось тем, что он неоспоримо главенствовал национал-социалистскому народному движению, и следовательно – проводимой им под государственным прикрытием революции, которая понимала себя прежде всего как контрреволюцию. Самое позднее с августа 1934 года воля фюрера стала высшим законом, и потому решения о войне и мире, для которых, согласно Веймарской конституции, требовалось принятие имперского закона, стало делом компетенции Адольфа Гитлера. Ленин вовсе не обладал столь абсолютной властью, но фактически с 1937 года она также имелась у Сталина. Поэтому в 1939 году не возникало никаких сомнений в том, что именно Гитлер ответственен за войну с Польшей, и лишь ему предназначались венки победителя.

Характеристики власти фюрера со стороны национал-социалистских юристов были по большей части квазитеологическими и мистическими. Считалось, что фюрер был воплощением подлинной воли народа и вместе с тем защитником "объективной идеи нации от субъективного произвола введенного в заблуждение настроения народа". Его полномочия неделимы, его власти "не должны препятствовать гарантии и контроль, автономные охранные структуры и приобретенные индивидуальные права, она свободна и независима, исключительна и неограниченна". При этом она не сводится к голому произволу, а связана с судьбой и задачами народа. Однако то, *чем именно* являются судьба и задачи народа, определяет один фюрер, он направляет "действие совокупной политической силы народа ради достижения общих великих целей". Народные референдумы не определяли его решений, но несли аффирмативную функцию, функцию интимного посвящения в решения фюрера.²⁰

Уже перед началом войны принцип вождистского государства был реализован столь совершенным образом, что Геринг имел право сказать, что он сам и все другие вожди государства и партии рядом с Гитлером в решениях ключевых вопросов были не более полномочны, чем камни, что

они попирают своими ногами.²¹ То, что уровнем ниже имели место бесчисленные конфликты руководителей более низшего ранга, известно из написанных сразу после окончания войны мемуаров очевидцев, однако это обстоятельство как раз и развязывало Гитлеру руки при принятии им политических решений в мирового масштаба. Национал-социалистские юристы были поэтому правы, указывая на изоморфность вождистского государства с диктатурой или же с абсолютной монархией. В действительности, однако, никакой диктатор или абсолютный монарх никогда не обладал такой властью, какой обладал Гитлер. Даже воля императора-воина Наполеона I не была непосредственно идентична государственной воле. Предположение, что нечто подобное было необходимо, коль скоро цель состояла только в восстановлении статуса великой державы или же в основании великой Германии, является совершенно необоснованным. Не было никакой другой “конституции”, под эгидой которой оказался бы возможен столь быстрый захват “мирового господства” потерпевшим поражение государством, вопреки всякой вероятности и скепсису всех профессионалов: архаическая простота формирования единой воли, свойственная воинственным племенам, была соединена здесь с современной эффективностью основанной на разделении труда государственной системы. Однако это была также единственная государственная форма, при которой отдельный человек мог обречь целую нацию на тотальное поражение и даже на физическую гибель. В философской перспективе речь шла о наиболее крайней форме извращенной теологии: фюрер считался божеством или, по крайней мере, спасителем-полубогом, и в этом состояло, с исторической точки зрения, острейшее противоречие этой государственной формы с немецкой и европейской традицией.

Однако из юридических моделей государственно-правового обоснования положения народного вождя, обладавшего неограниченной властью, нельзя было заключить, что этот бог или полубог одновременно оказался бы поборником “мировоззрения”, которое апеллировало к много большей, чем просто немцы массе людей: по меньшей мере, к *германцам* или даже *ко всем арийцам*. Реальность ближайшего будущего не совпадала с понятиями и постулатами. Немецкий народ был не неким обозримым племенем, доверчиво взирающим на своего патриарха, а современным, очень сложным и исторически многообразно дифференцированным обществом. Фюрер, вместе с тем, нуждался в организации, которая не была бы идентична с народом, и его мировоззрение должно было точно так же корениться в этой организации, как и пронизывать его изнутри. Если НСНРП была первым и благороднейшим творением Гитлера, то он, в свою очередь, в определенном смысле являлся ее отпрыском. Поэтому Третий Рейх был в той же степени партийным государством, что и государством вождистским, и закон об обеспечении единства партии и государства от 1 декабря 1933 года зафиксировал это обстоятельство также в формально-правовом смысле, определив партию как “ведущую и движущую

щую силу национал-социалистского государства". Если культ фюрера мог быть истолкован как снятие ограничений с традиционной монархической власти, то партийность государства была чем-то совершенно новым с исторической точки зрения, было чем-то таким, что в еще меньшей степени выводилось из традиции правых, чем из предания социализма. Однако в этом отношении Советская Россия опередила Германию на 15 лет.

С самого начала НСНРП не была партией патрициев, она была хорошо организованной массовой партией, какими в Германии до тех пор были только СДПГ и с 1920 года – КПГ. Но в ней не только было более выпукло выражена власть фюрера, но и движение членов партии было более мощным, чем в СПГ и КПСС [ВКП(б)]. К моменту взятия власти численность НСНРП составляла более 700.000 членов, в то время как партия большевиков насчитывала едва ли более 200.000 человек; в 1935 году число членов национал-социалистской партии, составлявшее 2,5 миллиона, было примерно таким же, как и число членов ВКП(б), включая кандидатов. Т. е. НСНРП еще в меньшей степени являлась партией элиты, чем ВКП(б), и широкомасштабные партийные чистки не приурочивались в ней к какому то временному пункту. Гитлер никогда не сравнивал свою партию с сословием самураев или "орденом меченосцев", как это делали Троцкий или Сталин в отношении ВКП(б).²² Однако в отличие от ВКП(б), организация НСНРП еще до захвата власти была подобна государственной, а мюнхенское имперское партийное руководство с 1930 года напоминало правительство. Штурмовые отряды СА со всеми своими штабами и своей войсковой иерархией значительно превышали по численности "Красную Гвардию" в Петрограде 1917 года. Эта партия и ее армия, между тем, не нуждались для своего самоутверждения в подлинной гражданской войне, и хотя по ходу дела ими и уничтожались другие партии, но отнюдь не целые социальные классы, а агрессивные намерения в отношении "главного врага", еврейства, реализовывались лишь весьма постепенно. СА не стала, как в свое время Красная Гвардия, армией государства, хотя партия и оказывала на нее огромное влияние, СА всегда оставалась лишь государством в государстве. Долгие годы НСНРП не могла даже отдаленно помышлять о том, чтобы, например, подчинить и тем более присвоить себе экономику, как это сделала Коммунистическая партия в Советском Союзе. Ведь Германия, в отличие от России в 1917 и тем более в 1920 гг., обладала хотя и находившейся в упадке, но все же очень эффективной и хорошо функционирующей экономикой, которая по многим каналам была включена в мировой рынок и на свою добрую долю была от него зависима. Попытка экспроприировать и реорганизовать ее вне категорической и превалирующей поддержки подобной меры среды избирателей вызвала бы хаос и экономический спад, которые в России и имели место после мировой и гражданской войн. Именно в силу этого власть партии была здесь намного более ограниченной, так что в Германии практически сохранился социальный плюрализм - в отличие от поли-

тического. Хотя некоторым вождям партийных организаций, таким, как Геббельс, например, удалось добыть искомые государственные должности, однако Альфред Розенберг не добился получения в свое распоряжение министерства иностранных дел, так же как и Эрнст Рём – министерства обороны. Хотя позже все чаще заключались личные унии между партийными и государственными постами, но в принципе государство и партия оставались разделенными. Фактически ситуация сводилась к ожесточенной борьбе различных партийных вождей и руководителей подразделений за участие в государственной власти, результатом чего являлось приводящее в замешательство параллельное существование притязаний и компетенций, которое можно было бы назвать *неофеодализмом*, но которое ни в коем случае не было поликратией, поскольку не имелось ни малейшего сомнения в том, кто действительно принимает ключевые решения. Гитлер даже прямо способствовал определенного рода государственной чересполосице, так же как Сталин и Ленин способствовали конкуренции параллельно существующих органов. Конечно, в Германии остались намного более сильные рудименты традиционного индивидуализма и большие возможности проявления личной инициативы, в то время как в Советском Союзе многообразие компетенций подчинялись ярко выраженному взаимному контролю и тем самым служило господству верхушки, которое простиралась на все, вплоть до мелочей. Основное различие между ВКП(б) и НСНРП заключалось в том, что первая посредством крайней активности еще должна была создать промышленное и обороноспособное общество после всех опустошений мировой и гражданской войн, в то время как вторая должна была выполнить более простую задачу, - подготовить высокоиндустриализированное общество, находящееся в кризисе мирного времени, к войне или хотя бы к возможности достоверной угрозы войны. Таким образом, НСНРП обладала многими формальными характеристиками ВКП(б), например, активностью и волей к уничтожению, однако вплоть до начала войны обладала ими в намного менее выраженной форме.

Характерным было уже то, что партия наряду со своими подразделениями – СА, СС, НСКК, Гитлерюгендом, НСДСтБ и Национал-социалистской женской организацией – опекала также и примкнувшие к ней союзы, такие, как Союз врачей, Союз национал-социалистских немецких юристов, Союз учителей и имперский союз немецких служащих, которые наглядно демонстрировали дальнейшее существование социального плюрализма.

Структурирование верхушки партии последовало благодаря разделению функций в высшем партийном руководстве Рейха, резиденция которого находилась в Мюнхене - "столице движения". Однако Рудольф Гесс, которого можно было бы сравнить с Генеральным секретарем ВКП(б), обладал фактически намного меньшими, нежели последний, возможностями вмешательства в государственную область, хотя и обладал значи-

тельным влиянием на принятие решений по вопросам законодательства и назначения всех служащих. Во время своей пребывания в Берлине 13 и 14 ноября 1940 г. Молотов также посетил и Гесса, причем речь на встрече должна была идти о вопросах организации обеих партий.²³ Если верить сообщениям, единственно, что обсуждалось тогда, был “диалог на высшем уровне”, который должен был состояться между ВКП(б) и НСНРП. Происходили ли при Мартине Бормане, который после таинственного полета Гесса в Англию получил пост “руководителя партийной канцелярии”, став тем самым одним из могущественнейших людей Третьего Рейха, какие-либо “диалоги на высшем уровне”, — остается открытым вопросом.²⁴

Своеобразными рода министрами при Гессе и, впоследствии, Бормане были “рейхсляйтеры”, к которым принадлежали, например, Роберт Лей как шеф “Немецкого рабочего фронта”, а также руководители больших подразделений Генрих Гиммлер и Бальдур фон Ширах. “Инструктирование” партийными органами целых областей государственной деятельности, — подобно тому, как в СССР этим занимались отделы Центрального Комитета партии, — в национал-социалистской Германии не имело места, однако примкнувшие к НСНРП союзы были в данных конкретных условиях подчинены соответствующим службам в высшем партийном руководстве Рейха. Ниже располагались организации партии, которые от руководящих органов областного, окружного, местного уровня, от уровня партийных ячеек доходили до низовой единицы, блока, который охватывал 40-60 домовладений. Все партийные функционеры носили униформу с указаниями своего ранга, которая, однако, в противоположность униформе СА и СС никогда не была ни сколь-нибудь известной, ни популярной.

В задачи блокляйтеров вменялось осуществление контроля за сдачей партийных взносов, проведение в “гуще масс” консультирования, надзора и устной пропаганды, направленной также к простым “товарищам из народа”. В любом доме с наемными квартирами висела “домашняя доска объявлений НСНРП”: “Здесь имеет слово НСНРП. Товарищи-соотечественники: если вы нуждаетесь в совете и помощи, обращайтесь в НСНРП”. Далее следовали имена блокляйтеров и адреса партийных офисов. На нижней половине доски размещались партийные объявления.

Участие правящей партии в организации элементарных форм социальности наличествовало, конечно, уже до начала гражданской войны в 1918 году и в Петрограде, Москве и других крупных городах России. Там образовались “домкомы”, которые обычно состояли из домашней прислуги или наиболее бедных жильцов. В своей деятельности эти “домкомы” очень быстро сосредоточились на задачах выселения враждебно настроенных семей, перераспределении жилых помещений и на, по меньшей мере, крайне строгом надзоре за всеми “буржуями”. В национал-социалистской Германии долгие годы не имелось ничего аналогичного

этому, даже по отношению к жильцам-евреям - настолько неприятным для населения были контроль и, зачастую, интриги низовых партийных функционеров. Немецкая система представляла собой, скорее, систему контроля, чем систему изменения, капиллярную систему, которая способна была подавить любое спонтанное движение, но выступала при этом также как активизирующее и демократизирующее установление. Многие блокляйтеры, определенное число крайсляйтеров и некоторые гауляйтеры происходили из рабочих или бывших рабочих либо, во всяком случае, имели очень простое происхождение: для погони за титулами и отличиями перед ними здесь была широко распахнута дверь. Однако как бы неудобно ни чувствовали себя крупный торговец или госсоветник под недоверчивым оком блокляйтера, который был, вероятнее всего, простым чиновником из бюро, они оставались теми, кем и были, то есть крупным торговцем и госсоветником, и могли подать в суд на возможные злоупотребления, коль скоро, не будучи активными членами распущенных партий, они могли не опасаться разоблачений в гестапо. В Москве и Петрограде, напротив, на подмандатных им малых территориях домкомы распоряжались, подобно суверенам, и серьезное неповиновение им нередко каралось на месте же.

Здесь, намного ниже уровня партийной верхушки и тем более уровня вождей, по-видимому, становится постижимым внутренняя сердцевина различия между обеими партиями: ВКП(б) была партией пролетариев, которая считала своей целью уничтожение всех классовых различий, а НСНРП была партией мелкой буржуазии, которая при всем своем политическом активизме ратовала исключительно за сохранение социальных отношений.

Этот простой тезис все же вызывает сомнения уже потому, что к моменту прихода власти НСНРП, если судить по ее количественному соотношению с общей численностью населения, была практически в пять раз сильнее, чем партия большевиков. Точные и достоверные сведения о начальной поре ВКП(б) хотя и отсутствуют, однако подсчитано, что в августе 1917 года около 5% промышленных рабочих были членами партии. Из 171 делегата 6-го партийного Съезда, которые заполняли предложенные опросные листы, было 92 русских и 29 евреев. 94 человека имели высшее образование, 72 были рабочими и солдатами. Средний возраст составлял около 29 лет.²⁵ Таким образом, речь шла о партии интеллигентов и рабочих, а также крестьян в солдатских мундирах. То предположение, что многие из рабочих были заняты в ремесленных мастерских или в мелкой промышленности и в силу этого обнаруживали мелкобуржуазные черты, подтвердить не удастся. В Петрограде, несомненно, значительная часть рабочих трудилась на крупных промышленных предприятиях Путилова. Однако особенно примечательным был, разумеется, высокий процент среди членов партии "инородцев" - не только евреев, но и латышей, - а также невысокий средний возраст партийцев. На II съезде РСДРП в

Лондоне почти половина делегатов состояла из евреев и более чем 50% составляла интеллигенция. Здесь ясно распознается происхождение разлагольствований о “еврейском большевизме”. Основная черта русской революции заключалась именно в том, что она не в последнюю очередь была восстанием угнетенных “инородцев”: евреев, латышей, литовцев, финнов, грузин и многих других. Более того, добрая часть из этой самой половины делегатов принадлежала к “Бунду” и меньшевикам, и, пожалуй, каждый из еврейских большевиков на соответствующий вопрос мог бы ответить так же, как позже нарком Мехлис ответил на антисемитский вопрос Сталина: я, дескать, не еврей, я коммунист.²⁶ Большую степень вероятности следует также приписать тезису, что еврейский народ в русских западных провинциях, — еще ясно различимый как “народ” и все же уже находящийся в отрыве от веры, его конституирующей, представлял собой крупнейший резервуар энергии и одаренности, который когда-либо концентрировался на столь узком пространстве и внезапно получил почти неограниченные возможности для действия. Этим объясняется то, что процент евреев на высших руководящих постах сперва был необычайно высок, но это ни в коем случае не доказывает, что большевизм как таковой был *еврейским*. Напротив, благодаря этому наиболее отчетливо выясняется то, как мало соответствовала большевистская партия накануне захвата власти марксистской схеме о подавляющем большинстве пролетариев и ничтожной кучке магнатов-капиталистов. Никакие социологические подсчеты не могут изменить того вывода, к которому ведет историческое рассмотрение: большевистская партия в 1917 году была еще совершенно неразвитой и относительно небольшой партией, которая состояла из интеллектуалов, рабочих и “инородцев”, которая укрепилась в ситуации пока еще не полного военного поражения на волне массового стремления солдат к миру и крестьян — к земле. Поскольку она изначально объявила себя марксистской, постольку после установления монопольной власти она не могла остановиться на заключении мира и удовлетворении требований эсеров о разделе земли, принадлежавшей помещикам; но также должна была экспроприировать промышленность и уничтожить социальный слой частнособственнической буржуазии и старорежимной интеллигенции. Это была, таким образом, партия крупномасштабного социального переворота, и если всякий модус сущностных преобразований может быть назван революцией и одновременно расцениваться в качестве прогрессивного и исторически оправданного, то она действительно была революционной и прогрессивной партией, чьи цели согласовывались с ходом исторического развития. Но она *не была* партией, которая соответствовала бы фундаментальной концепции Маркса.

Социологические данные первых лет после захвата власти и Гражданской войны мало что могут сказать, ибо партия занималась формированием социальной действительности и была в состоянии манипулировать своим собственным составом, например, временно допуская в свои члены

лишь рабочих и бедных крестьян и одновременно очищая свои ряды от многих служащих и представителей старой интеллигенции. Поскольку все значимые руководящие посты в этом огромном государстве, за немногими исключениями, должны были заниматься членами партии, несмотря на то, что еще в 1919 году партия почти на 90% состояла из лиц, закончивших лишь начальную школу или вообще неграмотных, постольку она стала практически идентичной с правящей элитой и доля рабочих или крестьян членов партии, которые в действительности занимались ручным трудом, едва ли составляло десятую ее часть. Вопрос о том, совершалось ли под прикрытием смутных понятий “служащие” или “новая интеллигенция” глубинная дифференциация и формирование нового класса или даже касты, не поддается удовлетворительному решению в виду отсутствия научных социологических данных.

И напротив, вся полнота материала имеется в наличии относительно НСНРП, которая на протяжении 14 лет до своего прихода к власти вызревала в лоне общества, не отличающегося от любого другого европейского общества никакими существенными социальными признаками. Все эти общества можно было характеризовать как мелкобуржуазные, то есть в огромном своем большинстве они состояли не только из крестьян и рабочих, но также располагали сравнительно широкими средними слоями, которые посвящали себя посреднической и организаторской деятельности. Вместе со старыми классами образованной буржуазии и мелкопоместного дворянства они составляли, исключая высшие буржуазные и аристократические слои, не менее половины населения и образовывали даже не столько класс, сколько всепроникающую атмосферу, своего рода фильтр нации и общества, который никогда не занимал единой политической позиции и был связан с высококвалифицированным рабочим классом так же тесно, как и с “трудящейся” частью крупной буржуазии. Из-за этого разнообразия среднему классу никогда не удавалось создать некий героический образ себя самого; скорее, он, напротив, непрестанно подвергался критике и именно поэтому приносил в общество некую динамичность, так же чуждую милитаризованному дворянскому обществу, как и государству мелких крестьян. В 1880 и 1920 гг. еще стояло под вопросом, следует ли понимать этот основной элемент всех западных обществ как регрессирующий или как находящийся на подъеме, и Карл Маркс ни в коем случае не ограничивался выдвижением лишь первого из этих тезисов. *Cum grano salis* можно даже сказать, что понятие революционного пролетариата, как и социализма вообще, было изобретением мелкой буржуазии, поскольку возникло оно из антипатии человека мелкобуржуазного происхождения к определенным и зачастую действительно устаревшим чертам мира их юности. В любом случае, нет ничего содержательного в характеристике НСНРП как мелкобуржуазного движения, которая либо подтверждается новыми доводами, либо слегка модифицируется. Все это можно обнаружить уже в официальной “партийной стати-

стике" 1935 года, которая показывает, что рабочие в партии представлены 32% членов, тогда как их доля от общей численности населения составляла 47%, и что среди крайслейтеров их доля упала до 8%.²⁷ Схожие факты, а именно, отклонения от воображаемого или постулируемого равенства в представительстве, обнаруживаются во всех государствах и партиях, где понятие *представительства* что-либо значит; и наиболее характерным для национал-социализма было исключительно то, что в партии наличествовала сравнительно высокая доля рабочих, участвующих в движении *среднего класса*.²⁸ Таким же бессодержательным был тезис о "деклассированных элементах", который до определенной степени подходит к любой радикальной партии. Впрочем, "деклассирование" в таких случаях чаще является следствием, чем причиной деятельности партии, и так было и в случае НСНРП. Относительная численность "партийных товарищей" в отдельных регионах намного меньше зависела от их социального состава, нежели от таких внесоциологических факторов, как близость к границе, конфессия, добровольный призыв на военную службу. Как НСНРП, так и ВКП(б) не в последнюю очередь были партиями молодежи. Значительно яснее, чем статистические разработки о процентных долях классов и слоев, нуждающиеся еще в конкретной дефиниции, говорит раннее высказывание Клары Цеткин 1923 года, что фашистские партии в тенденции состояли из сильнейших и наиболее решительных (и, пожалуй, следует добавить, из наиболее возбудимых) "элементов всех классов".²⁹ С таким же правом можно было бы сказать, что большевистская партия в 1917 году состояла из самых энергичных и самых активных элементов русской и нерусской интеллигенции и рабочих. Решающий вопрос, однако, заключается в том, по каким причинам эти элементы в России или Германии объединились в одну партию, и он проясняется средствами не социологии, но только посредством истории. Хотя различие между двумя этими партиями в некоторой мере и можно понять благодаря социологическим и историческим данным, однако их развитие и тем более приход к власти являются результатом совершенно специфических ситуаций и событий.

Однако если приход власти в обоих случаях не был обычным *coup d'état* не может быть сведен к интригам или к банальной случайности, то нужно учесть и то, что новые государственные партии во всех слоях общества натолкнулись на столь сильное сопротивление, что не могли обойтись без силовых органов утверждения и обеспечения их власти. После партий эти органы были важнейшим структурным элементом той формы государства, для которой еще до 1933 года был введен в употребление термин "*тоталитаризм*".

2. Органы государственной безопасности и террор

Первые вооруженные объединения, которые должны были обеспечивать безопасность "Временного правительства рабочих и крестьян" в Петрограде и затем в Москве, были те же самые, что завоевали для него власть: повстанцы из числа бывшей царской армии, прежде всего группы матросов Балтийского флота и подразделения Красной Гвардии. Они держали вахту перед Смольным, первоначально для защиты от возможного в любое время нападения *контрреволюционных* войск, а затем обеспечивали охрану московского Кремля. В конце декабря 1917 года разрушение старой армии шло рука об руку с формированием новой; основное их различие состояло, прежде всего, в устранении всех рангов и чинов, а также всех орденов и отличий; в революционной армии российской республики свободные и равные граждане — пролетарии по своему социальному происхождению — должны были объединяться в добровольном послушании и сами собой командовать посредством солдатского комитета. Очень быстро стало ясно, что эта армия не заслуживает своего названия и не имеет никаких шансов взять верх над остатками старой гвардии или даже немецкими войсками. Поэтому уже с марта под руководством военного комиссара Троцкого Красная Армия начала перестраиваться скорее на манер царской армии, чем Красной Гвардии, так что вскоре множество ее командиров были набраны из числа бывших офицеров. Однако именно пара латышских полков, состоявших из убежденных большевиков, которые в июле 1918 года спасли правительство Ленина от восстания левых эсеров, в целом сохраняли первоначальный партийный характер. За продолжительное время в изменчивом ходе гражданской войны произошло четкое разделение *внутреннего и внешнего*, которое едва ли могло быть произведено вооруженной властью и специальными силами безопасности. Практически все командиры высшего состава были членами партии, и многие из них — как, например, сын литовского крестьянина Иероним Уборевич — играли существенную роль в организации Красной Армии; наряду с бывшими офицерами были также назначены военные комиссары как уполномоченные партии, а партийные лидеры, Сталин и Троцкий, например, никогда не имевшие военного образования, заняли высшее положение в Армии. Именно Троцкий отдал в августе 1918 года приказ о сооружении первого концентрационного лагеря и именно он пытался предостеречь бывших царских офицеров от перехода в стан белых тем, что приказал держать их жен и детей в качестве заложников, в отдельных же случаях — расстреливать. В первые месяцы после захвата власти еще было необходимо разделение на внешнюю и внутреннюю безопасность, поскольку в ноябре и декабре 1917 года Совет Народных Комиссаров ощутил со стороны устроивших саботаж министерских и банковских служащих угрозу даже большую, чем были чреваты вооруженные акции. Никто не сделал больше для прекращения этого саботажа, чем Феликс Эдмундович Дзержинский, стоявший у истоков формирования социал-

демократии Царства Польского и Литовского. Будучи еще совсем молодым человеком, одаренный приверженец католической церкви, сын польских дворян перенес всю страстность своей веры на революционное движение; подобно Розе Люксембург, он писал из тюрьмы и ссылки прекрасные и исполненные чувства письма, а поскольку, кроме детей, он любил только человечество, то в своей решимости защищать пролетарскую революцию от всех ее врагов он не уступал даже Ленину. Поэтому верным было решение Совета Народных Комиссаров, когда 7 декабря 1917 года им была учреждена “Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем” во главе с Дзержинским. Названное по начальным буквам “ЧК-а” или “ВЧК-а”¹, новое учреждение сразу же создало себе имя на том, что подвергло аресту огромное число правых эсеров, и насильственно ликвидировало анархистские центры в Москве. Для этого оно нуждалось в собственных войсках и собственной исполнительной власти. Оно получило и то, и другое. Однако до июля 1918 года оно удовлетворялось административными расстрелами участников криминальных структур, поскольку многие из членов высшего Совета были левыми эсерами, которые возражали против решений о смертных приговорах, вынесенных по политическим мотивам. Фактически в газете Максима Горького “Новая жизнь”, в которой появилось так много жалоб и обвинений, вплоть до ее запрета в 1918 году о ЧК практически нет и речи. Вместе с тем именно левыми эсерами из ЧК было совершено убийство немецкого посла Мирбаха, и в восстании 6-7 июля 1918 года также принимали участие формирования ЧК, которые даже на некоторое время арестовали Дзержинского, но в которых отсутствовала воля к захвату власти своей партией. Поэтому собственная история ЧК фактически начинается только с единовластия Дзержинского и интернационального круга его соратников — латышей Лациса и Петерса, евреев Уншлихта и Ягоды, русского Кедрова и немца Роллера, при этом для действий этой структуры было весьма симптоматично, что вместе с первым преступником без дальнейших разбирательств была также расстреляна и его любовница.² Таким образом, было вполне последовательным, что ЧК после покушений на Урицкого и Ленина 30 августа не только как следственный орган пыталась разыскать соучастников Леонида Каннегиссера и Фанни Каплан среди левых эсеров, но проводимыми расстрелами обнаружило пик той элементарной дикости, которая проявилась и в последовавшем за этим обращении армейского комитета, подписанном в том числе Смильгой: “Мы призываем рабочих Петрограда: товарищи, бейте правых эсеров без всякой пощады, без всякого сострадания, суды и трибуналы не нужны. Пусть клокочет гнев рабочих, пусть льется кровь правых эсеров и белогвардейцев, искореним врага физически!”³ Если ЧК занималась “административными” расстрелами, то есть следовала линии этого обращения, то остается только гадать, до какой степени незаконного, но санкционированного сверху и энтузиастического насилия могла дойти остальная Россия. ЧК лишь фик-

сировала специфическое, коллективное мышление партии, когда направляло свои удары не только против гипотетически виновной партии эсеров, но также против мнимого врага, стоящего за ней, — против “буржуазии”. М. Лацис особенно жестко выразил основную концепцию партии, когда написал: “Мы за то, чтобы искоренить буржуазию как класс. Вам не нужно доказывать, что тот или другой словом или делом вредят интересам Советской власти. Первое, что Вы должны спросить у арестованного: к какому классу он принадлежит, откуда родом, что за воспитание он получил и кто по профессии? Эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого. Это есть квинтэссенция Красного террора”.⁴ Противостояние социальному бытию, а не индивидуальным действиям было отличием ЧК только в техническом смысле, и Сталин имел достаточные основания для того, чтобы в 1927 году восславить ЧК как “карающий меч пролетариата”.⁵ И если требование убивать “тысячу (с их стороны) за одного (нашего)” оставалось, пожалуй, чисто вербальным, то пропорции 150:1 все же были реальностью⁶, и это означало почти умиротворяющее возвращение к тому принципу обвинения, когда священник расстреливался за то, что отслужил панихиду по “Николаю Романову”.⁷ При этом Дзержинский и его ближайшие соратники действовали так не из личной жестокости, но они верили в то, что служат практическому гуманизму и высшим целям человечества, как они предстают в ранее приведенной цитате.⁸ По всем традиционным понятиям они были преступниками и массовыми убийцами, однако для них самих эти преступления и массовые убийства отвечали требованиям высшей “революционной” морали, которая определенно должна была содействовать утверждению царства справедливости и нравственности. Отклониться от своего пути их не заставило даже то, что, по их собственному признанию, в их ряды проникали настоящие садисты и уголовники, которые в осознании полноты своей неограниченной власти, в которой Ленин увидел сущность пролетарской диктатуры, шли на преступления неопишущей жестокости, затмевающие худшие эксцессы Белого террора. У тех, кто читал изданную в 1924 году на Западе книгу авторитетного историка и народного социалиста С. П. Мельгунова “Красный террор в России в 1918-1923 гг.”, поистине кровь в жилах стыла от ужаса.⁹ Однако не только захолустные пыточные и смертные камеры где-нибудь в провинции, но также центральное здание ЧК на Лубянке в центре Москвы превратились вскоре в места, вселяющие ужас, о которых уже в двадцатые годы ходили слухи, намного позже во многом подтвержденные описаниями Солженицына. Также и в годы после гражданской войны ЧК не только не прекратила свое существование, но и превратилась в мощнейший институт, значительно увеличившись. Определенно, и после 1920 года режим, установленный большевистской партией, имел многих активных врагов, и ЧК вскрыла целую сеть вражеских организаций; она также насильственным путем пресекала множество акций саботажа, зачинщиками которых, якобы, были “враги

народа". Однако то, что возникло в годы гражданской войны, — разведывательное управление вместе с подразделениями связи, пограничные войска, "внутренние войска" как отдельная армия, существующая параллельно Красной Армии и, наконец, спецподразделения, из которых были образованы "мобильные особые отряды ЧК", которые только в Николаевске-на-Амуре в течение трех месяцев расстреляли около 6000 "врагов"¹⁰, что все более становилось самоцелью, не заключало теперь в себе ничего *чрезвычайного*, но стало обычной и всепроникающей составной частью повседневной жизни. Заговоры провоцировали, вместо того, чтобы их раскрывать; в тесном и даже ревностном сотрудничестве с Коминтерном СМЕРШ и промышленные Народные Комиссариаты рассылали агентов и шпионов во все концы света; границы Советского Союза были герметично закрыты, а иностранцы арестованы, для того чтобы быть обвиненными в саботаже или обмененными на схваченных в Германии или где-нибудь еще революционеров; считалось преступлением, если гражданин страны Советов вступит в какие-либо отношения с независимыми иностранцами; вся страна была перетянута плотной сетью осведомителей и информаторов, так что даже сами члены партии опасались случайно обронить какое-нибудь необдуманное слово. Уже в 1921 году в подчинении ЧК находились свыше 100 концентрационных лагерей, в которых пребывало около 60000 заключенных. С началом коллективизации *исправительные рабочие лагеря* приобретали все большее экономическое значение, и великая индустриализация осуществлялась не только воодушевленными комсомольцами, но и миллионами людей, отправленных на принудительные работы. Название управляющего всей этой системой учреждения в конце концов изменилось. Немало членов партии выражали свои опасения в связи с тем, что нечто, казавшееся временным установлением гражданской войны, не желало исчезать с достижением победы; и когда нарком просвещения, Анатолий Луначарский, сетовал на то, что коммунистическая партия, кажется, превратилась из партии рабочих в военизированную партию солдат¹¹, то некоторые могли пойти в своих опасениях даже дальше и предположить, что сама партия может стать инструментом тайной полиции. Итак, в 1922 году ЧК была переименована в "ГПУ"¹², а после образования Советского Союза — в "ОГПУ" и было лишено полномочий проводить административные расстрелы. Однако почти все свидетельства очевидцев совпадали в том, что на деле ничего не изменилось, поскольку ГПУ сумело уклониться от каких бы то ни было ограничений собственной власти. Скорее, вследствие временной борьбы между фракциями, у нее появились даже новые задачи, поскольку всем членам партии вменялось в обязанность извещать как ГПУ, так и Центральный Комитет о любой фракционной деятельности, какая только станет им известна. Впрочем, и в этом случае ГПУ могло представлять дело так, как то было ему угодно, и Троцкий горько жаловался в 1928 году на то, что агент ГПУ

вступил в контакт с оппозицией и затем был “разоблачен как врангелевский офицер”.¹³

В 1934 году ОГПУ, в конце концов, было объединено с Народным комиссариатом внутренних дел (“НКВД”), это сведение в единое целое милиции с чекистами способствовало созданию аналога тайной политической полиции, когда ее шеф Генрих Ягода взял в свои руки управление новым учреждением. Большая чистка уничтожила старую гвардию чекистов подчистую, так же как и агентов соперничающей тайной службы, ГРУ. Однако когда сами чистильщики, люди Ежова, были в свою очередь уничтожены, НКВД под руководством своего нового главы, Лаврентия Берии, грузинского соотечественника Сталина, стал могущественным как никогда. “Отдел внешней разведки” заново выстроил свои легальные и нелегальные резидентуры за границей, “политическое управление НКВД” (внутренние дела) контролировало всю внутреннюю жизнь Советского Союза, а также организовывало обширные депортации из новоприобретенных областей Польши и пограничных государств. ГУЛАГ управлял миллионной армией занятых на принудительных работах заключенных, распределенных по лагерям, образовывавшим около 80 лагерных объединений, выросших из существовавших когда-то 20-100 отдельных лагерей и рассредоточенных по всему Советскому Союзу, и накануне войны Берии подчинялись не только пограничные и железнодорожные войска и многочисленные школы НКВД, но также заградительные войска, назначение которых состояло в том, чтобы контролировать линию фронта и стрелять в каждого солдата, который попытается бежать с поля боя. Однако среди высшего командного состава явно почти не осталось религиозной одержимости и аскетизма Дзержинского: к началу 30-х годов относятся бесчисленное количество свидетельств о роскошной обстановке служебных кабинетов высших чинов ГПУ, и если Берия уже после казни в 1953 и был назван “чудовищем” в советских публикациях, то это без сомнения относилось к его образу личной жизни. В любом случае, бывшая “Чрезвычайная Комиссия” превратилась в 1934 году в гигантский аппарат чиновников, выполняющих полицейские функции, и вооруженных подразделений особого назначения, и это должно было неприятно поражать любого из читавших ленинскую работу “Государство и революция”, где социализм в еще вполне традиционном смысле ассоциировался с устранением армии (профессиональной) и бюрократии.

Полиция национал-социалистской Германии также находилась в особом близких отношениях с партией, точнее сказать, с одним из ее подразделений, СС, и в 1939 году она представляла собой мощный аппарат, однако этот факт не был несовместим с идеологическими основами национал-социализма. Созданная в сентябре 1939 года “Главная служба безопасности Рейха”, в которой были объединены “охранная служба” (“Sipo” – то есть тайная государственная полиция и криминальная полиция) под руководством Рейнхарда Хейдриха и “служба безопасности” (“SD” –

главный орган разведки и контрразведки), не была, однако, подобно бывшему ГПУ, важнейшей составной частью Министерства внутренних дел, но обладала самостоятельностью и формально даже могла давать указания Генриху Гиммлеру как "шефу немецкой полиции". В отличие от Советской Армии Вермахт не был армией партии и никогда не обращал к своим согражданам призыва "с фронта", подобного уже приведенному выше обращению Смильги и других "товарищей" к рабочим Петрограда. Вермахт изначально служил исключительно обеспечению внешней безопасности государства, и еще в 1937 году некоторые генералы придерживались мнения, что смысл национал-социалистского движения заключался в том, чтобы гарантировать надежность армии, то есть сделать возможным восстановление свободы вооружения, который когда-то лучшая армия мира лишилась благодаря Версальскому договору. Даже победа над Францией, которая являла собой значительный триумф Гитлера, ничего не изменила в том, что Вермахт был в удивительной степени свободен от прямого влияния партии и тем более СС, хотя многие юные офицеры чувствовали себя тесно связанными с партией.

Существование СС строилось, скорее, на ее отношении к партийному вождю и протагонистам идеологии, - этому в Советской России не имелось параллелей ни до 1917 года, ни после. В 1923 году появились "штурмовики Гитлера" - как его лейб-гвардия и ударный отряд, - а после освобождения Гитлера из тюрьмы в 1925 г. из абсолютно проверенных людей под командованием Юлиуса Шрека была создана "штабная охрана". Немного позже подобные отряды появились и в других местах, и в обиход вошло обозначение "охранные отряды". Первейшей их задачей оставалось обеспечение безопасности партийного руководства, а после оглашения приговора на лейпцигском "Процессе ЧК" и множества других разоблачений военного и террористического аппарата КПГ защитные меры подобного рода казались просто необходимыми. Однако вскоре деятельность СС вышла за пределы прагматической целесообразности. С января 1929 года "Рейхсфюрером" СС был назначен Генрих Гиммлер, под влиянием которого организация, впитавшая в себя теорию элиты, теорию рас и колонизаторские идеи, быстро приобрела собственное лицо. Целью было определено построение общности "здоровых германских родов", для чего так называемый "приказ о вступлении в брак" должен был служить основой: первичной здесь являлось не экономика, как у социалистов - последователей Маркса, а продолжение рода, которое должно было порвать с субъективным произволом и стать предметом вдумчивого планирования, поскольку иначе невозможно было устранить ущербность и испорченность, высшим пунктом каковой для Гиммлера, как показывают его бесчисленные высказывания, была, несомненно, революция 1918 года, участники Советов солдатских депутатов которой представляли "дурную расу". На скромных началах осенью 1931 года офицером флота в отставке Рейнхардом Гейдрихом была создана "Служба Абвера", которая после

прихода национал-социалистов к власти получила название “служба безопасности” (“SD”). Гитлер как рейхсканцлер имел право на личную “охрану”, которая позднее превратилась в “лейбштандарт Адольфа Гитлера”. Важнее для последующего становления власти СС было то обстоятельство, что, в отличие от СА, СС рано удалось проникнуть в область государственных интересов и, далее, в область полиции. СА должна была бы, поскольку она была больше и значительнее, взять на себя руководство рейхсвером, что, согласно традиционным понятиям, означало бы подлинную революцию; значительно менее бросающийся в глаза путь СС намного больше, таким образом, соответствовал новому типу фашистской революции. Отдельные этапы этого занятия властных позиций в рамках более масштабного захвата власти здесь проследиваться не будут¹⁴; в любом случае, с июня 1936 года Гиммлер в качестве “рейхсфюрера СС и шефа немецкой полиции в министерстве внутренних дел Рейха” фактически стал полицейминистром Третьего Рейха, и при нем Гейдрих, руководитель охранной службы и службы разведки и контрразведки, получил огромные полномочия. Тем самым, с одной стороны, заметная уже во времена Веймарской республики тенденция централизации достигла своего логически предсказуемого, хотя и не достижимого в Веймаре высшего пункта и, с другой стороны, службе с таким названием, образовавшейся со слиянием государственного и партийного аппарата, мог соответствовать только сам “Фюрер и Рейхсканцлер”. Вопрос состоял в следующем: стала ли СС государственной службой или полиция – партийной? То, что вторая возможность была более вероятной, доказывает развитие системы концентрационных лагерей с 1933 года. Теодор Айке, очевидно, чувствовал себя комендантом номинально государственного лагеря Дахау прежде всего как фюрер СС, и если он и пытался наполнить сердца своих людей негасимой ненавистью по отношению к заключенным как “врагам народа”, то в первую очередь потому, что они были для него врагами партии. Когда 1 июля 1934 года он по прямому приказу Гитлера застрелил начальника штаба СА, он как исполнитель неофициального приказа фюрера сразу же превратился в “государственного преступника”, и здесь можно говорить о характерной параллели с постулатом “Без суда и следствия”¹⁵, хотя в данном случае имелись различия с советским “массовым террором” *toto coelo*. В качестве более самостоятельного подразделения НСНРП после 30 июня 1933 года СС получило разрешение на создание вооруженных формирований, которые в качестве “резервных войск” должны были стать государственной полицией и тем самым соответствовать *внутренним войскам* ГПУ или НКВД, хотя из уважения к Вермахту подразделения эти не были тяжело вооружены. Часть этой государственной полиции составляли формирования, которые в апреле 1936 года были поставлены под командование Теодору Айке как “фюреру дивизии СС “Мертвая голова” и “концентрационных лагерей” и включали в себя пять штурмовых батальонов. Даже в 1939 общая немецкая система concentra-

ционных лагерей ни по числу охраны, ни по количеству заключенных, ни по своему экономическому значению и отдаленно не могла сравниться с системой НКВД - только разразившаяся война повлекла за собой существенные изменения. К началу войны против Польши будущие войска СС также были еще относительно слабы: лейбштандарт Адольфа Гитлера, штандарт "Германия" в Гамбурге, штандарт "Фюрер" в Вене, Граце и Клагенфурте, а также различные спецбатальоны и "школы юнкеров" в Тельце, Брауншвайге и Клагенфурте. В общем и целом, речь шла о двух дивизиях, и с началом войны все объединения за исключением войск охраны были включены в Вермахт с целью выполнения боевых задач.

Обычная СС, то есть собственно как подразделение партии, не могла меряться по значимости с полицией и войсками СС (Waffen-SS), и в целом СС уже в 1939 году представляли собой многогранное образование. Однако его единство сохранялось благодаря основным идеологическим представлениям: фюрер – абсолютный суверен, "Рейх" как цель, уничтожение противника как задача, забота о "чистой крови" как основа, наполняющая жизнь. Гейдрих понимал эти представления так же, как Гиммлер, т. е. прежде всего как идеологию, заостренную против идеологии большевизма. В своей работе "Метаморфозы нашей борьбы" 1935 года он выбирает следующие формулировки: "Как жизнь природы в целом и повсюду, так и жизнь народов состоит из вечной борьбы между более сильными, благородными, полноценными в расовом отношении и низшими, недочеловеками... Борьба нашего фюрера и движения началась в момент скрытого господства недочеловеков, которые находились на пути большевизма, споспешествовавшего им в достижении открытого, свирепо все разрушающего господства... Ведущие силы противника всегда оставались одними и теми же: мировое еврейство, мировое масонство и значительная часть политического клерикализма... В своих многосторонних разветвлениях и формах они сохраняют свою цель – уничтожение нашего народа... Как во всякой настоящей борьбе здесь есть только две возможности: или мы одолеем противника, или погибнем".¹⁶ Несмотря на всю неподдельную силу чувства и все желание предьявить оборонительный характер национал-социалистской экспансии и ее содержательную противоположность большевистской, и даже марксистской, доктрине, ясно: призыв "Все или ничего", воодушевлявший лозунги безопасности, защиты, сохранения, порядка, очень напоминал ленинский пароль "Кто – кто". В тенденции это восприятие промышленной революции, усматривающее "здоровый образ жизни" в "крестьянском укладе", выглядит преимущественно негативным, однако, между тем, оно было слишком незавершенным, чтобы с достаточным основанием быть охарактеризованным как реакционное. По этому поводу Адольф Гитлер в выступлении, посвященном войскам СС, следующими словами выразил свою очень простую эмоцию: "Подобное объединение как таковое (как отряды государственной полиции) в гордости за свою чистоту никогда не станет брать-

ся с пролетариатом и дискредитирующим ведущие идеи преступным миром”, - высказывание, проявляющее утрату словом “пролетариат”, которое, между тем, насквозь пропитало западный мир, былого смысла. Гитлер явно идентифицирует “пролетариат” с “общностью рабочих”, и его отряды государственной полиции никогда не могли бы возникнуть без уже упомянутой выше глубокой “демократизации”. Поэтому скорее вероятно, что оба феномена противостояли друг другу с враждебной решимостью, одинаково далекие от основных представлений марксизма об устремленном к социализму “подавляющем большинстве”. В любом случае можно проследить настолько же точное, насколько и враждебное соответствие приведенного выше высказывания Сталина с теми словами Гиммлера, в которых он в своей речи в 1935 году сравнил СС с “безжалостным карающим мечом”, который уничтожит “еврейско-большевистскую революцию представителей низшей расы”, в случае, если она вновь будет учинена извне или изнутри в Германии”.¹⁷

Таким образом, перед началом советско-немецкой войны друг с другом противоборствовали две основные эмоции Первой мировой войны, негативный и позитивный опыт войны в форме огромных аппаратов безопасности и террора, так что вопрос заключался в том, в равной ли степени последовательно происходило образование этих организаций. Но в Советской Союзе данный аппарат как таковой возник раньше и, по всей видимости, стал исходным материалом для другого аппарата, поскольку являлся реальностью для своих немецких врагов и в определенном смысле образцом для них. В своей январской речи 1937 года Гиммлер сослался на свое “точнейшее знание большевизма”¹⁸, а когда Вальтер Шелленберг должен был в апреле 1938 года организовать безопасность визита Гитлера в Италию, он избрал для своих гестаповцев “русскую систему троек” и в июле 1941 года отдал ему приказ сформировать в России систему разведки, “которая ни в коем случае не должна уступать НКВД”.¹⁹

Сообщения о большевизме или о Советском Союзе, которые до 1933 года мелькали в правой прессе, а также книги, которые после национал-социалистского прихода к власти большими изданиями сбывалось издательством “Антикоминтерн”, были пропагандистскими и односторонними, однако они меньше расходились с реальностью, чем большинство описаний *fellow-travelers* и в основных чертах совпадали со значительной частью не сугубо антикоммунистической литературы.²⁰ В промежутке между 1939 и 1941 гг. речь также заходила о прямом сотрудничестве служб безопасности Советского Союза и Германии, и нет ни одного указания на то, что Гестапо ощущало себя при этом более заслуженной и более опытной организацией.²¹

Фактически, можно считать неоправданным утверждение, что СС и Главная служба безопасности Рейха отправляли в 1939 году или даже к началу 1941 года такую же абсолютную власть над Германией, какую имел в СССР НКВД как инструмент Сталина. Не только средний уровень

жизни немецкого населения был значительно выше, но в Германии сохранялись значительные остатки либеральной системы: пусть и регламентированная, но все еще относительно свободная экономика, которая предоставляла лазейку противникам режима; Вермахт, в котором не было никаких партакеек и никаких "особых отделов"; юстиция, которая нередко еще проявляла значительную самостоятельность; церковь, которая зачастую имела в виду режим собственной страны, когда проповедовала против концлагерей Советского Союза. Насколько тоталитарной казалась в 1939 году Германия по сравнению с Англией и Францией, настолько либеральной она могла представляться для каждого, кто мог позволить себе подлинное сравнение с ситуацией в Советском Союзе. Это касается также концентрационных лагерей и не только с количественной точки зрения. Когда бывший коммунист и исполняющий обязанности наркома Карл Альбрехт сбежал в 1934 году от ГПУ в Германию, и сразу же был снова арестован, на этот раз Гестапо, он ощутил прежде всего "образцовую гигиену и чистоту", и страшные сны покинули его, когда он перестал слышать "еженощные смертные крики".²² И Маргарет Бубер-Нойман, жена Хайнца Ноймана, которую в 1939 году вместе с другими бывшими коммунистами НКВД выдал Гестапо, недоверчиво спросила себя, прибыв в концентрационный лагерь Равенсбрюк и увидев высаженную там прямо за входом цветочную грядку: "И это должен быть концлагерь?"²³ Очень скоро она, разумеется, заметила, что попала не в дом отдыха и не в аналог образцовой тюрьмы НКВД в Сокольниках; однако "сибирские условия", в которых ей приходилось жить в Советском Союзе, были, по ее мнению, намного хуже.

Однако она могла бы добавить, что она нигде не видела плакат, который содержал бы призывный аналог той надписи, которую немецкий студент Киндерман за пятнадцать лет ранее увидел на Лубянке: "Да здравствует ГПУ, авангард мирового пролетариата!".²⁴ Характерным являлось то, что и Гитлер, и Гиммлер в сохраняющейся *либеральности* немецкого бытия усматривали не преимущество, а слабость и несовершенство. Фактически, значительной своей частью она была обязана миру, который сохранялся в Германии также и после 1933 года. Однако мирное время было лишь первой половиной национал-социалистского режима и, вероятно, менее характерной. Национал-социалистский режим не нуждался в том, чтобы утверждать себя с оружием в руках в Гражданской войне, но в 1939 году Гитлер ясно дал понять генералам, что он не для того создавал Вермахт, чтобы воздерживаться от войны, и предчувствие о ней по ту сторону всех заверений о мире являлись центральным фактом периода с 1933 по 1937 годы. В любом случае, даже большевики не верили, что могут прийти к осуществлению своих конечных целей без войны, и их "социализм" можно было с полным правом назвать продолжением развития военной экономики другими средствами. Только во время войны оказалось возможным в полной мере сравнить оба режима и обнаружить не

только их различия. И потому сравнение структур и состояний, какие имели место в 1939 году, хотя и допустимо, однако не является исчерпывающим. Напряженная искусственность негативной веры, которая пыталась свести все войны и неурядицы к проискам “мирового еврейства”, хотя сама же обнаруживала в этих войнах и неурядицах суть жизни, была, между тем, в 1939 году слишком очевидной. Однако и Гитлер, и Гиммлер приписывали трудности, которые они испытывали в реальности, дальнейшему существованию реакции, и возлагали свои надежды на молодежь. Поэтому не случайно, что между СС и гитлерюгендом существовали особо тесные отношения. Ведь даже Ленина в последние годы его жизни оставила надежда на то, что его поколение доживет до “победы мирового пролетариата”, и в Советском Союзе юные ленинцы брали “шефство” над определенными частями Красной Армии. Наряду с органами безопасности юношеские организации были важнейшей составной частью как ВКП(б), так и НСДАП.

3. Союзы молодежи.

Будучи до Февральской революции 1917 года нелегальной группировкой, Социал-демократическая партия России понятным образом не имела собственного объединения молодежи. Однако уже спустя немногие месяцы, которые можно сравнить с четырнадцатилетним “периодом борьбы” НСДАП во времена Веймарской республики, на Путиловском заводе в Петрограде под управлением юного коммуниста В. Алексеева образовалась первая большевистская молодежная группа, которая стала называться “Социалистический союз молодежи”. Спустя год после захвата власти состоялся Учредительный Съезд так называемого “комсомола”.¹ После принятия устава он стал “независимой организацией, находящейся под руководством партии”, которая распространилась по России, а позже и по всему Советскому Союзу, и одновременно была секцией “Интернационала молодежи”. Понятие “молодежь” трактовалось широко и распространялось на юношей и девушек, вплоть до достижения ими 28 лет, так что в тенденции это объединение обещало стать рядом с элитой партии в качестве той массовой организации, которая должна была охватить как можно большее количество юных граждан и формировать их под партийным руководством.

Организационная структура комсомола была параллельна структуре партии: в областях, округах, районах, городах образовывались комитеты, управляющие в перерывах между съездами руководящего органа, которому на общегосударственном уровне соответствовал “Центральный комитет комсомола”. Каждый комитет избирал для себя бюро и секретариат, во главе которого находился первый секретарь. На эту демократическую структуру комсомол и опирался в свой начальный период, ведя жесткую полемику с буржуазными молодежными объединениями, в особенности с бойскаутами, чья дисциплина была военной, поскольку члены

организации якобы не имели избирательного права. Поскольку бойскаутов, кроме прочего, упрекали в симпатиях к белым, не замедлил последовать запрет конкурирующих молодежных объединений, однако "избирательные права членов комсомола" были очень скоро значительно ограничены по партийному образцу - все выборы должны были утверждаться высшими инстанциями, а номинирование кандидатов полностью перешло в руки коммунистических фракций, в то время образовывавших осто́в формально самостоятельного союза.

Уже в первые годы все же было заметно, что молодежи, то есть комсомолу, приписывается как роль авангарда, так и собственно классовые интересы. Так, на первых съездах комсомола цели и надежды (задачи) коммунистов проговаривались особенно настоятельно: будущее общество сосуществующего в дружбе человечества без начальников и господ (господ и рабов), без помещиков и капиталистов, без лентяев и паразитов, а также Москва как центр мировой коммунистической республики. Слова Преображенского, когда он торжественно обратился к комсомольцам как членам "великого класса", который как единое целое должен побеждать и будет побеждать, даже если от многих это потребует пожертвовать своей жизнью, вызвали настоящее ликование.²

Хотя авангардизм вскоре был пресечен партией и основной тон призывов стал направляться не на защиту молодежи, а на рост производства, тем не менее и после Гражданской войны комсомольцы отличались не только передовыми показателями в труде, но также особой склонностью к критике, достаточно острой для того, например, чтобы давать негативную оценку Советскому правительству в вопросе выделения средств на воспитание, по сравнению с соответствующими затратами царского правительства.³ Не удивительно, что расхождения партийных фракций откликались сильнейшим эхом в комсомоле, и что Троцкий имел множество последователей. Однако основы оставались неоспоримыми: комсомол должен с особым воодушевлением быть готов отдать себя делу просвещения и должен одолеть неповоротливое старшее поколение и поповское влияние, например, при помощи "Красного Рождества" и "Красной Пасхи", что он должен ускорить процесс ликвидации безграмотности и бороться против предрассудка, препятствующего обучению девочек. Хотя в первые годы комсомол и был в первых рядах борцов за новую сексуальную мораль - от теории "стакана воды" зачастую был лишь один шаг до так называемых "афинских ночей" - однако Ленин выступил с разоблачением подобных взглядов, так что во второй половине 20-х годов, наряду с проведением антиалкогольных кампаний, велась также борьба с "сексуальной распущенностью".

Лозунг "телесного закаливания" был заимствован комсомолом у организаций бойскаутов - при всей его общей враждебности к ним, равно и начальное военное воспитание быстро стало его центральной задачей. В декабре 1929 года ЦК комсомола приняло следующее решение:

“Комсомол принимает участие в воспитании молодежи допризывного возраста. Его задачей является формирование будущих кадров Красной Армии при помощи физического воспитания и дослужебной начальной военной подготовки, соответствующая пропаганда и организация молодежи, проведение среди будущих призывников политико-просветительской работы и подача примера дисциплинированности и выполнения своих обязанностей”.⁴

Особенно тесные отношения с Красной Армией установились у комсомола с началом Гражданской войны благодаря практике “шефства” над какой-либо из частей Красной Армии, а в 1930 году уже можно было похвастаться тем, что члены партии и комсомола составляли не менее 70% состава военных воздушных сил.⁵ Однако еще больше энтузиазма, чем начальная военная подготовка и служба в армии пробуждали среди молодежи могущественные проекты пятилетних планов, которые в большей степени, чем что-либо другое, содействовали переходу бывших троцкистов в лагерь Сталина. Тысячи комсомольцев были мобилизованы для сотрудничества на строительстве тракторного завода в Сталинграде или гигантской электростанции в Запорожье. Они работали на износ и с воодушевлением, “ударники труда” и участники “социалистического соревнования”, в честь которых построенный в эти годы индустриальный центр на Амуре был назван “Комсомольском”.⁶ Так, 29-летний инженер-строитель Авракий Савенягин в 1930 году отправился на Урал, где вместе с другими тысячами воодушевленных комсомольцев, плохо одетых и замерзающих на шестидесятиградусном морозе, строил металлургический комбинат г. Магнитогорска.⁷

Комсомол принимал также большое участие и в коллективизации, и когда Бухарин на одном из съездов заявил, что жгучая ненависть к классовому врагу является основной максимой новой морали, то его слова прежде всего относились к комсомолу.⁸ Воодушевлением и ненавистью были также полны и самые юные среди молодежи – союз “юных пионеров”, а также еще более юные “октябрята”, – так, 14-летний Павлик Морозов стал национальным героем, когда донес на своего отца за контрреволюционные действия, сам затем став жертвой внутрисемейной мести. Так, великий класс праздновал триумф над любой несоответствующей классовой идее лояльностью, и, казалось, осуществлялся идеал старого коммунистического воспитателя – “национализировать”, “ковать и закалять”⁹ всю молодежь.

Между тем, уже к началу 30-х гг. “класс” становится практически неразличимым от “социалистического Отечества” – уже в детском саду детям внушали любовь к советской родине и ее вождю, великому Сталину; впечатляющая церемония приема в пионеры, на которой юным пионерам повязывали красные галстуки, отпечатывалась глубоко в душе каждого. В “пионерлагерях” комсомольцами, их пионервожатыми, им опять же прививался патриотизм и коммунистическое самосознание, и в конце концов

лучшие из них становились кандидатами в партию. Так замыкался круг, и новый человек все более утверждался от поколения к поколению, приводя все более гомогенный советский народ ко все более великим победам. Разумеется, в то же время было все сложнее представить, каким образом он сможет растворить себя, свой русский язык и свое государство в будущем мировом сообществе. Не слышатся ли отзвуки традиционного стремления к мировому господству в обращении Лазаря Кагановича Съезду комсомола: “Вы станете хозяевами целого мира”?¹⁰

Конечно верно, что и члены гитлерюгенда громко и убежденно распевали на всех улицах Германии строки песни “Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра целый мир”, а в 1937 году в его - как “государственной молодежной организации” - состав входил не просто, как в комсомоле (численность которого составляла к 1940 году 10млн. членов), значительный процент молодежи, а практически все молодые люди в возрасте от 10 до 18 лет, за исключением евреев. Если для членства в комсомоле требовалась “абсолютно чистое социальное происхождение”¹¹, то соответствующая чистота расового происхождения Гитлерюгенда была значительно менее безусловна и тем самым более симптоматична для общества, в котором просто невозможно было представить исключение мелкой буржуазии и зажиточного крестьянства. Подобная парадоксальность обнаруживалось в общем характере происходящего. ГЮ намного сильнее, чем комсомол опирался на традиции “молодежного движения” – определенно, “бойскауты” имелись и в России, но также определенно и то, что молодежное движение как таковое представляло собой нечто специфически немецкое.

С одной стороны, это основанное учениками берлинской гимназии движение было типичным эмансипационным движением: восстание молодежи против лицемерия Вильгельма, против устаревших норм, против косности немецкого классового общества – и в этой связи, вне всяких сомнений, представляло очень современное явление. С другой стороны, оно усматривало свой жизненный идеал в средневековом рыцарстве и здоровом деревенском образе жизни, в связи с чем его можно было назвать реакционным.¹² Однако, вероятно, тем более развитым, то есть более комплексным является общество, чем больше в нем совершается синтезов между существующим представлением чистого прогресса и существующим представлением о чистой реакции, поскольку культура, лишенная противоречий, бедна, какой бы привлекательной и добродетельной она себе не казалась.

Отличительная особенность ГЮ состояла, между тем, не в его общности с молодежным движением, но в решительной включенности в политическую борьбу масс: не путешествие юных туристов, а парад перед фюрером был их вызовом; не дружба избранных в кругу союзного лагерного костра, а “товарищество” великой организации. И все же именно внутреннее рассмотрение выявляет характерное для комсомола сходство

с молодежным движением: а именно принцип “молодежь должна руководить молодежь”, их песни, зачастую пока еще игровой характер их упреждений на местности, которые в мирное время вряд ли можно было серьезно воспринимать как “начальную военную подготовку”. При всей недооценке социальных различий она все же ни на мгновение не ставила под сомнение их существование, и в целом, по форме своего проявления оно уже было удалено от немецкого “рабочего молодежного движения” не меньше, чем от комсомола.

Первые молодежные группы НСНРП существовали еще до 1923 года, а в 1926 году в Плауэн-Фогтланде возникло “Великогерманское молодежное движение”.¹³ На Веймарском партийном съезде оно было официально признано молодежной организацией НСНРП, и по предложению Юлиуса Штрайхера была переименована в “Гитлерюгенд. Союз немецкой рабочей молодежи”. Прежде всего оно явно рассматривалось как организация молодого поколения СА, и потому подчинялась его высшему руководству. В 1929 году был образован “Национал-социалистский союз школьников” под руководством Адриана Рентельна, в 1930-м – “Союз немецких девушек”. Намного большее политическое влияние, однако, приобрел “Национал-социалистский немецкий союз студентов”, который посредством акций и демонстраций сделал свое пребывание в университетах весьма ощутимым, и уже в 1931 году захватил власть в объединенном союзе немецких студентов. Его руководитель Бальдур фон Ширах, сын директора театра, был назван в октябре 1931 года “рейхсгитлерюгендфюрером (вождем молодежи Рейха) НСНРП” и в марте 1932 года в связи с запретом СА Брюнинга-Гренера был выведен из подчинения СА. На “молодежном съезде Гитлерюгенда Рейха” в Потсдаме 1 и 2 октября 1932 года Гитлер около семи часов с поднятой рукой принимал парад, в котором принимало участие около 100000 молодых людей.

Агитационная и массовая работа ГЮ выразительно отличала его от буржуазных союзов молодежи, равно как характерным для него был и высокий процент членства молодых рабочих и учеников-подмастерьев – около 70%. И все же ГЮ охватывал лишь незначительное меньшинство молодежи, ведь “Рейхскомитет немецких молодежных объединений” насчитывал около 5-6 миллионов членов. Однако 30 января 1933 года последовали столь же поворотные события, как и в случае с профсоюзами: 5 апреля канцелярия была захвачена, а власть в Комитете узурпирована, никакого серьезного сопротивления чему не последовало. Политические молодежные организации вместе с соответствующими партиями были распущены и запрещены, правые группы, такие как Бисмаркюгенд и Гинденбургюгенд, были частично переведены под начало ГЮ. Большие трудности доставила “союзная молодежь”. Сначала она присоединилась к “Великонемецкому союзу молодежи” под руководством адмирала фон Тротта. О каком-либо принципиальном споре речь между тем не шла, поскольку правое крыло молодежного движения уже с 1919 года счита-

лось “народным”. Несколько позже Ширах охарактеризовал эти различия следующим образом: “Мне претит прежде всего идеология их союза. Они считают себя элитой, а нас толпой. Мы были “народной молодежью”, они – “избранной молодежью”. Национал-социалистское государство не потерпит такую точку зрения”.¹⁴

На этот раз последовала смена государственной власти. 17 июня 1933 года Ширах был назначен Гитлером “вождем молодежи немецкого рейха”, и его первым служебным распоряжением был роспуск “Великонемецкого союза”. Из всех остальных союзов в состав ГЮ вошел только “Bund Artamanen”, преобразованный в “Landdienst der HJ”. Евангелическая молодежь в конце 1933 года была включена в ГЮ путем соглашения с епископом Рейха Мюллером, не потеряв при этом своей идентичности вовсе – только теперь ее заботы бы ли ограничены исключительно задачами спасения души. Намного упорнее оказались католические молодежные организации, такие как Союз школьников “Новая Германия”, которые до определенной степени поддерживались конкордатом, но уже в течение нескольких лет их работа была парализована многочисленными мерами давления и цензуры.

Некоторое время суббота считалась “Днем молодежи государства”. 1 декабря 1936 года был принят “Закон о Гитлерюгенд”, который возлагал на ГЮ ответственность за общее телесное, духовное и нравственное воспитание молодежи школы и родительского дома. С этого момента ГЮ действовала преимущественно как строго организованная система учета в области начальной военной подготовки в некотором не только техническом смысле. Характерным было также наличие внутри организаций таких подразделений, как “Юнги-ГЮ (Марине-ГЮ)”, “Мотор-ГЮ” (приписанные мотопехотным и авиавойскам). В 1938 году ГЮ получило даже собственную “патрульную службу”, некое подобие охранной службы (Sipo), имевшую спецотряды (150 человек) в каждом подразделении. Особые отношения с СС установились благодаря соглашению между Ширахом и Гитлером: молодая смена объединений СС должна была рекрутироваться прежде всего из “патрульной службы ГЮ” (Streifendienst); HJ-Landdienst (сельские патрульные службы), в свою очередь, представляла важнейший ресурс для Wehrbauern (крестьянских отрядов самообороны).

Структура организаций соответствовала общей национал-социалистской организационной модели, принципиальным для каковой был отказ от дискуссионности, непреложность иерархии и приказа: от обергегбитсфюрера приказ по цепочке передавался к гегбитсфюрерам, баннфюрерам, штаммфюрерам, фюрерам дружин и отделений, а также к “камерадшафтсфюрерам” (“руководителям товариществ”), которые считались своего рода унтер-офицерами. Высшими считались чины, начиная от позиции баннфюрера (командира полка); опасность бюрократии практически удалось избежать. Аналога комсомола как “легкой кавалерии

партии", призванной одолеть бюрократизацию государства, в любом случае не существовало, и тем более аналога комитетов, бюро и секретариатов. Так же мало ГЮ был задействован в "производственных битвах" или на строительстве новых индустриальных предприятий. Во время войны члены ГЮ привлекались к участию в сборе урожая и налаживанию противовоздушной обороны, создавали вспомогательные службы при почте, полиции и на дорогах, а также были массово задействованы в "эвакуации детей". В качестве "подносчиков снарядов" члены Гитлерюгенд привлекались только в 1941 году; в том же году вместо Шираха, назначенного гауляйтером Вены, рейхсюгендфюрером стал Артур Аксманн.

В целом работа Гитлерюгенд, а в зависимости от деятельности низовых подразделений, имела совершенно разный характер.

В "Дойчен юнгфольк" ("DJ", "Юный немецкий народ») еще обнаруживались отголоски "молодежного движения" начала века: походы, палатки, военно-спортивные игры на местности. Однако это была уже не блуждающая "орда" туристов с ее индивидуальной спонтанностью, а марширующие колонны, которые строились по команде и готовились к смотрам. На туристских ножах, которые носили все члены гитлеровской детской организации (Pimpfe), был выгравирован девиз "Кровь и честь". Какой-нибудь американец вряд ли с первого взгляда отличил бы группу "юнгфольк" от группы "юных пионеров", если бы увидел одну рядом с другой. Однако вовлечение детей в классовую борьбу в рамках "юнгфольк", как то имело место в случае "революционного детского движения" во времена Веймарской республики, не практиковалось совершенно.¹⁵

Собственно ГЮ состояла из 14-18 летних подростков и, по сравнению с комсомолом, был, таким образом, объединением людей более зрелых. "Военно-спортивные лагеря" и "учебные стрельбы Рейха" занимали для него центральное место, однако в самом Вермахте, могло, разумеется, быть столь же немного ГЮ-подразделений, как и партячек в ГЮ; многие юные гитлеровцы становились одновременно партийцами и солдатами, в то время как члены комсомола лишь в потенции могли вырасти в надежных членов партии и быть призванными к военной службе. Мировоззренческое воспитание занимало здесь меньшее место, чем в комсомоле; для обсуждения важными темами были северные героические саги, причины упадка, меры по сохранению чистоты немецкой крови, Адольф Гитлер и его соратники, народ и его жизненное пространство. Однако для движения были характерны и такие социалистические черты, как сжигание предметов униформы элитарных учебных заведений, борьба за предоставление права отпуска юным рабочим, "производственные соревнования Рейха" (за высокое качество труда). Продолжение традиций молодежного движения проявлялось в организации торжественных шествий под музыку и представлений любительского театра, а также в начинаниях, связан-

ных с таким претенциозным культурным проектом, как "Имперские театральные дни ГЮ".

Соответствующие структуры были и у девушек - "Юные девушки" и "Союз немецких девушек" ("СНД", в который принимали девушек вплоть до 21 года), так называемая "СНД - фабрика веры и красоты". Во многих отношениях эти объединения примыкали к организации "странствующих девушек" из "молодежного движения", но, с другой стороны, слишком уж сильно они были подчинены идеалу "немецкой матери".

Было ли это и в случае ГЮ *тоталитарным воспитанием*? Против этого, кажется, говорит то, что организация ГЮ, по-видимому, качественным образом ограничивала свое притязание на количественный охват: школа и родительский дом признавались однозначно равноценными ГЮ воспитательными инстанциями. Хотя вообще и предполагалось, что школа и родительский дом не являются противниками национал-социалистских идеалов, однако прямое выражение поддержки не требовалось: во многих домах Германии имело место серьезное предубеждение против режима, а во многих школах, несмотря на то, что преподаватели гимнастики и биологии всегда были членами партии, подавляющее большинство учителей, скорее, выступало за сохранение духа *национального подъема*. Так что в этой сфере сохранялся социальный плюрализм, и вплоть до самого разгрома Третьего Рейха в Германии невозможно было представить, чтобы двенадцатилетний подросток свидетельствовал против своего отца и требовал для него смертной казни, как то имело место во время чисток в Советском Союзе.¹⁶ Вместе с тем, хотя в Германии и не было прецедента, чтобы какой-нибудь немецкий Павлик Морозов оказался возвеличен как национальный герой, все же очень многие родители опасались обронить в присутствии своих фанатичных детей враждебное существующему режиму слово. Далее, в системе существовал и ряд организационных несообразностей. Так, "Школы Адольфа Гитлера" курировались ГЮ и подчинялись не рейхсминистру науки, воспитания и народного образования, а руководству молодежной организации рейха. Эвакуация детей в деревни была не только некой необходимой мерой, но также служила противодействием чрезмерному родительскому влиянию. Кроме того, даже само понятие "воспитание" было снято введением принципа руководства молодежью самой молодежью. Целью, однако, был не культивирование *мира юности*, а подготовка к военной службе, причем, скорее, во внутреннем, чем во внешнем, техническом смысле.

Адольф Гитлер в ясных словах описал свой идеал воспитания в "Mein Kampf": "Вся воспитательная работа народного государства должна увенчиваться тем, что она соразмерно инстинкту и рассудку встраивает в сердце и мозг вверенной ей молодежи расовый смысл и чувство расы <...> Народное государство, понимая это, не должно сводить всю свою воспитательную работу к вколачиванию в головы голого знания, но должно заботиться о выращивании совершенно здоровых тел. Только во вторую

очередь следует формировать духовные способности <...>".¹⁷ В действительности же такое формирование не следовало ни "во вторую очередь", ни, собственно, вообще когда бы то ни было, поскольку, с одной стороны, оно оставалось на попечении все той же, по сути не изменившейся школы, а во-вторых, в рамках ГЮ оно в любом случае понималось как подготовка к имперским соревнованиям по профессиям.

В тенденции, таким образом, речь шла о радикальном противостоянии "интеллектуализму" в воспитании, который Гитлер рассматривал как несомненный продукт "еврейского разложения" и который на самом деле являлся одновременно следствием и предпосылкой современного развития. Поэтому Ленин был несравнимо более современен в своем стремлении вдолбить комсомолу желание "Учиться, учиться и еще раз учиться". Однако тем самым он одновременно показывал, что действовал он в куда менее современных обстоятельствах, при которых прогресс и новые веяния развернулись еще не настолько, чтобы обнаружить свою потенциальную опасность. И ведь уже в ленинском пренебрежении к "старой интеллигенции" достаточно ясно прорисовываются тончайшие последствия тоталитарного воспитания: не только в национал-социалистской Германии но еще более в большевистской России возможность критического сравнения и независимой рефлексии была на корню подрублена и заменена безудержным славословием партии и ее вождю. Вместе с тем, с другой стороны, существовало огромное противоречие между требованием комсомола расширять материалистическое восприятие изучением явлений природы, организовывать в деревнях избы-читальни и высказыванием Гитлера о том, что он желает видеть свою молодежь "проворной, как борзая, стойкой, как подошва, и прочной, как крупновская сталь".¹⁸

Таким образом, комсомол и Гитлерюгенд, точно так же как и ГПУ и Гестапо, были одновременно похожи и непохожи друг на друга. Можно сказать, что непохожесть была следствием различия между более юным и менее развитым обществом и старшим и более сложным. Совпадение же установки на службу в армии не заметить было нельзя. И если в ГПУ и Гестапо было больше цинизма и тупой жесткости, то нет совершенно никаких сомнений, что молодежь как в Германии, так и в Советском Союзе — иначе чем основная масса молодежи либерально-демократических государствах — в своей значительной части верила в иделы и была готова на любые жертвы. Ни в одном, ни в другом случае это не может быть в достаточной степени объяснено влиянием дежурной индоктринации во время обучения или домашних обедов. Здесь должно было быть замешано нечто более сильное и более духовное, что не было присуще молодым людям, однако впитывалось ими с особенной силой, поскольку вырастало непосредственно из того великого опыта и тех великих эмоций, отпечаток которых несли мировоззрения их партий.

4. Самопонимание и понимание других в литературе и пропаганде

Основной опыт и основные эмоции служат базисом для возникновения идеологий. Идеологии никогда не выдумываются отдельными мыслителями, но проясняют и артикулируют в себе опыт и эмоции, имеющие решающее значение для многих людей, будучи сами по себе нацелены на формирование идеальных убеждений. Исходным основанием идеологий являются фундаментальные ситуации, в которые могут попасть представители многих стран, классов и поколений, но которые поддаются более узким пространственно-временным разграничениям. Если синдром ситуации, опыта, эмоции и идеологии не реализуется, то люди действуют просто в соответствии с интересами. А там, где этот синдром есть, формируются группы и партии, отмежевывающиеся от “других” и понимающие себя и других определенным образом, самих себя – как “хороших”, а других – как “плохих”, как “врагов”.

В своей наиболее тонкой форме самопонимание группы или партии, каковому всегда соответствует некоторое понимание других, предстает через литературу, а в наиболее грубой форме последней предстает выражается как пропаганда. Под литературой здесь мы не имеем в виду великую литературу Шекспира, Гёте и Достоевского, всегда существенно превосходящую идеологическую партийную литературу, даже если ее и можно интерпретировать в понятиях литературы партийной; в первую очередь, это песни и празднества, в каких тысячи и сотни тысяч людей демонстрируют свою общность, а в последнюю очередь, романы, где волнующие события и бои эпохи описываются ангажированным или даже относительно дистанцированным образом. В отличие от философии и великой литературы, два упомянутых вида литературы не отделены непроходимой пропастью от пропаганды и агитации, – но партия, которая в состоянии заниматься лишь пропагандой и не может породить сколь-нибудь значительной песни или романного повествования, является всего лишь представительством заинтересованных лиц или обществом по приобретению власти. Государство, где существовали бы партии лишь такого рода, не было бы тоталитарным, но его невозможно было бы причислить и к либеральным системам – оно было бы всего-навсего коммерческим обществом.

Лучшее наглядное воплощение этих соображений дают литература и пропаганда рабочего движения, в то же время делающие очевидным, что великие политические столкновения межвоенного периода невозможно полностью определить через опыт Первой мировой войны, ибо они укоренены в более давних эпохах. Так, основной опыт рабочего движения возникает из хозяйственной жизни и, на взгляд рабочих, из чисто экономического общества. К “проклятьем заклеянным” обращается песня, написанная Эженом Потье в 1871 году¹, а взгляды “всего мира голодных и рабов” она обращает на “псов” и “палачей”, коих надо изгнать, чтобы для бедных, для воинов “великой армии труда” “беспреданно” сияло

солнце. Как же долго продержатся “мир насилия” и “паразиты”, если бедные — “сильнейшая из партий” и могут “добиться освобождения своею собственной рукой”, не нуждаясь в помощи высшего существа, будь то Бог, царь или герой? И поэтому в рефрене вновь и вновь повторяются фразы, выражающие универсальность притязаний этого движения так же ясно, как и его воинственность и соотнесенность с будущим:

Völker, hört die Signale!

Auf zum letzten Gefecht!

Die Internationale

Erkämpft das Menschenrecht.

(Это есть наш последний

И решительный бой.

С Интернационалом

Воспрянет род людской.)

На протяжении долгих десятилетий повсюду, где в Европе и Америке большие массы рабочих собирались по торжественным поводам, звучал “Интернационал”. Он сеял страх среди врагов и внушал уверенность друзьям. Кто обладал историческими познаниями, мог обрести еще и дополнительную уверенность из фразы, указывающей на то, что те, кто пока еще “ничто”, вскоре станут “всеми”, ибо тем самым рабочее движение сопрягалось со знаменитейшим памфлетом Французской революции.

Вера в историю и уверенность в будущем фактически были основными чертами рабочего движения перед Первой мировой войной, и эти эмоции нигде не нашли более прекрасного выражения, чем в песне, возникшей в московской тюремной камере в 1897 году и ставшей известной в Германии, правда, только после 1918 г., по свободному переложению Германа Шерхена:

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit

Brüder zum Lichte empor.

Hell aus dem dunklen Vergangnen

leuchtet die Zukunft hervor.²

(Братья, к солнцу, к свободе,

Братья, ввысь к свету.

Светло из темного прошлого

Сияет будущее.)

Еще более впечатляющим образом осознание того, что пролетарии являются создателями всех богатств и все-таки терпят жестокую нужду, выявляется песней Иоганна Моста “Рабочие люди”, впервые опубликованной в 1871 году:

Wer schafft das Gold zutage?

Wer hämmert Erz und Stein?

...

Wer gibt den Reichen all ihr Brot
und lebt dabei in bitterer Not?
Das sind die Arbeitsmänner,
das Proletariat.

Rafft eure Kraft zusammen
Und schwört zur Fahne rot

...

Beschleunigt der Despoten Fall!
Schafft Frieden dann dem Weltenall!
Zum Kampf, Ihr Arbeitsmänner!
Auf, Proletariat!³

(Кто добывает золото?
Кто куёт руду и камень?)

...

Кто дает богатым весь их хлеб
И при этом живет в ужасной нищете?
Это рабочие люди,
Пролетариат.

Собирайтесь с силами
И присягайте красному знамени

...

Ускоряйте падение деспотов!
А затем приносите мир всему миру!
На борьбу, рабочие люди!
Вставай, пролетариат!)

Бросается в глаза, что Первой мировой войне для этой уверенности и этой осознанности силы суждено было стать в высшей степени тягостным и все-таки самым стимулирующим из всех впечатлений. Разве “рабочие люди” Европы не истребляли друг друга вместо того, чтобы протягивать друг другу руки? Разве сияющее будущее не оказалось гораздо более отдаленным, чем прежде? Как “псы и палачи” сумели ввергнуть сплоченный и интернациональный пролетариат в такое бедствие? Тем, кто не собирався делать ошеломляющего признания, что пролетариат не сплочен, что у него нет интернационального настроения и он не охватывает громадное большинство населения, пришлось перейти на гораздо более резкий тон, пришлось делать гораздо более суровые упреки, ибо против пролетариата выступали не просто какие-то “псы” и “палачи”, но могущест-

венный и коварный враг, и уж его-то следовало ненавидеть в первую очередь.

Так, в сборнике “Красные стихотворения и песни”, вышедшем в Берлине в 1924 году, опыт и воздействие войны проявились сильнее, чем даже жалобы на монотонность фабричного труда, и проявились они как противопоставление, с одной стороны, “мехов, украшений, шелковых платьев” буржуазии, а с другой — “голода и безработицы” пролетариата. В стихотворении говорится:

Du Mann im bunten Rock, du mußt dich nun entscheiden,
zählst du dich zu den Räubern, oder zu uns, die Hunger leiden.

Unser bitterer Kampf gilt den Räubern dieser Welt
und jedem, der sich uns entgegenstellt.

Doch zählst du dich zu uns, den hungernden Proleten,
dann mußt du mit uns kämpfen, wir wollen die Räuber töten.⁴

(Воин в солдатском мундире, теперь ты должен решить,

Причисляешь ли ты себя к разбойникам, или к нам, страдающим
от голода.

Наша суровая борьба идет с хищниками этого мира

И с каждым, кто себя противопоставляет нам.

Если же ты все-таки причисляешь себя к нам, голодающим пролетариям,

То ты должен бороться вместе с нами, и мы убьем разбойников.)

“Оргеш”, т. е. добровольческий корпус, а также Гитлер уже играют в этих песнях значительную роль, и если Гитлер и Дитрих Эккарт, равно как и их “нацисты” пока еще предстают в виде смехотворных фигур, то к Оргешу обращены более чем серьезные слова:

Millionen erschießen,

Orgesch, das könnt ihr nicht,

Aus unserem Blute wird sprießen

Das Proletariergericht.⁵

(Расстрелять миллионы,

Оргеш, тебе это не по силам,

Нашей кровью взрастет

Пролетарский суд.)

Но решительнее всего звучит песня “Молодой гвардии”:

Wir sind die erste Reihe,

Wir gehen drauf und dran,

Wir sind die Junge Garde,

Wir greifen, greifen an.

In Arbeitsschweiß die Stirne,

Der Magen hungerleer, ja leer,
Die Hand voll Ruß und Schwielen,
Umspannet das Gewehr.

So steht die Junge Garde,
Zum Klassenkampf bereit,
Erst wenn die Bürger bluten
Dann sind wir erst befreit.

...

Es lebe Sowjetrußland,
Hört! Wir marschieren schon,
Wir stürmen in dem Zeichen
Der Völker-Revolution!

Sprung auf die Barrikaden,
Heraus zum Bürgerkrieg, ja Krieg,
Pflanzt auf die Sowjetfahnen
Zum blutigrosen Sieg.⁶

(Мы в первом ряду,
Мы расходует силы и беремся за дело,
Мы – Молодая гвардия,
Мы атакуем, атакуем.

Лбы в трудовом поту,
Желудки пусты от голода, да, пусты,
Руки в ржавчине и мозолях
Сжимают винтовки.

Так стоит Молодая гвардия
Наготове к классовой борьбе,
Лишь когда буржуи будут истекать кровью,
Лишь тогда мы будем освобождены.

...

Да здравствует Советская Россия!
Слушайте! Мы уже маршируем,
Мы идем на штурм под знаком
Революции народов!

Одним прыжком – на баррикады,
Вперед на гражданскую войну, да, войну,
Водружайте советские знамена!
К кроваво-красной победе!)

Но все эти призывы к войне и к гражданской войне, тем не менее, оставались в конечном счете связанными с представлением о мирной, гармоничной, несложной жизни, соразмерной природе, и жизнь эта казалась очень близкой, но при этом очень отдаленной от той загадочной силы, что зовется "разбойниками" или "реакцией":

Die Börsen reißt ein!
Und auch die Banken
Und alles andre noch, woran wir kranken.

Sprengt all das Grauen auf.
Fragt nicht, was werde;
Es bleibt uns gewiß
Die reiche Erde.

Sie bringt genug hervor
Zu Lust und Leben,
Für jedes Menschenkind!
So Brot wie Reben.

...

Wir wissen, was wir tun,
Wenn wir vernichten.
Es ist ein glühend Werk,
Ein heilig Richten.

Es ist das klarste Krieg
Um reinstes Recht.
Hell jauchzt die Lösung auf:
Nicht Herr, nicht Knecht.⁷

(Сносите биржи!
И банки,
И все прочее, чем мы больны.

Взламывайте весь ужас.
Не спрашивайте, что будет;
Нам, конечно, останется
Богатая земля.

Она приносит достаточно
Ради удовольствия и жизни,
Для каждого дитяти человеческого
И хлеба, и винограда.

...

Мы знаем, что делаем,

Когда мы занимаемся уничтожением.

Это пламенное творчество,

Священный суд.

Это яснейшая война

За чистейшее право.

Раздается светлый и радостный лозунг:

Ни господина, ни раба.)

Для этого раннего периода можно без опаски цитировать немецкие песни, если мы хотим постичь дух русской революции, который во всем, что надстраивалось над стихийными требованиями земли и мира, был совершенно интернационалистичным, и чьи поборники вечером 8 ноября [1917 года] среди все еще присутствовавших делегатов II съезда Советов в глубоком волнении пели "Интернационал". После этого, с осознанием того, что всемирно-исторический шаг сделан, революция вновь и вновь представляла на сцене на своих больших праздниках.⁸ Среди голода и нужды Петроград и Москва в начале двадцатых годов все еще представляли собой весьма оживленные города, где проявлялась спонтанность масс, несмотря на то, что партийное управление и партийный контроль уже, без сомнения, повсеместно распространились. Наблюдатели полагали, будто узнают одну из основных черт русского человека, когда импровизированные сцены на улицах облегчали естественное взаимодействие участников представления с публикой. Например, рабочие меховой фабрики сажали кукол в маскарах Муссолини, Ллойд Джорджа и других политиков капиталистического мира в громадную клетку и везли их при большом стечении народа через весь город, с надписью: "Шкуры всемирных хищников, выдублены и обработаны на меховой фабрике Сорокоумова." В другой клетке наблюдатели могли видеть гигантского паука с надписью "капитал". Толпа ликовала, когда паука вытаскивали из клетки и сжигали. Но широкие массы сплачивались, например, еще и тогда, когда устраивались спектакли-процессы против отсутствовавших преступников, например, процесс против убийц Розы Люксембург или же процесс против Врангеля.

Все это было в гораздо большей степени праздником, чем просто пропагандой, поскольку границы между действующими лицами и зрителями здесь стирались, однако кульминации такие торжества достигали в больших массовых праздниках, когда революция и ее действующие лица повторяли и чествовали самих себя. На таких праздниках перед петроградским Зимним дворцом сооружалась гигантская сцена, в верхней части которой при ярком освещении обедают толстые буржуа вместе со своими любовницами, а на площади под ними и перед ними приходит в движение неотличимая от публики неосвещенная толпа. Раздаются выстрелы, формируются отряды Красной Гвардии, выстраиваются в колонны броневики. Пирующие "буржуи" от страха лишаются дара речи, они встают из-за

столов и обращаются в бегство, а революционные формирования с криками и стрельбой продвигаются вперед. На заднем плане оседает высокая стена, за ней виднеется древо свободы, обвитое красными лентами, и множество людей в военной форме сбегается к нему и обменивают свое оружие на косы, вилы и молоты: вместо военных конфликтов начинается великое братание всего человечества ради мирного труда, раздается "Интернационал", а фейерверк озаряет всю сцену, на которой актеры и зрители образуют неразличимое единство. Тем самым индивиды преодолевают изолированное и бедственное положение, обретая безграничную силу масс. Исчезают будни и разделение труда; новый мир и новый человек вступают в игру, являющуюся сразу и финалом (Nach-spiel), и прелюдией (Vor-spiel).

Такие торжества превратились в культ, когда после смерти Ленина набальзамированный труп основателя советского государства обрел место упокоения в мавзолее на Красной площади, - день за днем многие тысячи людей в длинных очередях терпеливо дожидались, когда они смогут взглянуть на единственные и самые ценные в Советском Союзе мощи.

В такой среде звенели песни и стихи Демьяна Бедного, похвалявшего, что он не получил образования, что он - никто, и как раз потому правильно воспроизводит реальность масс:

Миллионногое тело. Трещит штукатурка...

Миллионные массы: одно сердце, одна воля, одна поступь!

Шагом марш! Шагом марш!

Они маршируют и маршируют.

Марш-марш...⁹

Так взаимно превращались друг в друга торжества и пропаганда, и чем отчетливее было стремления индивидов или групп к дистанционному воздействию на других и сообщению им правильных мнений, тем в более чистом виде выступала пропаганда. В течение долгих лет Советский Союз казался одной-единственной классной доской, которая сверху донизу была исчерчена лозунгами, картинками, призывами и обвинениями, и все они указывали в одном и том же направлении, независимо от того, встречались ли они на стенах и колоннах или же в брошюрах и книгах. Вот сидит "враг Капитал", толстяк с неприятными чертами лица посреди бесчисленных слитков золота; вот Антанта, воплощенная в тройке буржуа в цилиндрах и с животами, набитыми деньгами - через цвета национальных флагов их можно определить как Францию, Англию и США, - на высокой сцене перед нищими и угнетенными массами восседает Антанта с подписью "Капиталисты всех стран, соединяйтесь!"; но вот и парящий ангел разбрасывает над большой толпой цветы, эти люди собрались на "праздник трудящихся всех стран".

На плакатах эпохи гражданской войны Врангель изображен в виде получеловека со звериной челюстью и кинжалом; рабочий волочит по земле

огромную гранату, названную "подарком белому пану" (польским помещикам и капиталистам); на плакатах представлена карта мира, на которой красное знамя развевается уже над всей Европой.¹⁰ Эти изображения и надписи до неотличимости похожи на то, как изображались белые: наполненные трупами подвалы, отрезанные головы, массовые расстрелы, но при этом нет ни малейшего намека на красный террор. Впрочем, своеобразная и не вполне достоверная аналогия к собственным действиям проявляются в утверждении, будто из пленников, которых белые брали при подозрительных обстоятельствах, они без всякого следствия расстреливали всех, у кого были мозолистые рабочие руки. А подлинная разница заметна в изображениях порки, каковую на самом деле вроде бы практиковали только белые.¹¹ С другой стороны, советская пропаганда казалась иностранцам недостоверной, когда в ней сообщалось о массовых убийствах жен германских пролетариев и об ужасных пытках, коим подвергались коммунисты-узники в Германии.¹²

В конце двадцатых годов образ пропаганды изменился: теперь на больших классных досках все больше изображается Советский Союз, во многих местах на эту карту наносятся великие проекты пятилетнего плана, и повсюду в людей вдальблывается постановление XV партийной конференции о том, что в короткий срок СССР "догонит и перегонит" наиболее развитые капиталистические страны. Но тщательно подготавливаемые поездки иностранных делегаций, которые желали встретиться с народом, а встречались только с агентами ЧК или ГПУ¹³, были пропагандой; пропагандой были и приемные часы безвластного "президента государства" Михаила Калинина, и "агитацией и пропагандой" являлась единственная задача одного из крупнейших отделов ЦК КПСС. Даже в 1941 году Советский Союз все еще был страной пропаганды, но даже в ее самых рутинных и грубых формах оставалось нечто от настроения тех ранних песен и праздников, в которых нашли свое выражение эмоции и воззрения, лежавшие в основе великого интернационального движения.

Совершенно по-иному обстояли дела с традицией, в которой коренились песни национал-социалистского движения. Они тоже восходят к предвоенному времени. Хотя в песнях рабочего движения нигде и речи не было о "науке", но все-таки до 1914 года их совершенно преобладающим образом наполнял оптимистический дух прогрессистской эпохи. Тем временем значительные философы уже давно критиковали чересчур банальное и поверхностное понятие прогресса, в литературе и науке открыли значение мифа и культа в древности, "перелетная птица" вновь обрела и всем сердцем восприняла родину и ее традиции:

Kein schöner Land in dieser Zeit
als hier das unsre weit und breit,
wo wir uns finden wohl unter Linden
zur Abendszeit.¹⁴

(В это время нет страны прекраснее,

Чем широко раскинувшаяся наша,
Где нам хорошо под липами
Вечером.)

Здесь война не должна восприниматься, в первую очередь, как крушение надежд и дело рук зловредного меньшинства, господствующего класса. Скорее, миллионы немцев переживали ее как освобождение от рутины будней, как призыв к героическим жертвам, как подкрепление прежних убеждений, и в августе 1914 года даже для подавляющей массы социал-демократов осязаемой истиной стало то, что Германия, далеко превосходившая царскую Россию в культурном отношении, обязана защищаться от существовавшей с давних пор, а теперь обострившейся российской угрозы. А после поражения выяснилось, что как раз в таком бедственном положении те содержания чувств, что некогда были уместными в религии, оказались в состоянии сопрягаться с патриотизмом и произвести нечто похожее на то древнее единение служения родине и богослужения, к которому задолго до войны обращались очи страждущих. В качестве примера можно привести стихотворение Александра Шрёдера "Немецкая присяга":

Heilig Vaterland, in Gefahren
Deine Söhne stehn, Dich zu wahren,
Von Gefahr umringt, Heilig Vaterland,
Schau, von Waffen blinkt jede Hand

...

Bei den Sternen steht, was wir schwören,
Der die Sterne lenkt, wird uns hören
Eh der Fremde Dir Deine Kronen raubt
Deutschland fallen wir Haupt bei Haupt.

Heilig Vaterland, heb zur Stunde
Kühn Dein Angesicht in die Runde
Sie uns all entbrannt Sohn bei Söhnen stehen
Du sollst bleiben, Land, wir vergehn.

(О святая Отчизна, ты в опасности,
Твои сыны готовы сбечь тебя,
Окруженную опасностями, о святая Отчизна,
Смотри, в каждой руке сверкает оружие

...

Среди звезд то, чему мы присягаем,
Кто направляет звезды, услышит нас,
Прежде, чем чужак похитит у тебя твои короны,
Мы сложим головы за Германию.

О святая Отчизна, поднимай теперь
 Смело твой лик в нашем кругу,
 Смотри, как стоим все мы, воспылавшие любовью сыны,
 Ты должна остаться, Родина, нас же не будет.)

В связи с ужасами современных сугубо материальных битв можно насмеяться над панегирическим тоном; можно спорить о том, заслуживает ли такой хвалебной песни эта страна фабрик, банков и кропотливого труда. Но если бы Германия и на самом деле была не чем иным, как примером глобального общества, состоящего из кучки эксплуататоров и бесчисленных эксплуатируемых, то тогда бы это стихотворение не нашло отголосков в душах. Можно предположить, что его воздействие ограничивалось буржуазными кругами, но тогда встает вопрос, насколько велики или малы были круги, самоощущение и мышление которых вращалось не только вокруг универсального "противоречия между трудом и капиталом". Во всяком случае, социал-демократ Карл Брёгер в годы борьбы за Рур говорил по сути то же, что и Рудольф Александр Шрёдер, причем задачу "формирования" он подчеркивал еще отчетливее:

Nichts kann uns rauben Liebe und Glauben
 zu unserm Land; Es zu erhalten und zu gestalten
 Sind wir gesandt.
 Mögen wir sterben, unseren Erben
 Gilt dann die Pflicht: Es zu erhalten und zu gestalten,
 Deutschland stirbt nicht.

(Ничто не может лишить нас веры и любви
 к нашей стране; сберечь и сформировать ее
 Мы посланы.
 Пусть мы умрем, нашим наследникам
 Тогда достанется обязанность сберечь и сформировать ее,
 Германия не умрет.)

Эти песни создавались не национал-социалистами. Эмоции, на которых они основывались, были не искусственными и не ограничивались узким кругом людей. Скорее, они представляли собой мощнейший резервуар, из коего черпало силы новое движение, и если бы этого источника не было, из всевозможных "деклассированных мелких буржуа с комплексом социальной неполноценности" возникла бы всего лишь какая-нибудь новая партия среднего сословия, защищающая экономические интересы ремесла и мелкой промышленности. Однако же, в высшей степени характерным для национал-социализма стало то, что он оказался в состоянии позаимствовать песни у рабочего движения и придать им националистский и антисемитский оттенок. (Во всяком случае, нацисты переиначили на-

родные и солдатские песни и приспособили их для собственных нужд.) Так, гитлерюгенд пел "Братья, к солнцу свободы", добавив новую строфу:

Hitler ist unser Führer, ihn lohnt nicht goldner Sold,
der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt.

(Гитлер — наш фюрер, ему не выплачивается золотое жалование,
которое повергается к его ногам с еврейских тронов.)

А силезские войска СА переиначили песню "Молодая гвардия" следующим образом:

Wir sind die Sturmkolonnen. Wir gehen drauf und dran,
Wir sind die ersten Reihen, Wir greifen mutig an!
In Arbeitsschweiß die Stirne, den Magen hungerleer,
Die Hand voll Ruß und Schwielen umspannet das Gewehr

...

Die Handgranat am Koppel, geschultert das Gewehr
So ziehn die Sturmkolonnen in Siegesrausch daher!
Der Jude kriegt das Zittern, schließt schnell den
Geldschrank auf,
Zahlt bis zum letzten Pfennig des Volkes Rechnung aus.

(Мы — колонны штурмовиков.

Мы расходует силы и беремся за дело.

Мы в первых рядах, мы мужественно атакуем!

В трудовом поту лбы, желудок пуст от голода,

Руки в ржавчине и мозолях сжимают винтовку

...

Ручная граната на перевязи, через плечо винтовка,

Так движутся сюда колонны штурмовиков в упоении победой!

Еврей трепещет, быстро открывает

Сейф, Пересчитывает до последнего пфеннига то,

что причитается народу.)

Было бы весьма смехотворным, если бы эти песни распевались только "сынками буржуев" или "пижонами", как пыталась представить дело упрощенческая контрпропаганда. По своему составу гитлерюгенд в значительной части был пролетарским, и то же можно сказать об СА. Если одной группе уже суждено было истечь кровью, то буржуев уже напрашивалось заменить легко узнаваемыми и не слишком многочисленными евреями, относительно которых никто не знал, следует ли к ним причислять только финансистов или предпринимателей, или всех "ростовщиков" и, в конечном счете, даже квалифицированных рабочих. Впрочем, разве "Ротшильд" не был тем именем, в котором для раннего рабочего движения воплощались все значения ненависти к системе?

Но после победы нацизма на передний план вновь выступила медленная и задушевная торжественность, каковую в этой форме, пожалуй, не найти в песнях никакого другого народа; правда, она сочеталась с посуровевшим и более нервным тоном радости от борьбы ради борьбы и с угрозой истребления "всемирного врага":

Siehst Du im Osten das Morgenrot, ein Zeichen zur Freiheit, zur Sonne?

Wir halten zusammen, ob Leben ob Tod, mag kommen, was immer da wolle,

warum jetzt noch zweifeln, hört auf mit dem Hadern,

noch fließt uns deutsches Blut in den Adern,

Volk ans Gewehr, Volk ans Gewehr! -...

Jugend und Alter und Mann für Mann umklammern das Hakenkreuzbanner

Ob Bürger, ob Bauer, ob Arbeitsmann, sie schwingen das Schwert und den Hammer.

Für Hitler, für Freiheit, für Arbeit und Brot. Deutschland erwache, Juda den Tod!

Volk ans Gewehr, Volk ans Gewehr!

(Видишь ли ты на востоке утреннюю зарю, знамение свободы и солнца?

Мы сплываемся, пусть придет жизнь или смерть, что угодно,

Зачем теперь сомневаться, прекращайте распри,

Еще течет у нас в жилах немецкая кровь,

Народ, к оружию, народ, к оружию! -...

Молодежь и старики друг за другом сжимают знамя со свастики,

И мещанин, и крестьянин, и рабочий размахивают мечом и молотом.

За Гитлера, за свободу, за труд и хлеб. Проснись, Германия, смерть Иуде!

Народ, к оружию, народ, к оружию!)

Однако же, из настоящего нередко возвращались в весьма отдаленное прошлое:

Lang war die Nacht und lang war die Not, wir lagen müde und verlassen.

Schlich nicht die Pest und schlich nicht die Tod mit grauem Gesicht durch die Gassen?

Tambour, schlag an, jubelnden Laut, wie knattern schon die Fahnen!

Tambour, Gott will uns mahnen, Volk brich auf!

Rafft euch empor und zusammengeschart laßt durch die Trommel euch werben,

frei und froh, nach Normannen Art, zu siegen oder zu sterben...

Sieg in der Not, da zeigt euern Mut, wer zaudert, der ist schon verloren.

Gott ist der Kampf, und der Kampf unser Blut, und darum sind wir geboren...

(Долгой была ночь и долгой нужда, мы были усталыми и покинутыми,

Разве не кралась по переулкам чума и серолицая смерть?

Барабанщик, бей, пусть ликуют твои звуки; как ветер треплет знамена!

Барабанщик, Господь призвет нас; народ, в путь-дорогу!

Собирайтесь с духом, собирайтесь в толпу, и пусть барабан зовет вас,

Свободных и благочестивых, побеждать или умирать как норманны...

Победа в нужде, покажите ваше мужество, кто медлит, тот уже пропал.

Бог есть борьба, борьба — наша кровь, и потому мы рождены...)

Итак, в индустриальную эпоху заклиналось мифическое “праединство” Бога, борьбы и крови. Если это считать реакционным, то понятие реакции надо переопределить и очистить от безобидных представлений XIX века. Но разве и революционеры не ориентировались на еще более отдаленное, еще менее осязаемое прошлое?

Так или иначе, наиболее характерны для национал-социализма песни, предметом коих был фюрер. Так, в “Will Vesper” есть слова:

So gelte denn wieder Urväter Sitte:

Es steigt der Führer aus Volkes Mitte.

Führer des Reiches, wie wir es meinen,

bist du schon lange im Herzen der Deinen.

Sie kannten vor Zeiten nicht Krone noch Thron.

Es führte die Männer ihr tüchtigster Sohn...

Wer vor dem Herzog,

ward Herzog genannt.

Herzog des Reiches...

(Так пусть же возобновится обычай праотцев:

Выдвигается вождь из среды народа.

Вождь рейха, каким мы тебя считаем,

Ты уже давно в сердце твоих людей.

С незапамятных времен они не ведали ни короны, ни престола

Мужей повел их самый доблестный сын...

Кто приблизился к войску,

того сделали главой.

Главой рейха...)

Кому нужны понятия, тот может назвать эти стихотворения свидетельством цезаристского и популистского коллективизма. Но ведь “христианско-германские” консерваторы XIX века не могли бы вообразить ничего более революционного и презренного. А в Советском Союзе, начиная с 1936 года, больше не было речи не только о классах, но и о народе; правда, в качестве советского народа он еще ставил перед собой всемирно-историческую задачу. Центральной точкой национал-социалистских песен всегда бывает лишь освобождение собственного народа. Следовательно, они проникнуты партикуляризмом.

Потому-то эти песни приводят к определенному виду торжества, стремительно приобретшего характер культа: к празднику отечества и к культу его персонального воплощения, фюрера как посланника Божьего или даже как самого Бога. Основой таких празднеств, как правило, являлся торжественный марш; дополнительный оттенок приносили стучащие в унисон сапоги; окружающей средой были знамена, штандарты и пилоны; кулису образовывало многотысячеголосое “хайль”. Очевидно, в качестве образцов здесь были использованы церковные празднества, но также и праздник “блеска кайзеровской империи”. Третий Рейх был империей празднеств как самоцели и самоизображения – на этот момент была направлена суровая критика Освальда Шпенглера. Но на таких празднествах вырисовывалось резкое противоречие по отношению к Веймарской республике, имевшей серый и сухой вид, и нельзя было исключить того, что праздники могли создать силу и привести к успехам, тогда как, по мнению Шпенглера, сила и успехи должны быть их предварительным условием. Названия национал-социалистских праздников читаются подобно календарю праздников католической Церкви.

Так, 30 января каждого года отмечался “День захвата власти” с традиционным шествием факелоносцев через Бранденбургские ворота; в марте основным праздником считался “День памяти героев”, как теперь назывался “День народного траура” Веймарской республики; 20 апреля, в “День рождения фюрера”, как правило, проходил грандиозный парад; 1 мая, в “День национального труда”, вся Германия утопала в зелени и знаменах, и в одном лишь Берлине к Темпельхофскому полю маршировали полтора миллиона рабочих и служащих; 21 июня многие партийные лидеры во всех уголках рейха выступали перед зажженными огнями по случаю “Летнего солнцеворота”; сентябрь был месяцем ежегодных партийных съездов, представлявших собой весьма волнующее зрелище даже для иностранцев, поскольку эти съезды приносили впечатления, воздействовавшие на все чувства, а престарелым зрителям – еще и удовлетворение; в начале октября на горе Бюкеберг близ Гамельна праздновалось “Благодарение за урожай”; 9 ноября был день памяти павших участников национал-социалистского движения, и в Мюнхене 16 гробов с останками погибших 9 ноября под барабанную дробь перевозили из Зала полководцев на Королевскую площадь, где по образцу итальянских фашистов

мертвых выкликали по именам и голоса членов гитлерюгенда отзывались громким “здесь”; в декабре по-прежнему царил праздник Рождества, однако его планировали переименовать после войны в “Зимний солнцезвездот”.

Все это было не просто балаганом и едва ли поддается описанию с помощью выражения *panem et circenses*, хлеба и зрелищ. Но поскольку праздник столь преобладающим образом являлся самоцелью и стремился обращаться исключительно к иррациональным силам в человеке, дистанция между его эмоциональным содержанием и рациональной инсценировкой или организацией бросалась в глаза куда сильнее, чем в Советском Союзе и у немецких коммунистов.¹⁵ Поэтому пропаганда здесь служила не просто продолжением песен и празднеств. До тех пор, пока она все еще представляла собой полемику против “Версаля” и вновь и вновь указывала на “кровоточащие границы Германии”, в школе и в общественной работе ее можно было приурочить ко многим делам Веймарской республики. Но ни один руководитель “Центрального имперского управления по служению родине” никогда не говорил столь холодно и цинично о необходимости лжи, примитивности и повторения одного и того же, как о неизбежных пропагандистских средствах, как это сделал Гитлер в “Майн кампф”. Йозефа Геббельса вполне можно представить себе генеральным директором крупной рекламной фирмы, причем, скорее всего, у него были бы большие успехи. Он быстро опознал необычайные возможности радио и умно ими воспользовался: в 1938 году были даже установлены “столбы для государственных громкоговорителей”. Речи фюрера регулярно передавались всеми германскими радиостанциями, и они производили влияние и через это СМИ, хотя их слабости при изолированно звучащем голосе можно было легче распознавать, нежели в сложном контексте массовых сборищ. Ориентация прессы представляла собой результат мастерской режиссуры Геббельса, но даже он мог настроить немецкую прессу лишь на основной тон, а значительные остатки прежнего “многоцветья” оказались сохранены – в отличие от Советского Союза, где партийная пропаганда пронизывала жизнь вплоть до отдаленнейших уголков. В фильмах особо подчеркивались великие события германской истории, но никак не антисемитизм, и, скорее, было исключением, то, что Геббельс в годы войны заказал Файту Харлану фильм “Еврей Зюсс”. Хотя журнал Юлиуса Штрайхера “Штюрмер” лежал на бесчисленных витринах, даже среди многих партийцев его считали культурным позором. Даже в годы войны бросалась в глаза значительная доля неполитических развлечений не только в фильмах, но и в иллюстрированных газетах.

В эту эпоху основным переживаниям и основным эмоциям, каковые, никоим образом не будучи единственными, были важнейшими, предстояло найти наглядное “дистанционное” отражение в романах современников, а именно – в тех романах, что были сопряжены с русской революцией. Основополагающими считались три романа и один дневник; все они

были написаны до 1933 года и потому не могли испытать влияния со стороны Третьего Рейха: одно произведение, принявшее сторону большевиков и все-таки являющееся не просто партийной литературой, и три произведения авторов, принявших другую, антибольшевистскую, но не национал-социалистскую сторону – в первом случае только одно, поскольку воззрения просты и однозначны; и три в другом, так как сложность и амбивалентность этой стороны надо было показать по меньшей мере в виде наметок.

Михаил Шолохов написал первые части серии романов “Тихий Дон” около 1930 года, и в нашей связи, прежде всего, представляет интерес книга вторая, “Война и революция”. Повествование начинается в октябре 1916 года в одном из казачьих отрядов российской армии, над которой уже нависла тень поражения. Повсюду распространилась усталость от войны, смертельное утомление определяет происходящее, но на взгляд офицеров все пулеметчики “заражены”, так как среди них циркулируют листовки, призывающие к тому, чтобы положить конец войне и истребить огнем и мечом ответственных за всемирную бойню: царей, дворян, международных промышленных магнатов, русских “буржуев” и даже офицеров, этих “псов”, отдающих и выполняющих беспощадные приказы о наступлении, которые ведут к такому кровопролитию. Между тем, один из казачьих офицеров, вольноопределяющийся Бунчук, чувствует то же, что и солдаты; поэтому он дезертирует и вступает в подпольную большевистскую организацию. Других же переполняет гнев против “холерных бацилл”, большевиков, которые хотят отдать Россию германским врагам. Но на родине распространяются подавленность и пораженчество, и богатый купец в казачьей станице чувствует, как у него уходит земля из-под ног, так как он не может справиться с нечистой совестью, касающейся собственной эксплуататорской деятельности. Совершенно аналогичным образом ощущают себя офицеры, когда отряд переводится в Петроград для защиты правительства: солдаты-казаки отчуждаются от них, ибо они хоть и готовы втягиваться в дискуссии, но на “смертельно простые взгляды” солдат о необходимости заключить мир и наказать ответственных офицеры не в силах дать ответы. И, таким образом, победу одерживает не верховный главнокомандующий Корнилов, который требует беспощадного искоренения всех большевиков как смертоносных бациллоносителей, а бывший вольноопределяющийся Бунчук, снова всплывающий в упомянутом отряде в качестве агитатора и, со своей стороны, выдвигающий беспощадное требование: “Они нас или мы их... Пленных не брать... Таких (как капитан Калмыков) надо истреблять как паразитов.” И затем, после того, как большевики захватили власть, фронт распался и солдаты “грабили в пути и катились по своему отечеству подобно бурной неуправляемой лавине”, пристреливая собственных офицеров. Казачий отряд тоже возвращается в свою деревню и солдаты не подозревают, “что еще больший ужас и более ужасные события, чем они пережили на войне,

подстерегали их на пороге их хат.” Вскоре они зовут к себе зажиточных, но уважаемых казаков, стремящихся сделать Донскую область независимой от России, однако большевистские агитаторы тоже домогаются их душ. Бунчук сражается под Ростовом; ни одна из сторон не берет пленных. Наконец, атаман Каледин в отчаянии стреляется, и обоз из 5000 белых, среди которых бывший председатель парламента Родзянко, пытается пешим маршем достичь Кубани. “Россия идет на Голгофу... цвет России – думал Листницкий... Ту же ненависть и ту же безграничную ярость, что бушевали во мне, несет в себе каждый из этих 5000 обреченных на смерть.” Но и другая сторона ощущает не меньшую ненависть и не менее ожесточенную ярость. Бунчук командует революционным трибуналом: “Почти каждый день на грузовиках за город отвозили приговоренных к смерти, приговоренные спешно копали могилы...” Бунчук часто бывает подавлен, но утешает себя следующей мыслью: “Прежде чем сажают цветы и деревья, надо убрать дерьмо”. Но среди этого “дерьма” есть и много трудящихся, и простых казаков, так что избавиться от подавленности Бунчуку не удастся. Наконец, его отряд красногвардейцев терпит тяжелое поражение в казачьей области, и они все гибнут, в том числе и Бунчук, и самый пламенный большевик среди его товарищей, поповский сын.¹⁶

О гораздо более значительных боях и о куда более грандиозном походе обреченных на смерть людей рассказывает Эдвин Эрих Двингер в своем романе “Между белыми и красными” – о боях войск адмирала Колчака, к которым примкнули немецкие пленные офицеры, и об их победоносном продвижении чуть ли не до Волги, но и (по слухам, после измены чехов и союзников) об ужасающем отступлении через зимнюю Сибирь, стоившем жизни миллиону людей – офицеров, солдат, женщин, детей – по выражению автора, цвету русской буржуазии. Нет недостатка в подробных описаниях злодеяний обеих сторон: расстрелы без разбору всех подозреваемых, осуществляемые белыми, порка комиссаров до смерти, выбор пленных, – но также и кастрации и “пытки крысами”, проводимые другой стороной. Здесь тоже формулируется простое мировоззрение, с помощью которого белые оправдывают самих себя: борьба с “азиатским хаосом”, самоутверждение против “Молоха”, “рыцарский крестовый поход в защиту западной культуры”. Но больше бросается в глаза, что большевики изображены подобно верующим, которые стремятся способствовать тому, чтобы “земля породила новое время”, и с пылкой убежденностью поют: “Мир изменился до основания. Рабы взяли власть.” На этом фоне многих белых офицеров охватывает глубокое отчаяние: “И вот так мы должны победить? И победить людей, провозглашающих идеалы?” – “Разве они совсем уж неправы, эти красные?” – “Мы извращенцы и вырожденцы, прогнившие телом и душой... Так долой же нас!” Итак, кажется, что поиски собственной идеи превращаются всего лишь в некий постулат, в вопль отчаяния. Что утверждается бесспорнее всего, так это тяга простых немецких солдат назад в отечество, на родину, к порядку,

при котором русский фанатизм и русские ужасы будут очень далеко и таковыми останутся навсегда.¹⁷

Как своего рода малую Германию, Зигфрид фон Фегезак описывает мир балтийских и особенно лифляндских немцев – как уменьшенную копию старой Германии. Для него тоже башни Риги – это “предупреждающие знаки и стражи немецкой культуры на дальнем Востоке”. Этот мир он изображает с симпатией и любовью: столь же близкая к природе, сколь и культурная жизнь немецких дворян в их крупных поместьях, по большей части дружелюбное общение между родственниками, вассальная верность по отношению к царю, несмотря на все попытки русификации со стороны властей, душевное взаимопонимание латышских слуг и арендаторов с немецкими “барами” и “барынями”, ибо – как говорит одна из служанок – “земля принадлежит только господам, как небо – Господу. Так уж устроено.” Но автор описывает также и в первую очередь потрясение всего, что до сих пор казалось само собой разумеющимся: ропот и возмущение городских рабочих в революцию 1905 года, после того, как еще в начале войны с Японией икона Казанской Богоматери, покровительницы империи, была провезена в специальном поезде через всю Россию и повсюду приветствовалась коленопреклоненным народом; бесстыдство народа и, наконец, сожжение многочисленных усадеб и уничтожение как раз самых популярных представителей небольшой прослойки латвийской интеллигенции, ощущавшей свою принадлежность к немецкой культуре.

А в реакции на это у молодого поколения немцев развивалась новая мораль, отвечавшая решительным контртеррором на террор и стремившаяся заменить латышских батраков волынскими немцами, – на что “барыня” из старшего поколения немцев лишь решительнее придерживается старых христианских максим: “Если ваша новая мораль действительно отменит у нас то положение, при котором у латышей одно право, а у немцев – другое, то мы здесь отыграли свою роль. Ведь право остается правом, а несправедливость – несправедливостью”. Но у других, более молодых немцев растет сомнение по поводу собственной жизненной формы и смысла жизни, о которой говорится: “Охотились, ездили верхом, ловили раков и каждый вечер как следует напивались”, и поэтому возглас одного из молодых графов: “Как я ненавижу это прошлое!” уже не представляет собой нечто изолированное.

А затем начинается война и разражается революция, немецкие войска осаждают Ригу до тех пор, пока после известия о революции в Германии они не превращаются в разрозненные кучки; начинается красный террор. На льду какой-то реки красные заставляют раздеться несколько десятков доставленных туда немцев, затем их заталкивают в стремительно пробитую прорубь, подвергая жестоким мучениям; в Дерпте из sklepa вытаскивают трупы курляндских герцогов и еще раз убивают штыками; 300 мужчин и женщин роют себе братскую могилу, и их заставляют встать у ее

края, где их расстреливают. Но когда прибалтийское ополчение вместе с белогвардейскими войсками освобождает Ригу, будучи не в состоянии помешать убийству многочисленных узников централа, разражается не менее значительный контртеррор: на деревьях висят целые гроздья казненных большевиков, пленных никто не берет, безоружных застреливают. И когда с помощью англичан создается латвийское правительство, крупные усадьбы раздаются по частям, и справедливость оборачивается уравниловкой и взаимной ненавистью. Герой же, точнее — полный отчаяния и колебаний антигерой, уезжает туда, где он только и может чувствовать себя дома, в Германию.¹⁸

В Германию, а точнее — в Австрию, в конечном счете уезжает и дочь русского буржуа, Александра Рахманова, чьи дневники, озаглавленные “Студенты, любовь, Чека и смерть”, снискали большой читательский спрос в Веймарской республике. Она тоже начинает с описания культурной жизни, еще не отягченной войною, жизнью семьи врача где-то в провинциальном городе. Здесь революция начинается как обещание, и впоследствии жених героини гордо и счастливо рассказывает о демонстрациях, в которых он участвовал, будучи курсантом военного училища. Однако вскоре атмосферу меняют толпы пьяных солдат, по большей части дезертиров, что всеми мыслимыми способами пытаются оскорбить офицеров. Но и студенты охвачены волнениями и требуют освобождения от профессорского ига. Слуги то и дело бегают по собраниям, и повсюду раздаются проклятья в адрес “буржуйских свиней” и богатеев, чье имущество призывают раздать бедным.

После захвата власти большевиками один лакей становится комиссаром больницы, главным врачом которой служит отец Александры, и тогда вихрь переворота увлекает в бездну не только буржуазию и церковь, но и ту интеллигенцию, что с громадным энтузиазмом его подготавливала. Расстрелы превращаются в повседневную реальность. Один комиссар делает брачное предложение супруге тайного советника и на ее испуганный ответ, что она все-таки уже замужем, мимоходом замечает: “Ну это очень просто, его-то мы и расстреляем.” Чтобы искоренить в народе суеверия, привозят знаменитого “старца”, жившего на острове, и сажают на кол, после чего он в муках умирает. Приводят попа, чтобы он помолился за старца, тем самым явив немощь своего “искусства”, а затем вместе с попадьей и детьми убивают его ударами бревна. После покушения на Ленина в газетах появляется и официальное требование, согласно которому за смерть одного большевика надо лишить жизни тысячу буржуев.

Наконец, город захватывают белогвардейцы. О белом терроре говорится немного. И все-таки в дневнике Александры Рахмановой тоже есть аналогия тому отчаянию и пессимизму, каковые характерны для Двингера и Фегезака. После “освобождения” тотчас же появляется масса тех товаров, отсутствие которых столь тягостно ощущалось при большевиках, и немедленно восстанавливается бьющая ключом общественная жизнь.

“Большинство жило так, как до прихода к власти красных, и о фронте не думал никто, все успокоились.” Разве не логичным тогда казалось, что богатые родственники в Иркутске не оказали героине и ее семье ни малейшей достойной упоминания помощи и даже желали конца режиму белых, когда героиня в конце ужасного отступления белой армии очутилась в этом городе? По прочтении книги Александры Рахмановой даже встает вопрос: заслужила ли русская буржуазия, заслужила ли русская интеллигенция такую страшную судьбу, и нельзя ли сказать, что они хотя бы отчасти сами в ней виновны?¹⁹

Ни одну из четырех описанных книг не назовешь всего-навсего партийной литературой. По сути дела, во всех четырех, в том числе и у Шолохова, обрисована похожая картина ужасов великого переворота, а также его глубинных причин. Бросается в глаза, что – за исключением нескольких сцен у Шолохова – нигде не показаны евреи; очевидно, ни один из авторов не придерживается мнения, что такого рода события можно объяснить действиями какой-то отдельной этнической группы.²⁰

Если попытаться рассмотреть такой основной опыт и такие основные эмоции в целом, то напрашивается констатация: опыт, который лег в основу рабочего движения и был заимствован или адаптирован Советским Союзом в своих обусловленных войной преобразованиях в качестве базиса для собственного самопонимания и восприятия других, наложил на массы людей более сильный и стойкий отпечаток, чем любой другой основной опыт эпохи. Классовая ситуация простых рабочих представляла собой всеохватывающую реальность, а последствия “призыва к классовой борьбе” могли показаться не оставляющими выбора, хотя была и альтернатива. Если буржуазность состоит в том, что для буржуазии нехарактерна или лишь отчасти характерна классовая ситуация с утомительным физическим трудом, с недостаточной оплатой труда и с отсутствием или всего лишь с начатками допуска к образованию и культуре, то у буржуазии не могли развиваться такие же мощные и распространившиеся основные эмоции, как среди рабочих, наглядное подтверждение чему дает политика эпохи Вильгельма.

Но, сколь бы медленно ни происходили изменения, могущественная реальность такой классовой ситуации как раз в буржуазном обществе не была чем-то неизменным и надысторичным, и упомянутые эмоции не могли не изменяться, если голод для очень многих рабочих был лишь метафорой, если продолжительность рабочего времени была ограничена законом, и если открывались многочисленные возможности для приобретения знания и образования. И тогда революционерам, придерживавшимся старых понятий, приходилось становиться более резкими в своей полемике против реформистов, а испуг буржуа неизмеримо усиливался, тем более, что мировая война и революция в соседней, до сих пор внушавшей страх, но недооцениваемой стране, создавали совершенно новые ситуации.

Даже если предположить, что русская буржуазия и русская интеллигенция сами накликали и заслужили свою судьбу, то можно ли было в самом деле ожидать, что в среде столь обширной и многообразной немецкой буржуазии нигде не сформируется и не найдет широких симпатий решительная воля к превентивной обороне? Что казалось совершенно несхожим, могло теперь приобретать множество общих черт; мощные и однородные эмоции могли подвергаться дроблению, а слабые и изолированные контрэмоции — концентрации. С верой рабочего движения, на которое сильно воздействовали разные процессы и события, в то, что для многих она превратилась в особенность некоей русской партии, могла соотноситься вера в противоположное, с праздником — противоположный праздник, с определенным самопониманием и восприятием других — противоположное самопонимание и восприятие других. И тогда господство определенной веры в России можно было бы объяснять именно отсталостью российских отношений, а мощь противоположной веры в Германии — прогрессивностью отношений германских. В результате же получилось стирание четких линий и пересечение отношений.

Но одно различие оставалось явным, и оно было существенным. В национал-социалистской литературе содержались обвинения коммунистического и советского противника и призывы к борьбе с ним, но не было насмешек над ним, поскольку он пользовался уважением, слишком уж внушающим страх, даже тогда, когда он вызывал беспомощный гнев из-за того, что значительное количество немцев провозглашали Советский Союз своим отечеством. Иначе доставалось национал-социализму и Третьему рейху в отзывах коммунистических и даже леволиберальных писателей или пропагандистов, независимо от того, находились ли они в Германии, в эмиграции или же в Советском Союзе: Гитлер и Третий рейх длительное время представляли собой объект не столько страха, сколько насмешек. В таком духе Бертольт Брехт пародирует песню о Хорсте Весселе:

Hinter der Trommel trotten die Kälber
Das Fell für die Trommel liefern sie selber.
Der Metzger ruft. Die Augen fest geschlossen.
Das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt.
Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen
Sie ziehn im Geist in seinen Reihen mit.²¹

(За барабаном тяжело ступают телята,
Они сами дают шкуру для барабана.
Зовет мясник. Глаза крепко закрыты.
Теленок марширует спокойной твердой поступью.
Телята, чья кровь уже пролилась на бойне,
Духом возносятся в его ряды.)

Остается неясным, оказалась ли эта рационалистическая издевка сильнее раскрепощения иррациональных сил; вопрос о том, не жидется ли она сама на иррациональной основе предположений и надежд, оставался еще открытым, но все говорило в пользу того, что в культуре различия между двумя движениями и режимами еще более усилятся.

5. Политизированная культура.

В эпоху кульминации европейского мирового господства, между 1875 и 1900 годами, едва ли какое-нибудь понятие оценивалось выше, нежели понятие культуры; при этом считалось, что сообщество культурных государств должно поднять отсталые регионы земли на более высокую культурную ступень; Ницше же причислял себя и себе подобных к "освобожденным от обязанностей культурным людям". Культура означала совокупность высших выражений жизни, которые, однако, в отличие от высокой культуры Месопотамии, Древней Греции или Средневековья, уже не определялись основополагающей религиозной установкой и заключали в себе как знание или веру сообщества, касающиеся мироздания и его основы, так и правильную человеческую жизнь. С начала Нового времени культура подразделялась на некоторое количество относительно автономных сфер, таких, как религия, философия, наука и искусство, а те подразумевали дальнейшую дифференциацию в самих себе. Правда, то, что для одного выглядело как культурный прогресс, другому могло казаться достойным сожаления распадом того общего жизнепонимания, в котором все представители одного народа или одной нации обретали свое единство. Но ни панегиристы, ни критики "современной культуры" около 1900 года не допускали, чтобы хотя бы одна-единственная форма культуры была полностью подчинена политике, и как раз у марксистов имелось намерение освободить культуру от политического давления, еще оказываемого на нее в капиталистическом обществе.

Однако же среди европейских культурных государств Россия находилась в наиболее своеобразном положении. Великие достижения ее культуры, как, например, произведения Пушкина, Достоевского и Толстого, никоим образом не уступали величайшим произведениям культуры западной и находили полное признание в Берлине и Париже, в Вене и Лондоне. В значительных частях эта культура обладала уверенностью в себе, была культурой ведущей прослойки одной из мировых держав, которая даже выдвигала миссионерские притязания и хотела, чтобы ее считали "Третьим Римом". Но все без исключения носители этой культуры были проникнуты осознанием своей малочисленности и того, что бесконечные территории империи, на взгляд их западных партнеров, наполнены бескультурьем, т. е. миллионами безграмотных крестьян. С другой же стороны, эти крестьяне со своей православной верой и верностью царю представляли собой реалию, каковую можно было противопоставить западным неверию и раздробленности. Поэтому русская духовная жизнь гораз-

до больше, нежели немецкая или даже французская, обуславливалась борьбой за собственный путь, отчаянием из-за своего бескультурья и отсталости, с одной стороны, и горделивым осознанием жизни единой и укорененной в религии, с другой. Но немало западников заимствовало у своих противников миссионерскую самоуверенность и чувство превосходства, а многие славянофилы превратились в народников, которые резко обрушивались на самодержавие и православную религию.

Но и социализму европейского толка была свойственна критика либерализма, индивидуализма, обособленности и отчуждения, и своеобразные синтезы или синкретизмы стали вполне представимы. Такой западник, как литературный критик Белинский, не чурался требования убрать с дороги сотни тысяч паразитов и реакционеров, чтобы дать миллионам простых людей счастливую жизнь¹, представители высшей аристократии Бакунин и Кропоткин стали отцами-основателями европейского анархизма и в то же время наметили для России особую, противопоставленную Западу роль. Итак, тоска по целостности жизни, а также протест против атомизации жизни и индивидуалистической наживы образовывали черту, общую почти для всей русской интеллигенции. Единственными, кто решительно отвергал какой бы то ни было особый путь для России, вроде бы как раз являлись марксисты и Плеханов, но у зорких наблюдателей достаточно рано возникли сомнения насчет того, не сдвигают ли Ленина и его группу их догматичная нетерпимость и ненависть ко всему мелкобуржуазному куда-то в сторону Бакунина и даже славянофилов.

Итак, русская культура накануне Первой мировой войны была более политизированной, чем, например, немецкая или английская; сферы чистого искусства и объективной науки были уже; тем не менее, речь идет не о той культуре, что ориентировалась исключительно на требования намерения упущенного и устранения несовременных отношений. Все тенденции европейского искусства и европейской науки находили в России мощные и продуктивные отзвуки: символизм и футуризм, кубизм и конструктивизм, эмпириокритицизм и прагматизм, позитивизм и философия жизни находили себе место в мастерских, академиях и университетах Петербурга и Москвы не в меньшей степени, чем в столицах западного мира.

Большевистская революция поставила всех художников и ученых перед основополагающей дилеммой: надо было решиться на согласие или отказ, содействие или эмиграцию. Всякое чистое искусство и всякая чистая наука оказались как будто бурей сметены, хотя бы потому, что их представители уже не знали, откуда им доставать хлеб насущный. Писатели и поэты воевали в Красной Армии, а другие поэты и писатели сражались на стороне белых; ученые и профессора объявляли о своей принадлежности к той или другой стороне, а если они принадлежали к потерпевшим поражение, то по большей части искали убежище за границей. Тем не менее, первые годы после гражданской войны оказались для рус-

ской культуры временем оживления и взволнованности. Знаменитейший из символистов, Александр Блок, прославлял революцию, а известнейший из футуристов, Владимир Маяковский, даже превратился в ее передового борца. (Образец и учитель его, Филиппо Томмазо Маринетти, в те же годы обратился к фашизму.) Конструктивисты и кубисты задали ориентиры для подлинно пролетарского искусства и с такой же решительностью набросились на все старое, отжившее и буржуазное. В поэме "150 000000" Маяковский в высшей степени эффективным образом предоставил слово мифу нового коллективизма:

Мы

тебя доконаем,

мир-романтик!

Вместо вер —

в душе

электричество,

пар.

Вместо нищих —

всех миров богатство прикарманьте!

Стар — убивать!

На пепельницы — черепа!

В диком разгроме

старое смыв,

новый разгрозим

по миру миф.

Время — ограду

взломим ногами.

Тысячу радуг

в небе нагаммим.

Мечь — церемониймейстер.

Голод — распорядитель!

Штык.

Браунинг.

Бомба.

Идем!

Идемидем!²

Этим пламенным дыханием сметения старого и завоеваний нового, погружения в освобождающий коллектив, отмены всевозможных искусственных разногласий, построения новой жизненной сплоченности посреди неопикуемой материальной нужды были наполнены многочисленные стихотворения, вдохновлены многочисленные картины, проникнуты мно-

гие проекты монументальных архитектурных произведений. В те годы стало возможным то, чего никогда не было в Европе: один из ведущих государственных деятелей, а именно – Лев Троцкий, столь же остроумно, сколь и со знанием дела выразил свое отношение к стихам и романам новых пролетарских поэтов, но также и “попутчиков” из старой интеллигенции: к “Островитянам” и к “Серапионовым братьям”, к участникам группы “Кузница” и к футуристам, к Андрею Белому и к Александру Блоку, к Владимиру Маяковскому и к Борису Пильняку. И как раз в этих статьях из сборника 1924 года “Литература и революция” наркомвоенмор сформулировал свой символ веры, который в безграничном доверии к науке и в безудержном активизме, пожалуй, представлял собой явное и притом симптоматичное свидетельство того идеализма, что лежит в основе “исторического материализма”: “Социалистический человек хочет и будет командовать природой во всем ее объеме, с тетеревами и осетрами, через машину... Не для того же род человеческий перестанет ползать на карачках перед Богом, царями и капиталом, чтобы покорно склониться перед темными законами наследственности и слепого полового отбора... Человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, протянуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым поднять себя на новую ступень – создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно – сверхчеловека... Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гёте, Маркса. Над этим краем будут подниматься новые вершины.”³

Такие воодушевленные надежды, такие порывы, такие увлекающие за собой постановки целей в советской культуре полностью никогда не исчезали. Но уже их убедительнейшие истоки все-таки характеризуются чудовищным разрывом по отношению к убогой и серой действительности, преобладавшей на бескрайних просторах России и, несомненно, по сравнению с предвоенным временем, представлявшей собой, скорее, падение, а в лучшем случае – застой. И ни первое, ни второй не позволяли тонким образом связать общественную культуру с повседневным академическим трудом. Утонченные натуры вроде Анны Ахматовой и Бориса Пастернака вели незаметное существование, поскольку не отправились в эмиграцию; старые профессора все более вытеснялись и заменялись плохо образованной сменой из “Института красной профессуры”. В ходе чистки университетов от чуждых и враждебных элементов оказалось возможным, что ГПУ обвинило одного профессора в том, что тот занимался явным саботажем, так как потратил 500 рублей государственных денег на приобретение экземпляра “Слова о полку Игореве”, этого “памятника великокняжеского шовинизма XII века”. Один медик подвергся нападкам и был смещен со своего поста, потому что он выражал “неправильное мнение”, утверждая, будто детская смертность в Советском Союзе лишь

чуть-чуть отступила и будто фактор наследования нельзя полностью оставлять без внимания.⁴

Государственный орган цензуры, "Главлит", был учрежден уже в начале двадцатых годов и неусыпно наблюдал за тем, чтобы в прессу не попадали государственные тайны или вражеские взгляды; с самого начала государство являлось единственным издателем. То, что вся воспитательная и художественная деятельность должны быть проникнуты духом классовой борьбы, и то, что чистой науки существовать не может, считалось само собой разумеющимся. Тем не менее, еще на протяжении нескольких лет для "Ассоциации пролетарских писателей" было возможным отклонять непосредственное партийное воздействие на литературу, а для таких центральных литературных журналов, как "Красная новь" Воронского или "Леф" "Левого фронта" — противостоять огульному отождествлению культуры и политики.⁵

Однако после начала первого пятилетнего плана не только ученые утратили последние возможности индивидуальной и нонконформистской постановки проблем, но и до тех пор отличавшиеся большим многообразием школы художников и писателей лишились своей автономии, и их деятельность строго ограничивалась служением построению социализма. "Ассоциация пролетарских писателей" была распущена и создан единый союз писателей — со ссылкой на статью Ленина 1905 года "Партийная организация и партийная литература", где речь шла о том, что вся социал-демократическая литература должна стать литературой партийной⁶; теперь в указе Центрального комитета констатировалось, что обострение классовой борьбы не допускает нейтрального отношения; "культурные армии" отправлялись в "культурные походы" по стране, чтобы понизить все еще большой процент безграмотных. При содействии Горького был учрежден социалистический реализм, возведенный в новую норму, характеризующуюся партийностью и народностью и сделавшую своим предметом типическое в том смысле, что надо не изображать случайную действительность, но находить в настоящем черты будущего, а значит — нормальное.⁷

В эти годы возникали романы вроде "Поднятой целины" Шолохова, где — в противоположность "Тихому Дону" — положительные и отрицательные герои противопоставлялись строжайшим образом; "Как закалялась сталь" Николая Островского, композиционный тип которого сравнивался с византийскими житиями святых⁸; или "Энергия" Гладкова, где изображение производственных процессов кажется более важным, чем изображение живых людей. Маяковский в апреле 1930 года покончил жизнь самоубийством. Из картин исчезло все рискованное, беспредметное или конструктивистское: веселые ударники куют железо, колхозницы с песнями едут вслед за гусеничным трактором на полевые работы, крепкие девушки помогают на строительстве метро, а готовые к бою матросы стоят у орудийных башен своих боевых кораблей. Таким образом, все

сферы культуры в сталинском Советском Союзе тридцатых годов фактически вновь превратились в неотъемлемую часть общественного целого, а культура стала прислужницей в рамках грандиозной задачи производства, каковая, разумеется, сводилась к наверстыванию упущенного и все-таки в то же время стремилась перегнать развитые страны; задачи по превращению архаичной аграрной страны в современное индустриальное государство - задачи, постановке которых сопутствовала исключительность самовосхваления, все же коренным образом отличавшая Советский Союз от всех остальных индустриальных государств и как раз потому представлявшая его тем более угрожающим в качестве военной державы.

Национал-социалистская культурная политика к концу двадцатых годов началась с наступления на тех, кто в эти же годы попал под обстрел и в Советском Союзе, а именно - на так называемых "культур-большевиков", и постулировала заботу о том, что чуть позже начали взращивать и в Советском Союзе: заботу о народном искусстве, укорененности в национальной истории. Пафоса строительства, разумеется, пока еще быть не могло, а для "кульптоходов" с целью ликвидации безграмотности в Германии не существовало повода. Поэтому национал-социалистскую культурную политику до конца Веймарской республики трудно было отличить от политики немецких националистов.

В 1929 году Альфред Розенберг основал "Союз борьбы за немецкую культуру", призывавший немцев на борьбу против "культурного распада" и за "возрождение души". При этом художественный авангард сплошь и рядом приравнивали к "большевистскому хаосу": так, Ле Корбюзье называли "Лениным архитектуры", а Баухаус характеризовали как "бастион врага посреди немецкого отечества".⁹ Архитектор и историк искусства Шутьце-Наумбург во многочисленных докладах высказывался о борьбе мировоззрений в искусстве и при этом сравнивал произведения Нольде, Барлаха, Хеккеля и Хофера с фотографиями физических уродств и с "расовым вырождением". Вильгельм Фрик, будучи тюрингским министром внутренних дел и народного образования, пробивал такие указы, как "Против негритянской культуры за немецкую народность", и против воли факультета пригласил исследователя расового вопроса Ганса Ф. К. Гюнтера занять кафедру в Йене.

В этой связи казалось только логичным, что он распорядился выбравать модернистов из музея веймарского дворца: Файнингера, Кандинского, Клее, Барлаха, Кокошку, Марка и других теперь нельзя было показывать. По всей территории рейха значительное влияние оказывал историк литературы Адольф Бартельс, чья широко распространенная "История немецкой литературы" представляла собой нечто вроде охоты на евреев и "духовных иудеев". Нередко даже раздавался призыв к "национальной диктатуре в делах искусства".

В 1933 году стремительно реализовалось и это требование. Во многих местах насаждались "комиссары по делам искусства", среди них - Ганс

Хинкель, который впоследствии стал “управляющим по делам культуры” в рейхсминистерстве народного просвещения и пропаганды. Уже в начале апреля в Карлсруэ открылась крупная выставка под названием “Правительственное искусство с 1918 по 1933 гг.,” которая среди прочего пыталась пригвоздить к позорному столбу художников из “Моста” и “Синего всадника” одной лишь демонстрацией их произведений. Секция изящной словесности Прусской академии искусств подверглась своего рода большой чистке: из нее вышли Генрих и Томас Манн, Кэте Кольвиц, Альфред Дёблин, Рудольф Паннвиц, Франц Верфель и другие; большинство их отправилось в эмиграцию.¹⁰ “Закон о восстановлении профессионального чиновничества” дал возможность уволить все руководство Баухауса; из великих музыкантов Германию покинули Арнольд Шёнберг, Бруно Вальтер, Отто Клемперер, Фриц Буш и другие. Вильгельм Фуртвенглер попытался поставить себя впереди музыкантов-евреев и написал в апреле 1933 года Геббельсу, что он в конечном счете признает лишь одну разделительную черту, а именно – между хорошим и плохим искусством, но министр ответил совершенно так же, как мог бы выразиться Ленин: “Искусство в абсолютном смысле, как понимает его либеральная демократия, не имеет права на существование”.¹¹ 10 мая длинные колонны немецких студентов выстроились на площадях многих городов Германии, чтобы совершить масштабную акцию по сожжению книг, а в Берлине Йозеф Геббельс вместе с новым ординарным профессором политической педагогики Альфредом Боймлером произнесли страстные речи против интеллектуального разложения, царившего в Германии на протяжении 14 лет. Сожжены были, среди прочего, книги Зигмунда Фрейда, Фридриха Вильгельма Фёрстера, Карла Маркса, Эриха Мария Ремарка; некоторые из “приговоров к сожжению” звучали следующим образом. “Против декадентства и морального распада. За дисциплину и нравственность в семье и государстве! Я предаю огню произведения Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера”. “Против калечащей душу переоценки половой жизни, за благородство души человеческой! Я предаю огню произведения Зигмунда Фрейда”. “Против литературной измены солдатам мировой войны, за воспитание народа в духе правдивости! Я предаю огню произведения Эриха Мария Ремарка”.¹² Германист Ганс Науман комментировал сожжение книг в Бонне следующими словами: “Мы отрясаем прах иностранного господства, мы прорываем блокаду”, а Альфред Боймлер в Берлине сказал, что с духовной точки зрения национал-социализм означает “замену образованных солдатами”.¹³

Между прочим, сожжение не только рукописей и книг, но также и кукол политических фигур относилось к преимущественно прогрессивной традиции не только в Германии, но и в Англии – от Мартина Лютера до Вартбургского праздника* и вплоть до сожжения символических соломенных чучел в годы чартизма. Некоторые из заклеянных позором авторов были недоступны для широкого читателя и в Советском Союзе, где

Комитет по народному просвещению в начале двадцатых годов внес в списки запрещенных авторов даже Платона и Шопенгауэра, а в публичных библиотеках были учреждены крупные специальные отделы, где хранилась нежелательная литература. Но в Берлине была собрана вся мировая пресса, и корреспонденции ее не подлежали предварительной цензуре, каковая не позволила западным корреспондентам в Москве уже в 1925 году сообщить мужественные и резкие слова, какими немецкий студент Киндерман ответил судьям на так называемом “студенческом процессе”. Потому-то этот процесс был заклеямен во всем мире как “средневековый”, хотя по существу он представлял собой следствие антилиберального тоталитаризма, а национал-социалистская Германия потерпела тяжелое поражение в сфере духа, хотя она пока еще была несравненно более доступной и открытой, чем Советский Союз. Несомненный консерватизм, со своим уважением к вермахту в отношении вооружения и готовности к войне оказавшийся выгодным, в этой зрелишной и радикализованной форме вызвал лишь неприятное удивление даже в среде наиболее консервативных англичан как раз потому, что Германия пока еще безоговорочно считалась частью европейского культурного сообщества.

Правда, период до начала 1934 года представлял собой еще переходную стадию, что стало возможным, по существу, благодаря соперничеству между Геббельсом и Розенбергом, из коих первый был более либеральным или менее догматичным. Со стороны некоторых представителей Национал-социалистского союза немецких студентов предпринимались попытки спасти экспрессионизм как немецкое движение, и фактически можно сослаться на Ганса Йоста, когда-то являвшегося соратником Иоганнеса Р. Бехера в сфере искусства, но тем временем – подобно представлявшему противную сторону Бехеру – стремившегося стать главным образом передовым борцом своей партии и произнесшего пресловутую фразу о том, что когда он слышит слово “культура”, он хватается за револьвер.¹⁴ Остатки левых национал-социалистов, со своей стороны, бурно полемизировали против реакции в искусстве и требовали всесторонней революции, которая преобразит и искусство. Сам Гитлер высказывался и против народно-шовинистического (völkisch) догматизма, и против представителей авангардного модернизма. Важнейший организационный базис для национал-социалистской культуры был создан уже 22 сентября 1933 года: закон Имперской палаты по делам культуры сделал занятия искусством, как минимум, тенденциозными, поставив их в зависимость от ведомств народно-шовинистического государства. Отдельные палаты, как, например, “Имперская палата словесности” и “Имперская палата изящных искусств”, обязывали своих членов к принудительному объединению и строгой дисциплине; утрата членства в союзах была равнозначна запрету на профессию и даже на труд; наиболее известной жертвой этого закона стал Эрнст Барлах. Важнейшими партийно-ведомственными инстанциями, которые занимались искусством, были штаб уполномоченных

фюрера по контролю над общемировоззренческой подготовкой и воспитанием НСДАП под руководством Альфреда Розенберга, а также “Экзамениационная комиссия по защите национал-социалистской словесности” под руководством рейхслайтера Филиппа Булера. Их можно сравнить с “Главлитом”, а отчасти – и с Отделом пропаганды и агитации ЦК, тогда как Имперская палата словесности соответствовала Союзу писателей.

С начала 1934 года официально существовало лишь “искусство национал-социализма” наряду с обширной сферой неполитической развлекательности. Но даже тогда продолжали существовать многочисленные частные издательства, а многие авторы-неконформисты все еще могли публиковать свои произведения, если в тех трудно было усмотреть оппозиционность режиму. Однако же, неоспоримое преобладание имела “народная (volkhafte) словесность”, в которой значительное место занимали крестьянские романы. Наряду с идеологией “крови и почвы”, наблюдались, например, изображение позитивного опыта войны у Вернера Боймельбурга, П.К. Эттигхофера и Ганса Цёберляйна, мифологизация немецкой истории у Ганса Фридриха Блунка и Вильгельма Шефера, борьба за народный дух (Volkstum) у Ганса Гримма и Вильгельма Пляйера, метафизика германской расы у Эрвина Гвидо Кольбенгайера.¹⁵ И все-таки охарактеризовать эту литературу как “победу всепошлейшей страны” было бы недостаточным: очевидной была ее увязка во многих местах с такими значительными фигурами, как Стефан Георге, Эрнст Юнгер и Герхарт Гауптман. Скорее, следовало бы сказать, что тут была извлечена одна из основных тенденций немецкой литературы, как раз из-за нее обрешавшей себя на бесплодие или изоляцию, что особенно наглядно продемонстрировал пример с Готтфридом Бенном, поначалу приветствовавшим Третий рейх, но затем вынужденным избрать внутреннюю эмиграцию в вермахте. В 1938 году немецкую литературу, оставшуюся в Германии, на мировом уровне принимали во внимание столь же мало, сколь и литературу “социалистического реализма”: она стремилась быть немецкой – и только, но в ней тоже проявилось, что литература как таковая не в состоянии существовать благодаря лишь одному корню.

Аналогичное развитие претерпело изобразительное искусство. В нем Гитлер был заинтересован куда больше. С негативными целями он способствовал организации выставки “Искусство вырожденцев”, которой предстояло стать “выставкой культурных свидетельств большевизма” и действительно вызвать у многочисленных посетителей сильное и искреннее негодование. Позитивное же влияние должны были оказывать “Великие немецкие художественные выставки”, которые в мюнхенском “Доме немецкого искусства” открывал по большей части сам Гитлер. Наряду со множеством натюрмортов крестьянского романтизма Зеппа Хильца, там были собраны обнаженные натуры Адольфа Циглера, а также монументальная пластика Йозефа Торака и Арно Брекера; забавным примером культа фюрера является картина Хуберта Ланцингера

“Знаменосец Гитлер”, где Гитлер изображен в рыцарском снаряжении. Исчезло все трудное, сложное и ошеломляющее, повсюду господствовали простые линии, рассчитанные на тысячелетний рейх, где времени не будет.¹⁶

В области театра “места для проведения тингов” следует считать самостоятельными нововведениями национал-социализма. И здесь, как и в московских экспериментах Мейерхольда, присутствовало намерение упразднить разделение между артистами и публикой. В 1933 году в таком духе впервые осуществилась постановка “Немецкой страсти” Рихарда Ойрингера. Но переход к миру языческих символов не удался, и в 1937 году этому эксперименту пришел конец. Театр национал-социалистской эпохи, по существу, оставался театром буржуазного образования; своего важнейшего покровителя он обрел в Германе Геринге, а самого знаменитого актера – в Густафе Грюндгенсе.

Совершенно иначе обстояли дела в архитектуре. Гитлер считал ее наиболее близкой для себя областью. Чудовищные планы перестройки Берлина по поручению Гитлера разработал Альберт Шпеер; по монументальности они не уступали соответствующим планам ранней советской эпохи; нюрнбергская площадка для партийных съездов все-таки была отчасти завершена. Новая рейхсканцелярия и Дом немецкого искусства были выполнены в классицистическом духе и напоминали мрачно-угрожающие замки рыцарских орденов, тогда как образец “университета” в любом случае заслуживает эпитета “бездуховно-монументальный”. Более поздние проекты памятников погибшим в русской степи были кошмарами квазиориенталистической безмерности. “Национал-социалистскую любовь к строительству” невозможно понять не на фоне критики культуры и без учета воли к упразднению модернистского отчуждения, но в ней проявился именно закон всех крупных деспотий.¹⁷

Эта атмосфера особенно подавляла философию и науку. Но и тут произошло не просто, так сказать, “вторжение извне”. Старое противопоставление философии и науки с начала столетия развилось в антисциентизм. Крупнейший философ Германии сражался на стороне национал-социализма точно так же, как и ее наиболее знаменитый юрист. Впрочем, Хайдеггер одумался уже в 1934 году, а Карл Шмитт в конце концов тоже проникся подозрительностью в отношении своей партии. Хотя даже такой мыслитель, как Эдуард Шпрангер приветствовал освобождение от марксизма и психоанализа, а труд Карла Ясперса “Духовная ситуация эпохи” (1930) едва ли способствовал тому, чтобы отвлечь молодых читателей от национал-социализма, так как был близок духу консервативной революции. Подавляющее большинство германистов и историков с самого возникновения Веймарской республики находилось на стороне националистов, и если до 1933 года они образовывали, скорее, противовес по отношению к прогрессирующим социальным наукам, то теперь их господство казалось совершенно безраздельным. Наибольший процент про-

фессоров-евреев насчитывался в таких неполитических специальностях, как медицина и естествознание, но также и в таких пока еще не полностью признанных науках, как социология и политология. Среди немецких ученых было очень мало сопротивления увольнению или изгнанию их еврейских или левоориентированных коллег, однако нарушение солидарности произошло гораздо раньше и не с одной стороны. Между тем, ни в коем случае невозможно говорить о коричневых университетах. Хотя среди части студентов действительно разыгрывалась революция в высшей школе, но все-таки она была инициирована студентами, и, к тому же, здесь тоже сыграли роль такие старые мотивы, как борьба против "господства ординарных профессоров" и за участие студентов в принятии решений. Однако же, спонтанность снизу вскоре оказалась отменена беспрекословным авторитетом верхушки университетов, ибо ректор и деканы теперь превратились в начальников и "фюреров". Правда, и в дальнейшем среди молодежи оставалось много недовольства, однако надо добавить, что она не всегда была молода годами, но желала национал-социалистской науки. К "молодым" относились, например, Эрнст Крик, Альфред Боймлер и Вальтер Франк. Нападки Франка на одного из наиболее уважаемых представителей его цеха, Германа Онкена, которые он опубликовал в "Фёлькишер беобахтер" за подписью "L'Incorruptible", *Неподкупный*, пожалуй, вызвали уже больше страха, чем негодования. Тем не менее, основанный Франком "Имперский институт истории новой Германии" никогда не был аналогом "Института красной профессуры" и, по существу, ограничивался "исследованиями в области еврейского вопроса". И еще: хотя в весьма значительном журнале "Хисторише цайт-шрифт" Фридриха Майнеке как ответственного редактора заменил Карл Александр фон Мюллер, но фон Мюллер тоже принадлежал к "приличным" ученым, и Франк оказался не в состоянии опубликовать статьи по основному предмету журнала, где, как и прежде, была представлена специально-научная линия.

Национал-социализм фактически резко противостоял scientистским принципам, и если лауреат Нобелевской премии Филипп Ленард с особенной наглядностью представил эту ситуацию в заглавии своей книги "Немецкая физика", то от этой физики расстояние до понятия "объективность науки" было еще большим, чем от "науки пролетариата" в Советском Союзе, ибо пролетариат выдвигал претензию на всеобщезначимость результатов, а германство – нет. И хотя объективно нельзя назвать справедливым, что многие интеллектуалы в странах западной демократии едва ли знали о миллионах жертв коллективизации и направляли все свое негодование на национал-социалистскую Германию, с точки зрения культуры их поведение было оправданным или, по меньшей мере, не было непонятным.

Аграрное государство, проводящее свою индустриализацию с напряжением всех сил и с беспощадным применением насилия, к тому же, ли-

шая культуру всякой автономии и полностью подчиняя ее служению высшей цели, может показаться устрашающим и опасным для соседей. Но современная индустриальная нация, которая на площадках для тингов чтит военные подвиги и богов праотцев – хотя бы даже по намерению – само по себе неправдоподобное образование, оно может существовать лишь временно и при совершенно определенных условиях, т. е. когда оно не переходит к насильственным мерам преследования и когда мы допускаем, что индустриальное общество делает возможными как раз неиндустриальные формы жизни.

Итак, если вопреки похожей политизации, различие между описываемыми режимами особенно отчетливо проявляется в сфере культуры, то подобие вновь усиливается, как только речь заходит об основах повседневной жизни, о праве и бесправии.

6. Право и бесправие

Советские воззрения на право и бесправие проистекают из основных представлений, каковые являлись для Ленина и его соратников само собой разумеющимися и из которых без труда можно было вывести практические следствия.

В октябре 1920 года Ленин на съезде Комсомола сказал: “Нравственность есть то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и единению всех трудящихся”.¹ Эта дефиниция, со своей стороны, происходит из цели социализма, определяющейся как “всеобщее разоружение, вечный мир и братское сотрудничество всех народов земного шара”, как сказано в “Декрете об обязательном обучении военному ремеслу” (апрель 1918 года).² Поэтому, как сформулировал чекист Петерс, внутри страны должна вестись систематическая война против буржуазии, чтобы преобразовать ее из паразитического класса в сообщество трудящихся и тем самым способствовать ее исчезновению как класса³; во внешней же политике следует любым мыслимым образом способствовать переходу средств производства в руки рабочего класса и тем самым – превращению международного коммунистического движения в “могильщика буржуазного общества”.⁴ Пролетарская диктатура не должна связывать себя законами, даже собственными, потому что вновь и вновь может потребоваться прямое применение насилия ради того, чтобы способствовать победе “революционного правосознания”. Поэтому Троцкий охарактеризовал казнь царя и его семьи как “быстрое правосудие”, которое должно было показать сторонникам и противникам, что вожди пролетариата полны решимости вести беспощадную борьбу, принимая лишь одну альтернативу: “победа или полная гибель”.⁵ К такому пафосу очищения земли от всяческой несправедливости и зла стихотворения вроде того, из которого взяты следующие строки Демьяна Бедного, подходили как нельзя больше:

Вставай! Вставай! Ты народ, мститель за печаль земли,
Проснись, вставай! Уничтожай, уничтожай!
Уничтожай всех преступников,
Всех расхитителей нашего хлеба.⁶

Такое требование может показаться поэтическим преувеличением, но революционное право настоятельно требовало бесправия для врагов революции, а Ленин в речи, произнесенной перед Центральным советом профсоюзов, выделил Статью 23 Конституции РСФСР, где сказано, что Советская республика отнимает у отдельных лиц и отдельных групп те права, которые можно использовать в ущерб интересам социалистической революции, — и продолжал: “Мы открыто заявили, что в переходный период не только не обещаем никакой свободы направо и налево, но и говорим заранее, что будем лишать всяких прав буржуазию, мешающую социалистической революции. А кто об этом будет судить? Судить будет пролетариат”.⁷ Но в других высказываниях Ленин достаточно рано с большой отчетливостью дал понять, что революционное насилие следует направить даже против колеблющихся и медлящих элементов самого рабочего класса. Таким образом, право могло считаться не чем иным, как неограниченной волей партии, а значит — партийного руководства, а бесправие — таким положением, в которое следовало поставить всех врагов этой воли к праву. Поэтому даже ЧК относилась к сфере осуществления правосудия; “народные судьи” являлись органами партии, не наделенными ни малейшей независимостью, а бесправие считалось такой беспощадностью к врагам, при которой не щадили даже вдову давно умершего священника, лишенную всех гражданских прав и не имевшую даже привилегий на продовольственные карточки. В 1922 году был устроен первый из крупных показательных процессов, процесс против 22 эсеров; к зданию суда привели очень много детей, кричавших: “Смерть эсерам, смерть врагам народа!”⁸ Никогда прежде в европейской истории ни одна группа людей не отождествляла столь полно свою волю с волей истории и с благом людей; никогда прежде господствующий класс столь неприкрыто не объявлял свои интересы главным критерием для действий — ведь он стремился стать последним из господствующих классов и предвестником конца всякого господства. Поэтому на московском “студенческом процессе” стены зала суда были “украшены” лозунгами вроде следующих: “Рабочие и крестьяне судят согласно принципам классовой борьбы”; “Пролетарский суд защищает интересы рабочего класса”; “Пролетарский суд — орган революционной диктатуры”.⁹

Следовательно, не могло считаться несправедливостью, что ЧК — в грубейшем противоречии ко всем государственно-правовым принципам, разработанным на протяжении долгих столетий европейской истории — было сразу полицией и государственной прокуратурой, судьей и палачом. Однако же, в более узком смысле сформировалась такая юриспруденция, в которой суды и прокуратура служили разными органами власти, а зако-

ны образовывали основу судопроизводства. Но о том, как мало реализовывалось это основополагающее разделение, свидетельствуют определения Уголовного Кодекса РСФСР от 1926 года.¹⁰

В заверениях, что закон намечает мероприятия “социальной защиты судебно-исправительного, медицинского или медицинско-исправительного характера”, а также не ставит перед собой в качестве задачи месть и наказание, подразумевались гуманистические цели; поэтому он объявлял, что отказывается от причинения физического страдания или от оскорбления человеческого достоинства. Но “тягчайшими мерами социальной защиты” были расстрел или “объявление врагом трудящихся”, и эти меры сплошь и рядом сопрягались с конфискацией имущества. Проступки, которые описывались в 14 пунктах Ст. 58, характеризовались почти исключительно как “контрреволюционные” преступления против государственной безопасности, и определялись они столь расплывчато, что даже попытка подрыва “основополагающих достижений” революции каралась смертной казнью. Но подобное же наказание, согласно пункту 1, предусматривалось за проступки того же рода, “если они были направлены против какого-нибудь другого – не принадлежащего к Союзу ССР – государства трудящихся”, и притом “в силу международной солидарности интересов всех трудящихся. Как “измена родине”, тоже каравшаяся смертью, в пункте 1а характеризовались также “переход на сторону врага” и “бегство за границу”; согласно пункту 3, аналогичным образом наказывалось “поддерживание отношений с иностранным государством или с его отдельными представителями в контрреволюционных целях”, а также, согласно пункту 8, “совершение террористических действий против представителей советской власти или служащих из революционных организаций рабочих и крестьян”. Согласно пункту 14, даже “преднамеренно недостаточное исполнение определенных обязанностей” каралось расстрелом, если при этом имелисьотягчающие обстоятельства и намерение причинить ущерб власти правительства и функционированию государственного аппарата. Но как преступления рассматривались не только проступки, но и неисполнение определенных действий, и пункт 1с вводил совокупную ответственность всех членов семьи при побеге военного за границу и наказывал даже тех совершеннолетних членов семьи изменника, которые об этом не знали, пятилетней ссылкой в отдаленные районы Сибири и поражением в избирательных правах. До 1929 года ст. 12 была сформулирована так, что она делала возможной смертную казнь даже для детей моложе 12 лет, и притом за воровство. Очевидно, эта статья была направлена против “беспризорных”, безнадзорных детей, часть которых собиралась в воровские шайки; эта статья позволяет всерьез относиться к утверждениям о том, будто ГПУ ликвидировало многие тысячи таких детей в административном порядке.

Столь антигуманный закон со столь гуманистическим обоснованием в 1926 году был единственным в своем роде во всем мире. И немного позже

к нему прибавился закон о защите социалистической собственности, на основании которого – по сообщению Солженицына – к примеру, было расстреляно шестеро колхозников, так как они убрали сено для собственных коров с уже сжатого колхозного луга.¹¹ Как могло существовать в таком государстве право на забастовку – несмотря на то, что Ленин в последние годы жизни недвусмысленно признавал возможность противоречия между интересами рабочих и руководителей огосударственной индустрии? Как могли существовать независимость судей или хотя бы доверительные отношения между обвиняемыми и их защитниками? Как могла идти речь о какой бы то ни было объективности права и судоговорения, если генеральный прокурор Крыленко в 1932 году даже требовал положить конец нейтральному характеру шахматной игры?¹²

Однако же тому, кто по своему происхождению не принадлежал к одному из “враждебных классов” и воздерживался от всевозможных “контрреволюционных” действий, сталинская Конституция 1936 года жаловала и права, отсутствовавшие в конституциях Европы: право на труд по Ст. 118, право на отдых по Ст. 119, право на бесплатное образование по Ст. 121. Можно, правда, задать вопрос, есть ли действительный смысл в столь радикальном изменении понятий “право” и “бесправие”, если в конечном счете гарантировались лишь некоторые права, каковые в западных странах все больше реализовывались в качестве реальности на пути к государству всеобщего благоденствия, не говоря уже о праве на труд, на практике оборачивавшемся обязанностью трудиться? Эти возражения становятся еще более вескими, если учесть правоту Троцкого, описывавшего в октябре 1936 года в “Бюллетене оппозиции” – разумеется, находясь за границей – социальные отношения в Советском Союзе следующим образом: “Одни живут в бараках и ходят в разорванных башмаках, другие ездят в шикарных автомобилях и живут в роскошных квартирах. Одни борются за то, чтобы прокормить свою семью, у других же слуги, дача под Москвой, вилла на Кавказе и т. д.”¹³ Как бы там ни было, господствующий класс тогда беспрецедентным образом укрепил свое господство, отождествив себя с правом, так что судьбой всех трудящихся стало именно бесправие: с 1932 года вводился контроль над трудящимися с помощью “внутренних паспортов”, а с 1940 года опоздание на работу на 20 минут могло караться двумя годами тюремного заключения. Или же целевое предписание Уголовного Кодекса 1926 года следовало воспринимать всерьез, и все различия в уровне жизни носили лишь временный характер, поскольку Советский Союз вскоре должен был построить в обществе коммунизм и окончательно сбросить иго выдохшейся мировой буржуазии? А может быть, Сталин отождествил свою власть с правом лишь потому, что его государству вскоре могла предстоять борьба за выживание?

В Германии “правовое государство” имеет за собой гораздо более старую и укорененную традицию, чем в России: понятие равенства всех гра-

ждан государства перед законом издавна сопрягалось с концепцией независимости судебной власти, с гласностью судопроизводства, с судебной проверкой административных решений, равно как и с принципом “*nulla poena sine lege*”, “нет наказания без закона”, и потому стало реальностью. Лишь таким образом социальные и политические конфликты могли быть сразу и “обнародованы”, и “усмирены”, т. е. улажены и приведены к ненасильственному решению. Между тем, по своей интенции либеральное понятие права не ограничивалось внутригосударственными отношениями: как представлялось, оно имело в виду равенство всех людей независимо от расы, происхождения и вероисповедания. Но в этой форме оно с тем большим основанием проявлялось в качестве пограничного понятия, никогда не согласовывавшегося с действительностью: нигде в мире иностранцы не имеют тех же прав, что и граждане какой-либо страны, и даже внутри государства не всегда возможно одинаковое отношение к одному и тому же, ибо в смутные, а тем более в революционные времена каждое государство трактует определенное положение вещей по-своему, в зависимости от того, ориентирована ли эта ситуация на подрыв или же поддержку государственной власти, а факт военной подсудности имеет в виду существенную разницу между военными и гражданскими. К тому же, невозможно не разглядеть того, что либеральное понятие правового государства приводит к государственной правовой монополии, а в качестве “правового позитивизма” — перерезает связи с антропологической основой, которая одна только и может легитимировать что-то вроде “неотчуждаемых прав человека” и положить предел возможному произволу в решениях, принимаемых большинством.

Во всяком случае, либеральный правопорядок всех правовых систем, существовавших перед Первой мировой войной, несомненно, гарантировал собственным врагам широчайшую свободу действий и наибольшие возможности влияния. Для царской же России подобный правопорядок столь же нехарактерен, сколь и для исламских стран, где господствовал шариат, и большевистская революция как раз придерживалась упомянутого принципа неодинакового отношения к правому и неверному, и даже обострила его беспрецедентным образом.

Эта ситуация, отразившаяся на всей Европе и особенно — на Германии, поставила либеральную правовую систему перед необходимостью элементарного решения: следовало ли сохранять принцип, хотя изменения реальности нельзя было не заметить, — или же следовало стремиться к новому типу тождественности права и реальности, разрабатывая принципы, лучше соответствовавшие общественной и государственной ситуации борьбы? Второе как раз было концепцией национал-социализма (а еще до этого — итальянского фашизма): право считалось тут не преодолением, хотя и несовершенным, общественных и государственных разногласий путем мирного урегулирования неизбежных конфликтов с тем, чтобы возникала возможность сосуществования различных взглядов, но как раз

выражением и инструментом этих разногласий. Именно таким с самого начала было ядро советского и марксистского понятий права, и учение Карла Шмитта о чрезвычайном положении, о неудовлетворительности нормы и о сущности политического как отношения между другом и врагом явилось ответом на упомянутое понятие и соответствием ему. Судьба веймарской юстиции решилась благодаря тому, что коммунистическую фронтальную атаку на буржуазное право она восприняла гораздо болезненней, чем национал-социалистскую атаку с тыла, которая поначалу казалась акцией помощи, но все-таки происходила из более враждебного настроения, нежели коммунистическая фронтальная атака, поскольку национал-социалистское право считало бесправие определенных групп не временной мерой ради того, чтобы впоследствии достичь более полного правового и жизненного равенства, но выражением вечного права как такового. Однако же эта точка зрения разрабатывалась и институционально фиксировалась лишь постепенно; на протяжении всего существования Третьего рейха сохранялись традиционное представление о праве и прежняя правовая система, и Адольф Гитлер никогда не мог заявить, что он окончательно выиграл бой против "реакционных юристов".

Как бы там ни было, уже в первые месяцы Третьего рейха были сделаны важные шаги на пути к такой правовой системе, где право и политика сделались бы идентичными друг другу. Хотя постановление рейхспрезидента о защите немецкого народа от 4 февраля 1933 года и создало особое политическое право, которое обязано было работать в пользу правящей партии, оно все же пока еще принципиально не отличалось от соответствующих постановлений Веймарской республики, вроде постановления о защите республики. Зато так называемое постановление о поджоге рейхстага от 28 февраля 1933 г. — постановление рейхспрезидента о защите народа и государства — означало отмену основных правовых определений Веймарской конституции, и в нем не содержалось ни малейших гарантий чрезвычайного характера мер "по обороне от коммунистических насильственных действий, угрожающих государству". В результате этого постановления правовое государство было упразднено и заменено постоянным чрезвычайным положением до такой степени, что последнее оставалось лишь легитимировать в качестве "здорового народного порядка". Столь же важной оказалась отмена принципа "нет наказания без закона", которой требовал рейхсминистр внутренних дел Фрик уже 7 марта на заседании кабинета министров со ссылкой на поджигателя рейхстага ван дер Люббе, тогда как статс-секретарь министерства юстиции Шлегельбергер напрасно пытался возражать, утверждая, что этот принцип не действует только в России и в Китае, а также в нескольких небольших кантонах Швейцарии.¹⁴ Апрельский (1933 г.) закон о восстановлении профессионального чиновничества и июльский закон того же года о предотвращении рождения потомства, страдающего наследственными болезнями также являли собой осознанный отход от государственно-правовых прин-

ципов. Итак, введение чрезвычайных судов 21 марта 1933 года было только одним из шагов по созданию юстиции политической борьбы; создание верховного народного суда 24 апреля 1934 года, который заменял имперский суд в делах государственной измены и шпионажа, явилось предварительной кульминацией процесса. События 30 июня 1934 года можно было безусловно охарактеризовать лишь как убийства, совершенные государством, но даже они были оправданы наиболее выдающимся наставником юриспруденции в рейхе, Карлом Шмиттом, с помощью статей, каковые правовая слепота либерального законнического мышления превратила из уголовного права в “великую хартию вольностей” для преступника, и аналогичным образом из конституционного права – в “великую хартию вольностей” для изменников и шпионов; действия фюрера неподсудны юстиции, но сами формируют верховную юстицию.¹⁵ Тем самым Карл Шмитт указывал путь к “сверхсоответствию”, мысленно превзошедшему советский аналог, как гитлеровский способ действия фактически уже превзошел его в деле Рема.

Однако старания осуществить реформу уголовного права, к которой стремился, прежде всего, рейхсрехтсфюрер Ганс Франк, скорее, ставили перед собой цель противопоставить советской “классовой юстиции” “юстицию народную”, цель каковой должна была состоять в том, чтобы “сохранять в сообществе наш народный строй, искоренять вредителей, карать за вредное для сообщества поведение и улаживать споры между членами сообщества”.¹⁶ Демократическую тенденцию можно было распознать в полемике против “чуждых народу юристов” и в требовании сделать работу юристов “ориентированной на народ, а не на сословия”. “Нюрнбергские законы” были легко совместимы с таким образом мысли, ибо на ориентации на кровь как на базовый критерий основывался уже закон о чиновниках или “Имперский закон о допущении к адвокатуре” от 7 апреля 1933 года, убавивший количество прусских нотариусов ровно на треть. Но реформа уголовного права как кодифицированный процесс дальше не продвигалась, на практике, скорее, совершаясь исподволь, посредством подавления юстиции со стороны гестапо и создания неправосудных наказаний, состоящих в административной высылке в концентрационные лагеря.

И все-таки когда началась война, “старая юстиция” еще никоим образом не была упразднена, а число узников концентрационных лагерей далеко уступало советским показателям; и несмотря на то, что евреи, несомненно, попадали под чрезвычайное право, а “аризация” экономики не многим отличалась от простой конфискации, евреев нельзя было назвать совершенно бесправными.

Более того, в Германии до самого начала войны и даже после него имелась возможность поразительных судебных приговоров. Так, даже в мае 1935 года была одобрена оспоримость распоряжений гестапо. И в том же году произошел так называемый “хонштейнский процесс” против

оберштурмбанфюрера СА Енихена и 22 обвиняемых вместе с ним — за дурное обращение с узниками концентрационного лагеря Хонштейн весной 1933 года. Несмотря на мощное давление партии, были вынесены суровые приговоры к тюремному заключению. Впоследствии обоих судебных заседателей исключили из НСДАП, а Гитлер отменил присужденные наказания уже в ноябре 1935 года.

В процессе Нимёллера в начале 1938 года было назначено мягкое наказание — семимесячное заключение, а, кроме того, предварительное заключение пошло в счет наказания. Однако же, основателю “Союза взаимопомощи пасторов” выйти на свободу не удалось, поскольку в качестве личного “узника фюрера” он был доставлен в концлагерь Заксенхаузен.

Против одного рейнландского пастора обвинение выдвинул государственный прокурор, так как этот пастор в конце одной проповеди воскликнул: “Горе Германии!” Поскольку же он сослался на “Миф” Розенберга, суд не начал разбирательство на том основании, что в книге рейхслайтера речь идет о каком-то частном труде.

Даже в годы войны было отклонено наказание берлинских евреев, которые, по мнению партии, продемонстрировали провокационное поведение, подав заявление о злоупотреблениях в распределении кофе среди членов общины.¹⁷

Между тем, 1 сентября 1939 года означало качественное изменение, в первую очередь, не потому, что вводились необычайно суровые законы, угрожавшие смертью даже за прослушивание иностранных радиостанций, но оттого, что Гитлер своим указом от 1 сентября сделал возможным уничтожение “жизней, недостойных жизни”, и тем самым дал понять, что воинственная борьба за существование отныне должна ввести его представление о праве как о способе борьбы против всего “болезненного, декадентского, вредного и опасного” в сферу подходящего осуществления. Тем самым право в смысле бесправия всех врагов и вредителей стало структурным признаком национал-социалистического государства только во время войны, а в полном объеме — после начала войны против Советского Союза. По существу, прежде существовали только начатки и предвосхищения этого. Но даже в апреле 1942 года Гитлер произнес полную клокоучей ярости речь в Рейхстаге против юристов и чиновников, в которой он требовал, чтобы ему дали полномочия не принимать во внимание “благоприобретенные права”, а также без лишних разбирательств смещать судей, если они, по его мнению, не выполняют своих обязанностей. Стоит лишь на миг представить, чтобы Сталин произнес такую речь летом 1942 года или даже в 1932 году, чтобы уразуметь, насколько непоколебимыми основные государственно-правовые представления в Германии оставались даже в разгар войны.

Поэтому поучительная позиция начальника Третьего отдела главного ведомства имперской безопасности, бригаденфюрера СС Олендорфа, от 11 октября 1942 года неслучайно пришлась на военные годы — ведь Олен-

дорф полемизировал с генерал-губернатором и рейхсрехтсфюрером Гансом Франком, который во многих докладах изображал из себя борца за безопасность права и независимость судей – но в принципе аналогичные высказывания могли встретиться уже в мирное время.¹⁸

Согласно национал-социалистским воззрениям, индивид обретает свое право уже не в изолированном положении по отношению к государству или сообществу, но только вместе с сообществом и в качестве члена сообщества своего народа. Поэтому угрозу для безопасности права ощущает лишь тот, кто не подчиняется связям с народным сообществом из чувства внутреннего долга, но ощущает их как принуждение извне. Влияние политического руководства на деятельность судей могло бы и не иметь места, “если бы юстиция располагала политически и мировоззренчески одинаково ориентированным судебским корпусом”. Такие судьи уже не характеризовались бы отчуждением от народа, но были бы в состоянии черпать право из живого народного правоощущения, не капитулируя перед буквой закона и не закрывая глаза на политические требования. И тогда право уже не принадлежало бы касте юристов в качестве своего рода частной собственности, но благодаря учету мировоззренческих и политических требований национал-социализма вновь превратилось бы во всенародное дело.

Однако в отношении современности Олендорф даже в октябре 1942 года констатировал, что такого судебного корпуса, сформированного по мировоззрению, пока нет, а в 1939 году он мог бы делать такие высказывания с еще большим правом. Даже в отношении к праву при всем подобии основной коллективистской посылки два режима в мирное время были скорее различными, чем однородными, но тут – в отличие от культуры – как раз потому, что в Германии лучше сохранились те характерные черты, которые почти во всем мире все еще считались признаками модернизированного общества (Modernität). Но это следует возводить не к национал-социализму, а к сопротивлению национал-социализму, которое по своему характеру не следует без комментариев сравнивать с сопротивлением большевизму или сталинизму в Советском Союзе.

7. Эмиграция и сопротивление

В широком смысле эмиграция и сопротивление существовали еще в классической древности и в начале Нового времени, тогда как в отношении Средневековья эти понятия, пожалуй, неприменимы; однако же, в более узком значении об эмиграции и сопротивлении речь должна идти лишь тогда, когда в важнейших частях мира сформировались государства Либеральной Системы, почти повсюду превратившиеся в парадигму. В таких государствах протест и “отклоняющееся от нормы” поведение институционально защищены и даже поощряются, а критика правительства поэтому считается не сопротивлением, а оппозицией. Там, где нет сопро-

тивления, не существует и политически обоснованной эмиграции: между 1870 и 1914 годами не существовало групп англичан, французов и немцев, которые жили бы за границей из-за того, что из протеста покинули родную страну ради борьбы с ее правительством. Подобная эмиграция и соответствующее ей, т. е. запрещенное, сопротивление существовало разве что среди русских и, соответственно, в России. Но о таких реалиях и понятиях речь могла идти попросту потому, что мерки прогрессивного Запада прилагались и к России. В самом же узком и подлинном смысле об эмиграции и сопротивлении говорить следует лишь тогда, когда ситуация, при которой была возможна оппозиция, тем или иным образом оказалась вновь возвращена в положение, когда свободное и безопасное волеизъявление в государстве уже недопустимо, поскольку к власти пришла партия, считающая все остальные партии “врагами” и стремящаяся их уничтожить.

Империя российского царизма по своей идее представляла собой патриархальное государство, где воля “самодержца” отождествлялась с общей волей, а безропотная преданность царю со стороны крестьянской массы служила свидетельством того, что идея эта глубоко укоренилась в реальности. Но из обеих столиц – под влиянием западноевропейских идей – распространялись взгляды, все больше ставившие под сомнение единство патриархального государства: сначала их распространяли некоторые части дворянства, а затем – многочисленные представители буржуазии и интеллигенции. Начатки индустриальной революции и развитие социальной дифференциации делали Россию под прикрытием царской цензуры все более похожей на остальную Европу, а после Февральской революции казалось, будто Россия стала самой свободной страной в мире, окончательно переросшей самодержавие и государственную церковь. Ропот и строптивость представителей старого режима не следует называть сопротивлением; все сколько-нибудь значительные политические силы – от октябристов и кадетов до социал-демократов – были едины в своем одобрении революции. Возможно, они и в дальнейшем оставались бы едиными в принципиальных вопросах, если бы ситуация с почти проигранной войной не сыграла столь важную роль в перевороте, и если бы именно эта ситуация не потребовала столь радикальных и чрезвычайно спорных решений.

Когда большевики захватили власть под лозунгом немедленного заключения мира и экспроприации помещичьей земли, то уже вечером 8 ноября в Петрограде образовался “Комитет по защите родины и революции”, каковой следует считать первой организацией сопротивления против большевистской “контрреволюции”. В значительной части к нему принадлежали члены других социалистических партий, против которых по существу и был направлен октябрьский путч. Между тем, правительство народных комиссаров взяло верх в вооруженной борьбе против этого комитета так же стремительно, как и справилось с попыткой Керенского

отвоевать столицу с помощью лояльных ему войск. Критику ведущих большевиков за образование однопартийного правительства следует, скорее, подводить под понятие оппозиции, нежели сопротивления. Но правительственным актом, который в качестве явно выраженной меры преследования с необходимостью создал ситуацию, когда одна из крупных партий вынужденно обратилась к сопротивлению, стал указ, объявивший в 1917 году конституционных демократов вне закона. Первым действием сопротивления, повлекшим за собой жертвы, явилась демонстрация протеста после роспуска Учредительного Собрания: когда режим не только решительно перешагнул границы законности, но и впервые пролил кровь рабочих, которых он, правда, в предшествовавшем акте семантической войны называл “мелкими буржуа”. Да и как могли бы не сформироваться центры военного сопротивления, если режим в мае 1918 года – попыткой разоружить чехословаков – сам начал гражданскую войну? Правительство в Самаре и Уфе, за которым стоял “Комуч”, состоявший из членов Учредительного Собрания, с определенным правом могло считать себя законным правительством страны. Так, когда Фанни Каплан была арестована после покушения на Ленина, она заявила, что Ленин – предатель социализма, поскольку он разогнал Учредительное Собрание, и вся Россия должна сплотиться вокруг самарского правительства.¹ Но после того, как адмирал Колчак, военный министр этого правительства, произвел в нем переворот, о законности не могла вести речь ни одна из сторон, и говорить теперь о ней лишь оружие гражданской войны.

Тем не менее, с обеих сторон еще существовали очаги оппозиции и разнообразного сопротивления. Лишенные власти эсеры сыграли значительную роль в подавлении Колчака, а в тылу Деникина вроде бы возникла многопартийная система, из коей были исключены только большевики. В течение продолжительного времени большевики не запрещали одних лишь меньшевиков, которые тоже работали в Советах. Они, однако же, находились под таким сильным давлением и на открытых выборах имели бы столь мало шансов, что выступления ведущих меньшевиков в журналах и брошюрах с крайне резкой критикой большевистской диктатуры были, скорее, актами сопротивления, чем оппозиции. Так в одном из частных писем Мартов писал даже о “чудовищной и воинственной системе азиатского правления”², которая еще приведет Россию в варварское прошлое, гораздо худшее, чем царское самодержавие. И все-таки Мартов и Дан, Либер и Николаевский воздерживались от решительного шага, каким мог стать переход на сторону белых, что не в последнюю очередь объяснялось тем фактом, что белые войска нередко устраивали еврейские погромы. Поэтому меньшевики и эсеры – несмотря на всю свою оппозиционность и немалое сопротивление – скорее прибавляли весу на большевистской чаше весов, и лишь по завершении гражданской войны были окончательно отправлены в тюрьмы или в ссылки.

Они образовали последнюю группу, примкнувшую за границей к эмиграции, создав ту форму сопротивления, которая уже не могла сложиться на родине, но множеством способов поддерживала связь с имевшимися там импульсами к сопротивлению – например, с помощью журнала “Социалистический вестник”, издававшегося в Берлине сначала Мартовым, а потом Борисом Николаевским, многочисленные экземпляры которого еще долгие годы попадали в Россию, находя в ней пылких читателей.³

Как общий феномен, русская эмиграция была крупнейшей из всех, какие до сих пор видел мир. В начале двадцатых годов она насчитывала около полутора миллионов человек, и все по политическим мотивам, при непосредственной опасности для жизни, покинули родину, где сотни тысяч их соратников по партии или товарищей по классу были убиты или нашли смерть от голода и холода.

К этой эмиграции принадлежали, прежде всего, лидеры и существенная часть приверженцев всех небольшевистских партий.

Костяк белого движения в России образовывали монархисты; почти все они оказались в эмиграции, причем позже всего – офицеры и солдаты армии генерала Врангеля, которая в ноябре 1920 года оставила Крым и поначалу сохранялась в качестве вооруженной силы в Галлиполи и других местах, поскольку французы медлили с помощью. Дальнейшая судьба этих людей оказалась незавидной: они стали беженцами и были рассеяны по разным странам. Но и жизненные обстоятельства прочих эмигрантов, как правило, были плачевными: в одном лишь Берлине в 1923 году примерно 300 000 русских вынуждены были заниматься самыми примитивными профессиями или искать внешней помощи; немало их умерло от голода.

Либералы в эмиграции стремительно разделились на правую и левую фракции, причем вторая – под руководством Павла Милюкова – постепенно сближалась с левыми эсерами.

Среди эсеров же многие совершенно открыто похвалялись тем, что своей деятельностью в тылу монархистских армий они спасли Россию от реакционного “генерала на белом коне”, и потому многие монархисты ненавидели “изменников-эсеров” едва ли меньше, чем большевиков.

Очень много меньшевиков в течение 1917-1918 годов перешло на сторону большевиков, но все-таки Юлий Мартов и узкий круг руководителей всегда противостояли господствовавшей партии. Однако своей критикой меньшевики известным образом даже придавали легитимность большевистскому режиму, а когда они окончательно отправились в эмиграцию, то сохранили по отношению к нему характерную амбивалентность: уже в 1926 году меньшевики требовали признания Советской России де-юре, и потому монархисты, как правило, считали их “полубольшевиками”.⁴

Монархисты же тоже не образовывали замкнутого единства, но подразделялись на дружественную Антанте основную часть под руково-

дством великого князя Николая Николаевича (в Париже) и на, скорее, прогерманское меньшинство под предводительством великого князя Кирилла Владимировича. К этому меньшинству причислялись русские эмигранты в Баварии, вступившие в тесную связь с Максом фон Шойбнер-Рихтером, а впоследствии под руководством генерала Бискупского перешедшие на сторону Третьего Рейха.

Но основной мотивацией для значительной части русской эмиграции была не политическая, а литературная и научная. Весьма стремительно из университетов исчезли целые специальности, как, например, “буржуазная политэкономика” и “идеалистическая философия”, а в исторической науке некоторые особенно уважаемые бывшие с большим трудом продержались до начала тридцатых годов. Многие ученые были высланы попросту за свое мировоззрение, как в 1922 году философы Николай Бердяев и Семен Франк. Среди значительных поэтов и писателей тоже многие эмигрировали, среди них – Дмитрий Мережковский и впоследствии получивший Нобелевскую премию Иван Бунин. К внутренней эмиграции причислялись Анна Ахматова и Осип Мандельштам, а иногда и Борис Пастернак; великий лирик Гумилев был в административном порядке расстрелян в ЧК по неправдоподобному обвинению. Но писатели-эмигранты, несмотря на создание многочисленных издательств и важных журналов, не сумели реализовать своей претензии – представлять единственную русскую литературу.⁵ Во-первых, западная общественность из-за языкового барьера не относилась к ним с таким уж заинтересованным участием, а во-вторых, некоторые из наиболее значительных писателей остались в России, а часть их даже перешла на сторону революции. Кроме того, в России появлялись новые писатели, быстро приобретающие известность на Западе (например, Исаак Бабель и Борис Пильняк), и совсем немало эмигрантов в конечном счете вернулось на родину, среди них – Алексей Толстой, который стал высоко ценимым “советским писателем”.

Своеобразнейшим феноменом в русской эмиграции была так называемая “смена вех”. В 1921 году шесть авторов опубликовали под этим заглавием сборник, в котором подвергли себя резкой самокритике. Они писали, что эмигранты до сих пор руководствовались неверным воззрением, будто большевики – это чуждая русскому народу банда разбойников. Между тем, оказалось, что эта партия спасла Россию от гибели и что она имеет глубокие корни в российском прошлом. Неслучайно, что самый знаменитый генерал царской армии, Брусилов, выразил готовность к службе в Красной армии. Из интернационального учения получилась национальная действительность, и теперь отсюда надо только извлечь вывод, а именно – сменить вехи и вернуться в Россию.⁶

И все-таки это возвращение оказалось незначительным из-за того, что правящая партия шла навстречу белым офицерам куда меньше, чем писателям. Но в то же время здесь нашла свое первое выражение мощная тенденция, служившая дурным предзнаменованием для сопротивления, ко-

торое хотя потенциально и обладало большой силой внутри страны, но после роспуска старой армии, национализации промышленности, а также экспроприации православной церкви и поражения ее в правах, не имело ядра для кристаллизации, причем ГПУ весьма эффективно с ним боролось.

Так, одного из наиболее упорных противников большевизма, Бориса Савинкова – в прошлом он был знаменитым террористом-эсером, а затем, при Керенском – товарищем военного министра – в 1924 году заманили в Советский Союз, где он рассчитывал войти в прямой контакт с организациями сопротивления. После ареста Савинкова состоялся зрелищный процесс, где он сознался в своей разносторонней активности, к которой относился даже план создать во время советско-польской войны освободительную армию из русских военнопленных. Немного позднее при невыясненных обстоятельствах он совершил в тюрьме самоубийство.

Вероятно, его конец находился в связи с существованием одной из своеобразнейших организаций сопротивления, так называемым *ТРЕСТОМ*⁷, который возник из контактов между неким офицером-эмигрантом и советским чиновником по фамилии Якушев. Эта организация состояла из многочисленных царских офицеров и представителей бывших партий, большая часть коих занимала влиятельные должности и преследовала цели свержения режима. Вскоре были установлены связи с ведущими эмигрантами; эта организация представила немало доказательств своих знаний и влияния, но всегда стремилась отговорить эмигрантов от преждевременных действий, так как утверждала, что шансы на захват власти стопроцентные. Лишь в 1927 году выяснилось, что Якушев после упомянутого первого контакта был арестован и переведен лично Дзержинским. Так ГПУ удалось разоблачать множество внутренних врагов и одновременно отговаривать эмигрантов от действий. Это продолжалось недолго: до тех пор, пока ГПУ не сумело похитить и “убрать” самого активного из эмигрантских офицеров, генерала Кутепова.

Однако же, возникла и противоположная тенденция – из-за того, что коммунистическая партийная оппозиция после своего официального исключения из партии в 1927/28 годах приняла характер сопротивления, когда, например, Лев Троцкий, который прежде на своих собраниях едва ли мерился силами с “бандами фашистских вредителей” – как он их теперь называл⁸ – или Христиан Раковский в местах своей ссылки организовали оживленную переписку, стремясь сформировать нелегальную сеть приверженцев. Но вскоре троцкистам заткнули рот, и тысячи их сторонников отправились в лагеря, где составляли ядро весьма активного и бурного сопротивления до тех пор, пока для политзаключенных еще продолжали существовать остатки привилегий. Однако же очень многие рано или поздно перешли на сторону победоносных сталинистов подобно тому, как множество меньшевиков и, прежде всего, весь “Бунд”, за несколько лет до этого примкнули к большевикам.

Несколько иной характер носило сопротивление некоторых национальных меньшинств против направляемых из Москвы тенденций централизации: под жестокой рукой Сталина оно вскоре перестало подавать признаки жизни; совершенно иначе складывалось, в первую очередь, сопротивление крестьян экспроприации и коллективизации: временами оно напоминало чуть ли не гражданскую войну, хотя и в высшей степени одностороннюю и продолжавшуюся до тех пор, пока она не затихло в результате депортаций и голодной смерти многих миллионов крестьян.

Сообразно этому Сталин, в ходе “большой чистки” подвергая децимации партию и армию, стремился создать впечатление, что в Советском Союзе имеется мощное и решительное сопротивление режиму. Но поведение высших офицеров и даже партийных лидеров не позволяет сделать вывод, что они замышляли заговоры и занимались приготовлениями к свержению режима. Скорее, о них можно недвусмысленно сказать, что они “шли как овцы на заклание”. За пятнадцать лет Сталину удалось до такой степени подавить все виды институциональной независимости и так подчинить каждого члена общества давлению ожидания в рамках осуществления великих задач или же поставить этих членов общества под контроль, что организаторские или даже публицистические отправные пункты для эффективного сопротивления вообще перестали существовать. Но, пожалуй, эмигранты были правы, утверждая, что, вопреки всевозможной интенсивной пропаганде строительства и единства, после ужасающего опыта коллективизации и “большой чистки” все общество оказалось настолько пронизанным глубокой неудовлетворенностью и — как минимум — смутным беспокойством, что из них возникли бы всеограшающие ожесточение и ненависть, если бы железная хватка режима хоть на миг ослабла. В финскую войну опросы советских военнопленных дали тому живые подтверждения.⁹ Напрашивался вывод, что хотя в сталинском Советском Союзе не существовало ни оппозиции, ни сопротивления, там, пожалуй, имелись все предпосылки для возобновления гражданской войны с совершенно изменившейся линией фронта.

В Германии гражданской войны в узком смысле не было, и в 1940 году никто всерьез не верил, что если рейх попадет в тяжелую военную ситуацию, дело дойдет до нее. В 1933 году из призыва коммунистов ко всеобщей забастовке могла бы получиться гражданская война, если бы к ним примкнули социал-демократы, но мощь национал-социалистского движения, очевидно, уже казалась СПГ неодолимой; коммунисты же на скорейшее “разорение” гитлеровского правительства надеялись больше, чем верили в успех собственного воззвания. Последние оппозиционные поползновения остальных партий и подавно нельзя называть сопротивлением, и поэтому следует констатировать, что, в отличие от России, в Германии эмиграция возникла раньше, чем сопротивление. Можно заранее предположить, что эта эмиграция от русской отличалась тем, что в нее отправлялись не только по политическим, но и по расовым мотивам. Но в

ранней эмиграции расовый фактор все-таки играл лишь незначительную роль, ибо в образе врага, каким был “еврейский марксизм”, гораздо более сильное ударение падало на слово “марксизм”, так что преследованию подвергались как еврейские, так и нееврейские марксисты. Специфически еврейская эмиграция, по меньшей мере, отчасти являлась, скорее, переселением, соответствовавшим старому постулату сионизма. Следовательно, ранняя эмиграция из Германии совершенно так же, как и эмиграция из России, была в первую очередь политической и литературско-научной.

Глубину противодействия отдельных партий национал-социализму в количественном отношении можно узнать по процентным показателям, отражающим эмиграцию ведущих групп или же их преследование.

Руководители коммунистов эмигрировали почти полностью, если не были арестованы подобно Эрнсту Тельману или не нашли смерть при попытке нелегальной работы подобно Джону Шеру. События 1933 года поначалу не повлекли за собой ни малейшего духовного кризиса или новых настроений; по-прежнему говорили о “революционной ситуации” и о вине социал-фашистов; нередко по коммунистическим публикациям складывалось впечатление, будто в Германии ничего не изменилось по сравнению с фашизмом Брюнинга или фашизмом Папена.

Казалось, будто поздней весной 1933 года социал-демократы стояли перед расколом партии на эмигрировавшее руководство и оставшихся на родине депутатов — до тех пор, пока запрет этой партии не прервал естественного процесса и очень многие члены германских партий не избрали путь смирения или же стремления выжить. Эмигрировавшее в Прагу партийное руководство полагало, что сможет разрешить духовный кризис, каковой невозможно было ни проглядеть, ни переиграть, посредством обращения к революционному марксизму, но благодаря этому в ярком свете предстала та основополагающая трудность, что в то же время в манифесте от 18 июня 1933 года было сказано, что коммунизм стал преступлением по отношению к немецкому рабочему классу. Новаторские тенденции необычного типа, скорее всего, можно было увидеть у молодых левых, пытавшихся перебросить мостик между КПГ и СПГ, а также в равной степени изменить обе партии. Больше всего тут выделялась группа “Новый почин”, руководимая бывшими коммунистами Вальтером Лёвенгеймом и Рихардом Лёвенталем. Оба под псевдонимами “Майлс” и “Пауль Зеринг” публиковали примечательные статьи, которые должны были служить переориентации, так как в них по-новому ставился вопрос о природе фашизма.¹⁰ Но и бывшие реформисты брали слово в важнейшем органе самопроверки, в “Журнале социализма”, а бывший редактор отдела внешней политике журнала “Форвертс”, Виктор Шифф, объявил причиной фашизма как раз не реформистский, но, скорее, революционный дух.¹¹

Из ведущих деятелей партии центра очень мало кто оказался в эмиграции. Прелат Каас отправился в Рим, но его едва ли можно было считать

эмигрантом; Генрих Брюнинг в июне 1934 года ввиду непосредственной угрозы смерти бежал из страны и после этого воздерживался от высказывания собственных мнений.

Что касается либеральных партий и немецких националистов, то здесь эмигрировало лишь некоторое количество близких к этим партиям деятелей искусства и науки.

Но, пожалуй, можно сказать, что существовала национал-социалистская эмиграция, равно как и то, что впоследствии среди диссидентов или бывших национал-социалистов имелось некоторое сопротивление. Центральной фигурой тут был Отто Штрассер, поначалу уехавший в Чехословакию, где его бывший соратник, радиотехник Рольф Формис – который, будучи техническим руководителем радиостанции, в форме СА в 1933 году саботировал предвыборную речь Гитлера – в начале 1935 года был убит агентами гестапо.¹² В 1936 году бывший национал-социалистский президент данцигского сената, Герман Раушнинг, уехал в западные страны, где сделался знаменитым на весь мир благодаря своей книге “Разговоры с Гитлером”. Непосредственно перед началом войны в изгнание отправился даже Фриц Тиссен, длительное время являвшийся важным сторонником и спонсором Гитлера среди активных крупных промышленников.

Хотя в сравнении с русской политической эмиграцией партии были представлены в иных количественных пропорциях, сложилась такая тенденция, что и тут и там из страны были изгнаны все важные представители прослойки политиков, в том числе и ведущие представители самой правящей партии.

Следовательно, в эмиграции были не только левые, совершенно так же, как нельзя говорить, что из России в ссылку отправились одни лишь правые. Аналогичным образом эмиграция литераторов и ученых касалась ни в коей мере не только евреев, хотя, разумеется, левые интеллектуалы еврейского происхождения образовывали особенно многочисленный ее контингент.

Было бы излишним перечислять великие имена среди таких эмигрантов. Примечательно, что немецкой эмиграции в гораздо большей степени, чем соответствующей, количественно намного ее превосходящей части русской эмиграции удалось осуществить свое притязание – дать единственную немецкую литературу. *Cum grano salis* можно сказать, что эмигрировала левая и буржуазно-пацифистская, равно как и явно авангардистская Германия – от Арнольда Цвейга и Вилли Мюнценберга до Томаса Манна и Вальтера Гропиуса. Не эмигрировала же Германия националистическая, провинциальная и метафизическая – от Эрнста Юнгера через Ганса Цёберляйна до Эрвина Гвидо Кольбенмайера. Немало тех, кто остался в Германии, уже вскоре замкнулись во внутренней эмиграции. То, что дела и здесь обстояли не так просто, показывают имена таких бывших социалистов и рабочих поэтов, как Пауль Эрнст, Генрих Лерш и Карл

Брёгер. Совершенно особого рода был случай Стефана Георге, который считался провозвестником нового рейха, но все-таки в Швейцарии лишился всех почестей, прежде чем умер в декабре 1933 года.

Почти такое же резкое (хотя и не слишком) разделение прошло через науку. Особенно волнующей оказалась судьба множества “евреев-патриотов Германии” среди ученых: большинство их, как можно понять из их деклараций, охотно и искренне примкнуло к “национальному подъему”. Симптоматично письмо медиевиста Эрнста Канторовича прусскому министру по делам науки, искусства и народного образования от 20 апреля 1933 года: он пишет, что будучи добровольцем на войне, затем – фронтовым солдатом, а после войны – борцом с поляками и “спартаковцами”, он не был затронут новыми законами, но все-таки вынужден прекратить преподавательскую деятельность, так как недавно в его умонастроении обнаружился дефект: еврейская кровь в жилах.¹³ Первые увольнения в апреле 1933 года коснулись среди прочих Морица Юлиуса Бонна, Карла Мангейма и Макса Хоркхаймера, но также и таких неевреев, как Пауль Тиллих, Гюнтер Ден и Вильгельм Рёпке. К 1939 году эмигрировало не менее 800 ординарных и 1300 внештатных профессоров, примерно треть от их общего количества, среди них – 24 естествоиспытателя, которые уже получили или еще получают Нобелевскую премию.

Разумеется, многие весьма выдающиеся ученые и лауреаты Нобелевской премии оставались в Германии: Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс среди философов, Фридрих Майнеке и Отто Хинце среди множества других историков; Макс Планк, Вернер Гейзенберг, Филипп Ленард и Иоганнес Штарк среди естествоиспытателей. Но некоторые из них стали заклятыми врагами режима и, как бы там ни было, немецкую культуру и науку постигло страшное обескровливание, которое сильно убавило уважение к Германии во всем мире и весьма существенно способствовало естественнаучному скачку и последующей победе англоамериканцев. В немецкой эмиграции едва ли существовал аналог движению “смены вех”, хотя немцы гораздо чаще считали свою судьбу изгнанием, тогда как для русских эмиграция весьма часто служила чаемым спасением от непосредственной смертельной опасности или от невыносимых жизненных условий.¹⁴

Нелегко сказать когда возникло внутригерманское сопротивление. Во всяком случае, попытки немецких коммунистов сохранить свою организацию в рамках нелегальности и подготовиться к захвату власти сопротивлением считать нельзя. Ведь едва ли можно было бы говорить и о сопротивлении большевиков, если бы в России они проиграли гражданскую войну, как в Венгрии. Они были зачинщиками и агрессорами, что их и отличает от всех, кто проявлял готовность к сосуществованию с другими течениями в единой системе. Отличительными признаками сопротивления необходимо считать некий остаток первоначального согласия с последующей сменой установки, и достаточно лишь прочесть записки

Юлиуса Лебера, современника описываемых событий, чтобы понять, что между социал-демократами и национал-социалистами сплошь и рядом наблюдались общие черты в критике догматического марксизма.¹⁵ А вот полемика против формальной демократии едва ли является сопоставимым пунктом, по которому коммунисты были согласны с национал-социалистами, и основополагающей ситуацией здесь скорее следует считать непримиримую и неизменную вражду, при которой национал-социализм тоже следует характеризовать как воинствующее сопротивление коммунистам. В общем, возможность причислить коммунистов к немецкому сопротивлению появляется только при переходе к политике Народного фронта, да и тут встает вопрос, возник ли этот переход из смены мировоззрения или же послужил всего лишь тактическим средством для достижения полной победы. Легче ответить на другой вопрос: вызвало ли жестокое подавление коммунистов и социал-демократов со стороны буржуазии такое возмущение, что ряд лиц и даже целые организации решились на сопротивление? В целом здесь следует дать отрицательный ответ, и он должен быть распространен даже на первые меры, направленные против евреев, ибо, очевидно, воспоминания о событиях 1917-1920 годов в России и Германии оставались столь сильны, что в качестве удовлетворительного объяснения сгодилась бы пословица "Лес рубят – щепки летят", тем более, что поначалу патриотически настроенных евреев отчетливо отличали от "антинациональных". Хотя национал-социалистское движение с самого начала встречало даже в правых партиях таких суровых и ожесточенных противников, как Эрих Людендорф и Эвальд фон Кляйст-Шменцин, но их позицию можно назвать сектантской или реакционной; во всяком случае, симпатии некоторых из наиболее известных деятелей позднего сопротивления вроде Клауса фон Штауффенберга и Хеннинга фон Трескова были на стороне националистического движения, тогда как Фриц-Детлоф фон дер Шуленбург и Артур Небе даже служили партии, занимая высокие посты. Первое моральное негодование, подобное возмущению Мартова, который в 1918 году сказал, что в связи с кровавыми деяниями большевиков он чувствует стыд по отношению к своим бывшим противникам, культурным буржуа¹⁶, возникло по случаю массовых убийств 30 июня, и Ганс Остер впоследствии говорил о "методах шайки разбойников", которую следовало вовремя приструнить.¹⁷ Столь же характерной стала перемена, сделавшая противником национал-социализма Мартина Нимёллера: будучи рядовым добровольческого корпуса он вряд ли мог быть националистом, а теперь ему пришлось осмыслить глубочайшее противоречие между своей христианской верой и национал-социалистским расовым учением. Третьим существенным мотивом, вызвавшим смену умонастроения среди сторонников национал-социализма или даже национального подъема, стало понимание того, что Гитлер стремился втянуть Германию в мировую войну и тем самым разрушить элементарнейший из императивов национального возрождения:

тот, что ситуация с мировой войной с несколькими фронтами никогда не должна повториться. И вот, группа сопротивления, готового к действию, сформировалась вокруг начальника генерального штаба Людвига Бека, и даже Клаус фон Штауффенберг теперь говорил: "Дурак воюет".¹⁸ Эвальд фон Кляйст-Шменцин и Карл Фридрих Гёрделер уже не чурались контактов с английским правительством, которое можно было назвать "предательским для Англии". Бывший боец добровольческого корпуса Фридрих Вильгельм Хайнц сформировал ударную группу, каковой предстояло арестовать Гитлера. Хотя коммунистические группы оказались наголову разбиты, более осторожные социал-демократы, тайными способами получавшие от партийного руководства в изгнании доклады по Германии организации СОПАДЕ, все-таки могли рассматриваться как сеть потенциальных помощников по работе с массами. Но полет Чемберлена в Берхтесгаден, а затем — Мюнхенская конференция, означали конец перспективнейшей акции германских противников Гитлера.

Фактическое развязывание войны в следующем году не натолкнулось на серьезное сопротивление, вероятно, среди прочего, и оттого, что сам Геринг прямо-таки лихорадочно старался сохранить мир, — и, конечно, не в последнюю очередь по той причине, что широко распространилось мнение, будто и на этот раз фюрер блефует и снова окажется победителем. Также нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что захват польского "коридора" являлся давнишним и первоочередным требованием немецкого национализма, и в любом случае аргумент о праве на самоопределение оправдывал его куда меньше, чем это было с аншлюсом Австрии и Судетских областей. Подписание пакта между Сталиным и Гитлером имело слишком ошеломительный характер, чтобы успеть немедленно вызвать серьезное сопротивление.

Победа в Польше сама по себе не создала новой ситуации для деятелей военного сопротивления, но ее последствия, пожалуй, изменили положение. Моральный мотив был чрезвычайно усилен из-за действий СС и гестапо, и многим воинам вермахта — от главнокомандующего Восточной группой армий до простых солдат — стало теперь впервые ясно, что их втянули в войну, совершенно непохожую на Первую мировую. Тогда польские евреи встречали немцев как освободителей; теперь между ними сразу же или спустя короткое время проявилась вражда, и никто этому не удивлялся. Когда в Первую мировую войну высшие немецкие офицеры писали, что им стыдно быть немцами?¹⁹

Столь же усилился и идеологический мотив, т. е. идея о чуждости мировоззрения и образа действий Гитлера. Хотя коммунисты в результате заключения договора между Гитлером и Сталиным оказались по большей части повергнутыми в парализующее замешательство, но даже французские коммунисты сторонниками фашизма не стали, несмотря на то, что они сильно способствовали подрыву воли к сопротивлению. Напротив того, для антикоммунистов из среды высшей бюрократии, вермахта, на-

рода и партии пакт представлял собой чрезвычайно непонятный и безнравственный поступок, отдавший Сталину всю Восточную Европу и в высшей степени способствовавший отмене результатов немецкой колонизации восточноевропейских стран. О переговорах, проведенных зимой с Англией при посредстве Ватикана, создается, главным образом, впечатление того, что на них пытались воспрепятствовать Гитлеру разыгрывать одну лишь советскую карту, окончательно лишая Германию связей с Европой или с Западом.

Однако больше всего усилился мотив избегания войны, т. е. стремление избежать мировой войны. Никогда — ни раньше ни позже — высшая верхушка вермахта настолько не приблизилась к отказу от подчинения, как это произошло в последние месяцы 1939 года, когда Гитлер вновь и вновь отдавал приказы о начале наступления на Западе и снова и снова по прагматическим причинам отменял их.²⁰ Нет сомнений, что воспоминания о Первой мировой войне и убежденность в превосходных качествах французской армии явились определяющими факторами строптивости генералов, но столь же беспокоящей была мысль о том, что Германия не доросла до мировой войны, в каковую рано или поздно вмешаются США. То, что Гитлер оценил военную и психологическую ситуацию правильнее, чем это сделало армейское руководство, стало очевидным для каждого спустя шесть недель французского похода, но забот от этого не стало меньше, так как невозможно было предвидеть, сколько продлится вся война. В высшей степени симптоматичным был полет Рудольфа Гесса в Англию, в подготовке которого таинственную роль сыграло участие Альбрехта Хаусхофера, человека, причисляемого к сопротивлению.

Между тем, если в поле зрения попадали только офицеры и дипломаты, критически противостоявшие политике и мировоззрению Гитлера, то это было лишь по близорукости. Ведь отправной точкой для существенной части этой критики явилась борьба церкви, а во всякой тоталитарной стране одно лишь самосохранение независимых институций и неконформистского образа мысли считается особой формой сопротивления. Поэтому самоутверждение церкви явилось актом сопротивления, и протекало оно несравненно успешнее, чем в Советском Союзе, не в последнюю очередь — потому, что поначалу Гитлер по многим мотивам вызывал симпатию церкви. Что из этого получилось — наиболее явным образом показала в 1940 и 1941 гг. реакция духовенства и мирян на умерщвление душевнобольных. Партия считала, что она вынуждена дать установку на такие действия, а среди членов церкви ширилась убежденность в том, что такая Германия не вправе побеждать в войне. Поэтому партийные функционеры, со своей стороны, могли утверждать, что политический католицизм, по-видимому, ставит на поражение Германии.²¹ Глубокая неудовлетворенность Гитлера правосудием представляла собой известный факт. Но сомнения возникали даже в том, с достаточной ли эффективностью, как ее понимал Гитлер, действовало и могло действовать гестапо, значи-

тельная часть сотрудников которого служила в уголовной полиции в Веймарскую эпоху. А, к примеру, в рейхсминистерстве гражданской авиации служил обер-лейтенант Гарро Шульце-Бойзен, внук гроссадмирала Тирпица; на свадьбе Шульце-Бойзена в качестве свидетеля присутствовал Геринг собственной персоной. До 1933 года Шульце-Бойзен был национал-революционером и издавал журнал "Гегнер", "Противник", в котором он и его товарищи равно вели полемику и против "косности Запада", и против "американского отчуждения", подобно тому, как это делал молодой Георг Лукач до перехода к марксизму. После захвата власти нацистами его жестоко избили люди из СА, и некоторое время спустя он вступил в контакт с советским торговым представительством. Гестапо ничего обо всем этом не знало или же неправильно соединяло разрозненные сведения. Столь же мало знало оно и о докторе Рихарде Зорге, который стал убежденным коммунистом еще в годы Первой мировой войны, а потом публиковал статьи в коммунистических журналах. Из-за неосведомленности гестапо он сумел вступить в НСДАП и стать доверенным лицом немецкого посла в Токио. Не надо забывать и о частном секторе экономики, где многочисленные противники Гитлера находили относительно безопасное убежище.

Гитлер пришел к власти в стране европейского социального типа, добиваясь в публичных выступлениях одобрения обширных прослоек народа и нерешительной поддержки ведущего слоя. Потому-то он и оказался способным осуществить политическую революцию, аналог которой до сих пор имелся лишь в Италии. После этого он сумел арестовать ведущие группы своих врагов и подчинить друзей собственной воле; он смог подвергнуть дискриминации немногочисленную и мнимо чужеродную часть народа и унифицировать (*gleichschalten*) культуру. Однако, несмотря на это, по социальной структуре немецкое общество в существенных чертах не изменилось. Хотя Гитлер и был "самодержцем", он все-таки не мог провести в мирное время грандиозных мероприятий по физическому истреблению, направленных против могущественных и важных слоев или классов народа, хотя бы потому, что до 1939 года Германский рейх – вопреки всей воле к изменениям и аншлюсу, давшему ему еще 10 миллионов человек – несомненно считался частью Европы и не встречал ярко выраженной вражды со стороны других правительств. Поэтому в бесчисленных местах, и даже в некоторых из важнейших учреждений германского общества, имелись лишь потенциальные точки сопротивления, и если к концу 1940 года надежды на скорое заключение мира иссякли и распространилось глубокое безволие в отношении перспективы длительной войны, то все-таки эта Германия вовсе не напоминала воск в руках Гитлера.

В противоположность этому, большевики захватили власть в момент поражения: катастрофы, и в самой своей идеологии черпали убеждение в том, что их предназначение – очистить землю от всяческой грязи и мусо-

ра, считавшихся ими неизбежными явлениями, сопровождающими капиталистическую систему. Большевики вели и хотели вести гражданскую войну, хотя у них были другие и гораздо более многочисленные враги, чем это было записано у них в теории; и во время гражданской войны, как и впоследствии, они уничтожали крупные классы, прослойки и группы, а в конце концов — даже сотни тысяч членов собственной партии. Около 1930 года они встретились с сопротивлением, которое было куда более всеохватывающим, но уже и куда более беспомощным и менее организованным, чем многочисленные попытки сопротивления в Германии в 1935 году. В 1940 году по всем человеческим меркам для сопротивления Сталину уже не существовало даже самых скромных организационных “зацепок”. Куда распространеннее было тупое смирение почти что целого народа, странным образом контрастировавшее с уверенностью некоторых партийных и армейских кругов в том, что Красная армия превосходит все армии мира и вскоре одержит окончательную победу над взаимно ослабляющими друг друга противниками.

Пока большевистская система могла заниматься лишь внутренней политикой, она требовала несравненно больших жертв, чем национал-социалистская, и очевидно, большевистские деятели не знали угрызений совести и фактически построили систему планового хозяйства, являвшуюся подлинной альтернативой рыночной системе, до сих пор считавшейся единственной современной; а вот национал-социалисты пошли по “третьему пути”, каковой представлялся одним из их противников слишком уж капиталистическим или бесплановым, а другим — как раз чересчур социалистическим или административным. О том, что в рядах коммунистической партии или ЧК были какие-то протесты по поводу чрезмерной жестокости при борьбе с врагами, ничего неизвестно (если не считать возражений против мер открытого произвола), и в эти рамки совершенно не вписывается сообщение о том, что однажды на банкете в Кремле подвыпивший Дзержинский умолял присутствовавших расстрелять его за пролитые им потоки крови.²² Напротив того, почти в каждом донесении Гиммлера вплоть до первого года войны нельзя не услышать оттенка неуверенности, наигранной жестокости и извинения. В мирное время большевики вели борьбу со своими внешнеполитическими врагами куда более резко и с куда более закоренелой и подлинной верой, чем национал-социалисты. Но и те и другие, вероятно, могли действовать, как они действовали, лишь потому, что исторические ситуации в их странах весьма отличались друг от друга. Сами типы сопротивления, с которым они сталкивались и которое надо причислить к структурным признакам режимов, были теснейшим образом сопряжены со структурой каждого из обществ. Но если оба режима по-разному относились к войне и к межгосударственным конфликтам, то реалии истребления могли бы основополагающим образом измениться после вступления этих режимов в войну, и тем более — в большую. Однако же, прежде чем нашей темой станет эта

война, мы должны бросить взгляд еще на один их структурный признак, на *мобилизацию*, каковую оба режима стремились осуществить в первую очередь и во всем и которая при каждом из режимов все-таки исходила из совершенно различных предпосылок и носила несходный характер.

8. Тотальная мобилизация

Всеохватывающая мобилизация с полным основанием считается наиболее обобщающим структурным признаком, по которому совпадают между собой все государства с тоталитарными порядками. Но не следует забывать, что известный способ мобилизации причислялся и к основным признакам либерального общественного типа, который до начала Первой мировой войны, как правило, считали современным. Он находился в противоречии к традиционному или статическому обществу, где сельское хозяйство представляло собой отрасль производства, далеко превосходившую по важности остальные, финансы играли второстепенную роль, коммуникации были развиты слабо, а отдельные сословия находились по отношению друг к другу в полной изоляции. Именно промышленная революция постепенно разрушила эту традиционную структуру, и хотя Французская революция во всех своих факторах и формах проявления никоим образом не была прямолинейным продолжением или следствием той более изначальной и радикальной революции, она все-таки внесла существенный вклад в развитие мобилизации уже тем, что упразднила границы между сословиями, способствовала банковскому делу, ввела свободную торговлю с дворянскими и церковными поместьями и, прежде всего, создала новую организацию армии, когда вместо вербовки наемников стала применяться всеобщая воинская обязанность. Освобождение крестьян в Пруссии является событием того же порядка, что и начавшееся формирование прессы, и образование партий. Но одни лишь социалистско-государственники считали, что такая мобилизация означает зачисление на службу всех индивидов государством, каковое, будучи единственным предпринимателем, занимается организацией гигантских армий труда на благо всего народа. Ведь, в конечном счете, целью всегда должна была быть подлинная свобода индивида, которую обещал, но не осуществил либерализм, так как ему не удалось выйти за рамки чисто негативного, и потому эгоистического понятия свободы.

Если отвлечься от конечных целей и глобальных надежд, то русская революция – как раз согласно нескольким недвусмысленным высказываниям Ленина – являлась не чем иным, как рожденной из нужды всеохватывающей мобилизацией, сплотившей незначительные силы страны концентрацией и “принудительной синдикализацией”, а также поставившей каждого индивида на службу государству, его самоутверждению и его дальнейшему развитию.¹ К тому же, в русской революции уже в самом начале акценты ставились исключительно на военных вопросах. В воззвании “Социалистическое отечество в опасности” от 21 февраля 1918

года, где предусматривалась возможность того, что немцы возобновят войну, Ленин требовал мобилизовать все ресурсы и в случае необходимости применять тактику выжженной земли. Опасность возобновления войны с немцами быстро миновала, так как был заключен Брест-Литовский мир, но разразившаяся вскоре гражданская война не дала передышки, и доселе неведомыми средствами из руин старой армии была создана новая, которая в конечном счете стала многомиллионной. Верховный главнокомандующий Красной армии С.С. Каменев впоследствии заявил, что абсолютно новым в военном деле в эти годы было требование "подчинить войне всю внутреннюю жизнь страны".²

Следуя дословному смыслу, это не было полной правдой, что показывает взгляд на немецкую "программу Гинденбурга" от 1916 года и на соответствующие требования Людендорфа. Впрочем, известно, насколько Ленина восхищал пример с немецким военным хозяйством.³ Действительно характерным и новым, скорее, было то, что Красная армия даже по окончании гражданской войны не была демобилизована, и что военное хозяйство продолжало существовать. По приказу Троцкого в начале 1920 года некоторое количество соединений Красной армии было преобразовано в трудовые армии и в полном составе внедрено в народное хозяйство. Но и наоборот, крестьянский труд подвергся прямо-таки милитаризации, и 6 миллионов крестьян приблизительно с таким же количеством лошадей использовались на самых различных работах. Привлекалось к такому труду и городское население, а именно – посредством "коммунистических субботников", на которых члены партии подавали пример своим неоплаченным трудом.

В том, что введение Новой экономической политики означает лишь узко ограниченную фазу разрядки, с самого начала невозможно было сомневаться, учитывая характер ВКП(б) как партии перемен, прогресса и энергии. Уже в 1920 году в недрах бюрократии ЦК было учреждено особое подразделение ("Учраспред"), отвечавшее за "мобилизацию, перемещение по службе и назначение членов партии".⁴ Такая мобилизация вскоре распространилась и на комсомольцев, и те могли считать содержанием своей работы обязательное участие в строительстве на Дальнем Востоке с таким же успехом, что и принятие на себя определенных задач по управлению партией или союзом молодежи. То, что во всех странах Запада стало результатом медленного развития, в котором сочеталось множество факторов, здесь осуществлялось с помощью распоряжений ЦК и путем волевых решений. Своего рода мобилизацией выглядело и новое законодательство о браке и семье, сделавшее возможным расторжение брака по одностороннему решению одного из партнеров; казалось, будто следствием этого законодательства было полное уравнивание женщины в правах, однако это уравнивание, прежде всего, способствовало внедрению рабочей силы всех женщин во все отрасли народного хозяйства.

Как в Турции Ататюрка, в магометанских частях Советского Союза волею верховных властей и их партии исчезли чадра и гарем, а затем и медресе и мечети. Верблюдов сменили грузовики, а ручные прялки оказались вытеснены текстильными станками. Но крупнейшей и наиболее успешной из всех мобилизаций стали коллективизация и первый пятилетний план. Жизнь всех крестьян подверглась фундаментальным преобразованиям, в степях и девственных лесах выросли промышленные предприятия и поселки, среди деревянных домиков в древних городах появлялись административные здания и асфальтированные улицы. Но множество готовых промышленных станков также импортировалось из капиталистических стран или же строилось под руководством американских или немецких инженеров; отсюда проистекали неслыханные требования к рабочим, которым зачастую за несколько месяцев приходилось усваивать то, что в Америке являлось результатом многолетнего труда.

Между тем, за импорт следовало платить, и темным фоном этой индустриализации были бездумная вырубка исполинских лесов, беспощадная эксплуатация принудительного труда изгнанных из родных мест кулаков, в высшей степени нищенские жилищные условия и rationирование продуктов, которое едва ли удовлетворяло элементарнейшие жизненные потребности индивидов. Всеохватывающий промышленный шпионаж в западных странах, пожалуй, тоже следует отнести к упомянутым темным сторонам. С этой точки зрения Советский Союз можно рассматривать как диктатуру развития, осуществившую посредством сознательного напряжения сил и совершенно небывалых жертв ту индустриализацию и модернизацию, что в Западной Европе и в США произошла как бы подкожно и, во всяком случае, таким способом, каковой вовсе не требовал напряжения и мобилизации всех сил.

Но Советский Союз отличался от всех диктатур развития тем, что в пространственном отношении он был крупнейшим государством мира, и тем, что он управлялся партией, приписывавшей себе всемирно-историческую миссию. Поэтому построение тяжелой промышленности одновременно являлось построением военной промышленности, и неудивительно, что на взгляд соседних государств концентрация на индустрии и на механизации сельского хозяйства означала концентрацию на вооружении и угрозе войны. Ведь уже в 1927 году был создан "Осоавиахим", "Общество содействия обороне, авиации и химической защите", и каждый комсомолец участвовал в его деятельности.⁵ Господствовавшей в стране атмосферой была неослабная спешка, постановления регулировали общество сверху донизу, и хотя верхушка этого айсберга находилась в Кремле, но влияние государственной машины по различным организационным уровням простиралось до отдаленнейших колхозов, на которые были возложены невероятно высокие обязательства по поставкам, почему у крестьян зачастую оставалось лишь самое необходимое для поддержания жизни. Поэтому все привилегии, жаловавшиеся партийным руково-

дителям, специалистам или стахановцам, носили в высшей степени неустойчивый характер, ибо при малейшей оплошности их отнимали.

Какие суммы отчислялись на военную промышленность – невозможно определить сколь-нибудь точно, так как рубль служил внутренней валютой, а средства, выделявшиеся из государственного бюджета на армию, представляли собой лишь незначительную часть реальных расходов, каковые могли маскироваться в бюджетах множества других министерств, а значит – и отраслей экономики. Во всяком случае, уже израсходованная в 1935 году сумма в 5 миллиардов рублей весьма значительна и намного превышает германские расходы на вооружение в том же году, а в 1938 году советские расходы на вооружение достигли 23 миллиардов рублей. Но, пожалуй, куда интереснее данные, приведенные Сталиным в циркулярном письме, датированном концом июня 1937 года, которые не были опубликованы и обнаружались в “Смоленском архиве”: с начала коллективизации создано 5616 машинно-тракторных станций, располагавших 41 000 гусеничных тягачей, 270 000 тракторов и 86 000 зерновых комбайнов.⁶ В 1939 году Советский Союз занимал третье место в мире по производству стали после США и Германии, а по валовой промышленной продукции со своей долей в 20% мирового промышленного производства – второе место после США. Это было бы примечательным и успешным балансом, а также достаточным основанием для законной гордости, если бы в общую смету не включались миллионы жертв; однако другие государства воспринимали эти сведения как тревожную весть, тем более если они учитывали военную доктрину этой страны, в которой хотя всегда и говорилось об империалистических агрессорах, но уже в 1939 году была поставлена цель наголову разбить армии этих агрессоров на нескольких фронтах.⁷ Таковую цель не могла поставить перед собой даже национал-социалистская Германия, хотя она также стремилась мобилизовать все свои силы и еще в мирное время приняла программу Гинденбурга, создававшую аналог военному хозяйству.

Если отвлечься от ее упомянутой возможной или вероятной цели, то мобилизация Советского Союза служила отчасти заменой капиталистической мобилизации, отчасти же усугубленным ее продолжением: громадное количество крестьян было освобождено, высокая в процентном отношении доля народных доходов направлялась в необходимые для индустриализации капиталовложения, на смену традиционалистскому господствующему классу пришла индустриально настроенная правящая прослойка. И все-таки то, что в Европе складывалось достаточно медленно, свершалось здесь стремительно, с головокружительной быстротой “большого намерстывания”, и целые классы, которые в Европе попросту отступили на задний план, но пока еще добивались значительных достижений, в Советском Союзе оказались истреблены. Разумеется, благодаря этому, кроме прочего, все сильнее акцентировалось существенное различие между государственно-капиталистической партийной диктатурой и либе-

рально-капиталистическим плюрализмом, однако с чисто экономических точек зрения все-таки допустимо понимать мобилизацию Советского Союза как путь, избранный диктатурой развития.

Германия не могла пойти по этому пути. К 1930 году, как и уже в 1910 году, Германский рейх в рамках мирового сообщества был высокоразвитой индустриальной страной – первой индустриальной державой континента, занимавшей второе место в мире вслед за Соединенными Штатами Америки, которым необычайно благоприятствовали обстоятельства. К 1930 году проблемой Германии считалась не неразвитость, а недостаточная загруженность производственного аппарата, а значит и недостаточная занятость рабочих. Здесь и речи не могло идти о том, чтобы создавать промышленность из ничего или из сравнимых с российскими начатков; дело заключалось в том, чтобы вновь запустить на полную мощность уже имевшуюся индустрию. И НСДАП также считала, что ради достижения этой цели надо убрать препятствия, например, многообразие политических партий, ибо они препятствовали требовавшейся концентрации воли; но это упразднение не являлось чрезмерным продолжением изначальной мобилизации, но как раз противоречило ей по важнейшим пунктам, что показывает уже обоснование антисемитизма этой партии наряду с ее представлениями о расе и крови, а также пример с законом о наследовании крестьянских дворов.

Но если национал-социализм стремился стать не просто реакционным и при этом бесперспективным движением среднего сословия и крестьян, то ему приходилось задействовать собственный способ мобилизации, и хотя по своей тенденции эта мобилизация была полностью противоположна более ранней, они вместе прошли значительную часть пути. Эту особенность невозможно увидеть при изолированном рассмотрении хозяйственных мер. Обоснование единоличного суверенитета фюрера относится сюда так же, как и капиллярная функция партии; террор надо учить так же, как и воспитание молодежи. Только в этой связи предстают в своем истинном свете и хозяйственные мероприятия – как последовательная подготовка к войне, не уступавшая по энергии подготовке Советского Союза, но не располагавшая той же альтернативой, а именно – предпочесть перевод военного хозяйства на мирные рельсы после того, как будут достигнуты ближайшие цели и не осуществляться определенные опасения.

Изоляция даже умеренных левых и устрашение их сторонников означали бы устранение наиболее крепкого ядра тех, кто был пацифистски и интернационалистически настроен, а подавление церковного влияния открыло бы путь безраздельному господству того духа, который выражен в следующей песенной строке: “Бог есть это борьба, а борьба – наша кровь, и затем мы рождены”.⁸ Но в противоположность этому хозяйственные меры поначалу осуществлялись строго в рамках старой системы и служили как бы продолжением мер, принятых правительствами Папена и

Шлейхера; не случайно реализовывались они под руководством бывшего президента государственного банка Веймарской республики, теперешнего министра экономики Ялмара Шахта.

Спад производства вследствие мирового экономического кризиса составил в Германии с 1929 по 1932 годы не менее 47%, и хотя доходы населения вследствие понижения цен на импорт уменьшились не так сильно, все-таки это уменьшение было значительным. Отзыв иностранных кредитов привел к сильному снижению золотого и валютного запасов. Брюнинг пытался оздоровить экономику путем введения валютного хозяйствования и ограничительной налоговой политики, т. е. при помощи дефляции. Однако это лишь усилило процесс свертывания производства и обострило политическую ситуацию, поскольку благодаря мощной позиции профсоюзов снизить долю зарплат оказалось невозможным. Папен предпринял значительное изменение курса. При нем началось то, что чуть позже Джону Мейнард Кейнсу предстояло сделать знаменитым в понятии "deficit spending", "трата дефицита", что предполагало создание рабочих мест посредством госзаказов, премии предпринимателям за каждого дополнительно нанятого рабочего, налоговые квитанции и т. д. Все эти мероприятия продолжались при Гитлере, и их дополняли дальнейшие, такие, как строительство автострад и так называемая программа Рейнхардта, предусматривавшая ссуды супругам по заключении брака, а также крупные субсидии на ремонт жилых зданий. Но осуществленные Брюнингом повышения налогов не были отменены, и тенденция, очевидно, заключалась в том, чтобы сдерживать потребление, сделав основной акцент на поощрении производства средств производства. В этой связи в 1934 году росло количество мероприятий, способствовавших вооружению, и финансирование последнего происходило по большей части с помощью гениальной уловки Шахта под названием "Мефо-обмен". Так, в 1934 году расходы на вооружение составили уже 4 миллиарда по сравнению с 750 миллионами в 1933 году, в 1935 — более 5 миллиардов, в 1936 — свыше 10 миллиардов. Разумеется, последовал и соответствующий прирост плавающего национального долга: с 3 до 12 миллиардов. Тем не менее, расходы на вооружение имели ценность в качестве "запальных патронов". Ведь примерно в те же годы Кейнс убедительными аргументами объяснил народнохозяйственную выгоду таких непродуктивных затрат, как, например, траты на строительство пирамид или просто на перемещение почвы с места на место. Выходит, что Гитлер первым ступил на тот путь, по которому после него пошли Рузвельт и Леон Блюм.

В 1936 году Германия оказалась на перепутье. Теперь Шахт, очевидно, хотел сменить политику и посредством замедления расходов на вооружение достичь "самонесущей конъюнктуры". Но как раз в 1936 году начался второй четырехлетний план, во главе которого в качестве уполномоченного был назначен Геринг, в результате этого назначения ставший потенциальным хозяйственным диктатором Германии. В августе

1936 года Гитлер в своем меморандуме о задачах четырехлетнего плана, открыто ссылаясь на "грандиозный план" Советского государства, требовал, чтобы "подобно военному и политическому вооружению и, соответственно, мобилизации нашего народа", состоялась бы и хозяйственная мобилизация, и в заключение привел следующие тезисы: "I. Германская армия за четыре года должна стать боеспособной. II. Германское хозяйство за четыре года должно стать способным к войне."⁹ Он неприкрыто грозил расправиться с "кое-какими коммерсантами", а годом позже еще отчетливее сказал, что если частное хозяйство не выполнит четырехлетнего плана, то государство перейдет к полному контролю над экономикой. В свою очередь, Геринг подчеркнул, что в основе этого плана лежит воля к автаркии, и не оставил никаких сомнений на тот счет, что в связи с масштабами задачи как получение прибылей, так и соблюдение законов не имеют значения. На такие воззрения с резкой публичной речью обрушился Шахт, и в ноябре 1937 года он отправился в отставку. Расходы на вооружение в 1937 году достигли 11, а в 1938 – 23, по другим расчетам – 17 миллиардов рейхсмарок. Общий долг рейха возрос до чудовищной для тех лет суммы в 42 миллиарда рейхсмарок. В то же время в Зальцгиттере вместе с сооружением "Государственных предприятий имени Германа Геринга" появились начатки государственной или партийной экономики. Однако же призывов на государственную службу, сравнимых с теми, что существовали в Советском Союзе, не было до 1939 года, в том числе – и при строительстве "Восточного вала".¹⁰ Насколько реальным был шанс перейти в 1936 году к государству всеобщего благоденствия, с точностью сказать невозможно. Но построение такого государства в любом случае означало бы ограничение восстановлением национальной экономики и достижением хорошей обороноспособности. Оно было бы тождественно цели Веймарской республики и поэтому не принималось Гитлером во внимание. Во всяком случае, то, что его метод обещал успехи, было доказано событиями, происшедшими с марта 1938 по март 1939 года, каковые – от победы Шушнига и занятия Судетской области вплоть до оккупации Праги и "остальной Чехии" – представляли собой практически нечто вроде бескровных военных действий. Но с 1936 года Гитлер, а вместе с ним – и Германия, вследствие в гигантской степени возрастающих долгов, пошли по "улице с односторонним движением", ведущей к войне или, по меньшей мере, к бескровным успехам при помощи угроз войны. Уже контрибуция, взимаемая с евреев, и оккупация Чехословакии стали ярко выраженными актами захватнической экономики. Общие расходы на вооружение к ноябрю 1939 года составили приблизительно 60 миллиардов рейхсмарок. Впоследствии в "застольных беседах" Гитлер говорил, что все состояние немецкого народа он вложил в оружие¹¹; следовательно, это имущество можно было должным образом оценить лишь посредством выгодной войны.

Разумеется, удачная угроза войны привела бы к той же цели с таким же и даже бóльшим успехом. Но можно ли было в действительности вообразить, чтобы Польша и Англия летом 1939 года пошли на уступки, так как в связи с проводимым Германией поразительным развертыванием сил им показалось бы неизбежным примириться с тем, чтобы Европой за пределами Советского Союза руководило ее, несомненно, сильнее и к тому же центрально расположенное государство? Ведь Германия, очевидно, все-таки была недостаточно сильна и, прежде всего, недостаточно любима остальными европейцами, чтобы провести в жизнь такое притязание без решительного сопротивления. Кроме того, существовали веские основания для предположения, что такое "руководство" будет означать покорение континента и его эксплуатацию системой, отрицавшей основные характерные черты европейской истории и всё с большей решительностью собиравшейся покончить с ними. Поэтому вопреки мнимой ничтожности повода ничто не могло быть здесь последовательнее, чем польско-английско-французское сопротивление, а значит — и война в сентябре 1939 года. Но после этого Адольф Гитлер привел доказательство того, что летом 1939 года Германия была сильнейшей державой Европы в гораздо большей степени, чем мог предполагать кто-либо кроме него самого, и это не могло объясняться одним лишь тем фактом, что до 1939 года он потратил на вооружение столько же, сколько Франция, Великобритания и США вместе взятые. Поэтому хотя предсказания его противников, касающиеся того, что он обязательно начнет войну, сбылись, они оказались верными лишь оттого, что, в отличие от Советского Союза, он не требовал от населения сколь угодно больших жертв и не сумел понизить жизненный уровень широких масс до прожиточного минимума. Если бы Советскому Союзу никто не угрожал и если бы он расстался с идеологически обоснованными планами завоевания мира, то в 1941 году в связи с его гигантской территорией и сырьевыми богатствами он мог бы решиться на то, чтобы использовать наконец-то завершенную индустриализацию ради подъема жизненного уровня народа. А вот Гитлер в 1939 году сделать этого не мог. Фактически он был вынужден вести войну, и притом войну завоевательную, с целью захвата добычи. Вопрос заключался лишь в том, сохранилась ли эта ситуация в мае-июне 1941 года. На севере его войска стояли на мысе Нордкап, на юге — в Ливийской пустыне, на берегу Западного Буга и у Пиренейской границы с дружественной Испанией. В его распоряжении находились ресурсы всей континентальной Европы. Теперь Германия, без сомнения, была ведущей державой континента. Серьезное сопротивление мало ощущалось даже во Франции. Правда, эта Германия превратила две европейские нации, чехов и поляков, в своего рода колониальные народы, да и позитивная поддержка Германии со стороны консервативных режимов и фашистских движений, даже итальянским режимом Муссолини, не внушала особого доверия. Особый род мобилизации, применявшийся Гитлером и равно далекий как

от метода диктатуры развития, так и от метода, применявшегося государствами всеобщего благоденствия, привел к кульминации гитлеровского могущества, поскольку эта мобилизация вновь задействовала не находящий себе применения производственный аппарат ради единственно возможной цели — ведения войны. Но, став властителем континентальной Европы, Гитлер оказался в состоянии войны с морской державой Англией и практически с Америкой, тогда как Советский Союз, который тратил на вооружение и подготовку к войне больше средств, чем он, противостоял ему на суше посредством нейтралитета, препятствовавшего Германии покончить с разногласиями с Англией посредством вторжения на Британские острова. Гитлеру пришлось бы прибегнуть к военным средствам по отношению к Советскому Союзу или угрожать ему войной даже в том случае, если бы Россия была демократическим государством или находилась под царской властью, потому что эта страна не могла предоставить ему безусловно надежных гарантий. Но ведь эта страна на протяжении всей политической жизни Гитлера служила для него жупелом и в то же время отчасти образцом, что продемонстрировало уже обоснование, приведенное им для своего четырехлетнего плана. Гитлеровский рейх должен был дать единственно уместный ответ России и ее идеологии; призывая к походу против России и ее идеологии, Гитлер обращался к общности наилучших сил всех арийских народов, коим следовало признать общего врага в еврействе. Однако же, многие из его сторонников и генералов также придерживались весьма определенных взглядов в отношении большевизма и Советского Союза, и Гитлер заранее не мог решиться на то, что он попросту проигнорирует эти взгляды. Когда же после визита Молотова Гитлер принял окончательное решение “подавить Советский Союз в ходе стремительной кампании”, то, несмотря на легкомысленность этого оборота речи и многих аналогичных выражений, в глубине души ему все-таки было ясно, что это решение обладает совершенно иным весом, нежели решения о нападении на Польшу, Францию или Югославию, и исключительно из того способа, каким фюрер мобилизовал немецкий народ, возник — пока еще неубедительный — ответ на важнейший из всех вопросов: будет ли эта война решающей битвой между Германией и Россией за преобладание в Европе, или же антибольшевистской освободительной войной в союзе со многими европейцами и очень многими русскими или украинцами, или же войной на уничтожение с целью покорения гигантских “жизненных пространств” и истребления еврейства как мнимого врага всех народов мира?

V. Война между Германией и Советским Союзом 1941-1945 гг.

1. Нападение на Советский Союз: Решительный бой? – Освободительная военная кампания? – Война на уничтожение?

Когда утром 22 июня 1941 г. немецкий вермахт уже в течение полутора часов переходил границу Советского Союза от Балтийского моря до Черного, немецкий посол в Москве передал министру внутренних дел Молотову заявление, в заключении которого говорилось, что внешняя политика Советского Союза становится все более враждебной по отношению к Германии и что советское правительство нарушило заключенные с рейхом договоры, сосредоточив и развернув свои готовые к действию вооруженные силы на границах с этой страной, чтобы нанести ей удар в спину в ее борьбе за существование. Поэтому фюрер издает приказ выступить против этой угрозы, прибегнув ко всем имеющимся в распоряжении средствам принуждения.¹ Таким образом, в соответствии с этой декларацией, Гитлер понимает военную кампанию против Советского Союза как превентивную войну. В своем ответе Молотов назвал это обоснование “пустой отговоркой”, т. к. вблизи западной границы проходят “специальные маневры”, от которых советское правительство могло бы и отказаться, если бы ему передали соответствующее пожелание имперского правительства. Поэтому Германия беспрецедентным в истории образом нарушила договор о дружбе и ненападении, который связывал ее с Советским Союзом. Этот тезис явно означал, что Германия развязала неспровоцированную агрессивную войну. Фактически к этому моменту большая часть советских военно-воздушных сил была уже уничтожена. Поэтому Молотов вполне логично завершал свои выступления словами: “Этого мы не заслужили”.²

Таким образом, уже в первые часы войны оба тезиса употреблялись в официальной формулировке и резко противостояли друг другу: Германия ведет превентивную войну или же войну агрессивную; Советский Союз представляет собой невыносимую угрозу или же является ничего не подозревавшей жертвой нападения. До сего дня этот вопрос окончательно не решен³, и уже сразу перед началом конфликта, а также в течение первых недель войны и та, и другая сторона могла приводить в оправдание своей точки зрения самые серьезные аргументы. Но сомнения оставались как в том, так и в другом случае.

Вряд ли можно было сомневаться в том, что Советский Союз действительно нарушил дух и букву заключенных им договоров, когда потребовал от Румынии Буковину, а в Литве не только создал опорные пункты, но и сконцентрировал там значительное число своих дивизий. Кроме того, трудно было согласовать с договором о дружбе тот факт, что Совет-

ский Союз поддержал путч в Белграде и тотчас заключил договор с правительством Душана Симовича. Кроме того, немецкие войска обнаружили в советском посольстве в Белграде документы, слишком явно свидетельствовавшие о враждебных намерениях по отношению к Германии. Но самым сильным доказательством довольно скоро должна была восприниматься ситуация, ставшая заметной после первых четырнадцати дней войны: в распоряжении трех групп армий “Север”, “Центр” и “Юг”, возглавлявшихся генерал-фельдмаршалами фон Леебом, фон Боком и фон Рундштедтом находились в совокупности 3500 танков, и уже в Белостокском котле и под Минском одна только группа армий “Центр” уничтожила или захватила 6000 вражеских танков. Таким образом, в Белостокской дуге было сосредоточено гораздо больше танков, чем должна была выставить вся немецкая Восточная армия, и советский генерал-майор Петр Григоренко, будучи, правда, диссидентом, несомненно прав, когда пишет, что такое сосредоточение обосновано лишь в том случае, если предполагалось внезапное нападение.⁴ Хотя именно в этом он усматривает серьезный промах Сталина, так как на самом деле он не замыслил такого нападения. В любом случае невероятно, чтобы немецкая сторона ощущала прямую угрозу. Так, например, генерал-майор Маркс, приступая 5 августа 1940 г. к разработке первого плана операции, исходил из того, что “русские не окажут нам дружеской услуги и не нападут”⁵, и сам Гитлер еще в январе 1941 г. утверждал, что Сталин – человек умный, открыто против Германии не выступит и будет лишь множить трудности.⁶ В остальном все разработки и предварительные совещания, касающиеся плана “Барбаросса”, свидетельствуют о том, что почти все участники были чрезвычайно уверены в своем превосходстве и надеялись “разбить Россию в ходе одной быстрой кампании”⁷, так что на неоднократные предостережения Гитлера избегать недооценки противника ему при случае возражали в том смысле, что Красная Армия – просто шутка.⁸ Превентивная война не может основываться только на объективных фактах: она, в частности, безусловно предполагает ощущение прямой угрозы со стороны агрессора. Тем не менее наступательная война не обязательно означает нападение только потому, что она не является превентивной. Она может представлять собой решительное и неизбежное сражение, основанное на объективных данных. Лишь несколько недель спустя, 11 сентября 1941 г., Рузвельт в одной из своих “бесед у камина” сравнил “нацистские подводные лодки и корабли-охотники” с гремучими змеями, которых надо раздавить, пока они не набросились, и тем самым оправдал свой приказ на открытие огня, который отдал американским военным кораблям.⁹ Однако немецкие субмарины осуществляли блокаду той страны, с которой Германия находилась в состоянии войны, тогда как США являлись страной нейтральной, которая нигде не была втянута в войну. Положение Германии было совсем иным. Кроме того, она имела полное право вспомнить о таких высказываниях, какие, например, принадлежали руководителю

Главного политического управления Красной армии Л. Мехлису, который в марте 1939 г. на XVII партийном съезде заявил, что СССР в теперь уже наметившейся "второй империалистической войне" перенесет свои боевые действия на территорию противника и увеличит число советских республик.¹⁰ Такие сообщения нередко появлялись в печати, были на слуху и во многочисленных донесениях сообщались немецкому правительству. Они должны были рассматриваться как скрытые военные действия, и можно было даже задать вопрос о том, не представляет ли опасной угрозы своим соседям совершенно замкнутая и к тому же хорошо вооруженная страна — угрозы самим фактом своего существования.

Складывается впечатление, что Сталин сам не мог отделаться от ощущения, что теперь необходимо принять какое-то решение и что Германия больше не может довольствоваться ситуацией, в которой, исходя из позиции, занятой Советским Союзом, ей по-прежнему приходится не предпринимать никаких действий по отношению к Англии. Однако с еще большей вероятностью можно предположить, что Сталин не придерживался мнения, согласно которому это решение с необходимостью предполагало войну между Германией и Советским Союзом. Его поведение в течение последних месяцев перед 22 июня по-прежнему оставалось загадкой, которую по-разному пытались разгадать. По-видимому, он не воспринимал всерьез те предостережения, которые стекались к нему со всех сторон, и проводил по отношению к Германии ясно выраженную политику умиротворения. Здесь уместно вспомнить много раз описанную сцену на Московском вокзале, когда в апреле во время отъезда японского министра иностранных дел Мацуоки немецкий военный атташе полковник Кребс обнимал его со словами: "Мы будем друзьями, что бы ни случилось".¹¹ При этом не следует забывать и рост поставок сырья, в связи с чем, по крайней мере, немецкий посол Шуленбург объяснял решение Сталина стать во главе правительства 6 мая 1941 г. в том смысле, что Сталин решил изо всех сил содействовать улучшению отношений с Германией.¹² С этим вполне согласуется и тот факт, что Сталин позволил разорвать отношения с эмигрантскими правительствами Югославии, Бельгии и Голландии. Несмотря на то, что в ночь с 21 на 22 июня советское руководство отнюдь не пребывало в глубоком сне, о чем ясно дают понять мемуары Георгия Жукова, нападение немцев, вне всякого сомнения, застало врасплох многие войска, и значительная часть военно-воздушных сил без какой-либо маскировки находилась на аэродромах неподалеку от границы. Со времени разоблачений, предпринятых Хрущевым в своей речи на закрытом совещании, поведение Сталина в советской литературе все чаще вызывало острую критику. Однако такому поведению можно дать три вполне обоснованных объяснения.

В Тегеране Сталин сказал Черчиллю: "Я хотел бы иметь еще полгода".¹³ Это вполне могло бы подтвердить немецкий тезис о превентивной войне, однако в таком случае факт неожиданности остается без объяснения.

Быть может, Сталин хотел предстать как ничего не подозревавшая жертва подлого нападения, так как только при таких условиях можно было рассчитывать на безоговорочное оказание помощи со стороны Великобритании и Соединенных Штатов. В таком случае он довольно точно предусмотрел реальный ход войны и сознательно стремился к союзу с англо-саксонскими государствами. Между тем этому противоречит тот факт, что в таком случае он оказывался в состоянии войны с Германией, которая по меньшей мере в течение нескольких месяцев велась бы только на одном фронте и поставила бы англо-саксонские государства в такую ситуацию, которая была желанна ему самому, а именно в ситуацию не растратившей своих сил третьей стороны, которая в конце концов берет верх над сражающимися между собой обессиленными врагами. Повидимому, крайне обеспокоенный полетом Рудольфа Гесса в Англию, который состоялся в мае, он почти не сомневался в том, что в конце концов основные силы капитализма станут на сторону капиталистическо-фашистских военных государств в борьбе против социализма, занимавшего шестую часть земли.

Третье и наиболее вероятное объяснение можно было бы отыскать в непривычно частом употреблении слова "переговоры", к которому прибегали в эти недели. В знаменитом опровержении ТАСС от 14 июня сообщается, что Германия не предъявила Советскому Союзу никаких требований, не предложила заключить никаких новых тесных соглашений и вследствие этого переговоры на данную тему не могли состояться.¹⁴ Это звучит как настоятельное требование вступить в такие переговоры и данное впечатление лишь усиливается, когда вспоминаешь, что и позднее Молотов и Сталин подчеркивали, что Германия напала на Советский Союз, не вступив ни в какие переговоры.¹⁵ Все выглядит так, как будто Сталин до последней минуты ожидал, что с немецкой стороны ему ультимативным образом предложат вступить в эти переговоры и что он был склонен пойти на это. Вероятно, когда Молотов находился с визитом в Берлине, Сталин, по широко распространенной методике, наделил его полномочиями, позволявшими предъявлять максимальные требования, и теперь был готов отказать от них, т.е. присоединиться к запланированному континентальному блоку при условии отказа от европейских требований, а также увеличить поставки сырья и в случае необходимости даже вывести Красную Армию из пограничных областей. В пользу этой версии говорит тот факт, что, согласно докладу Хрущева, когда началась война, Сталин поначалу погрузился в отчаяние и восклицал: "Мы потеряли все, что создал Ленин"¹⁶, а также то, что, по рассказам его дочери, спустя несколько лет он с глубоким сожалением любил повторять: "Вместе с Германией мы были бы непобедимы".¹⁷ Фактически ему пришлось бы выбирать именно этот путь, если бы он захотел осуществить свой основной внешнеполитический замысел: держать капиталистические государства в состоянии войны между собой и в конце концов выйти победителем. Ради такого

дела никакая жертва не казалась слишком большой и, быть может, — как предполагали современники, — он отдал бы немцам даже Украину, так как нет никаких сомнений в том, что, в отличие от Гитлера, он гораздо вернее оценивал огромную производительную мощь Соединенных Штатов и был убежден в том, что хотя поначалу Германия нанесет огромные потери военно-морским силам англо-саксонских государств, однако в конечном счете проиграет им войну. Если же он вместе с Америкой нанесет поражение Германии и при этом возьмет основную тяжесть потерь на себя, тогда победят его самого, и по его собственным предположениям вероятность поражения была слишком велика.

В любом случае, есть все основания считать, что Сталин, как и Гитлер, был убежден в том, что надо принять какое-то решение, однако он не предполагал, что это будет война между Германией и Советским Союзом. В таком случае Гитлер и Германия не несут полной ответственности за возникновение ситуации, потребовавшей принять решение — этому вместе с Гитлером одинаково способствовал и Сталин — однако Гитлер и Германия стали, наверное, причиной того, что это решение приняло облик войны между Германией и Советским Союзом.

Однако начало такому пути было положено, и теперь требовалось ясно определить решение дальнейшей альтернативы. Война против Франции окончилась победой, и Франция получила новое правительство, которое было готово к сотрудничеству с Германией. Это новое правительство подготовило перемену системы и утвердило авторитарный режим, во главе которого стоял весьма уважаемый человек в стране, маршал А. Петен. Правительство снова было готово расстаться с Эльзас-Лотарингией, однако дальнейшего ослабления — по крайней мере, на данный период — можно было не опасаться. Военная победа над Советским Союзом в любом случае повлекла бы за собой формирование нового правительства, а также создание новой системы, и какой-нибудь русский Петен заявил бы о своей готовности к сотрудничеству с Германией и, наверное, признался бы в том, что на смену советскому мнимому федерализму пришел подлинный. Что касается борьбы между государствами, то в результате нее гражданская война в Европе, в конце концов, стала бы определяющей реальностью. Однако с “национально-немецкой” точки зрения по отношению к Франции существовало одно серьезное отличие: эта “новая Россия” лишь в военном отношении была бы слабее Германии, а по численности населения и запасам природных ресурсов по-прежнему превосходила бы ее. Если в своей позиции не исходить из доверия к партнеру и не слишком полагаться на собственные силы, тогда надо было ставить задачей более основательное ослабление России. Именно в этом и состоял замысел Альфреда Розенберга, которого в июле Гитлер назначил “рейхсминистром оккупированных восточных областей”. Уже 2 апреля в докладной записке он разработал план, согласно которому Россию предполагалось разделить на ее этнические части и, окружив будущую

“Московию” кольцом независимых государств, а именно Украиной, Белоруссией, областью Дона и регионом Кавказа, постоянно держать ее “под угрозой”.¹⁸ Подобно тому как в 1919 г. западные державы организовали “санитарный кордон”(cordon sanitaire) вокруг советской России, состоящий из различных государств, которые частично или полностью принадлежали царской империи, подобно тому как страны-победительницы, не пожелав мириться с возникновением Великой Германии, окружили Пруссию враждебно настроенными к ней государствами, Альфред Розенберг стремился к тому, чтобы в духе Версальского договора обеспечить постоянное подавление основной области единственного соперника Германии в Европе. Говоря отвлеченно, речь шла о таком политическом мышлении, которое характерно для ситуации решительной борьбы, и оно в такой же мере заслуживает или не заслуживает порицания, в какой этого заслуживают действия союзных держав в 1919 г. Однако с самого начала такой подход не совсем хорошо соотносился с другим аспектом всей совокупности проблем, и это наиболее ярко заявило о себе тогда, когда в своей речи от 20 июня 1941 г. Розенберг сказал: “Сегодня мы начинаем “крестовый поход” против большевизма не для того только, чтобы навсегда освободить от него “нищих русских”, но и для того, чтобы осуществлять немецкую мировую политику и обеспечить условия существования для германского рейха..., заменить Сталина новым царем или даже назначить какого-нибудь националистического вождя в той области, которая однажды мобилизовала бы против нас все свои силы”. Вместо идеи единой России, широко бытовавшей прежде, отныне о себе заявила совершенно иная концепция “восточного вопроса”.¹⁹ Если война в этом смысле представляла собой так называемый решительный бой, тогда нельзя было рассчитывать даже на то, чтобы привлечь на сторону немцев русских, лишенных гражданских прав, а также лишенных собственности кулаков или их детей. Тем не менее не было никакого сомнения в том, что зачинщики этой войны рассматривали ее как возобновление войны гражданской и что вновь ожили все те чувства, которые некогда господствовали в России и Германии. Они, правда, могли утратить свою силу и в ослабленном виде найти выражение в обычных оборотах, когда, например, министерство иностранных дел в своей ноте от 21 июня заявило, что немецкий народ должен “спасти всю мировую культуру от смертельной опасности большевизма”²⁰, или когда “Немецкая дипломатическо-политическая информация” 27 июня утверждала, что война Германия против Москвы станет крестовым походом Европы против большевизма, причем речь идет о сохранении и восстановлении основополагающих принципов национального и просто человеческого сосуществования, а именно о восстановлении свободы и достоинства человеческой личности, семьи, частной собственности, свободы религиозных убеждений, а также культурной самобытности народов и народностей всей Европы.²¹ Казалось, что в таких выражениях вновь заявил о себе дух национального

подъема 1933 г., однако Альфред Розенберг гораздо непосредственнее выразил чувство горечи и ненависти, а также прочие ощущения первых послевоенных лет, когда в своей Общей Инструкции от 8 мая, предназначенной для рейхскомиссара оккупированных восточных областей, обозначил положение, гласившее, что немцы Восточной Европы, на протяжении многих столетий вносившие огромный вклад в развитие экономики, были без какого-либо возмещения ущерба лишены всей своей собственности и сотнями тысяч подвергались переселению и умирали с голоду.²² Однако уже 30 марта 1941 г. чувствам эпохи гражданской войны сильнее всего предался Гитлер в своей речи перед генералами. Он заявил о том, что большевизм – это социальная организованная преступность, а коммунизм представляет огромную опасность для будущего. “Мы должны уйти от понятия солдатского братства. Коммунист не был и не будет товарищем... Необходимо вести войну против духа разложения... Комиссары и люди из ГПУ – это преступники, и с ними надо обходиться как с преступниками”.²³ Во время гражданской войны на самом деле никто не думал о том, что белого или красного можно считать товарищем, с которым надо обращаться по-рыцарски. Советы всегда хорошо помнили зверства, которые совершали белые и даже во время войны с финнами вряд ли только в пропагандистских целях красноармейцам рассказывали о том, что, если они попадут в руки к “белофинским мясникам”, их замучат до смерти. “Преступниками, воюющими против общества”, считал большевиков и атаман Каледин, так как своим лозунгом “грабь награбленное” они зывали к самым первобытным инстинктам, а генералу Корнилову дойти до столицы помешало “разложение”. Гитлер, правда, довольно редко напрямую вспоминал о событиях гражданской войны и не скрывал своей неприязни к русским эмигрантам, которые в его глазах оказались несостоятельными. Однако нет никаких сомнений в том, что он был прекрасно осведомлен о самых важнейших событиях, и это становится ясно из случайных помет, например, из таких (относящихся к более позднему моменту), в которых он пишет о том, что в 1918 г. в Киеве украинцы убили лучшего друга украинского народа фельдмаршала Эйхгорна.²⁴ Таким образом, когда он говорил о войне на уничтожение, речь шла об уничтожении определенной идеологии и ее передовых бойцов, а такой замысел прекрасно понимали все участники гражданской войны. В той же самой связи надо рассматривать и “приказ о комиссарах”, который, вне всякого сомнения, был “нечеловеческим” и “нарушающим нормы международного права”, но который исходил из предпосылки, общей для обеих сторон, участвующих в гражданской войне: сам противник наверняка будет предпринимать преступные и противоречащие этим нормам действия. Поэтому в “директивах” от 8 июня говорится: “В борьбе против большевизма нельзя рассчитывать на то, что поведение врага будет соотноситься с основными принципами человечности или нормами международного права. Особенно следует ожидать того, что всевозможные политические комис-

сары, будучи подлинными носителями духа сопротивления, станут относиться к нашим военнопленным с бесчеловечной ненавистью и жестокостью".²⁵ Поэтому политических комиссаров нельзя воспринимать как солдат и "после проведенного отбора их следует убивать".

Если рассматривать этот приказ в контексте *мировоззренчески мотивированной войны*, тогда он является не "преступным", а вполне логичным. Преступление лежит гораздо глубже, а именно в развязывании такой войны без настоятельных причин. В этом смысле снова должен возникнуть вопрос, была ли эта война превентивной или представляла собой неизбежный решительный бой. Однако в любом случае упомянутый приказ был безрассудным, так как немецкое руководство не отдавало себе отчета в том, что тем временем советское правительство сделало еще один шаг, оставляющий позади реалии и чувства, характерные для гражданской войны. Всех членов Красной Армии, попавших в плен, оно стало рассматривать как дезертиров, за трусость и предательство которых должны были ответить члены их семей.²⁶ Таким образом, в глазах своего собственного правительства попавшие в плен комиссары были преступниками, достойными смерти, и, позволив их "убивать", Гитлер стал пособником Сталина. На самом деле этот приказ широко не применялся, в 1942 г. был отменен и позднее бывшие политические комиссары причислялись к самым тесным сотрудникам Власова.

Однако если война против Советского Союза основывалась на эмоциях, которые были эмоциями русской гражданской войны, а также той борьбы, которую в Веймарской республике вели между собой коммунисты и национал-социалисты, тогда она не могла быть просто кампанией отмщения или только "оборонительной войной западных стран", хотя приказ об уничтожении комиссаров, с одной стороны, и заявления министерства иностранных дел, с другой, подсказывали именно такое ее истолкование. Независимо от воли ее зачинщиков она в то же время должна была представлять собой освободительную войну, и значительная часть населения так ее и воспринимала, если, конечно, в силу коллективизации, большой чистки и депортации из Восточной Польши и балтийских стран не оказывался верным тезис партийного руководства о моральном и политическом единстве советского народа. Несмотря на то, что целый ряд войсковых частей Красной Армии сражался очень мужественно и даже с тем фанатизмом, который был глубоко чужд немцам и нередко побуждал последних защитников какого-либо укрепления прибегать к совместному самоубийству, уже в первые недели войны сотни тысяч сдались в плен, во всех городах и деревнях Литвы и Латвии немецкие войска принимали с ликованием, на Украине почти повсеместно их встречали хлебом и солью и уже до их вступления в г. Львов там было сформировано временное правительство, которое, очевидно, было готово к полному сотрудничеству с Германией. Правда, даже здесь освобождение и месть тесно переплетались между собой. Так, например, в том же Львове и других местах

войска НКВД жестоко расправились со всеми, кто находился в тюрьмах и даже с некоторыми немецкими летчиками, попавшими им в руки, а население Украины жестоко мстило тем, кого оно считало зачинщиками, так что казалось, будто наступает время новых еврейских погромов. Однако можно было ожидать, что немецкий вермахт положит конец таким стихийным акциям и что речь пойдет не столько о мести, сколько об освобождении. Во всяком случае на это была настроена пропаганда вермахта, руководившаяся отделом "Wpr" в штабе армии и на миллионах листовок и плакатов представлявшая Адольфа Гитлера как освободителя всех доныне угнетенных.

Между тем никто так наглядно, как Сталин, не доказал, сколь плодородной оказалась почва, на которую пала эта пропаганда. 3-го июля во второй раз в жизни он обратился к народу по радио и впервые назвал своих слушателей "братьями и сестрами", а также "товарищами".²⁷ Прежде всего он, конечно же, заклеил "нарушение слова" и "нападение" со стороны немцев и заверил, что отборные дивизии врага и лучшие подразделения его военно-воздушных сил уже разбиты. Теперь Германия снова стала для него "фашистской", а Гитлера и Риббентропа он назвал "чужаками и людоедами". Тем не менее он не оставил никакого сомнения в том, что "над родиной нависла серьезная опасность". Он тоже прибегнул к эмоциям и понятиям гражданской войны, когда заявил, что враг стремится к тому, чтобы восстановить власть помещиков, вернуть царизм, лишить свободные народы Советского Союза их государственной самостоятельности и сделать их "рабами немецких князей и баронов". Даже выражение "народная отечественная война" можно было свести к обороту, в свое время употребленному Лениным. Новым было то, что Сталин с "чувством благодарности" воспринял историческую речь Черчилля от 22 июня и соответствующую декларацию правительства Соединенных Штатов, которое заявило о своей готовности предоставить помощь советскому народу после того как Гитлер был разоблачен "в глазах всего мира как кровожадный агрессор". Однако примечательнее всего было то, что он довольно жестко заговорил о "нытиках и трусах, паникерах и дезертирах" и во второй раз – о "дезорганизаторах тыла, дезертирах, паникерах, распространителях слухов, шпионах и диверсантах" и призвал к "поддержке фельдгегерского батальона". Вряд ли можно сомневаться в том, что он полагался не на бесспорную преданность всего советского народа, а на тот метод, который позднее описал Черчиллю так: в Советском Союзе каждый – герой, потому что каждый знает, что, для того, чтобы выжить, надо бросаться на врага, а если отступишь, значит умрешь.²⁸ Тем не менее он настолько рассчитывал на широкую поддержку, что провозгласил тактику выжженной земли и призвал к "разжиганию партизанской войны". Однако Адольф Гитлер, по-видимому, не заметил, что этой речью Сталин показал, сколь зыбкой была та почва, на которой он стоял, и как много оказалось людей, не поверивших его утверждению о том, что он

привел их к "свободному труду и благосостоянию". В беседе с японским послом Осимой, состоявшейся 15 июля, Гитлер вспомнил лишь о приказе об уничтожении и сделал вывод, что в силу этого сталинского приказа миллионам людей придется умереть, так как Германия не может снабдить русское население ни углем, ни продуктами питания.²⁹ Восемь дней спустя через Кейтеля он категорически заявил, что войска должны сеять страх, направленный лишь на то, чтобы отнять у "населения" всякое стремление к сопротивлению.³⁰ Если вспомнить, что за день до этого в беседе с хорватским маршалом Кватерником Гитлер сказал, что на сегодняшний день русский народ, по-видимому, на 70-80% состоит из монголов³¹, то становится совершенно ясно, что он не собирался ограничиться одним лишь уничтожением мировоззрения, но стремился уничтожить саму биологическую субстанцию "восточных народов", так как хотел овладеть их землей как жизненным пространством для немецких поселенцев и зоной безопасности для будущей войны, о чем и заявил в своей ранней речи, а также в "Mein Kampf". Совершенно в таком же духе он 16 июля провел беседу с Розенбергом, Ламмерсом, Кейтелем, Герингом и Борманом, рассуждая об "огромном пироге", который надо умело разрезать, чтобы "во-первых, овладеть им, во-вторых, распорядиться и, в-третьих, воспользоваться".³² Хотя он не исключал и "пропаганды" в том смысле, что "мы – носители свободы". Но могло ли советское население поверить высказываниям того человека и того руководства, которые намеревались очистить Крым от всех посторонних и заселить немцами, присоединить к рейху Галицию, страны балтийского региона и даже колонии на Волге, Ленинград и Москву сравнять с землей, а область вокруг Баку превратить в немецкое военное поселение? Могли ли даже те из эмигрантов, кто был самым дружественным образом настроен по отношению к немцам, а также те красноармейцы, которые люто ненавидели Сталина, со спокойной совестью воспринимать человека, решившего, что "никогда никто, кроме немца, не будет носить оружия?"³³

Сомнения быть не могло: человек, который сделал Германию достаточно сильной для того, чтобы вести решительный бой за господство в Европе, и который разделял все антикоммунистические настроения послевоенного времени, хотел прежде всего вести войну на уничтожение и порабощение славянских народов и осуществлял еще более решительное уничтожение евреев в соответствии со своей речью от 30 января 1939 г.

Тем самым о себе заявило самое удивительное из всех превратностей. Сталин позволил уничтожить гораздо больше русских, украинцев и евреев, чем Гитлер уничтожил немцев, а после сентября 1939 г. даже евреев и поляков, и тем не менее теперь он должен был стать воплощением самутверждения и воли к выживанию почти всех народов Советского Союза – в ту пору, когда Гитлер стремился ослабить русских, украинцев и евреев в их биологической субстанции или даже уничтожить их; в то же время, несмотря на то, что Гитлер опустошил духовную и политическую жизнь

немцев, он привел их на вершину власти, но теперь ему надлежало стать виновником самоуничтожения своего народа, когда в разрешение ситуации вмешались другие силы и когда Сталин позволил себе руководствоваться его примером.

Таким образом, нельзя разъединять все три аспекта войны между Германией и Советским Союзом, и в Гитлере они соединились настолько, что он, движимый антибольшевистскими настроениями, хотел признать подлинным решением лишь физическое уничтожение или окончательное ослабление азиатов, объединенных в Советский Союз. Однако, несмотря на это, речь идет не просто об абстракциях, но о тех тенденциях и возможностях, которые сами по себе были сложными и могли по-разному сочетаться. Даже Адольф Гитлер не был так могущественен, чтобы при всех обстоятельствах осуществлять свои основные замыслы и намерения. Поэтому целесообразно так рассматривать основные события войны, чтобы всякий раз внимание акцентировалось на одном из аспектов. И тогда, приступая к окончательному рассмотрению, можно задаться вопросом о том, как наиболее адекватным образом возможно охарактеризовать окончательную победу большевистского Советского Союза и поражение национал-социалистской Германии.

2. Необходимость, случайность и альтернативы в войне между Германией и Советским Союзом

В дальнейшем понятие “необходимость” и “случайность” надо понимать не в философском, а в историческом смысле: случайным считается то, что зависит от решения какого-либо человека или небольшой группы людей, причем таким образом, что какое-либо другие действия этого человека или этой группы, равно как какого-либо другого человека или группы, оказавшихся на их месте, не натолкнулись бы на непреодолимое сопротивление. Случайным событие считается и в том случае, когда сталкиваются равные по силе тенденции и решение определяется особыми обстоятельствами или деятельностью относительно небольшого количества человек. В историческом смысле случайными оказываются и события природного порядка, которые оказывают сильное воздействие на жизнь человека, но которые нельзя было предвидеть наверняка или хотя бы с высокой степенью вероятности. Необходимым считается то, что не имеет этого характера случайности. Из взаимодействия необходимостей и случайностей можно вывести те альтернативы, которые, с точки зрения человека, могли бы осуществиться, если бы случайные обстоятельства не повели себя иначе. В этом смысле болезнь, от которой умер Александр Великий, была случайной и поэтому надо принять как альтернативу, что под его руководством армия могла дойти до Ганга, а не поворачивать вспять; поражение Ганнибала стало необходимым после того, как он не смог взять Рим первым приступом, хотя оно могло совершиться раньше или позднее

и как-то иначе. Далее надо проводить различие между “чистой случайностью” и “случайной необходимостью” действий определенного характера.

В этом смысле нападение Гитлера на Советский Союз было случайным, когда возникла вероятность нового соглашения со Сталиным, но оно имело характер “случайной необходимости”, когда Гитлер снова охарактеризовал “столкновение с большевизмом” и “решение проблемы жизненного пространства для немцев” как свою “прямую задачу”. Еще большей печатью чистой случайности отмечено время начала войны. Импульсивное решение Муссолини напасть на Грецию обусловило начало Балканской военной кампании, и поэтому нападение началось не 15 мая или в начале июня, как было задумано, а только тогда, когда до самого раннего выпадения снега оставалось менее четырех месяцев.

Согласно всем предпосылкам необходимым был призыв Сталина к партизанской войне (противоречащий нормам международного права), а также обещание помощи, которое Черчилль дал Советскому Союзу как раз 22 июня. Правда, это обещание было необходимым лишь потому, что оно в то же время доказывало, что Великобритания оказалась в воде не только по шею, но и по самые уши. Пожалуй, никто не смог бы сравниться с Черчиллем в той решимости, с которой он по этому случаю прибегал к оскорблениям: Гитлер — это “подлое чудовище”, “кровожадный уличный хулиган”, его “нацистские банды” щеголяют “дьявольской свастики”, в то время как “громыхающие саблями прусские офицеры” возглавляют “дикие орды солдатни, похожей на гуннов и роящейся и кишашей как саранча”. “Единственной непреложной целью” Англии является уничтожение Гитлера и всякого следа его нацистского режима.¹ Таким образом, речь шла о безусловном обещании помощи, и если, с одной стороны, своей речью Черчилль доказал, что не только Ленин и Гитлер, называя своих врагов “насекомыми” и “бациллами”, стремились лишить их человеческого облика, то, с другой, несмотря на весь этот пафос, вряд ли слушавшие его сомневались в том, что он в то же время надеялся на победу Гитлера над Советским Союзом, считал ее предрешенной и в этой борьбе прежде всего усматривал возможность передышки для угнетенной Англии — вслед за многими английскими и американскими экспертами, которые стали высказывать свое мнение в самые первые недели войны. Если бы он считал, что Советский Союз одержит победу, тогда его поведение было бы совершенно непонятным. В конце концов Советский Союз был той страной, которая вместе с Гитлером лишила единственного союзника Англии государственности и разделила его территорию, и теперь элементарная лояльность по отношению к Польше состояла бы в том, чтобы предоставить помощь Советскому Союзу при условии, что тот вернет захваченные территории. Между тем Черчилль не сказал об этом ни слова, однако, вероятно, чувствовал, что его доверием довольно сильно злоупотребляют, и поэтому не преминул заметить, что нацистский режим “не отличается от самых худших проявлений коммунизма”, и не

отказался ни от одного своего слова, сказанного о коммунизме в двадцать пять лет. Кроме того, было совершенно ясно, что этот столь быстро заключенный союз станет весьма нелегким и рискованным предприятием, если для Великобритании речь пойдет о чем-то большем, чем о продлении передышки.

Однако через два дня Рузвельт тоже заявил о том, что Соединенные Штаты предоставят Советскому Союзу всякую помощь, которая только возможна. Это обещание также было бы непонятным, если бы президент считал, что Советский Союз хоть в какой-то мере может противостоять Германии. Всякий, кто, будучи американцем, вспоминал о Наполеоне и исходил из одних только прагматических интересов, наверное, не мог не согласиться с сенатором Гарри Трумэном, который предлагал подождать до тех пор, пока оба противника, ввязавшиеся в борьбу, не устанут от нее, и позднее самим ввязаться в нее в случае необходимости.² Разве не было известно, что вся американская пресса всего лишь полтора года назад была вне себя от гнева за то, что Сталин напал на Финляндию? Разве в посвященных кругах не знали о том, что из-за Финляндии Англия и Франция хотели начать военные действия против Советского Союза и что английские военные уже разрабатывали планы, по которым в результате большого воздушного налета город Баку должен был превратиться в море огня?³ Кроме того, в стране были довольно сильны пацифистские настроения. В результате исследований, выявивших, какую роль интересы военно-промышленного комплекса сыграли во вступлении Соединенных Штатов в Первую мировую войну, движение пацифистов стало довольно сильным и нельзя было исключать, что теперь оно объединится с антибольшевистским течением, которое было особенно влиятельным среди американцев итальянского и польского происхождения. 18 июля 1941 г. в своем меморандуме, предназначенном для Гарри Гопкинса, бывший посол в Москве Джозеф Дэвис писал, что в США “широкие слои населения настолько ненавидят советских, что надеются на победу Гитлера в России”.⁴ Именно поэтому, как он считает, надо всеми силами поддерживать Сталина, ибо в противном случае может получиться так, что, будучи “человеком восточным и к тому же холодным реалистом”, он заключит мир с Гитлером. Спустя четырнадцать дней Рузвельт через Гопкинса сообщает Сталину о том, что считает Гитлера “врагом человечества” и поэтому готов помочь Советскому Союзу в его борьбе против Германии.⁵ Нет никакого сомнения в том, что в своем заявлении Рузвельт был искренен и речь шла не просто о том, чтобы получить передышку и выиграть время. Учитывая сложившуюся ситуацию, Рузвельт сделал все возможное, чтобы Соединенные Штаты начали войну против Гитлера и Японии и, преследуя эту цель, он не остановился даже перед грубой ложью, например, утверждал, что в его распоряжении оказались секретные карты и документы немецкого правительства, в которых разработаны планы разделения Южной Америки и уничтожения всех религий, включая индуист-

скую.⁶ Понятно, почему Гитлер считал, что за Рузвельтом стоит "еврейская газетная империя", однако по отношению к Америке Гитлеру тоже не удалось сделать так, чтобы явный и даже довольно сильный антибольшевизм перерос в антисемитизм. Если бы он был готов пересмотреть свою излюбленную точку зрения, ему, наверное, пришлось бы сказать, что немецкая Америка никак не может смириться с тем, что в результате военных действий в Европе образовалась мировая империя, полностью изменившая соотношение сил на Земле. Если Рузвельт не хотел идти напрямик, а был вынужден прибегать к лжи, клевете и нарушению нейтралитета, то это прежде всего объяснялось тем, что в отличие от Гитлера он не желал устранять своих внутривнутриполитических противников. Несмотря на большую долю случайности, влиявшей на решения, принимаемые англосаксонскими державами, несмотря на все неискреннее, что в этих решениях содержалось, несмотря на наличие многих противоборствующих сил, в конечном счете во всем происходившем начинала сказываться более глубокая необходимость. Поэтому Гитлер должен был быть готовым к тому, что, если он перейдет Буг, на сторону Советского Союза станет не только Англия, но и США. Что касается самой Америки и Англии, то здесь никакой настоящей альтернативы не существовало, так как почти все в этих странах считали и не могли не считать, что своими силами Советский Союз в борьбе с Германией продержится не более нескольких месяцев.

Иначе обстояли дела с последней из пяти мировых держав – Японией. С 1937 г. она была связана с Германией "Антикоминтерновским пактом", а с 1940 – "Трехсторонним соглашением" ("Берлинским пактом"). Казалось, все клонилось к тому, что Германия предложит Японии напасть на Советский Союз на Востоке, благодаря чему откроется второй фронт и шансы Германии на победу довольно сильно возрастут. Однако об этом можно было говорить только как о возможности. Гитлер был уверен в победе и не хотел, чтобы какая-либо другая, равная по мощи держава, делила с ним его самый значительный и важный успех. В апреле 1941 г. он сам призвал японского министра иностранных дел Мацуоку заключить с Советским Союзом пакт о ненападении и обратить взоры на юг, в область "будущего велико-азиатского процветания". Риббентроп в этом вопросе придерживался иного мнения, и после 22 июня снова начал склонять союзников Германии к нападению на Советский Союз. Что касается Японии, то в ней, и особенно в армии, были довольно мощные силы, которые вынашивали такие же замыслы, хотя память о тяжелом поражении, которое Япония понесла в 1939 г. на границе между внешней Монголией и Маньчжоу-Го, заставляла серьезно задуматься. Вполне возможно, что, если бы Советскому Союзу пришлось вести войну на два фронта, то он пал бы еще до наступления зимы и поставок оружия Соединенными Штатами и Англией. Однако у Гитлера не было ясности в этом вопросе, и тогда японские военно-морские силы решили в последний раз попытаться

провести переговоры с Соединенными Штатами, чтобы потом, в случае необходимости, покончить с американскими экономическими санкциями, вторгшись в Индию и напад на американский флот.

Поэтому Гитлер был не совсем прав, когда 3 февраля 1941 г. в беседе с одним из своих генералов сказал: "Когда Барбаросса поднимается, весь мир молчит, затаив дыхание".⁷ Хотя мир действительно смотрел на все происходящее затаив дыхание, поскольку было ясно, что здесь решается судьба всей Земли, он тем не менее не молчал и не молчал настолько, что три великие державы, от решения которых в какой-то мере зависел исход событий, тотчас начали осуществлять самые серьезные мероприятия или готовиться к ним. Однако в течение полугода казалось, что в мире существуют только Германия и Советский Союз, и вопрос заключался в том, продержится ли последний до начала зимы. События, разворачивавшиеся на полях сражений, довольно сильно напоминали те, которые имели место в Польше в сентябре 1939 г., однако в них заявляла о себе совершенно другая необходимость. В Польше национал-социалистская армия промышленной державы победила армию аграрной страны, причем результат просматривался с высокой степенью необходимости.⁸ На равнинах Белоруссии и Украины армия, сформированная в традициях ведения мировых войн, сражалась с армией, которая была создана вопреки этой традиции. Самосознание Красной Армии основывалось на том, что однажды она, как революционная сила, победила своего врага и что теперь ею командует корпус командиров, многие из которых участвовали в гражданской войне, как, например, маршалы Ворошилов и Буденный. Что касается немецкой армии, то, несмотря на все резкие перемены, произошедшие в ней, она все еще оставалась армией кайзеровской империи. И тут оказалось, что, преследуя свои цели, Гитлер поступил правильно, решившись заменить начальника штаба штурмовых отрядов Рема на генерала Бломберга. Кое-что в ходе военных действий объяснялось фактором неожиданности, многое объяснялось тем, что население с каждым днем все больше приветствовало продвижение немецких войск, однако было очевидно и то, что немецкий вермахт оказался лучше подготовленным и имел лучшее руководство.⁹ Уже 2 июля группа армий "Север" достигла Риги и продолжала наступление на Ленинград, на который с севера двигались и финны, группа армий "Центр" после боев на окружение, проведенных под Белостоком и Минском, в районе Смоленска разбила армию под командованием маршала Тимошенко и 16 июля захватила этот город, бывший ключом к России; группа армий "Юг" (за рекой Прут в направлении Одессы поддерживаемая румынскими войсками) углубилась в просторы Украины и ближайшей ее целью был город Киев. Начальник генерального штаба Гальдер уже в начале июля считал войну выигранной, но потом оказалось, что в некоторых местах сопротивление было более ожесточенным, чем предполагалось, и что советская сторона бросает в бой все новые войска и танки, хотя к началу августа количество советских

военнопленных составляло почти миллион человек и, кроме того, было уничтожено более 10 000 танков. Однако в первую очередь стало ясно, что самые современные и самые мощные советские танки, прежде всего "Т-34" и "КВ", по качеству превосходили немецкие. По всему фронту их насчитывалось лишь около тысячи, но к тому времени из трех с половиной тысяч немецких танков многие были уже уничтожены, а немецкое военное производство могло поставлять не более двухсот танков в месяц. Тем не менее немецкие солдаты все еще сохраняли волю к победе и уверенность в ней, и группа армий "Центр", несмотря на все трудности и потери, надеясь в порыве всеобщего воодушевления возобновить наступление и в течение нескольких недель, захватив Москву, поставить решительную точку во всей военной кампании. Однако Гитлер, довольно часто бывший неплохим психологом, на этот раз оказался экономистом, который прежде всего стремился к тому, чтобы лишить русских их кавказской нефти. Кроме того, он прекрасно сознавал, сколь велика опасность, исходившая от советских войск, еще стоявших в Киеве, и поэтому, остановив продвижение группы армий "Центр", выделил из нее войска для большого сражения на Днепровской дуге, которое прошло очень успешно и в результате которого в немецком плену снова оказались несколько сотен тысяч советских солдат. Только в начале октября группа армий "Центр" получила приказ наступать, и теперь она напрягала последние силы, медленно продвигаясь на Москву. В двойном сражении под Вязьмой и Брянском она одержала победу над мощными силами врага и ее головные отряды уже стояли в нескольких километрах от Москвы. С 16 по 18 октября в советской столице царил паника, близкая к анархии: члены партии рвали свои партбилеты, солдаты бросали винтовки, магазины подвергались разграблению, правительство покидало город и, если верить сообщениям, даже Сталин выехал из города в своем спецпоезде, однако в последний момент передумал и вернулся в Кремль.¹⁰ 19 октября главнокомандующий генерал Жуков объявил осадное положение, из Сибири подходили свежие войска (так как из Токио от Рихарда Зорге, бывшего доверенным лицом немецкого посла и к тому же агентом и испытанным членом партии, шли успокаивающие сообщения о том, что Япония пока не собирается вступать в войну), а потом начались осенние ливни, и все дороги и тропинки превратились в непроходимое болото. Относительно терпимый мороз, воцарившийся на несколько дней, позволил немецким войскам продолжать наступление, однако потом началась необычно ранняя и очень суровая зима, и теперь врагами немцев стали не только солдаты и плохие дороги, но и необычайно злая и могущественная природная стихия, приводившая к тому, что в танках замерзало топливо, а винтовки порой примерзали к рукам пехотинцев. В Лондоне и Вашингтоне, Токио и Париже с недоверием воспринимали сообщения о том, что Москва, это средоточие советской жизни и всяческих коммуникаций,

вопреки всем ожиданиям не сдалась врагу и что теперь Гитлеру, вероятно, придется повторить в ледяных пустынях Сибири судьбу Наполеона.

Таким образом, перед Гитлером возникла первая серьезная альтернатива, неблагоприятная для него. Если немецкие армии начнут отходить, они, вероятно, уже не смогут остановиться, потому что тыловые рубежи не были подготовлены, а надежные зимние квартиры существовали только неподалеку от немецкой границы. Правда, на данный момент с начала войны численный состав советской армии был самым низким – 2,9 миллиона человек – причем значительная часть войск состояла из пожилых или совсем молодых и к тому же плохо обученных солдат, однако сибирские элитные части могли вдохнуть в нее новую жизнь, и нельзя было исключать возможности, что зимняя маневренная война в западно-восточном направлении может закончиться катастрофой для Германии и русские дивизии, как и в 1814 г., дойдут до Парижа и берегов Ла-Манша. Тогда Гитлер, и по всей вероятности он один, 19 декабря приняв на себя командование армией, невероятным усилием воли и беспощадными приказами держаться до конца, в целом сумел удержать фронт на прежнем месте, хотя немцам пришлось уступить некоторые территории, а на Южном фронте – отдать только что завоеванный Ростов. Фельдмаршалы фон Бок и фон Рундштедт были смещены со своих постов, генерал-полковник Хёпнер, перед Москвой отдавший своим танковым соединениям приказ отступать, был уволен из вооруженных сил, а генерал фон Шпонек, не сумевший взять Крым, был приговорен к смерти, хотя впоследствии этот приговор был изменен на содержание под стражей в крепости. (В июле Сталин расстрелял больше половины генералов своих военно-воздушных сил, а также двух генерал-полковников и целый штаб армии).¹¹ Из-под Москвы шли победные сообщения, но о немецкой катастрофе не говорилось ни слова. Тем не менее для Гитлера эти события означали первую серьезную утрату доверия со стороны немецкого населения. После того как с большими затратами прошел сбор теплой зимней одежды для фронта, самые преданные сторонники Гитлера начали подозревать, что он, хотя, быть может, и являясь самым победоносным из всех полководцев, все-таки не самый великий, так как стало ясно, что и он может принимать самые пагубные и неверные решения. Месяц за месяцем немецкий народ надеялся на победоносное окончание войны, а значит, и на установление мира, и то воодушевление, которое немецкая армия донесла до Москвы, в немалой степени подогревалось надеждой снова оказаться дома на рождество. Однако теперь никто уже не сомневался, что эра молниеносной военной кампании и победы подошла к концу и что впереди долгая и тяжёлая война.

Тем не менее зима 1941-42 гг. была полна сенсационных победных сообщений, хотя речь уже шла не о немецкой, а о японской победе. 6 декабря японцы напали на Тихоокеанскую американскую эскадру в Пёрл-Харборе и почти полностью уничтожили ее. Тем самым они открыли себе

путь в Юго-Восточную Азию и через несколько недель завоевали Индонезию, Филиппины и Сингапур. Однако начав эти действия, они предоставили Рузвельту долгожданную возможность вступить в войну, к которой он был готов, а Гитлера поставили перед последним принципиально важным решением в его жизни. Как и тогда, когда Муссолини напал на Грецию, Гитлер видел, что его союзник принял самостоятельное решение: японцы не сообщили ему о своем нападении. Он сам, правда, несколько раз вдохновлял их на это, но, с другой стороны, у него были серьезные причины для гнева, так как японцы не только не вступили в войну против Советского Союза, но даже не воспрепятствовали поставкам американского вооружения во Владивосток. По условиям трехстороннего договора он мог не присоединяться к военным действиям, начатым Японией, и если бы он проявил сдержанность, Рузвельт оказался бы в большом затруднении. Последний считал, что прежде всего надо воевать с Германией, но общественное мнение (на этот раз не тождественное мнению большой прессы) заставило бы его начать военные действия против виновника "жестокое нападения". Однако для Гитлера, по-видимому, была невыносима мысль о том, что на протяжении всей тяжелой зимы в печати не появится ни одного победоносного сообщения, и, кроме того, в нем, вероятно, жило стремление после столь долгого согласия с действиями, которые никак нельзя было назвать нейтральными, наконец-то посчитаться с Рузвельтом. Поэтому 11 декабря он объявил Соединенным Штатам войну и в своей страстной речи, произнесенной в рейхстаге, напал на Рузвельта как на "главного виновника" этой войны, который с "дьявольской бессовестностью" помешал возможному соглашению между Германией и Польшей, который допустил целый ряд "тяжелейших преступлений, противоречащих международному праву" и который, как отпрыск плутократов, с самого начала ненавидевший своих противников, рожденных в бедности, под влиянием своего "еврейского окружения" обратил проблему "социально отсталых штатов" вовне и прежде всего против "социалистической Германии".¹² Однако даже если Гитлера и радовала возможность выступить против "еврея" как в демократическом, так и в большевистском обличье, ему все-таки следовало признать, что он повторяет, и даже в гораздо более сильной степени, ту тяжелую ошибку, которую совершил в 1939 г. — вступает в войну с державой, на чью помощь или по меньшей мере нейтралитет ему надо было бы рассчитывать, если он на самом деле хотел победить большевизм. Теперь же он находился в состоянии войны с одной мировой империей и двумя большими континентальными державами, у которых были все возможности стать мировыми державами высшего порядка, т.е. сверхдержавами. Объемы производства, которые Рузвельт в начале 1942 г. определил на этот и следующий год, были столь огромными, что такое материальное превосходство должно было просто раздавить Германию. Гитлер начал военную кампанию против Советского Союза, имея 3500 танков и 2000 самолетов, но

уже в 1942 г. американцы намеревались построить 45000 танков и 60000 самолетов.¹³ Если хотя бы двадцатая часть всего этого дошла до Советского Союза, Сталин получил бы тот материальный перевес, которого после тяжелых потерь, пришедшихся на первый год войны, он уже не смог бы достичь своими силами, и тогда немецкая промышленность была бы разрушена в результате непрерывных и многочисленных тяжелых бомбардировок, которые осуществлялись бы с английских авианосцев.

Поэтому декабрь 1941 г. нередко называют переломным месяцем в ходе войны. Говорят, что теперь, когда Германия воевала против Советского Союза, Соединенных Штатов и Британской империи, материальные ресурсы распределялись столь неравномерно, что крушение Германии было лишь вопросом времени. Однако при таком подходе забывают о том, что в ходе войны Советский Союз потерял значительную часть своей промышленности и около 70 миллионов человек и что сначала эти ресурсы надо было хотя бы доставить на поля сражений. Кроме того, Германия была как бы передовым отрядом Европы, и в своей речи Гитлер очень настойчиво подчеркивал мысль о единстве культурных и прочих интересов европейского континента. Что касается Японии, то (хотя это со всей очевидностью стало ясно только спустя десятилетия после войны) по своим потенциям она представляла собой не только военную, но и промышленную мировую державу и владела почти всей Юго-Восточной Азией. Если бы Германии и Японии удалось с максимальной выгодой использовать все эти ресурсы, то в материальном отношении они не слишком бы отставали от трех своих противников, однако вряд ли бы им сопутствовал успех. Дело в том, что о себе заявили многие факторы, которые нельзя было вывести из простого учета сырья и возможностей промышленности, ориентированных на то, чтобы создать равновесие сил в этой решительной борьбе между государствами, и которые в первую очередь были обусловлены различием между завоеванными и своими собственными или издавна оккупированными областями. Однако после того как Гитлеру удалось удержать фронт в России, даже в 1942 г. ему не следовало забывать о подлинной цели своей борьбы в том смысле, что она представляла собой политическую борьбу за власть и решительный бой во имя победы: речь шла о том, что вместо Советского Союза сверхдержавой должна стать Германия.

Гитлер все еще мог надеяться на полное поражение Советского Союза. Когда в мае снова началось наступление немецких войск и контрнаступление группы армий под командованием Тимошенко, предпринятое на Харьков и Украину, было отбито, казалось, что немецкие войска беспрепятственно подходят к Волге и Кавказу. По тону приказов, отдаваемых Сталиным, можно понять, в каком критическом положении он оказался: они до мельчайших подробностей напоминают приказы, которые Гитлер отдавал минувшей зимой.¹⁴ Казалось, что к началу ноября Сталинград будет завоеван, и на самой высокой вершине Кавказа, Эльбрусе,

уже развевались немецкие флаги. Нефтеносный город Майкоп, хотя и полуразрушенный, находился в руках немцев, а когда они достигли Грозного, до которого было всего сто пятьдесят километров пути, и перекрыли судоходное движение по Волге, город Баку даже не стоило и завоевывать или бомбить с воздуха — складывалось впечатление, что Советский Союз окончательно проиграл войну.

Островная Англия была неприступной, однако это не относилось ко всей Британской империи и ее коммуникациям.

Немецкие танковые войска под командованием генерала Роммеля пришли на помощь итальянцам, находившимся в Северной Африке, и в конце июня перешли границу с Египтом. Все слои населения с радостным воодушевлением встречали продвижение немецких войск на Александрию и Каир, и среди встречавших был Гамаль Абдель Насер, в ту пору член организации, которая характеризовалась как фашистская. К востоку от Египта палестинские арабы ожидали решающего часа, а их представитель, великий муфтий Иерусалима, имел прямую связь с Гитлером. Его призыв мог бы, наверное, привести к восстанию всего арабского мира против англичан, но Гитлер или проявлял чрезмерную осторожность, или все еще слишком любил английскую империю. Даже индийцу Субхасу Чандре Бозе, который, как казалось, вместо Неру стал вождем в борьбе за национальное освобождение от засилья англичан, он не оказал никакой серьезной поддержки.

Что касается самой Англии, то она по-прежнему была осажденным островом, боровшимся за выживание. В мае 1942 г. немецкие подводные лодки и самолеты потопили 170 кораблей, на которых находился почти миллион брутто-регистрационных тонн груза, в июле они почти полностью уничтожили в Северном Ледовитом океане большой англо-американский конвой, а в августе в Средиземном море наряду со многими торговыми судами были уничтожены или сильно повреждены три авианосца.

Фактически к концу сентября Гитлер еще мог надеяться на то, что выиграет войну, если его танки пробьются к Грозному, Роммель войдет в Каир и еще три дюжины новых подводных лодок вступят в строй. Однако, как и в прошлом году, большие победы были достигнуты путем привлечения последних резервов. В решающий момент чаша весов склонилась в пользу союзников, потому что они обладали тяжелым вооружением, на отсутствие которого немецкие специалисты, например, генерал Томас, жаловались уже в 1939 г.

В конце октября в Египте англичане перешли в контрнаступление и прорвали оборону противника в районе Эль-Аламейна, примерно в это же время действия подводных лодок перестали приносить прежний успех, потому что англичане и американцы сумели усовершенствовать средства обороны, а в России советские войска нанесли поражение третьей румынской армии, которая должна была держать в осаде Сталинград. Снова, как и год назад, прямо перед наступлением зимы приходилось из последних

сил стремиться к достижению немалой цели, и на этот раз речь шла не только о сдаче некоторых территорий: 31 января 1943 г. капитулировала целая армия под командованием генерала-фельдмаршала. В прошлом году в немецкий плен попало гораздо большее количество советских солдат, однако во всем мире эта капитуляция была воспринята как некий символический акт, знаменовавший перелом в ходе войны. Тот факт, что в ноябре англичане и американцы высадились в Северной Африке, теперь воспринимался как приятное музыкальное сопровождение ко всему происходящему, а требование “безоговорочной капитуляции”, предъявленное Германии Рузвельтом в январе 1943 г. в Касабланке, ярко высветило произошедшую перемену; что касается капитуляции немецких и итальянских войск на плацдарме Туниса в мае 1943 г., то союзники рассматривали ее просто как приговор. Теперь не было никакого сомнения в том, что Гитлер уже не сможет выиграть войну.

Однако было бы безосновательно утверждать, что он уже полностью ее проиграл. Достаточно вспомнить, что уже в начале 1942 г. Сталин заявил о том, что “недалек” тот день, когда красные знамена снова будут развеиваться над освобожденной советской Отчизной¹⁵, однако летом 1943 г. Гитлер еще был достаточно силен, чтобы в самой середине России, под Курском, дать самое большое танковое сражение за всю войну, во время которого последние модели танков, “Тигр” и особенно “Пантера”, показали свое техническое превосходство. Хотя операция “Цитадель” была обречена на провал, западные союзники, по-видимому, совсем не собирались открывать обещанный “второй фронт” во Франции и можно было с уверенностью предсказать, что и на третью зиму войны значительная часть территории Советского Союза останется под немецким господством. Осенью 1943 г. начало происходить нечто весьма примечательное. Находясь в советском плену, немецкие солдаты и офицеры вместе с немецкими коммунистами организовали национальный комитет “Свободная Германия” и “Союз немецких офицеров”, и теперь листовки, которые сбрасывались с самолетов на немецкие позиции, были окантованы черно-бело-красной краской. Советские генералы познакомили своих немецких партнеров с идеей, суть которой сводилась к тому, чтобы обеспечить существование Германии в границах 1939 г. с восстановленным Советским Союзом. Одновременно Москва на дипломатическом уровне начала искать возможности подписания сепаратного мира. Можно, конечно, привести основательные доводы в пользу того, что и в первом, и во втором случае подразумевалась дальновидная тактика Сталина, который хотел оказать давление на своих союзников. Что касается Гитлера, то он не шел ни на какие контакты.¹⁶ Однако если вспомнить о пакте, заключенном между Гитлером и Сталиным, а также о его предыстории и последующей судьбе, то вполне можно предположить, что осенью 1943 г. Сталин из чисто политических соображений предпочитал продолжению войны заключение такого договора, по которому на континенте рядом с Со-

ветским Союзом существовала бы наполовину ослабленная, управляемая национальными силами Германия, а не сверхмощная Америка. Только после того как на конференции в Тегеране, состоявшейся в ноябре-декабре 1943 г., Рузвельт и Черчилль сообщили ему о Польше и Германии гораздо больше, чем это могли сделать генерал-фельдмаршал Паулюс и генерал фон Зейдлиц, Сталин, по-видимому, отказался от своей излюбленной мысли о создании советско-германской сверхдержавы, в которой он теперь играл бы роль старшего партнера, причем не так, как, по его представлению, это было бы летом 1941 г. В этой связи только Тегеран означал последний и окончательный поворот в войне.

И тем не менее в 1944 г. Германия еще могла иметь какие-то надежды. Что касается Гитлера, то для себя и своего режима он мог связывать их только с разработкой так называемого чудо-оружия. Фактически основа для всего позднейшего развития ракетной техники была заложена в Германии, и первые реактивные самолеты представляли собой изобретение, которое ожидало большое будущее. Однако не случайно авторитетные немецкие физики жаловались на то, что немецкая физика отставала от американской. Дело в том, что ученым, как и просто интеллектуалам, Гитлер не оказывал предпочтения, и с самого начала предугадывалась большая вероятность того, что в Соединенных Штатах изобретут более значительное "чудо-оружие". В кругах немецкого сопротивления рассматривались планы, предусматривавшие ориентацию Германии как великой державы на Запад или Восток, причем без Гитлера, и даже в СС и в партийном руководстве, по-видимому, были люди, которые постепенно и осторожно приходили к таким мыслям. Победа союзников становилась все более очевидной, но для Германии все еще могли сохраняться какие-то последние возможности и альтернативы, и самая необычная из них заявила о себе тогда, когда люди начали осознавать, что эта война ни в коем случае не является только решительным боем между мировыми державами за передел политической карты мира, но представляет собой также идеологическую войну между большевистским Советским Союзом и национал-социалистской Германией, а вместе с нею и гражданскую войну, в которой русские выступают против "России", немцы – против "Германии", итальянцы – за Сталина, а французы, иногда арабы, а также индийцы – за Гитлера. В этой войне англосаксонские державы, в которых, несмотря на распространенный и по меньшей мере скрытый антисемитизм, почти никто не становился на сторону Гитлера и не выступал против собственных государств, предстали как последний бастион либеральной демократии и заняли позицию, которая с самого начала не была ясно определена.

3. Мировая война идеологий?

В 1930 г., когда делегация немецкого “Красного креста” путешествовала по Сибири, ее представитель заверял будущего маршала Блюхера в том, что если Советский Союз подвергнется нападению, то немецкий пролетариат нанесет удар в спину немецкой буржуазии.¹ Год спустя такая точка зрения, которая с 1919 г. постоянно повторялась коммунистами, показалась настолько убедительной основателю паневропейского движения Ричарду Калерги, что в своей книге, вышедшей под заголовком “Stalin & Co”, он написал: “Любая европейская армия, которая попытается выступить против Москвы... будет иметь за своей спиной многочисленных врагов”². Еще в 1936 г. председатель “Профинтерна” Лозовский довольно самоуверенно заявлял, что империалисты, а именно Германия, Польша и Япония, могут не сомневаться, что война против Советского Союза обернется войной в их собственных странах: “Мы знаем, против кого пролетариат этих стран повернет свои винтовки. Вы хотите войны, господа, в этом нет сомнения. И вы получите ее на своих заводах, фабриках и в колониях”³. Не надо множить доводы, чтобы показать, что по крайней мере до 1939 г. как сторонники, так и противники большевизма одинаково были уверены в том, что Советский Союз, будучи поборником идеологии, которая представляла собой универсальное учение о сущности поступательного движения истории, а также о будущей судьбе всего человечества, имел во всех странах мира огромное количество своих сторонников, которые не побоялись бы взяться за оружие, чтобы защитить его и обеспечить ему победу. Под этими сторонниками понималась вполне определенная социальная группа, а именно пролетариат, который, будучи производителем прибавочной стоимости, низвергнет эксплуататорский класс буржуазии, чтобы затем построить во всем мире социалистическое общество, не знающее деления на классы, а также избавленное от отчуждения и государственного засилья. Даже Галеаццо Чиано, министр иностранных дел фашистской Италии и зять Муссолини, однако в глубине души – буржуа, любивший все английское, вечером 21 июня 1941 г. со страхом написал в своем дневнике: “Если бы Советская армия силой сопротивления превосходила буржуазные страны, как бы на это отреагировали пролетарские массы всего мира?”⁴ И действительно, уже 16 сентября главнокомандование вермахта было вынуждено признать, что начиная с 22 июня в оккупированных немецкими войсками областях повсеместно вспыхивали коммунистические очаги сопротивления, которые имели единое руководство, исходящее из Москвы, и требовали принятия самых жестких ответных мер.⁵

С другой стороны, в своем ответном письме на сообщение Гитлера о начале нападения Муссолини выразил уверенность в том, что теперь “все антибольшевистские течения во всем мире” обратятся к “Оси”⁶, а сам Гитлер в своей речи 3 октября 1941 г. назвал большевизм и капитализм “крайностями”, одинаково удаленными от “принципа справедливости”, за

осуществление которого державы, образовавшие “Ось”, ведут борьбу в своем стремлении придать Европе новый, лучший облик⁷. Таким образом, национал-социализм тоже энергично заявлял о своем притязании на сверхнациональное единство (о чем свидетельствовала его солидарная позиция с фашистским партнером по “Оси”) и нередко говорил о “мировой борьбе”, которая объединяет всю Европу в ее стремлении защититься от “большевистского чудовища” и американского “денежного молоха”. Правда, довольно часто за этими обвинениями угадывалась оборонительная позиция и не всегда просматривалась одинаковая жесткость, так как большевизм снова и снова упрекали в том, что в России он “истребил всю национальную интеллигенцию”⁸ и желал такой же участи всем правящим ведущим слоям в мире, тогда как основной упрек, бросавшийся демократии, заключался в том, что она открыла путь большевизму. Иногда глубокий пессимизм чувствовался даже в словах Гитлера, когда он, например, предрекал Черчиллю и Рузвельту, что когда-нибудь большевизм уничтожит и их народы.⁹ Однако мировоззрение Гитлера нельзя полностью сводить к эмоциям защиты и страха: нередко они сменялись гордостью по поводу того, что он осуществил другую, лучшую революцию в сравнении с той, которую осуществил большевизм, революцию, которая дала возможность занять государственные посты самым бедным, причем “творческая сила старых сословий” не ущемлялась и национальная собственность не была уничтожена.¹⁰ Таким образом, Гитлер мог воплощать в себе не только некие сверхнациональные опасения, но и сверхнациональные надежды. Его борьба тоже была идеологической и выходила за пределы одной нации, однако все-таки нельзя было не заметить, что в основе такой идеологии лежал явный национализм, который настолько превозносил “немецкий народ” или, в случае необходимости, “нордическую кровь”, что даже солидарность с итальянским фашизмом, по-видимому, была зыбкой.¹¹

Однако то, что предполагали Калерги и Лозовский, не осуществилось: пролетарская революция в Европе — как ответ на войну Германии против первого государства рабочих — не вспыхнула. Немецкий солдат не торопился перебегать к врагу, который утверждал, что он друг, не было ни одной забастовки, которая остановила бы производство вооружений, даже в “протекторате” промышленность работала без сбоев, а во Франции в основном сохранялось спокойствие. Гитлер вполне мог рассчитывать на многомиллионное эхо, когда с чувством глубокого презрения говорил о том, что теперь немецкие солдаты основательно познакомились с так называемым “раем рабочих и крестьян”.¹²

С другой стороны, он не мог отрицать, что он сам заключал соглашения с этим режимом и что именно он открыл ему путь на Львов и Ригу, где теперь было обнаружено такое большое количество жертв НКВД. Поэтому в своей речи 8 ноября 1941 г. ему пришлось признаться в том, что в прошлом году его можно было “вероятно, в чем-то упрекнуть” пе-

ред памятью павших борцов национал-социалистского движения и что только теперь он “почти как обретший искупление” взирает на их могилы.¹³ После “договора о дружбе”, заключенного в 1939 г., гитлеровская идеология уже не была столь несокрушимой и надежной, какой она в какой-то мере еще являлась на “партийном съезде чести”, состоявшемся в 1936 г.

Однако и Сталин вел себя особым образом. Он ни в коем случае не призывал европейский пролетариат к восстанию против своих угнетателей и подлинных вдохновителей Гитлера – капиталистов, но в своей речи 6 ноября 1941 г., произнесенной по случаю двадцать четвертой годовщины революции, с удовлетворением отметил, что “немецким стратегам” не удастся запугать “призраком революции” правящие круги Великобритании и США и тем самым создать всеобщую коалицию против СССР; теперь гитлеровцы всячески поносят внутреннее правление Англии и Америки как “режим плутократов”, однако имеющееся противоречие теперь он воспринимает только как кажущееся, тогда как “демократические свободы” и парламенты этих стран являют собой резкую противоположность “партии средневековой реакции и самых суровых погромов”, каковой является партия Гитлера.¹⁴ Было совершенно очевидно, что теперь он, еще решительнее, чем в 1935 г., не желает ставить знак равенства между фашизмом и капитализмом (что довольно долго являлось главным тезисом коммунистической партии), и делает это именно потому, что в таком случае надо было бы говорить о коалиции, которая оказалась бы смертельной для Советского Союза.

По существу, Рузвельт не мог бы вновь обратиться к идеям Вильсона и заявить, что США стремятся к тому, чтобы “очистить мир от старых бед и болезней”¹⁵, если бы Сталин, со своей стороны, выдвинул на первый план ленинские идеи 1918 года. Тогда ему пришлось бы сказать, что не только Гитлер считает его самого и его Америку мировой болезнью и “отвратительным болотом”, как, согласно некоторым источникам, выразился Молотов летом 1940 г. в беседе с литовским министром иностранных дел¹⁶. Однако, когда Молотов в той же беседе сказал, что однажды немецкая буржуазия, стремясь подавить восстание своего голодающего пролетариата, заключит соглашение с буржуазией союзников, затем вмешается Советский Союз и где-то неподалеку от Рейна состоится “последнее сражение между пролетариатом и выродившейся буржуазией”¹⁷, сказанное им в любом случае куда больше соответствовало внутреннему умонстроению большевиков. Теперь, однако, Сталин не мог говорить ничего подобного, а Рузвельт не мог ничего подобного принять к сведению: события эпохи ослабили как национал-социалистскую идеологию, так и идеологию большевиков и либеральных интернационалистов в Америке, и государства, которые тогда вели решительный бой за судьбы мира, хотя и были идеологизированными, но их идеология с 1918 или 1933 гг. утратила свою неколебимость.

Как бы там ни было, огромное количество людей в Европе и за ее пределами выступали против политики своих национальных правительств или традиций и становились на сторону одной из этих сил или, точнее говоря, на сторону союзников или "Оси", а после крушения Муссолини, случившегося в июле 1943 г., — на сторону Германии.

Было бы неправильно утверждать, что европейское движение Сопротивления всерьез заявило о себе только начиная с 22 июня 1941 г., то есть благодаря отрицательной реакции коммунистов на нападение на Советский Союз. На характере Сопротивления скорее решительным образом сказался тот факт, что до июня 1941 г. коммунисты на практике отдавали предпочтение партии Гитлера, а не западным империалистам, и в некоторых местах вели переговоры с немецкими оккупационными властями, в то время как в Лондоне генерал де Голль уже стал символом французского Сопротивления. Однако задолго до июня 1941 г. сформировалось и польское движение Сопротивления, и Англия, создав особую организацию по осуществлению специальных операций ("Secret Operations Executive" — "S.O.E.") была первой страной, начавшей оказывать содействие и поддержку всем очагам Сопротивления в оккупированной Европе. Однако нельзя отрицать и того, что, с одной стороны, уже с начала 1941 г. ☒ Коминтерн в немалой степени выразил свое враждебное отношение к гитлеровской Германии ¹⁸, а с другой, что начиная с 22 июня Сопротивление внезапно усилилось почти повсюду. Гораздо сильнее, чем прежде, начало проявляться стремление путем покушений на немецких солдат вызвать максимально суровые акции возмездия и тем самым вызвать у населения еще большую ненависть против оккупационной власти, стремление, которое определяло ситуацию и в ходе партизанской войны в Советском Союзе. Самым ярким примером, однако, стала не коммунистическая диверсия, а покушение на главу имперского протектората Рейнгарда Гейдриха, совершенное в Праге, — покушение, которое было подготовлено чешским эмигрантским правительством и после которого уничтожение деревни Лидице не выглядело чем-то неожиданным и могло предполагаться. ¹⁹ Как известно, самым коммунистическим было югославское движение Сопротивления, которое возглавлял Тито, которое в противовес буржуазному сопротивлению Дражи Михайловича поддерживали англичане и которое, наконец, согласно Миловану Джиласу, Сталин подверг критике как раз по причине ясно сформулированных Тито конечных целей.

Особняком стояло немецкое Сопротивление. Оно боролось не с оккупационной властью, а с режимом собственного государства и в какой-то мере даже не с самим режимом и его высшими руководителями как таковыми, а с поставленными ими целями. Квакеры, конечно, разделяли убеждения своих заграничных единоверцев, а социал-демократы, ведущие активную борьбу на нелегальном положении, разделяли цели эмигрантского партийного руководства.

Говоря о сопротивлении рабочих, молодежи или студентов, надо сказать, что оно исходило из довольно серьезных требований, которые режим, находившийся в состоянии войны, сделал еще более актуальными. Если же говорить о сопротивлении в руководящих кругах, которые могли как-то действовать, то есть главным образом о сопротивлении в вермахте, то здесь в основном действовали более или менее националистически настроенные патриоты, то есть люди, в первую очередь преданные идее национального самоопределения, которые боролись с замыслами Гитлера прежде всего потому, что их осуществление грозило навлечь на Германию большую беду. Почти все, и прежде всего Карл Герделер, довольно долго считали, что результаты ревизионистской политики Гитлера, то есть присоединение Австрии и Судетов, можно было бы рассматривать как законное следствие права на самоопределение, когда после падения диктатора придется заключить компромиссный мирный договор. Ясно, что как Тресков, так и Штауффенберг поначалу симпатизировали национал-социализму, однако последующие события заставили их и им подобных довольно резко разойтись с унаследованным ими национализмом и даже с установкой на прусскую государственность, о чем свидетельствуют уже переговоры с англичанами зимой 1939-1940 гг., сообщения Ганса Остерса о планах покушения Гитлера на голландского военного атташе и, наконец, сильнее всего – покушение Штауффенберга на верховного главнокомандующего, чему нельзя найти даже самой отдаленной аналогии во всей истории Пруссии и Германии. Не все, правда, делали окончательный выбор в пользу одного из этих двух мировоззрений, которые продолжали соперничать друг с другом: Ульрих фон Газелл хотел, сообразуясь с обстоятельствами, разыгрывать восточную или западную карту.

Национального сознания и патриотического настроения было преисполнено и подавляющее большинство пленных солдат и офицеров, которые в сентября 1943 г. учредили национальный комитет “Свободная Германия” и “Союз немецких офицеров”. Основным содержанием всех манифестов и воззваний, который подписывали генералы Зейдлиц, Корф, Лаутманн, а также многие другие и, наконец, генерал-фельдмаршал Паулюс, была мысль о том, что Гитлер ввергнул Германию в войну против могущественной коалиции и что его надо свергнуть. Однако не везде наблюдался единый и только политический взгляд на то, что представляет собой отечество. Уже в мае 1942 г. в лагере, расположенном под Елабугой, против системы лжи и бесправия, а также против принудительной формы хозяйствования и стирания культурных различий пламенную речь произнес немецкий капитан и в прошлом учитель средней школы Эрнст Гадерманн²⁰, и поскольку он объединился с немецкими коммунистами в антифашистских устремлениях, обе стороны по крайней мере на принципиальном уровне пришли к тому, о чем несколько лет назад нельзя было и помыслить, а именно к тому, что противостояние пролетариата и буржуазии не является радикальным для эпохи. И когда непосредственно перед

20 июля в самой Германии правые социал-демократы Лебер и Лейшнер вступили в контакт с коммунистами, их очень удивило, что последние, по-видимому, придерживались менее радикальных взглядов, чем они сами, и даже, по всей вероятности, были готовы рассматривать крупную буржуазию как своего соратника.

Безоговорочное и деятельное неприятие войны в Германии было характерно только для небольшой группы под именем “Красной капеллы”, руководили которой Харро Шульце-Бойзен, внук гросс-адмирала Тирпица, и Арвид Гарнак, племянник видного богослова эпохи царствования Вильгельма II. Однако даже в их шпионской деятельности не последнюю роль, вероятно, играла старая мысль национал-революционного движения о том, что лишь в сотрудничестве с советской Россией Германия может сохранить свою целостность и независимость.

Однако среди коммунистов еще продолжали жить старые убеждения и чувства, и это лучше всего доказывали те, до кого не доходили инструкции из центра или кто получал их мимоходом. “Я умираю так, как и жил, — как классовый борец”, — писал своему отцу перед своей казнью член одной коммунистической группы сопротивления в мае 1943 г. и в постскрипте добавлял: “Лучше умереть за Советский Союз, чем жить во имя фашизма”.²¹ Год спустя другая группа в листовке, предназначенной для рабочих, пригнанных в Германию, а также для пленных красноармейцев, заверяла, что “страшные противоречия между капиталистическими державами и их войны приводят в движение пролетарские массы Европы и СССР. Фашизм — это лишь могильная плита, покрывающая гибнущий класс”.²² Наверно это имел в виду Молотов, если литовский министр иностранных дел правильно его понял, и именно этого, наверное, не знал Рузвельт, когда хотел причислить Сталина к “семье”. Своеобразное единство между союзниками и теми, кто чувствовал солидарность с ними, оставаясь со своей страной или выступая против нее, вероятно, было обманчивым.

Однако что бы ни говорилось о прочности столь необычного союза между государством социализма и оплотом капитализма, никто не мог сомневаться в том, что советский коммунизм может обрести подлинно наднациональный характер и что Рузвельт снова выразил убеждение, которое было древнее капитализма и сохранилось неизменным в горниле всевозможных перемен. С гораздо меньшей уверенностью о чем-то подобном можно было говорить по отношению к противоположному лагерю. Хотя в Европе насчитывалось немалое число фашистских движений, которые самое позднее с 22 июня 1941 г. повсюду перешли на сторону Гитлера (наряду с итальянским фашизмом можно назвать румынскую “Железную гвардию”, венгерские “Скрещенные стрелы”, норвежское “Национальное собрание”, французскую “Народную партию”, словацкую “Родобрану” и хорватских усташей), однако все они в своих истоках или традициях прежде всего являли собой радикально-националистическую

реакцию на интернационалистические и по большей части социалистические идеи и реалии первого послевоенного периода. Таким образом, в своем “за” они не могли быть едиными, так как одни стремились к созданию могущественной и великой Румынии, другие – сильной и столь же великой Венгрии, третьи – к выходу из союза государств, а четвертые – к восстановлению Римской империи. Только “против” объединяло их, а именно их решительное неприятие коммунизма. Правда, коммунизм, являясь антикапитализмом, со своей стороны тоже предполагал определенное “против”, и в силу своей мнимой реализации в одном большом государстве он вступил в своеобразные отношения с такими реалиями, как власть, структура и профессиональная армия, которые он хотел упразднить. Чем больше советская действительность угрожала вере в торжество коммунизма и заставляла ее утрачивать свою притягательную силу, тем больше скудное “против” фашистских движений получало возможность обогатиться теми или иными социальными идеями и в конце концов начать притязать на оправданный временем “третий путь” между крайностями советского коммунизма и американского капитализма. Вопрос заключался лишь в том, сможет ли (и каким образом) единая антикоммунистическая наднациональная солидарность одержать верх над простым национальным или этническим самоутверждением.

Решение напрашивалось само – после того как в результате нападения немцев на Советский Союз он стал открытым и вся чуждость сталинского государства стала очевидной немецким, итальянским, румынским и испанским солдатам. Самой тривиальной и сомнительной попыткой использовать этот опыт для создания определенной идеологии стала публикация брошюры “Недочеловек”, изданной службой СС в 1942 г. Наряду с заслуживающими презрения и глупыми попытками глядя на исхудалые лица военнопленных вывести некий тип недочеловека или даже азиата, довольно рано рисовался общий страшный образ кровожадного комиссара и фанатичных баб, вооруженных ружьями, но прежде всего жалкие деревянные хижины русских крестьян и убогие квартиры русских рабочих противопоставлялись куда более богатому и цивилизованному уровню жизни европейцев, причем противопоставлялись таким образом, что хотя в сознании искушенного наблюдателя и всплывали радостные картины социалистического реализма, простые солдаты из многих европейских стран, несмотря на явную односторонность этих картин, не считали их совсем недостоверными. В всяком случае так казалось тем немецким солдатам-ополченцам, “фронтовые письма” которых, пришедшие “с Востока”, в 1941 г. опубликовал служащий министерства пропаганды, и он наверняка не делал бы этого, если бы считал их только пропагандой, которая многими немецкими солдатами воспринималась бы как лживая и искажающая реальную картину. В этих письмах речь идет о “проклятой” или “жалкой” стране, где “прямо за чистым домом или какими-нибудь ухоженными садами” люди голодают, где крестьяне, лишенные земли,

живут в условиях “хозяйственной барщины”, каких не бывало даже в самый мрачный период немецкого средневековья. Улицы — не что иное, как просто песок, а деревни и города состоят из маленьких деревянных хижин, среди которых высятся немногочисленные дворцы, принадлежащие партии или каким-либо “бонзам”; безработный в Германии живет “как король в сравнении с этим народом”. Правда, напрашивался вопрос, почему в таком случае богатая Германия все-таки напала на такую бедную страну, и на него отвечали в том смысле, что комиссары смогли выжать из этой бедности “новое, хорошее оружие”, причем на комиссаров и евреев возлагали ответственность за те ужасные картины, которые, как утверждали авторы писем, они видели сами: мужчины, женщины и дети, распятые на стенах домов, прочие жертвы, замурованные в тюремных камерах и зверски задушенные, наконец, даже застенки, в которых жертвы умирали мучительной смертью от газовых горелок.²³ Из всего этого следовало только одно: европейцам надо объединяться в борьбе против этой нечеловеческой и антиевропейской системы. Кто знал, что, например, журнал итальянских фашистов назывался “Анти-Европа”, кто был готов признать, что концентрационные лагеря и пыточные камеры существуют не только в Советском Союзе? Лишь очень немногие, как, например, обер-лейтенант Гельмут Гроскурт, считали, что у немцев совершенно неверное представление о Советском Союзе и что русские офицеры, которых ему приходилось допрашивать, в основном люди умные и образованные.²⁴

Во всяком случае, почти из всех европейских странах собирались добровольцы, готовые сражаться против коммунизма, и из них формировалось значительное количество подразделений СС. Датчане сформировали добровольческий корпус “Дания”, валлонские добровольцы из движения Дегреля сформировали штурмовую бригаду СС “Валлония”, французы к концу войны сформировали целую дивизию СС “Карл Великий”. Немало эстонцев и латышей вскоре после 22 июня присоединились к вермахту и позднее тоже вошли в дивизии СС. Подобно тому как гражданская война в Испании представляла собой международный конфликт, война Германии против Советского Союза была войной международной. Если Советский Союз, по-видимому, не так уж неохотно причислил польскую армию, сформированную из товарищей тех, кто погиб в Катыни, к западным союзникам (прежде чем сам позднее сформировал вспомогательные войска из поляков и румын), то добровольцы из Европы до конца сражались в вермахте и войсках СС, и не приходится сомневаться, что многие из них встали под знамена национал-социалистской Германии по убеждению, а не просто сообразуясь с ситуацией. Правда, чувствовалось, что как раз самые убежденные стремились к тому, чтобы, приняв участие в кровопролитной борьбе, завоевать для своей страны право на независимость в будущей Европе “нового порядка”, право, которое, по-видимому, уже не казалось им чем-то естественным и нерушимым.

Оставалось только добиться независимости для туркестанских и татарских частей СС, которые ставили под угрозу не только понятие германской расы, но даже расы арийской, так что в принципе можно говорить о том, что движение против большевизма охватило почти весь мир и в нем участвовали все, кроме евреев. (Правда, английских и американский соединений не было в немецком или немецко-итальянском лагере, хотя можно вспомнить о таких известных или просто интересных интеллектуалах, как Эзра Паунд, а также сын бывшего индийского министра Амери). Однако только русских добровольцев можно было сравнить с лакмусовой бумажкой, которая свидетельствовала о наднациональном характере соответствующих идеологических притязаний.

В немецком вермахте русских добровольцев было много и появились они рано, однако долгое время их официально не признавали и прежде всего использовали в сугубо практических целях. В тяготах и бедствиях зимнего периода войны многочисленные подразделения использовали русских военнопленных, добровольно вызывавшихся работать, как вспомогательную силу, и когда в целом они зарекомендовали себя хорошо, многим начали выдавать оружие для охраны складов или борьбы с партизанами. В 1942 г. из них стали формироваться первые настоящие соединения, как, например, "Бригада Каминского", и обер-лейтенант Штауффенберг, возглавлявший группу в организационном отделе Генерального штаба армии и уже тогда известный своими выдающимися способностями и решительностью, направил эти способности на то, чтобы сформировать русские части. Однако он натолкнулся на решительное сопротивление главнокомандования вермахта и – косвенным образом – самого Гитлера, который хотел сохранить полную свободу действий по отношению к России, но который, очевидно, очень хорошо помнил определенные события периода гражданской войны, когда, например, целые полки переходили на сторону большевиков. Когда же, несмотря на это, осенью 1942 г. число русских "пособников" начало исчисляться сотнями тысяч, это объяснялось тем, что некоторые группы армий, а также генеральный штаб еще располагали возможностью действовать, о которой Гитлер не имел никакого представления. Что касается "легионов", состоявших из представителей других народов Советского Союза, то их формирование осуществлялось с его полного согласия, и часто в этой ситуации было трудно провести четкую границу. Почему бы в конце концов и "генералу восточных войск" не иметь и русских под своим командованием?.²⁵

Однако все офицеры из штабов групп армий (и среди них в первую очередь полковник Тресков из группы армий "Центр"), а также из генерального штаба и отдела пропаганды вермахта, которые хорошо понимали, к каким серьезным потерям может привести война, отдавали отчет в том, что только создание русского правительства под руководством человека, который был бы хорошо известен населению Советского Союза, может изменить ход событий и придать войне какой-то творческий

смысл. Они не сомневались в том, что несмотря на все ужасы военной зимы среди русских военнопленных много крестьян, которые ненавидят колхозный строй, а также офицеров, чьи родственники погибли в лагерях НКВД. Они, правда, понимали и то, что на большой успех рассчитывать не приходится и что пропаганде, ведущейся среди солдат Красной Армии и в советском тылу, верить не будут до тех пор, пока не будут даны надежные гарантии относительно будущей судьбы России. Даже руководство министерства по делам Востока все больше и больше соглашалось с этой мыслью, хотя потом оно придерживалось мысли о создании независимой Украины.

Поэтому когда в сентябре 1942 г. один из самых известных советских военачальников попал в плен и вскоре дал понять, что не признает Сталина и большевизм и при определенных условиях готов к сотрудничеству с немцами, это было воспринято как большое событие. По распространенному мнению Андрей Андреевич Власов командовал самой лучшей из всех советских дивизий и в октябре-ноябре 1941 г. вместе с Жуковым больше всего способствовал обороне Москвы. Затем, являясь заместителем командующего группой армий и командиром 2-й Ударной армии, он попытался выполнить заведомо обреченный на неудачу приказ Сталина об освобождении Ленинграда, но после тяжелых боев его армия была разбита в районе Волхова, а он сам после многодневных скитаний был взят в плен в состоянии крайнего истощения. Своей блестящей карьерой он был обязан не только собственному трудолюбию, но и партии, в которую вступил в 1930 г., хотя был сыном простого крестьянина, силой загнанного в колхоз, и в юности посещал духовную семинарию. Поэтому большевизм и Сталина он, наверное, всегда принимал с некоторыми оговорками, но только опыт войны довел его до ненависти к ним. История его открытия немецкими офицерами — такими, как балтийский капитан Штрик-Штрикфельдт, а также глава отдела “Иностранные армии Востока” генерал-майор Гелен — читается как фантастический роман²⁶, а что касается самого Власова, то он не переставал выражать своим немецким товарищам растерянного удивления по поводу того, сколько индивидуальной инициативы и свободы в общении среди близких друзей еще допускается в этой Германии. Казалось, что весной и летом 1943 г. он действительно станет вождем российского альтернативного правительства: в своем “открытом письме” от 3 марта 1943 г. он самым решительным образом обвинял Сталина в том, что тот уничтожил миллионы русских людей и призывал народ “к борьбе за завершение революции, к созданию новой России и к братскому единству с народами Европы и особенно с великим немецким народом”.²⁷ Даже если в сообщениях друзей Власова о том, что после этой декларации число перебежчиков внезапно и резко возросло, содержались преувеличения, вряд ли можно сомневаться в том, что как в еще удерживаемых советскими войсками областях, так и оккупированной немцами части России фигура Власова производила очень

глубокое впечатление и сильно встревожила Москву. Во время своей поездки по фронтовым штабам групп армий "Центр" и "Север" фельдмаршалы общались с ним почти как с равным, а население толпилось вокруг него, целуя руки. Однако именно поэтому он привлек внимание Гитлера и Гиммлера, и они строго запретили впредь помогать "этому русскому" и использовать его разве что в пропагандистских целях. Однако, несмотря на это, с удивлением можно было отметить, что подготовка к формированию русской армии продолжалась, и в резиденции Власова в Берлин-Далеме, а также в лагере Дабердорф под Берлином на полулегальном положении собрались представители всех тех сил, которые ожесточенно сражались в гражданской войне: сын крестьянина и генерал Красной Армии Власов, комиссар корпуса Шиленков, комиссар корпуса и бывший сотрудник Бухарина еврей Зыков, сын погибшего в ссылке священника полковник Меандров, подвергшийся жестоким пыткам во застенках НКВД полковник авиации Мальцев, сын бывшего адъютанта адмирала Колчака Сахаров, а также эмигрировавшие казачьи генералы Краснов и Шкуро.²⁸ Хотя между ними возникали определенные противоречия, их все же было не так много, как в немецком Сопротивлении, состоявшем из разнородных сил, которые когда-то вели беспощадную борьбу между собой, чем и способствовали триумфу Гитлера. И если не было в точности известно, сколько людей стояло за теми, кто принимал участие в покушении 20 июля 1944 г., было ясно, что сторонники и союзники Власова примерно в тот же период объединяли почти миллион человек. Можно только догадываться, сколько миллионов пошло бы за ним, если бы он не в ноябре 1944 г., а в ноябре 1942 г. или хотя бы в начале 1944 г. получил согласие Гитлера и Гиммлера на то, чтобы под бело-голубым Андреевским крестом формировать независимую "Русскую Освободительную Армию" и создавать "Национальный комитет за освобождение народов России". Однако речь ни в коем случае не шла бы о каких-то необоснованных домыслах, о чем свидетельствует даже послевоенная участь тех многих советских военнопленных, которые не принимали участия во владовском движении. Однако крушение и трагедия все-таки доказали, что для многих немцев и бесчисленного множества русских эта война все-таки была войной освободительной, которая только потому была обречена на неудачу, что Гитлер, несмотря на весь приобретенный опыт, твердо держался установки, которая предполагала геноцид и окончательное решение, а также потому, что в установке на тотальный эгоцентризм немецкой расы еще не было ничего подлинно идеологического, а в стремлении покончить с еврейством уже нельзя было увидеть обычной идеологии.

4. Геноцид и "окончательное решение еврейского вопроса"

Геноцид и "окончательное решение еврейского вопроса", за которые должно отвечать национал-социалистской Германии, невозможно понять в их своеобразии, если просто объявить их единственными в своем роде, пренебрегая их сходством с другими сопоставимыми явлениями. Несравнимое как раз-таки предполагает сравнение, а за единством обозначений зачастую кроются разные предметы.

Геноцид, или народовубийство, тесно связан с войной, но эти понятия не полностью покрывают друг друга. Так, еще в классической древности войны между городами или племенами зачастую заканчивались тем, что все мужчины побежденных оказывались убитыми, а женщины и дети — проданными или уведенными в рабство; гомеровский эпос сплошь и рядом предполагает геноцидальный характер войны. Но Новое время и даже Средневековье в Европе отличались тем, что европейцы стремились цивилизовать войну, т. е. проводили различие между воюющими и невоюющими. Следовательно, теперь, по идее, уже невозможно было уничтожить целый народ, и постепенно внедрялось даже право военнопленных, гарантировавшее пощаду побежденным и небоеспособным участникам боевых действий, что было подтверждено, например, Гаагской конвенцией 1907 года. Но прежде всего было установлено, что воля к заключению перемирия или мира дает известные права, исключаящие использование ситуации в целях геноцида. И перед началом Первой мировой войны цивилизованный мир считал нормальным, когда вооруженные силы двух или нескольких государств воевали между собой, постоянно щадя гражданское население — до тех пор, пока не выносилось какое-нибудь решение и в ходе переговоров не был заключен мир. Основное условие здесь состояло в том, что армии отчетливо различались от гражданского населения. Уже в начале Первой мировой войны условие это оказалось в опасности из-за того, что часть бельгийского населения, справедливо полагавшая, что их страна подверглась нашествию, обратилась к партизанской войне, вызвав тем самым репрессии со стороны немцев, и особенно — расстрелы заложников. Можно было представить себе, что подобные репрессии принципиально и в крупных масштабах направлялись против мирного населения, поскольку оно защищало "франтиреров" (партизан) и помогало им. Стало быть, в искусственном экстремальном случае можно было бы истребить все бельгийское население, чтобы оставить без поддержки партизанские атаки, т. е. профилактически обезопасить себя от актов, нарушающих международное право. Тем самым реальностью сделался бы в буквальном смысле слова геноцид, т. е. уничтожение всех жителей страны. Германская политика была от этого бесконечно далека, но стоило продлить линии ее ориентации, как можно было получить страшный идеальный тип. Но даже наиболее беспощадные мыслители пока еще считали само собой разумеющимся, что настрой на сопротивление гарантирует народу выживание.

Другая опасность, в которую попало различие между воюющими и не воюющими в Первую мировую войну, состояла в том, что как Англия, так и Германия, прибегли к блокаде в качестве средства ведения военных действий. В отличие от войны против франтиреров или партизан, блокада с самого начала была направлена еще и против женщин и детей; в качестве крайнего случая всплывала возможность того, что все население Англии или Германии умрет с голоду, и армии будут продолжать сражаться на трупах женщин и детей. Между тем над этим никто не задумывался; ни у кого не было сомнений, что побежденное государство своевременно запросит мира. Но в Первую мировую войну были все-таки созданы предпосылки для радикального обесчеловечивания ведения войны, т. е. для геноцида, и войну эту окаймляли, или же за ней следовали, и первые настоящие, или хотя бы потенциальные, случаи геноцида в новейшей истории: этническая напряженность в многонациональном государстве — в прямой связи с войной — привела к геноциду армян турками, а чуть позже произошел обмен населением между Турцией и Грецией, который не привел к массовому изгнанию и массовой гибели населения лишь потому, что проходил под неусыпным контролем великих держав. Зато воздушная война поначалу применялась ограниченно, а между тем в ней, очевидно, крылась возможность того, что в качестве наиболее ошутимого и все же наиболее неизбежного элемента военных действий она будет направлена непосредственно против населения. Итак, прогресс оказался озадачивающим образом двудликим: как прогресс гуманистического сочувствия он все более стремился оградить от войны гражданское население и очеловечить войну; зато как прогресс техники вооружения он устранил границы, которые даже в варварские времена зачастую означали защиту для невоюющего населения.

Но к концу войны был задействован совершенно новый ее элемент: практическое значение приобрел постулат уничтожения целых классов. Сравнительно безобидной его формой явилось требование союзников о выдаче 700 немецких “военных преступников”, тесно связанное с пропагандой против прусских юнкеров. Ибо при этом имелось в виду не наказание за отдельные проступки (германское правительство объявило о своей готовности к расследованию и к возможному возмездию), но дискредитация целой руководящей прослойки; и очень скоро выяснилось, что этот замысел вызвал в Германии широкую солидарность, которую проявили даже многочисленные социал-демократы, хотя в их цели входило также отнятие власти у юнкеров или ограничение этой власти. Зато всеохватывающую реальность принцип уничтожения классов обрел в России. Между тем напрашивается мысль о том, что ни в коей мере нельзя назвать геноцидом положение, когда после проигранной войны население государства призывает к ответу собственный господствующий класс и насильственно подавляет его сопротивление. Но пока еще — несмотря на уничтожение армян — никто не мог даже представить себе полного ис-

стребления целого народа, и поэтому притеснения целых социальных слоев без доказательств индивидуальной вины казались ужасными и подобными геноциду. Кроме того, большевики недвусмысленно провозгласили намерение продолжить истребление русской буржуазии полным истреблением "мировой буржуазии". Как же тут было не воцариться климату всеобщей тревожности и страха, даже если позитивная солидарность европейской буржуазии с буржуазией русской оставалась немалой? Разве невозможно было истребить и народ, устранив его господствующий класс, к которому в современной Европе принадлежали не только те помещики-феодалы, коих Сен-Симон в своих знаменитых "Притчах" назвал излишними, но и как раз те техники и коммерсанты, ученые и финансисты, что, по Сен-Симону, должны были занять их место? И очень скоро в некоторых кругах возникла точка зрения, будто в России происходит геноцид в буквальном смысле слова, поскольку евреи уничтожили правящий слой в России, состоящий из русских и из прибалтийских немцев, и заняли их посты.

Прямым следствием этого воззрения, очевидно, стал постулат об уничтожении евреев в качестве наказания и профилактической меры, а так как под евреями как таковыми – и как раз в Советском Союзе – все больше имелось в виду уже не (или еще не) вероисповедание, но евреи считались народом или национальностью, так называемое "окончательное решение еврейского вопроса" следует охарактеризовать как идеально-типичный геноцид, основанный на коллективизме вменения вины некоей надындивидуальной сущности. Но как ни бросается в глаза такая взаимосвязь, было бы все же неуместным видеть в ней исходный пункт для характеристики Второй мировой войны как войны на уничтожение, так как начатки геноцида наблюдались уже в Первую мировую войну еще до 1917 года, и случаи геноцида, осуществленного немцами, не были единственными и не ограничивались евреями. Тем не менее им были присущи специфические свойства, каковые, однако, можно узнать лишь из сравнения.

Война против Польши началась с намеренного геноцида с польской стороны, а именно – с так называемого "бромбергского Кровавого Воскресенья", с резни, которую озлобленные поляки устроили нескольким тысячам граждан немецкого происхождения. Если бы эта война продлилась больше трех недель, сомнительно, удалось бы выжить немецкому меньшинству в Польше. Между тем налеты пикирующих бомбардировщиков на Варшаву и прочие города не являлись ответом, но с самого начала содержали в себе военный план и представляли собой – после Герники и Барселоны – первую и пока еще очень неполную реализацию геноцидальных тенденций в современном ведении войны.

Блокада, на которую взаимно обрекли друг друга Англия и Германия, означала попросту возобновление мировой войны. Однако же, как и в мировую войну, страдания можно было облегчить равномерным рацио-

нированием продуктов питания, а при удобном случае – со страданиями можно было бы и покончить, своевременно заключив мирный договор. Напротив того, явно и недвусмысленно геноцидальным было намерение, выраженное Черчиллем в послании лорду Бивербруку от 8 июля 1940 г.: по мнению Черчилля, есть лишь одна возможность одолеть Гитлера, и заключается она в “абсолютно разрушительном и истребительном налете тяжелых бомбардировщиков на нацистские тылы”.¹ То, что высказывания премьер-министра вроде процитированного, были очень серьезными, становится в высшей степени ясно из речи, произнесенной им в апреле 1941 г., т. е. перед нападением Германии на Советский Союз: “Существует менее 70 миллионов зловредных гуннов, некоторых из них надо вылечить, а прочих – истребить.”² Фактически англичане и американцы до своего вторжения, происшедшего в июне 1944 г., вели почти полномасштабную войну – и притом в значительной части войну на уничтожение, в виде воздушных налетов против населения Германии; их жертвами стали 700 000 человек, по большей части – при доселе невообразимых смертных муках и страхах. Правда, и Гитлер хотел “стереть с лица земли их города”. Но сегодня каждый по праву сочтет глупостью, если кто-нибудь будет отграничивать эти высказывания от соответствующих высказываний Черчилля или захочет постулировать одностороннюю причинно-следственную связь: немецкую причину и английское следствие.

Спустя несколько недель после начала войны Сталин приказал депортировать в Сибирь население автономной республики немцев Поволжья. Можно предположить, что при перевозке, длившейся неделями при палящей жаре, погибло чуть менее 20% перемещенных лиц. Еще больший процент погибших следует предположить в отношении литовцев, латышей и эстонцев, которые были увезены в глубинные районы Советского Союза непосредственно перед началом войны (вторая волна депортации). Уже в 1940 году советский генеральный штаб рассматривал особые меры против народов Северного Кавказа, прежде всего – против чеченцев, ингушей и калмыков – поскольку в царское время они оказывали длительное сопротивление российской экспансии и в случае войны считались ненадежными. Фактически значительная часть этих народов встала на сторону немцев, обещавших им свободу и независимость, и в 1944 году все до единого человека они подверглись переселению. Крымских татар постигла та же судьба, и процент погибших за первые полтора года составил чуть меньше 50%.³ Уже коллективизация принесла особенно много жертв кочевым народам в азиатских районах Советского Союза, и теперь Сталин совершенно неприкрыто устраивал геноцид разных народов в качестве профилактической меры или карательных акций. Судя по всему, и бои с партизанами из ОУН⁴, которые Красная Армия вела после повторной оккупации Украины, носили намеренный характер геноцида, и в высшей степени характерно, что Хрущев в своей секретной речи не просто шутил, утверждая, что Сталин депортировал бы и украинцев, если бы

их не было так много.⁵ И когда маршал Маннергейм сообщал своим немецким союзникам, что он вынужден заключить перемирие с Советским Союзом, то в качестве обоснования он привел аргумент, что его народ, “несомненно, был бы изгнан или истреблен”, если бы он своевременно не решился на этот мучительный шаг.⁶ Итак, Советский Союз вел войну, используя геноцид в гораздо большей мере, чем Англия, и можно задать вопрос, нельзя ли подвести под категорию геноцида планы Бенеша в отношении переселения (transfer) судетских немцев. И, во всяком случае, то, что сюда относится план Черчилля по “передвижению поляков на Запад”, связанный с изгнанием немецкого населения из восточногерманских областей в области к Западу от Одера и Нейссе, не подлежит никакому сомнению.

И все-таки случаи геноцида, инспирированного Гитлером, относятся к другой категории. И разница не в том, что они охватывали гораздо большее количество жертв. Ведь если исходить из цифровых данных, то в “генерал-губернаторстве” было расстреляно ненамного больше бывших офицеров, чем в оккупированной Советами части Польши. Но Гитлер провозгласил истребление принципом и довольно рано потребовал “уничтожить всех представителей польской интеллигенции”.⁷ И прежде всего, здесь оказалось перевернутым соотношение цели и средств. Целью теперь стала не победа в оборонительной войне, когда воздушные налеты и переселения служат лишь обусловленными обстоятельствами средствами для победного окончания войны; целью было завоевание жизненного пространства, а война служила всего лишь средством. Значит, геноцид с окончанием войны не прекратился бы, но победа позволила бы осуществлять его в большем объеме. Даже капитуляция не помогла бы побежденным народам, а их готовность перейти на сторону Германии считалась даже опасной. Уже в январе 1941 г. Гиммлер в одной из речей в Вевельсбурге сказал, что на Востоке надо уничтожить тридцать миллионов человек⁸, и даже в 1944 г. он придерживался мнения, что границу германского народа следует передвинуть на 500 километров на Восток.⁹ По “Генеральному плану “Ост”” предусматривалось выселение 31 миллиона человек в Сибирь и “переход в другой народ” (Umvolkung) остальных миллионов — и если массовая гибель военнопленных зимой 1941/42 гг. в значительной степени явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы и не в последнюю очередь — сталинских приказов об истреблении, то сюда все-таки в качестве решающего момента добавляется воля Гитлера к биологическому ослаблению русского народа, воля, у которой не было прямых аналогий со стороны Сталина, хотя призыв Ильи Эренбурга “Убей!” уже в 1942 году служил социальным ответом на гитлеровские планы по биологическому истреблению.¹⁰ Разумеется, у “политики жизненного пространства” были разные мотивы, и она никоим образом не происходила из одной лишь воли Гитлера: это и страх перед демографическим превосходством “восточных народов”; и грезы о здоровой крестья-

янской жизни, которая одна в силах обломать острие социальных конфликтов и спасти немцев от “смерти от цивилизации”; и англофилия в форме похода в “германскую Индию”; и не в последнюю очередь – воспоминания об английской блокаде в Первую мировую войну и о последствиях этой блокады. Но даже если изолированно рассмотреть наиболее рациональную идею Гитлера, мысль о завоевании для Германии положения сверхдержавы, то нетрудно сообразить, что до тех пор, пока Гитлер еще верил в свою победу, у Власова и его покровителей не было ни малейших шансов. Ибо подобно тому, как фюрер, по-видимому, был убежден, что если не создать совершенно особенных прочных структур для вечности, то неумолимая судьба вызовет “большевистское разложение”, он был убежден еще и в том, что обладание оружием приводит к независимости, а в обозримое время национальная Россия Власова будет сильнее, чем Великогерманский рейх, если последний удовлетворится границами 1939 г. И потому Эрих Кох на Украине осуществлял именно гитлеровскую политику, когда он проводил колониальную политику как “среди негров”; когда у членов украинских делегаций, собиравшихся его приветствовать, он выбивал из рук хлеб-соль; когда он то и дело устраивал порку. При этом он проводил политику ментального народовубийства, геноцида посредством презрения и унижения, и ему пришлось пережить своеобразный опыт, опровергший и его, и гитлеровскую точку зрения, ибо оказалось, что на унижения и презрение население реагировало сильнее и энергичнее, чем на расстрелы. Ведь хотя большевики – сформулировал он в меморандуме – расстреляли много людей, они все-таки ни разу не устраивали публичной порки; а умнейшая голова в министерстве Востока, дипломат доктор Бройтигам, в примечательной памятной записке извлек отсюда вывод о том, что русские и украинцы теперь борются с немцами за признание своего человеческого достоинства.¹¹ Но вышло так, что в Советском Союзе не велось антибольшевистской борьбы с деспотической системой Сталина за свободу и человеческое достоинство, хотя множество людей – русских, украинцев и даже немцев – были к этой борьбе готовы; так получилось, что борьба – в конечном счете – велась лишь за завоевания и истребление, и у этой борьбы как таковой не было никакой идеологии, поскольку в дальнейшем речь могла идти лишь о беспросветной борьбе за превосходство своего народа и о безграничном национальном эгоизме. Ведь если какая-нибудь нация объявляет себя “высшей” и желает очистить землю от всех “неполноценных”, в том числе – и от душевнобольных, главным образом, ради того, чтобы осуществить якобы естественное господство над другими и в то же время поправить свои финансовые дела, то это не идеология, – и эта нация не должна удивляться тому, если в конечном счете она настраивает все остальные нации против себя и даже теряет немногочисленных друзей, которые у нее еще были благодаря высказываниям и целям иного рода.

И наоборот, так называемое окончательное решение еврейского вопроса как будто бы представляет собой в высшей степени идеологически обусловленное действие, потому что Гитлер и Геббельс многократно и вроде бы со всей субъективной убежденностью заявляли, что оказывают “услугу человечеству”, устраняя “еврейскую опасность” или “прокалывая еврейский нарыв”. В действительности, здесь связь с антибольшевизмом усмотреть куда легче, нежели в случае с политикой жизненного пространства, однако, с другой стороны, неоспоримо, что национал-социалистский антисемитизм являлся чрезвычайным сужением и заострением антибольшевизма, и тем более — антимарксизма, поскольку характер интерпретации ему был присущ больше, чем характер опыта.¹² Поэтому антисемитизм можно назвать всего лишь особой разновидностью антибольшевизма, и даже не все национал-социалисты усвоили его с одинаковой решимостью. Несмотря на это, он, несомненно, был обращен не только к германской нации, и поэтому его следует называть идеологией. Но и такая характеристика подлежит подробной квалификации (что будет еще продемонстрировано).

Можно предположить, что реализация окончательного решения началась с акции бойкота, происшедшей 1 апреля 1933 г., и, разумеется, можно рассмотреть предположение о том, что “Закон об устранении потомства, больного наследственными болезнями”, послужил первым предвосхищением политики геноцида.

Но хотя невозможно опровергнуть того, что уже в совсем ранних высказываниях Гитлера встречаются намеки на призыв к физическому уничтожению евреев¹³, отсюда невозможно сделать вывод, что Гитлер руководствовался здесь твердым планом, начиная с 1933 или даже с 1923 г. И политику в отношении евреев Гитлер проводил не в одиночестве, хотя, разумеется, эта политика, как и всякая политика, зависела от массы внешних обстоятельств. Старания отдельных авторов сконструировать нечто вроде единого “процесса истребления” страдают от нехватки дифференциации.¹⁴ Скорее, уместным является проводить различие между разными фазами и моментами, которые поначалу еще не подпадают под понятие геноцида и в конечном счете выходят за его рамки и по методу, и по намерению, и по отсутствию целенаправленной полноты истребления.

Первая фаза продолжалась до 1941 года, и ее можно назвать фазой дискриминации. Основная ее цель состояла в том, чтобы охарактеризовать евреев как народ, а не как вероисповедание. Эта тенденция не была специфически национал-социалистской, но имела распространение и среди самих евреев, и в конце концов способствовала выработке еврейского самопонимания, которое не могло удовлетвориться тем, что статус тысячелетней общины сводится всего лишь к одному из вероисповеданий в рамках религиозно нейтрального государства. Потому-то сионисты и были самыми подлинными евреями, а их стремление к созданию еврейского государства ни в коей мере не проистекало из одного лишь желания из-

бежать антисемитских нападок. Поэтому борьба сионистов против "ассимилянтов" была борьбой за самоутверждение попавшего в опасность своеобразия, – тогда как образованная еврейская буржуазия, как правило, приветствовала утрату собственной традиционной этничности, однако льстила себя надеждой, что в современном мире ей удастся запечатлеть некоторые из основных черт еврейского этоса. Так, уже во втором десятилетии XX века сыновья и дочери образованной еврейской буржуазии, ставшие сионистами или, напротив, социалистами и коммунистами, будучи крайними политическими флангами, находились в состоянии непримиримой вражды, – и Альфред Розенберг в своем сочинении 1921 г. "Сионизм, враждебный государству", высказал догадку, что тут речь идет о рафинированном взаимодействии с целью достижения евреями мирового господства. На практике же национал-социализм оказывался целиком и полностью на стороне сионистов, и по Гааварскому договору 1935 г. Германия способствовала еврейской колонизации Палестины больше, чем какое-нибудь другое государство. Но все-таки более позднее утверждение Адольфа Эйхмана о том, что эсэсовцы и сионисты по своим целям были "братьями"¹⁵, представляет собой грубое искажение фактов. Ибо у национал-социалистов речь никогда не шла о дискриминации в нейтральном смысле слова, т. е. об отделении или разделении, но дискриминация понималась в негативном смысле как пренебрежительное оттеснение и "отбраковка". И это проявилось уже в Нюрнбергских законах, где сексуальный контакт между евреями и немцами образовывал состав преступления, тогда как на сексуальный контакт всех остальных неграждан Германии с немцами не налагалось особых ограничений. Стало быть, уже между 1933 и 1935 годами происходил, так сказать, ментальный геноцид, предвосхищавший тот, что Эрих Кох устроил на Украине, правда, с тем важнейшим отличием, что в основе его лежала эмоция не презрения, а страха (заражения, отравления или морального разложения). В качестве третьего момента сюда добавлялся мотив экспроприации материально привилегированного меньшинства, или, выражаясь языком национал-социалистов, мотив изъятия немецкого народного добра, присвоенного паразитами, и потому дискриминация евреев была той формой классовой борьбы и классовой экспроприации, которая оказалось достаточной для того, чтобы утолить стародавнюю злобную зависть, – но которая оказалась достаточно ограниченной, и потому вызвала вполне преодолимое сопротивление; это был отсутствующий, но в европейских условиях единственно возможный модус экспроприации буржуазии. Сразу после начала войны на короткое время план, способствующий переселению евреев в Палестину, был заменен планом переселения евреев на Мадагаскар, но развитие событий вскоре сделало его нереалистичным.

В конце 1941 г. в качестве второй фазы последовала депортация немецких евреев, а затем – и евреев из многих европейских стран на Восток. Здесь тоже уместно проводить различия. И решающий предварительный

вопрос – можно ли охарактеризовать евреев как группу, ведущую военные действия, т. е. как непримиримо враждебную группу. На вопрос этот для значительной части немецких евреев следует ответить безусловно отрицательно – во всяком случае, до ноябрьского погрома 1938 г. Никоим образом не только среди участников Первой мировой войны, хотя больше всего среди них, – немецкие евреи, несмотря на Нюрнбергские законы, ощущали себя гражданами Германии; и с той же уверенностью, с какой от немецких евреев невозможно было ожидать, что они станут сторонниками и почитателями Адольфа Гитлера, о них можно было сказать, что Германии как своему отечеству они не желали ничего плохого, и нет свидетельств о том, что так уж много немецких евреев активно выступили за дело союзников. Тем не менее это утверждение не может считаться ни последним, ни единственным словом. Так, высказывание Хаима Вейцмана, сделанное им в сентябре 1939 г., о борьбе евреев на стороне союзников уже приводилось. В августе 1941 г. собрание видных советских евреев обратилось с гораздо более эмоциональным воззванием к евреям всего мира, чтобы те поддержали справедливую борьбу Советского Союза и его союзников.¹⁶ В 1961 г. такой автор, как Рауль Хильберг, в своей книге “Уничтожение европейских евреев” непрерывно подчеркивающий пассивность и недостаточное сопротивление евреев, сформулировал тезис: “В продолжение всей Второй мировой войны евреи считали дело союзников своим собственным... и по мере сил вносили вклад в достижение окончательной победы”.¹⁷ Если вспомнить, что после 7 декабря 1941 г. американцы отправили в лагеря для интернированных собственных граждан японского происхождения, включая женщин и детей, – а англичане значительную часть немецких эмигрантов-антифашистов выслали в Канаду как “враждебно настроенных иностранцев”¹⁸, то нельзя заранее отрицать возможности того, что депортации как таковые, на взгляд немецкого населения, могли считаться неизбежными. Осенью 1941 года в одном лишь Берлине проживало поразительно много евреев – более 70 000, и если иметь в виду, что Сталин в речи от 3 июня 1941 г. при перечислении опасных элементов в составе советского населения не преминул упомянуть и “распространителей слухов”¹⁹, то никто и подавно не оспорит оправданный характер мер предосторожности. Но подобно тому, как фаза поощрения эмиграции приняла вследствие Нюрнбергских законов не сионистский, а уже иной характер, – так и следующая фаза, фаза депортации, даже для простого зрителя служила предвестником чего-то иного, нежели то, что происходило в американско-японском или в английском случае. А именно – евреев стали отмечать “желтой звездой”, что означало возвращение к ярко выраженному средневековому методу. Из-за этого статья рейхсминистра пропаганды, вышедшая по этому поводу под заголовком “Евреи виновны” в еженедельнике “Das Reich”, зловещим образом напоминала возгласы “Ату их!”, раздававшиеся во время еврейских погромов.

А что означало слово “Восток” – того нельзя было полностью скрыть ни от одного немецкого солдата и ни от одного работавшего на Востоке штатского. В любом случае, это слово означало “гетто”, и не просто по аналогии с Терезиенштадтом в Богемии, где некоторое количество старых и привилегированных евреев проживало хотя и в изоляции, но вполне сносно. Несмотря на то, что в течение короткого времени существовал план зарезервировать недалеко от Буга довольно обширную территорию для создания самого настоящего “еврейского государства”, план этот вскоре был отброшен, и депортированные евреи нигде не могли найти для себя место, кроме как в чудовищно перенаселенных, страдающих от голода, обнесенных стенами гетто, где свирепствовал сыпной тиф, – как в Варшаве или Лодзи, которая теперь называлась Литцманштадтом, – или же в специально учрежденных концлагерях. “Пунктом назначения” для евреев стало то, что было исходным пунктом для еврейской судьбы в Новое время: *местечко* (shtetl), из всё еще средневековой тесноты которого сотни тысяч евреев переселялись на культурный Запад, чтобы стать там немцами, французами, американцами или же сионистами; теперь оно, превратившись в ультрасовременный концлагерь, вновь стало местом их проживания.

Однако же там, где германский вермахт наталкивался на советское еврейство с его еще в значительной мере замкнутой средой обитания, уместно ввести еще одно разграничение, как правило, затушевывавшееся термином “окончательное решение”. Речь идет о действиях оперативных групп СС, которые, как известно, шли по пятам за армиями, продвигавшимися вглубь Советского Союза, и “устранили” много сотен тысяч евреев – как обыкновенно выражались командиры этих соединений в оперативных сводках по СССР, – впрочем, в этих сводках содержались отнюдь не только то и дело цитировавшиеся хладнокровные сообщения с констатацией массовых убийств, но и известия о расстрелах, производившихся отступавшими войсками НКВД, а также информативные доклады о ситуациях, зачастую настаивавшие на том, что с русским и украинским населением надо лучше обращаться. Но и тут надо поставить предварительный вопрос, зачастую освещавшийся в литературе лишь мельком. Не только сами оперативные группы, но и множество представителей вермахта вплоть до генералов в докладах, не предназначавшихся для широкой общественности, объявляли евреев основными зачинщиками партизанской войны, и поэтому под акциями против евреев подразумевали репрессии. Широко известные распоряжения фельдмаршалов фон Рейхенау и Манштейна и аналогичные официальные декларации исходят из этой предпосылки, а кроме того, отчасти дают понять, насколько живыми были тогда воспоминания об эпохе гражданской войны в Германии и о борьбе между коммунистами и национал-социалистами в Веймарской республике. На самом деле, было бы очень странно, если бы многочисленные евреи не выполнили приказа Сталина начать партизанские дейст-

вия. Но действия оперативных групп отличались следующей особенностью: не только пропорция гражданской войны 1:100 зачастую превышалась, но и партизаны или истребительные батальоны Красной Армии без всякой дальнейшей проверки отождествлялись с евреями. Так, предпосылками кровавой бани в урочище Бабий Яр близ Киева, где было убито 33 000 евреев, стали крупный пожар, а также многочисленные взрывы в городе, принесшие смерть многим сотням немецких солдат. Но и пожар, и взрывы устроил один из истребительных батальонов Красной Армии, и не было ни малейшей вероятности, что он состоял исключительно или преимущественно из евреев. В литературе мнения об участии евреев в партизанской борьбе разделились. Западные труды подчеркивают пассивность евреев, которые шли на расстрел по большей части без всякого сопротивления; коммунистическая же литература изобилует сообщениями о героических действиях, — не в последнюю очередь, в борьбе с еврейскими “коллорабационистами” и “предателями”, — тогда как в немецких докладах акцентируется то первое, то второе.²⁰ Однако же во многих случаях, как неопровержимо свидетельствуют сводки о событиях, о репрессиях не могло быть и речи, но просто тысячи и десятки тысяч евреев сгонялись в определенные места, где их расстреливали эсэсовцы, иногда — вместе с местными вспомогательными силами. Общее количество евреев, погибших в СССР в результате действий оперативных групп, по оценке Геральда Райтлингера составляет более миллиона, по оценке Рауля Хильберга — 1,3 млн., и по оценке Краусника-Вильгельма — 2,2 млн.²¹ И как раз если принять во внимание действия НКВД и представить себе, что Катынь — лишь один случай среди многих, то надо будет неизбежно признать, что злодеяния оперативных групп СС превосходили их по жестокости.²² НКВД стремился уничтожить руководящую прослойку поляков, каковая была, на его взгляд, контрреволюционной; а вот оперативные группы СС делали на чужой территории то, чего невозможно было осуществить в Германии: они намеренно истребляли массы населения, считавшегося революционным. Если контрреволюционеры взяли себе за образец революционеров со всеми вытекающими отсюда последствиями, то они должны были совершить и гораздо более худшие — ибо повлекшие большее количество жертв — злодеяния. Но то, что коммунисты и национал-социалисты здесь тоже не просто воплощали в себе идеальные типы революционеров и контрреволюционеров, явствует из того факта, что на самом деле лишь часть советских евреев причисляла себя к революционному населению (т. е. сохраняла верность Сталину), тогда как громадные массы русских и украинцев, напротив, отождествляли себя с Советским государством.²³ С другой стороны, Сталин тоже ополчался на целые народы вроде немцев Поволжья, каковые, по словам Хрущева²⁴, он приказывал депортировать “вместе со всеми коммунистами и комсомольцами”, так как видел в них потенциальных пособников врага. Здесь тоже наличествовало преувеличение, чрезмерное обобщение, вменение вины целому

коллективу, но численность приволжских немцев была сравнительно небольшой, и оказалось достаточным всего лишь отправить их в ссылку. Поэтому действия оперативных групп являются наиболее радикальным и всеохватным примером превентивного и выходящего за рамки всех конкретных требований к непосредственному ведению боевых действий подавления противника, а николаевские и катынские события следует считать далеко не столь ужасными акциями.²⁵ Но прежде всего эти массовые убийства согласно намерению их зачинщика и в сознании важнейших их участников находились в глубокой внутренней связи с последней, завершающей стадией геноцида, с квазииндустриальными массовыми убийствами в лагерях массового уничтожения, таких, как Освенцим-Биркенау, Трблинка и Бельзек.

Как бы там ни было, реальность этого последнего и наиболее ужасного этапа, реальность истребления в газовых камерах лагерей уничтожения примерно трех миллионов евреев, сплошь и рядом проживавших не в партизанских районах Советского Союза, оспаривалась некоторыми авторами, тогда как действия оперативных групп СС никем еще не отрицались. Авторами такой литературы являются вовсе не одни лишь немцы или неофашисты.²⁶ Как правило, доказательства в этой сфере основываются на том, что подвергается сомнению подлинность центральных документов, например, протоколов Ванзейской конференции от 20 января 1942 г., или же авторы указывают на противоречивость свидетельских показаний и на существенные различия в количественных данных, приводимых экспертами. Нередко утверждается, что массовые умерщвления в газовых камерах²⁷ в таком объеме неосуществимы с точки зрения имевшихся технических средств. Но даже если в связи с этими аргументами воздержаться от суждения и не учитывать многочисленные другие свидетельства – среди коих показания Эйхмана²⁸, коменданта Освенцима Хёсса и многочисленных узников лагерей – то все же бесспорным остается факт смерти многих тысяч людей, а также еще один факт: среди этих погибших бросается в глаза огромное количество евреев.²⁹ Остаются публичные высказывания вроде многократно повторенных пророчеств и утверждений Гитлера об “уничтожении еврейской расы в Европе”, а также утверждение Юлиуса Штрейхера в одном из номеров “Штюрмера” за 1943 г. о том, что еврейство гигантскими шагами приближается к своему “уничтожению”.³⁰ Остаются также многочисленные высказывания, сделанные Гитлером в беседах с иностранными дипломатами, а также в застольных беседах, и высказывания эти в то же время проясняют подлинную основу его юдофобии.

Так, 17 февраля 1942 года Гитлер в своей ставке обратился к приглашенным к столу гостям, среди которых был и Генрих Гиммлер с такими словами: “Такой феномен античности, как закат античного мира, произошел из-за мобилизации черни под христианскими девизами, причем это понятие имеет столь же мало общего с религией, как марксистский со-

циализм с разрешением социальных вопросов... 1400 лет этим пользовалось христианство, чтобы развить свои зверства до крайних пределов. Поэтому мы не вправе сказать, что большевизм уже преодолен. Но ведь чем основательнее мы вышвырнем евреев, тем скорее будет устранена опасность. Еврей — это катализатор, от которого вспыхивает горячее. Народ, у которого нет евреев, возвращается к естественному порядку... Если отдать этот мир на несколько столетий немецким профессорам, то спустя миллион лет у нас будут бродить сплошь одни кретины с гигантскими головами и недоразвитыми телами.”³¹

На самом деле Адольф Гитлер под словом “еврей” подразумевал не что иное, как то, что почти все мыслители XIX века с позитивным акцентом называли прогрессом — тот комплекс растущих покорения природы и отчуждения от природы, индустриализации и свободы торговли, эмансипации и индивидуализма, что первым Ницше, а за ним — некоторые философы жизни вроде Людвига Клагеса и Теодора Лессинга объявили угрозой для жизни. Для Гитлера жизнь эта тождественна естественному порядку, т. е. разделению общества на крестьян и воинов, каковое, по его мнению, еще присутствует классическим образом в современной Японии, тогда как в Европе оно оказалось поставленным под угрозу сначала мирной утопией христианства, а затем — безудержной индустриализацией с ее явлениями кризисов и распада. Следовательно, Гитлер имел в виду тот самый всемирно-исторический процесс, который для Маркса был сразу и прогрессом, и упадком; тот процесс, который можно назвать интеллектуализацией мира. Но несмотря на некоторые наметки, Маркс, Ницше, Лессинг и даже Клагес оставались все-таки далеки от утверждения, будто можно выявить конкретную человеческую причину этого процесса. Однако же Гитлер сделал этот шаг, который оказался радикальным переворачиванием всей прежней идеологии, но сам этот шаг уже нельзя называть идеологией в изначальном смысле, так как он приписывает одной группе людей способность вызывать трансцендентальный процесс. Тем не менее тезис этот нельзя назвать просто абсурдным, ибо евреи в качестве “народа Писания”, а впоследствии — как группа, и внешне, и фактически особенно затронутая эмансипацией, имели ярко выраженное отношение к упомянутой интеллектуализации, но не как ее причина, а как одна из форм ее проявления. Потому-то в том, что Гитлер в своем отстаивании войны как неотъемлемого элемента естественного порядка обратил геноцидальные тенденции современной войны прежде всего против евреев, была некоторая последовательность. Но геноцид, происходящий с такими намерениями, — не просто геноцид. И то, до какой степени для Гитлера шли рука об руку переворачивание философии истории, защита естественного порядка и революционный опыт 1918 г., становится неопровержимо ясно, если сюда добавить еще и фразу, с которой 22 июля 1941 г. он обратился к хорватскому маршалу Кватернику: “Если хотя бы одно государство по каким-либо причинам потерпит у себя хотя бы одну еврей-

скую семью, то семья эта превратится в очаг бацилл для нового распада.”

³² Правда, впоследствии Гитлер упоминал Мадагаскар и Сибирь в качестве возможных мест для проживания европейских евреев. Но Мадагаскар был для него уже недоступен, а вскоре предстояло стать недоступной и Сибири. А если бы Гитлер приказал перевезти евреев из Германии и остальной Европы в Польшу, чтобы они жили там в гетто, то в дальнейшем он прослыл бы всего-навсего болтуном. Во время беседы с Кватерником он уже отправил в газовые камеры немецких душевнобольных, и вполне возможно, что этот метод казался ему особенно “гуманным”. Кто всерьез принимает Гитлера, тот не может оспаривать акции по истреблению евреев в Освенциме и Трешлинке, а также газовые камеры. ³³ Кроме этого, тот не вправе приравнивать Освенцим и Трешлинку, Бельзец и Собибор к тем мероприятиям по уничтожению, которые хорватские усташа устраивали против православного населения собственной страны. Освенцим был чрезмерностью в еще более глубоком смысле, чем ориентированная на тотальную безопасность и поэтому профилактическая борьба с партизанами и чем “искоренение всего вредного и нездорового”, искоренение, уничтожившее очень много цыган и направленное также против славян. “Окончательное решение” является уникальным событием не просто в тривиальном смысле. Но как раз поэтому его нельзя назвать несравнимым – ведь право назвать его единственным в своем роде возникает только после по возможности всеохватного сравнения, а большие пробелы в понимании следует обозначить лишь в тех точках, которые открываются взору после длительной борьбы за понимание.

Но не следует оспаривать того, что это трансцендентальное уничтожение само по себе протекало при величайшей секретности. Тот, кто, подобно Хильбергу, отстаивает или пытается внушить мнение, будто все члены главного административно-хозяйственного управления СС или даже железнодорожники, которые отправляли поезда в Освенцим, должны были знать о газовых камерах, – тот вследствие этого должен отрицать, что о “Приказе № 1” никому не полагалось знать больше того, что безусловно необходимо для исполнения его непосредственных задач, которое отделяет людей друг от друга еще больше, чем разделение труда в современном обществе; тот должен отрицать, что сотни специалистов могут строить танк, и при этом тысячи других специалистов считать, будто они изготовили детали для гусеничного трактора. Сам Хильберг сообщает о том, что госпожа Ширах в Амстердаме стала свидетельницей того, как ночью куда-то гнали толпу евреев, и это ее настолько взволновало, что она рассказала мужу. Муж посоветовал ей при следующем посещении ставки фюрера самой обратить его внимание на такие “непорядки”. Гитлер же выслушал ее “неблагодарно” и, обменявшись несколькими словами, отошел от четы Ширахов. ³⁴ А – наряду с Роммелем – самый знаменитый из немецких генералов танковых войск, Гудериан даже в марте 1945 г. с полной искренностью заявил представителям прессы, что он

долго воевал на Востоке, но никогда не замечал никаких “адских печей, газовых камер и аналогичных продуктов болезненной фантазии”, с помощью которых маршал Жуков приказал подстрекать “чувства ненависти примитивных советских солдат.”³⁵

“Окончательное решение”, безусловно, является наиболее ужасным и самым характерным среди всех преступлений национал-социализма, но здесь же надо учитывать такую его существенную черту, как секретность, а также переворачивание традиционной философии истории, публично сообщить о котором никогда не отважился даже Гитлер. Будучи направленно полным уничтожением всемирного народа, *Endlösung* существенно отличается от остальных геноцидов и представляет собой зеркальное отражение намеренно полного уничтожения всемирного класса, которое задумал большевизм, и потому оно является измененной в сторону биологизма копией социального оригинала. Но как раз поэтому его нельзя назвать чисто биологическим уничтожением, ибо *Endlösung* означает приговор в отношении исторического процесса в целом, приговор прогрессу, но вынесенный на основе прогрессивных реалий – тогда как большевизм был приговором в пользу прогресса, но он находился в тесной связи с реальной отсталостью. Тем не менее “окончательное решение” – не единственная перспектива, в которой можно рассматривать связь между национал-социализмом и большевизмом. Большевизм и национал-социализм всегда были противоположностями и оставались таковыми до самого конца, но все-таки ни в один момент их нельзя было назвать контрадикторными, и чем больше приближался конец войны, тем сильнее ощущался “обмен характерными чертами”.

5. Обмен характерными чертами и парадоксальная победа Советского Союза

Понятие “обмен характерными чертами” не следует понимать так, будто в ходе войны большевизм принял облик своего противника, а национал-социализм – наоборот, облик большевизма. Пожалуй, в обоих режимах наблюдались процессы и тенденции, направленные на нечто вроде внутреннего сближения. Однако же в результате этого вражда не ослабла, а, скорее, усилилась, и даже если провести линии в сторону идеального типа, никакого отождествления не получится.

То, что большевизм пошел по пути “национализации” или “огосударствления”, уже вскоре утверждали его друзья и враги (или опасались этого): эмигранты и неортодоксальные коммунисты уже в начале двадцатых годов совпали между собой во мнении, что большевики превратились в борцов за традиционные интересы государства российского. В качестве доказательства здесь можно было привести продолжающееся существование кадровой армии с профессиональным корпусом командиров, и даже термин народные комиссары стремительно утратил первоначальный смысл, согласно которому речь шла о должностях на короткий переход-

ный период, служащих лишь для того, чтобы “закончить дело”, как выразился Троцкий в отношении бюрократического аппарата в целом.¹ Сталинская концепция построения социализма в одной стране знаменовала собой следующий крупный шаг, вызвавший ожесточенное сопротивление старой партийной гвардии. Правда, надеждам эмигрантов не суждено было сбыться; примирение новой России со старой не состоялось, да к нему и не стремилась господствовавшая партия: возвращающихся на родину офицеров арестовывал, а то и расстреливал НКВД, а наиболее мощная общественная сила, которая могла бы сформировать основу для примирения, оказалась уничтоженной как класс – это были крестьяне, лишённые независимости. Преследования могли постигнуть даже иностранных инженеров, сыгравших весьма значительную роль в растущей индустриализации страны. Как прежде, беспредельно царила партия с ее марксистской терминологией, и своеобразная изменчивость идеологического языка ничего тут не меняла, но лишь способствовала тому, что с традиционным постулатом по возможности полного равенства стали бороться, как с “мелкобуржуазной уравниловкой”, а вот дифференциацию зарплат и профессий признали в качестве неременной предпосылки дальнейшей индустриализации. Но шла ли здесь речь все еще о прагматичном приспособлении к изменившимся обстоятельствам, когда Сталин в 1934 году в двух статьях дал сигнал к преследованию и подавлению исторической школы Покровского?² Ведь Покровский был крупнейшим представителем того подлинно марксистского образа мысли в историографии, сторонники которого не только умели рассказывать о деспотичных царях, помещиках-эксплуататорах, свирепых полководцах, с одной стороны, и об обобранных и истерзанных народных массах, с другой, но и, прежде всего, с одинаковыми ожесточением и презрением ополчались на все господствующие классы и, в особенности, на класс, господствовавший в старой России. Теперь же Сталин, а вскоре вслед за ним – и многочисленные историки, указывали на то, что история Российской империи ни в коей мере не была просто-напросто вереницей ужасных сцен; на то, что, скорее, пробивал себе путь могучий исторический прогресс; и на то, что цари и их прислужники достаточно часто способствовали прогрессу и даже боролись за него. Теперь был написан новый – куда в более ярких красках – портрет Ивана Грозного, и даже режим Николая I уже нельзя было характеризовать исключительно как “кровавый полицейский террор”.³ Больше всего в позитивную сторону теперь изменилась оценка завоевательных походов царей, и дело шло к тому, чтобы ту экспансию Московии во все стороны света, в которой Карл Маркс видел опаснейшую угрозу для Европы, признать в качестве парадигмы исторического прогресса. В новой присяге красноармейца, утвержденной в 1936 году, уже не было речи о долге перед мировым пролетариатом. Уже начиная с 1935 года во главе Красной Армии были поставлены маршалы Советского Союза. Большая Чистка значительно ослабила интернациональный харак-

тер командирского корпуса, и освободившиеся высокие посты занимали преимущественно молодые русские и украинцы. В июне 1940 года были вновь введены звания генерала и адмирала, которые до тех пор считались буржуазными или царскими, и тем же годом датируется указ, разделивший солдат и командиров на два отдельных класса по довольствию.⁴

И все-таки начало войны привело и к качественному изменению. В речи от 6 ноября 1941 г. Сталин обвинял немецких фашистов, “лишенных совести и чести”, прежде всего, в том, что они призывали “к уничтожению великой русской (!) нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского... Суворова и Кутузова”.⁵ В буквальном смысле это означало как минимум духовное объединение и сплочение старой и новой России: феодальных полководцев, буржуазных деятелей искусства и прогрессивной, а также марксистской интеллигенции. Фактически и в эмиграции раздавалось немало количество голосов (от Керенского до Милюкова), выступавших в защиту России от германского нападения. Поэтому произошло не просто изменение названия, когда в сентябре 1941 г. некоторые стрелковые дивизии были переименованы в гвардейские стрелковые дивизии и когда в последующие годы возникли целые гвардейские армии. В мае 1942 года был учрежден Орден Отечественной войны двух степеней, а Орден Суворова опять-таки подразделялся на два класса, высший из которых предназначался “для полководцев и командиров, которым удалось в наступлении уничтожить превосходящие силы противника”.⁶ Если в Германии Рыцарский крест даже высших степеней вручался простым офицерам, то высшие ордена Советского Союза были зарезервированы за полководцами, и Власов в немецком плену жаловался на принятую у немцев уравниловку,⁷ тогда как один советский генерал, совершивший в 1944 году поездку в Великобританию, выразил удивление по поводу того, что простые солдаты обладали там правом ездить в одних купе с офицерами.⁸ Поэтому опять-таки не просто поверхностным изменением терминологии стало, когда в январе 1943 г. командирский корпус впервые назвали офицерским корпусом.⁹ Вновь введенные широкие погоны царской армии подтверждали, что между офицерским и рядовым составами существует ярко выраженное классовое различие, хотя самый что ни на есть простой солдат, как прежде, обращался к высшему офицеру “товарищ генерал”. Теперь в рабочем кабинете Сталина висели портреты Суворова и Кутузова, царских генералов, воевавших с Наполеоном и одержавших победы. Он сам присвоил себе высшее воинское звание, и вскоре западные союзники называли его не иначе, как “маршал Сталин”.

Чрезвычайно высокая оценка, каковую Сталин придавал кадрам, предположительно проявляется и в его тегеранском высказывании, которым он спровоцировал возражение Черчилля: вся сила могущественной армии Гитлера основана-де приблизительно на 50 000 офицерах, техниках и специалистах; если их уничтожить, то германская опасность будет уст-

ранена практически навсегда.¹⁰ Отсюда без труда можно было вывести мнение, что мощь Советского Союза, в первую очередь, зиждется не на миллионах трудящихся и простых солдат, а на руководящей прослойке высшего офицерского корпуса и специалистов по вооружению.

Но национальные традиции оказались реабилитированными не только в армии. В 1943 году в качестве союзника признали и православную Церковь: уже с начала войны церковные верхи молились за победу социалистического отечества, а теперь во многочисленных храмах вновь стали устраивать богослужения, заново открывались богословские семинарии, из-за "нехватки бумаги" уменьшалось количество газет и журналов для безбожников, порою эти газеты и журналы закрывались. В сентябре 1943 года Сталин официально принял в Кремле главу Церкви, митрополита Сергия, а чуть позже в московских соборах Сергей был торжественно провозглашен Патриархом Московским и Всея Руси (место пустовало в течение 20 лет).

В том же году Сталин совершил еще один поразительный шаг, распустив Коминтерн. За два десятилетия до этого и в Советском Союзе, и в Европе было широко распространено мнение, будто Коминтерн представляет собой центральный орган мировой революции, а московское правительство является всего-навсего одним из его филиалов, ранее других захватившим политическую власть. Теперь эту организацию постиг бесславный конец — ведь уже давно никто не сомневался в том, что в Коминтерне попросту работали агенты советского правительства. Теперь он не укладывался в новую политическую линию, и Сталин в интервью агентству Рейтер обосновал его роспуск тем аргументом, что надо было разоблачить ложь гитлеровцев, будто "Москва" стремится вмешиваться в жизнь других государств и "большевизировать" их; как раз роспуск Коминтерна якобы помогает работе "патриотов всех стран", способствуя их сплочению в "единый национальный лагерь свободы", независимо от партийной принадлежности и религиозных убеждений.¹¹ Итак, Коминтерн пал жертвой политики народных фронтов, которая, начавшись в 1935 году, сама накликала на него его судьбу, ибо теперь, по мнению Сталина, она сохранила фундаментальную важность для "борьбы против гитлеровского фашизма, стремящегося к мировому господству".

Как бы там ни было, Сталин и теперь не отказывался прибегать к над-национальным воззваниям. Но теперь они адресовались не мировому пролетариату, а славянским народам. Ведь уже в декларации по поводу оккупации Восточной Польши говорилось о кровном родстве¹², а теперь в Москве был образован "Панславянский комитет", а на обычных демонстрациях несли большие плакаты с призывом к единению славянских народов; в беседе с Милованом Джиласом Сталин сказал: "Если славяне сплотятся и сохраняют солидарность, то в будущем никто и пальцем не сможет пошевелить. Даже пальцем."¹³ Аналогичным образом он высказался в декабре 1944 года в разговоре с де Голлем: "Цари проводили плохую по-

литику. Они стремились господствовать над другими славянскими народами. Мы же проводим новую политику. Славяне должны повсюду быть независимыми и свободными.”¹⁴

Де Голлю принадлежит также весьма красочное описание ужина, данного в его честь в Кремле. По монументальной лестнице, стены которой были все еще украшены теми же картинами, что и в царское время, он вместе с сопровождающими проследовал в праздничный зал, где советские министры, дипломаты и генералы, “все в сияющих мундирах”, собрались ради “неправдоподобно обильного ужина” за столами, блиставшими “невероятной роскошью”.¹⁵ После ужина и тоста за международную дружбу Сталин вставал тридцать раз, чтобы выпить за своих ближайших сотрудников и высших офицеров. При этом в его словах смешивались похвала и угроза, и де Голль догадался, что тот, за кого пили, застыл от страха, когда к нему обращались приблизительно со следующими словами: “Ты должен внедрять наши самолеты. Если ты будешь делать это плохо, ты знаешь, что тебе светит.”¹⁶ Ни в один из моментов своей жизни Гитлер не смог бы так – в духе восточного деспота – обходиться со своими фельдмаршалами. Множество других сообщений – к примеру, Джиласа, Светланы Аллилуевой и Хрущева – не оставляют и тени сомнения в том, что “первое в мире государство рабочих”, во всяком случае – его верхушка в последние военные годы, превратилось в группу блестящих, упоенных победой и украшенных орденами сановников, повиновавшихся каждому слову неограниченного властителя.

Тут напрашивается возражение, что при всем при том речь шла о внешних вещах и тактических средствах, от которых правящая партия в любой момент могла бы отказаться, если бы сочла, что они угрожают неизменным целям и сохранившейся терминологии. Так, в отношении “Панславистского комитета” справедливость этого аргумента бросается в глаза, а самодержавному господству Сталина должна была в обозримом будущем положить конец его смерть. Православная церковь превратилась в послушное орудие, лояльность (по отношению к РСДРП) коммунистических партий во всем мире не подлежала сомнению, и потому дело могло выглядеть так, что Коминтерн в любое время может вновь заработать. Но даже если принять во внимание, что Сталин по-прежнему жил только в трех маленьких комнатах; что генералы попросту ждали, когда их лишат погон и орденов, чтобы войти в бесклассовое мировое общество неузнанными; и что Жданов уже бросил клич, призывая мировой пролетариат к восстанию против капиталистов, то все-таки невозможно обойти тот факт, что Советскому Союзу в годы с 1941 по 1945 (а мощные начатки этого наблюдались и прежде) пришлось апеллировать к тем традициям, силам и тенденциям, на которые его противник опирался с самого начала. Советскому Союзу приходилось изображать из себя государственно-социалистическую или национал-социалистическую страну, поскольку он хотел выжить, – и существовало достаточно оснований для

предположения о том, что он и фактически был такой страной, а не просто смог вернуться к таким истокам, оттого что захотел этого. Предположение станет непреложной реальностью для того, кто посмотрит на фотографии мальчиков [-суворовцев] в мундирах отнюдь не молодежного покроя, стоящих в сомкнутом строю под портретами генералов и маршалов и внимательно слушающих наставления тучного офицера.¹⁷ И трудно найти что-либо менее похожее на лицемерие или тактическую уловку, нежели слова, сказанные Сталиным во время войны: "И прежде всего было что-то ненормальное и неестественное в существовании всеобщей коммунистической мечты в годы, когда коммунистическим партиям приходилось искать национальный язык и бороться в условиях, господствовавших у них в странах."¹⁸ По мнению Сталина, Ленин, несомненно, заблуждался, когда в 1917 году полагал, что эпоха пролетарской революции совсем рядом.

Можно ли из этой идеи сделать вывод, что национал-социализм одержал духовную победу, когда терпел одно за другим поражения на полях битвы? Этот вывод стал бы неизбежным лишь в том случае, если бы национал-социализм был действительно национальным, или государственным социализмом. Сложные слова (состоящие из существительного и прилагательного – прим. пер.) обретают отчетливый смысл лишь в тех случаях, когда логическое ударение падает на существительное, а добавленное к нему прилагательное выражает попросту дополнительную, хотя и существенную характеристику. Между тем, национал-социализм никогда не был – в первую очередь – социализмом, т. е. движением, сущность которого определяется мотивами внутренних межклассовых стычек, но являлся социальным национализмом фашистского типа, и притом в его наиболее радикальной форме. В последние его годы облик национал-социализма оставался таким же, что у его истоков, когда установился непрочный симбиоз политико-революционного народного движения с руководящими прослойками из истеблишмента. Но именно благодаря этому в национал-социализме существовали тенденции, указывающие на его типологическую новизну. Они были бы доведены до конца, если бы он не продолжал видеть в большевизме жупел, но усматривал бы в нем, в первую очередь, образец. В последние годы войны национал-социализм сделал несколько решительных шагов по этому пути, однако же прошел его до конца лишь в гипотетических соображениях.

Разумеется, большевизм и коммунизм для национал-социализма в каком-то смысле служили образцом с самого начала, но преимущественно в сфере методов ведения борьбы, т. е. прежде всего в области пропаганды. Между тем методы едва ли можно было отчетливо отграничить от содержания, и Геббельс в своем дневнике в марте 1942 года отметил, что Гитлер глубоко уважает русский способ ведения войны: "Суровое вмешательство Сталина спасло русский фронт. Мы должны вести войну аналогичными методами, чтобы суметь утвердиться в противовес ему. Такой

жесткости нам порою не хватало, и мы должны попытаться компенсировать эту нехватку.”¹⁹ Как бы там ни было, неполный год спустя образцовым стало считаться такое поведение, которое в начале войны еще считалось свидетельством слепого фанатизма и культурной недоразвитости, а именно – коллективные самоубийства солдат, попадавших в безнадежное положение. Когда 1 февраля 1943 года Гитлер получил известие о капитуляции фельдмаршала Паулюса, приговор фюрера оказался однозначным. “Они сдались, соблюдая все формальности – сказал он. – А вот в других случаях люди собираются вместе, занимают круговую оборону и стреляют в самих себя последними патронами. Если представить себе, что у женщины есть гордость, что стоит ей услышать хотя бы несколько оскорбительных слов, как она уходит, запирается в комнате и тотчас же стреляется, – то я совершенно не уважаю солдата, который боится сделать это, но предпочитает сдаться в плен.”²⁰ В этих словах Гитлер сравнил в высшей степени разные ситуации и тем самым возвратил войну к тем “исконным обстоятельствам”, каковые “европейская цивилизация”, на которую он так много ссылался, как раз стремилась преодолеть. Чуть позже он представил Сталина и большевизм даже в качестве образца для внутренней структуры своего режима. В одной из бесед с руководителями рейха и гауляйтерами, проведенной в начале мая 1943 года, он прежде всего похвалил сталинскую чистку Красной Армии, устранившую все пораженческие настроения и значительно повысившую боевую мощь – в противовес ожиданиям, поначалу не чуждым и ему самому. Затем он продолжал: “Кроме того, Сталин по сравнению с нами обладает еще и тем преимуществом, что у него нет общественной оппозиции. И оппозицию большевизм устранил посредством ликвидации за последние 25 лет... Большевизм своевременно отвел от себя опасность и теперь может всей своей мощью обрушиться на противника. Ведь внутри страны практически нет оппозиции.”²¹ Тем самым Гитлер одновременно как бы перечеркнул основы своей системы. Выходит, что Гитлер и его приверженцы черпали свои наиболее мощные и стойкие эмоции из “истребления национальной интеллигенции” в том виде, как оно проводилось в России и, как казалось, грозило Германии? Но что же тогда служило основой его успехов до 1941 года, если не невредимая армия и не функционирующий административный аппарат, доставшийся ему от Веймарской республики, а в конечном счете – от кайзеровской империи? Если корень зла заключался в “общественной оппозиции”, т. е. в совокупности кругов, за симпатию и одобрение коих он боролся всю жизнь, то что делать с его обвинениями в адрес “евреев и большевиков”? Так, значит, вся разница между его режимом и режимом большевиков состояла лишь в том, что одна из партий гражданской войны, а именно – добровольческий корпус, после “ликвидации” всех противников и всех безучастных могла бы столь же безраздельно утвердиться в Германии, как враждебная ей партия в России?

Фактически Гитлер и его ближайшая свита все больше тяготели к выходу за рамки радикального фашизма по направлению к режиму, который вел бы себя по отношению к пока еще в значительной степени сохранившейся социальной структуре внутри страны столь же радикально, как и большевизм, и тем самым создавал бы себе возможность реализовывать и свои внешнеполитические цели с революционной беспощадностью.²² Для такого режима названия не существует, поскольку Гитлер мог осуществить лишь его начатки. Так, для его обозначения непригоден термин “национал-большевизм”, поскольку главной целью национал-большевизма было заключение союза между Германией и СССР. Кроме того, термин “национализм” должен оставаться существительным, ибо хотя Гитлер и расширил понятие национализма до пределов арийской расы, но он ни в один миг не терял к нему доверия. За отсутствием лучшего обозначения можно было бы говорить о “большевико-национализме”, т. е. о националистической или же расово-биологической системе, продвигавшейся по направлению к ликвидации наличествовавших социальных различий и стремившейся к достижению мировоззренческой и социальной гомогенности столь же радикально, как и большевизм, даже если это была, конечно же, такая гомогенность, которая заранее подразумевает строгую иерархию и безоговорочную дисциплину. Несомненно, в Германии были сделаны примечательные шаги по направлению к равенству такого типа. Так, отношения между рядовым составом и офицерами в войсках СС отличались куда большим товарищеским характером и непринужденностью, чем соответствующие отношения в вермахте. Но даже солдаты вермахта — от простого ополченца до фельдмаршала — получали одинаковое довольствие, и тем самым выполнялся постулат, принадлежавший к важнейшим предпосылкам революции 1918 года. Было бы вполне вероятным, если бы в отношении труда военнопленных прозвучало, что предпринимателями сегодня являются уполномоченные от всего немецкого народа — а ведь эта фраза соответствовала бы притязанию Карла Маркса, который, правда, говорил не о народе, а о рабочих.²³ Речь Геббельса от 18 февраля 1943 года с его призывом к тотальной войне получила такой большой резонанс главным образом потому, что казалось, будто в ней провозглашена отмена всяческих “привилегий”, и то же самое касается речи Гитлера от 26 апреля 1942 года, которая, судя по оперативным сводкам СД, снискала горячее одобрение в “простонародных и рабочих кругах” из-за содержащихся в ней резких нападок на правосудие и особенно на чиновников.²⁴ Но главным требованием Гитлера и Гиммлера стал фанатизм, а идеалом фанатизма постепенно сделался политкомиссар Красной Армии. В публичной и частной обстановке Гитлер теперь нападал на “прогнившие и упадочнические высшие сословия” или на “этот буржуазный сброд”, а Гиммлер недвусмысленно объявил, что преимущество “русского” является то, что у него есть “армия, политизированная до последнего кули, т. е. мировоззренчески обработанная и руководимая”.²⁵

Поэтому появились национал-социалистские руководящие офицеры, и если их позиции, конечно же, были несравнимы с теми, что занимали в Красной Армии политкомиссары вплоть до окончательного упразднения должности в октябре 1942 года, то Гитлер все-таки, очевидно, усматривал в них важнейший фактор по созданию “сообщества, совершенно сплоченного по мировоззрению”, в котором народу и вермахту предстояло слиться воедино. Поэтому он считал, что “интеллектуалы и ученые” на эту должность не годятся, поскольку они “никчемны и вредны”.²⁶ Глубокое личное уважение к Сталину (Сталин аналогичным образом уважал Гитлера, хотя это уважение имело другую основу) сочеталось у Гитлера с восхищением перед мировоззренческой мощью русских: только так можно объяснить, почему русские были названы “единственными по-настоящему великими противниками Германии”, ведь у России есть свое мировоззрение, а возглавляет ее несомненно значительный государственный деятель – сказал Гитлер в январе 1943 года в беседе с Антонеску.²⁷

Состоявшееся 20 июля 1944 года покушение Штауффенберга и раскрытие широко разветвленного заговора, ставшего причиной этого покушения и, несмотря на случайную неудачу в Волчьем Логове, все-таки кое-где (например, в Париже) приведшего к тяжелым последствиям, вызвало поток репрессий и инвектив, каковые не в последнюю очередь затронули носителей наиболее знаменитых фамилий в немецкой и прусской истории: Мольтке и Клейста, Йорка фон Вартенбурга и Трескова, фон дер Шуленбурга и Шверина, а, кроме того, те социальные силы, которым удалось выжить под прикрытием тоталитарного политического режима (самим или их ведущим представителям): высшую бюрократию и церкви, профсоюзы и партии. Если Сталин обычно все же расстреливал маршалов, командиров и генералов, сделавшихся в его глазах подозрительными, то Адольф Гитлер приказал повесить генерала-фельдмаршала фон Витцлебена и генералов фон Хазе, Штиффа и Хёпнера. И он не довольствовался наказанием одних лишь виновных. Кроме этого, он ввел судебную ответственность всех членов семьи за деяния одного его представителя и тем самым начал истребление целого социального слоя. Поэтому Гиммлер в речи на съезде гауляйтеров в Позене (Познань) 3 августа 1944 года заявил: “Семья графа Штауффенберга будет истреблена до последнего члена”.²⁸ Хотя Сталин и распорядился уничтожить в лагерях нескольких членов семьи Тухачевского, но все же такого истребления он никогда не устраивал и, во всяком случае, не требовал в речах. Поэтому Гиммлер счел, что есть повод оправдаться перед гаулейтерами от обвинений в большевистском характере таких действий: “Нет, не обижайтесь на меня за это, тут нет ничего большевистского, это очень старый метод, привычный для наших предков.”²⁹ Но он не извлек отсюда напрашивающегося вывода о том, что большевизм первым обратился к архаическим видам поведения, а национал-социализму теперь предстоит копировать большевиков. А кроме того, не посмел сделать этого напрашивавшегося вывода,

когда заявил, что Германия одержала победу на Западе, так как являлась "революционной" по сравнению с этими буржуазными государствами.³⁰ Выходит, большевизм должен был одержать победу над Германией оттого, что он представлял собой революционное движение по сравнению с национал-социализмом? Как бы там ни было, в этом духе можно было бы продолжить воззрения Роберта Лея, который в речи от 22 июля обрушился на "свиней с голубой кровью" и при большом одобрении потребовал, "чтобы революция вернула все, что они промотали".³¹ На тезис Власова и его немецких друзей о том, что Россию можно победить лишь Россией, должного внимания не обращали; так, значит, теперь надо сделать вывод, что большевизм можно одолеть лишь большевизмом?

Когда Гитлер в феврале-марте 1945 года вел последние беседы, впоследствии опубликованные под заглавием "Политическое завещание Гитлера", он впервые в жизни занялся серьезной самокритикой, и фактически она сводилась к формированию понятия наподобие "большевико-национализма". Немецкая политика в значительной степени делалась генералами и дипломатами, а они были "людьми вчерашнего дня" и "реакционными обывателями". Поэтому главная должна состоять в том, чтобы освободить французских рабочих и безжалостно вымести "закосневшую буржуазию, это "бессердечное и безродное отродье". В дальнейшем же Германии следует стремиться вызвать восстание исламских народов и освободить их.³² Однако же Гитлер забыл, что предложения такого рода уже делались и что он сам всегда отклонял их, так как принимал во внимание Муссолини и Петена. Да и разве сам он не взял сторону маршала Антонеску против "Железной гвардии"?

Как бы Гитлер ни стремился обрисовать контуры более радикального и революционного пути хотя бы ретроспективно, тем не менее в своих последних высказываниях в ближнем кругу и в публичных декларациях он не сумел скрыть, что наиболее сильные эмоции у него остались неизменными и в значительной степени направленными на еврейство - как на могущественную силу разложения "естественного порядка" - и на большевизм - как на чудовищную эпидемию.

Поэтому, как и прежде, он ставил себе в заслугу то, что ему удалось "проткнуть еврейский гнойник", поскольку эту войну больше, чем любую предыдущую, можно назвать "исключительно еврейской войной".³³ Когда после вторжения англоамериканцев в 1944 году до Гитлера дошли известия о том, что в Южной Франции провозгласили "власть Советов", он сказал, что эта коммунистическая волна распространится по всей территории Франции и войска англичан и американцев в конце концов окажутся заражены коммунизмом; нечто подобное якобы произошло в конце Первой мировой войны в Архангельске, а сегодня вся Франция населена совершенно недисциплинированными и склонными к большевизму людьми.³⁴ Но то, насколько живыми и значительными оставались воспоминания об окончании войны 1918 года и о гражданской войне в России,

он поразительнейшим образом признал в обсуждении положения на фронтах 1 февраля 1943 года. Тогда он предсказывал, что захваченные в Сталинграде в плен офицеры вскоре выступят по русскому радио в качестве пропагандистов и привел этому следующее обоснование: "Вы только представьте себе: его привозят в Москву, и представьте себе "клетку с крысами"! Тут он все и подпишет. Все признаёт, будет выступать с званиями." ³⁵ Прошрое, связанное с гражданской войной в России, которое между тем для всех остальных превратилось всего лишь в воспоминание, для Гитлера прошлым не было, и большевизм, маячивший у него перед глазами в облике сталинского национал-социалистического государства как достойный восхищения образец, все-таки являл собою ужасную картину распада и непостижимых зверств, с которыми столкнулось так много людей в Германии в 1920 году. ³⁶

Тут больше всего напрашивается мысль, что лишь немногие из его свиты были готовы всерьез воспринимать большевизм в качестве образца, но что ни у кого из них не было так много противоположных ощущений, как у него, и что это обрекало его на полное одиночество. Но поэтому Гитлер не признавал своей неправоты, и в конце февраля 1945 года он указал причину своего провала, которой до сих пор ни разу не называл: это уже не измена "старых" офицеров и не сопротивление "реакции", и даже не общественная система, до последнего момента препятствовавшая ведению действительно тотальной войны ³⁷, но немецкий народ как таковой, непостоянный и подверженный влияниям, как ни один народ мира, а в прошлом то и дело шарахавшийся из одной крайности в другую. ³⁸

В этом и состоял первый парадокс победы, которую Советский Союз одержал над Германией: в 1917 году Максим Горький упрекал Ленина и Троцкого за то, что они рассматривали русский народ лишь в качестве материала для собственных планов освобождения мира; напротив того, Адольф Гитлер чуть позже торжественно обещал, что будет служить германскому отечеству и только ему. Теперь же Гитлер упрекал немецкий народ за то, что он оказался плохим материалом, а Сталин прославлял русский, чью волю к самоутверждению — в противовес планам Гитлера и Розенберга — ему в конечном счете суждено было воплотить.

Второй парадокс следует видеть в том, что победа оказалась возможной лишь с помощью заклятого врага, англосаксонских великих капиталистических держав, и хотя эта помощь внесла непосредственный вклад в войну лишь на ее последней фазе, но их воздушные налеты и обильные поставки вооружения и продовольствия все-таки сыграли решающую роль.

Третий парадокс заключался в том, что Сталин сумел поставить к себе на службу в собственной стране и в странах союзников все те силы и симпатии, которые Ленин стремился полностью уничтожить, а Власов описал гораздо правильнее других: иными словами, в годы ужасных бедствий Сталин повел свой режим по пути государственного или нацио-

нального социализма, тогда как Гитлер смог сделать лишь несколько шагов по противоположному пути к большей социальной радикальности, потому что в Германии не существовало той самой массы большевиконационалистских фанатиков, которые фигурировали в постулате, да и не могло существовать спустя пять лет после начала войны.

Поэтому германо-советская война стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны, но она недостаточно и неправильно будет понята в качестве войны между большевизмом и национал-социализмом, так как при этом не учитываются изменения, каковым подверглись обе партии и оба режима. Однако же последнюю констатацию необходимо облечь в форму вопроса, ибо она связана с самым загадочным из всех решений Гитлера.

Разумеется, начиная с лета 1943 года, Советская Армия одерживала все новые победы, крупнейшей из которых стал разгром группы армий "Центр" в июне/июле 1944 года. Но еще в декабре 1944 года германские армии стояли на Висле, а в Восточной Пруссии советским дивизиям удалось лишь временный прорыв, вызвавший, однако, безудержную панику среди восточных немцев, так как им казалось, будто он свидетельствовал о том, что русские и на самом деле начали поход с целью уничтожения всех немцев и мести.³⁹ Исходным пунктом для нового наступления должно было, несомненно, стать предмостное укрепление Баранов к югу от Варшавы. В то же время американцы и англичане продвинулись до западной границы рейха. Тогда Гитлер собрал последние резервы и начал свое последнее наступление, но не против советского плацдарма, а против позиций союзников в Бельгии. Наступление в Арденнах, нацеленное в конечном счете на Антверпен, как на крупный порт по снабжению, поначалу было столь успешным, что Гитлер сказал своим генералам, что Германия в два счета справится с каждым из трех противников.⁴⁰ Но Эйзенхауэр сумел быстро справиться с контрнаступлением, и по просьбе Черчилля и Рузвельта советское наступление началось уже 12 января, так как у Гитлера больше не осталось резервов, которые он мог бы бросить против советских войск, и советские войска прошли путь до Берлина примерно за столь же короткое время, за какое в 1941 году германские армии дошли от границы до близких подступов к Москве. И чего не сделали японцы в 1941 году, то теперь осуществили американцы и англичане: они продвинулись с другой стороны по направлению к столице противника. Кое-что говорит в пользу того, что Гитлер начал наступление в Арденнах из-за того, что надеялся склонить западных союзников к заключению мира. Фактически Сталин вплоть до дней самоубийства Гитлера и взятия Берлина считал возможным направленное против него соглашение между Германией и США. В последние недели войны Гиммлер совершенно однозначно проявил себя в качестве западника, каким он всегда и был в глубине души. Геббельс же, напротив того, вроде бы стремился к соглашению с Советским Союзом. Поэтому неясно, что же повлияло на по-

следние решения и мысли Гитлера. Несомненно, Германию разделили бы на оккупационные зоны даже в том случае, если бы Гитлер решился на наступление на Барановском плацдарме, а не в Арденнах. Неправдоподобно, что американцы, полагавшие, что им необходима советская помощь в борьбе с Японией, после оккупации Германии согласились бы выполнить пожелания Черчилля, нарушив соглашение от 1944 года о разделении Германии на оккупационные зоны. Но население Восточной Германии избежало бы страшной судьбы, обрушившейся на него не только в бесчинствах красноармейцев и разрушительных налетах авиации союзников на Дрезден, но и вследствие ошибок и упущений германского партийно-правительственного аппарата. Тем не менее Гитлер сказал своему министру вооружения Альберту Шпееру, когда тот пробовал уговорить его отказаться от приказа оставлять за собой выжженную землю, который в точности соответствовал сталинскому приказу 1941 года "Ни шагу назад!", с той лишь разницей, что у Германии не оставалось территории, куда можно было что-либо эвакуировать: "Когда война проиграна, пусть погибнет и народ. Нет необходимости уделять внимание принципам, которые позволят немецкому народу продолжать примитивнейшее существование... Ведь этот народ доказал, что он слабейший, а будущее принадлежит исключительно более сильному восточному народу."⁴¹ Это высказывание хорошо согласуется с аналогичными высказываниями, в том числе — и с только что процитированными, и оно указывает как минимум на то, что для Адольфа Гитлера в конце его жизни прежний жупел превратился в подлинный — теперь уже недостижимый — идеал, пусть даже согласующийся с шовинистическим (*völkisch*) мировоззрением, каковое невозможно назвать идеологией. Но все-таки он несомненно не перестал ненавидеть большевизм. Впрочем, это был лишь один парадокс из многих, и одно противоречие среди многих. Рассматриваемая эпоха была полна парадоксов и противоречий, но в Гитлере и в его национал-социализме они сконцентрировались сильнее, чем в любой другой фигуре и в любом другом феномене XX века.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Большевизм и национал-социализм в европейской

гражданской войне эпохи фашизма

Если в заключение мы кратко выразим ту точку зрения, которая направляла повествование с самого начала – точку зрения конца восьмидесятых годов и западной страны, – и если в соответствии с ней мы попробуем обозначить место в рамках современного исторического процесса для европейской гражданской войны, каковую – по ее наиболее характерному феномену – следует называть войной эпохи фашизма, то прежде всего нам следует констатировать положения, относительно коих направлявший русскую революцию большевизм с его важнейшими доктринами оказался неправым: буржуазия не была умирающим классом; капитализм не был застойной и гнивающей системой; средние слои не пополнили ряды пролетариата; рабочие в капиталистических странах не обнищали; вооруженное восстание не произошло ни в одной из этих стран; возможности развития капитализма ни в коей мере не исчерпаны; а ориентированная на потребление, свободная жизнь масс в западных странах – по сравнению с убожеством и закоснелостью отношений в восточных странах – служат завидным идеалом почти для всех людей, имеющих возможность сравнивать. Однако столь же верно, что многое из того, что в 1918 году считалось в высшей степени большевистским, теперь само собой разумеется: мир настолько сплотился, что в конце Первой мировой войны этого невозможно было вообразить; колониальные народы Азии и Африки вышли на арену мировой истории; эмансипация женщин сделала большие успехи почти во всем мире; рабочие партии возглавляют правительство во многих странах – в том числе и в таких, где много партий; налоговые ставки достигли такого уровня, который еще в 1930 году считался бы конфискацией. Итак, с некоторых точек зрения западное общество пролетаризировалось в такой же степени, в какой в целом оно стало среднесловным. ✓

Но характерные заострения этих истин и тенденций (сами по себе они гораздо старше, чем партия большевиков) тоже не сбылись: пограничные столбы никоим образом не исчезли так, как это представлялось технократическому универсализму Радека и Троцкого; государственная свобода бывших колониальных народов не исключает экономической зависимости; эмансипация женщин не привела к равномерному распределению мужчин и женщин по властным позициям, и притом в социалистических государствах – меньше всего; рабочие партии пришли к мысли о том, что они могут эффективно представлять интересы рабочих лишь тогда, когда они являются лишь частью целого, но не самим целым, ибо то, что едино-

властная рабочая партия означает максимум господства над рабочими и массой населения, стало слишком очевидным на примере правящих коммунистических партий, и особенно КПСС.

Однако же если большевизм спустя столько лет после Первой мировой войны столь своеобразно перемешал правоту с неправотой, то контрдвижение, стремившееся сравняться с ним по воинственности и решительности, не могло быть с самого начала совершенно неправым. Так, Муссолини был абсолютно прав, когда в 1922 году сказал, что капитализм — не отжившая, а весьма перспективная система¹, которой суждено развиваться еще долгие десятилетия. Адольф Гитлер совершенно справедливо повторял, что перенос советского коммунизма на германскую почву натолкнется на непреодолимое сопротивление и что его движение служит наиболее значительным симптомом этого сопротивления. До самого начала войны, а в определенных отношениях — и до ее конца, жизнь в национал-социалистской Германии по сравнению с жизнью в Советском Союзе была гораздо ближе к плюралистической системе западных демократий. Когда профессор Курт Хубер, наставник студентов из организации “Белая роза”, защищаясь от обвинений народного суда, произнес фразу о том, что режим обречен, так как родители уже не могут ощущать себя в безопасности от собственных детей, — он, видимо, знал, что в Советском Союзе дети, доносившие на своих родителей властям и тем самым обрекавшие их на смерть, уже давно почитались в качестве национальных героев.²

Но это пока еще наличествовавшее сходство с западными демократиями уже давно становилось все меньше и меньше, ибо государственное руководство все больше считало его недостатком; кроме того, в идеологии национал-социализма решительно отрицалось то, что уже давно присутствовало в качестве долгосрочной тенденции как раз на Западе и оказалось заимствовано коммунизмом: следовательно, стремление к мировому господству германского или арийского человека было не чем иным, как прочной фиксацией европейского господства в мире, каковое проявило тенденцию к самоупразднению, так как распространило во всем мире идеи и процессы, приведшие в Европе к экспорту промышленной революции за пределы Англии и к образованию национальных государств из прежде зависимых или раздробленных областей. Что же касается борьбы с евреями, то она объяснялась именно тем, что ради того, чтобы спасти мир от двух зол, надо было бороться с большевистскими притязаниями на спасение мира и с западным упадничеством, а общую причину этих зол национал-социализм видел в еврейском народе. Поскольку же национал-социализм представлял собой идеологию и учение о спасении мира, он обрушивался с нападками на то, что фактически являлось общим для Запада и большевизма, например, на принципиальный пацифизм, которому он противопоставлял прославление войны как таковой. Эта точка зрения была особенно неправильной, так как национал-социализм тем самым

прямо-таки спровоцировал создание мировой коалиции против Германии, коалиции, нанесшей Германии поражение в Первой мировой войне.

Но не в этом заключалась суть тенденции к саморазрушению, которую зачастую выводят *post factum* из самого поражения Германии. Хотя Гитлер со своей специфической внешнеполитической концепцией потерпел крах еще в 1939 году, но ситуация по сравнению с Первой мировой войной все-таки изменилась столь значительно, что в 1941 году Германия входила в союз с Японией, второй мировой державой, и нанесла сокрушительное поражение бывшей мировой державе Франции. Германия как господствующая держава Европы и Япония ни в коей мере не уступали Советскому Союзу и Англии и по промышленному потенциалу, и если бы они скоординировали свои планы с намерением установить нейтралитет США в этой войне, то весьма вероятно, что они одержали бы победу к концу 1941 года.³ Но та раса господ, что, будучи взращенной в соответствии с максимой “выносливые (упругие) как кожа, жесткие как крупновская сталь и проворные как ищейки”, должна была господствовать на бескрайних просторах Востока над туземцами, чья безграмотность поддерживалась бы искусственно,⁴ — изменила бы и отношения внутри старого рейха настолько, что этот великогерманский рейх сохранял бы отношения идентичности со старой Германией гораздо меньше, чем Советский Союз — с царской Россией. Воинствующий партикуляризм тех, кто стремился защитить Германию от посягательств большевизма ради того, чтобы относиться ко всем с одинаковой гуманностью, вообрал бы в себя в расовом государстве столько отменяющего все границы универсализма, что можно сказать, что он отличался бы от своей исходной точки гораздо больше, нежели Советский Союз, замышлявшийся как общечеловеческое государство, но очень быстро попавший в руки деятелей, которых Ленин охарактеризовал как “великорусских шовинистов”.⁵

Поэтому никогда не было “чистой гражданской войны”, начатой с “объявления гражданской войны” большевиками, той, которая могла сделаться актуальной после возникновения враждебной большевикам партии гражданской войны; эта гражданская война всегда сопрягалась с традициями и государственными реалиями, как сопрягалась с другими традициями и государственными реалиями первая европейская гражданская война современности, война эпохи Французской революции и Наполеона.

Поэтому, судя по всему, правота и неправота обеих сторон были тесно связаны, и приписать неправоту национал-социализму, как и фашизму вообще, можно было бы лишь при двух условиях.

Можно вообразить, что мировая революция пролетариата в 1918 и 1919 году была объективно возможна и что она потерпела крах, особенно в Германии, попросту из-за предательства социал-демократов и жестокого сопротивления добровольческого корпуса, этого важнейшего предшественника национал-социализма. Без этих катастрофических событий мировой социализм якобы свершился бы как гармоничное, свободное от

межклассовых различий и государственных границ сосуществование всех людей, от которого мир весьма далек и по сей день.⁶ Но очевидно, что речь здесь идет о фантазии, конкретизирующей некое предельное понятие и поэтому персонализирующей сопротивление реальности, а именно – военных поставщиков, капиталистов или мелких буржуа.

Не исключено, что мир в результате поражения автократий стал – согласно знаменитой фразе Вудро Вильсона – настолько “готовым для демократии”, что захват власти большевиками и его влияние могли бы не представлять никакой опасности и что, наоборот, революционная мощь вестернизации привела бы к демократическим преобразованиям и в Советском Союзе в ходе более полного развития торговых отношений и прочих контактов. Следовательно, для национал-социализма и фашизма могло вообще не возникнуть никаких внутренних обоснований, и их можно было бы считать всего лишь пагубными откатами в додемократическую ситуацию.

В этой точке зрения столь много правоты, конечно же, потому, что система западной демократии и соответствующая ей экономическая система мирового рыночного хозяйства были далеко не так ослаблены и далеко не до такой степени подошли к пределам своих возможностей, как считали большевики. Но исторические исследования показывают, что опасность или по крайней мере ощущение опасности в обширных и активных слоях населения всех европейских стран и даже в США были сильными, а в Германии и Италии – очень сильными, что доказывает уже паника с “red scare” [“красной опасностью”].⁷ Ведь их противник то и дело и с большим пафосом утверждал, что он истребит европейскую и даже мировую буржуазию. Но буржуазия эта не была кучкой финансистов и крупных предпринимателей. Она включала в себя всех, кто ощущал себя в опасности в случае, если эта небольшая группа подвергнется экспроприации; и она нашла поддержку со стороны всех, кто считал фундаментальное преобразование сложных отношений в промышленности в высшей степени опасной операцией.

В США эти средние слои уже по мнению Токвиля и Джона Стюарта Милля были тождественны нации, поскольку каждый стремился к ним принадлежать и мог когда-нибудь добиться этого; следовательно, идея ниспровергнуть или упразднить их была нереальной. В Англии и Франции эти слои не обладали такой численностью, но эти нации победили в войне. Германия же и до известной степени Италия находились в иной ситуации, и в Италии в первую очередь к единовластию пришла партия нового типа, стремившая стать не только партией воинствующего антикоммунизма, но и принципиально антидемократической, т. е. антилиберальной. Между тем сам Муссолини не выдвигал притязаний на то, что лишь победа его партии помешала триумфу вооруженных коммунистов, и до 1933 года никто, можно сказать, не утверждал, что Италия перестала быть составной частью европейской системы государств. Однако на Гер-

манию опустилась сильнее всего мощная тень российских событий, а в России буржуазия была гораздо слабее, чем в Западной и Центральной Европе, и из-за военных событий она попала в ситуацию, благоприятствовавшую захвату власти наиболее враждебной к ней партией. Последствия русской революции – пусть даже не без пропагандистских преувеличений – в Германии получили большую известность, чем в любой другой стране мира, и было бы в высшей степени удивительно, если бы мощное контрдвижение развилось не здесь. Однако же победа его также не была неизбежной, хотя и гораздо менее случайной в том смысле, что Гитлера к власти привели исключительно интриги немногочисленной клики политиков и предпринимателей. Дело в том, что, прежде всего, Гитлер мог утверждать, находя веру в этот тезис далеко за пределами Германии, что лишь его приход к власти воспрепятствовал победе коммунизма. Вместе с тем, еще меньше неизбежности было в том, чтобы Гитлер и его движение воспользовались неким ключом для того, чтобы превратить свою антикоммунистическую ангажированность в идеологию, полностью противопоставленную идеологии врага и все-таки соответствующую ей по всеохватным притязаниям.⁸ Несмотря на это, приход к власти Гитлера и последующее установление однопартийного режима свидетельствовали о многом, например, о том, что Ленин со своей верой в то, что наступила эпоха мировой революции был неправ, – а также о том, что Вильсон впал в тяжелое заблуждение, считая, что мир в целом “готов для демократии”. Более того, к 1933 году невозможно было не увидеть, что Зиновьев в 1922 году ненароком сказал правду (наверное, не уяснив последствий своего высказывания): мир вступил в “эпоху фашизма”.⁹ С приходом к власти второй и более радикальной партии фашистского типа в одном из крупнейших государств Европы стало в высшей степени вероятным, что теперь важнейшие инициативы будут выдвигаться лишь этой стороной, а Советский Союз – если он будет стремиться к выживанию – обязательно примкнет к реагирующим, антиревизионистским государствам.

Между тем с точки зрения современности и той страны света, где нет необходимости идентифицировать себя с государственной властью, недостаточным было бы указывать на Первую мировую войну как на непосредственную основную причину большевизма и фашизма, равно как и взвешивать их взаимную правоту и неправоту; следует еще и констатировать, что у обоих явлений были глубокие корни в обществе, сформировавшемся в Европе на протяжении нескольких столетий, которое можно назвать обществом продуктивных различий, т. е. различий государственных, межклассовых, региональных и межпартийных, каковые не выстраиваются в ряд неподвижно, но в состоянии взаимно преобразовывать друг друга и благодаря этому ускорять развитие друг друга.

С тех пор, как на основании еще более стародавних предпосылок на заполненной многочисленными государствами территории Западной Европы Реформация пробила беспрецедентную брешь в прежнем единстве

христианства, друг против друга обратились прежде всего религиозные партии; уничтожить друг друга им удалось лишь в нескольких государствах или регионах, и в конце концов – несмотря на непрекращающиеся сражения – им пришлось взаимно признать друг друга. Из сравнения несовместимых между собой догматов веры различных конфессий и из протеста против межконфессиональных боев на уничтожение возникло раннее Просвещение, а Просвещение в полном смысле слова не в последнюю очередь означало преобразование этих религиозных партий в политические, поначалу ведущие лишь идеальное существование. Уже в середине XVIII века сформировалась крайне левая партия, проводившая безжалостную критику условий тогдашней жизни, и наиболее известным ее представителем считался Руссо; противостояла же ей крайне правая партия защитников старого режима, которая ни в коей мере не ограничивалась поддержкой правительств, но еще и умело используя новые средства коммуникации – газеты и журналы – призывала к более решительному сопротивлению разрушительным тенденциям. Между ними образовалась партия середины, ощущавшая фанатизм с обеих сторон и пытавшаяся развивать секулярную цивилизацию, столь же несовместимую с анафемами и сожжениями книг, характерными для старого режима, как и с порывом сторонников Руссо построить чистое и добродетельное общество по образцу Римской республики или еще более отдаленных времен.

Казалось, что эта партия середины, которая могла сослаться на Вольтера, одержала триумф в 1789 году, когда началась Французская революция, – однако уже спустя три года ей угрожала истреблением и другая, более радикальная революция и партия правых роялистов. Парижские санкюлоты под предводительством якобинцев, таких, как Робеспьер и Сен-Жюст, пытались основать эгалитарную республику справедливости, стремясь отправить на эшафот не только всю аристократическую порочность, но и всю современную сложность. 1793 и 1794 годы знаменовали собой господство секуляризованных богоборцев, идеологов равенства и фанатиков справедливости, произведших на всю Европу непреходящее впечатление, которое почти повсюду привело к тому, что этих идеологов стали – смотря по обстоятельствам – считать солью земли либо проклятием мира. И теперь просветители повсюду обрушились на то, что представлялось им крайними следствиями Просвещения, но тем не менее по своей нетерпимости очень напоминало все, с чем Просвещение боролось с незапамятных времен.¹⁰ Но победа Робеспьера оказалась непрочной, натиск крайне левых как бы выдохся; самодостаточная и неизменная в своей справедливости республика равенства в том виде, как после свержения Робеспьера ее стремился установить Бабеф, не была реализована; многообразие, возможность сравнивать, усложненность, хотя при этом и несправедливость¹¹, сохранились благодаря и вопреки Наполеону, так что даже крайне левые не подверглись истреблению, и их деятельность вновь развернулась в эпоху Реставрации.

То, что взаимодействие индивидуалистической критики и самоутверждения правительств, ориентации на прошлое и проектов будущего, крайне правых и крайне левых может представлять собой нечто позитивное даже при существенном ослаблении “*juste milieu*” [“справедливой середины»] и наделять систему своеобразной динамикой, с давних пор было ясно не для всех современников, которые все-таки часто выдвигали противоречившие друг другу идеалы с тем, чтобы избежать постоянной смуты или ликвидации этой системы; однако же к концу XIX века стало почти неоспоримым, что мирное улаживание противоречий в парламентских или конституционных системах крупных культурных государств является подлинной сущностью современности, постепенно распространявшейся и на менее развитые регионы земного шара. Тем не менее под уверенностью в будущем и оптимизмом скрывалось значительное беспокойство, так как крайне левые в обличье марксистского рабочего движения добились прежде невиданной силы и многочисленности, а на противоположном фланге старая критика цивилизации приняла новые и более радикальные формы, в том числе – антисемитизм, который имел как левые, так и правые корни, а также отрицал наиболее трудноразрешимое из всех продуктивных различий рассматриваемого общества: мирное сосуществование евреев и “христиан”, мирное сосуществование, поставленное под вопрос и движением сионизма.

Но все-таки к началу 1914 года ничто не указывало на то, что рабочее движение в каком-нибудь из государств Европы сможет насильственным путем или с помощью всеобщей политической забастовки захватить власть, ибо в рамках этого движения уже давно сформировались правые синдикалисты, которые как будто бы расстались с марксизмом. Еще меньше шансов на захват власти было у крайне правых, по мнению которых даже германский кайзер слишком уж много договаривался со своими противниками.

Однако же в тех частях земного шара, которые не причислялись или частично относились к парламентским и конституционным культурным государствам, наметились своеобразные процессы. Правда, в Англии господствовало представление о том, что в ходе длительного исторического процесса институты метрополии можно перенести и на не англосаксонские части империи, особенно на Индию. Но Египет уже в течение первой половины XIX века продемонстрировал, что модернизирующие реформы могут осуществляться абсолютным властителем, в данном случае – Мехмедом Али; в Турции во вторую половину XIX века значительный ряд глубоких реформ, направленных к европеизации – так называемая реорганизация (*танзимат*) – ни в коей мере не повлекла за собой образование парламента, а спустя несколько лет после начала мировой войны революция младотурков дала повод предположить, что не самодержавные деспоты, а партии нового типа, состоящие из офицеров и интеллектуалов, могут провести реформы для того, чтобы отсталые страны оказались в

состоянии утвердить свою независимость и собственные возможности развития против чрезмерного влияния европейских стран. Процесс опять-таки иного типа наметился в России, где премьер-министр Столыпин начал аграрную революцию, упразднившую традиционный коллективизм, тогда как крупная промышленность стремительно развивалась за счет мощных государственных ассигнований. Выходит, что на значительных территориях земного шара происходила модернизация, основой которой не была ее европейская предпосылка, общество продуктивных различий, – и из-за отсутствия разделения властей, на взгляд среднего либерала, ее можно назвать реакционной?

Поэтому хотя голос Розы Люксембург и звучал в полном одиночестве, но посреди чуть ли не всеобщего одобрения войны она снова высказала основную эмоцию эгалитарных идеологов, борцов за равенство и абсолютную справедливость, и после бессодержательной риторики предвоенного времени эта эмоция прозвучала тем достовернее: «Для меня на земле нет ничего выше и святее всемирного братания рабочих, это моя путеводная звезда, мой идеал, мое отечество; скорее я откажусь от собственной жизни, нежели предам этот идеал». ¹² Но как раз поэтому казалось особенно недостойным, что социал-демократическая фракция с ее одобрением мероприятий возмездия за поведение англичан, противоречащих международному праву, постулировала «убиение невинных». ¹³ Несомненно, что и ведущая группа большевиков, Ленин, Троцкий, Зиновьев и Радек, ощущали нечто подобное; они ощущали себя подлинными идеологами равенства, идущими по стопам стародавней традиции, и стремились очистить мир от всяческого зла и несправедливости. В то же время они были исполнены энтузиазмом грядущего всемирного единства, которому – по их убеждению – можно было противопоставить всего-навсего ограниченность. Но – вслед за ранним рабочим движением – ведущие большевики недооценивали цивилизацию европейских культурных государств, видя в ней всего лишь капитализм, – а к власти они пришли благодаря тому, что сумели обострить безвластие, которое возникло просто в результате войны и потому имело мало общего с той критикой власти, посредством коей европейские левые издавна старались обратить на себя внимание. Тем самым большевики, ведя безжалостную борьбу за самоутверждение в качестве единственной власти, возвели в принцип то самое «убиение невинных», в котором они обвиняли целые классы.

Не меньше бросалось в глаза, что уже в очень ранний период большевики делали особый упор на слово власть и что после крушения первых надежд на скорейшую победу мировой революции они стремились поставить эту власть на службу развития отсталой страны. Следовательно, они приписывали себе ту же роль, на какую претендовали младотюрки, но понимали они ее не как путь к европейской цивилизации, а как метод разрушения этой дурной и грабительской цивилизации. А значит, с точки зрения русской традиции большевики были скорее славянофилами, чем

западниками, поскольку все цели, которые не могли привести к освобождению и спасению всего мира, они считали ничтожными.¹⁴ Итак, фанатики справедливости были одновременно и ангелами милости, и политиками, осуществлявшими развитие, — но не такими, какими им полагалось быть согласно марксистской теории. Получается, что изначальное злоупотребление древнейшей из всех социальных религий сочеталось с готовностью к применению даже чрезмерных средств, способствующих сохранению власти, а также с волей взять на себя ответственность за развитие страны, с волей, подразумевавшей отказ от продуктивных различий в рамках Либеральной Системы, которая даже в годы войны не была сосредоточена исключительно на выполнении одной-единственной задачи. И, будучи весьма своеобразной структурой, это конкретное государство все-таки могло рассчитывать на сверхнациональную лояльность, о которой Клара Цеткин поразительно высказалась в 1920 году.¹⁵

Был ли когда-нибудь брошен вызов такого масштаба национальным и культурным государствам Европы, по-прежнему остававшимся образцом для мирового развития? Обязательное возникновение контрдвижения и пропаганда ответа тоже имели исторические корни, и Эдмунд Берк по отношению к Французской революции испытывал тот же страх, сопряженный с чувством превосходства, каким по отношению к большевизму теперь недолгое время был охвачен Томас Манн и какой Адольф Гитлер надолго сохранил в качестве основной эмоции.¹⁶ Но Гитлер, Альфред Розенберг и Генрих Гиммлер по своему происхождению были не идеологами, а художниками, либеральными представителями свободных профессий; мелкими буржуа, встревоженными и ошарашенными ужасными событиями; они искали ответов и возмущались нерешительностью правительств. И хотя то, что они ставили Германию в центр своих мыслей и ощущений, подвергало опасности выполнение их ближайшей исторической задачи, состоявшей в преодолении идеи национального государства и в объединении Европы, — это не было удивительным в эпоху, которая по-прежнему оставалась эпохой национализма. То, что вопреки этому они считали себя европейскими буржуа, вероятно, было непоследовательным и не могло считаться неприкосновенной максимой, — но тем самым они все-таки принимали сторону исторической правоты, еще обеспечившей этому наднациональному классу исполненное значения будущее. Но решающим стало лишь то, что из своего изначального опыта и основной эмоции они вывели требование стать столь же консервативными и безжалостными, как противник, и даже еще консервативнее и безжалостнее. Только благодаря этому они сделались идеологами, и как раз потому они нападали на те различия, на коих до сих пор зиждилась история Европы, как на вредные.

То, что первый повод для растерянности состоял не в чем ином, как в обострении утраты офицерской власти (Гитлер и Гиммлер называли это большевизмом и декларировали при каждом удобном случае), и даже в

1944 году Гитлер выразился совершенно в том же духе, как Герман Геринг в 1933: “НАС разгромили солдатские советы, НАМ они сломали знамя, а МЫ должны это терпеть”.¹⁷ Но следующим выводом, который Гиммлер из этого извлек, стало уже отрицание концепции не тоталитарного общества, делающего различие между непримиримыми врагами и все-таки использующего их ради собственного различия¹⁸ – т. е. Гиммлер заимствовал ленинский лозунг “Кто – кого”: “В борьбе с недочеловеками все зависит от того, что это недочеловечество никогда не доходит до осуществления террора. Теория всех революций, и притом всех революций, производимых недочеловеками, состоит в следующем: кого первым приперли к стенке, тот и погиб – пощады не будет. И прежде всего погибла вся буржуазия, да и крестьяне в деревнях беззащитны, особенно в современном государстве.”¹⁹ Однако же Гиммлер, очевидно, не только имел в виду здесь Ноябрьскую революцию и большевизм как обострение утраты офицерской власти, но – как показывает упоминание беспомощности крестьян в современном государстве – ему представлялось, будто большевизм означает установление новой и гораздо более мощной власти. К тому же он, должно быть, опять-таки имел в виду Советский Союз, когда сделал наиболее саморазоблачительное из всех своих высказываний, стремясь оправдать истребление евреев – поскольку из одного лишь опыта распада Германской империи и даже Мюнхенской Советской республики его невозможно вывести: “У нас было моральное право, нашей обязанностью по отношению к нашему народу было уничтожение того народа, который стремился уничтожить нас.”²⁰

Фактическое положение вещей, скрытое за этим высказыванием, состоит в том, что партия большевиков действительно начала ниспровержение мировой буржуазии. Правильным было также и то, что от ниспровержения российской буржуазии оставалось не так уж далеко и до полного ее истребления. Самим по себе доказательным и ни в коей мере не безосновательным оказалось и то, что Гиммлер – подобно бесчисленному множеству других мелких буржуа и квалифицированных рабочих – вопреки ожиданиям большевиков занял скорее сторону мировой буржуазии, нежели сторону трудящихся масс. А раз это так произошло, то описываемую эпоху можно назвать эпохой фашизма и европейской гражданской войны. Но именно из-за этого пришлось поступиться системным превосходством, состоявшим в отказе от копирования противника и в том, что этот отказ позволял сохранять продуктивность различий и возможность сравнения, которые способствуют как прогрессу, так и его критике. И если бы такой фашизм утвердился на всем Западе, то, пожалуй, на столетия бы фактически застопорилось то историческое развитие, которое началось в одной из частей Европы и теперь в измененном обличье вышло за пределы Запада. Однако же, наиболее серьезная историческая и одновременно моральная неправота фашизма заключалась в том, что крупные столкновения между классами и культурами понимались как смертельная

борьба между двумя народами, немцами и евреями. Полной правдой было то, что вследствие особых условий и обстоятельств слишком уж много евреев (которые между тем уже не рассматривались в качестве евреев) участвовало в русской революции. Но ведь очень много других евреев эта самая революция убила, лишила прав и изгнала в эмиграцию; сталинская "большая чистка" едва ли так сильно коснулась какой-либо другой группы населения, как коммунистов-евреев. К тому же и евреи на Западе по своему партийному положению были столь же дифференцированы, как и общество, где они жили. Когда Гитлер и Гиммлер возложили на евреев ответственность за процесс, повергший их в панику, они направили изначальный проект уничтожения большевиков в новое русло и по чудовищности своих деяний превзошли большевиков, этих настоящих идеологов, заменив социальный принцип биологическим.²¹

Разумеется, заранее было вполне допустимо, что оба режима будут развиваться без односторонней или взаимной причинно-следственной связи, что каждый будет развиваться по собственным законам и, следовательно, между ними можно будет находить лишь параллели. Можно сформировать идеальный тип такого режима, при котором большевизм будет проявляться в виде одностороннего обособления и акцентирования социальной и индустриальной тенденций в западных государствах, как исключительная концентрация на тех задачах развития, которые на Западе решаются как бы подкожно. Отсюда можно было бы вывести экспроприацию, изгнание или даже физическое истребление прослойки, до сих пор руководившей обществом. Аналогичным образом можно представить идеальный тип фашизма, который, по существу режима, должен подчеркивать концентрацию исключительно на задаче государственного самоутверждения и нового подъема государства после поражения. Отсюда можно вывести радикальные меры против сторонников иностранных держав, против анархистов и радикальных пацифистов, — и при таком режиме, наличествовали бы концентрационные лагеря и, вероятно, даже массовые расстрелы. Но в таких идеальных типах большевизм описывался бы как попросту диктатура развития, а фашистские режимы представляли бы в виде всего лишь национальных диктатур. Исчезли бы вселенские притязания и чрезмерный энтузиазм большевизма, но исчезли бы и подлинные намерения радикального фашизма, обоснование германского мирового господства и истребление евреев как опаснейших врагов этого мирового господства. Разумеется, можно выдвинуть тезис и о том, что Гитлер, его национал-социалисты и все немцы вообще пошли бы на Москву и учредили бы концентрационные лагеря даже в том случае, если бы в Петрограде правили преемники Керенского, Милюкова и Мартова, — но этот тезис был бы необоснованным.

Ничто не дает права предположить, что достойные упоминания силы в немецком обществе, включая значительную часть НСДАП, до 1933 года и еще долго после 1933 года планировали что-либо, кроме восстановления

границ на 1914 год и максимум – воссоединения с Австрией. Все страсти, касающиеся спасения мира; вся чрезмерность представлений о германском или арийском или же от навсегда защищенном от подрыва расистском государстве; весь страх перед гибелью цивилизации прежде всего следует рассматривать как воплощенный в победоносных московских и петроградских идеологах равенства отблеск более изначальных упований на спасение мира, более всеохватного стремления к отмене государственных границ, более радикальной воли к переменам. Вся история периода между мировыми войнами превратится попросту в конструкцию историков, где серьезное будет объявлено несерьезным, основные мотивы – отговорками, страхи – химерами, если не считать, что жупел национал-социалистов возник из подлинного страха, и если бы он не проявлял тенденцию к превращению в собственный образец и тем самым – опять-таки в жупел для тех, кто первыми этот страх вызвали. Уже в декабре 1918 года “Форвертс” не без определенного понимания писал о том, что давление порождает встречное давление и что ко многим людям может прийти мысль бороться с “Союзом Спартака спартаковскими средствами”.²² Автор этой статьи, несомненно, был бы весьма удивлен, если бы ему кто-нибудь возразил, что между двумя феноменами нет причинно-следственной связи.

Внутреннее сопротивление, порождаемое такой простой и убедительной характеристикой, вероятно, основано на предположении, будто в понятии причинно-следственной связи выражается необходимость некоего отношения и полнота объяснения, так что в конечном счете получается даже что-то вроде морального оправдания поступка, связанного с другим событием причинно-следственной связью. Такая точка зрения неверна. Если в небольшом городке один человек застрелил другого, а потом отказался давать показания, то население сначала будет говорить о загадочном и непостижимом поступке. Если же при дальнейшем расследовании выясняется, что убитый застрелил друга убийцы и угрожал убить и его, то обнаруживается причинно-следственная связь, делающая поступок объяснимым. В зависимости от причин первого поступка и от характера угроз поступок можно даже понять. Однако же если впоследствии будет установлено, что предположение убийцы о том, будто убитый совершил первый поступок, основано лишь на косвенных уликах, то причинно-следственная связь сохранится, но примет совершенно иной характер. И опять-таки иной оборот примет ситуация, если будет доказано, что убитый был всего-навсего другом первого убийцы и что поступок мнимого мстителя основывался только на предположении. Существование причинно-следственной связи, однако, следует полностью отрицать лишь в том случае, если первое убийство вообще не имело места, а преступник руководствовался одними лишь фантазиями или даже попросту жадной убийства. Тем не менее неизбежным и оправданным его поступок не назовешь даже тогда, когда одна из альтернатив, несомненно, соответство-

вала действительности; ведь множество других людей в сравнимых ситуациях не берут инициативу на себя, а обращаются в суды.

Привести пример, указывающий на связь между архипелагом ГУЛАГ, властью комиссаров и Освенцимом, легко, хотя в межгосударственных отношениях место суда может занимать лишь некое сообщество государств и хотя не бывает таких коллективных преступников, которых можно было бы наказать коллективным вменением в вину или коллективным отмищением. Моральное оправдание совсем непохоже на ложь и еще меньше похоже на убийство, и тем более — на массовое убийство. Но кто порицает лишь одну ложь и одно убийство, а другую ложь и другое убийство обходит молчанием, тот действует в высшей степени аморально. А кто представленный в этой книге результат объявит предпосылкой — и не более того; кто будет опровергать причинно-следственную связь с более ранними событиями, хотя она устанавливается уже при простейших дополнительных исследованиях, тот погрешит против элементарнейшего долга не только историка, но и любого мыслящего человека.

Ярость сопротивления, возбуждаемого представленным тезисом о том, что архипелаг ГУЛАГ возник раньше Освенцима и что между ними существует причинно-следственная связь, в конечном счете следует объяснять лишь политическими мотивами, дающими повод для политических инсинуаций. Кое-кто считает, что этот тезис и его доказательство препятствуют достохвальному мирному сосуществованию между мировыми державами и мешают дальнейшему продвижению по направлению к мирному сосуществованию человечества, чья численность достигла угрожающих размеров на планете, которая стала маленькой. Но настоящую угрозу для этих желанных процессов представляют утверждения, будто на земном шаре существуют только два лагеря, и лишь один из них способен достичь мира и желает его, а другой, олицетворяя собой мировое зло, якобы стремится к обострению всех конфликтов, а в конечном счете — к мировому господству. Это утверждение у обеих сверхдержав и даже в сфере советского влияния бывает и не без самокритики.²³ Как в одном, так и в другом случае оно не является беспочвенным: подверженность кризисам индивидуалистической и децентрализованной — вопреки всем крупным предприятиям — системы порождает конфликты и внутри ее, и за ее пределами; притязания идеологической системы на исключительную легитимность могут слишком легко в один прекрасный день привести к катастрофе.

Но растущее понимание простых истин противодействует этим фактам и тенденциям: не существует мирового зла, от которого мир надо исцелять; реальный социализм есть некое предельное понятие, которому никогда не может соответствовать какая-либо действительность; между полюсами чисто государственной экономики и “манчестерского” капитализма, т. е. беспредельно частного хозяйства, существует бесчисленное множество оттенков, каковые надо непрестанно выверять; государства и

культуры непрерывно утрачивают самодостаточность, но они не предназначены для превращения в просто человечество, говорящее на некоем эсперанто; формирующаяся глобальная система в целом должна иметь либеральный характер и проявлять продуктивные различия. Одним словом: мир должен непрерывно удаляться от “эпохи фашизма”, которая, будучи эпохой европейской гражданской войны, а в конечном счете – и Второй мировой войны, являлась эпохой острейших идеологических боев. Мир может отдалиться от этой эпохи попросту потому, что Советский Союз, несмотря на архипелаг ГУЛАГ, был внутренне ближе западному миру, нежели национал-социализм с его Освенцимом, и потому, что нельзя сказать, что “воссоединение с Европой”²⁴ заранее невозможно. Но Советский Союз сможет дистанцироваться от самого себя лишь в том случае, если серьезно и самокритично задумается над собой, а также откажется от увековечения пропаганды войны. До тех пор же, пока ощутимы лишь слабые признаки такого процесса, осмысление должно проходить за пределами Советского Союза. Дружелюбные улыбки государственных деятелей могут быть военной хитростью, энтузиазм массы западных интеллектуалов по отношению к пока еще очень ненадежной и непрозрачной воле к реформированию может оказаться лишь другим обличьем зачарованности или коррумпированности властью; не вводящее в обман свидетельство о начале подлинно мирного сосуществования появится лишь тогда, когда в Советском Союзе будут читаться и свободно излагаться такие книги, как “Архипелаг ГУЛАГ” Александра Солженицына или же научные исследования, вызванные к жизни не народно-педагогическими целями, а вопросом об истине.²⁵ Не исключено, что на Востоке Европы свобода предстала бы в более прекрасном обличье, нежели она предстает теперь на таком Западе, который из воспоминаний о последних крупных идеологических столкновениях в своей истории, из воспоминаний об эпохе фашизма и холодной войны уже не в состоянии вывести ничего, кроме легенд, с одной, и ориентации на потребление, с другой стороны.

ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие

- ¹ См. ниже II, 2: “Возникновение КПГ”.
- ² Stefan Possony. Jahrhundert des Aufruhrs. – München, 1965; Hanno Kesting. Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg. Deutungen der Geschichte von der französischen Revolution bis zum Ost-West-Konflikt. – Heidelberg, 1959; Roman Schnur. Revolution und Weltbürgerkrieg. Studien zur Ouvertüre nach 1789. – Berlin, 1983.
- ³ Karl Dietrich Bracher. Europa in der Krise. – Frankfurt-Berlin-Wien, 1979.
- ⁴ RF от 02.11.1920.
- ⁵ Ср. примечание 7 к “Заключительным соображениям”.
- ⁶ Это относится прежде всего к моим книгам: Der Faschismus in seiner Epoche (1963, 3-те Aufl.); Theorien über den Faschismus (1967, 1-те Aufl.); Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen Bewegungen (1968); из новейших публикаций – к книге: Hans-Ulrich Thamer. Verführung und Gewalt. Deutschland 1933-1945. (1986).
- ⁷ Далее эти истолкования будут обозначены только в общем виде. Что касается приурочения к ним имен и произведений исследователей и публицистов, см. по этому поводу: Ernst Nolte. Theorien über den Faschismus. – Köln-Berlin, 1967; Pierre Auloy. La question nazie. Les interpretations du national-socialisme 1922-1975. – Paris, 1979; Wolfgang Ippermann. Faschismustheorien. – Darmstadt, 1980 (4-те Aufl.).
- ⁸ Особенно поучительны – в двояком смысле – “Воспоминания” гросс-адмирала фон Тирпица, который уже в ноябре 1914 года писал в своем дневнике: “После войны я пойду в социалисты и поищу себе фонарных столбов, но чтоб их было как можно больше”. Впрочем, несостоятельность правящего слоя он усматривал в том, что он сделал Германию самым нелюбимым государством планеты и тем не менее – всего лишь “овцой в волчьей шкуре” (Alfred von Tirpitz. Erinnerungen. – Leipzig, 1919. – S.426, 408, 231). Однако весомым является и контраргумент, также использованный фон Тирпицем, а именно, что Германия упустила благоприятные моменты для развязывания войны и что в ее руководстве *партия взаимопонимания*, представленная по всей Европе, играла в сравнении с *партией победоносного мира* большую роль, нежели в Англии и во Франции по крайней мере в последний год войны. В самом деле, понадобился приход Гитлера к власти, чтобы показать миру, как должна была бы выглядеть в 1914 году воля Германии к войне.
- ⁹ Принимать лично Гитлера и, тем самым, *гитлеризм* за решающую точку отсчета возможно только в том случае, если в качестве основополагающего берется либо популистский тезис о *немцах* как причине войны, либо социологическо-марксистский тезис о вине правящих слоев. Определенную значимость имела также версия о *банде преступников*. Наиболее прочной опорой таковой была гипотеза о поджоге здания рейхстага Герингом и СА. Но ее нельзя ставить на одну доску с вышеназванными теориями.

- ¹⁰ См. ниже примечание 13 к II, 4 ("Ранний антибольшевизм и первый взлет Гитлера").
- ¹¹ Это означало апелляцию к аргументам партии взаимопонимания времен Первой мировой войны против тех, "кто сидит на скамье подсудимых" (Theodor Wolf im "Berliner Tageblatt", № 382 vom 29.07.1918), и в этом размежевании между левыми либералами и старогерманцами вполне можно видеть некое предвосхищение борьбы между коммунистами и национал-социалистами.
- ¹² В этой связи ср. также: Die Kontroverse. Hannah Arendt, Eichmann und die Juden. – München, 1964. – Более всего побуждает к раздумьям помещенная здесь статья Бруно Беттельхайма "Эйхман – система – жертвы" с ее дистанцированием от конвенционального морализма.
- ¹³ Сюда относится и так называемый *спор историков*. Он начался с моего доклада, читанного в 1980 году в Мюнхене, в том же году опубликованного в сокращении в "Frankfurter allgemeine Zeitung" и впервые изданного полностью на английском языке в 1985 году ("Die negative Lebendigkeit des Dritten Reiches" "FAZ" vom 24.07.1980; "Between Myth and Revisionism? The Third Reich in the Perspective of the 1980s" in "Aspects of the Third Reich". Ed. By H.W.Koch. – London, 1985). Оригинальная немецкая редакция доклада содержится в сборнике документов: Historikerstreit. – München, 1987. – S.13-55.
- ¹⁴ Ср., в частности: Martin Broszat. Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus. – In: "Merkur" 39 (1985). – S.373-385.; Horst Müller. Die nationalsozialistische Machtergreifung – Konterrevolution oder Revolution? – In: Vjh. f. Ztg. 31 (1983) – S.25-51; Michael Prinz. Vom neuen Mittelstand zum Volksgenossen. Die Entwicklung des sozialen Status der Angestellten von der Weimarer Republik bis zum Ende der NS-Zeit. – München, 1986.
- ¹⁵ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. – С.128.
- ¹⁶ Frunse M.W. Ausgewählte Schriften. – Berlin, 1956. – S.292.
- ¹⁷ См., например: Eve Rosenhaft. Beating the Fascists. The German Communists and Political Violence 1929-1933. – Cambridge, 1983; David Kramer. Fascism and Communism in Germany: Historical Anatomy of a Relationship. – Ann Arbor, 1973; Horst Wenkel. Zur Taktik der faschistischen Nazi-Partei und zu ihren Methoden im Kampf gegen die Arbeiterklasse und andere demokratische Kräfte in Thüringen 1929-1932. Dissertation. – Jena, 1973; см. Также некоторые главы в: Conan Fischer. Stormtroopers. A Social, Economic and Ideological Analysis 1929-1935. – London, 1983.
- ¹⁸ Из множества книг я назову только три, написанные в разных странах: Sven Allard. Stalin und Hitler. Die sowjetrussische Außenpolitik 1930-1941. – Berlin und München, 1974; Günther Rosenfeld. Sowjet-Russland und Deutschland. 2 Bände (1917-1922, 1922-1933). – Köln, 1984; Alexander Fischer. Sowjetische Deutschlandpolitik im Zweiten Krieg 1941-1945. – За самое информативное освещение негосударственных отношений между Германией и Россией стоит поблагодарить Вальтера Лакеура: Walter Laqueur. Deutschland und Russland. – Berlin, 1956. – КПСС и НСНП стали предметом проликативного сравнения в книге: Arie L. Unger. The Totalitarian Party. Party and People in Nazi Germany and Soviet Russia. – Cambridge, 1974. –

- Сравнительное исследование систем террора, с исключительным акцентом на Советскую Россию и национал-социалистскую Германию, было проведено недавно Анджеем Каминьским: Andrzej Kaminski. Konzentrationslager 1896 bis heute. Eine Analyse. – Stuttgart, 1982. – Занимательная эссеистская работа была недавно издана Гердом Кёненом: Gerd Könen. Der unerklärte Frieden. Deutschland, Polen und Russland. Eine Geschichte. – Frankfurt, 1985.
- 19 Louis Fischer. Russia's Road from Peace to War. – New York, 1969. – S.286.
- 20 Michael Heller, Alexander Nekrich. Geschichte der Sowjetunion. 2 Bde. – Königstein,, 1981.- Bd.2. – S.218.
- 21 Milan Djilas. Gespräche mit Stalin. – Frankfurt, 1962. – S.241.
- 22 Nikolay Tolstoy. Stalin's Secret War. – New York, 1981. – S.28.
- 23 Leonard Schapiro. Die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. – Frankfurt, 1961. – S.250.
- 24 Adam B. Ulam. Russlands gescheiterte Revolutionen. – München-Zürich, 1981. – S. 499.
- 25 Leo Trotzki. Literatur und Revolution. – Berlin, 1968. – S.161. – Лев Троцкий. Литература и революция. – М., 1991. – С.101.
- 26 Merle Fainsod. How Russia is Ruled. – Cambridge, 1963. – Н.371. – Но примечателен также тот холодный тон, в котором до 1933 года немецкие авторы, вроде Клауса Менерта или даже Отто Хёцша рассуждали об уничтожении старой интеллигенции или кулаков. У читателя невольно напрашивается вопрос, не говорили бы они в случае победы Гитлера также за пределами Германии с таким же хладнокровием и об уничтожении евреев.
- 27 Leopold Trepper. Die Wahrheit. Autobiographie. – München, 1975. – S.345.
- 28 Archiv des Instituts für Zeitgeschichte. Nachlass Hans Jäger ED 210/31, S.78.
- 29 Walter Laqueur. Mythos der Revolution. – Frankfurt, 1967. – S.114.
- 30 Walter Laqueur. Deutschland und Russland. – Berlin, 1965. – S.375.
- 31 Adam D. Ulam. Stalin. The Man and His Era. – New York, 1973. – P.466.
- 32 Walter G. Krivitsky. Ich war in Stalins Dienst. – Amsterdam, 1940. – S.273; Franz Borkenau. Der europäische Kommunismus. – München, 1952. – S.64.
- 33 *Пугала и кошмары* вовсе не были во времена Веймарской республики достоянием одной якобы особо пугливой *мелкой буржуазии*. Так, например, в начале 1929 года, когда почти никто еще не принимал Гитлера всерьез, коммунистический депутат Штеккер заявил в рейхстаге: “В оборонном бюджете заложены сотни миллионов марок на тайное перевооружение. Так сколько же бронепоездов имеет немецкая железная дорога и у скольких из них сменены колеса с расчетом на русскую ширину железнодорожной колеи?” У коммунистических депутатов это замечание вызвало “шумное велелелье” (Schulthess, 1929. – S.35 ff.)
- 34 “Таким образом, схема событий, приведших западный мир к новой катастрофе в 1939 году, была полностью заложена правительствами государств Антанты в 1918 и 1919 гг. Все, что мы потом наблюдаем в отношениях между Россией, Германией и Западом, следует логике, неумолимой, как в греческой трагедии” (George Kennan. Russia and the West unter Lenin and Stalin. – Boston-Tjronto, 1960-1961. – P.164)

- ³⁵ Theodor Herzl. Briefe und Tagebücher. 2. Bd: Zionistisches Tagebuch 1895-1899. – Berlin-Frankfurt-Wien, 1983.
- ³⁶ См. ниже: II, 9. – В качестве “Анти-Ленина” охарактеризовал Гитлера Эрнст Никиш (Ernst Niekisch. Das Reich der niederen Dämonen. – Hamburg, 1953. – S.263).
- ³⁷ Уже ранние современники событий умели создавать их очень живые картины, спользуя различные оттенки серого; это доказывает, например, книга: Hans Siemsen. Russland Ja und Nein. – Berlin, 1931.
- ³⁸ См. ниже: примечание 41 к II, 1.
- ³⁹ См. ниже: V, 2 и “Заключительные соображения”.

I. 1933 год как заключительная точка и прелюдия

- ¹ Erich Czech-Jochberg. Vom 30. Januar zum 21. März. Die Tage der nationalen Erhebung. – Leipzig, 1933. – S.49, 53, 56.
- ² Schulthess. Bd. 74. 1933. – S.42 f.
- ³ VB vom 04.03.1933 (nicht in Domarus und Schulthess).
- ⁴ UuF. Bd. IX. – S.83.
- ⁵ Ebenda.
- ⁶ См. ниже: II, 10.
- ⁷ UuF. Bd. IX. – S. 303 f.
- ⁸ Gustav Hilger. Wir und der Kreml. Deutsch-sovjettische Beziehungen 1918-1941. Erinnerungen eines deutschen Diplomaten. – Berli, 1955. – S.243.
- ⁹ Gerhart Seger. Oranienburg. Erster authentischen Bericht eines aus dm Konzentrationslager Geflüchteten. Mit einem Geleitwort von Heinrich Mann. – Karlsbad (Graphia), 1934. – S.61. – Полемический ответ был опубликован комендантом концентрационного лагеря уже в начале 1934 года; он является во всех отношениях неправдоподобным и делает наглядной прежде всего ситуацию гражданской войны: Konzentrationslager Oranienburg. Von SA-Sturmabführer Schäfer, Standarte 208, Lagerkommandant. Das Anti-Buch über das erste deutsche Kontrationslager. – Berlin, o. J. (1934).
- ¹⁰ Hans-Günter Richardi. Schule der Gewalt. Die Anfänge des Konzentrationslagers Dachau 1933-1934. Ein dokumentarischer Bericht. München, 1983. – S.58,121,113.
- ¹¹ IMG. Bd. XXXIII. – S.56 ff.
- ¹² Institut für Zeitgeschichte. – ZS 537. Bd. IV. – Vol. 00010.
- ¹³ Seger, a.a.O. – S.31; vgl. Auch: Walter Hornung. Dachau. Eine Chronik. – Zürich, 1936 – S.131; здесь идет речь о *еврейских бараках*.
- ¹⁴ Karl Bömer. Das Dritte Reich im Spiegel der Weltpresse. – Leipzig, 1934. – S.64.
- ¹⁵ Относительно движения бойкота ср. информацию в реферате: “Lügenpropaganda – Boykottbewegung”. – Pol. Archiv des AA. PO5 NE.
- ¹⁶ См.: Jakow Trachtenberg. Tagebuch eines Sovjetbürgers. – Berlin, 1932.
- ¹⁷ Die Greuelpropaganda ist eine Lügenpropaganda sagen die deutschen Juden selbst. – Berlin, 1933 (deutsch, hollandisch, schwedisch). – S.18, 31, 33.

На что пошел Гитлер, когда он объявил войну евреям уже не просто как лидер партии, а как государственный деятель, и в какой высокой мере эта война противоречила традициям Веймарской и даже Вильгельмовской эпохи, очень рано было прояснено в сообщении, которое британский посол в Берлине сэр Гораций Рамбольд направил 28 марта 1933 года своему министру иностранных дел: "Молодое поколение нацистов ничего не знает о той деятельности, которую развернули германские евреи и евреи за границей во время борьбы против гнетущих ограничений Версальского договора. Такая же умелая и непрерывная пропаганда, которая так много сделала для улучшения международного положения Германии в последние десятилетия, обращается теперь против нацистского движения". Но посол, который никоим образом не был врагом национал-социалистского движения, отмечает также в указанном сообщении: "Вызывающий образ жизни еврейских банкиров и денежных мешков <...> неизбежно возбуждал зависть в период, когда безработица стала всеобщей. Лучшие элементы еврейской общины будут теперь страдать и уже страдают из-за грехов наихудших, и в особенности — из-за грехов российских и галицийских евреев, которые пришли в эту страну во время революции 1918 года" [DBFP. 2. Series. Bd.V (1933). — London, 1956. — S.6]. Знаток истории сионизма мог бы вспомнить предсказание Теодора Герцля: "Социальная битва, стало быть, должна разразиться позади нас, не коснувшись, поскольку и в капиталистическом, и в социалистическом лагере мы занимаем доминирующие пункты" (Theodor Herzl. Der Judenstaat. — In: Zionistische Schriften. Bd. I. — Tel Aviv, 1934. — S.37).

¹⁸ Brigitte Granzow. Mirror of Nazism. British Opinion and the Emergence of Hitler. — London, 1964. — P. 218, 220.

¹⁹ Maurice Vaisse. Frankreich und die Machtergreifung. — In: Wolfgang Machalka (Hrsg.). Die nationalsozialistische Machtergreifung. — Paderborn, 1984. — S.261-273.

²⁰ 13. Oktober 1933.

²¹ Bömer. A.a.O., S.45.

II. Ретроспективный взгляд на 1917-1932 гг.

II.1. Крушение Российской Империи и воля к мировой революции

¹ Российский юлианский календарь на 13 дней отставал от григорианского; Стало быть, 7 ноября соответствовало 25 октября. В начале 1918 года последовал переход на принятое в прочей Европе летоисчисление.

² Die russische Revolution 1917. Der Aufstand der Arbeiter, Bauern und Soldaten. Eine Dokumentation. Hrsg. von Richard Lorenz. — München, 1981. — S. 252.

³ Ebenda. — S. 259.

⁴ Ebenda. — S. 264 ff.

⁵ Schulthess. 1917/II. — S. 672.

⁶ Illustrierte Geschichte der Russischen Revolution 1917. — Berlin, 1928. — S. 143.

- 7 Alexander Rabinovitch. *The Bolsheviks Come to Power*. – London, 1979. S. XXII.
- 8 Louis de Robien. *Russisches Tagebuch 1917-1918. Aufzeichnungen eines französischen Diplomaten in Petersburg*. – Stuttgart, 1967. – S. 18, 23.
- 9 Lenin A.W. Bd. I. – S. 876 ff.
- 10 Ebenda. Bd. II. – S. 69 ff. – Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 32. – С. 261-276.
- 11 Richard Kohn. *Die Russische Revolution in Augenzeugenberichten*. – Düsseldorf, 1965. – S. 241.
- 12 Плеханов Г.В. Год на Родине // Полное собрание статей и речей 1917-1918 гг.: В двух томах. Том 1. – Париж, 1921. – С. 30, 33.
- 13 Lorenz. A.a.O. – S. 275.
- 14 Leo Trotzki. *Über Lenin*. – Frankfurt, 1964. – S. 61.
- 15 Ladislaus Singer. *Raubt das Geraubte. Tagebuch der Weltrevolution 1917*. – Stuttgart, 1967. – S. 228.
- 16 Иванов Н.Я. Корниловщина и ее разгром. Из истории борьбы с контрреволюцией. – Л., 1965. – С. 126.
- 17 James Bunyan and H.H.Fischer. *The Bolshevik Revolution 1917-1918. Documents and Materials*. – Stanford, 1961. – P. 25.
- 18 Особо сильно это было подчеркнуто Троцким в его работе “Уроки Октября” (1924).
- 19 Peter Scheibert. *Lenin an der Macht. Das russische Volk in der Revolution 1918-1922*. – Wenheim, 1984. – S. 303.
- 20 Один из непримиримых противников уже Февральской революции, Владимир Пуришкевич, высказался тогда по поводу желательных мер почти в тех же самых словах, какие Гитлер несколько лет спустя употребит в “Mein Kampf”: “Если бы было покончено с тысячами, двумя, пусть пятью тысячами негодяев на фронте и несколькими десятками в тылу, то мы не страдали бы от такого беспрецедентного позора” (Александр Рабинович. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. – М., 1989. – С. 70).
- 21 John Reed. *Zehn Tage, die die Welt erschütterten*. – Berlin, 1957. – S. 188, 310.
- 22 Bunyan-Fischer, a.a.O., S. 156 f.
- 23 Ebenda. – S. 202.
- 24 Крупская Н.К. Октябрьские дни. – М., 1967 (первое издание в 1934 году). – С. 23. – С еще более страшной наглядностью у: Robien, a.a.O., S. 236.
- 25 Bunyan-Fischer, a.a.O., S. 236.
- 26 M. Bonch-Brujevich. *From Tsarist General to Red Army Commander*. – Moscow, 1966. – P. 222.
- 27 Scheibert, a.a.O., S. 297.
- 28 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. – С. 3-36.
- 29 Claude Anet. *La revolution russe. La terreur maximaliste*. – Paris, 1919.
- 30 Декреты Советской власти. Том 3. – Москва, 1957. – С. 291 и далее.
- 31 Bunyan-Fischer, a.a.O., S. 517.
- 32 Независимое рабочее движение 1918 года. Документы и материалы. – Париж, 1981. – С. 227.
- 33 Там же. – С. 295-305.

- ³⁴ Maxim Gorkij. Unzeitgemässe Gedanken über Kultur und Revolution von 1917 bis 1918. Hrsg. von Bernd Scholz. – Frankfurt, 1972. – S. 88, 98, 106, 121, 142, 156 ff., 159. – Горький М. “Несвоевременные мысли” и рассуждения о революции и культуре (1917-1918 гг.) – М., 1990.
- ³⁵ Alfons Paquet. Im kommunistischen Russland. Briefe aus Moskau. – Jena, 1919. – S. 112 f.
- ³⁶ Hans Vorst. Das bolschewistische Russland. – Leipzig/ 1919. – S. 153.
- ³⁷ de Robien, a.a.O., S. 35.
- ³⁸ Scheibert, a.a.O., S. 82.
- ³⁹ Reed, a.a.O., S. 163.
- ⁴⁰ Scheibert, a.a.O., S. 85 (“Красный меч” от 18.08.1919).
- ⁴¹ Данное высказывание цитирует в своей книге о Ленине Давид Шуб в следующей редакции (David Shub. Lenin. – Wiesbaden, 1957. – S. 375): “Чтобы успешно победить наших врагов, мы должны иметь свой собственный социалистический милитаризм. Из ста миллионов жителей России при Советах мы должны завоевать девяносто на свою сторону. Что касается остальных, нам нечего им сказать; они должны быть искоренены”. В качестве источника указана “Северная Коммуна”, вечерний выпуск от 18 сентября 1918 года.

Поскольку данное высказывание, несмотря на указание источника, действительно, на первый взгляд кажется неправдоподобным, я приложил немало усилий, чтобы его проверить. В Германии нет ни единого экземпляра “Северной Коммуны. Известий Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов”, а государственная библиотека в Ленинграде не имеет микрофильмов. В конце концов я получил микрофильм из Hoover Institution on War, Revolution and Peace в Стэнфорде. Цитата Шуба, в сущности, оказалась корректной. Впрочем, она почерпнута из № 109 от 19 сентября 1918 года (стр. 2), а резолюция, о которой говорит Шуб, была принята не по докладу Зиновьева.

Более широкий контекст меняет картину только в той мере, в какой речь идет в первую очередь не о военных долгах, а о кулаках, которые стремились к введению свободы торговли и поддерживались в этом даже коммунистами, как, например, Лариным. Зиновьев в своей речи на VII Общеродской конференции коммунистов в Смольном обратился сперва к внешнеполитической ситуации и затем перешел к внутреннему положению, где классовая борьба достигла своей кульминации в силу того, что не только российские эксплуататоры, но и вся мировая буржуазия, включая Шейдеманнов, ликовала по поводу покушения на Ленина. Согласно Зиновьеву, особую опасность представляют собой кулаки, которые хотят снабжать городское население продуктами питания только на своих условиях. Поэтому “работа в деревне” стоит в центре всего. Далее он рассуждает следующим образом: “Мы должны вести себя как военный лагерь, из которого посылаются отряды в деревню. Если мы не увеличим нашу армию, то буржуазия нас растопчет. Для нас нет другого пути. Мы и она не способны ужиться на одной планете. Мы нуждаемся в собственном социалистическом милитаризме для преодоления наших врагов. Из ста миллионов населения в Советской России мы должны девяносто завоевать на

нашу сторону. С остальными нам надо не разговаривать, мы должны их уничтожать. На нас лежит огромная ответственность перед мировым пролетариатом, который видит, что только в России власть перешла к рабочему классу". После заключительного призыва всеми силами бороться за победу речь "вождя Северной Коммуны" была удостоена "бурных аплодисментов".

Поскольку данный источник столь труднодоступен и одновременно, как орган Зиновьева, столь важен, я далее перескажу или переведу еще несколько содержательных мест.

В номере "Северной Коммуны" от 31 августа 1918 года главной новостью является убийство Урицкого, покушение на Ленина фигурирует только в качестве *последнего сообщения*. В связи с арестом убийцы, Леонида Акимовича Канегиссера, отмечается, что он был юнкером Михайловской артиллерийской школы, евреем и к тому же дворянином. Он участвовал в революции 1905 года и принял решение об убийстве Урицкого лишь тогда, когда в газетах появились сообщения о массовых расстрелах за подписями Урицкого и Иоселевича. Главной задачей следственной комиссии было лишь прояснение вопроса, является ли покушение преступлением одиночки, или за ним стоит организация. Поскольку было установлено, что Канегиссер пытался скрыться в доме Английского общества на Миллионной, в последующие дни в Английском обществе был проведен обыск, во время которого случилась перестрелка и обе стороны понесли жертвы. Далее указывается, что члены семьи Канегиссера были арестованы с целью выяснения того, не были ли они втянуты в его преступные планы (№ от 1 сентября).

И хотя, таким образом, следствие не дало весомых результатов ни в Петрограде, ни в Москве, уже 2 сентября была напечатана резолюция, в соответствии с которой пролетариат на предательские выстрелы даст такой ответ, что "вся буржуазия и ее пособники будут дрожать от ужаса". В номере за тот же день сообщалось о речи Зиновьева, в которой он выражал свою уверенность в том, что вскоре приступит к деятельности Мировой Совет Народных Комиссаров, чьим Председателем станет не кто иной, как товарищ Ленин. Одновременно Зиновьев призвал всех своих слушателей к "мести, беспощадной мести" всем тем, кто выступает против трудового народа: "Исторгни из ваших сердец всякое сострадание!". В тот же день из Москвы пришла информация, что террористка Фанни Каплан — интеллигентка, которая назвала большевиков врагами народа, а Ленина — предателем социализма. (см. ниже, IV, 7). 4 сентября, между прочим, был опубликован приводимый здесь (IV, 2) призыв Смилги, а 5 сентября — приказ командующего №-ской армией Берзина "огнем и мечом подавлять малейшее поползновение, малейшую попытку восстания против Советской власти, в тылу и на фронте".

Аналогичные призывы и требования переполняли газету весь сентябрь. Была слишком явственной атмосфера гражданской войны, но бросалось в глаза также и то *преувеличение*, которое выразилось в цитированном в начале высказывании Зиновьева от 17 сентября.

II.2. Возникновение Коммунистической партии Германии

- ¹ Относительно марксизма в целом ср.: Ernst Nolte. *Marxismus und Industrielle Revolution*. – Stuttgart, 1983.
- ² “Короче говоря, наша отсталость в экономической, равно как и в демократической области – вот что привело нас на вершину <...>”. “Там прежде всего ошеломляет тот факт, что в реакционной Германии трудящиеся классы сумели завоевать намного более солидную властную позицию в социальной жизни, чем в Англии и даже во Франции” (Paul Lensch. *Drei Jahre Weltrevolution*. – Berlin, 1917. – S. 26, 209).
- ³ Ebenda, S. 51: “Так страны со стагнирующей экономикой, Англия как крупнобуржуазное, Франция как мелкобуржуазное рантье-государства и Россия как полуварварская завоевательная держава, подобно сытым кошкам, легли на свою *собственность* и нигде не давали ходу устремляющемуся вперед германскому элементу <...> Результатом была революция мировой войны с Германией как ее знаменосцем”.
- ⁴ Ebenda, S. 185.
- ⁵ Ernst Meyer. *Spartakus im Kriege. Die illegalen Flugblätter des Spartakusbundes im Kriege*. – Berlin, 1927. – S. 21.
- ⁶ *Spartakusbriefe*. Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. – Berlin, 1958. – S. 224 f.
- ⁷ Ebenda, S. 83.
- ⁸ Ср. Роза Люксембург о вероятном “насильственном мире” с Россией: “Либо – Россия будет унижена, потеряет отчасти свои западные, наиболее развитые и революционизированные провинции <...> [Тогда] мы через 10, самое позднее через 20 лет имели бы новую германско-российскую войну <...>” (*Spartakusbriefe*, S. 70 f.).
- ⁹ Ebenda, S. 174.
- ¹⁰ Schulthess, 1918/I, S. 591.
- ¹¹ *Spartakusbriefe*, a.a.O., S. 423 f.
- ¹² Ebenda., S. 440.
- ¹³ Ebenda, S. 322.
- ¹⁴ Leo Stern (Hrsg.). *Die Auswirkungen der grossen sozialistischen Oktoberrevolution auf Deutschland*. – Berlin, 1959. – S. 820.
- ¹⁵ Hermann Weber (Hrsg.) *Der Gründungsparteitag der KPD. Protokoll und Materialien*. – Frankfurt, 1969. – S. 38.
- ¹⁶ Hermann Weber (Hrsg.) *Der deutsche Kommunismus. Dokumente*. – Köln/Berlin, 1963. – S. 38.
- ¹⁷ Ebenda, S. 42.
- ¹⁸ Ebenda, S. 35.
- ¹⁹ Ebenda. – S. 36.
- ²⁰ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.31. – С. 403-406.

II.3. Победа большевиков и поражения КППГ в 1919-1921 гг.

- ¹ Vorwärts vom 07.11.1918 (Schulthess 1918/I, S. 420).

- ² Vorwärts vom 02.12; 10.11; 24.12; 27.12.1918
- ³ RF vom 18.11.1918.
- ⁴ UuF. Bd. III. – S. 67.
- ⁵ RF vom 06.01 und 07.01.1919.
- ⁶ BAK. Nachlass Rosa Meyer-Levine. Bd. 32, fol. 32.
- ⁷ RF vom 15.04.1921.
- ⁸ RF vom 03.03.1919.
- ⁹ Revolution und Räterepublik in München in Augenzeugenberichten. – Düsseldorf, 1969. – S. 327.
- ¹⁰ Lenin Werke. Bd. 29. – S. 314 f.
- ¹¹ Allan Mitchell. Revolution in Bayern 1918-1919. Die Eisner-Regierung und die Räte-Republik. München, 1967. – S. 286.
- ¹² Thomas Mann. Tagebücher 1918-1921. Hrsg. von Peyer de Mendelssohn. – Frankfurt, 1981 (2-te Ausg.). – S. 223.
- ¹³ Lenin. Werke. Bd. 28. – S. 441.
- ¹⁴ Manifeste, Richtlinien, Beschlüsse des Ersten Kongresses. Aufrufe und offene Schreiben des Exekutivkomitees bis zum Zweiten Kongress. – Hamburg, 1920. – S. 21, 17.
- ¹⁵ Ebenda. – S. 78 ff.
- ¹⁶ Lenin. A.W. Bd. II. – S. 886, 408.
- ¹⁷ По теме “эмиграция” см. : IV, 7.
- ¹⁸ Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution. – Berlin, 1929. – S. 469 (Faksimile).
- ¹⁹ Erhard Lucas. Märzrevolution 1920. Bd. I-III. – Frankfurt, 1970, 1973, 1978.
- ²⁰ UuF. Bd. IV. – S. 122.
- ²¹ Hagen Schulze. Freikorps 1918-1920. – Boppard, 1969. – S. 315.
- ²² UuF. Bd. IV. – S. 128.
- ²³ Ebenda. – S. 145 f.
- ²⁴ Nach “Protokolle der USPD-Parteitage”. Bd. 3. – 1920. – S. 215 (Martow).
- ²⁵ Ebenda. – Основная и главная трудность для всех *белых* заключалась в том, что и тогда, когда они не воспринимали как несправедливость или обман передачу крестьянам помещичьей земли, они не могли просто санкционировать фактическое положение дел, а должны были резервировать решение за будущим свободно избранным парламентом или Учредительным собранием; таким образом, их высказываниям не хватало конкретики, что относится, например, к такому утверждению: “Мы стремимся к установлению минимального порядка, при котором народ в состоянии свободно собраться и свободно выразить свою волю” (Воспоминания барона П.Н. Врангеля. Переиздание. – Франкфурт, 1969. – С. 123).
- ²⁶ Hermann Weber. – Anm. 16, Kap. II, 2. – S. 206.
- ²⁷ Die Kommunistische Internationale. – №13. – S. 31.
- ²⁸ G.Sinowjew. Die Weltrevolution und die III. Kommunistische Internationale. Rede auf dem Parteitag der USPD in Halle am 14. Oktober 1920. – Hamburg, 1920. – S. 29 f., 59.
- ²⁹ Protokolle der USPD-Parteitage. Bd. 3.- 1920. – S. 217.
- ³⁰ Sinowjew. A.a.O., S. 68.

- ³¹ G. Sinowjew. Zwölf Tage in Deutschland. – Hamburg, 1921. – S. 77 f., 74.
- ³² Frits Kool und Erwin Oberländer (Hrsg.). Arbeiterdemokratie oder Parteidiktatur. 2 Bde. – München, 1972 (Orig. Olten, 1967). Bd. 1. – S. 184.
- ³³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.43. – С.210.
- ³⁴ Kool und Oberländer, a.a.O. Bd. 2. – S. 343.
- ³⁵ Ebenda. – S. 385 ff.
- ³⁶ RF vom 18.03.1921.
- ³⁷ Die Enthüllungen zu den Märzkämpfen. Enthülltes und Verschwiegenes. Hrsg. von der Zentrale der KPD. – Halle, 1922. – S. 20.
- ³⁸ Ср. в этой связи мои книги: *Marxismus und Industrielle Revolution*. – Anm. 1, Kap. II, 2. – S. 520-534; *Deutschland und der Kalte Krieg*. 2. Ausg. – Stuttgart, 1985. – S. 61-74.
- ³⁹ Noe Jordania. Imperialismus unter revolutionärer Maske. Eine Antwort an Trotzki. – Berlin, o.J. – S. 15 f. (“Горстка большевиков найдется в любой стране, и если московское правительство притязает на право посылать на помощь этой горстке большевиков в любой другой стране свои армии, то для него открывается перспектива войн во всех частях света <...> Действительную причину этой экспансии публично выболтал Радек, когда заявил на берлинской конференции трех Интернационалов, что московское правительство завоевало Грузию, поскольку оно должно сохранять в своих руках выходы бакинской нефти к Черному морю”).

II.4. Ранний антибольшевизм и первый взлет Гитлера

- ¹ L'opinion publique europeenne devant la Revolution russe de 1917, avec une introduction de Fernand l'Huillier. – Paris, 1968. – P. 67 (Berliner Tageblatt zwei Tage nach dem Sieg der Bolschewiki).
- ² E. Malcolm Carrol. *Sovjet Communism and Western Opinion 1919-1921*. – Chapel Hill, 1965. – P. 15.
- ³ Paul Elzbacher. *Der Bolschewismus und die deutsche Zukunft*. – Jena, 1919. – S. 40, 21, 33 f.
- ⁴ См. выше: II, 1.
- ⁵ *Seeds of Conflict. Series 4 “The Opposition at Home and Abroad”*. Т. 1. – P. 8. – Примечательный вклад в определение качественно нового в большевистском терроре внес несколькими годами позже Й.Штейнберг, который зимой 1917-1918 гг. как левый эсер был наркомом юстиции в Совнарком. В своей книге “Насилие и террор в эпоху революции (Октябрьская революция или большевизм)” (Берлин, 1931. – С.35): он пишет “Я хотел бы упомянуть лишь один акт социалистического государственного насилия, который прокладывал путь будущей самодельной юстиции сверху (а не юстиции снизу). Это было декабрьское 1917 года заявление, направленное против буржуазно-либеральной кадетской партии. Последняя была поставлена “вне закона” Этот декрет означал, что отныне никакая реальная личность не обвиняется за свое реальное преступление, что политическая и социальная абстракция (кадетская партия) становится предметом всеобщего подозрения, всеобщей ярости, что, далее, принадлежащие к этой абстракции люди прекращают свое существование в качестве живых, страдающих существ <...> Этим находящимся в кричащем противоречии

с духом социализма актом массам в первый раз было сказано: при ваших сегодняшних или будущих страданиях вы не обязаны больше искать вину виноватого <...> Вы можете просто осуществить свое возмездие на любом грешнике, утолить вашу жажду мщения, покарать и уничтожить ваших врагов как уголовных преступников. Только посредством этого декрета Советского правительства были созданы обоюдная ответственность и институт взятия заложников, которые теперь обхватили революцию железным обручем”.

По вопросу о сравнимости массовых преступлений важное значение имеет следующее высказывание, заимствованное из бюллетеня ЦК эсеровской партии (№ 1, январь 1919 г. — С. 71): “В Тамбовской губернии произошло абсолютно стихийное восстание 40 общин. Оно было подавлено бесчеловечным образом. Применялись броневики и ядовитые газы <...>”.

- 6 Die russische Revolution und die sozialistische Internationale. Aus dem literarischen Nachlass von Paul Axelrod. — Jena, 1932. — S. 180-205, bes. S. 180, 183, 186 f.
- 7 Alexander Berkman. Die Kronstadt Rebellion. — Berlin, 29.
- 8 Раннюю попытку защитить Розу Люксембург предприняла Клара Цеткин в работе “Об отношении Розы Люксембург к русской революции” (1922). Но результатом в большей мере была апологетика Красного Террора, нежели обоснование концепции советской демократии. Опять-таки характерным является упрек, брошенный Кларой Цеткин “Ревентловам, Фридбергам, Эрибергерам”, которые, “не моргнув глазом, послали на бойню полтора миллиона немецких мужчин и юношей” и потому не имеют никакого права “хриплым хором орать о терроре, проводимом диктатурой пролетариата” (С. 97).
- 9 Otto Bauer. Bolschewismus oder Sozialdemokratie. — Wien, 1920. — S. 119.
- 10 Karl Kautsky. Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution. — Berlin, 1919. — S. 140, 152.
- 11 Paul Olberg. Briefe aus Sovjet-Russland. — Stuttgart, 1919. — S. 146, 113.
- 12 Carroll, a.a.O., S. 34.
- 13 О “революционном тотализме Ленина” говорил Альфонс Паке в своих письмах из Москвы: Alfons Paquet. A.a.O. — S. 111 (ср. Anm. 35, Kap. II, 1).
- 14 Alex. P. Schmid. Churchills privater Krieg. Intervention und Konterrevolution im russischen Bürgerkrieg, November 1918 — März 1920. — Zürich, 1974. — S. 312.
- 15 Ebenda.
- 16 Carroll, a.a.O., S. 313.
- 17 Eduard Stadler. Als Antibolschewist 1918-1919. — Düsseldorf o.J. (wohl 1935). — S. 46 ff.
- 18 Berlin, 1918.
- 19 Günther Axhausen. Organisation Escherich. Die Bewegung zur nationalen Einheitsfront. — Leipzig-Berlin, 1921. — S. 21.
- 20 Zu Dietrich Eckart und zur Frühzeit der NSDAP vgl.: Ernst Nolte. Der Faschismus in seiner Epoche. — München, 1963. — S. 385-409, bes. 403 ff. — Что касается “партийной программы” из 25 пунктов от 24 февраля 1920 года, она сформулирована значительно жестче, чем первые декларации

НРП Дрекслера, но все-таки следует четко пометить ее возникновение во второй половине 1919 года, то есть между подписанием мирного договора и путчем Каппа. Поскольку в программе понятие коммунизма или большевизма не появляется и тем самым не соотносится с еврейством, она лишь частично показательна для раннего мышления Гитлера и его партии. Здесь следует искать причину того, что Гитлер позже с пренебрежением относился к этой программе.

²¹ См. выше: II, 3.

²² Paul Leverkühn. Posten auf ewiger Wache. Aus dem abenteuerlichen Leben des Max von Scheubner-Richter. – Essen, 1938. – S. 46. (Истинным автором этой книги был Эрих Эгер, и этот факт был подвергнут резкой критике со стороны национал-социализма. См.: Adolf Kriener. Eine Ehrung für Scheubner-Richter? Eine notwendige Betrachtung. – Berliner Börsen-Zeitung. – N 571 vom 07.12.1938)

²³ Ср. подборку сообщений прессы в: BA, NS 26/vorl. 1197. – *Rote Fahne*, как и следовало ожидать, говорила о “русском конгрессе Черной Сотни” (09.07.1921).

²⁴ Ute Döser. Das bolschewistische Russland in der deutschen Rechtspresse 1918-1925. Eine Studie zum publizistischen Kampf in der Weimarer Republik. – Berlin, 1961. – S. 169. – Это сообщение появилось в VB 26.04.1920 в статье Арнольда Рехберга “Большевизм в России”, а в 1924 году было опубликовано также в книге слывающего надежным историка и народного социалиста С.П.Мельгунова “Красный Террор в России” (Берлин, 1924. – С. 247). К Мельгунову восходит также весьма проницательное и весьма акцентирующее слабости революционной демократии исследование “Как большевики захватили власть” (Париж, 1953). В качестве доказательства его надежности может служить то, что он присовокупляет знак вопроса к точным цифрам жертв Красного Террора, которые приводятся автором по фамилии Саролеа (Sarolea) и фигурируют также у Черчилля и Шультегсса (Der rote Terror, S. 168). Тем более впечатляющим является то, что он сообщает об ущелье смерти в Саратове (203) или о сожжении офицеров в топках котлов и казни на колах священников (248). Мельгунов не обходит молчанием также и те жестокости, которым восставшие крестьяне подвергали пленных коммунистов (192). Существенное различие он правомерно видит в том, со стороны белых не могло быть коррелятов публичным призывам к массовому террору, то есть к истреблению по социологическим критериям. Что понятие китайских чекистов было весьма употребительным также у большевиков, вытекает из книги Ф. Фомина “Записки старого чекиста” (Москва 1964), в которой есть глава о “китайских борцах-чекистах” (С. 54-60). Здесь, разумеется, не идет речи об определенных методах пыток. Но сами чекистские приемы тем не менее были известны во всем мире: Джордж Оруэлл описал их в своей книге “1984” как метод тайной полиции “Большого Брата”. Он не упоминает, что сведения об этом он почерпнул из антибольшевистской литературы.

²⁵ Alfred Rosenberg. Pest in Russland. Der Bolschewismus, seine Yfeupter, Handlanger und Opfer. Gekürzt herausgegeben von Dr. Georg Leibbrandt. – München, o.J. – S. 13, 36, 30.

²⁶ Walter Laqueur. Deutschland und Russland. – Berlin, 1965. – S. 67.

- 27 Adolf Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen 1905-1924. Herausgegeben von Eberhard Jäckel zusammen mit Axel Kuhn. – Stuttgart, 1980. – S. 88-90.
- 28 Ebenda, S. 202, 275, 279 ff. und passim. – В тексте значатся “ангелы крови” или “бюргеры”, но здесь, очевидно, были допущены описки или опечатки.
- 29 Ebenda, S. 379.
- 30 VB vom 19.07.1922.
- 31 Vgl. Ernst Nolte, a.a.O. (Anm. 1, Kap. II, 2), S. 180 (zu Piercy Ravenstone), 280-285.
- 32 См. ниже: II, 7.
- 33 Jane Degras. Sovjet Documents on Foreign Policy, Bd. 1. – London, 1952. – P. 217 f.
- 34 Jäckel-Kuhn, a.a.O., S. 96.
- 35 См. выше примечание 13.

II.5. “Мировая революция” или “национальное правительство”?

- 1 Protokoll. Fünfter Weltkongress der Kommunistischen Internationale. – Hamburg, o.J. (1924). Bd. I. – S. 323.
- 2 Heinrich Brandler, ebda, S. 221.
- 3 Erich Wollenberg. Der Apparat. Stalins Fünfte Kolonne. – Bonn, 1952. – S. 10 f. – Сам Волленберг был одним из этих обюрялтеров.
- 4 26.06.1923.
- 5 Schlageter. Eine Auseinandersetzung. Karl Radeck – P. Fröhlich. – Graf Ernst Reventlow – Möller van den Bruck. – Berlin, 1923. – S. 7.
- 6 Ebenda.
- 7 RF vom 02.08.1923.
- 8 “Die Aktion”, Jg. 1923, S. 374
- 9 Например, “RF” от 25 июля: Конечно, необходимо бороться с Антантой и еврейскими капиталистами, но в первую очередь речь идет о Ханиэле, Тиссене, Клёкнере, Круппе и Стиннесе.
- 10 RF от 18 сентября 1923; “Schlageter...”, a.a.O., S. 7 f.
- 11 RF vom 12.07.1923.
- 12 RF от 22 апреля 1923: “Готовность на Востоке” Й. Айзенбергера
- 13 RF от 10.10.1923
- 14 “Inprekorr” № 163 от 19.10. 1923, S. 1387 ff.
- 15 Protokoll ... a.a.O, S. 321.
- 16 Jäckel-Kuhn a.a.O. (Anm. 27, Kap. II, 4), S. 630

II.6. Советский Союз от смерти Ленина ...

- 1 Ср. небольшую, но важную статью Эрнста Френкеля “Германия и западные демократии” в: Deutschland und die westlichen Demokratien, Stuttgart, 1964
- 2 Lenin, Sämtliche Werke, Bd. XXVI, S. 351
- 3 Lenin Werke, Bd. 33, S. 335 ff.
- 4 “Um den Oktober”. Trotzki/Kamenew, Sinowjew, Bela Kun, Stalin, Bucharin, Kuusinen. – Hamburg, 1925. – S. 141 (Kun)

- ⁵ Все вышеприведенное взято в основном из статьи Куна; дословные цитаты – из статьи Куусинена (S. 226)
- ⁶ Der Sowjetkommunismus. Dokumente. Hrsg. von Hans-Joachim Lieber und Karl Heinz Ruffmann. Bd. 1. – Köln-Berlin, 1963. – S.242
- ⁷ Г. Глезерман. Ликвидация эксплуататорских классов и преодоление классовых различий в СССР. – М., 1949. – С. 70
- ⁸ Lenin Werke a.a.O. , Bd.33, S.428 und 209
- ⁹ Ф.М. Ваганов. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром (1928-30 гг.). – С. 216, 218. – Показательно, что для успешной борьбы с правым уклоном использован тот же термин, что для победы над Корниловым, а именно “разгром”.
- ¹⁰ Der Sowjetkommunismus, a.a.O., S. 255 ff
- ¹¹ Ebenda. – S. 259 f.
- ¹² Захватывающие описания, например, в: Iwan L. Solonewitschю Die Verlorenen. 2 Bände. – 1934-1937. Но ср. также: J. Steinberg, a.a.O.(Anm. 5, Kap. II, 4), то есть относительно 1931 года, с применением понятия *раскулачивание* (S. 332).
- ¹³ London, 1958; в особенности глава 12 “The story of Collectivisation”, P. 238-264
- ¹⁴ “Brüder in Not. Dokumente des Massentodes und der Verfolgung deutscher Glaubens- und Volksgenossen im Reich des Bolschewismus”. Hrsg. von der Informationsabteilung des Evangelischen Presseverbandes in Deutschland. – Berlin, 1933. – Письмо с Волги от марта 1933: “Большая деревня (около 8000 жителей) наполовину опустела. <...> И тогда родители идут в Совет и спрашивают, можно ли им съесть тела своих умерших от голода детей”. С Кубани: “Нам становится с каждым днем тяжелее. Уже много деревень, где треть народу вымерла, и еще многие умирают”(S. 6 f.). Мнение наиболее компетентных исследователей склоняется к тому, что Сталин сознательно стремился к уничтожению большей части украинского населения и в особенности украинской интеллигенции. (Robert Conquest, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror Famine. – New York, 1986).
- ¹⁵ Otto Heller, Der Untergang des Judentums. Die Judenfrage/ Ihre Kritik/ Ihre Lösung durch den Sozialismus. – Wien/Berlin, 1931. – S.123 f., 77, 21 f., 154.
- ¹⁶ Stalin Werke, Bd.13, S.36

II.7. Период стабилизации Веймарской республики: 1924-1929 гг.

- ¹ Jäckel-Kuhn, a.a.O. (Anm. 27, Kap. II, 4), S.1210, 1215 f.
- ² Pol. Archiv des AA. IV Ru 366/2, Bd. 1, vol. 091, Bericht vom 28.01. 1925.
- ³ Ausgabe vom 03.07.1925.
- ⁴ Ausgabe vom 29.06.1925.
- ⁵ Pol. Archiv des AA, IV Ru 366/3, vol. 167, Bericht v. 24.02.1925.
- ⁶ Семь томов секретных документов о процессе студентов в Политическом архиве МИДа (под № IV Ru 366) содежат массу информации. Карл Киндерманн впоследствии написал книгу о пережитом на Лубянке под названием: “Zwei Jahre in Moskaus Totenhäusern. Der Moskauer Studentenprozess und die Arbeitsmethoden der OGPU”. – Berlin/Leipzig, 1931.

- ⁷ Hermann Weber, a.a.O. (Anm. 16, Kap. II, 2). – S. 88-93.
- ⁸ Heinz Neumann. Was ist die Bolschewisierung? – Hamburg, 1925. – S. 12, 14, 133, 101, 47.
- ⁹ "Mein Kampf", S.43
- ¹⁰ Ebenda, S. 44 f
- ¹¹ Ebenda, S. 64, 66
- ¹² См., например, Margarete Buber-Neumann, Von Potsdam nach Moskau. Stationen eines Irrweges. – Stuttgart, 1968. – S. 61: "Недели в Килли стали для меня временем интенсивного обучения коммунизму <...> Все стало мне вдруг понятным с чудесной легкостью".
- ¹³ Mein Kampf. – S. 69 f.
- ¹⁴ Там же, стр. 182: "Даже тысячелетия спустя нельзя будет прознести слово "геройство", не вспомнив о подвигах немецкого воинства в мировую войну. Тогда из-под пелены прошедшего проглянет железный фронт серых стальных касок, непоколебимый, незыблемый, памятник бессмертия. Пока живы на земле немцы, они будут помнить, что таковы были некогда сыны их народа".
- ¹⁵ Что Гитлер и после смерти Дитриха Эккарта и Шойбнер-Рихтера был хорошо информирован о происходящем в России (или, если угодно, об ужасах, о которых рассказывали эмигранты), показывает, например, статья в "Фелькишер Беобахтер" от 2/3 апреля 1926 года. Там на первой странице в шести колонках рассказывается о собрании НСНРП в Мюнхене, на котором эмигрант из России профессор Грегор произнес потрясающую речь о злодеяниях ЧК, которую коммунисты "с беспримерной душевной жестокостью" постоянно прерывали шумом и смехом. Присутствие Адольфа Гитлера специально отмечается. Что непосредственная и иногда опасная для Гитлера конфронтация не прекращалась до 1933 года, следует из воспоминаний тогдашнего гауляйтера Галле-Мерзебурга Рудольфа Йордана, молодого учителя-католика, который перешел в НСНРП из-за возмущения коммунистами. Он рассказывает о публичном выступлении Гитлера в Галле, возвращаясь с которого, Гитлер попал в серьезную опасность, когда люди из "Антифы" на несколько мгновений оттеснили полицию от его машины: "По-прежнему молчаливые и мрачные, мы вышли из машины. Волнение Гитлера тоже еще не улеглось. Его взгляд был грозен, когда он сказал мне: "Между этой шайкой убийц и нами невозможны никакие договоренности – и никакая пощада. Вопрос между нами стоит так: мы – или они". (Rudolf Jorgan. Erlebt und erlitten. Weg eines Gauleiters von München bis Moskau. – Leoni, 1971. – S.49).
- ¹⁶ Hamburg, 1925
- ¹⁷ Подробно об истории этого референдума можно прочитать в: Ulrich Schüren. Der Volksentscheid zur Fürstenenteignung... – Düsseldorf, 1978.
- ¹⁸ Ziegfried Bahne, Zwischen "Luxemburgismus" und "Stalinismus". Die "ultralinke" Opposition in der KPD. In: Vjh. f. Ztg. 9 (1961), S. 362.
- ¹⁹ Ebenda, S. 366, 369.
- ²⁰ Со всей возможной детализировкой это сделано в книге: Hermann Weber. Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik. 2 Bde. – Frankfurt, 1969.

- ²¹ Leo Trotzki. Wer leitet heute die Kommunistische Internationale? – Berlin, 1930. – S. 42; Leo Trotzki. Die Wendung der Komintern und die Lage in Deutschland. – Berlin, 1930. – S. 14.
- ²² Zwickau o.J., S.26.
- ²³ Reinhard Kühnl. Die nationalsozialistische Linke 1925-1930. – Meisenheim, 1966. – S.196.
- ²⁴ При этом не следует упускать из виду противоположную разновидность экстремизма, например, тезис Теодора Лессинга о том, что единственная опасность, угрожающая миру, – это белая раса; против этого высказывания резко ополчился Альфред Розенберг на Нюрнбергском съезде партии в 1927 году (Der Reichsparteitag der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Nürnberg 19./21. August 1927. Der Verlauf und die Ergebnisse der Beratungen. Hrsg. von Alfred Rosenberg und Wilhelm Weiß. – München 1927, S. 37).
- ²⁵ Mein Kampf, a.a.O., S. 754.
- ²⁶ Thomas Kunz. Arbeitermörder und Putschisten. Der Berliner “Blutmai” von 1929 als Kristallisationspunkt des Verhältnisses von KPD und SPD vor der Katastrophe. – In: IWK, 22 Jg., Heft 3 (Sept.1986), S. 297-317. S.299.
- ²⁷ Ausgabe vom 03.05.1929.
- ²⁸ Die Rote Sturmflagge vom 04.05.1929.
- ²⁹ Abendausgabe vom 02.05.1929.
- ³⁰ 3 мая 1929 г.; это и многие другие высказывания прессы собраны в: Gsta, Rep. 219, Nr.47.

II.8. Государственные отношения между Германией и Советским Союзом

- ¹ Winfried Baumgart. Deutsche Ostpolitik 1918. Von Brest-Litowsk bis zum Ende des ersten Weltkrieges. – Wien und München, 1966. – S. 317.
- ² Сравни его меморандум от апреля 1919 г. в: Herbert Helbig. Die Moskauer Mission des Grafen Brockdorf-Rantzau. (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Bd. 2. – Berlin, 1955). – S. 286-344, S. 291 f.
- ³ Otto Geißler. Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit. Hrsg. von Kurt Sendtner. – Stuttgart, 1958. – S. 185-188.
- ⁴ Karl Radek. Deutschland und Rußland. Ein in der Moabiter Schutzhaft geschriebener Artikel für “richtiggehende”Bourgeois. – Berlin, 1920, S.12. – Эта статья написана, следовательно, весной 1919 года, когда Радек принимал в своей камере в тюрьме Моабит не только коммунистов, но и буржуазных политиков и хозяйственных руководителей (в том числе Ратенау) в качестве как бы неофициального посла Советской республики. Статья была впервые опубликована в: “Die Zukunft”, Nr.19 от 7 февраля 1920 года.
- ⁵ Lenin. Werke. Ergänzungsband: Oktober 1917- März 1923. – S. 421-423.
- ⁶ Номера VB от 24.04 и 29.04.1922.
- ⁷ Helbig, a.a.O., S.329, 334. – Очень поучительны собранные в Политическом архиве МИД под рубрикой “Kupferberg gold”секретные беседы Брокдорфа-Ранцау с 1923 по 1928 год. В одной из своих последних бесед (в Берлине, 01.08.1928) он называет “близость”немецко-русских отноше-

ний "в большой мере блефом", высказывается о "свинской Антанте" (разговор с генералом Гассе 21.02.1923) и отзывается о "травле г-на Зиновьева, или Апфельбаума" (разговор с Чичериным 25.02.1925). Несмотря на это, "Правда" поместила 11.09.1928 хвалебный некролог "самому лояльному, самому доброжелательному, самому доступному и потому самому приятному из буржуазных послов в Красной Москве", который был при этом "тщеславным, аристократически гордым графом". [Gustav Hilger, a. a. O. (Anm. 8 zu Kap. I). – S. 99].

- ⁸ Günter Rosenfeld. Sowjet-Rußland und Deutschland. 2 Bde, 1917-1922 und 1922-1923. Bd. II. – Köln, 1984. – S. 121.

⁹ См. выше: II, 7.

¹⁰ Ср.: G. Hilger, a. a. O., S. 218.

¹¹ Augur. Soviet versus Civilisation. London, o.J. (1926). – P. 74 f.

¹² Jean Herbette. Ein französischer Diplomat über bolschewistische Gefahr. – Berlin, 1943. – S. 147 f.

¹³ Die Rote Armee und die Rote Flotte. – Hamburg-Berlin, 1932. – S. 23.

¹⁴ F. A. Krummmacher/Helmut Lange. Krieg und Frieden. Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen. Von Brest-Litowsk bis zum Unternehmen Barbarossa. – München und Esslingen, 1970. – S. 502 f.

¹⁵ ADAP. Serie B, 1925-1933. Bd. 11. – S. 481.

¹⁶ Ebenda. – SA. 502 f.

¹⁷ См. об этом Heinz Höhne. Krieg im Dunklen. Macht und Einfluß des deutschen und russischen Geheimdienstes. – Gütersloch, 1985. – S. 270 ff.; Walter Krivitsky. Ich war in Stalins Dienst. – Amsterdam, 1940, S. 64; Franz Feuchtwanger. Der militär-politische Apparat der KPD in den Jahren 1928-1935. Erinnerungen. – In: IWK, S. 485-533, S. 492.

¹⁸ Сталин, отвечая Эмилю Людвигу 13 декабря 1931 года, задавал риторический вопрос, является ли это признанием Версальской системы. По его мнению, нет. Или гарантией границ? Тоже нет. Согласно Сталину, СССР никогда не был и не буде гарантом Польши. – J. W. Stalin, Werke, Bd. 13, Berlin 1955, S. 103 ff. Более раннее и еще более резкое утверждение ревизионистской точки зрения Советского Союза см. там же: Bd. 7. – S. 235 ff.

II.9. Гражданская война ограниченного масштаба в Германии

¹ Текст заявления содержится в: Hermann Weberю Der deutsche Kommunismus, a. a. O. (Anm. 16, Kap. II, 2), S. 58-65.

² Heinrich Fränkel – Roger Manvell, Hermann Göring, Hannover 1964, S. 57.

³ In Lande der Roten Fahne. Bericht der zweiten Arbeiterdelegation über Sowjetrußland. – Berlin, o.J. (вероятно 1927)ю – S. 152. Однако нередко случалось, что участники по возвращении отмежевывались от коллективных заявлений, как, например, *свободомыслящий пролетарий*, который уже в 1926 году резко критиковал почитание Ленина и культ Сталина (Erich Mäder, Zwischen leningrad und Baku. Was sah ein proletarischer freidenker in Sowjetrußland? – Windischleuba, 1926).

⁴ "Kampf um die Scholle." Das Bauernhilfsprogramm der KPD. – Berlin, 1931. – S. 19.

- ⁵ "Marxismus für Antimarxisten. Ein Wegweiser für Gegner, die ihn kennenlernen wollen". – Berlin, 1931. – S.7.
- ⁶ Hamburg, 1925. – S. 11, 9, 17.
- ⁷ "Volksrevolution gegen Faschismus". Rede des Genossen Walter Ulbricht vor den Funktionären der KPD. – Berlin, o.J. – S. 25, 32.
- ⁸ "Stadtpfarrer Eckert, Mannheim, kommt zur KPD. Kirche und Kommunismus". – Mannheim, o.J. – S.21, 24.
- ⁹ Bayreuth, 1931. – S.29, 3.
- ¹⁰ Dr. J. Goebbels. Der Nazi-Sozi. Fragen und Antworten für den Nationalsozialisten. – München, 1929. – S.4, 7.
- ¹¹ München, 1930.
- ¹² Geh. StA, Rep.219, Nr.68, fol. 264.
- ¹³ Ebenda, fol. 191 f.
- ¹⁴ Ebenda, fol. 147.
- ¹⁵ Ebenda, fol. 174.
- ¹⁶ Ebenda, fol.69.
- ¹⁷ Ebenda, Nr.34, fol. 67.
- ¹⁸ Die Weltbühne 23. Jg. (1927), Nr. 30. S.152 f. ("Dänische Felder" von Ignaz Wrobel.). – В "Собрании сочинений" Тухольского (Gesammelte Werke. Bd.5. – S.266) это место изменено прибавлением фразы: "К сожалению, это случается всегда не с теми, с кем надо". В основе здесь лежит противопоставление между полями Дании, где мир царит уже с 1917 года, и Германией 1927 года, где якобы снова готовится война. Это место у Тухольского не было *открыто неонацистскими авторами* вроде Эмиля Аретца ("Hexeneinmaleins einer Lüge". – Pähl/Obb., 1973. – S.106), оно цитировалось уже в национал-социалистской литературе, например, у Германа Эссера в: Die jüdische Weltpest. Judendämmerung auf dem Erdball. – München², 1939. – S.218. Поэтому вполне возможно, что Гитлеру оно тоже было знакомо.
- ¹⁹ Berlin, 1928. – S.14 f.
- ²⁰ "Der Rattenfänger von Braunau. Die Tragödie Deutschlands". – Meißen, 1932. – S.3, 7.
- ²¹ Herbert und Elisabeth Weichmann. Alltag im Sowjetstaat. Wie heute der Arbeiter in Sowjetrußland lebt. – Berlin, 1932. – S. 18, 79, 94.
- ²² Leo Trotzki. Soll der Faschismus wirklich siegen? Deutschland – der Schlüssel zur internationalen Lage. – In: "Schriften über Deutschland", Bd. 1. – Frankfurt, 1971. – S.157 f.
- ²³ Ebenda, S. 159.
- ²⁴ Дословная цитата взята из: E.Mahlmeister. Rußland und der Bolschewismus. Rußland und wir. – Freiberg i.S., 1926; цитировано по: Louis Dupeux. Nationalbolschewismus. – In: Deutschland 1919-1933. – München, 1985. – S.288. Это сочинение интересно как духовное предвосхищение разделения Германии на Восточную и Западную, но Никиш со своей полемикой против юго-восточной, *романизированной* части Германии защищает по сути весьма похожие взгляды.

- 25 "Erwachendes Volk. Briefe an Leutnant a.D. Richard Scheringer". – Berlin, 1931. – S.6.
- 26 Ebenda, S.13.
- 27 Переиздание: Frankfurt a.M., 1971.
- 28 Ebenda, S.217, 219.
- 29 UuF, Bd. VII, S. 377 ff.
- 30 В последовавшем вскоре контрсчете коммунисты обозначили 15 000 своих убитых или раненых сторонников.
- 31 Martin Broszat, Die Anfänge der Berliner NSDAP 1926/1927ю – In: Vjh. f. Ztg. 8, 1960, S.85 – 118. – Перепечатанные документы составлены основателем НСБО, Рейнгольдом Муховым, приведенное описание находится на стр. 115-118. Мартин Бросцат пишет во введении, что постоянным противником была прежде всего КПГ: "Почти все было связано с ней, она была оправданием собственного существования, образцом и фанатично преследуемым врагом одновременно"(стр. 91). К сожалению, Бросцат тем не менее употребляет понятия вроде "потеря корней в буржуазном обществе"и "чернь". Чтение воспоминаний членов СА, собранных в Бундесархиве (NS 26/528) не оставляет, однако, сомнений, что с обеих сторон основную массу приверженцев составлял *простой народ* и что линия разрыва часто проходила внутри семей. Хорошее описание борьбы за ресторанички и за целыепортовые кварталы см.: Eve Rosenhaft. Beating the Fascists. The German Communists and Political Violence 1929-1933. – Cambridge, 1983.
- 32 UuF, Bd. VIII, S. 444. – Описания можно найти , как и для Кровавого воскресенья в Альтоне, как в "Фёлькишер беобахтер", так и в "Роте Фане", а также во многих других газетах. Различия состоят в основном в оценке.
- 33 Так в "RF" (09.06.1931): "Наш суд будет коротким".

II.10. Канун захвата власти национал-социалистами

- 1 См. переписку между бывшим немецким кронпринцем и генералом Гёрингом в: Dorothea Groener-Geyer. General Groener – Soldat und Staatsmann. – Frankfurt, 1955. – S.311 ff.
- 2 Uuf, Bd. VIII, S. 339.
- 3 Schulthess, 1929. – S.25.
- 4 Erich Matthias und Rudolf Morsey (Hrsg.). Das Ende der Parteien 1933. – Düsseldorf, 1960. – S.629.
- 5 RF от 7.8.1931 (и во всех остальных газетах Пруссии).
- 6 Uuf, Bd. VIII, S. 193.
- 7 Там же. С. 143.
- 8 Там же. С. 575.
- 9 Там же. С. 658.
- 10 См. выше: II, 5.
- 11 UuF, Bd. VIII, S.48.
- 12 Там же, S. 215.
- 13 Berlin, 1932 (в оригинале "German Crises").
- 14 Geh. St.A. Rep. 219, Nr.80, fol. 120 ff.

- ¹⁵ Там же, fol.95, 259.
- ¹⁶ Там же, fol. 187 ff.
- ¹⁷ Там же, fol. 259.
- ¹⁸ Matthias und Morsey, a.a.O. S. 723 ff.
- ¹⁹ Rep.219, Nr.80, fol.220.
- ²⁰ Zeitschrift für Geschichtswissenschaft VI (1958), S.457 ff.
- ²¹ Uuf, Bd.VIII, S.694 (формально письмо было написано госсекретарем Мейснером).
- ²² См. Axel Schildt. Militärdiktatur mit Massenbasis? Die Querfrontkonzeption der Reichswehrführung um General von Schleicher am Ende der Weimarer Republik. – Frankfurt/New-York, 1981.
- ²³ 13. Jg. 1933, №.13 от 27 января (речь Кнорина).
- ²⁴ RF от 24. 1. 1933.
- ²⁵ Там же, 26.01.1933.
- ²⁶ VB vom 1/2.01.1933.
- ²⁷ См. выше: II, 5.
- ²⁸ См. выше: I, 1.
- ²⁹ Lutz Graf Schwerin von Krosigk, Staatsbankrott. Die Geschichte der Finanzpolitik des Deutschen Reiches von 1925 bis 1945. – Göttingen, 1974. – S.106.
- ³⁰ Protokoll des Vierten Kongresses der Kommunistischen Internationale. – Hamburg, 1923. – S. 44 f.

III. Враждебные идеологические государства в период мира 1933-1941 гг.

III.1.Национал-социалистская Германия и коммунистический Советский Союз в 1933-1934 гг.

- ¹ Ср. высказывание Макса Вестфalia на заседании фракции СДПГ в рейхстаге от 10 июня 1933 года: “Но в любом случае одно установлено прочно: это огромное движение никогда не смогут потрясти из-за границы маленькие группы нашей партии (Оживление в зале, одобрителные возгласы)”. – “Das Ende der Parteien” (Anm. 4 zu II, 10). – S. 258.
Юлиус Лебер писал своей жене из тюрьмы предварительного заключения: “Марксистский социализм был слишком доктринерским и потому слишком неплодотворным и бездеятельным, коммунизм – слишком русским. Но приходит новое, пусть даже не благодаря Гитлеру, но все-таки приходит новое” (Dorothea Beck. Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Widerstand. – Berlin, 1933. – S. 249)
- ² Заметки Герберта Венера в: Zeugnis. Hrsg. Gerhard Jahn. – Köln: 1984. – S. 34, 63 ff. – Большой интерес представляют биографии 504 персон из руководящего корпуса КПГ в: H.Weber. Wandlungen des deutschen Kommunismus. Bd. 2. – Лишь один единственный из них (Бертольд Карване) стал –

уже в 1927 году – видным национал-социалистом. На немалая часть коммунистических руководителей вписалась в Третий Рейх. Из них у Вебера отсутствует депутат Рейхстага Мария Реезе.

- 3 Martin Rector. Über allmähliche Verflüchtung einer Identität beim Schreiben. Überlegungen zum Problem des “Renegatentums” bei Max Barthel. // Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften 10. Kunst und Kultur im deutschen Faschismus. – Stuttgart: 1978. – S. 261-284, 262.

- 4 Rundschau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegungen 1933. – S. 827.

- 5 Ebenda. – S. 884.

- 6 Deutschland-Berichte der Sopade. Erster Jahrgang 1934. – Neudruck Frankfurt, 1980. – S. 10, 29 ff und passim.

- * *Milieu* – среда, уклад – прим. ред.

- 7 Detlev Peukert. Die KPD im Widerstand. Verfolgung und Untergrundarbeit an Rhein und Ruhr 1933 bis 1945. – Wuppertal, 1980. – 121 f.

- 8 См. выше: Anm. 28 zu Kap. II, 1.

- 9 Max Domarus. Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945. Bd. I. – Würzburg, 1962. – S. 68-90, 77. (Этот текст отнюдь не был засекречен, напротив, он сразу же был дважды опубликован, сперва в сокращенном виде – в VB от 19.04.1932, а затем как брошюра – “Vortrag Adolf Hitler vor westdeutschen Wirtschaftlern im Industrie-Klub zu Düsseldorf”. – München, 1932).

- 10 См. выше: II, 9.

- 11 Thilo Vogelsang. Hitlers Brief an Reichenau vom 4. Dezember 1932. – In: Vjh. für Ztg. Bd. 7 (1959). – S. 429-437, S. 434.

- 12 Ср. например, слова Сталина из его речи о результатах выполнения первого пятилетнего плана 7 января 1933 года: “Безработным отказывают в пропитании, потому что они не способны за него платить”. – Stalin Werke. Bd. 13. – S. 117. – Ср. выше: I, 1. – Ни один дипломат не мог выступить против речи Сталина, поскольку она не касалась ни одного определенного государства в отдельности.

- 13 ADAP, Serie C, Bd. I, 1. – S. 252.

- 14 См. там же: S. 143. – Особо важную роль с французской стороны играл Э.Эррио, который после парламентских выборов в мае 1932 года как лидер радикальных социалистов был до декабря 1932 года министром-президентом и который немного позже совершил широко освещавшееся в печати путешествие по Советскому Союзу, которое вызвало ожесточенную критики не только в кругах русской эмиграции.

- 15 ADAP, a.a.O., S. 418.

- 16 Ebenda. Bd. I, 2. – S. 737.

- * Т. е. народный комиссар – прим. пер.

- 17 Stalin, a.a.O., S. 270.

- 18 «Конечно, мы далеки от того, чтобы восхищаться фашистским режимом в Германии. Тем не менее дело здесь заключается не в фашизме, как показывает уже тот факт, что фашизм, например, в Италии, не помешал установить наилучшие отношения с этой страной”(Ebenda, S. 269). Сталин видит проблему скорее в изменении германской политики, которая уже до января 1938 года оставила старую линию (Рапалло). В этой связи он упо-

минает (в 1934 году!) Гугенберга и Розенберга как особо авторитетных поборника новой линии.

¹⁹ Ebenda, S. 13, 23.

²⁰ Michail Heller – Alexander Nekrich. Geschichte der Sowjetunion. 2 Bde. Bd. I. – Königstein, 1981. – S. 247 f.

²¹ Ebenda, S. 244.

²² Stalin, a.a.O., S. 238. – Высказывание Р. Робинса в беседе со Сталиным.

²³ Ebenda, S. 160 f.

²⁴ Stalin, a.a.O., S. 264.

²⁵ Ebenda, S. 265.

²⁶ Ebenda.

²⁷ Jean Ellenstein. Histoire de l'U.R.S.S. Tome II. – Paris, 1973. – P. 197. – Сталин, подобно Кирову, Кагановичу и Жданову, также был назван просто *секретарем*, едва ли вследствие оплошности (Leonard Schapiro. Die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. – Frankfurt, 1961. – S. 422).

²⁸ Heller – Nekrich, a.a.O., Bd. I, S. 238.

²⁹ Stalin, a.a.O., S. 141.

³⁰ Ebenda, S. 205, 185.

III.2. "Путч Рема" и убийство Кирова в 1934 году

¹ UuF, Bd. X, S. 152.

² Ebenda, S. 157.

³ Ebenda, S. 157 ff.

⁴ Ebenda, S. 219.

⁵ См. выше: II, 4.

⁶ UuF, Bd. X, S. 218.

⁷ Ebenda, S. 282.

⁸ Walter G. Krivitsky, a.a.O., (Anm. 17 zu II/8). – Свидетельство Кривицкого правдоподобно еще и потому, что он уже после перехода на сторону Запада или Америки был убит в Нью Йорке агентом НКВД.

⁹ Ebenda, S. 18.

¹⁰ Хрущев не называет имя Сталина напрямую, а говорит лишь о том, что последующим расстрелом ответственных работников НКВД "хотели" устранить следы, оставленные организаторами убийства Кирова. То, как его поняли слушатели, показывает пометка в стенограмме против этих слов: "Оживление в зале" («Chruschtschows historische Rede» in: Ost-Probleme. 8. Jahr 1956. – S. 867-897, S. 875).

¹¹ Iwan Solonewitsch. Die Verlorenen. Eine Chronik namenlosen Leidens. Zweiter Teil: Flucht aus dem Sowjetparadies 1934. – Berlin-Essen-Leipzig, 1937. – S. 150 ff.

¹² Schapiro, a.a.O. (III, 1, Anm. 27). – S. 425.

¹³ Janet D. Zagoria (Ed.). Power and Soviet Elite. "The Letter of an Old Bolshevik" and other Essays by Boris Nicolaevsky. – London, 1966. – S. 26-65. – Далее я опираюсь преимущественно на этот текст.

III.3. Мировая политика в 1935-1936 гг.

- ¹ Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten 1934-1935. Teil 1, bearbeitet von Michael Freund. – S. 65 ff. (Речь Гесса на восточно-прусском гаутаге в Кёнигсберге 08. 07. 1934.)
- ² Hans Buchheim. Glaubenskampf im Dritten Reich. – Stuttgart, 1953. – S. 170.
- ³ MEW. Bd. 2. – S. 116.
- ⁴ München, o.J. – S. 5,8.
- ⁵ Martin Gilbert. Britain and Germany between the Wars. – London, 1964. – P. 73.
- ⁶ Nahum Goldmann. Mein Leben als deutscher Jude. – München, 1980. – S. 311.
- ⁷ Jane Degras. The Communist International 1919-1943. T. I. – London, 1956. – P. 348.
- ⁸ Ср. выше: II, 8.
- ⁹ Weltgeschichte der Gegenwart, a.a.O., S. 209 ff.
- ¹⁰ Freiherr Geyr von Schweppenburg. Erinnerungen eines Militärattaches. London 1933-1937. – Stuttgart, 1949, S. 88.
- ¹¹ Weltgeschichte der Gegenwart, a.a.O., Bd. 3, S. 248 f.
- ¹² Stalin. Werke. Bd. 13. – S. 270.
- ¹³ Ebenda, S. 272.
- ¹⁴ Stalin. Fragen des Leninismus. – Berlin, 1955. – S. 665-668.
- ¹⁵ Weltgeschichte der Gegenwart, a.a.O., 1934-1935, Teil 1, S. 408-413.
- ¹⁶ Paul Schmidt. Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945. – Bonn, 1950. – S. 294 ff.
- ¹⁷ UuF, Bd. X, S. 342 f.
- ¹⁸ Weltgeschichte der Gegenwart, a.a.O., 1934-1935, Teil 1, S. 162.
- ¹⁹ Gilbert, a.a.O., P. 82.

III.4. Германия и Советский Союз в гражданской войне в Испании

- ¹ Точные цифры см.: Raymond Carr (Ed.). The Republic and the Civil War in Spain. – London, 1971. – P. 161.
- ² John W. Coverdate. Italian Intervention in the Spanish Civil War. – Princeton. 1975. – P. 81.
- ³ David W. Pike. Les Francais et la guerre d'Espagne. – Paris, 1975. – P. 65.
- ⁴ Burnet Bolloten. The Grand Camouflage. The Communist Conspiracy and the Spanish Civil War. – London, 1961. – P. 221.
- ⁵ ADAP, Serie D, Bd. III, Deutschland und die Spanische Bürgerkrieg, S. 95, 102, 104 f. usw.
- ⁶ Coverdate, a.a.O., P. 258.
- ⁷ Wilfred von Oven. Hitler und der Spanische Bürgerkrieg. Mission und Schicksal der Legion Condor. – Tübingen, 1978. – S. 61.
- ⁸ Партсъезд чести, который проходил с 8 по 14 сентября 1936 года. Официальный отчет о ходе съезда и все выступления на нем были изданы тогда же: Offizieller Bericht über den Verlauf des Reichsparteitages mit sämtlichen Kongressreden. – München, 1936. – S. 27, 82, 98. – Серьезное изменение общей картины вытекает из следующего пассажа в заключительной речи

Гитлера: “Некогда мы не смогли оградить Германию от большевизма, так как мы думали о чем-то вроде консервации буржуазного мира или даже о придании ему новой свежести. Если бы коммунизм помышлял действительно только об устранении отдельных загнивающих элементов из лагеря наших так называемых высших “десяти тысяч”, то можно было бы совершенно спокойно какое-то время наблюдать за ним.. Но целью коммунизма является не освобождение народов от всего больного, а, напротив, искоренение всего здорового, даже самого здорового, чтобы на его место насадить самое разложенное”(Ebenda, S. 294.). Позже в “Застольных беседах” Гитлер нередко весьма позитивно отзывался о “красных испанцах” и отрицательно – о реакционных силах вокруг Франко.

⁹ Pierre Broue' – Emile Temine. La revolution et la guerre d'Espagne. – Paris, 1961. – P. 242.

¹⁰ Ebenda, P. 254.

¹¹ Weltgeschichte der Gegenwart, Bd. 5, S. 340 f.

¹² Ilja Ehrenburg. Menschen, Jahre, Leben. Autobiographie. Bd. 2. – München, 1965. – S. 184.

III.5. “Большая чистка” и пафос великого строительства в СССР

¹ Robert Conquest. Am Anfang starb Genosse Kirow. Säuberungen unter Stalin (Originaltitel “The Great Terror”). – Düsseldorf, 1970. – S. 145. – Стенографические отчеты о трех инсценированных процессах появились в Москве в 1936, 1937 и 1938 гг. на французском и английском языках. Сегодня они имеют только социальный или, лучше сказать, партийно-психологический интерес.

² Chruschtschow, a.a.O. (Anm. 10 zu III, 2), S. 875.

³ Walter Schellenberg. Aufzeichnungen. – Wiesbaden und München, 1979. – S. 44-50 (книга сперва вышла в Лондоне в 1956 году под названием “Мемуары Шелленберга”).

⁴ Conquest, a.a.O., P. 577.

⁵ ADAP, C, Bd. VI, 1. – S. 381 f.

⁶ Ebenda. Bd. VI, 2. – S. 913 f.

⁷ Krivitsky, a.a.O. (Anm. 17 zu II, 8). – S. 167 ff.

⁸ Ebenda, S. 175.

⁹ Merle Fainsod. Smolensk under Sovjet Rule. – London, 1958. – P. 424.

¹⁰ Conquest, a.a.O., S. 629.

¹¹ Ebenda, S. 624.

¹² Ebenda, S. 365.

¹³ Hermann Remmele. Die Sovjetunion. 2 Bde. – Hamburg-Berlin, 1932.

¹⁴ Zagoria, a.a.O. (Anm. 13 zu III, 2). – S. 61.

¹⁵ Merle Fainsod. How Russia is Ruled. – Cambridge, 1963. – P. 42.

¹⁶ Stalin. Werke. Bd. 13. – S. 26.

¹⁷ Conquest, a.a.O., S. 547.

III. 6. Триумф Гитлера и консенсус народной общности

- ¹ ADAP, Serie D, Bd. 1. – S. 25 ff.
- ² IMG, Bd. XXXVII. – S. 594 ff.
- ³ Ср. выше: II, 7.
- ⁴ Vgl. Ernst Nolte, a.a.O. (Anm. 1 zu II, 2). – S. 466 ff.
- ⁵ IMG, Bd. XXVIII. – S. 356 f.
- ⁶ Kurt von Schuschnigg. Ein Requiem in Rot-Wess-Rot. – Zürich, 1946. – S. 38-44.
- ⁷ IMG, Bd. XXXIV. – S. 734 ff.
- ⁸ ADAP, Serie D, Bd. VII. – S. 734 ff.
- ⁹ IMG, Bd. XXV. – S. 415.
- ¹⁰ Wenzel Jaksch. Europas Weg nach Potsdam. Schuld und Schicksal im Donauraum. – Stuttgart, 1958. – S. 509.
- ¹¹ ADAP, Serie D, Bd. 1. – S. 55, 47.
- ¹² Ebenda, S. 52.
- ¹³ Joseph E. Davies. Als USA-Botschafter in Moskau ... – Zürich, 1943. – S. 266.
- ¹⁴ Roosevelts Weg in den Krieg ... – Berlin, 1943. – S. 47 f.
- ¹⁵ ADAP, Serie D, Bd. II. – S. 501 ff.
- ¹⁶ Jane Degras, a.a.O. (Anm. 33 zu II, 4). – S. 2.
- ¹⁷ «Лишь с одним единственным государством мы не пытались установить отношения и не желаем также вступать в более тесные отношения: с Советской Россией. Еще больше, чем прежде, мы усматриваем в большевиках инкарнацию человеческого стремления к разрушению. Мы не считаем русский народ как таковой ответственным за эту ужасную идеологию разрушения. Мы знаем: великий народ ввел в состояние этого безумия узкий высший слой еврейских интеллектуалов. Мы поэтому с отвращением воспринимаем всякую попытку распространения большевизма, где бы она ни предпринималась, и там, где сам он нам угрожает, враждебно ему противостоим ...» (UuF, Bd. XI. – S. 377).
- ¹⁸ Ebenda, Bd. XII. – S. 341.
- ¹⁹ Термин «finis Germaniae» [конец Германии] содержится в заметках Бука к докладу главнокомандующему войсками (Wolfgang Förster. Ein General kämpft gegen den Krieg. Aus nachgelassenen Papieren des Generalstabschefs Ludwig Beck. – München, 1949. – S. 102. – Относительно сопротивления в целом см.: Kap. IV, 7.
- ²⁰ Предсказания о том, что из Версальского мира или из *насильственного мира* проистечет новая война или по меньшей мере яростная националистическая реакция, в 1919 и в начале 20-х гг. были слишком многочисленными, чтобы приводить тут отдельные примеры таковых.
- ²¹ Ribbentrop nach ADAP, D, II. – S. 473; Gauleiter Forster nach Ebenda. – S. 529 ff.
- ²² Dokumente und Materialien aus der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Bd. 1. – Moskau, 1948. – S. 323.
- ²³ Слова Уильяма Буллитта из беседы с польским послом в Вашингтоне графом Ежи Потоцким 19 ноября 1938 года (Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Erste Folge. – Berlin, 1940. – S. 8 f.)

*III. 7. Крушение антикоммунистической и антифашистской концепций в
большой европейской политике*

- ¹ Domarus, a.a.O. (Anm. 9 zu III, 1), Bd. 1. – S. 954 ff.
- ² UuF, Bd. XII. – S. 585.
- ³ Ebenda, S. 581.
- ⁴ Domarus, II, 1. – S. 1058.
- ⁵ Wikhelm Treue. Rede Hitlers vor der deutschen Presse (10 November 1938). – In: Vjh. F. Ztg., 6. Jg. 1958. – S. 175-191, S. 188.
- ⁶ Hans-Adolf Jacobsen und Werner Jochmann. Ausgewählte Dokumente zur Geschichte des Nationalsozialismus. Lieferung II 1933-1945. Rede vom 25.01.1939. – S. 7.
- ⁷ ADAP, D, Bd. IV. – S. 76.
- ⁸ Roosevelts Weg in den Krieg, a.a.O. (Anm. 14, Kap. III, 6). – S. 73.
- ⁹ Blaubuch der Britischen Regierung über die deutsch-polnische Beziehungen und den Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Grossbritannien und Deutschland am 3. September 1939. – Basel, 1939. – 5-12.
- ¹⁰ The Earl of Birkenhead: Halifax. The Life of Lord Halifax. – London, 1965. – P. 434.
- ¹¹ ADAP, D, Bd. V. – S. 87 ff.
- ¹² Blaubuch, a.a.O. – S. 44 f.
- ¹³ DBFP, Series III, Bd. V. – S. 422 f.
- ¹⁴ Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Erste Folge. – Berlin, 1940. – S 28 ff.
- ¹⁵ Grigore Gafencu. Europas letzte Tage. Eine politische Reise im Jahre 1939. – Zürich, 1946. – S. 55 ff.

*III. 8. Гитлеровско-сталинский пакт как начало европейского пролога к
второй мировой войне*

- ¹ Robert Coulondre. Von Moskau nach Berlin, 1936-1939. – Bonn, 1950. – S. 240.
- ² Ср. ниже: IV, 7.
- ³ ADAP, Serie D, VI, 1. – S. 426 f.
- ⁴ ADAP, D, VI, 2 passim.
- ⁵ Ebenda, S. 529.
- ⁶ Ebenda, S. 847 f.
- ⁷ Ebenda, Bd. VII, S. 52.
- ⁸ Ebenda, S. 140 f.
- ⁹ Dokumente und Materialien zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Bd. II. – Moskau, 1948. – S. 127.
- ¹⁰ ADAP, a.a.O., Bd. VII. – S. 125 f., 205 f.
- ¹¹ Ebenda, S. 206 f.
- ¹² Ebenda, S. 191 ff.
- ¹³ Ebenda, S. 541.
- ¹⁴ Ebenda, S. 170.

- ¹⁵ Hans-Günther Seraphim (Hrsg.). Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs aus den Jahren 1934-1935 und 1939-1840. – Göttingen, 1956. – S. 75, 72.
- ¹⁶ Carl J. Burckhardt. Meine Danziger Mission 1937-1939. – München, 1960. – S. 339 ff.
- ¹⁷ Gafencu, a.a.O. (Anm. 15, Kap. III, 7). – S. 88.
- ¹⁸ Domarus, Bd. II, I. – S. 1315.
- ¹⁹ UuF, Bd. XIII, S. 647.
- ²⁰ IMG, Bd. XXVI. – S. 169.

III.9. Хрупкий союз – триумфы, выгоды, противоречия

- ¹ ADAP, D, Bd. VIII. – S. 27.
- ² Degras, a.a.O. (Anm. 33 zu II, 4). Bd. III. – S. 374.
- ³ Ebenda, S. 190 ff.
- ⁴ Dokumente der Deutschen Politik und Geschichte. Bd. V. – Berlin, o.J. – S. 131.
- ⁵ ADAP, D, Bd. VIII. – S. 129.
- ⁶ Ausgabe vom 28. Dezember 1939. – S. 1959.
- ⁷ Denkschrift Himmlers über die Behandlung der Fremdvölkischen im Osten (Mai 1940). – In: Vjh. F. Ztg., 5. Jg, 1957, S. 194-198, S. 198.
- ⁸ UuF, Bd. XIV. – S. 171.
- ⁹ Martin Broszat. Nationalsozialistische Polenpolitik 1943-1945. – S. 41.
- ¹⁰ In: "Denkschrift", a.a.O. – S. 197.
- ¹¹ Hans Rotfels. Ausgewählte Briefe von Generalmajor Helmut Stieff. – In: Vjh. F. Ztg., 2. Jg., 1954. – S. 291-305, S. 300.
- ¹² "Denkschrift", a.a.O., S. 197.
- ¹³ Jahrbuch für auswärtige Politik. 7. Jg., 1941. – S. 183 ff.
- ¹⁴ ADAP, D, Bd. VIII. – S. 685 ff.
- ¹⁵ Ebenda, S. 474 ff.
- ¹⁶ Ebenda, S. 695 ff.
- ¹⁷ Der völkerrechtliche Hintergrund des russisch-finnischen Konflikts. – Stockholm, 1940. – S. 37 f.
- ¹⁸ Vgl. "Die Geheimakten des französischen Generalstabes". – Berlin, 1941. [Здесь имеется в виду "сидячая война" Германии с Францией и Англией – прим. ред.]
- ¹⁹ Erich Kordt. Nicht aus den Akten ... – Stuttgart, 1950. – S. 359 ff.
- ²⁰ IMG, Bd. XXVI, S. 327 ff.
- ²¹ Deutschland im Kampf. Hrsg. von A.I. Berndt und Obstlt. Von Wedel. – Berlin, 1939. Lieferung 5. – S. 28 ff.
- ²² Hillgruber a.a.O (Anm. 28 zu III, 9). Bd. II. – S. 522 ff. – "Der Grossdeutsche Freiheitskampf". Reden Adolf Hitlers. Bd. I/II. – München, 1943. – S. 276.
- ²³ Winston Churchill. His Complete Speeches. Vol. VI. – London, 1974. – S. 6250.
- ²⁴ Ebenda, S. 6242.
- ²⁵ Dokumente zur Deutschlandpolitik der Sowjetunion. Bd. 1. – Berlin, 1957. – S. 238 ff.

- ²⁶ ADAP, D, Bd. XI/1. – S. 462 ff.
²⁷ ADAP, D, Bd. IX, S. 1 ff.
²⁸ Andreas Hillgruber (Hrsg.). Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler. Vertrauliche Aufzeichnungen über Unterredungen mit Vertretern des Auslandes 1939-1941. – Frankfurt, 1967. – S. 345.
²⁹ Ebenda, S. 384 f.

IV. Структуры двух однопартийных государств.

IV.1. Государственные партии и их вожди.

- ¹ Относительно понятийных различий и вопроса об отношении между ранним социализмом и марксизмом см.: Ernst Nolte. Marxismus und Industrielle Revolution a.a.O. (Anm. 1 zu II, 2), bes. S. 272-280, 457-460. – А также: Ernst Nolte. "Vormarxistischer Sozialismus" – "utopischer Sozialismus". "Frühsozialismus" – Probleme der Begriffsbildung. – In: Sozialismus vor Marx. Hrsg. von Manfred Hahn und Hans-Jörg Sandkühler. – Köln, 184. – S. 19-24 ("Studien zur Dialektik").
² См. выше: III, 5.
³ Adam B. Ulam. The Bolsheviks. – London, 1965. – P. 128.
⁴ Относительно внутривластных разногласий см. выше: II, 6.
⁴ Fainsod, a.a.O (Anm. 13 zu II, 6). – S. 35, 123.
⁶ Trotzki, a.a.O. (Anm. 14 zu II, 1). – S. 58.
⁷ Впрочем, уже в конце 20-х гг. Советский Союз снова стал страной алкоголя, где водку зачастую было проще достать, чем хлеб.
⁸ W.I.Lenin. Werke. Bd. 33. – S. 209.
⁹ Fainsod, a.a.O., S. 442.
¹⁰ Conquest, a.a.O. (Anm. 1 zu III, 5). – S. 157 ff.
¹¹ Fainsod, a.a.O. (Anm. 15 zu III, 5). – S. 178.
¹² Северная Коммуна, 19.09.1918.
¹³ Trotzki, a.a.O, S. 142.
¹⁴ Ebenda, S. 146.
¹⁵ Ebenda, S. 67 f.
¹⁶ Schapiro, a.a.O. (Anm. 27 zu III, 5). – S. 315.
¹⁷ Ulam, a.a.O., S. 199.
¹⁸ Nolte, a.a.O. (Anm. 20 zu II, 4). – S. 404-408.
¹⁹ Такова точка зрения Артура Розенберга еще в 1934 году (Historicus. Der Faschismus als Massenbewegung. Sein Aufstieg und seine Zerstörung. – Karlsbad, 1934. – S. 5).
²⁰ Ernst Rudolf Huber. Verfassungsrecht des Grossdeutschen Reichs. – Hamburg, 1939. – S. 196, 230, 223, 202.
²¹ Sir Nevile Henderson. Failure of a Mission. – New York, 1940. – P. 297.
²² Heller-Nekrich, a.a.O. (Anm. 20 zu III, 1). – S. 75, 123.
²³ Hilger, a.a.O. (Anm. 8 zu I). – S. 301.

- 24 По-видимому, уже Рейнхард Гейдрих подозревал Бормана в том, что в годы своего членства в Фрайкорпе он подвергся давлению со стороны Советов и действовал как агент Сталина (Schellenberg, a.a.O. (Anm. 3 zu III, 5). – S. 256 f.); позже с аналогичным утверждением выступил генерал Гелен ("Der Dienst". – Mainz-Wiesbaden, 1971. – S. 48 f.). Но неопровержимых доказательств этого так и не было приведено.
- 25 Относительно статистических данных по партии см. соответствующую главу в: Schapiro, a.a.O.
- 26 Столь же динамичное, сколь и вразумляющее сообщение по теме отношений еврейства и большевизма находится в самом начале мемуаров Вальтера Кривицкого, у которого, собственно, была другая фамилия – Гинзбург: "В возрасте тринадцати лет я вступил в рабочее движение. Это было наполовину взрослым, наполовину детским поступком. Я слышал, как жалобные напевы моего страждущего народа смешивались с новыми песнями свободы. В 1917 году я был еще юношей, и я воспринимал Октябрьскую революцию как абсолютное решение всех вопросов: бедности, неравенства, несправедливости. Я вступил в большевистскую партию от чистого сердца. Кредо Маркса и Ленина стало для меня оружием борьбы с несправедливостью, против которой я инстинктивно восставал"[Krivitsky, a.a.O. (Anm. 8 zu III, 2). – S. 8].
- 27 Vgl. Michael Kater. The Nazi Party. A Social Profile of Members and Leaders 1919-1945. – Oxford, 1983.
- 28 По этому вопросу стоит в особенности обратиться к работам Юргена В. Фальтера.
- 29 Ernst Nolte (Hrsg.). Theorien über den Faschismus. – Königstein/Ts, 1979. – S. 92.

IV.2. Органы государственной безопасности и террор.

- 1 Чрезвычайная Комиссия, или ЧК. Чрезвычайных Комиссий и тем самым ЧК было великое множество, но ЧК Дзержинского настолько превосходила все прочие по своему значению, что каждый знал, какая комиссия подразумевается под этой аббревиатурой.
- 2 George Legget. The Cheka: Lenin's Political Police. – Oxford, 1981. – P. 58.
- 3 «Северная Коммуна» от 04.09.1918.
- 4 David Shub. Lenin. – Wiesbaden, 1957. – S. 377. – Шайберт (Scheibert, a.a.O. (Anm. 19 zu II, 1)) дает несколько иной перевод и немного расходится в датировке. Источником для него, очевидно, служил вышедший в свет 1 октября или 1 ноября первый номер (недоступного мне) журнала "Красный террор".
- 5 Stalin. Werke. Bd. 10. – S. 204.
- 6 Legget, a.a.O., S. 113.
- 7 Ebenda, S. 112
- 8 См. выше: II, 1.
- 9 Ср. выше: II, 4.
- 10 Georg Popoff. Tschecha der Staat im Staate. – Frankfurt, 1925. – S 277. – Из первоисточника, на который опирается Попов, вытекает несколько иная

картина постольку, поскольку в карательных акциях в за три месяца оккупированном советскими войсками небольшом городке на Дальнем Востоке участвовали разные силы, например, партизаны (A. J. Gutmann, Anatoly Gan. Гибель Николаевска-на-Амуре. Страницы из истории гражданской войны на Дальнем Востоке. – Berlin, 1924).

11 Fainsod, a.a.O. (Anm. 15 zu III, 5). – S. 124.

12 Главное Политическое Управление.

13 Leo Trotzky. Die wirkliche Lage in Russland. – Hellerau, o.J. – S. 8.

14 Vgl. "Der Faschismus in seiner Epoche". – S. 472-482. – Желание углубиться в детали может быть удовлетворено всей литературой, в том числе – книгами Геральда Райтлингера и Хайнца Хёне.

15 См. выше: IV, 2.

16 Reinhard Heydrich. Wandlungen unseres Kampfes. – In: Das Schwarze Korps v. 1. Mai 1935. – S. 9.

17 Heinrich Himmler. Die Schutzstaffel als antibolschewistische Kampforganisation. – München, 1939. – S. 29.

18 Rede über Wesen und Aufgabe der SS und Polizei. – IMG, Bd.XXIX, S. 217.

19 Schellenberg, a.a.O. (Anm. 3 zu III, 5). – S. 55, 199.

20 Ср. для примера: Und Du Siehst die Sowjets Richtig. Berichte von deutschen und ausländischen "Spezialisten" aus der Sowjetunion. Hrsg. von Dr.-Ing. A. Laubenheimer. – Berlin-Leipzig, 1935 (Nibelungen Verlag).

21 Дальнейшего исследования требует следующий вопрос: после 22 июня 1941 года французские и германские полицейские чиновники открыли в советском посольстве в Париже тайную комнату, которая служила для убийства неугодных персон (и среди них, наверное, белого генерала Миллера) и их бесследного уничтожения путем сожжения и химического разложения. Фотографии этого "крематория" были опубликованы в немецкой прессе. Вызвали ли эти находки у германских органов безопасности возмущение, как пытается внушить Шелленберг (S. 298 f.), или они подтверждают предвзятое мнение, или речь идет о манипуляции, призванной обеспечить поддержку немецкой общественностью депортации евреев и "окончательного решения"?

22 Karl.I. Albrecht. Der verratene Sozialismus. Zehn Jahre als hoher Staatsbeamter in der Sowjetunion. – Berlin-Leipzig, 1939. – S. 625. – И эта книга была опубликована в "Nibelungen-Verlag", и как раз это доказывает, что Антикоминтерн так же мало занимался "голой пропагандой", как сам Коминтерн. Впрочем, после войны Карл Альбрехт заявлял, что издательство сделало самочинные сокращения и внесло неавторизованные добавления – по-видимому, как в других книгах, антисемитского свойства (Institut für Zeitgeschichte, Zeugenschrifttum, ZS 804). Интересно также его последующее утверждение, что с мая 1941 года он вместе с бывшими председателями фракций КПГ в рейхстаге и прусском ландтаге Торглером и Каспером некоторое время работал в Восточном отделе Министерства пропаганды.

23 Margarete Buber-Neumann. Als Gefangene bei Stalin und Hitler. – München, 1949. – S. 180.

24 Kindermann, a.a.O. (Anm. 6 zu II, 7). – S. 50.

IV.3. Союзы молодежи.

- 1 Коммунистический Союз молодежи. В связи с последующим см.: Laszlo Revesz. Organisierte Jugend. Die Jugendbewegung in der Sowjetunion. – Bern, 1972.
- 2 Ralph Tacott Fisher, jr. Pattern for Sovjet Youth. A Study of the Congresses of the Komsomol, 1918-1954. – New York, 1959. – P. 41.
- 3 Ebenda, S.94.
- 4 Revesz, a.a.O., S. 74 f.
- 5 Fisher, a.a.O., P. 175.
- 6 Fainsod, a.a.O. (Anm. 11 zu IV,1). – S. 283-306.
- 7 Michael Morozow. Die Falken des Kreml. – München, 1982. – S. 93.
- 8 Fisher, a.a.O., P. 82, 147.
- 9 Heller-Nekrich, a.a.O., Anm. 20 zu III, 1; Bd. I. – S. 171.
- 10 Fisher, a.a.O., S. 178.
- 11 KPdSU über den Komsomol und über die Jugend. – Berlin, 1958. – S. 56 f.
- 12 Walter Z. Laqueur. Die deutsche Jugendbewegung. – Köln, 1962.
- 13 В связи с последующим см.: Hans-Christian Brandenburg. Die Geschichte der HJ. – Köln, 1968.
- 14 Baldur von Schirach. Die Hitlerjugend. Idee und Gestalt. – Berlin, 1934. – S. 34.
- 15 Ср., например, строфу стихотворения из “Книги с картинками для детей рабочих”: “Рано встает ребенок бедняков. С булочками, с теплыми. Буржуазный ребенок еще лежит в постели. Он спит – круглый, толстый и сытый”(«Seid bereit für die Sache Ernst Taelmanns. Eine Auswahl von Dokumenten zur Geschichte der revolutionären Kinderbewegung in Deutschland. – Berlin, 1958. – S. 149).
- 16 Heller-Nekrich, a.a.O., Bd. I, S. 198.
- 17 Mein Kampf. – S. 452.
- 18 Ebenda, S. 393.

IV.4. Самопонимание и понимание других в литературе и пропаганде

- 1 Lieder der Partei. Zusammengestellt von Inge Lammel und Günter Hofmeyer. – Leipzig, 1961. – S. 7 f.
- 2 Ebenda, S. 9 f. [Свободное переложение песни “Смело, товарищи, в ногу”? – прим. пер.]
- 3 Ebenda, S. 26 f.
- 4 Rote Gedichte und Lieder. – Berlin, 1924. – S. 31.
- 5 Ebenda, S. 77.
- 6 Ebenda, S. 76. [Немецкий вариант песни “Молодая гвардия”: “Вперед, заре навстречу!” – прим. пер.]
- 7 Ebenda, S. 67.
- 8 Далее мы следуем Рене Фюлопу-Миллеру: Rene Fülöp-Miller. Geist und Gesicht des Bolschewismus. – Zürich-Leipzig-Wien, 1926. – S. 182-196.
- 9 Demjan Bedny. Die Hauptstrasse. – Wien, 1924. – S. 11 f.

- 10 Harrison E. Salisbury. Bilder der russischen Revolution 1900-1930. – Berlin, 1979. – S. 69, 133, 233, 265, 261.
- 11 Annele und Andrew Thorndike. Das russische Wunder. – Berlin, 1962. S. 108, 122 f., 109.
- 12 Vgl. Kindermann, a.a. O. (Anm. 6 zu II, 7). – S. 32.
- 13 Ср. описания Тамары Солоневич: Tamara Solonewitsch. Hinter den Kulissen der Sowjetpropaganda. Erlebnisse einer Sowjetdolmetscherin. – Berlin, 1937.
- 14 Приведенные немецкие песни и стихотворения можно найти во многих сборниках; измененная СА “Песня молодой гвардии” помещена в “Liederbuch der schlesischen SA”.
- 15 Содержательная полемика главного пропагандиста КПП с национал-социалистской пропагандой имеет мест в: Willi Münzenberg. Propaganda als Waffe. – Paris, 1937.
- 16 Michail Scholochow. Der stille Don. – Gütersloh, o.J. – S. 493, 509, 516, 611, 621, 623.
- 17 Edwin Erich Dwinger. Zwischen Weiss und Rot. Die russische Tragödie 1919-1920. – Jena, 1930. – S. 474, 96, 126, 440.
- 18 Siegfried von Vegesack. Baltische Tragödie. Eine Roman-Trilogie. – Berlin, 1935. – S. 216, 32 f., 390, 256 f.
- 19 Alja Rachmanowa. Studenten, Liebe, Tschecha und Tod. Tagebuch einer russischen Studentin. Neuausgabe. – München, 1978 (zuerst 1931). – S/ 199, 260 f.
- 20 Это высказывание между тем справедливо относительно всей серьезной литературы; так, например, в книге Исаака Бабеля “Конармия”, впервые появившейся на немецком языке в 1926 году, ближе к концу содержится пророчество, которое показывает, в сколь малой степени основные ощущения были определены национально: “Мужик заставил меня прикурить от его огонька. – Жид всякому виноват, – сказал он, – и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается? – Десяток миллионов, – отвечал я и стал взнуздывать коня. – Их двести тысяч останется! – вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался в седло и поскакал к тому месту, где был штаб”. – Исаак Бабель. Избранное. – М., 1989. – С. 116.
- 21 Die Gedichte von Bertolt Brecht in einem Band. – Band, 1981. – S. 1219.

IV.5. Политизированная культура

- 1 Nicolas Berdyaev. The Origins of Russian Communism. – Ann Arbor, 1968. – P. 41.
- 2 Fülöp-Miller, a.a.O. (Anm. 8, Kap. IV, 4). – S. 215 f. (Цит. приведены по изданию: В. В. Маяковский. Собр. соч. в 6 томах, М., 1951, т. 3, с. 123; с. 113-114.)
- 3 Leo Trotzky. Literatur und Revolution. – Berlin, 1968. – S. 212 ff. [Цитируется по: Л. Д. Троцкий, “Литература и революция”, М. 1991, с. 194, с. 196-197]
- 4 Fainsod, Smolensk, a.a.O. (Anm. 13 zu II, 6). – S. 349, 351.

- 5 См. подробнее: Robert A. Maguire. Red Virgin Soil. *Sovjet Literature in the 1920's*. – Princeton, 1968; Edward James Brown. *Russian Literature since the Revolution*. – Cambridge, Mass., and London, 1982.
- 6 C. Vaughan James. *Sovjet Sozialist Realism. Origins and Thery*. – London-Basingstoke, 1973. – P. 104.
- 7 Hans Günther. *Die Verstaatlichung der Literatur*. – Stuttgart, 1984. – S. 33 ff.
- 8 Ebenda, S. 96 ff.
- 9 Hildegard Brenner. *Die Kustpolitik des Nationalsozialismus*. – Hamburg, 1963. – S. 12.
- 10 Подробнее см.: Hildegard Brenner. *Ende einer bürgerlichen Kunst-Institution*. – Stuttgart, 1972.
- 11 UuF, Bd. IX, S. 485.
- 12 Ebenda, S. 490.
- 13 Brenner. *Kunstpolitik*, a.a.O., S. 188 f.
- 14 См. подробнее: Ebenda, S. 63-86.
- 15 См. Детальное изложение: Helmut Langenbucher. *Volkhafte Dichtung der Zeit*. – 1941 (1-е изд. 1933).
- 16 Сопоставление с социалистическим реализмом и набор симптоматических иллюстраций см.: Martin Damus. *Sozialistischer Realismus und Kunst im Nationalsozialismus*. – Frankfurt, 1981.
- 17 См. подробнее: Jost Dülffer, Jochen Their, Josef Henke. *Hitlers Städte. Baupolitik im Dritten Reich. Eine Dokumentation*. – Köln-Wien, 1978. – Jachim Petsch. *Baukunst und Stadtplanung im Dritten Reich*. – München-Wieb, 1976. – Ср. далее альбом "Albert Speer: Architecture 1932-1942". – Bruxelles, 1985. – Важнейшими первоисточниками, разумеется, являются книги Альберта Шпеера. Одним из примечательнейших сообщений Шпеера является то, что он отреагировал с крайним раздражением, когда услышал, что Советский Союз планирует также построить в честь Ленина Дворец Советов, высота которого превышает 300 метров. (Albert Speer. *Erinnerungen*. – Berlin, 1969. – S. 170).

IV.6. Право и бесправие

- 1 Louis Fischer. *Russia's way from Peact to War 1917-1941*. – New York, 1969. – P. 78.
- 2 Leo Trotzki. *Die Geburt der Roten Armee*. – Wien, 1924. – S. 50-52.
- 3 Leggert, a.a.O. (Anm. 2 zu IV, 2). – S. 118.
- 4 См. выше: III, 3.
- 5 Kohn, a.a.O. (Anm. 11 zu II, 1). – S. 498.
- 6 Fülöp-Miller, a.a.O. (Anm. 8 zu IV, 4). – S. 212.
- 7 Lenin. *Werke*. Bd. 29. – S. 287.
- 8 П.Е. Мельгунова-Степанова. *Где не слышно смеха. Типы, нравы и быт ЧК*. – Paris, 1928. – С. 189 ff.
- 9 Kindermann, a.a.O. (Anm. 6 zu II, 7). – 224.
- 10 *Strafgesetzbuch der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjet-Republik (R.S.F.S.R.) vom 22. November 1926 mit Änderungen bis zum 1. August 1930*. Übersetzt von Dr. Wilhelm Gallas. – Berlin und Leipzig, 1931.

- 11 Alexander Solschenizyn. Der Archipel Gulag. – Bern, 1974. – S. 414.
- 12 Heller-Nekrich, a.a.O. (Anm. 20 zu II, 1). Bd.1.- S. 251 f.
- 13 Ebenda, S. 271.
- 14 Akten der Reichskanzlei. Die Regierung Hitler. – Boppard, 1983, Teil I 1933-1934. – S. 163-165.
- 15 Carl. Schmitt. Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles. – Hamburg, 1940. – S. 200. – Но нельзя полностью игнорировать то, что статья Шмитта имела еще и другую целеустановку: она была направлена против всех насильственных актов, которые имели место за рамками интервала 30.06 – 01.07 и без категорического предоставления на то полномочий Гитлером.
- 16 Deutsche Rechtswissenschaft. Hrsg. Von Karl August Eckhardt. I. Band. – Hamburg, 1936. – S. 123.
- 17 Hubert Schorn. Der Richter im Dritten Reich. – Frankfurt, 1959. – S. 64 ff., 584, 649 ff.
- 18 Peter Schneider. Rechtssicherheit und richterliche Unabhängigkeit aus der Sicht des SD. – In: Vjh. F. Ztg. Bd. 4 (1956). – S. 399-422, S. 419.

IV.7. Эмиграция и сопротивление

- 1 «Северная Коммуна» от 02.09.1918.
- 2 Israel Getzler. Martow. A Political Biography of a Russian Social Democrat. – Cambridge, 1967. – P. 195.
- 3 Leonnard Schapiro. The Origin of the Communist Autocracy. Political Opposition in the Sovjet State. First Phase 1917-1922. – London, 1956. – P. 201.
- 4 Hans von Rimscha. Der russische Bürgerkrieg und die russische Emigraton 1917-1921. – Jena, 1924. – S. 114.
- 5 Hans-Erich Volkmann. Die russische Emigration in Deutschland 1919-1929. – Würzburg, 1966. – S. 125.
- 6 v. Rimscha, a.a.O., S. 127 f.
- 7 Roland Gaucher. Opposition in the USSR 1917-1967. – New York, 1967. – P. 123-154.
- 8 Fainsod, a.a.O. (Anm. 11 zu IV, 1). – P. 153.
- 9 Nikolaj Tolstoy. Stalin's Secret War. – New York, 1981. – P. 150.
- 10 Miles, Neubeginnen! Faschismus oder Sozialismus. Diskussionsgrundlage zu den Streifragen des Sozialismus in unserer Epoche. – Karlsbad, 1933; Paul Sering. Der Faschismus. – In: Zeitschrift für Sozialismus, Jg. 2, N 24-27.
- 11 Ebenda, Jg. 1 (1933-1934), N 9. – S. 295, 298.
- 12 Еще до этого в Чехословакии жертвой агентов гестапо стал философ Теодор Лессинг, человек, который на свой лад стал таким же парадоксальным явлением, как саботажник в форме СА, выступающий против Гитлера: непримиримый противник *еврейско-христианской культуры* еврейского происхождения. – Ср. выше: Anm. 24 zu II, 7.
- 13 UuF, Bd. IX, S. 454 f.
- 14 Добровольно вернулась из эмиграции бывший коммунистический депутат в рейхстаге Мария Реезе. В 1938 в издательстве Анти-Коминтерна она опубликовала книгу «Расчет с Москвой», в которую явно антисемитские

выражения были включены задним числом. Но чрезвычайно поучительными являются сведения о жизни Клары Цеткин, ее близкой подруги, в "золотой клетке" и ее рассказ о том, что "Ульбрихты, Флорины, Геккеры и Со в начале 1933 года уже подготовили список членов правительства (S. 64 ff.). Курт Гейер, ведущий член левой Независимой социал-демократической партии, пишет в своих воспоминаниях, что во время своего пребывания в Москве к нему обратилась одетая в обноски дама из бывшей буржуазной среды, которая стала его умолять, чтобы он женился на ней, дабы вытащить ее из такой нищеты. Ничего подобного не сообщалось из Германии вплоть до начала войны (Curt Geyer. Die revolutionäre Illusion. Zur Geschichte des linken Flügels der USPD. – Stuttgart, 1976. – S. 266 ff.).

- 15 Ср. выше: Anm. I zu III, 1.
- 16 См. выше: II, 3.
- 17 Spiegelbild einer Verschwörung. Die Kaltenbrunner-Berichte an Bormann und Hitler über das Attentat vom 20. Juli 1944. – Stuttgart, 1961. – S. 451.
- 18 Eberhard Zeller. Geist der Freiheit. Der zwanzigste Juli. – München, 1957. – S. 160.
- 19 См. выше: III, 9. – В ноябре 1914 года известный немецкий сионистский лидер сказал о войне Германии с Россией, что ее почти что можно было назвать также "еврейской войной" ("Dokumente zur Geschichte des deutschen Zionismus 1882-1933". Hrsg. von Jehuda Reinharz. – Tübingen, 1981), ибо не только широкие массы, но также и американских евреев были настроены "прогермански" (Richard Lichtheim. Die Geschichte des deutschen Zionismus. – Jerusalem, 1954. – S. 212).
- 20 См. выше: III, 9.
- 21 Heinz Boberach. Meldungen aus dem Reich. Auswahl aus den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS 1939-1944. – Neuwied-Berlin, 1965 passim.
- 22 Leggett, a.a.O. (Anm. 2 zu IV, 2). – S. 252.

IV.8. Тотальная мобилизация

- 1 Lenin. AW. Bd. II. – S. 111. – Конец октября 1917 года. – См.: Ebenda, S. 353.
- 2 Peter Gosztony. Die Rote Armee. – Wien-München-Zürich, 1980. – S. 97.
- 3 Ср. выше: II, 3. – Lenin. AW. Bd. II. – S. 348.
- 4 Fainsod, a.a.O. (Anm. 15 zu III, 5). – S. 157 f.
- 5 Morozow, a.a.O. (Anm. 7 zu IV, 3). – S. 98.
- 6 Fainsod, a.a.O. (Anm. 9 zu III, 5). – S. 293.
- 7 Gosztony, a.a.O., S. 123.
- 8 См. выше: IV, 4.
- 9 Wilhelm Treue. Hitlers Denkschrift zum Vierjahresplan 1936. – In: Vjh. F. Ztg. 3. Jg, 1955. – S. 204-210, 210, 209: "Но немецкая экономика должна постичь новые хозяйственные задачи, или она окажется не способной далее существовать в эту современную эпоху, когда Советское государство вы-

двигает гигантский план. Но тогда погибнет не Германия, в крайнем случае погибнут некоторые хозяйственники”.

- 10 Подробности экономического развития см.: Rene Erbe. Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik 1933-1939 im Lichte der modernen Theorie. – Zürich, 1958; Alan S. Milward. Die deutsche Kriegswirtschaft 1939-1945. – Stuttgart, 1966.
- 11 Felix Kersten. Totenkopf und Treue. Heinrich Himmler ohne Uniform. – Hamburg, 1952. – S. 326. – Впрочем, в этом разговоре 18 декабря 1942 года Гитлер пошел дальше и предложил вариант, который, по-видимому, предвосхищал не столько поход за трофеями как идеологическую оборонительную войну, но и нечто вроде холодной войны: если германское вооружение будет истрчено, то “на наше место” придут Америка и Англия, так как второго перевооружения немецкий народ не вытянет. Америка и Англия этого еще не понимают, но время наступит”. Однако, с другой стороны, ср.: Henry Picker. Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941-1942. – Bonn, 1951. – S. 136, 141 f., 231.

V. Война между Германией и Советским Союзом 1941-1945

V.1. Нападение на Советский Союз

- 1 Monatshefte für Auswärtige Politik, 8. Jg 1941, S. 551-563.
- 2 Hilger, a.a.O. (Anm. 8 zu I). – S. 312 f.
- 3 См. в этой связи первую статью Йоахима Гоффманна в: Der Angriff auf die Sowjetunion. – Stuttgart, 1983. – S. 38-97. (Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 4), а также: Ernst Topitsch. Stalins Krieg. – München, 1986.
- 4 Pjotr Grigorenko. Der sowjetische Zusammenbruch 1941. – Frankfurt, 1969. – S. 94.
- 5 Hans-Adolf Jacobsen. 1939-1945. Der Zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten. – Darmstadt, 1961. – S. 164.
- 6 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtsführungsstab). Bd. I. – Frankfurt, 1965. – S. 255 ff.
- 7 Hitlers Weisungen für die Kriegsführung. – Frankfurt, 1962. – S. 84.
- 8 Hillgruber, a.a.O. (Anm. 28 zu III, 9). – 385.
- 9 The Public Papers and Adresses of Franklin Delanj Roosevelt. – 1941. – P. 390.
- 10 Gosztony, a.a.O. (Anm. 2 zu IV, 8). – S. 185.
- 11 Hermann Teske (Hrsg.). General Ernst Kösting. – Frankfurt o.J. – S. 301.
- 12 ADAP, D, Bd. XII, 2. – S. 608.
- 13 Winston S. Churchill. The Seconde World War. Vol, IV. – London, 1951. – P. 443.
- 14 ADAP, D, Bd. XXII, 2. – S. 855 f.
- 15 Слова Сталина в его беседе с Гарри Гопкинсом 31 июля 1941 года (Robert E. Sherwood. Roosevelt and Hopkins. – Hamburg, 1950. – S. 263)
- 16 Chruschtschow, a.a.O. (Anm. 10 zu III, 2). – S. 883.
- 17 Svetlana Alliluewa. Only One Year. – London, 1969. – P. 392.

- 18 IMG, Bd. XXVI. – S. 547 ff.
- 19 Ebenda, S. 610 ff.
- 20 Monatshefte, a.a.O., S. 563.
- 21 UuF, Bd. XVII. – S. – S. 253 ff.
- 22 IMG, Bd. XXIV, S. 191 ff.
- 23 Generaloberst Halder. Kriegstagebuch. Bd. II. – Stuttgart, 1963. – S. 335 ff.
- 24 Alexander Dallin. Deutsche Herrschaft in Russland 1941-1945. – Düsseldorf, 1958. – S. 171.
- 25 Heinrich. Uhlig. Der verbrecherische Befehl. – In: Vollmacht des Gewissens. Bd. II. – Frankfurt-Berlin, 1965. – S. 287-410 (Dokumentation).
- 26 Hoffmann, a.a.O., in seinem Beitrag "Die Kriegführung aus der Sicht der Sowjetunion", S. 720. – Для наглядности и убедительности к рассмотрению могут быть привлечены высказывания пленных советских офицеров, о которых сообщает граф Босс-Федриготи, офицер, осуществлявший связь МИДа с АОК 2 (Pol. Archiv AA, Abtlg. Kult. Pol. Geheim., Bd. 108).
- 27 J. Stalin. Über den Grossen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion. – Berlin, 1945. – S. 5-11.
- 28 Foreign Relations of the United States, 1943. The Conferences at Kairo and Tehran 1943. – S. 583.
- 29 ADAP, D, Bd. XII, 2, S. 829 ff.
- 30 Hitler Weisungen ..., a.a.O. S. 142 ff.
- 31 Hillgruber, a.a.O., S. 613.
- 32 IMG, Bd. XXXVIII, S. 86 ff.
- 33 Ebenda, S. 88.

V.2. Необходимость, случайность и альтернативы в войне

- 1 W.S. Churchill. His Complete Speeches. Vol. VI. – London, 1974. – P. 6428 f.
- 2 Denna F. Fleming. The Cold War at its Origins 1917-1960. Vol. II. – Norwich, 1961. – P. 135. – Относительно различных "линий" в США см.: Nolte, a. a. O. (Anm. 38 zu II,3). – S. 97-108.
- 3 Ср. выше: III, 9.
- 4 Sherwood, a.a.O. (Anm. 15 zu V, 1). – S. 238 ff.
- 5 Ebenda, S. 255.
- 6 The Public Papers ..., a.a.O. (Anm. 9 zu V, 1)/ – P. 439.
- 7 IMG, Bd. XXIV, S. 396.
- 8 Ср. выше: III, 9.
- 9 Относительно хода войны см. обзор вместе с документами в: Jacobsen, a.a.O. (Anm. 7 zu V,1), и подробное изложение в: "Der Angriff auf die Swjetunion", a.a.O. (Anm. 3 zu V, 1).
- 10 Morozow, a.a.O. (Anm. 7 zu IV, 3). S. 270.
- 11 Ebenda, S. 261.
- 12 Der grossdeutsche Freiheitskampf. Bd. I. – München, 1943. – S. 113-148, bes. 130, 133, 142 ff.
- 13 The Public Papers, a.a.O., 1942, P. 37. – Как сильно недооценивал Гитлер мощь американской промышленности, стало очевидным 15 июля

1941 года, когда он сказал Ошине, что США понадобятся по меньшей мере 4 года, пока они построят 8000 танков, которые сейчас германская армия уничтожила на Востоке (ADAP, D, Bd. XIII, 2). – S. 829 ff.

14 Ortwin Buchbender. Das tönende Erz. Deutsche Propaganda gegen die Rjete Armee im Zweiten Weltkrieg. – Stuttgart, 1978. – S. 300-302.

15 J. Stalin. Über den Grossen ..., a.a.O. (Anm. 27 zu V, 1). – S. 34.

16 Вопрос о возможности или невозможности сепаратного мира между Германией и Советским Союзом стоит на повестке дня с тех пор, как Петер Клейст, один из посвященных, опубликовал в 1950 году свою книгу "Между Гитлером и Сталиным". Последним вкладом в дискуссию является книга: Ingeborg Fleischhauer. Die Chance des Sonderfriedens. Deutsch-sowjetische Geheimgespräche 1941-1945. – Berlin, 1986.

V.3. Мировая война идеологий?

1 Hilger, a.a.O. (Anm. 8 zu I), S. 218.

2 Richard Coudenhove-Kalergi, Stalin and Co., Leipzig-Wien 1931, S. 23.

3 Schultness 1936, S. 438.

4 Galeazzo Ciano, Tagebücher 1939-1943, Bern 1947, S. 337.

ADAP, D, Bd. XIII/2, S. 443f.

6 Ebenda, Bd. XIII, 1, S. 7.

7 Uuf, Bd. XVII, S. 388.

8 Ebenda, S. 407.

9 Ebenda, S. 463.

10 Ebenda, Bd. XVIII, S. 54; Bd. XIX, S. 276.

11 Когда в своей речи перед офицерским корпусом лейб-штандарта "Адольф Гитлер", произнесенной 7 сентября 1940 г., Гиммлер заявил, что орден СС должен "привлечь к нам всю нордическую кровь в мире", дабы противникам не досталось ничего, речь, конечно же, шла о перенесенной в биологическую плоскость коммунистической идее того, что мировой пролетариат должен вступить за Советский Союз, но поскольку националисты различного толка, в отличие от приверженцев Советского Союза, мыслили не столь универсально, можно было предвидеть, что противоречия в их рядах заявят о себе даже сильнее, чем внутри мирового коммунистического движения. (IMG, Bd. XXIX, S. 109).

Uuf, Bd. XVII, S. 382.

12 Ebenda, S. 411.

14 J. Stalin, über den Grossen Vaterländischen Krieg, a.a.O. (Anm. 27 zu V, 1), S. 14f., 20g.

15 The Public Papers, a.a.O. (Anm. 9 zu V, 1), Jg. 1942, S. 41.

16 Uuf, Bd. XVII, S. 14-24, S. 22.

17 Ebenda

18 Ср. сообщения Гейдриха от 10 июня 1941 г., адресованное Гиммлеру в связи с "записками" Шелленберга (Anm. 3 zu III, 5), S. 377-385.

19 До сего дня полная картина покушения не ясна, и в этой связи даже высказывается довольно смелая гипотеза, согласно которой Борман позволил убить того человека, который один мог разоблачить советского агента,

внедрившегося в высшее руководство Германии, и при определенных обстоятельствах даже свергнуть Гитлера, если тот станет являть собой угрозу существованию рейха. (В какой-то мере так считает Шелленберг, S. 257). Однако до сих пор гораздо более правдоподобной представляется мысль о том, что Бенеша не столько возмущали суровые меры, к которым прибегал Гейдрих, сколько тревожила его примечательная популярность среди чешских рабочих. Загадочным и, быть может, показательным остается тот факт, что Гейдрих ежедневно по одной и той же дороге направлялся в Прагу в открытой машине без охраны из своей резиденции в замке, расположенном в двадцати километрах от города и, таким образом, был легкой добычей для опытного убийцы.

- 20 Bodo Scheurig (Hrsg.), Verrat hinter Stacheldraht?, München 1965, S. 53-73.
- 21 Deutsche Widerstandskämpfer 1933-1945. Biographien und Briefe, Bd. I, Berlin 1970, S. 440-443.
- 22 Gertrud Glondajewski/Heinz Schumann, Die Neubauer-Poser-Gruppe, Berlin 1957, S. 121.
- 23 Wolfgang Diewerge, Feldpostbriefe aus dem Osten. Deutsche Soldaten sehen die Sowjetunion, Berlin 1941, S. 16 ff., 24, 37, 42 f., 46. Потом один из авторов писем оговаривался, что "для них даже самая ужасная смерть слишком прекрасна" (S. 49).
- 24 Helmut Groscurth, Tagebücher eines Abwehroffiziers 1938-1940, Stuttgart 1970, S. 547 ff.

Такая точка зрения высказывается в письме, которое Гроскурт 19 августа 1942 г. написал генерал-полковнику Людвигу Беку.

Впечатления, которые в значительной мере не отвечают предвзятым мнениям о советской системе, содержатся и в записях графа Босси-Федриготти, проводившего допросы советских военнопленных. Один полковник и в прошлом офицер царской армии, по-видимому, вполне искренне заверял его в том, что офицерский корпус и служащие сохраняют безусловную верность системе, так как она доказала свою внутреннюю обоснованность; некоторые генералы говорили, что отношения между офицерами и комиссарами хорошие и вполне дружественные; комиссаров-евреев насчитывалось не более 1%; Сталина любили и очень чтили. С другой стороны, Босси сообщал о том, что были обнаружены двенадцать красноармейцев, расстрелянных в затылок: комиссары расстреляли их, обнаружив у них немецкие листовки; кроме того, у мертвых советских офицеров находили воззвания, резко осуждавшие не только Сталина, но и советскую форму социализма, сравнившего с босячеством и стоянием в очереди ради куска хлеба. (Polit. Archiv des AA, Kult Pol. Geheim, Bd. 108ff).

IV.4. Геноцид и "окончательное решение еврейского вопроса"

- 1 Churchill, a. a. O. (Anm. 13 к V, 1), Bd. II, S. 567.
- 2 Churchill, a. a. O. (Anm. 1 к V, 2), S. 6384.
- 3 Robert Conquest, The Nation Killers. The Soviet Deportation of Nationalities, London 1970, S. 103, 162.

- 4 "Организация Украинских Националистов", возглавлявшаяся в 1941 г. Степаном Бандерой. См. „Russischer Kolonialismus in der Ukraine“. Berichte und Dokumente, München 1962.
- 5 Chruschtschow, а. а. О. (Anm. 10 к III, 2), S. 886.
- 6 Gustav Mannerheim, Erinnerungen, Zürich-Freiburg 1952, S. 526f.
- 7 IMG, Bd. XXXIX, S. 428.
- 8 IMG, Bd. IV, S. 535f. (Высказывание Бах-Целевского).
- 9 Heinrich Himmler, Geheimreden 1933 bis 1945, Frankfurt 1974, S. 183.
- * Вероятно, речь идет о знаменитом стихотворении Константина Симонова – *прим. пер.*
- 10 Buchbender, а. а. О. (Anm. 14 к V, 2), S. 305.
- 11 IMG, Bd. XXV, S. 428.
- 12 См. выше.
- 13 Nolte, а. а. О. (Anm. 20 к II, 4), S. 407f.
- 14 Тезис о значительном участии германской бюрократии в уничтожении евреев представлен, к примеру у Пауля Хильберга, Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden, Berlin 1982; отсутствие же заранее разработанного плана пытался показать, в первую очередь, Уве Дитрих Адам (Uwe Dietrich Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 1972).
- 15 Rudolf Aschenauer, Ich, Adolf Eichmann. Ein historisches Zeugenbericht, Leoni 1980, S. 505.
- 16 Там же, S. 217 (многократно подтверждается и другими источниками).
- 17 Hilberg, а. а. О., S. 710.
- 18 См. выше.
- 19 См. выше.
- 20 Примером коммунистической литературы служит: Faschismus – Ghetto – Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen während des Zweiten Weltkrieges, hrsg. vom Jüdischen Historischen Institut, Warschau, Frankfurt 1962.
- Относительно конфликтов между еврейскими организациями см. Hilberg, а. а. О., S. 552. (В варшавском гетто коммунисты именовали сионистских ревизионистов “буржуазно-националистическими еврейскими фашистами.) Сами войска СС объясняли отсутствие сопротивления со стороны евреев двадцатилетним террором НКВД (там же, S. 229). К авторам, подчеркивающим пассивность (в результате чего Endlösung в целом – включая действия оперативных групп СС – предстает попросту как вереница злодейских убийств), относится, к примеру, Мартин Гильберт; Martin Gilbert: Endlösung und Vernichtung der Juden. Ein Atlas, Reinbek 1982.
- 21 Gerald Reitlinger, Die Endlösung, Berlin 1961.
- Raul Hilberg (см. прим. 14).
- Helmut Krausnick/Hans-Heinrich Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungskrieges, Stuttgart 1981.
- 22 Не совсем верно, что “ни один” из лидеров руководящей прослойки национал-социалистов даже не пытался оправдать гитлеровские истребительные мероприятия (как утверждает “Der Faschismus in seiner Epoche“, S. 484). Более того, Отто Олендорф оправдывал деятельность оператив-

ных групп (он командовал четвертой группой, группой D с июня 1941 года почти в течение года) настоящей военной необходимостью, но в то же время из его мемуаров отчетливо явствует, до какой степени взгляды его определялись ранее усвоенными идеологическими убеждениями. ("Thus our experiences in Russia were a definite confirmation of the Bolshevik theory and of the practice as we had learned about it before" – Итак, весь наш российский опыт безусловно подтвердил то, что мы знали раньше о большевистской теории и практике, S. 248). Олендорф также разделял то намерение, выраженное в приказе фюрера, выполнение коего он считал невозможным: "еще и справиться с опасностью, каковая может возникнуть в будущем" (284). Из этого стремления к "прочной безопасности" с необходимостью последовали и расстрелы детей, от которых Олендорф не дистанцировался (356) ("Trials of War Criminals Before the Nürnberg Military Tribunal, Vol. IV, "The Einsatzgruppen Case"). Неувязка исчезнет, если исследователи не только будут возмущаться "интеллектуальным палачом" (Michel Mazon, Otto Ohlendorf, bourreau intellectuel, in: Le monde juif, No. 63-64 (1964), но и не откажутся принять во внимание мотивы поведения этого подсудимого: "Причина в том – и вы не должны этого забывать – что нас обуял ужас, когда мы узнали, как жили в России группы нашего народа. Например, в деревне фольксдойчей Фриденталь не осталось ни одного мужчины в возрасте между 10 и 65/70 годами, которого не убили бы большевики в продолжение трех акций: 1921/22, 1933 и 1936/37 гг." (Interrogation Otto Ohlendorf v. 16. 10. 47, в Архиве IfZg München.) Но сколь бы ужасным ни было уничтожение мужчин, истребление детей означает переход в иное измерение.

- 23 Группенфюреры СС вполне осознавали это обстоятельство. Так, в докладе оперативной группы С от 17 сентября 1941 г. отмечено: "Даже если бы оказалась возможной мгновенная изоляция 100% еврейства, тем самым все же не был бы устранен очаг политической опасности. Большевистская работа опирается на евреев, русских, грузин, армян, латышей, украинцев; большевистский аппарат никоим образом не тождествен еврейскому населению... При такой ситуации цель обеспечения политическо-полицейской безопасности будет недостижима, если главную задачу, состоящую в уничтожении коммунистического аппарата, отодвинуть во второй или третий ряд, выдвинув в первый ряд менее трудоемкую задачу по изоляции еврейства." Итак, согласно этой самооценке оперативные группы СС делали сразу и слишком мало, и слишком много (Неполная цитата имеется и в Hilberg, S. 244).

24 Chruschtschow, a. a. O., S. 886.

25 См. выше.

- 26 На самом деле бросается в глаза, что среди этих *ревизионистов* немало иностранцев, среди которых – бывшие узники немецких концентрационных лагерей вроде Поля Рассинье. Мотивы этой ревизии разнообразны и зачастую почтенны: отрицание мнимого продолжения неприкрытой пропаганды войны, критика израильской политики в отношении палестинцев, нежелание пинать мертвого врага. ("Mon ennemi est vaincu. Ne comptez pas sur moi pour craxher sur son cadavre" (Мой враг побежден. Не рассчитывайте, что я буду плевать на его труп). Robert Faurisson in Serge Thion:

Vérité historique ou vérité politique. Le dossier de l'affaire Faurisson, Paris 1971, S. 196). Но эти авторы, выдвигая неразумно преувеличенные тезисы, как правило, противоречат самим себе, как противоречит себе Фориссон, когда утверждает, будто Гитлер никогда не приказывал и не допускал, чтобы кто-либо был убит из-за своей расы или религии (там же, S. 187).

Но все-таки для *респектабельной литературы* было бы лучше, если бы она конструктивно разобралась с воззрениями этих авторов, когда такие воззрения не являются очевидно необоснованными, — вместо того, чтобы просто всегда говорить о “правых радикалах”. Так, например, высказывались сомнения по поводу не только протокола, но даже самого факта Ванзейской конференции, и сомнения эти, насколько мне известно, ни разу не анализировались в литературе. Утверждают, что в списке ее участников не только отсутствует важнейшая персона, а именно — Рейнхард Гейдрих, но еще и неправильно указаны даты ее начала и окончания. Но ведь, прежде всего, 19 и 20 января были очень важными для Праги днями, а именно — днями преобразования правительства, и тогдашний рейхспротектор едва ли мог на них отсутствовать. Так, газета “Ангрифф” 21. I. 1942 под заголовком “Прага, 20 января” отметила, что заместитель рейхспротектора принял членов нового правительства в 19.00. Не исключено, что Гейдрих мог вернуться на самолете в Прагу 20 января до 19.00, и даже вероятно, что и Эйхман говорит об этой конференции как о чем-то само собой разумеющемся (Aschenauer, a. a. O., S. 50 ff. См. также Günther Deschner, Reinhard Heydrich, Esslingen 1977, S. 254 f.). Но остается достойным сожаления, что в *респектабельной литературе* в столь значительной степени отменяется элементарнейшее правило науки “выслушайте и другую сторону”.

Сплошь отрадными свидетельствами воли к объективности со стороны иностранцев — за пределами изложений событий *Endlösung'a* — служат книги американского историка Альфреда М. де Зайаса. (Для периода до 1945 г.: Alfred M. De Zayas: Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle. Deutsche Ermittlungen über alliierte Völkerrechtsverletzungen im Zweiten Weltkrieg, München 1984.) Но как раз в них опять-таки наглядно ощущается качественная разница.

27 Неоспоримо, что термин “Vergasung” встречается уже в ранней литературе о концлагерях, но подразумевает уничтожение паразитов (как у Вальтера Хорнунга, a. a. O., Anm. 13 к I, S. 199). Вопрос о технической осуществимости массового уничтожения людей в газовых камерах, насколько мне известно, впервые подробно рассматривается в рукописи Вернера Вегенера, дающего на него отрицательный ответ; книга вскоре выйдет в издательстве Улльштейн.

28 Aschenauer, a. a. O., S. 52.

29 Подавляющее число книг об *Endlösung'e* написано еврейскими авторами. Поэтому понятно, что литература эта заиклена на простой схеме “злодей-жертва”; и это, несомненно, справедливо в той мере, в какой инициатива Гитлера и национал-социализма в отношении евреев не подлежала сомнению гораздо раньше 1939 г., а также потому, что “еврейские советы” фактически проявляли значительную готовность к коллаборационизму. Но из-за этого авторы упускают из виду другие аспекты, которые зачастую

предстают лишь в замечаниях, брошенных мельком, а иногда – в актуально-политических стычках между авторами.

Так, Гильберт отмечает, что истребительные команды находили в России эффективную поддержку, так как евреи были окружены “чрезвычайно враждебным местным населением”, и поэтому иногда их убивали прежде, чем успевали вмешаться оперативные группы СС; кроме того, множество погромов устраивалось “туземными антисемитами”, румынскими войсками и т. д. (S. 76). Тем самым все-таки не удалось полностью обойти международный характер антисемитизма и части *Endlösung*'a. Напротив того, Ройбен Айнштайн (Ainsztain) столь тщательно разрабатывает концепцию активности бойцов еврейского сопротивления, полемизируя с концепцией “как овцы на бойню”, что ему пришлось выступить против тех еврейских авторов, которые объявили его воззрения поддержкой национал-социалистских утверждений. Хотя понятие “еврейский большевизм” неверно, следовало бы все-таки не ставить под сомнение значительную вовлеченность многих евреев в борьбу за дело коммунизма в годы войны.

Тот же автор в труднонаходимом месте бросает замечание, что в Освенциме, как предполагают, было уничтожено больше арийцев, чем евреев. И действительно, увязывание Освенцима исключительно с “уничтожением еврейства” сомнительно. (“Jewish Resistance in Nazi-Occupied Europe with a historical survey of the Jew as a fighter and soldier in the Diaspora”, London 1974, S. XVIIIff., 913.) Но Айнштайн не стесняется и цитирует положение Чемберлена, которое рассматривалось в общем как нечто вроде собственности *праворадикальной* литературы на которое налагалось табу: американцы и мировое еврейство вынудило его к войне (S. 873, nach den Forrestal Diaries vom 27. Dezember 1945). Так? хотя “еврейская” литература в принципе также должна быть взвешена в противоположность мнимо “праворадикальной” литературе, поскольку она не является чистой пропагандой, но существенный выигрыш в понимании сути дела можно было ожидать уже тогда, когда “еврейская” литература непредвзято принимается к сведению. Так в “Heften von Auschwitz”(N8/1964) сообщается, что в июле 1944 года 400 человек с одного судна с греческими евреями заставили вытаскивать трупы из газовых камер и сжигать их; поскольку они отказались, все они были умерщвлены в газовых камерах и сожжены. В “Voice of Auschwitz Survivors in Israel”(N 36, Oktober 1986, P. 27 ff.), однако, было показано, что это – просто слух. Но даже и в менее сокровенном месте, а именно, в “New York Review of Books”, случается сталкиваться с изложением, в котором весьма критично говорится о “conventional ethnic stereotypes – of German murderers, Jewish victims and Polish bystanders and collaborators”, а также ведутся рассуждения о “exclusive, martyrological approach”, который не отвечает “immensely complex world of Eastern Europe”(Norman Davies. The Survivor's Voice. – In: The New York of Books. Vol. XXIII, N 18 vom 20.11.1986. – P. 21-23). Только тогда, когда найдут общее применение правила опроса свидетелей, а предметные высказывания больше не станут оцениваться по политическим критериям, стремление к научной объективности относительно “окончательного решения” обретет под собой надежную почву.

- 31 Adolf Hitler. Monologe im Führer Hauptquartier 1941-1944. – Hamburg, 1980. – S. 280.
- 32 Hillgruber. Staatsmänner, a. a. O. (Anm. 28 zu III, 9). – S. 614 in ADAP, D, bd. XIII, 2, S. 838).
- 33 Это не означает, что он должен акцептировать все цифровые данные, что в л.б.м случае было бы невозможно. Применительно к Освенциму большинство цифровых оценок располагаются в интервале от 4 до 1 млн. человек.
- 34 Hilberg. A. a. O., S. 688.
- 35 UuF, Bd. XXII, S. 392.

V.5. Обмен характерными чертами и парадоксальная победа СССР

- 1 См. выше (Louis Fisher, a. a. O., прим. 1 к IV, 6), S. 8.
- 2 См. выше.
- 3 Morozow, a. a. O. (прим. 7 к IV), S. 121.
- 4 Там же, S. 238.
- 5 J. Stalin, a. a. O. (прим. 27 к V, 1), S. 22.
- 6 Morozow, a. a. O., S. 278.
- 7 Strik-Strikfeldt, a. a. O. (прим. 26 к V, 3), S. 73.
- 8 Tolstoy, a. a. O. (прим. 9 к IV, 7), S. 47.
- 9 Gosztony, a. a. O. (прим. 2 к IV, 8), S. 238.
- 10 Winston S. Churchill, a. a. O. (прим. 13 к V, 1), Bd. V, S. 330. В своем ответе Черчилль – иначе, нежели Рузвельт – позаботился о чести западной традиции, резко отвергнув мысль о *массовых расправах*.
- 11 J. Stalin, a. a. O., S. 85f.
- 12 См. выше.
- 13 Milovan Djilas, Gespräche mit Stalin, Frankfurt 1962, S. 146.
- 14 Charles de Gaulle, Memoiren 1942-1946, Düsseldorf 1961, S. 372.
- 15 Там же, S. 367.
- 16 Там же, S. 368.
- 17 Gosztony, a. a. O., S. 287.
- 18 Djilas, a. a. O., S. 106.
- 19 Goebbels Tagebücher 1942/43, hrsg. v. L. Lochner, Zürich 1948, S. 133.
- 20 Hitlers Lagebesprechungen, hrsg. v. H. Heiber, Stuttgart 1962, S. 124.
- 21 Goebbels, a. a. O., S. 323.
- 22 Не только Борман, но и шеф гестапо Мюллер к концу войны вроде бы с полной убежденностью считали, что большевистская система как система тоталитарная лучше и успешней, чем национал-социализм (см. Schellenberg, a. a. O., Anm. 3 к III, 5), S. 288.
- 23 IMG, Bd. XXV, S. 307 ff.
- 24 Boberach, a. a. O. (Anm. 21 к IV, 7), S. 259f.
- 25 Deutschland im Kampf, a. a. O. (Anm. 21 к III, 9), No. 105/108, S. 111. Hitler, Monologe..., a. a. O. (Anm. 31 к V, 4), S. 51. Himmler, Geheimreden, a. a. O. (Anm. 9 к V, 4), S. 231.

- 26 Gerald L. Weinberg: Adolf Hitler und der NS-Führungsoffizier (NSFO), in: Vjh. f. Ztg., 12 Jg. 1964, S. 455-456, S. 455, 446.

То, что Гитлера с его радикальными требованиями одобряли именно молодые офицеры, становится ясным из одной беседы с Альфредом Розенбергом, в которой он заявил, что безусловно необходимо создать тип революционного офицера; многочисленные же национал-социалистские руководящие офицеры впоследствии стали не чем иным, как эталоном буржуазной добропорядочности без революционного порыва. (Беседа от 23. 10. 44; BA NS 8/269).

- 27 Hillgruber, a. a. O. (Anm. 28 к III, 9), Bd. II, Frankfurt 1970, S. 208.
28 Theodor Eschenburg, Die Rede Himmlers vor den Gauleitern am 3. August 1944, in: Vjh. f. Ztg. 1 (1953), S. 363-394, (S. 385).

- 29 Там же.

- 30 Там же, S. 367. Совершенно аналогично Гитлер выразился уже 8 мая 1943 года. См. выше, Anm. 19, (Goebbels), S. 322.

- 31 Uuf., Bd. XXI, S. 453.

- 32 Hugh R. Trevor-Roper, Hitlers Politisches Testament, München 1981, S. 73f.

- 33 Там же S. 70, 65. Сколь бы радикальной в этом утверждении ни была переоценка влияния *еврейской прессы* и влиятельного еврейства, группировавшегося вокруг секретаря казначейства Моргентау, судьи Верховного Суда Феликса Франкфуртера и раввина Визе, – столь же несомненно, что страх американского и английского правительства перед возможным перенесением этой характеристики на население их собственных стран стал важнейшей причиной того, что власти неохотно предавали широкой гласности (скудные) сообщения об истреблении евреев. См. Walter Z. Laqueur, Was niemand wissen sollte. Die Unterdrückung der Nachrichten über Hitlers *Endlösung*, Frankfurt 1981; David S. Wyman, The Abandonment of the Jews. America and the Holocaust 1941-1945, New York 1984.

- 34 Hillgruber, a. a. O., Bd. II, S. 514f.

- 35 Hitlers Lagebesprechungen, a. a. O., S. 128. См. выше.

То, что под “клеткой с крысами” имеется в виду не Лубянка (как утверждает ответственный редактор издания Хельмут Хайбер) недвусмысленно явствует из контекста. Гитлер, очевидно, ссылается на метод, приписываемый китайской ЧК. О том, насколько сильное влияние оказывали на него методы гражданской войны в России в этом высказывании, произнесенном в кругу его ближайших сподвижников, свидетельствует факт, что он возвращается к ним еще дважды во фразах, не допускающих двусмысленного прочтения (S. 130: “они запирают его в подвал с крысами...”, S. 134 “И вот они приезжают на Лубянку, и там его загрызают крысы”).

На самом деле ни один из офицеров или партийных руководителей, попавших во время войны или после войны на Лубянку, не подвергался ни такой пытке, ни чему-либо, что хотя бы отдаленно ее напоминало. См., например, доклад гауляйтера Йордана, a. a. O. (Anm. 15 к II, 7) S. 339f.

- 36 См. выше, S. 89f.

Однако же то, что Гитлер – несмотря на не соответствующее действительности и, вероятно, уже в 1929 году нереальное представление о *клетке с крысами* – со своим страхом отношений, сложившихся в Советском Сою-

зе, оказался не просто жертвой *пропаганды ужасов*, не требует иного подтверждения, кроме рассказов о коллективизации и “большой чистке”. На это проливает свет письмо, которое написал Адольфу Гитлеру во время войны бывший коммунист Гарри Так, обвиненный в соучастии в убийстве члена Гитлерюгенда Герберта Норкуса и приговоренный к смерти; он просил о помиловании и о разрешении вступить в ряды вермахта. В письме этом как бы в сокращенном виде содержится описание судеб множества немцев в 30-40-е годы на самом низком и простейшем уровне:

“...Я хотел бы, мой фюрер, описать Вам свою жизнь... Мой отец погиб в Первую мировую войну... Окружение мое, в котором я обрелся, составляли безработные и коммунисты, к которым присоединился и я; в надежде, что под коммунистическим руководством Германия справится с безработицей и поднимет благосостояние рабочих... Поэтому в 1932 году я поехал в Россию. Но после восьмимесячного пребывания там мне пришлось констатировать, что все, что изображали немецким рабочим в виде рая, было адом... 4.8.1933 я предстал перед военным судом в Москве. 4.12.1933 меня приговорили к 5 годам концентрационных лагерей, а потом отправили в Сибирь на каторжные работы. Много немцев там было расстреляно, часть их умерла от голода...

...Оттуда меня снова отправили на каторжные работы, на этот раз – на угольную шахту в Воркуту, к западу от Урала. В 1938 году, 28 марта, расстреляли 1800 человек, среди них было очень много немцев, на этап смерти попал и я... И вот так я попал на немецкую землю. И благодаря своему опыту, накопленному в молодые годы, я стал немцем, научившимся ценить свою родину. В Германии я сдался тайной полиции и теперь сижу в тюрьме... Сделайте же милость, благосклонно выслушайте мое прошение. К тому же, я женат. Супруга моя – из приволжских немцев, ее отец умер от голода в лагере в России, мать умерла от скорби, два ее брата тоже были в лагере...”

Гитлер прочел это письмо и приказал министру юстиции Тираку не приводить в исполнение смертного приговора и спустя некоторое время выпустить Така на свободу, если подтвердится, что в ходе своего пребывания в России он исцелился от коммунизма. (BA, NS 26/vorl. 809, fol. 368.ff.)

37 Об этом см. речь Гитлера от 26 апреля 1942 года, ср. выше.

См. также примечания Иохима Хоффмана по поводу разной тотальности *тотальной войны* в Советском Союзе и в Германии в: *Der Angriff auf die Sowjetunion*, a. a. O. (Anm. 3 к V, 1), S. 731.

38 *Hitlers Politisches Testament*, a. a. O., S. 110.

39 Эта паника, прежде всего, связывалась со словом Неммерсдорф, с названием восточнопрусской деревни, побывавшей несколько дней осенью 1944 года в руках Красной Армии.

40 *Hitlers Lagebesprechungen*, a. a. O., S. 741.

41 *Albert Speer*, a. a. O. (Anm. 17 к IV, 5), S. 446.

Заключительные соображения

- 1 Benito Mussolini, Opera Omnia, Firenze 1951 ff., Bd. XVIII, S. 406.
- 2 Christian Petry, Studenten aufs Schafott. Die Weiße Rose und ihr Scheitern, München, 1968, S. 188 ff.
 См. выше. Характерный признак ситуации следует усматривать в том, что, согласно одному докладу СД, “зимние курортники” зимой 1941/42 гг. проявили сильное нежелание оставить лыжи и отправиться на Восточный фронт: (Boberach, a. a. O., Anm., 21 к IV, 7, S. 205).
 Поэтому Тимоти Мейсон неправ, когда он полагает, что такие опасения следует объяснять тем, что режим опасался рабочего класса и что поэтому пролетариат все-таки восторжествовал над своими национал-социалистскими врагами. Такие опасения порождались заметными остатками либеральной системы, среди которых – вполне буржуазные убеждения Гитлера, не в последнюю очередь – относительно неработающих женщин. (Timothy Mason, Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Opladen 1975).
- 3 Если бы соображения *фальсификации* могли стать признанной составной частью исторической науки, давно было бы обращено внимание на тот факт, что даже к концу 1941 года сравнительно мало евреев были умерщвлены как евреи, но, пожалуй, очень много умерщвлено было поляков, душевнобольных и русских военнопленных; количественное же сравнение массовых преступлений на тот момент сложилось бы не в пользу Советского Союза прямо-таки подавляющим образом. С другой стороны, по ноте Молотова от 25.11.1941 с ее перечислением непостижимых (мнимых) злодеяний можно судить о том, что после возможной военной катастрофы уже в начале 1942 года не ощущалось бы недостатка в моральных упреках. (Pol. Archiv AA, Kult. pol. geheim 112, Bd. 2).
- 4 Hitler, a. a. O., (Anm. 31 к V, 4), S. 50f.
- 5 В 1919 году на VIII съезде РСДРП Ленин сказал: “Поскреби многих коммунистов, и ты найдешь великорусских шовинистов” (Lenin Werke, Bd. 29, S. 181).
 Незадолго до своей смерти он назвал Сталина “грубым великорусским Держимордой” (там же, Bd. 36, S. 594).
- 6 Множество эмоций в современных дискуссиях объясняются горечью, которая даже сегодня могла быть вызвана тем, что этого не произошло.
- 7 Относительно “red scare” см. Paul Miljukow, Bolshevism. An International Danger, перепечатка Westport 1981. Прочитавший эту книгу не будет сомневаться в том, что в США мог бы возникнуть фашизм, еще более склонный к насилию, чем в Германии, если бы коммунистическая партия там хотя бы отдаленно приближалась к численности коммунистов в Веймарской республике.
- 8 Случайно оба *ключа* в коммунистической литературе объединились так, что становится особенно ясно, в какой ничтожной степени может идти речь о противоречии между коммунизмом и национал-социализмом. Так, о некоторых обвиняемых на московских процессах 1936 года Троцкий писал: “Все это еврейские интеллектуалы, и притом не

из СССР, а из государств, образовавшихся после распада царской России... Их семьи в свое время сбежали от русской революции, но представители молодого поколения благодаря своей подвижности, приспособляемости, знанию языков, в особенности – русского, неплохо устроились в аппарате Коминтерна. Сплошь отпрыски мелкобуржуазной среды, без связи с рабочим классом какой бы то ни было страны, без революционной закалки, без серьезной теоретической подготовки – эти безликие чиновники Коминтерна, всегда послушные последнему циркуляру, стали подлинным бичом международного рабочего движения.” (Hermann Weber, а. а. О. [Anm. 20 к II, 7], S. 310.

Как бы там ни было, термину *мелкий буржуа* была свойственна большая гибкость, ибо коммунисты часто так характеризовали друг друга, тогда как национал-социалисты соответствующей возможности не имели.

9 См. выше.

10 См. выше.

11 У несправедливости, которая с необходимостью возникает из индивидуальной подвижности и проистекающих из нее различных видов непрозрачности, ломается острое, когда общество становится настолько богатым, что даже своим членам, не желающим трудиться, оно в состоянии гарантировать уровень жизни, значительно превышающий прожиточный минимум. В этом смысле сегодня наиболее развитые капиталистические общества – и только они – несмотря на всяческое неравенство, приблизилось к эгалитаризму цивилизации, противостоящий эгалитаризму первобытного общества, на который ориентировалась значительная часть левых. Относительно формирования терминов см. высказывание Токвиля от 1835 года (“*Mémoire sur le paupérisme*”, André Jardin, Alexis de Tocqueville 1805-1859, Paris 1984, S. 233).

12 Ernst Meyer, а. а. О. (Anm. 5 к II, 2), S. 107.

13 Там же, S. 119.

14 Об этом см. Бердяев, а. а. О. (Anm. 1 к IV, 5) *passim*.

15 См. выше.

16 См. выше.

17 Himmler, а. а. О. (Anm. 9 к V, 4), S. 202; см. также выше.

18 См. выше.

19 Himmler, а. а. О., S. 197.

20 IMG, Bd. XXIX, S. 146.

21 По поводу правильности этого слишком краткого высказывания см.

22 Номер от 7 декабря 1918.

23 См. Pjotr Grigorenko, *Erinnerungen*, München 1981, S. 551f.

24 См. выше.

25 Как известно, Гегель определял истину как *целое*. Научные исследования, избравшие слишком ограниченную постановку вопроса и руководствующие чисто условными перспективами, осуществляются в сфере правильности, но не в сфере истины. Однако же, поскольку *неограниченных постановок* вопросов не бывает, границу между истиной и правильностью невозможно провести с уверенностью. Но то, что не дает никаких стимулов, редко относится к сфере истины.

СОКРАЩЕНИЯ

В сносках на архивные документы, многотомные источники и периодические издания Эрнст Нольте использует следующие сокращения (аббревиатуры):

ADAP	Akten zur deutschen Auswärtigen Politik. Serie C und D. – Baden-Baden-Göttingen: 1950 ff.
BA	Bundesarchiv Koblenz
DBFP	Dokuments on British Foreign Policy. – London: 1947 ff.
IMG	Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof. . Nürnberg 14. November 1945 – 1. Oktober 1946. 42 Bde. – Nürnberg: 1947-1949
Inst. F. Zg. Archiv	Archiv des Instituts für Zeitgeschichte in München
Lenin AW	W. I. Lenin. Ausgewählte Werke in zwei Bänden – Berlin: 1955
Lenin Werke	W. I. Lenin. Werke. 40 Bde. Und 2 Ergänzungsbände. – Berlin: 1966-1973
MK	Adolf Hitler. Mein Kampf. 73. Auflage. – München: 1933
IWK	Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung
GstA	Preussisches Geheimes Staatsarchiv, Berlin
MEW	Marx –Engels Werke. 41 Bde. – Berlin: 1956 ff.
Pol. Archiv AA	Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn
Schultness	Schultness' Europäischer Geschichtskalender
RF	Rote Fahne
Stalin Werke	J. W. Stalin. Werke. 13 Bde. – Berlin: 1951-1955
UuF	Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschland in der Gegenwart. Hrsg. von Herbert Michaelis und Ernst Schräpler. 23 Bde (bis 1945). – Berlin: 1958 ff.
VB	Völkischer Beobachter
Vih. F. Ztg.	Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Адам, Уве Дитрих 495
Адлер, Виктор 130,
Азана, Мануэль 212, 218
Аксельрод, Тобиас 78
Аксманн, Артур 313
Александр Великий 391
Алексеев, Василий 307
Аллилуева, Надежда 186
Аллилуева, Светлана 432
Альбрехт, Карл 306, 485
Альвенслебен, Вернер фон 27
Антонеску, Ион 436, 437
Антонов-Овсенко, Владимир 21,
220, 230,
Арендт, Ханна 19
Аристотель 341
Астахов, Георгий 255, 256
Астор, семья 238
Аустерлиц, Фридрих 130
Ахматова, Анна 341, 361
Бабель, Исаак 361, 487
Бабёф, Франсуа Н. 80, 446
Бадольо, Пьетро 206
Бакунин, Михаил 61, 63, 339
Бальфур, Артур Джеймс 262
Бандера, Степан 495
Барбарин, Е. 255
Бармат, Юлиус 153
Барнс, Гарри 12
Баррюэль, Огюстин 96, 285
Бартельс, Макс 343
Бауэр, Макс 130
Бауэр, Отто 94, 167
Бедный, Демьян 186, 323, 349
Бек, Лео 39
Бек, Йозеф 251-253, 261
Бек, Людвиг 159, 233, 368, 494
Белинский, Виссарион 339, 430
Белый, Андрей 341
Бенеш, Эдуард 223, 237, 241, 242,
418, 494
Бенн, Готфрид 346
Бердяев, Николай 361, 503
Берзин, Ян 195, 226, 462
Берия, Лаврентий 227, 301
Берк, Эдмунд 285, 449
Беркман, Александр 94
Бернери, Камилло 219
Бернштейн, Эдуард 64
Бест, Вернер 160
Беттельхайм, Бруно 456
Бжезинский, Збигнев 19
Бискупский, Василий фон 361
Бисмарк, Отто 61, 189, 234, 258, 269,
270, 285,
Бланки, Луи О. 61, 278
Бласковитц, Йоханнес 266
Блок, Александр 340-341
Бломберг, Вернер фон 146, 190, 193-
194, 231-233, 236, 395
Блюм, Леон 377
Блюмкин, Яков 196
Бозе, Герберт фон 193
Бозе, Н.С.Ч. 400
Боймельбург, Вернер 346
Боймлер, Альфред 344, 348
Бок, Федор фон 382, 397
Бонапарт, Луи 285
Бонн, Мориц Ю. 366
Боннэ, Жорж 251

- Бонч-Бруевич, Михаил 55
 Борзиг, Эрнст фон 147
 Боркенау, Франц 21
 Борман, Мартин 292, 390, 484, 494, 500
 Босси-Федриготти, Антон фон 494
 Брандлер, Генрих 109-110, 116, 158
 Брандт, Карл 262
 Браун, Отто 164-165
 Браухич, Вальтер фон 233, 270
 Бредов, Карл К. А. 192
 Брекер, Арно 346
 Брехт, Бертольд 337
 Бриан, Аристид 145, 203
 Брокдорф-Ранцау, Ульрих фон 126, 141-142, 144, 472
 Бросцат, Мартин 474
 Брусилов, Петр 361
 Буденный, Семен 395
 Булер, Филипп 346
 Буллит, Уильям 92, 481
 Бунин, Иван 361
 Буркхардт, Карл 260
 Буш, Фриц 344
 Бухарин, Николай 79, 110, 116-119, 198, 224-225, 282, 309, 413
 Ваганов, Ф.М. 469
 Вальтер, Бруно 344
 Вашингтон, Джордж 45
 Вебб, Беатрис 186, 227
 Вебб, Сидни 186, 227
 Вебер Г. 476
 Вебер М. 63, 129
 Венер, Герберт 179, 476
 Верфель, Франц 344
 Вессель, Хорст 169, 91, 337
 Виденфельд, Курт 143
 Визе, Стефен 500
 Вильгельм II, германский кайзер 60, 261, 285, 310
 Вильсон, Т.В. 30, 79, 405, 444-445
 Вирт, Йозеф 106, 142-143
 Витцлебен, Эрвин фон 436
 Власов, Андрей 412-413, 419, 430, 437-438
 Вольтат, Генрих 256
 Вольтер, Ф.-М. А. 446
 Вольф, Отто 152
 Вольф, Теодор 126
 Вольфгейм, Фриц 82
 Воронский, Александр 342
 Ворошилов, Климент 146, 218, 253, 395,
 Врангель, Петр 81, 85, 158, 322-323, 360, 464
 Вышинский, Андрей 221-222, 225
 Гаазе, Гуго 141
 Газелл, Ульрих фон 407
 Галифакс, Эдвард 238-239, 244, 247, 250-251, 259, 261
 Гальдер, Франц 396
 Гальтон, Френсис 285
 Гамарник, Ян 226
 Гарнак, Арвид 408
 Гауптманн, Герхарт 346
 Геббельс, Йозеф 134-135, 150, 154-155, 162, 190-192, 217-218, 245, 287-288, 291, 331, 344-345, 420, 433, 435, 440
 Гейдрих, Рейнхард 233, 263, 302-304, 406, 484, 494, 497
 Гейер, Курт 490
 Гейзенберг, Вернер 366
 Гелен, Рейнхард 412, 484
 Геллер, Михаил 20
 Геллер, Отто 121-122
 Гемлих, Адольф 101

- Георге, Стефан 346, 366
Герделер, Карл Ф. 407
Геринг, Герман 32-33, 35, 40, 190-192, 231, 233-235, 241, 245, 249, 254, 288, 347, 368, 370, 377, 378, 390, 450, 455
Герцль, Теодор 24, 459
Гесс, Мозес 201
Гесс, Рудольф 34, 191, 198, 217, 222, 288, 291-292, 369, 384, 467, 478
Гильфердинг, Рудольф 87
Гиммлер, Генрих 37, 191-192, 201, 263, 266-267, 288, 292, 302-307, 371, 413, 418, 425, 435-436, 439, 449-451, 493-494
Гинденбург, рейхсканцлер 27-28, 128, 132, 151-152, 163-165, 172-174, 177, 189, 193-194, 311
Гитлер, Адольф (= Шикльгрубер, Адольф) 13, 15, 17-22, 24-35, 38-41, 52, 60-61, 92, 101-106, 108-109, 111-114, 123-124, 126-131, 134-136, 149-150, 152-156, 158-159, 161, 165-170, 172-177, 179-185, 187-195, 199-200, 202-210, 212, 214, 217, 220, 223, 227, 229-236, 238-263, 266-276, 287-299, 302-307, 310-315, 319, 327-328, 331, 337, 345-347, 354-356, 363, 365, 367-370, 377-382, 385, 387-408, 411, 413, 417-420, 422, 425-429, 430-440, 442-443, 445, 449-451, 455-460, 465, 467, 470, 473, 475, 479-481, 489-491, 493-494, 496-498, 500-502
Гладков, Федор 342
Глезер, Эрнст 344
Глезерман, Григорий 469
Глинка, Михаил 430
Гопкинс, Гарри 393, 492
Горький, Максим 58, 102, 156, 196, 225, 298, 300, 342, 438, 461
Гофман, Йоханнес 78, 84
Гофман, Макс 140
Гофманн, Йоахим 491
Грегор, профессор 470
Гренер, Вильгельм 74, 151, 311
Гржезинский, Альберт 138-139, 155
Григоренко, Петр 382
Гримм, Ганс 346
Гринспан, Гершель 244-245
Гропиус, Вальтер 365
Гугенберг, Альфред 29, 137, 149, 159, 167, 170, 209-210, 247, 261, 477
Гудериан, Хайнц 427
Гумилев, Николай 361
Густлофф, Вильгельм 245
Гюнтер, Ганс 343, 366
Гюртнер, Франц 37
Давид, Эдуард 130
Даладье, Эдгар 242, 244, 251
Дан, Федор 359
Двингер, Эдвин Э. 333, 335
Дебблин, Фольфред 344
Дегрель, Леон 410
Ден, Гюнтер К. 366
Деникин, Антон 56, 80-81, 85, 95, 222, 359
Джилас, Милован 406, 431-432
Дзержинский, Феликс 279, 297-299, 301, 362, 371, 484
Дизраэли, Бенджамин 285
Дильс, Рудольф 37
Дирксен, Герберт фон 184, 250, 256
Дитмар, Макс фон 125
Додд, Уильям 207
Достоевский, Федор 316, 338
Драганов, Парван 275
Духонин, Николай 55
Дюринг, Евгений 286

Ежов, Николай 197, 222-227, 301

Жданов, Андрей 222, 432, 477

Жирал, Хосе 213-214

Жуков, Георгий 383, 396, 412, 428

Зайсер, Ганс фон 114, 123

Зеверинг, Карл 139, 155, 165

Зегер, Герхарт 36

Зейдлиц, Вальтер фон 402, 407

Зейсс-Инкварт, Артур 235

Зеринг, Пауль (= Лёвенталь, Рихард)
364

Зиновьев, Григорий 51, 53, 60, 87-
88, 110, 116-117, 126, 131, 133,
157,, 177, 196-198, 221-222, 224,
226, 228, 283, 445, 448, 461-462,
472

Зорге, Рихард 370, 396

Иванов, Николай 460

Иден, Роберт Э. 205, 208, 210

Истрати, Панаит 154

Йегер, Ганс 21

Йодль, Альфред 234

Йордан, Рудольф 470, 501

Йорк фон Вартенбург, Петер 436

Йост, Ганс Йоффе, Абрам 345

Каас, Людвиг 173, 364

Кабальеро, Франческо Л. 212, 216,
218-219

Каганович, Лазарь 197, 310, 477

Кале, Ганс 222

Каледин, Алексей 55, 333, 387

Калинин, Михаил 324

Каменев, Лев 51, 53, 116-117, 133,
196, 198, 221, 224, 226, 228, 284,

Каменев, Сергей 373

Канделаки, Давид 254

Кандинский, Василий 343

Каннегиссер, Леонид 57, 298

Канторович, Эрнст 366

Каплан, Фанни (Дора) 57, 298, 359,
462

Капп, Вольфганг 82, 134, 165, 171,
467

Кар, Густав фон 84, 109, 112-114,
123, 193

Карване, Бертольд 476

Карл I, король Англии 57

Каспер, Вильгельм 485

Каутский, Карл 47, 95, 100, 167

Кватерник, Славко 390, 426-427

Кедров, Михаил 298

Кейнс, Джон М. 149, 377

Кейтель, Вильгельм 233, 390

Кемаль Паша, Мустафа 124

Кеннан, Джордж 23

Керенский, Александр 46-52, 69, 71,
76, 83, 100, 113, 139, 144, 190, 212,
358, 362, 430, 451

Кестинг, Ганно 7

Кестнер, Эрих 344

Киллингер, Манфред фон 156

Киндерманн, Карл 125, 126, 306,
345, 469

Киппенбергер, Ганс 160, 226

Кирилл Владимирович, великий
князь 361

Киров, Сергей 188-189, 195-198,
221, 225, 407

Клагес, Людвиг 426

Клаузенер, Эрих 193

Клебер, Эмилио (= Лазарь Штерн)
220

Клее, Пауль 343

Клейст, Петер 436, 493

Клемперер, Отто 344

- Книллин, Ойген фон 112
Кокошка, Оскар 343
Кокошкин, Федор 54
Колби, Бейнбридж 85
Коллонтай, Александра 88
Колчак, Александр 56, 80-81, 95,
222, 333, 359, 413
Кольвиц, Кэте 344
Копп, Виктор 142
Корнилов, Лавр 49-50, 52, 76, 217,
332, 387, 469
Корш, Карл 134
Кох, Эрих 419, 421
Краснов, Петр 413
Краусник, Гельмут 424
Кребс, Ганс 383
Крестинский, Николай 143, 146, 225
Крибель, Герман 112
Кривицкий, Вальтер (= Гинзбург)
21, 195, 224-225, 230, 477, 484
Крик, Эрнст 348
Криспин, Артур 84, 87
Кромвель, Оливер 57
Кропоткин, Петр 339
Крупп фон Болен унд Гальбах, Гус-
тав 199, 468
Крупская, Надежда 54, 460
Крыленко, Николай 55, 352
Кулондр, Роберт 240
Кун, Бела 91, 96, 116
Куно, Вильгельм 106, 107, 109, 171
Купер, Альфред Д. 244
Кутепов, Александр 362
Кутузов, Михаил 430
Куусинен, Отто 116, 268-269, 469
Кучинский, Роберт Рене 132
Кшесинская, Матильда 48
Кюльманн, Рихард фон 49
Лаваль, Пьер 204, 207
Ламмерс, Ганс Г. 390
Ландауэр, Густав 78
Лансинг, Роберт 242
Ланцингер, Губерт 346
Ларин, Юрий (= Лурье, Михаил) 461
Лассаль, Фердинанд 61
Лацис, Мартин 298-299
Лауфенберг, Генрих 82
Лебер, Юлиус 367, 408, 475
Леви, Пауль 77, 87, 91, 94
Левин, Макс 78
Левине, Эуген 77-78, 201
Лееб, Вильгельм фон 269, 382
Лей, Роберт 292
Лейшнер, Вильгельм 408
Ле Корбюзье, Ш.-Э. 343
Ленард, Филипп 348, 366
Ленин, Владимир 18, 20-21, 24, 46,
47-49, 51-60, 69-71, 74, 78-81, 83-
84, 86, 89-90, 93-94, 104, 106, 114-
115, 119, 130, 133, 135, 140, 142-
143, 160-161, 169, 182-183, 185,
188-189, 193, 196-197, 201, 207,
212, 219, 221-224, 227-228, 238-
239, 242, 247-248, 258, 261, 268,
269, 276, 280-284, 287-288, 291,
297-299, 301, 304, 307-308, 315,
323, 335, 339, 342-344, 349-350,
352, 372-373, 384, 389, 390, 392,
395, 405, 430, 433, 438, 443, 445,
450, 456, 460, 461-463, 465, 469,
472, 488, 502
Ленш, Пауль 64-65, 69,
Лерхенфельд, Гуго фон 112
Лерш, Генрих 9, 365
Лессинг, Теодор 426, 471, 490
Либер, Марк 359
Либкнехт, Карл 65-66, 69-71, 76-77,
79, 141, 161, 174
Липски, Йозеф 251, 260

- Литвин, Пауль 153
- Литвинов, Максим 35, 185, 203, 207, 239, 254-255
- Ллойд Джордж, Дэвид 40, 82, 97, 141, 143, 322
- Лозовский, Соломон 403-404
- Лоссов, Отто Герма фон 113-114, 123
- Лотиан, Филипп 271
- Лукасевич, Юлиуш 252
- Лукач, Георг 370
- Лукач, генерал (= Мате Залка) 220
- Луначарский, Анатолий 300
- Львов, Георгий 45
- Люгер, Карл 101
- Людвиг, Эмиль 472
- Людендорф, Эрих 49, 60, 71, 108-109, 112-114, 123, 128-129, 270, 367, 373
- Людовик XVI, король Франции 57
- Люксембург, Роза 47, 65-66, 69-72, 74-77, 79-80, 82, 87, 94, 96, 130, 141, 201, 242, 270, 279, 298, 322, 448, 463, 466
- Лютер, Ганс 123
- Лютер, Мартин 13, 200, 344
- Лютце, Виктор 191
- Мадзини, Джузеппе 25
- Мальцан, Аго фон 142-143
- Мальцев, В. 413
- Мандельштам, Осип 361
- Манн, Генрих 147, 344
- Манн, Томас 79, 98-100, 147, 344, 365, 449
- Маннергейм, Карл-Густав фон 268, 418
- Маринетти, Филиппо Томмазо 340
- Мария Федоровна, царица 45
- Марк, Франц 343
- Маркс, Вильгельм 123
- Маркс, Карл 63-64, 67, 80, 96, 103, 115, 122, 123, 130, 188-189, 197, 201, 232, 284, 295, 302, 341, 344, 426, 429, 435, 484
- Маркс, Эрих 382
- Маркузе, Герберт 16
- Марло, оберлейтенант 78
- Мартов, Юлий 46-47, 52, 87, 93, 284, 359-360, 367, 451
- Масарик, Томаш 237
- Маслов, Аркадий 127, 133-134
- Маттеотти, Джакомо 179
- Махно, Нестор 81
- Маяковский, Владимир 340-342
- Меандров, Михаил 413
- Мейерхольд, Всеволод 347
- Мейснер, Отто 174, 475
- Мельгунов, Сергей 299, 467
- Менерт, Клаус 457
- Мережковский, Дмитрий 361
- Меринг, Франц 65, 79
- Меттерних, Клеменс фон 96
- Мехлис, Лев 294, 383
- Мехмед, Али 447
- Миллер, Евгений 485
- Милуков, Павел 360, 430, 451
- Мирбах, Вильгельм фон 46, 140, 296, 298
- Михайлович, Драголюб 406
- Михаэлис, Георг 126
- Молотов, Вячеслав 218, 254-258, 261, 263-264, 274, 292, 380-381, 384, 405, 480, 502
- Мольтке, Гельмут Д. фон 436
- Монтескье, Шарль 167
- Морозов, Павел 309, 314
- Мосли, Освальд 242, 271
- Мост, Йоганн 217

- Мотта, Джузеппе 203
Мрачковский, Сергей 221
Муссолини, Бенито 15, 22, 39, 104, 124, 166, 177, 179, 182, 190, 194, 195, 199, 204-206, 214, 215, 217, 220, 231, 236, 242, 261, 267, 275, 287-288, 322, 379, 392, 398, 403, 406, 437, 442, 444
Мухов, Рейнголд 474
Мюзам, Эрих 78
Мюллер, Адам 285
Мюллер, Генрих 500
Мюллер, Герман 84, 123
Мюллер, Карл А. фон 348
Мюнценберг, Вилли 180, 365,

Наполеон I Бонапарт, 8, 117, 133, 258, 273, 281, 293, 397, 430, 443, 446, 448
Насер, Гамаль Абдель 400
Науманн, Ганс 344,
Науманн, Макс 39
Науманн, Фридрих 97, 248
Небе, Артур 367
Невский, Александр 229
Негрин, Хуан 219
Нейрат, Константин фон 182, 231-232, 254
Некрич, Александр 20
Неру, Джавахарлал Пандит 400
Никиш, Эрнст 159, 202, 458, 474
Николаев, Леонид 197
Николаевский, Борис 198, 359-360
Николай I, царь 429
Николай II, царь 43, 56
Николай Николаевич, великий князь 361
Нин, Андрес 218-219
Ницше, Фридрих 338, 426
Ногин, Виктор 53

Нольде, Эмиль 343
Норкус, Герберт 161, 501
Носке, Густав 76, 83

Ойрингер, Рихард 347
Олендорф, Отто 356-357, 496
Онкен, Герман 348
Оруэлл, Джордж 467
Остер, Ганс 260, 367, 407
Островский, Николай 342
Оуэн, Роберт 277

Паке, Альфонс 59, 466
Паннвиц, Рудольф 344
Папен, Франц фон 24, 27-29, 31, 163-166, 168, 173-174, 176-177, 190, 192-194, 209-210, 247, 261, 364, 276-377
Парвус-Гельфанд, Александр 49, 116
Пастернак, Борис 341, 361
Паулюс, Фридрих 402, 407, 434
Паунд, Эзра 411
Петен, Анри Филипп 385, 437
Петерс, Яков 298, 349
Петлюра, Симон 81, 84-85
Пик, Вильгельм 139, 163
Пилсудский, Йозеф 84-85, 185, 251, 279
Пиль, Роберт 285
Пильняк, Борис, 281, 361
Питтингер, Отто 112
Планк, Макс 366
Платон 345
Плеханов, Георгий 48, 280, 339, 430
Покровский, Михаил 186, 429
Полов, Георгий 485
Поссони, Стефан 7
Потоцкий, Ежи фон 250, 481

Потье, Эжен 316
 Прайс, М. Филипп 92
 Преображенский, Евгений 308
 Примо де Ривера, Хосе А. 212
 Прудон, Пьер 61
 Пуанкаре, Раймон 107
 Пуришкевич, Владимир 460
 Пушкин, Александр 338, 430
 Пфемферт, Франц 108, 133
 Пфеффер фон Саломон, Франц 287

 Рабинович, Александр 460
 Радек, Карл 71-72, 75-76, 108-110, 113, 116, 141, 153, 159, 197, 222, 224-225, 258, 441, 448, 465, 471
 Раковский, Христиан 362
 Ракоши, Мариаш 91
 Распутин, Григорий 45
 Рассел, Бертран 210
 Рат, Эрнст фон 244-245
 Ратенау, Вальтер 102, 106, 143-144, 471
 Раушнинг, Герма 365
 Рахманова, Александра 335-336
 Рачинский, Эдвард 243
 Редер, Эрих 231
 Рейган, Рональд 16
 Рейнхардт, Фриц 377
 Рейх, Вильгельм 16
 Рейхенау, Вальтер фон 423
 Рем, Эрнст 98, 189, 191-192, 195, 198, 355, 395
 Ремарк, Эрих Мариа 344
 Ремер, Беппо 159
 Реммеле, Герман 169, 226
 Ренн, Людвиг 220
 Рентельн, Теодор Адриан фон 311
 Риббентроп, Иоахим фон 205-234, 251, 253, 255-259, 264-265, 389, 394

Рид, Джон 52
 Роатта, Марио 216
 Робеспьер, Максимилиан 446
 Робьен, Луи 46, 59, 70
 Роблес, Жиль 212
 Родзянко, Михаил 333
 Розенберг, Альфред 28, 52, 100, 101, 104, 128, 200, 217, 259, 291, 343, 345-346, 356, 385-387, 390, 421, 438, 449, 471, 477, 500
 Розенберг, Марсель 218
 Роммель, Эрвин 400, 427
 Ротшильд, семья 201, 327
 Рузвельт, Франклин Д. 178, 239, 242, 250, 377, 382, 393-394, 398-399, 401-402, 404-405, 408, 439, 499
 Румянцев, Иван 225
 Рунциман, Вальтер 241
 Руссо, Жан Жак 62, 446
 Рыдзь-Смигли, Эдвард 253
 Рыков, Алексей 53, 119, 126, 224
 Рютин, Михаил 196, 222
 Рязанов, Давид 53, 197

 Савинков, Борис 362
 Сахаров, М. 413
 Садуль, Жак 126
 Сект, Ганс фон 109, 114, 124, 141-142
 Сен-Жюст, Луи 446
 Сен-Симон, Клод Анри 416
 Симонс, Вальтер 143
 Симович, Душан 276, 382
 Скоблевский, Александр 124-126
 Скрипник, Николай 227
 Солженицин, Александр 299, 352, 454
 Сокольников, Григорий (= Бриллиант) 222

- Солоневич, Иван 196
Солоневич, Тамара 487
Сталин, Иосиф 15-17, 20-21, 40, 110, 115-119, 122, 125-127, 131, 133-134, 137, 147, 154, 157, 161, 185-189, 194-198, 204, 207-210, 215, 218-225, 227-231, 239-240, 243, 249, 253-264, 267-268, 273-275, 282-284, 287-288, 290-291, 294, 297, 299, 301, 305, 309, 343, 352, 356, 363, 368-369, 371, 375, 382-386, 388-394, 396-397, 399-402, 405-406, 408-409, 412, 417-419, 422-424, 429-434, 436, 438-440, 469, 472, 476-477, 493-494, 502
Стиннес, Гуго 97, 108
Столыпин, Петр 228, 448
Суворов, Александр 430
Тальгеймер, Аугуст 110, 158
Танненберг, Отто Р. 18
Телеки, Пал фон 275
Тельманн, Эрнст 27, 31, 127-128, 131, 133, 148, 155, 175, 179, 364
Тиллих, Пауль 366
Тимошенко, Семен 395, 399
Тирак, Отто 323
Тирпиц, Альфред фон 408, 455
Тисо, Йозеф 248-249
Тиссен, Фриц 190, 365, 468
Тито, Иосип Броз 406
Токвиль, Алексис де 444, 503
Толстой, Алексей 361
Толстой, Лев 338, 430
Толстой, Николай 20
Томас, Георг 400
Торак, Йозеф 346
Торвальдсен, Бертель 70
Торглер, Эрнст 486
Трахтенберг, Яков 39
Треппер, Леопольд 21
Тресков, Хеннинг фон 367, 407, 411, 436
Трота, Адольф 311
Троцкий, Лев 21, 24, 46, 48, 50-53, 55-56, 58-59, 69-70, 85, 90, 94, 96, 110, 116-119, 126-127, 133, 134, 158, 167, 182-183, 188, 198, 218-219, 221-225, 228, 280-281, 284, 290, 297, 300, 308-309, 341, 349, 352, 362, 373, 429, 438, 441, 448, 457, 460, 488, 503,
Турати, Филиппо 86
Тухачевский, Михаил 109, 208, 160, 220, 223, 226, 436
Тухольский, Курт 156, 473
Уборевич, Иероним 178, 220, 223, 225, 297
Улам, Адам 20-21
Ульбрихт, Вальтер 153, 490
Урбанс, Хуго 134
Урицкий, Моисей 57
Фальтер, Юрген 484,
Федер, Готтфрид 98
Ференбах, Константин 84, 90, 106
Фёрстер, Фридрих В. 344
Фёрстер, Вильгельм 344
Фишер, Луи 20
Фишер, Рут 108, 116, 127, 131, 133, 134,
Флорин, Вильгельм 490
Фольмар, Георг Генрих фон 64
Фомин, Федор 467
Формис, Рольф 365
Форст, Ганс 59, 267
Форстер, Альберт 267
Франко, Франциско 348, 357, 479
Франкфуртер, Давид 245
Франкфуртер, Феликс 500

- Франсуа-Понсе, Андре 191
 Фрейд, Зигмунд 344
 Френкель, Эрнст 468
 Фридрих, Роберт 466
 Фрик, Вильгельм 132, 343, 354
 Фрунзе, Михаил 18
 Фурье, Шарль 277
- Хайбер, Гельмут 500
 Хайдеггер, Мартин 347
 Хайнц, Фридрих В. 368, 485
 Харлан, Файт 331
 Хаусхофер, Альбрехт 369
 Хвалковский, Франтишек 249
 Хельд, Генрих 129
 Хендерсон, Невил М. 252, 260
 Хенляйн, Конрад 241
 Хильц, Зепп 346
 Хинкель, Ганс 344
 Хинчук, Лев 184
 Хоркхаймер, Макс 366
 Хорнунг, Вальтер 497
 Хорти, Николай фон 217
 Хофер, Карл 343
 Хрушев, Никита 195, 227, 383-384, 417, 424, 432, 477
 Хубер, Эрнст Р. 346, 442
- Цвейг, Арнольд 365
 Цеткин, Клара 9, 79, 107, 166, 296, 449, 466, 490
 Циглер, Адольф 346
- Чайковский, Петр 430
 Чернов, Виктор 52, 54
 Чернышевский, Николай 430
 Черчилль, Уинстон 70, 80, 82, 96, 99, 100, 143, 139, 188, 243-244, 250, 271-272, 384, 389, 392-393, 402, 404, 417-418, 430, 439-440, 467, 499
- Чиано, Галеаццо 403
 Чичерин, Георгий 144, 472
- Шапиро, Леонард 20
 Шверин фон Крозиг, Люцц 436
 Шелленберг, Вальтер 305, 479, 485, 494
 Шемм, Ганс 154
 Шер, Джон 364
 Шерингер, Рихард 159
 Шерхен, Герман 317
 Шефер, Вильгельм 346
 Шефер, Фриц 112
 Шиленков, Георгий 413
 Шильман, А. 225
 Шингарев, Андрей 54
 Ширах, Бальдур фон 292, 311-313
 Ширах, Генриетта фон 427
 Шкуро, Андрей 413
 Шлагетер, Альберт Л. 107-108, 159
 Шлегельбегер, Франц 354
 Шлезингер, Мориц 142
 Шлейхер, Курт фон 31, 163, 165, 173-174, 177, 192-193, 195, 377
 Шмидт, Пауль 208
 Шмитт, Карл 347, 354-355, 489
 Шнур, Роман 7
 Шнурре, Карл Ю. 255, 259
 Шолем, Вернер 127, 133
 Шолохов, Михаил 332, 336, 342
 Шопенгауэр, Артур 345
 Шпеер, Альберт 347, 440, 488
 Шпенглер, Освальд 95, 330
 Шпонек, Ганс Э.О. фон 397
 Шпрангер, Эдуард 347
 Шрек, Юлиус 302
 Шредер, Курт фон 27

- Штадтлер, Эдуард 97
Штампфер, Фридрих 167
Штарк, Йоганнес 366
Штауффенберг, Клаус фон 367-368, 407, 411, 436
Штеккер, Вальтер 457
Штенбок-Фермор, Александр 159
Штифф, Гельмут 436
Штрайхер, Юлиус 244, 311
Штрассер, Отто 28, 134, 136, 173-174, 190, 192, 365,
Штреземанн, Густав 24, 83, 109-114, 123, 127, 131, 144, 146, 153, 185, 206, 251
Штрик-Штрикфельд, Вилфрид 412
Шуленбург, Фридрих Вернер фон дер 224, 240, 255, 383
Шуленбург, Фриц-Дитлоф фон дер 367, 436
Шульце-Бойзен, Гарро 370, 408
Шульце-Наумбург, Пауль 343
Шушниц, Курт фон 207, 234-235, 378,
Эберляйн, Гуго 226
Эберт, Фридрих 36, 71-72, 75-76, 83, 113, 124, 128, 141, 143-144
Эйзенхауэр, Дуайт 439
Эйзенштейн, Сергей 213
Эйке, Теодор 192
Элленбоген, Вильгельм 130
Элцбахер, Пауль 93
Энгельс, Фридрих 63, 188-189, 197, 232
Эрбе, Жан 203
Эренбург, Илья 220, 418
Эркеленц, Антон 157
Эрнст, Карл 192
Эрнст, Пауль 365
Эррио, Эдгар 476
Эрхардт, Герман 82, 126
Эрцбергер, Маттиас 106, 466
Эссер, Герман 473
Этцдорф, Хассо фон 269-270
Юденич, Николай 81
Юнг, Оуэн Д. 193
Юнг, Эдгар 192, 312
Юнгер, Эрнст 346, 365
Ягода, Генрих 222-225, 298, 301,
Якир, Иона 220, 223-224, 226
Якушев, Александр 362
Якш, Венцель
Ясперс, Карл 347, 366

Разбор «спора историков»¹, обозначившего линии рецепции «Европейской гражданской войны», уместно начать с представления соответствующих публикаций Эрнста Нольте (в 1923), в 80-е гг. – профессора новейшей истории берлинского Свободного Университета. Особенно важными в этом отношении были статья 1980 года в «Франкфуртер Альгемайне» (19.07.80) «Негативная жизненность Третьего Рейха», в дополненном виде опубликованная в 1985 году на английском языке²; а также статья Нольте в той же газете «Прошлое, которое не желает проходить» (06.06.86) – вокруг этих публикаций и разгорелась историческая дискуссия. В «споре историков» неоднократно упоминалась также книга Нольте «Фашизм в его эпохе», первым изданием вышедшая в 1963-м году.³

Первая из названных статей Нольте, в основу которой был положен доклад профессора 1980-го года в Фонде Сименса (Мюнхен), опубликована в сборнике «Historikerstreit» под симптоматическим названием «Между исторической легендой и ревизионизмом? Третий Рейх под углом зрения 1980 года». Отправным пунктом рассуждений автора служит «негативная жизненность» Третьего Рейха, то есть высочайшая чувствительность немецкого и международного общественного мнения ко всему, что связано с нацистским режимом. Через 35 лет после Ватерлоо уже сложилась «Наполеоновская легенда», которая сделала племянника Бонапарта Президентом Франции; через 35 лет после капитуляции нацистской Германии Гитлер продолжал оставаться воплощением абсолютного зла, а любая попытка взглянуть объективно на период немецкой истории между 1933 и 1945 гг. наталкивалась на общественный протест и возмущение. Нольте приводит несколько причин, которые повели к такому положению дел: Гитлер развязал самую страшную войну в истории человечества; преступления нацистского режима являются единственными в своем роде; и т.д. В исторической литературе эта *негативная жизненность* Третьего Рейха выразилась в том, что посвященные этой эпохе работы по своей тональности являются либо катастрофическими, либо обвинительными («Немецкая катастрофа», «Немецкая экзистенциальная неудача» и т.п.). «Так же мало повела к изменению исторической картины литература, определенная концепцией тоталитаризма; она лишь расширила указанную негативность таким образом, что под нее подпали также бывшие союзники [СССР – С.З.], или, точнее говоря, она восстановила прежнюю более широкую негативность, которая легко выводится из позитивного понятия либерально-демократического общества» (16). Речь идет, разумеется, об антикоммунистической негативности. Нольте счел методологически бесплодными все заимствования из концепции тоталитаризма для изучения Третьего Рейха («голые общие места»).

Согласно Нольте, нельзя отрицать, что «негативная жизненность известного исторического феномена представляет для науки большую, даже смертельную угрозу. Ведь перманентная негативная или позитивная жизненность неизбежно имеет характер мифа как потенцированной формы легенды; а именно в силу того, что она может стать идеологией, упрочивающей или низвергающей государство» (17). Однако наука несовместима с мифотворчеством. В этой связи профессор истории ставит фундаментальный вопрос: нуждается ли в ревизии сегодня также

история Третьего Рейха, и в чем могла бы состоять такая ревизия? Автор считает неприемлемой простую смену негативности – позитивностью, отрицания – апологетики: «Внутреннее ядро негативного образа Третьего Рейха не нуждается в ревизии и не подлежит ревизии. Но возможно, что сам ход современных событий предполагает рассмотрение этой проблемы как бы в новой перспективе, расширение указанной негативности иным образом, чем это сделала классическая теория тоталитаризма в 50-е гг.» (18). «Современные события», в терминологии Нольте, – это геноцид Пол Пота в Камбодже, «холокост на море», учиненный Северным Вьетнамом после его победы, т.н. «западный империализм», представляемый на мировой арене США и т.д. Образчиками подобной ревизии для автора являются интерпретация генезиса итальянского фашизма, данная Доменико Сеттембрини; концепция Тимоти У. Масона о рабочем классе как слабом звене тотальной диктатуры Гитлера; гипотезу Дэвида Ирвинга относительно того, что Гитлер мог бы выиграть Вторую мировую войну, если бы его лучше понимали германские полководцы.

Нольте скептически относится к этой гипотезе, хотя, с другой стороны, и призывает прислушаться к Ирвингу, когда тот увязывает резкое ужесточение антиеврейской политики нацистского режима в 1939-1941 гг. и официальное заявление президента Всемирного еврейского конгресса Хаима Вейцмана начала сентября 1939 года о том, что евреи всего мира в этой войне будут сражаться на стороне Англии (24). Другим ревизионистским предположением Нольте, вызвавшим огонь критики, был его тезис об исторической вторичности уничтожения евреев нацистским режимом: «Аушвиц, в первую очередь, результируется не из традиционного антисемитизма и, в сущности, не является собственно «геноцидом» («Völkermord»); скорее здесь мы имеем дело с порожденной страхом реакцией на процессы уничтожения во время Русской революции. Эта копия была намного иррациональнее, чем более ранний оригинал (ибо попросту безумным было бы представление о том, что «евреи» когда-либо желали уничтожения немецкого бюргерства и тем более немецкого народа), и с большой натяжкой за ней удастся признать хоть какой-то даже извращенный этос. Она была отвратительнее, чем оригинал, ибо в соответствии с ней уничтожение людей осуществлялось квазииндустриальным образом. Она являлась более отталкивающей, чем оригинал, так как она опиралась на голые предположения и была чуть ли не свободна от человеконенавистничества, которое внутри ужасного все-таки составляет некий понятный и тем самым примиряющий момент.» (32-33).

Отсюда Нольте выводил три постулата историографии Третьего Рейха. Постулат первый и самый важный: «Следует изъять Третий Рейх из той изоляции, в которой он находится даже тогда, когда он рассматривается в рамках «эпохи фашизма». Он должен быть поставлен во взаимосвязь инициированных промышленной революцией переворотов, кризисов, страхов, диагнозов и терапий и вместе с тем изучен историко-генетически, а не только путем простого структурного сравнения; в особенности Третий Рейх должен быть соотнесен с Русской революцией как своей важнейшей предпосылкой...» (33). Вторым постулатом Нольте является элиминация всяческих инструментализаций Третьего Рейха. Третьим постулатом ставится задача преодоления «демонизации Третьего Рейха»: «Основательные инвентаризации и пронизательные сравнения не устранят единичности Третьего Рейха, но, несмотря на это, они сделают его частью истории человечества...» (34).

Выдвинутая Эрнстом Нольте программа ревизии историографии Третьего Рейха осталась бы во многом пропагандистской и даже по-журналистски сенсационной, эпатажной, если бы не один ее *принципиальный пункт* – тезис об «особом пути», – мимо которого прошли почти все, кроме Хабермаса, участники «спора историков» – как единомышленники Нольте, так и его противники. В разбираемой статье он лишь помечен, в книге «Фашизм в его эпохе» развернут довольно подробно, в представленной вниманию читателя в переводе на русский книге Нольте «Европейская гражданская война», явившейся фактическим ответом берлинского профессора на «спор историков», этот пункт задает сам концептуальный угол зрения автора. Что здесь имеется в виду?

Так называемый «особый», отличный от «западного», путь, о котором историки и философы размышляли как в связи с Германией, так и в связи с Россией, Нольте связывал со специфическими модусами модернизации, осуществленными в этих странах, вдвигая их в горизонт промышленной революции: «Преобразующий и обескураживающий процесс промышленной революции вызвал среди более всего затронутых ею или самых чутких слоев населения интерпретации, истолковывавшие этот процесс как течение болезни. Среди предложенных терапий почетное, хотя и не эксклюзивное место заняли те, что постулировали в качестве исцеления уничтожение целых социальных групп. <... > И если вследствие величины и значимости страны подобная терапия может принять невиданные масштабы, то и в соседних странах она может вызвать крайне бурные и, возможно, даже иррациональные реакции. Именно такой была ситуация в отношениях между Советской Россией и Германией после Первой мировой войны» (31).

К вопросу о взаимосвязи между характером модернизации и способами формирования диктатур Сталина и Гитлера Нольте обращается и в книге «Фашизм в его эпохе»: «Трезвый противник мог бы возразить Гитлеру, что он всего лишь превратил старое прусско-немецкое казарменное государство в единственную государственную казарму и что на этом были построены все его успехи. Но как раз в этом превращении и состоит решение проблемы. Это был не шаг назад, а шаг вперед, то есть модернизация. Гитлер сумел сделать действенным и доступным для масс то, что раньше ограничивалось узким кругом. Для этого он использовал самые современные средства, предоставленные в его распоряжение техникой». ⁴ И с другой стороны, применительно к революционизации России: «...та нередко скрытая, но всепобеждающая технико-экономическая революция, которая до 1918 года казалась частным явлением и везде происходила в более или менее либеральных формах, при некоторых обстоятельствах должна приобрести политический облик и все себе тоталитарно подчинить. Большевицкая революция 1917 года как раз и знаменует собой этот всемирно-исторический момент». ⁵ С этой точки зрения Нольте оценивает тоталитаризм сталинистского СССР как неизбежный эффект ускоренной модернизации, а тоталитаризм гитлеровской Германии – как «тоталитаризм, которого могло и не быть»: «Индустриализированная Восточная Европа *eo ipso* означала бы отрицание тотального, то есть прежде всего военно-географического суверенитета Германии. Таким образом, специфически тоталитарный характер немецкой формы фашизма должен был с крайней решительностью быть военным, и вся его чудовищная ударная сила должна была прежде всего быть направлена против великого восточного соседа, с его «необхо-

димым» тоталитаризмом». Не следует забывать их фундаментальную противоположность, несмотря на сходство некоторых проявлений».⁶

Следующая статья Нольте «Прошлое, которое не желает проходить», представлявшая собой письменный вариант не прочитанного им доклада (FAZ, 06.06.1986) и особо привлекавшая критическое внимание его оппонентов, выделяется скорее броскими лозунгами и скандальными афоризмами, чем концептуальными подходами. «Прошлое, которое не желает проходить», – это все та же негативная жизненность национал-социализма. Так, в качестве «ключевого слова», объясняющего мотивации агрессивности Гитлера, Нольте предлагает здесь термин «крысиная клетка», обозначающий ту нестерпимую пытку, которая якобы практиковалась на Лубянке «китайским ЧК», ссылаясь при этом на роман Джорджа Оруэлла «1984»⁷ и на застольные беседы Гитлера, в которых последний употреблял данный оборот для обозначения немецких страхов (44). На резкий протест натолкнулся такой тезис Нольте: «Зацикленность на «окончательном решении» отвлекает внимание от таких важнейших фактов эпохи национал-социализма, как, например, умерщвление «не имеющей жизненной ценности жизни» и жестокое обращение с русскими военнопленными» (41). В добавление к этому Нольте ставит такие риторические вопросы: «Не творили ли национал-социалисты, Гитлер свое «азиатское» дело как раз потому, что они и им подобные видели в себе потенциальных или реальных жертв подобного же «азиатского» дела? Не являлся ли «Архипелаг ГУЛАГ» чем-то более изначальным по отношению к Аушвицу? Не было ли осуществленное большевиками «убийство классов» логически и фактически первичным в сравнении с «расовым убийством», учиненным национал-социалистами? Нельзя ли самые тайные деяния Гитлера также объяснять и тем, что он помнил о «крысиной клетке»?» (45)

В опубликованном в «Цайт» (11.07.1986) полемическом отклике Юргена Хабермаса⁸ на тексты Нольте, где в качестве эпиграфа фигурируют цитированные слова из его статьи от 06.06.1986 о жертвах и поборниках «азиатского» дела, в центре внимания оказываются «апологетические тенденции в немецкой историографии современности». Отправным пунктом для проводимого Хабермасом анализа работ Нольте становится проблема модернизации: философ справедливо подчеркивал, что историк (кстати, ученик Мартина Хайдеггера) поставил «окончательное решение» Гитлера в преемственную связь с «линией восстания против культурной и общественной модернизации, подвижного иллюзорной тоской по возрождению обобщенного, автаркичного мира»⁹; линией, которую Нольте находит уже в начале XIX века – у Бабефа, ранних социалистов и английских аграрных реформаторов. Вместе с тем у Нольте «Аушвиц съезжывается до формата технического нововведения и объясняется, в перспективе «азиатской» угрозы со стороны врага, который по-прежнему стоит у наших дверей» (71). В духе критики идеологий Хабермас предлагает свою политическую оценку неоконсервативного поворота в немецкой историографии современности, возмущенной Нольте ревизии ее подходов: «Идеологические планировщики хотят путем возрождения национального сознания создать консенсус, но при этом им необходимо вывести образы национал-государственных врагов за пределы стран-членов НАТО. Для подобной манипуляции теория Нольте создает большие преимущества» (71).

В опубликованном во «Франкфуртер Альгемайне» 11.08. 1986 «Письме читателя» Хабермас попытался скорректировать неверное, на его взгляд, восприятие

некоторых тезисов его давшей почин «спору историков» статьи. Прежде всего, он выступил против попытки неоконсерваторов использовать историческую науку для «смыслополагания», восстановления «немецкой идентичности»: Хабермас высказал сомнение, «не перегружает ли себя историография, выдвигая эту программу использования исторического сознания в качестве эрзаца религии» (95). Далее, Хабермас считал политически и морально неприемлемым предложенный неоконсерваторами-ревизионистами способ «историзации» нацистского режима также в общественном сознании: «от вчувствования через релятивирование к восстановлению прерванных континуальностей» (96). Наконец, аргумент Нольте, связанный с объявлением евреями войны фашистской Германии устами Хаима Вейцмана, аргумент, который подразумевает трактовку рассеянного по миру еврейского этноса как субъекта международного права и «оправдывает» отношение нацистов к немецким евреям как военнопленным, их интернирование и депортацию (до 1941 года), Хабермас считает невозможным «отличить от прочих антисемитских проекций» (97). Нольте, по оценке Хабермаса, «отрицает уникальность нацистских преступлений» (97).

Опыт систематической защиты общих позиций неоконсервативных поборников *ревизиции, поворота* в истории (германской) современности был предпринят Иоахимом Фестом в статье «Провинившееся воспоминание. Контroversa о несравнимости нацистских массовых преступлений» (FAZ, 06.09.1986). Фест сетует здесь на то, что немецкая общественность все еще не может выйти из тени, которую отбросили Гитлер и совершенные им преступления. Профессия историка, по Фесту, требует сознания ответственности и внутренней независимости, она несовместима с ритуалами ложной покорности. Но в Германии с конца 60-х гг. такие ритуалы декретировались конформизмом, господствовавшими тогда (либеральными) представлениями, которые исключали нейтральность в постановке вопросов применительно к Третьему Рейху, ставя ее под моральное подозрение как обеляющую его злодеяния: «Главным были не представленные результаты работы познания; напротив, зачастую решающее значение имели лишь мотивы тех, кто их представлял» (101). Один из вариантов подобной практики, согласно Фесту, предлагает Юрген Хабермас в своей статье в «Цайт».

Фест остановился на – мнимом, по его мнению – отрицании Нольте «уникальности национал-социалистских акций уничтожения»: Нольте лишь подчеркнул, что нельзя видеть только одно, нацистское, массовое убийство и игнорировать другое, большевистское, тем более что «вероятной является каузальная взаимосвязь между обоими злодеяниями» (101). Фест упрекнул Хабермаса в идеологической предвзятости при освещении вопроса об уникальности нацистских преступлений. По его мнению, и в случае классового террора большевиков, и в случае расового террора нацистов речь фактически шла об одном и том же: «В обоих случаях [у индивида, принадлежавшего к уничтожаемой социальной группе – С.З.] не было возможности оправдания или доказательства невинности, поскольку дело состояло не в вине или невинности, а в самом факте принадлежности. Здесь – к классу, там – к расе» (103). Отсюда – сравнимость нацистских преступлений с большевистскими. Не действует также довод об особой, «административной и механической форме», которую приняло массовое убийство в нацистской Германии (Освенцим). «Конечно, газовые камеры, с помощью которых действовали палачи при уничтожении евреев, были особо отвратительной формой массового

убийства, и они правомерно стали символом техницистского варварства гитлеровского режима. Но можно ли действительно утверждать, что массовые ликвидации посредством выстрелов в затылок, которые практиковались годами в эпоху красного террора, являются чем-то качественно иным?» Отвергает Фест и недоумения по поводу того, как мог такой культурный народ, как немецкий, скатиться до подобных ужасов: он видит в этом аргументе вывернутую наизнанку идею о «господствующих народах». Кроме того, как заявляет Фест, «Гитлер вновь и вновь оценивал практики своих революционных противников слева как урок и образец» (105). Окончательно подорвать тезис об уникальности преступлений нацизма должна якобы прослеженная Нольте *каузальная взаимосвязь* между большевистским и нацистским террором: Гитлер хотел лишь возвести массовое уничтожение на новую ступень. А что его объектом стали евреи – это-де связано с той ключевой ролью, которую они играли в Советской России и Мюнхенской Советской республике.

В поддержку тезиса об уникальности национал-социалистских преступлений, как указывает и Фест, приводится аргумент о качественном различии идеологий коммунизма и национал-социализма: связь с великими гуманистическими традициями у коммунизма, с грошевыми брошюрами вульгарных антисемитов и народных сектантов – у национал-социализма. Не отрицая этого различия даже применительно к сталинизму, соглашаясь, что марксистское положение об устранении буржуазии нельзя понимать буквально, в смысле физического уничтожения, Фест, однако, подчеркивает: «Всем речам присущ некий автоматизм, который от слов ведет к делам и отнимает у мысли ту невинность, которой она охотно оправдывается» (107). Обе идеологии привели к страданиям и смерти миллионов людей: «Какая разница для убитого, принесен ли он в жертву историческому принципу, имевшему некогда интеллектуальный и гуманитарный статус, или «только» движимому фантомными страхами безумию?» (108).

Свою задачу Фест видит не в том, чтобы дать дефинитивные ответы на возникающие вопросы, а в том, чтобы «пробудить сомнения в монументальной простоте и односторонности преимущественно господствующего представления о беспримерности нацистских преступлений» (108). Автор имеет в виду возможность того, что указания на аналогичные преступления других могут как бы облегчить бремя вины нацистов. Но эта опасность не должна отвращать историка от установленных фактов: например, нельзя и дальше игнорировать указываемые Нольте случаи проявления антисемитизма поляков, недавних жертв нацистов, – такие, как погром 1946 года в городе Кельце, учиненный под лозунгом «Мы завершаем дело Гитлера». С другой стороны, чужие преступления не уменьшают собственные. Но Хабермасу, по Фесту, не удалось продвинуть дальше обсуждение сюжета об уникальности преступлений нацизма, так как он исходил из непродуктивного разграничения между консервативными и прогрессивными историками. Так, возможно различие между пессимистическим взглядом на историю как процесс перманентного убийства, при котором Аушвиц действительно низводится до «технического нововведения», и воззрением, исходящим из улучшаемости и воспитуемости человека, в каковой перспективе холокост действительно является уникальным феноменом, извращением, после преодоления которого все пойдет к лучшему. У обеих точек зрения есть свои основания. Признание этого придает их противостоянию серьезность и содержательность. «Хабермас ставит себе и своему поколению

в заслугу то, что ФРГ безоговорочно открылась в отношении политической культуры Запада, и делает себя адвокатом «плюрализма модусов чтения». Однако, чтобы быть чем-то действительным, этот «плюрализм» должен делать невозможным не спор, но личные оскорбления» (111). В таких оскорблениях Фест упрекает Хабермаса, который представил Эрнста Нольте и Андреаса Хильгрубера «поборниками реакционного и аморального интереса» (112).

Чрезвычайно важные уточнения в предмет «спора историков» внес Эберхард Йеккель в статье «Жалкая практика подтасовщиков. Нельзя отрицать уникальность нацистских преступлений» (Die Zeit, 12. September 1986). Йеккель сконцентрировался на двух утверждениях Нольте и Феста: «Первое утверждение, которое, как правомерно констатирует Фест, выдвигает скорее не Нольте, а сам Фест, гласит: «Нацистское уничтожение евреев не было уникальным. Второе утверждение, которое Нольте считает вероятным, а Фест не недопустимым, таково: существует причинная взаимосвязь между этим уничтожением и ликвидационными акциями большевиков» (117). Что до первого утверждения, Фест взвешивал все «за» и «против» него, но Йеккель счел все эти аргументы несостоятельными. Суть уникальности уничтожения евреев нацистами состоит, по его мнению, в следующем: «Нацистское убийство евреев является уникальным в силу того, что никогда еще до этого государство, опираясь на авторитет своего ответственного лидера, не решалось на уничтожение — по-возможности, окончательное, — определенной группы людей, включая стариков, женщин, детей и младенцев, и никогда еще государство не осуществляло это решение на деле всеми возможными средствами государственной власти» (118). Большевики призывали к уничтожению буржуазии как класса, а не к уничтожению каждого отдельного буржуа и тем более не женщин и детей «буржуазного происхождения». Вопрос об уникальности Йеккель не рассматривал как главный: становятся ли преступления нацистов более оправдываемыми, даже если они оказываются «неуникальными»?

Намного более важным, согласно автору, является утверждение о причинной взаимосвязи между большевистским и нацистским террором. Йеккель предлагает четко разграничивать две вещи: с одной стороны, мотивы преступных действий; с другой, — условия, без которых они были бы невозможны. Нольте этого не делает — скорее наоборот, он оперирует символами, «ключевыми словами» (Schlüsselworte) и т.п.: например, «крысиная клетка» в значении то ли Лубянки, то ли большевистской воли к жестокости, уничтожению. Но какое отношение все это имеет к «окончательному решению» полностью уничтожить евреев Нольте так и не разъясняет. Его вывод следует лишь из цепочки ассоциаций. Это не есть рациональное обоснование, само утверждение здесь логически некорректно: *post hoc, ergo propter hoc* — после этого, значит, по причине этого. Гитлер много раз сам объяснял, почему он хотел депортировать и уничтожить евреев, и «крысиная клетка» тут была не при чем. А Советский Союз внушал ему не мистический ужас, а чувство превосходства: поскольку у власти в СССР находились евреи, для него это был колосс на глиняных ногах. Зато Гитлер очень умело мобилизовывал для своих целей антибольшевистские страхи буржуазии: на публике он распространялся об угрожающих Европе азиатских ордах и обманно представлял свое завоевание «жизненного пространства» на Востоке как превентивную войну. Нельзя смешивать тактические высказывания и истинные мотивы Гитлера. Но именно такое смешение лежит в основе гипотезы Нольте о каузальной связи между большевист-

ским и нацистским террором. «Нам пытаются вбить в мозги тезис о превентивном убийстве» (121).

По понятным причинам наиболее заметную реакцию среди публикаций участников «спора историков» вызвала статья издателя «Шпигеля» Рудольфа Аугштейна «Новая ложь об Аушвице» («Шпигель», 06.10.1986), не имевшая отношения к науке, но круто замешанная на политике. Собственно, именно Аугштейн акцентировал среди многих те аспекты дискуссии, которые привлекли к ней особое внимание в ФРГ и за рубежом. Автор считает скандалом, что через 40 лет после капитуляции Германии в 1945 году «мы должны всерьез заниматься следующими вопросами», поставленными Эрнстом Нольте: «Мог ли, нет, должен ли был Гитлер ощущать угрозу, исходившую от евреев всего мира, после того как президент Всемирного еврейского конгресса Хаим Вейцман в сентябре 1939 года объявил ему войну «вместе с Англией»; становился ли тем самым Всемирный еврейский конгресс государством, к которому принадлежали все евреи на планете, знали они об этом или не знали; мог ли Гитлер чувствовать себя вправе относиться к евреям как к военнопленным и интернировать их?» – Нольте отвечает утвердительно. Фест считает, что расовая борьба Гитлера и классовая борьба Сталина суть сравнимые вещи. Нольте и Хильгрюбер полагают, что союзники вели бы войну на уничтожение против Германии (бомбардировки Гамбурга и Лейпцига) и вели бы дело к ее расчленению на куски, даже не подозревая об Аушвице. Нольте придерживается мнения, что евреи в Израиле давят на немцев, «инструментализируя Аушвиц» (196-197). – Аугштейн же усматривает в попытках подобной «ревизии истории» нечто призрачное и монструозное.

Прежде всего, он противопоставил позициям участников спора тезис о коллективной вине немцев за уничтожение евреев: «Известно, между тем, что примерно миллион человек, говорящих на немецком языке, прямо занимались уничтожением евреев» (199). Руководители вермахта с самого начала были в курсе политики уничтожения евреев и каждый на своем месте участвовали в ее проведении: «Эти тевтонские воины не ненавидели в действительности своего фюрера. Они боялись его неудач. Пока их не было, союз вермахта и Гитлера был железным» (200). Далее Аугштейн отверг предложение о «нормализации» немецкой истории путем постановки преступного режима в ряд ему подобных, существовавших в мировой истории, обновляемое доводом: «Мы не можем-де быть приличным членом НАТО, если через 40 лет не кончатся попреки» (201). Тем более, что нацизм, мол, ушел в прошлое, а преступления большевизма продолжают. Аугштейн считает недопустимым такой перевод стрелок с колеи нацизма на колею коммунизма и отвергает как бесосновательную гипотезу Нольте о каузальной связи между большевистскими и нацистскими массовыми убийствами: Гитлер был последовательным политиком, и еще в 1927 году он заявил в «Майн Кампф», что «в русском большевизме мы видим предпринятую в XX веке попытку еврейства завоевать мировое господство», что «гигантское государство на Востоке созрело для распада» (201). Аугштейн отмечает, что также и Сталин учинил погром своим врачам-евреям, но вины за преступления против человечества с «пруско-германского вермахта» это не снимает: надо согласиться с Аденауэром, что «Рейх Гитлера был продолжением прусско-германского режима» (202). Общий вывод Аугштейна относительно «спора историков» таков: «Кажется, 40-я годовщина капитуляции пришла на 40 лет раньше времени» (202). Свою статью автор закан-

чивает провокативным толкованием ветхозаветной истории о том, как Моисей 40 лет водил евреев по пустыне: он хотел вытравить в народе страх перед завоевательной войной за землю обетованную, освободить его от (преступной) покорности «поколения отцов».

«Спор историков», если брать его острую фазу, продолжался примерно половину 1986 года, в него вовлекались все новые авторы, которые затрагивали все новые аспекты дискуссионных проблем. Внимание публики привлекли такие содержательные публикации, как статьи Ганса Моммзена «Поиск утраченной истории» и «Новое историческое сознание и релятивирование национал-социализма», Мартина Броската «Где расходятся умы», Вольфганга Й. Моммзена «Ни отрицание, ни забвение не освобождает от прошлого», и другие. Однако концептуальное содержание спора было резюмировано прежде всего в итоговых работах Эрнста Нольте «Суть дела, которая поставлена с ног на голову» (Die Zeit, 31. Oktober 1986) и Юргена Хабермаса «О публичном употреблении истории» (Die Zeit, 7. November 1986). Остановимся вкратце на последних статьях.

Эрнст Нольте в указанной публикации упрекал своего главного оппонента Хабермаса (и Йеккеля) в селективном подходе к его статьям, что привело к неверным суждениям о них. Тема «прошлого, которое не проходит», еще и потому заинтересовала Нольте, что он констатировал наличие двух ошибочных линий аргументации. Для первой из них характерна завроженность национал-социализмом, признаки которого отыскиваются повсюду; вторая выводит национал-социалистские тенденции из известных интересов. Представители первой линии аргументации ставят клеймо «апологетики» на все опыты объективного и комплексного освещения национал-социалистского прошлого. Именно так они отнеслись к попытке самого Нольте применить формулу «прошлого, которое не проходит» к Гитлеру и мотивам его «окончательного решения»: автор имеет в виду свое выведение нацистского террора из страха перед теми проявлениями большевистского террора, которые современники воспринимали как нечто совершенно новое, небывалое. Нольте имел в виду казнь царской семьи вместе с врачом и гувернантками, расстрелы заложников и классовых противников в ответ на покушение на Ленина и т.п. «Тем качественно новым, что вступало тут в мировую историю, были приписывание коллективной вины и вытекающие из этого ликвидационные мероприятия» (226), которые захватили сперва тысячи, потом сотни тысяч, потом миллионы. Термин «азиатский» в применении к красному террору был ходовым как в правых, так и в левых кругах, равно как и оборот «красная клетка». Из их употребления Гилером Нольте делал то заключение, что «здесь надо искать глубочайший корень самых экстремальных импульсов деятельности Гитлера» (226). Гитлер перешел от коллективной социальной вины буржуазии к коллективной расовой вине евреев. Поэтому «Архипелаг ГУЛАГ» являлся более изначальным, чем Аушвиц. Не отрицая качественного различия между ними, Нольте считает недопустимым не видеть их взаимосвязи: «Аушвиц является не прямым ответом на Архипелаг ГУЛАГ, но ответом, опосредствованным интерпретацией. Я не сказал, что эта интерпретация ложная, ибо полагал это излишним. Только идиот может сегодня подхватывать речь о «еврейском большевизме» (226).

Определяемая «прошлым, которое не проходит» ситуация в ФРГ, на взгляд Нольте, была чревата превращением этого национал-социалистского прошлого в

негативный миф об абсолютном зле, который препятствует всякой ревизии в историографии и потому являясь враждебным науке. Под влиянием этого мифа литература исторического мейнстрима в Германии игнорирует такие факты, как высказывание Курта Тухольского 1927 года, в котором он желал смерти женщинам и детям немецких образованных слоев от отравляющих газов, или приведенное выше заявление Хайма Вейцмана. (229). Вместе с тем, не желая отвечать на то, что Нольте расценил как идеологическое шельмование со стороны Хабермаса и Йеккеля («натовская философия», «подтасовки» и т.п.), автор подчеркивал, что он точно так же подразумевал уникальность «окончательного решения» при употреблении термина «расовое убийство», как это делал Йеккель, давая собственное определение такового. Но и Гитлер был не всемогущ – он не смог, например, навязать массовому сознанию свое отождествление большевизма и христианства, вокруг которого вращались его беседы в узком кругу. Согласно Нольте, почву для «расового убийства» подготовила, например, коммунистическая пропаганда «ликвидации кулачества как класса», о которой Хабермас стыдливо упоминал как об операции «изгнания кулаков». Психологически критика Хабермаса и Йеккеля объясняется Нольте тем, что они приписали ему предположение, которого он не делал: а именно, что Аушвиц был прямым и соразмерным ответом на «Архипелаг ГУЛАГ». Такое предположение вменяет акцептирование понятия «еврейский большевизм», а Нольте, ссылаясь на свою книгу «Фашизм в его эпоху», квалифицировал его как абсолютно неприемлемое. Но трудное прошлое было не только у Германии. Хотя особой вдумчивости оно требует как раз от нее – как, впрочем, и от России.

Юрген Хабермас на свой лад выделил сухой остаток «спора историков» в статье «О публичном употреблении истории». В центр дискуссии им ставится вопрос о том, каким образом будет исторически прорабатываться нацистский период в общественном сознании. «Все большее временное отстояние делает необходимой его «историзацию» – так или иначе» (243). Автор отталкивался от противопоставления «памяти жертв» и «памяти преступников», пропасть между которыми пытаются засыпать политики ФРГ и вторящие им историки, вроде Хильгубера. Символичным в этом плане Хабермас считал посещение военного кладбища в Битбурге президентом США Рейганом по настоянию канцлера Коля в 1983 году: «В сценарии Битбурга важными были три момента: аура солдатского кладбища должна была пробудить национальное чувство и тем самым «историческое сознание»; совмещение посещений захоронений узников концлагерей и военнослужащих Ваффен СС на мемориальном кладбище (утром – Берген-Бельзен, после обеда – Битбург) имплицитно стирало сингулярность нацистских преступлений; а рукопожатие генералов-ветеранов в присутствии американского президента, наконец, было подтверждением того, что в борьбе с большевизмом мы всегда находились на правильной стороне» (245).

В этой связи Хабермас вновь поднимает проблему со-виновности, ответственности немцев за преступления нацизма – теперь уже новых, послевоенных поколений немцев. Фактом остается то, что и они выросли в рамках формы жизни, в которой был возможен Аушвиц. Их жизнь связана с жизнью отцов и дедов неразъемным сплетением семейных, местных, политических, интеллектуальных преемственностей и традиций, исторической средой, которая делает их тем, кто они суть. Но что следует из этой экзистенциальной сращенности с тради-

циями и формами жизни, которые отравлены невыразимыми преступлениями? Автор полагал, что отсюда следовало то, что вслед за Карлом Ясперсом стоило бы назвать коллективной со-ответственностью. Речь шла о долге немцев хранить, и не только в голове, воспоминание о людях, замученных немецкими руками. И в этом смысле Хабермас не представлял себе, каким образом в обозримое время можно было бы «нормализовать» отношения ФРГ с Израилем. Для него было очевидно, что после пережитой немцами моральной катастрофы их национальное самосознание должно черпаться только из лучших традиций критически освоенной истории Германии. Культурная субстанция должна проходить сквозь фильтр нацистского прошлого. Отношение к этому вопросу и разделило немецкие умы.

Хабермас выделил три источника недовольства таким критическим отношением к прошлому – отношением, ставшим в ФРГ официальным. Прежде всего, это неоконсервативные толкования ситуации, в соответствии с которым морализирующее отношение к прошлому мешает свободному взгляду на «тысячелетнюю историю Германии», что порождает «легитимационную слабость политической системы». «Тем самым обосновывается последующее компенсаторное «смыслополагание», с помощью которого историография обслуживает тех, кого модернизация лишила корней. Идентификационный подход к национальной истории, однако, требует релятивирования значимости негативно заряженной нацистской эпохи; для этой цели недостаточно заключить этот период в скобки, надо нейтрализовать его в его обременительном значении» (249). Другим мотивом недовольства является неспособность совместить в одном образе немецкого прошлого его позитивные и негативные черты. Наконец, свою роль играло и стремление обрести заново поставленные под вопрос традиции: Хабермас ссылаясь на опыт прочтения его поколением работ Карла Шмитта, Мартина Хайдеггера и Эрнста Юнгера, которые после войны находились как бы под запретом, но не утратили своей интеллектуальной притягательности. Все указанные мотивы действовали в ревизионистском движении немецких историков. Они и вызвали тот спор, который хотел сразу после войны разрешить Ясперс. Можно ли продолжать традиции немецкой культуры, не беря на себя ответственность за форму жизни, в которой стали возможны нацистские преступления? Не отыгрывает ли их, не принижает ли их значение сравнение с преступлениями сталинизма. «В этом состоит суть вопроса об уникальности нацистских преступлений» (251).

Автор борется за то, чтобы историки ответили на эти вопросы «в первом лице», от себя лично. «Нельзя смешивать эту арену, на которой среди нас не может быть непричастных, с дискуссиями в науках, которые в ходе своей работы должны наблюдать и говорить в перспективе «третьего лица» (251) Результаты наук через шлюзы посредников и СМИ впадают в общественный поток освоения традиций, где им вновь придается перспектива ангажированности. В этой связи Хабермас счел недоразумением, недомыслием упреки Ниппердея и Гильдебранда в неразличении им политики и науки. И в этом едином для них медиуме «из сравнений получают отнесения на чужой счет» (252). Что касается возражений Нольте на упреки в недооценке уникальности нацистских преступлений, то Хабермас их не принимает: отнесение на чужой счет немецких преступлений, которое практиковали Нольте и Фест, «затрагивает политическую мораль того общества, которое, после его освобождения союзниками – причем без собственно его тому содействия

– было восстановлено в духе западного понимания свободы, ответственности и самоопределения» (255).

Читателю, который познакомился с этим кратким обзором «спора историков» после прочтения книги Эрнста Нольте «Европейская гражданская война: 1917-1945», было нетрудно заметить, в концептуальную основу книги положена та позиция, которую Нольте излагал, защищал и уточнял в дискуссии 1986 года. В книге учтены аргументы противников Нольте в споре, ассимилированы подсказки и коррективы его единомышленников. Иными словами, впервые изданная на русском языке монография Эрнста Нольте открывается тем смысловым ключом, который автор нашел во время дебатов, переломных для исторической науки ФРГ. Будем надеяться, что вскоре нам станут доступными в переводе и материалы этого «спора историков», имеющего избирательное сродство с нашей умственной современностью, во многом – *в свою очередь, все еще, также, по-своему* – определяемой «прошлым, которое не проходит» и будущим, «которое никак не может наступить».

Сергей Земляной

Примечания:

- 1 Публикация важнейших материалов дискуссии: «Historiker-Streit». Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. Texte von Rudolf Augstein, Martin Broszat, Joachim Fest, Juergen Habermas, Andreas Hillgruber, Eberhard Jaeckel, Horst Moeller, Hans Mommsen, Wolfgang J. Mommsen, Thomas Nipperdey, Ernst Nolte, Kurt Sontheimer, Michael Stuermer ... – Muenchen-Zuerich: Piper. – 1987. – S. 397. – Далее ссылки на это издание будут даваться в тексте статьи с указанием страницы. Общее – и местами избыточно свободное – представление проблемных узлов дискуссии см. также в статье Марка Печерского «Спор немецких историков: между памятью, прошлым и историей» (Интеллектуальный форум. – 2000. – Вып. 3. – [Http://if.russ.ru/issue/3/20010528_pech.html](http://if.russ.ru/issue/3/20010528_pech.html)). В настоящем тексте мы ограничиваемся репрезентацией основных спорных позиций и хода имевшей место дискуссии.
- 2 Н. W. Koch (Ed.). Aspects of the Third Reich. – London, 1985. – P. 17-38.
- 3 Нольте Э. Фашизм в его эпохе. Аксьон Франсэз. Итальянский фашизм. Национал-социализм. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001.
- 4 Нольте Э. Фашизм в его эпохе. – С. 396.
- 5 Там же. – С. 397-398.
- 6 Там же. – С. 398-399.
- 7 Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. – М.: Прогресс. 1989. – С. 190-192.
- 8 Habermas J. Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung.
- 9 В этом отношении критика Хабермаса также касается и самого Хайдеггера с его интерпретацией новейшей политической истории посредством сверхгенерализаций «воли к воле» и «поставы» и идеалом «возрождения древнегреческого мира».

Эрнст Нольте

Европейская гражданская война (1917-1945).

Национал-социализм и большевизм.

Перевод с немецкого: А. Антоновский, Б. Скуратов, В. Соколова,
М. Сокольская, Т. Калашникова.

Научная редактура, Послесловие – С. Земляной.

Корректор – А. Кефал, А. Люсый

Художник – А. Ильичев

Верстка – Издательство “Логос”

Издательство “Логос”

127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 18, стр. 4

тел: 2461430; e-mail: oleg@gnosis.ru

Информация на сайте: www.gnosis.ru

Справки и оптовые закупки по адресу:

м. “Парк Культуры”, Зубовский б-р, 17, ком. 50

Издательство “Логос”, тел: 2461430

ИТДК “Гнозис”, тел. 2471757.

Подписано в печать 01.05.2003. Формат 60×90 1/16.

Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.

Печ. л. 33,0. Тираж 2000 экз. (1-й з-д 1–500). Заказ 1816.

Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНТИ»

140010 Московской обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 403.

ERNST NOLTE

DER EUROPÄISCHE BÜRGERKRIEG 1917-1945



NATIONALSOZIALISMUS UND BOLSCHEWISMUS

Ничто не кажется более тривиальным и вместе с тем менее самоочевидным, нежели тезис о том, что самой адекватной перспективой, в которой надо рассматривать большевизм и Советский Союз, национал-социализм и Третий Рейх, является перспектива Всеевропейской Гражданской Войны. (Европейская гражданская война: Введение)